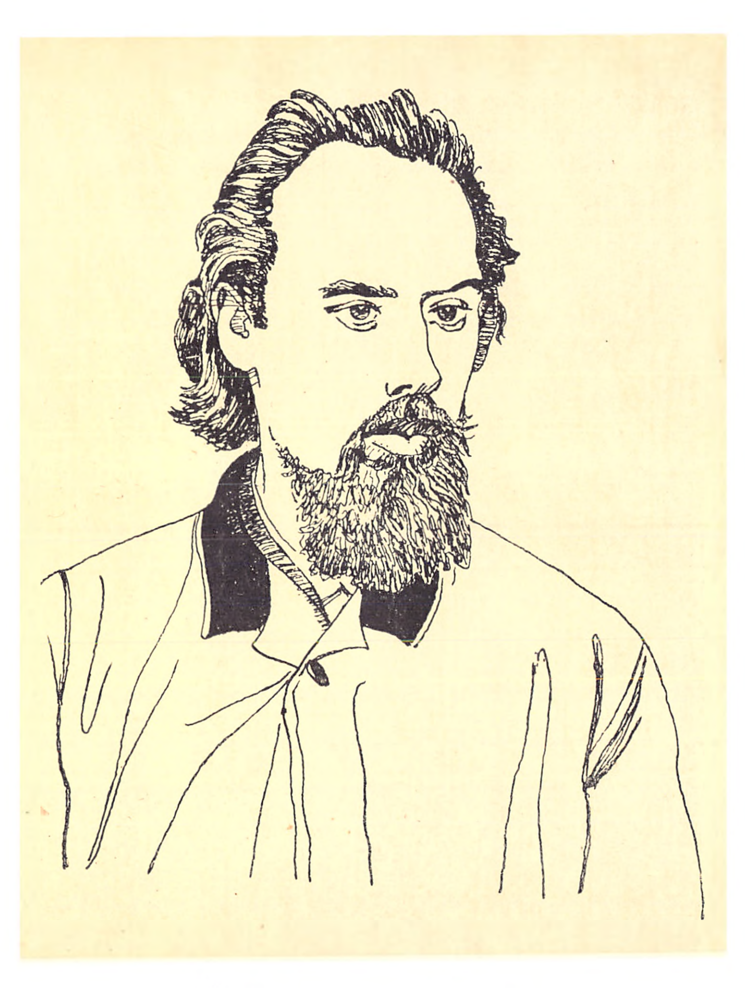


1

С. КАРОНИН





К. Тимирязев

С. КАРОНИН

(Н. Е. ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ)

СОЧИНЕНИЯ

в двух томах

ТОМ ПЕРВЫЙ

Государственное Издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1958

Составление

В. А. БРАЙЛОВСКОГО
и М. М. СМИРНОВА

Вступительная статья, подготовка текста и примечания

Г. П. БЕРДНИКОВА

Рисунки художника

И. С. АСТАПОВА

Оформление художника

Б. В. ВОРОНЕЦКОГО

С. КАРОНИН (Н. Е. ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ)

Творчество Николая Елпидифоровича Петропавловского, вошедшего в литературу под псевдонимом С. Каронин, — яркое, своеобразное, но мало изученное явление в истории русской литературы второй половины XIX века.

Н. Е. Петропавловский принадлежал к поколению революционного народничества, о котором, как известно, с глубоким уважением отзывался В. И. Ленин.

Будучи активным участником народнического движения в период его подъема, С. Каронин обратился к писательской деятельности в годы его кризиса. В трудное время реакции восьмидесятых годов, в условиях разгрома революционного народничества, в обстановке пессимизма и растерянности, охвативших тогда демократические круги русской интеллигенции, С. Каронин сумел сохранить веру в русский народ и в то же самое время найти в себе силы и мужество сказать о современной действительности суровую правду, которая не мирилась с народническими иллюзиями и утопиями. Господствовавшая в то время народническая критика не простила писателю этого «отступничества». «Если бы г. Каронин менее заботился о художественной правде, — писал в 1889 году Г. В. Плеханов, — то он давно уже мог бы пожать, конечно, очень дешевые, но зато очень многочисленные лавры, предаваясь каким-нибудь кисло-сладким изображениям исконных, вековых добродетелей крестьян-общинников. От этого много потеряло бы достоинство его сочинений, но на некоторое время много выиграла бы его литературная репутация». [1]

К сожалению, установленная народнической критикой литературная репутация С. Каронина, как писателя малозначимого, сыграла свою роль и в последующие годы.

Наследие писателя до сего времени полностью не собрано, а в оценке его отдельных произведений и творчества в целом все еще сказываются старые

---

[1] Г. В. Плеханов. Искусство и литература, М., 1948, стр. 556.

предрассудки. Между тем трезвый реализм Каронина, глубокое понимание им важнейших социальных процессов современной действительности, глубочайшая искренность и последовательность в отстаивании народных интересов, его незаурядное художественное мастерство дают полное основание считать Каронина одним из выдающихся писателей восьмидесятых годов, произведения которого и сегодня сохраняют свою жизненную силу.

* * *

Николай Елпидифорович Петропавловский родился 7 (19) октября 1853 года в деревне Покровке Бугурусланского уезда Самарской губернии в семье бедного священника. Семья была большая; для поддержания ее отец писателя вынужден был заниматься и хлебопашеством, возделывая своими силами несколько десятин земли. Здесь же, в семье, под руководством отца и брата Александра началось учение будущего писателя. В 1865 году Николай Елпидифорович был определен в Бугурусланское духовное училище, которое, по воспоминаниям А. А. Александровского, ничем не отличалось от бурсы, изображенной Помяловским. Оно было построено как «микроскопическое олигархическое государство... Тут было: взяточничество, грабеж, воровство, издевательство над личностью, всякие насилия, истязания, пьянство, разврат, словом, все то мерзкое, дикое и позорное, что можно было найти за стенами бурсы, среди взрослого, нравственно испорченного общества». [1] Древние языки и богословская схоластика, как основа учебной программы, система тупой зубрежки, розги и пьяные, невежественные, одичавшие «наставники» дополняли ту страшную, дикую атмосферу, которая неумолимо нравственно и физически калечила и уродовала воспитанников бурсы.

В 1867 году состоялась реформа духовных училищ. Она мало что изменила в системе духовного образования, но привела к некоторому обновлению состава преподавателей. Появились педагоги по призванию, люди, в той или иной мере захваченные общим подъемом шестидесятых годов, заботящиеся о развитии воспитанников, о расширении их кругозора. Стали организовываться библиотеки, появились кружки саморазвития. Один из таких кружков и сыграл решающую роль в духовном развитии Петропавловского.

Н. Е. Петропавловский много читал уже в духовном училище. В Самарской семинарии, куда он был зачислен в 1869 году, круг его чтения значительно расширился. В семинарском кружке саморазвития зачитывались Белинским, Добролюбовым, Чернышевским, Писаревым. Постепенно шел процесс пробуждения общественного и политического сознания его участников. В связи со смертью от чахотки одного из бедных семинаристов — Ивана Любимова, весной 1871 года состоялось нечто вроде демонстрации молодежи. На могиле товарища участник кружка И. Монстров произнес

---

[1] А. А. Александровский. Памяти Н. Е. Петропавловского. — «Самарский вестник», 1893, № 54.

речь, направленную против семинарского начальства. Эта демонстрация повлекла за собой репрессию, жертвой которой стал и Петропавловский. Десять семинаристов были лишены казенного содержания. Осенью все наказанные, в том числе и Петропавловский, подали заявление о выходе из семинарии.

Кружковцы решили самостоятельно готовиться к поступлению в гимназию. Без средств, перебиваясь теми грошами, которые добывал кто-нибудь из них случайными заработками, они усиленно занимались. С помощью И. Монстрова, который после ухода из семинарии поступил на работу, была организована «потребительская ассоциация» — лавка, на доходы от которой кружок просуществовал несколько самых трудных месяцев. «Скажу откровенно, — пишет А. А. Александровский, — смешно становится, когда припоминаешь это время! Юные идеалисты, полуголодные, полуодетые, замышляли торговое предприятие, чтобы себя прокормить во время учения, а рядом с ними самарское интеллигентное общество учреждало «Общество поощрения высшего образования» и совершенно игнорировало те сверхъестественные потуги для получения хоть какого-нибудь образования, какие делали семинаристы». [1]

Петропавловскому удалось выдержать экзамены, и в 1872 году он был зачислен в шестой класс гимназии. Однако постановка образования и здесь оказалась схоластической и не отвечала складывающимся духовным интересам Петропавловского. Вскоре он перестал посещать занятия, продолжая, однако, усиленно учиться в кружке со своими товарищами. Такое поведение было расценено в гимназии как признак политической неблагонадежности. Во втором полугодии Петропавловский из гимназии был исключен. В 1873 году он вновь поступает в гимназию, теперь уже в седьмой класс, но и на этот раз ненадолго. Окончательно выйдя из гимназии, он целиком отдался кружковой работе, характер которой к этому времени значительно изменился. Давно пробудившиеся в кружке общественные и политические интересы стали теперь преобладающими.

Начало семидесятых годов — время все большей активизации народнического движения, которое в 1874 году привело к массовому «хождению в народ», а несколько позже — к громким политическим процессам. В это время кружок Петропавловского втягивается в революционную работу. Занятия в кружке также постепенно подчиняются новой задаче — подготовке к революционно-пропагандистской работе. О взглядах Петропавловского в те годы свидетельствует его письмо Монстрову, написанное 12 июня 1874 года. В этом письме Петропавловский сочувственно отзывается об одном из своих товарищей, который «поступил в столярную мастерскую с той хорошею целью, чтобы теснее слиться с рабочими, жить их жизнью, ненавидеть их ненавистью и пропагандировать принципы социальной революции», упоминает о видных народниках — Войнаральском, Клеменце и других, как о своих знакомых, и заявляет, что считает их «за простых работников, индивидуальные усилия которых чрезвычайно малы и незаметны, но если

---

[1] «Самарский вестник», 1893, № 57.

соединить все эти усилия в одно целое, то составится сила, громадная сила, результат которой будет блестящий». Здесь же он сочувственно отзывается о книге Бакунина и изъявляет полную готовность приступить к делу революционной пропаганды. «Да, — пишет он, — пришло время выкупаться и мне в чистой воде, чтобы смыть с себя прилипшую буржуазную грязь... Ты говоришь о каком-то месте в селе, я согласен, на все согласен...» [1]

Видимо, в июле 1874 года все участники кружка, в том числе и Петропавловский, ушли «в народ». Однако эта их деятельность была весьма непродолжительной. Вскоре начались массовые аресты. 5 августа 1874 года был арестован и Н. Е. Петропавловский. Его задержали в деревне Коновалово Бузулукского уезда, где проживала его мать.

Так кончился первый период биографии будущего писателя и начался второй, уже лишенный какой бы то ни было романтики, исполненный жестоких мучений и страданий, период скитаний по этапам и тюрьмам.

После ареста Петропавловский был заключен в Самарский острог, 12 августа доставлен в Саратовскую тюрьму, в декабре был перевезен в Москву, где содержался в Пугачевской башне Бутырской тюрьмы, в начале 1875 года препровожден в Петербург, где 26 января заключен в Трубецкой бастион Петропавловской крепости. Через год — 26 января 1876 года — из Петропавловской крепости переведен в дом предварительного заключения.

Процесс 193-х, или «Большой процесс» по делу о «преступной пропаганде в империи», был открыт особым присутствием правительствующего сената 18 октября 1877 года. Петропавловский оказался в группе подсудимых, которые обвинялись «в том, что составили и принимали участие в противозаконном сообщничестве, имевшем целью, в более или менее отдаленном будущем, ниспровержение и изменение порядка государственного устройства», и, кроме того, «в том, что распространяли сочинения, имевшие целью возбудить к бунту или явному неповиновению власти верховной».[2] Процесс длился до 23 января 1878 года, когда был оглашен приговор особого присутствия.

Однако Петропавловскому пришлось и во время судебного разбирательства провести еще два месяца в Петропавловской крепости, куда он был водворен в числе 40 подсудимых за бойкот суда.

По приговору суда Петропавловский в числе других 90 человек был оправдан и 23 января 1878 года выпущен на свободу, но отдан под гласный надзор полиции.

Три с половиной года тюремного заключения серьезно подорвали здоровье Петропавловского, но не сломили его нравственно. Это было время напряженных раздумий. Пользуясь тем, что запрет распространялся лишь на чтение современной периодики, он много читал, изучал языки.

Выйдя на свободу, Петропавловский живет в Петербурге вместе с революционером Кибальчичем, поддерживает связь с революционным кружком, издававшим газету «Начало», а позже вместе с Ненсбергом руководит группой по распространению нелегальной литературы. После ареста

---

[1] «Процесс 193-х», изд. В. М. Саблина, стр. 166.
[2] Там же, стр. 180.

Кибальчича, весной 1878 года, Петропавловский вынужден был перейти на нелегальное положение. Под именем сына статского советника Арапова он поселяется на квартире у Варвары Михайловны Линьковой, с которой в ноябре 1878 года вступает в гражданский брак.

Но революционная деятельность будущего писателя и на этот раз продолжалась недолго. 25 февраля 1879 года был арестован Борис Ненсберг. На следующий день в засаду, устроенную на квартире Ненсберга, попал Петропавловский. При аресте Ненсберга были захвачены типографский станок, склад «Русской вольной типографии». Нелегальную литературу и другие компрометирующие документы нашли при обыске и на квартире у Петропавловского.

Период кратковременного пребывания Петропавловского на свободе был временем напряженных дебатов среди революционных народников. Народники пытались оценить уроки провала «хождения в народ», найти действенные пути практической революционной деятельности. Внутри «Земли и воли» намечался раскол, который и произошел в августе 1879 года. Единая народническая организация распалась на «Черный передел» и «Народную волю».

О взглядах Петропавловского в этот период можно судить по его статье «Отрывочные заметки одного из осужденных по процессу 193-х», опубликованной в последнем, четвертом номере газеты «Начало», вышедшем в мае 1878 года. [1] Статья эта свидетельствует, что в сознании Н. Е. Петропавловского также происходила серьезная переоценка ценностей. Крестьянство уже не кажется Петропавловскому неким единым целым, являющимся стихийным носителем революционного начала. «Теперь я, — заявляет Петропавловский, — знаю, что из среды одного и того же народа являются и версальские войска и национальная гвардия Коммуны». В этом свете автор статьи стремится не только критически переоценить прошлое революционного народничества, но и выдвинуть важнейшие вопросы, решающие, по его мнению, судьбы революции. Прежде всего он восстает против народнического анархизма и напоминает, что народные восстания в прошлом «были безуспешны именно вследствие отсутствия единого, ясно сознанного и последовательно проводимого плана действия». Возражения против анархизма идут и дальше. Петропавловский говорит, что революция не только разрушает, но и созидает. Для того чтобы пропагандировать революцию, пишет он далее, нужно твердо знать не только, как она будет свершена, но и ее конечные цели, ее результат. Основной пафос статьи — в утверждении решающего значения политической программы, которой должна быть вооружена партия революционеров.

Все эти высказывания Петропавловского кажутся теперь весьма простыми и естественными, но на фоне господствовавших в то время взглядов они резко выделяются своей политической трезвостью.

---

[1] Принадлежность этой статьи Н. Е. Петропавловскому установлена М. П. Гущиным. См. его статью «Н. Е. Петропавловский-Каронин (Опыт биографии)»; — «Научные записки Харьковского Государственного педагогического института», т. III, 1940, стр. 108.

Однако трезвость Петропавловского проявилась не только в критике широко распространенных среди народничества ошибочных взглядов, не только в выдвижении важных вопросов организации революционной борьбы, но и в понимании политической незрелости деятелей народнического движения. Отсюда скептическая концовка статьи: «Я боюсь, — пишет автор, — что мы, революционеры, вовсе не готовы к революции».

Скептическое отношение С. Каронина к народническому движению не привело его к отказу от активной революционной деятельности. Она оказалась прерванной не по воле Петропавловского, снова 3 марта 1879 года оказавшегося в том же, уже знакомом ему, доме предварительного заключения. Однако критический пересмотр теории и практики народничества не прекратился, лучшим свидетельством тому является, как мы увидим, его художественное творчество.

Петропавловскому вновь пришлось почти два года провести в тюрьме, в одиночном заключении. Этот период самый тяжелый, самый трагический в биографии писателя.

Он был привлечен по делу «о 58 лицах, обвиняемых в принадлежности к преступному сообществу», из которого позже было выделено дело «о 25, обвиняемых в устройстве революционной типографии на Гутуевском острове», а еще позже «дело о пяти», которые обвинялись в том, что «вступили в тайное сообщество, составившееся с целью ниспровергнуть в более или менее отдаленном будущем существующий в империи государственный и общественный строй». Петропавловский находился в полном неведении относительно своего будущего. Иногда в письмах к В. М. Линьковой он пытался шутить по этому поводу. «Что можно принимать во внимание? — пишет он 18 мая 1879 года. — И то, что наше дело по не зависящим от человеческих усилий обстоятельствам отложено на неопределенное время, и то, что оно готово завтра окончиться неожиданным способом. Можно «много принимать во внимание». Или опять: что можно «иметь в виду»? Можно «иметь в виду» Тунгузские болота и «места не столь отдаленные», но можно и даже должно «иметь в виду» и еще многое другое более решительное». В другом письме, от 26 июня 1879 года, иронически упоминая о том, что он «уже кончил курс, полный курс тюремного образования», писатель продолжает: «Я иногда с большим смущением думаю... полный курс я опять должен проходить или нет? Какой выдадут диплом, действительного студента или кандидата на какую-нибудь вакантную должность на Сахалине?» [1]

Тяжелое душевное состояние, видимо, усугублялось размышлениями об общей обстановке в стране, Иногда писателю даже кажется, что в современных условиях заключенному лучше, чем петербургскому обывателю, который «неопределенен и находится в неопределенном положении. Он сам не знает, что случится с ним завтра. Он только томительно ждет и стучит от

---

[1] М. П. Гущин. Материалы к биографии Н. Е. Петропавловского-Каронина. Письма Н. Е. Петропавловского-Каронина. — «Научные записки Харьковского Государственного педагогического института», т. VII, 1941, стр. 199—200, 203.

страха зубами...» Образ «подлого времени», в тисках которого бьется и любимая им женщина, разрастается у Петропавловского в картину грандиозного застенка, написанную совсем в духе «свирепой» сатиры Щедрина. «Я... — пишет он, — проект сочинил, очень блестящий: обратить улицы в галереи, а дома в камеры. Это только, конечно, главная мысль, от которой, как от центра, радиусами расходятся тысячи плодотворных мыслей... Граждане выпускаются в строго определенное время... Отсутствие скопищ, сопенья и фырканья и других признаков недовольства... Это хорошо; разумеется, тут есть своя доля фантасмагории, и проект может не удаться, но если о нем только хоть узнают граждане — и то хорошо, ибо он ошеломит; а ошеломить главное».

Вначале ему кажется, что мрачная политическая атмосфера — преходящее явление, что «грозы будут и теперь уже есть на небе, где и солнышко ярче, и воздух живей, и кровь быстрее циркулирует...» Однако позже у него прорывается иное признание: «Когда придет день, — пишет он 13 августа 1879 года, — засветит солнце и прочистится воздух? Я держусь мнения, что ночь только началась и, без риска ошибиться, думаю, что она будет долго еще продолжаться». Эти строки писались, когда складывалась в России вторая революционная ситуация, когда решительная схватка народовольцев с самодержавием еще была впереди, и все же слова эти были пророческими. Впереди действительно была долгая ночь, годы мрачной и свирепой реакции.

Между тем Петропавловский, «запечатанный в гробе», живущий «под обухом проклятого кошмара», чувствовал себя все хуже и хуже. В его письмах, исполненных великого мужества, трогательной заботы о страданиях оставшегося на воле любимого человека, нет-нет да и проскальзывают признания, указывающие на процесс быстрого разрушения здоровья. «...Постоянная бессонница ночью, — признается он 7 августа 1879 года, — и сонное состояние днем, раздражительность или тупая нечувствительность, — вот характерные признаки теперешнего моего Я. Злые новости!» [1]

В 1880 году признаки ухудшения здоровья стали угрожающими, но просьбы об освобождении на поруки не приводили ни к чему. Тогда в ноябре 1880 года, по прошению Н. Е. Петропавловского, состоялось медицинское освидетельствование. Врачебное заключение, устанавливавшее, между прочим, и начало душевного заболевания, было настолько грозным, что на этот раз царские сатрапы вынуждены были удовлетворить просьбу узника. 8 декабря Н. Е. Петропавловский был выпущен из тюрьмы на поруки.

Зиму 1880—1881 годов писатель прожил в Петербурге, летом жил в деревне Канава Симбирского уезда. Между тем правительство отказалось от гласного суда над обвиняемыми по «делу пяти». По представлению министра юстиции 8 июля 1881 года царь утвердил приговор о высылке всех обвиняемых в Западную Сибирь сроком на пять лет. В сентябре Петропавловский был

---

[1] М. П. Гущин. Материалы к биографии Н. Е. Петропавловского-Каронина. — «Научные записки Харьковского Государственного педагогического института», т. VII, 1941, стр. 196—197, 200, 211, 210.

взят под стражу и по этапу отправлен в Сибирь. Вслед за ним выехала и его жена Варвара Михайловна. За спиной было пять лет тюрьмы, впереди пять лет ссылки. Два года Петропавловский вынужден был провести в Кургане, а потом три года в еще более тогда глухом, «пустом месте» — в Ишиме.

Срок ссылки окончился 8 июля 1886 года. Писатель возвращается на Волгу и последующие годы проводит в городах Казани, Нижнем Новгороде и Саратове, находясь под постоянным надзором полиции. Живет он крайне неустроенно, постоянно бедствует, перебиваясь кое-как нерегулярными литературными заработками. Такие условия жизни довершили процесс разрушения здоровья. Развивался туберкулез. 12(24) мая 1892 года писатель скончался.

* * *

Точных сведений о начале литературной деятельности Петропавловского мы не имеем. Писатель Мачтет упоминает о том, что Каронин начал писать рано, замечая при этом, что первые произведения были подражательны: «Чувствовались чужие «глаза», глаза других авторов: Глеба Успенского, Левитова, Некрасова, под непосредственным впечатлением чтения которых они и казались написанными». [1] Другое, более достоверное, свидетельство о первых литературных опытах писателя содержится в его показаниях следственной комиссии в феврале 1879 года. Говоря о своем знакомстве с Филатовым, Петропавловский, в частности, признал, что «сообщал ему как вообще о своих литературных занятиях, так и о своем намерении издать написанный им роман отчасти в пользу политических ссыльных. Филатов относился к этому сочувственно и обещал дать ему, Петропавловскому, заимообразно тысячу рублей на издание романа и сверх того еще несколько сот рублей на издание других его произведений, но, не выполнив этого своего обещания, уехал». [2] Эти показания подтверждаются письмами Петропавловского. Так, 24 апреля 1879 года он пишет из тюрьмы Линьковой: «Кроме того, я хотел переслать тебе несколько глав и несколько исправлений из находящегося в твоих руках романа, но теперь... перестал думать об этом и отдаю его кому угодно в полное распоряжение, — мне решительно все равно, что из него сделают, из этого скелета, лишенного плоти и крови». [3]

К сожалению, мы пока ничего не знаем об этих ранних произведениях писателя. Несомненно, однако, что Н. Е. Петропавловский обратился к писательской деятельности не позже 1878 года, а в период второго заключения, в 1879—1880 годы, он уже систематически занимается литературным творчеством. Именно здесь и были написаны или дописаны те первые произ-

---

[1] Мачтет Г. А. Петропавловский. — «Русские ведомости», 1892, № 133.

[2] М. П. Гущин. Н. Е. Петропавловский-Каронин (Опыт биографии). — «Научные записки Харьковского Государственного педагогического института», т. III, 1940, стр. 111.

[3] М. П. Гущин. Материалы к биографии Н. Е. Петропавловского-Каронина. — «Научные записки Харьковского Государственного педагогического института», т. VII, 1941, стр. 196.

ведения, которые стали публиковаться в печати с декабря 1879 года за подписью «С. Каронин».

Годы, на которые падает творческая деятельность С. Каронина, были, как уже упоминалось, периодом кризиса народнического движения. К концу семидесятых годов революционное народничество частью было разгромлено, частью утратило веру в возможность организации народного восстания. Для многих уже в это время ясна была бесперспективность и того единоборства с самодержавием, на которое пошли террористы — герои Народной воли. Наступила полоса политической реакции восьмидесятых годов. В стране сложилась трудная и сложная обстановка. Основные вопросы освободительной борьбы стали еще более острыми, но ответов по-прежнему на них не было. Решение этих вопросов нашли деятели нового, пролетарского периода освободительного движения, однако С. Каронин не принадлежал к этому поколению.

Какие же возможности открывались перед современниками С. Каронина? Путей было несколько. Первый и единственно правильный выход состоял в переходе на позиции революционного марксизма. По этому пути с 1883 года пошла группа бывших народников во главе с Г. В. Плехановым. Однако время более или менее широкого распространения марксизма в России еще не пришло, и этот путь был доступен в то время лишь весьма немногим деятелям русского освободительного движения. В массе своей народническая интеллигенция пошла по другому направлению. Она упорно держалась за старые народнические догмы и настойчиво стремилась приспособить их к новой, легальной деятельности на поприще всякого рода «усовершенствований» и «улучшений» народного быта. Этот путь означал отказ от революционных заветов, срастание с буржуазным либерализмом. «Из политической программы, — пишет В. И. Ленин, — рассчитанной на то, чтобы *поднять крестьянство* на социалистическую революцию *против основ современного общества* — выросла программа, рассчитанная на то, чтобы заштопать, «улучшить» положение крестьянства *при сохранении основ современного общества*».[1] Была и другая категория народнической интеллигенции, которая не могла ни забыть революционных заветов прошлого, ни смириться с буржуазно-либеральным делячеством, но не видела и никакого другого выхода. Большинство из них, будучи охвачено настроением пессимизма, переживало тяжелую духовную драму. Следует подчеркнуть, что и народников «оптимистов» и народников «пессимистов» объединял *исторический пессимизм*. И тех и других «не устраивал» ход исторического развития, те и другие исходили из стремления изменить его, «спасти» Россию от «нашествия» капитализма, только одни уже видели свое бессилие и беспомощность, другие же — «оптимисты» — продолжали подобного рода старания, носились со всяческими проектами, взывали о помощи к обществу и правительству.

Среди разночинно-демократической интеллигенции была еще одна группа, которую можно назвать просветителями восьмидесятых годов. Но-

[1] В. И. Ленин, Сочинения, т. 1, стр. 246—247.

вые исторические условия определили характерные особенности их взглядов. Они столкнулись с серьезнейшими вопросами, вызванными развитием капитализма в России, которые в шестидесятые годы еще не были воочию поставлены историей. В решении этих вопросов они не сумели избежать ошибок, свойственных всем представителям разночинно-демократического периода русского освободительного движения. Так, они не понимали еще исторической роли складывающегося русского пролетариата и все свои надежды возлагали на «народ», под которым подразумевали прежде всего крестьянство. Отсюда их близость народничеству, как идеологии крестьянской демократии. Однако их взгляды существенно отличались от народничества как политического течения.

В отличие от народников просветители восьмидесятых годов не задавались целью ни задержать историческое развитие, ни повернуть его вспять. Их взгляды отличались исторической трезвостью. Положение их было также нелегким, так как они не различали еще конкретно-исторической перспективы и не могли выдвинуть своей действенной политической программы. Но они были лишены чувства «исторического пессимизма», не утратили веры в народ, хотя не питали по отношению к нему многих народнических иллюзий, верили в светлое будущее России, хотя видели торжество капитализма и отнюдь не склонны были идеализировать его в какой бы то ни было степени. Понимая свое бессилие выдвинуть созидательную политическую программу, они посвятили свою деятельность отстаиванию незыблемых основ русского освободительного движения. Они выступали против самодержавно-полицейского строя в России в его самых различных проявлениях, против всех и всяческих феодально-крепостнических пережитков, все усиливая в то же время разоблачение капиталистического хищничества и буржуазной морали; они выступали горячими защитниками буржуазно-демократических свобод и просвещения народа, видя в этом залог пробуждения народного самосознания. В то же самое время многие из них хорошо понимали, что никакие полумеры, никакие либеральные «улучшения» не могут привести к осуществлению их идеалов подлинной свободы, и упорно боролись против такого рода иллюзий, обманов или самообманов. Если позиция либеральных народников была реакционна, мешала дальнейшему прогрессивному развитию, то деятельность просветителей была несомненно прогрессивна, так как объективно способствовала расчистке дороги социал-демократическому движению, подготавливала идеологическую почву для широкого распространения марксизма в России. Во главе этой группы разночинно-демократической интеллигенции стоял в восьмидесятые годы революционер-демократ Салтыков-Щедрин.

К этой же группе разночинно-демократической интеллигенции следует отнести С. Каронина. Переходу писателя на просветительские позиции способствовали не только его жизненный опыт и особенности склада ума и дарования. Решающее значение имела эпоха, в которую складывалось его творчество. Восьмидесятые годы были не только периодом реакции, но и эпохой «мысли и разума», таким временем, когда «...мысль передовых представителей человеческого разума подводит итоги прошлому, строит новые системы и но-

вые методы исследования».[1] В эти годы отчетливее обозначился выход России на путь капиталистического развития, резче выявились все связанные с этим социальные процессы, а вместе с тем со всей силой обнаружился кризис народничества. Эти характерные признаки эпохи сказались не только на взглядах и творчестве С. Каронина. Они определили особенности творческой платформы и ряда других писателей-демократов, вошедших в литературу в восьмидесятые годы, также сумевших отбросить многие народнические заблуждения. Правда, среди этих писателей, таких, например, как А. П. Чехов и даже В. Г. Короленко, С. Каронин занимает несколько особое положение. Он еще целиком поглощен теми же вопросами, которые были в центре внимания демократической литературы семидесятых годов. Однако в решении этих вопросов он явно противостоит не только Златовратскому, но подчас и Гл. Успенскому, с народническими заблуждениями которого открыто полемизирует. В конечном счете, С. Каронин, как и некоторые другие его современники, оказывается ближе демократической литературе шестидесятых годов, чем писателям семидесятникам народнической ориентации.

Главное и основное, что отличает писателя С. Каронина от народничества, в узком смысле этого слова, и сближает его с демократической литературой русского просвещения шестидесятых годов, — историзм, умение считаться с объективным ходом исторического развития. С. Каронин шел в своем творчестве не от народнической доктрины, а от жизни, субъективно-социологическое прожектерство народников было ему совершенно чуждо. Это сказалось не только в решении тех или иных конкретных вопросов, встававших перед писателем. Творчество С. Каронина представляет собой своеобразное художественное исследование важнейших явлений социальной действительности, логика которого была продиктована реально-исторической взаимосвязью изучаемых писателем социальных процессов. Вполне понятно при этом, что в основе всего его творчества оказывается коренной вопрос эпохи — крестьянский вопрос.

* * *

Крестьянской теме в первую очередь посвящены два цикла рассказов С. Каронина — «Рассказы о парашкинцах» и «Рассказы о пустяках», написанные в основном в период с 1879 года по 1883 год.

К указанным циклам примыкает и ряд рассказов, написанных в разное время, таких, как «Братья» (1881), «Судья Илья Савельев» (1881), «Деревенские нервы» (1883), «Дикарь» (1887), «Сочинения Чернова» (1887) и др.

Свою зарисовку жизни русской деревни С. Каронин начинает с реформы 1861 года — события, определившего судьбы русского народа в последующие годы.

Вслед за Чернышевским, Некрасовым и другими революционными демократами, а также писателями-демократами шестидесятых—семидесятых годов С. Каронин считает реформу актом беззастенчивого ограбления народа,

---

[1] В. И. Ленин. Сочинения, т. 10, стр. 230.

поругания его самых сокровенных вековых чаяний и надежд. Расписанная либералами всех мастей как высочайшая милость царского правительства, как великий светлый праздник, реформа рисуется С. Карониным как потрясающая трагедия, как пролог к новым неисчислимым бедам и страданиям русского народа. Такой реформа была для Миная, как, впрочем, и для всех парашкинцев, получивших вместо земли болотца («Фантастические замыслы Миная»).

То, что в этом рассказе было сказано вскользь (произведение писалось в царской тюрьме), целиком определило содержание рассказа «Светлый праздник». Трудно найти в русской литературе, среди произведений, написанных о реформе 1861 года, что-нибудь равное по силе этому небольшому рассказу, являющемуся подлинным шедевром в творческом наследии писателя.

С. Каронин ведет свое повествование в подчеркнуто спокойных, эпических тонах. Была весна 1861 года, когда неожиданно для мужиков пришла весть о воле. Темны и смутны были мысли мужиков. «Для них воля явилась нежданно, без их участия, помимо их мысли, и с ней у них не соединялось никакого смысла, кроме какого-то смутного счастья». Но была одна твердая мысль в темном сознании парашкинцев, — это вековая мечта о земле. И вот, когда управляющий имением сбежал и мужики остались одни, они принялись хозяйничать. Однако длилось это счастье недолго. На стороне парашкинцев была «глубочайшая вера в правду, пришедшая вместе с волей», на стороне барина — манифест и начальство, которое вначале пробовало уговаривать, но потом решительно заявило, что парашкинцев «усмирят». Скоро пришло известие, что чекменских мужиков уже усмирили. Парашкинцы поняли, что это и их поражение, и когда на следующий день и к ним пришла «секуция», делать ей было уже нечего. Так свершились события, в результате которых парашкинцы вместо земли и воли получили «болотца». Так начался для русского мужика пореформенный период.

Пореформенную эпоху писатель делит на два периода. Первый, включая дни самой реформы, он называет «героическим» в жизни парашкинцев. Эти трагические дни и годы С. Каронин считает героическими потому, что это было время надежд и борьбы. Пусть эта борьба была неравной, а мечты несбыточными — в них была жизнь, потому что только борьба и надежда, по мнению писателя, являются источником нравственного возрождения закабаленного народа. То, что воля принесла им вместо земли «болотца», парашкинцы увидели и почувствовали весьма скоро. Но воля сулила не только землю. На словах она приносила им гласность — участие в выборных земских органах самоуправления, сулила открыть путь к «свету и знаниям», манила личной свободой и независимостью, не говоря уже о надеждах на «достаток». Эти мечты и одухотворяли парашкинцев в первые годы после реформы, до поры до времени поддерживая их кратковременное духовное возрождение. Как постепенно жизнь рассеивала эти надежды, оказавшиеся лишь иллюзией, и показывает писатель в своем первом цикле рассказов и ряде примыкающих к нему произведений.

В рассказе «Безгласный» С. Каронин знакомит нас с Фролом Пантелеевым — грамотным мужиком, которого парашкинцы частенько использовали

в качестве ходока и представителя мирских интересов. Именно через него парашкинцы осуществляли свою доморощенную гласность в виде всякого рода прошений, просьб, жалоб и ходатайств по общественным и личным делам. Но однажды Фрол Пантелеев стал не доморощенным гласным, а самым настоящим. Произошло это, когда неожиданно для всех он был избран гласным Сысойского уездного земства. И именно тогда-то и стало очевидно, что на самом деле Фрол был и остался безгласным. С. Каронин показывает не только комедию выборов в это учреждение, но и его сословный, помещичий характер, чуждость этого учреждения «представителей народа» подлинным народным нуждам и интересам. Именно в силу сословного, помещичьего характера этого жалкого органа самоуправления гласный Фрол и оказался безгласным.

Такой же иллюзией явилась и надежда на то, что новые времена откроют мужику путь к «свету и знаниям». Об этом говорит судьба другого парашкинца — Ивана Иванова («Ученый»), который во что бы то ни стало решил овладеть знаниями. Два обстоятельства решили судьбу этого нового романтика из парашкинской среды. Школа, в которой с ребятами учился Иван Иванов, была земская и поэтому, пишет С. Каронин, «в некотором смысле эфемерная. Через год после своего основания она была закрыта». В результате скромные начатки своих знаний Иван вынужден был пополнять пятикопеечными книжонками и комментариями к ним местного писаря, охотно приходившего на помощь Ивану за косушку водки. Однако как ни жалки были источники знания, и они пробудили в Иване жгучие, хотя и бестолковые мысли. И тут возникло новое обстоятельство. Занятый своими мыслями, Иван и не заметил, как запустил хозяйство, а когда опомнился, очутился среди тех мужиков, которые должны были идти в волость для исполнения «натуральной повинности». И Иван исполнил ее, то есть получил полностью причитающееся ему, как недоимщику, количество розог. Порка произвела на него потрясающее впечатление, он как бы оцепенел от стыда, «потому что все, что дали ему чудесные мысли, — это стыд, едкий, смертельный стыд». Так определилось непримиримое противоречие «натуральной повинности» и «чудесных мыслей», которые пробуждали даже убогие знания.

Такая же участь постигла и другого парашкинского романтика — Егора Панкратова («Вольный человек»), поверившего в другую иллюзию, — в то, что новые времена дали ему хотя бы относительную свободу и независимость.

С. Каронин рисует здесь двух приятелей, во многом отличных друг от друга. «Илья Малый, будучи лет на десять старше своего друга-приятеля, все еще оставался в крепостной скорлупе, но Егор Панкратов был уже в некоторой степени человек новый, несколько вылупившийся из скорлупы старого времени». Как человек «нового времени», Егор дома ничего не боялся и никому не кланялся. Это поражало и удивляло Илью. Егор часто говорил приятелю: «Теперь, братец ты мой, закон. Так-то», и это также смущало Илью, потому что он «был суеверен; для него в жизни не было закона, а только случай». Итак, крепостное право научило парашкинцев верить лишь в «случай», новые времена предлагали верить в «закон», якобы охранявший мужика от «случая». Жизнь, однако, показала, что новые времена, породив надежду,

в действительности сохранили в целости и неприкосновенности заветы крепостной поры. Какие героические усилия ни прилагал Егор Панкратов к защите своей личности, «случай» настиг его, и Егор вынужден был навсегда расстаться со своими иллюзиями.

Рисуя судьбы пореформенной деревни, касаясь при этом различных сторон мужицкой жизни, С. Каронин основное внимание все же уделяет экономическому положению парашкинцев, справедливо видя в этом основу основ их трагического положения, главную причину непререкаемой власти над ними пресловутого «случая». «Фантастические замыслы Миная», «Союз», «Последний приход Дёмы», «Как и куда они переселились» и посвящены описанию этих основ парашкинского бытия, а вместе с тем и судьбы парашкинцев в условиях «нового времени».

Уже знакомый нам Минай («Фантастические замыслы Миная») — еще один тип парашкинского романтика — воплотил в себе общую веру пореформенного мужика в то, что «теперь... воля! Теперь только дурак отощает...» Получив в результате «мирного соглашения» с барином «болотца» вместо земли, Минай ясно понял, что «теперь уж больше ничего... ни в настоящем, ни в будущем». Однако в том и состояла характерная особенность Миная, что даже после этого урока он продолжал жить и мечтать о том, что в конечном счете все у него будет. То он ловил слухи, например, «о черной банке», которая все решит, то мечтал о баснословном урожае, то давал волю своей фантазии вообще уж без всякой даже иллюзорной земной опоры. Откуда возникала эта фантазия Миная? Из смутного понимания полной безвыходности своего положения, которое оставляло лишь одну возможность — «лечь и помирать». Но ложиться и помирать Минай не хотел и поэтому обеими руками цеплялся за тень, которую он называл «жистью». Однако фантазии не спасли Миная. В конечном счете и он вынужден был бежать из деревни.

Среди фантастических мечтаний Миная, до поры до времени поддерживавших его, были и надежды на «опчисво», на ту пресловутую общину, которая была альфой и омегой народнических представлений о вековых «устоях» народной жизни.

Проблему общины С. Каронин затрагивает уже в рассказе «Безгласный». Высмеивая одного из «праздношатающихся» бар, которые исследовали вопрос об общине «с точки зрения своей праздности» — чисто умозрительно, писатель предлагает другое — историческое решение проблемы. Прежде чем решить — хороша община или плоха, следовало бы, утверждает он, задать мужику более насущный вопрос: «что лучше, владеть ли *одной* десятиной «соопча» или в одиночку и нераздельно?» (Курсив мой — *Г. Б.*). При такой постановке вопроса, считает писатель, мужик мог бы дать ответы гораздо более определенные. «Может быть, он сказал бы, что владеть одному десятиной и разводить на ней капусту гораздо лучше, чем владеть ею сообща и сеять на ней рожь; может быть, он подумал бы наоборот, а может быть, недолго думая, он сказал бы, что несравненно лучше всего прочего плюнуть на эту десятину и «даться в бега».

Преимущество предложенного С. Карониным подхода к исследованию судеб общины в пореформенной деревне нетрудно понять. Сформулирован-

ные им вопросы ставились повседневно самой жизнью перед каждым мужиком, жизнь же неумолимо приводила каждого из них к ответам на эти вопросы, ответам, которые подсказывались не личными симпатиями и антипатиями, а не зависящими от них экономическими основами их бытия. Так произошло и с Минаем. В самые трудные минуты мир казался ему «крепостью, где он спасался от неприятеля». Однако чем дальше, тем более убеждался Минай, что дела его плохи, и никакой мир не спасет его от неминуемого конца. Все чаще начали появляться мысли, совершенно неожиданные и для самого Миная. Смущал Миная живой пример — местный кулак Епишка, который из ничтожества вдруг превратился в грозную и непреоборимую силу. Присматриваясь к удачам Епишки, вдумываясь в его судьбу, Минай неизбежно приходил к выводу, «что для получения удачи необходимы следующие условия: не иметь ни сродственников, ни знакомых, ни «опчисва» — жить самому по себе. Быть от всего оторванным и болтаться где хочешь». Этот вывод до такой степени не отвечал симпатиям и привычкам Миная, что приводил его самого в величайшее изумление, тем более, что за ним следовал и другой — что «опчисво» не друг его, а враг, и что самое правильное это как можно скорее «удариться в бега». И Минай несомненно бы удрал, если бы при этом ему не рисовалась следующая картина: «Минай Осипов здесь?» — «Я Минай Осипов». — «Ложись»... Это представление преследовало его как тень. Куда бы он ни залетал в своих фантастических поездках, но в конце концов он соглашался, что его найдут, привезут и положат». Однако жизнь разрешила, как мы помним, и это серьезное сомнение Миная, и Минай вынужден был удариться в бега уже без всяких рассуждений.

Так выясняется, что мир это действительно крепость, но в совершенно другом, неожиданном для парашкинца смысле, — не укрытие от врага, а место заключения, из которого поэтому непременно следует убежать при первой возможности. Именно к этому выводу и подводит жизнь все большее и большее количество парашкинцев, суля неумолимый конец уже не одному Минаю, но всему парашкинскому «опчисву». Вот эти новые времена, ознаменованные неумолимым крушением вчерашних устоев, и рисует С. Каронин. «Тогда, — пишет он о прошлом, — их гнали с насиженного места, а они возвращались назад; их столкнут, а глядишь — они опять лезут в то место, откуда их вытурили. Прошло это время. Нынче парашкинец бежит, не думая возвращаться; он рад, что выбрался подобру-поздорову. Он часто уходит затем, чтобы только уйти, провалиться. Ему тошно оставаться дома, в деревне, ему нужен какой-нибудь выход, хоть вроде проруби, какую делают зимой для ловли задыхающейся рыбы...»

Последний очерк цикла довершает картину парашкинского оскудения и крушения. Деревня представляет собой пепелище, на фоне которого особенно заметны широко разросшиеся владения вчерашнего Епишки, сегодня Епифана Ивановича Колупаева. Но самое страшное зрелище представляли собой сами парашкинцы. «Шальное выражение лиц, бесцельность и беспричинность в разговоре, полнейшее отсутствие сознательности — таковы качества, — пишет С. Каронин, — отличающие всех вообще парашкинцев».

Рассказ завершается почти символической картиной конца парашкинского общества. Попытка коллективного бегства оставшихся жителей, насильственное водворение назад «нескольких десятков трупов в общую для них могилу — деревню», новое и уже окончательное бегство парашкинцев, «сообразуясь с направлением, по которому в данную минуту устремлены были глаза», — написаны с потрясающей силой.

О разложении общины, вызванном неумолимой логикой сложившихся после реформы экономических отношений, С. Каронин пишет и в ряде последующих своих произведений, например в рассказах «Судья Илья Савельев», «Братья» и др. И в этих произведениях воспетый народниками «мир» предстает перед нами в виде ветхого наследия крепостнического прошлого. Новые условия жизни вызывают упорную работу темной мужицкой мысли. «Мало-помалу каждый сельский житель стал сознавать, что он ведь человек, как все, и создан для себя, и больше ни для кого, как именно для себя! И каждый ведь сам может жить, устраиваться без помощи бурмистра, кокарды и «опчисва»!» Так С. Каронин показывает победу не только новых буржуазных экономических отношений, но и новых, соответствующих им, мыслей и идеалов, показывает полную несостоятельность народнических разглагольствований о врожденных социалистических и коммунистических идеалах русского мужика. «Решительно, — пишет он, — не было ни одного человека, который в свободные минуты не думал бы купить себе участок, завести «лавочку, что ли, ин кабак». Никто из мужиков не осуждал нравственно людей, живших подобными предприятиями; напротив — «любезное это дело!» Людей такого сорта уважали за ум, считали «шельмовство» одною из способностей человеческого разума».

Таким образом, общая картина жизни пореформенной деревни, с большой художественной силой нарисованная С. Карониным, свидетельствует о его исторической зоркости, о правильном понимании им основных социальных процессов, происходивших в современной действительности. Однако писатель не ограничивался этой общей картиной. Проницательный взор художника-реалиста улавливал такие нюансы и оттенки в этом историческом процессе, которые значительно дополняли и углубляли эту общую картину. Первым результатом учета этих «оттенков» явилось разделение истории пореформенной деревни на два периода. Конец парашкинцев был для него концом «героического периода» в жизни деревни, «вступившей после этого на путь мелочей и пустяков». Этому новому периоду, окончательно определившему облик современной деревни, и посвящает писатель цикл «Рассказы о пустяках», опубликованный в период с 1881 по 1883 год, то есть задолго до написания Щедриным его знаменитых «Мелочей жизни» (1886—1887).

* * *

Второй цикл рассказов С. Каронина органически связан с первым. Более того, основы его уже заложены в «Рассказах о парашкинцах». Действительно, та жизнь, к которой, в конечном счете, приходят Минай, Иван

Иванов, Егор Панкратов и другие парашкинцы, также характеризуется полным торжеством мелочей и пустяков.

Обстоятельнее всего о сущности нового периода в жизни русской деревни С. Каронин говорит в рассказе «Пустяки» (1882). Прежде всего новый период означал конец той борьбе и тем волнениям, которые были вызваны 1861 годом и которые наполняли жизнь мужика человеческим смыслом. Новое поколение С. Каронин не решается даже назвать страждущим, несчастным, потому что «оно не мучилось и не страдало до глубины сердца... все билось, постепенно задыхаясь, но не жило, не страдало, не падало в пропасти, не поднималось на высоту». Призрачная, «пустяшная» жизнь, считает С. Каронин, наступила не сразу, подкралась незаметно, так что житель не сразу почувствовал, как оказался без пищи, как был настолько «ошеломлен», что лишился вместе с тем и способности мыслить. «Получая от всех предприятий нечто выразимо малое, или, по словам Горелова, «шиш», — пишет С. Каронин, — житель сперва приходил в изумление от такого странного результата и продолжал свои предприятия с достойной лучшей участи энергией; но когда «шиш» стал получаться хронически, ежегодно, ежемесячно и, можно сказать, ежечасно, когда после всякой египетской работы получался все тот же странный «шиш», — он одурел и начал метаться подобно угорелому; а так как распутное время ему опомниться не давало, то он окончательно и вполне стал «полоумным», упорно гонялся все за тем же «шишом», который сделался его целью, конечным желанием и почти что идеалом... Пропустив через свою душу и сердце миллион этих «шишей», он и мысль свою довел до степени «шиша», да и сам стал «шишом», с которого взять решительно нечего».

«Рассказы о пустяках» и представляют собою художественное исследование этого процесса «ошеломления» мужика, исследование чрезвычайно всестороннее и весьма оригинальное.

Ряд героев произведения есть полное воплощение этого процесса. Их жизнь с удивительной силой показывает пустоту, идиотизм нового деревенского уклада. Таков, в частности, герой рассказа «Мешок в три пуда» Савося Быков, судьба которого лучше всего поясняет, что имел в виду писатель, когда говорил о бесконечной погоне «жителей» за «шишом». Рассказывая о трагической жизни своего героя, С. Каронин обращает наше внимание на то, что самое фантастическое в судьбе Савоси — его долг, долг «обширный и необъятный», который он не мог погасить: долг волости, долг местным помещикам, долг кулаку и «всякому другому прохвосту», даже конокраду. А ведь Савося был обычный мужик, был «человек, притом человек довольно хороший». «Просто берет сомнение, — пишет С. Каронин, — как это человек с такими ограниченными, почти нелепыми потребностями, удовлетворяющимися мукой и ядом, вдруг оказывается всеобщим должником, притом таким должником, который всеми признается безнадежным, и долг которого неоплатен? С таким обстоятельством, с таким *долгом* найти в другом классе нельзя ни одного человека; чтобы отыскать для Савоси Быкова подходящую пару, нужно спуститься ниже человека, взять домашнюю скотину, которая действительно всякому хозяину должна и обязана все

делать...» Так показывает С. Каронин одновременно и противоестественность, фантастичность жизни русского мужика и реально-экономические причины, создавшие для Савоси эту призрачную жизнь, наполненную мглой, «сквозь которую он видел лишь пустой мешок, который надо было наполнить во что бы то ни стало».

Иную разновидность той же «пустяшной» жизни представляет собою Гаврила Налимов, герой рассказа «Две десятины». Жизнь его сводится к погоне за землей. Достать, во что бы то ни стало достать хотя бы две десятины земли в аренду — вот мысль, которой живет Гаврила. Осуществить это безумно трудно, так как у всех, кто может дать землю, Гаврила давно уже почти в такой же кабале, как Савося. С. Каронин рисует поистине удивительную настойчивость и энергию, с помощью которых Гавриле все же удается достать вожделенные десятины, достать на неслыханно кабальных условиях и тем самым еще туже затянуть на своей шее петлю. В чем же причина такой поразительной слепоты? Прежде всего в жизненных условиях, в ежедневной засасывающей тине пустых, мелочных забот. «В этом, пожалуй, — пишет С. Каронин, — и заключается разгадка того обстоятельства, что, никогда не получая никаких плодов, он продолжал пахать и сеять и все жаждал нахватать больше и больше десятин на свою шею, под какими угодно условиями».

Сказанное отнюдь не означает, что жизнь деревни кажется писателю застойной и неподвижной. Нет, несмотря на пустоту этой жизни, в ней есть свое, по-своему бурное движение. «В деревне, — пишет С. Каронин в рассказе «Солома», — несмотря на ее наружную тишину, кипела и варилась каша, в которой одни тонули, другие выплывали внезапно наверх. У одних вырывались восклицания радости, у других — крики о спасении. Одни жители куда-то бежали, другие барахтались дома, ухватившись за какое-нибудь дело, всегда почти безнадежное. Нервы у всех напряжены до последней степени. Сердце стучит неестественно скоро и бьет постоянную тревогу. Никому нет времени ни одуматься, ни устроиться. Никто не живет тою правильною, законною жизнью, которую требует земля и связанные с ней работы. Труд, сопряженный с мучительством, стал невозможен. На его месте явился на деревенской улице «момент», который и ловят. Не всем, конечно, попадает удача. Громадное большинство только разевает рот, но ухватить ничего не может. И только на долю ничтожного меньшинства достается добыча». Эта особенность деревенской жизни также находит свое живое воплощение в жизненной судьбе героев С. Каронина, раскрывающего перед нами еще один вариант трагикомедий, происходящих в вихре охвативших людей мелочей и пустяков. Такова жизненная судьба Ивана Чихаева, которому фортуна в этом водовороте уготовила такие неожиданные перипетии, от которых он явно «тронулся в уме и сердце». Неожиданно и трагически перевернулась жизнь и героя другого рассказа — Тимофея Лыкова, решившего однажды выпросить у одного из деревенских кровопийц несколько кольев для ограды, которая, впрочем, ему совершенно не была нужна.

Таким образом, новый период в развитии пореформенной деревни, как это показывает С. Каронин, характеризуется дальнейшим обострением уже

отмеченных им ранее социально-экономических процессов. Растет, достигая чудовищных размеров, кулацкая и помещичья кабала, сводя жизнь мужиков к бессмысленной погоне за вечным «шишом». Вместе с тем жизнь, в центре которой вместо труда становится ловля «момента», означает усиление расслоения деревни, выражающееся в повседневных «восклицаниях радости» и «криках о спасении». К чему вел этот процесс? В 1887 году в «Казанском биржевом листке» С. Каронин начал, но не довел до конца публикацию рассказа под названием «Пустой поселок». В этом неоконченном произведении мы встречаемся с хорошо знакомыми нам по «Рассказам о пустяках» героями — Мироном, Савосей, Чилигиным, окончательно обнищавшими, для которых поселок давно уже превратился в «общее кладбище». Как и парашкинцы, они приходят к той же мысли — бежать из него куда глаза глядят. Так, этим незаконченным рассказом, С. Каронин завершал картину народного разорения и бесповоротного крушения так называемых «устоев».

Крестьянские рассказы С. Каронина, запечатлевшие великую народную драму, — несомненно выдающееся явление в русской литературе. Жизнь, нарисованная им, трагична и мрачна до ужаса. Однако сила писателя состояла не только в беспощадной правде, с которой он изображал разложение деревенских «устоев». Зоркость С. Каронина проявилась и в другом: в умении уловить в этом процессе распада и разложения патриархальных устоев его вторую сторону — пробуждение чувства личности, угадать в нем залог нового духовного возрождения народа.

* * *

Деревенская жизнь на первый взгляд не только не способствовала развитию самосознания «жителя», но, напротив, неумолимо подавляла, ошеломляла человека, погружая его в омут пустяков, вовлекая в бесконечную и бесплодную погоню за неизменным «шишом». Однако если внимательнее присмотреться к этому процессу, то нетрудно заметить, что ошеломление есть лишь *результат*, *конечный итог* подавляющего воздействия тех условий, в которые поставлен был мужик. Заслуга С. Каронина состоит в том, что он показывает не только этот результат, но и тот процесс роста самосознания, который был вызван новыми пореформенными условиями, причем показывает его во всей его противоречивой сложности.

С. Каронин неоднократно подчеркивает, что 1861 год вызвал пробуждение мыслей о правах человеческой личности, в корне подрывавших старый, «сплошной», общинный быт дореформенной деревни. Однако этот процесс, в силу условий жизни, принял прежде всего форму борьбы за личное материальное благополучие. Таковы, по мнению С. Каронина, и истоки складывающейся психологии кулачества. В основе ее С. Каронин, в отличие от народников, видит не низменные инстинкты, а естественное, вызванное ходом исторического развития пробуждение человеческого сознания. Другое дело, что в условиях, когда в жизни господствует «момент», это прогрессивное естественно-историческое явление принимает уродливые формы. Так

было, в частности, и с Петром Сизовым («Братья»), который вовсе не являлся по своей природе извергом и кровососом. Он, пишет С. Каронин, всего лишь «выражал собой личность, понявшую свои права, особу, решившую существовать единственно ради себя, человека, желавшего жить помимо и даже вопреки миру, который Петр презирал». Не дурные инстинкты, а логика жизненных отношений направила умного, способного, энергичного Петра на путь кулачества, со всеми присущими последнему омерзительными качествами.

С. Каронин отдает себе отчет, что Петр Сизов — явление незаурядное. Однако присущие ему черты писатель видит и у других своих героев, которые, пусть и без успеха, но также заняты «ловлей моментов». Таков, например, Мирон Ухов из «Рассказов о пустяках», который вечно, как белка в колесе, вертится в своих грошовых «коммерческих» предприятиях, не приносящих ему, впрочем, никакого успеха; таков зять Гаврилы Налимова — Семен Болотов, уже более успешно ведущий свои копеечные операции, в которые он вкладывает чудовищную энергию, поразительную изобретательность и редкую сообразительность.

Таково, утверждает С. Каронин, *господствующее* направление развития личности в деревне, вступившей на путь капиталистического развития. Однако в деревне были не только торжествующие, но и поверженные, среди которых писатель и замечает совсем иное направление развития личности, появление иных мыслей, иных желаний. Так было уже в парашкинской среде. Вспомним любителя «почитаться» Ивана Иванова, у которого мысли пошли в направлении, все больше уводящем его в сторону от погони за куском. По-иному пытался бороться за свою независимость и «вольный человек» Егор Панкратов. На новой ступени развития, в период господства мелочей и пустяков, процесс зарождения новых мыслей, по мнению Каронина, не только не прекратился, но даже усилился. Все чаще стали появляться различного рода «чудаки», поражавшие «жителей» своим крайним «легкомыслием». Таков, до своего крушения, герой рассказа «Несколько кольев» Тимофей, который «как-то инстинктивно увертывался... избегая чисто-зоологическим чутьем поставленной жизнью западни» и твердо, к великому удивлению товарищей, стоял на своем: «Без двора, так без двора. Что мне о дворе печалиться? Только начни заниматься делом, и не оберешься подлостей разных».

Еще более симптоматична жизненная судьба Гаврилы Налимова, того самого «хозяйственного мужичка», который с таким фанатическим упорством занимался бесплодной погоней за арендной землей («Две десятины»). Конец его мытарств описан в рассказе «Деревенские нервы», где вдруг выясняется, что бесконечная погоня за «шишом» может привести не только к полному «ошеломлению», но и к совершенно неожиданным мыслям: «зачем? для чего?», которые сразу выбрасывают человека из устоявшегося круговорота деревенской жизни.

Если эти крамольные мысли являются Гавриле настолько внезапно, что вконец ошеломляют его, то у Егора Федоровича Горелова («Пустяки») они развиваются уже в более или менее стройную систему

взглядов, ставящих его в резко враждебное отношение к деревенскому «полоумству».

Так, наряду с господствующим в деревне направлением мыслей, С. Каронин усматривает и показывает возникновение иных взглядов, присущих не победителям, а побежденным, неимущим. Но последние — побежденные — чаще всего оказываются и «выпихнутыми», то есть поступают в разряд тех, которых уже в среде парашкинцев называли «кочевыми народами». Что же сулит жизнь тем героям, которые поступают в разряд «кочевых народов», в каком направлении идет их развитие? С. Каронин чрезвычайно внимательно исследует и этот вопрос.

Проблема эта занимала не одного Каронина. Господствующее мнение — мнение народнической критики — сводилось к тому, что отрыв от «почвы», от земледельческого труда приводил к развращению крестьян, приносил им полное нравственное вырождение. К иной точке зрения склонялся уже в шестидесятые годы Решетников, показавший в своих знаменитых «Подлиповцах», что разрыв с идиотизмом деревенской жизни приводит к повышению нравственного и культурного уровня мужика. Иван и Павел, вырвавшись из деревни Подлипной, не только обретают жизнь более сносную, чем та, которой жили Пила и Сысойка, но начинают задумываться над такими вопросами, которые никогда не могли прийти в голову старшему поколению подлиповцев. В своем творчестве С. Каронин подхватывает и продолжает именно эту точку зрения.

Уже в «Рассказах о парашкинцах» он в лоб ставит вопрос, выдвинутый тем же Решетниковым в романе «Где лучше?», и отвечает на него без колебаний — вне деревни лучше. Правда, лучше отнюдь не значит — хорошо. Говоря о том, что вне деревни Дёма («Последний приход Дёмы») «вздохнул свободней», С. Каронин тут же замечает: «Удивительна, конечно, свобода, состоящая в возможности переходить с места на место «по годовому пашпорту». И все же «как ни жалки были условия его фабричной жизни, но, сравнивая их с теми, среди которых он принужден был жить в деревне, он приходил к заключению, что жить на миру нет никакой возможности. Сравнение было решительно и бесповоротно».

Таким образом, уже в двух первых циклах своих рассказов С. Каронин поставил ряд тех важных вопросов, которые составили основное содержание его нового произведения «Снизу вверх» (1883—1886).

Первый рассказ этого цикла «Молодежь в яме» является сгустком, квинтэссенцией всего того, что писал С. Каронин о деревне в своих предшествующих произведениях, имея в виду прежде всего те стороны деревенской жизни, которые порождали таких героев, как Егор Панкратов, Иван Иванов, Гаврила Налимов, Егор Федорович Горелов, являющихся прямыми прототипами Михайлы Лунина.

Михайло Лунин варился в том же котле, что и его предшественники. Характер его складывался под влиянием тех же неожиданностей, с которыми уже сталкивались парашкинские герои. Коротко эти впечатления формулируются так: «Воля и... отчехвостили! Свободное землепашество и... «штука»!» «Штукой» Михайло называл ту «выдумку», которая в семье

Луниных чаще всего заменяла отсутствующий хлеб. Все это, а также быстро выяснившаяся бесперспективность лихорадочных стараний укрепить хозяйство рано пробудила в нем отвращение и ненависть к деревенскому «полоумству». В результате «он вырос столь же темным, как его родители, но более несчастным, чем они, потому что желания его были широки, а средства такие же грошовые». Но сам факт, что желания его были более широкие, чем у его родителей, не замедлил сказаться, быстро поставив его в резко враждебное отношение с деревенским укладом. Так Михайло оказался в армии «кочевых народов», но попал он туда еще несломленным, полным сил, энергии и, на первых порах, жгучих честолюбивых замыслов.

Михайло шел разбогатеть. Он мечтал о собственном доме, хорошей одежде — «пальте» табачного цвета для себя и о зеленом платье для жены. Однажды, когда Василия Чилигина, попавшего в больницу, спросил сосед по койке — «Что хорошо?», Василий немедленно ответил: «Двадцать пять рублей» («Праздничные размышления»). Как видим, Лунин пока что недалеко ушел от среднего уровня темного, забитого нуждой деревенского бедняка, хотя вожделения его действительно по-своему обширны и смелы. В последующих главах повести писатель обстоятельно знакомит нас с той жизнью, которая ожидала в городе деревенских бедняков. Эта жизнь принесла много горьких разочарований Михайле, прямым результатом этих разочарований и явился крутой перелом в его сознании. Постепенно он приходит к выводу, что если и нужно за что-нибудь бороться, так это за волю. «Воля!» — вот в чем секрет, вот что ему нужно, заключает Михайло. И теперь даже те, что имели достаток, сидели, например, в своей лавочке, вызывали у Лунина глубокое сожаление. Он думал о том, «как скучно вообще всем людям, которых он видит; они никогда не делают того, что хотят, и живут всегда так, как им не хочется, потому что они не знают секрета». Теперь он твердо решил, как будет жить. Он будет уходить отовсюду, где вздумают надеть на него веревку, и никто не сможет его остановить и сделать рабом. Кусок хлеба, решает Лунин, он добудет, а богатство уже больше не прельщает его. Так, в новых условиях произошел в сознании Лунина тот коренной перелом, который поставил его в один ряд с уже знакомыми нам героями вроде Егора Федоровича Горелова.

Какой исторический смысл имел этот переворот в сознании мужика, попавшего в разряд «кочевых народов»? Об этом хорошо уже в 1889 году сказал Плеханов в своей статье о Каронине. Плеханов сравнивает Михайлу Лунина с героем очерков Глеба Успенского «Крестьянин и крестьянский труд» — Иваном Ермолаевичем, казавшимся Успенскому идеальным воплощением гармонической жизни земледельца. «В голове Ивана Ермолаевича, — пишет Плеханов, — нет места для каких бы то ни было *вопросов*. Михайло Лунин буквально осажден «вопросами» и способен замучить ими самого неутомимого «интеллигента». Иван Ермолаевич склонен схватить «колебателя основ» и, связав его, как вора, представить кому следует. Михайло Лунин сам не сегодня — завтра примется колебать «основы». Взоры Ивана Ермолаевича устремлены в *прошлое*. Он живет, или хотел бы жить так, как жили его «прародители», за исключением, конечно, крепост-

ного права. Михайло Лунин с содроганием и ужасом слушает рассказы о жизни «прародителей» и старается создать себе возможность иной, *новой* жизни, обеспечить себе иное, лучшее *будущее*. Словом, один представляет собою старую крестьянскую, допетровскую Русь, другой — новую, нарождающуюся, рабочую Россию...»[1] «Когда-то, — писал Плеханов, — во времена мамаевской Руси, все не выносившие государственной тяготы бежали на окраины: на «тихий Дон», на «матушку-Волгу» и оттуда, собравшись в огромные шайки «воровских людей», не раз угрожали государству. Теперь обстоятельства изменились... Покинувшие деревню «кочевые народы» группируются теперь уже не в «воровские» шайки, а в рабочие батальоны, управиться с которыми русскому правительству будет потруднее, чем с удальцами доброго старого времени. В этих батальонах зреет новая историческая сила».[2]

Приведенные суждения Плеханова, стоявшего в это время на позициях революционного марксизма, показывают, насколько зорок и прозорлив был С. Каронин. Было бы все же глубокой ошибкой смешивать взгляды самого С. Каронина с теми марксистскими выводами, которые делал из его жизненных наблюдений Плеханов. Как ни зорок и чуток был этот замечательный художник, подобные выводы были ему еще недоступны. Своего героя он повел по другому пути, пути единственно доступному писателю, являвшемуся представителем не пролетарского, а разночинно-демократического этапа русского освободительного движения.

Итак, Лунин решил по примеру Егора Горелова, вслед за героями романа Решетникова «Где лучше?», пуститься в странствия по России, чтобы не утратить свою свободу, а заодно «посмотреть на все». Так бы оно, видимо, и было, если бы не счастливая встреча с Фомичом, резко изменившая его жизнь.

Фомич не обычный рабочий. Во-первых, он талантливый самородок, сумевший во время бесконечных выволочек и потасовок, к которым сводилось тогда «учение», быстро и неожиданно для хозяев перенять их ремесло. В результате он стал хорошим, квалифицированным рабочим. Потом принимал участие в забастовочном движении, побывал в «пустых местах». Там он сблизился с Надеждой Николаевной — ссыльной, видимо участницей народнического движения, сломленной неравной борьбой. Надежда Николаевна стала женой Фомича. Правда, все это было в прошлом. В настоящее время и жена Фомича и он сам, видимо, совершенно непричастны ни к какой политической деятельности. Однако прошлое не было забыто, поэтому-то они и обратили внимание на Лунина, поразившего их своими необычными речами.

В последнем рассказе — «Чего не ожидал» — мы видим Михайлу неузнаваемо преобразившимся. Из темного деревенского парня он, подобно Фомичу, превратился в интеллигентного пролетария, но счастье не пришло к нему. В сердце Михайлы поселилась неизбывная тоска. Откуда она взялась, в чем ее причина?

---

[1] Г. В. Плеханов. Искусство и литература, М., 1948, стр. 590.
[2] Там же, стр. 574.

Развитие Михайлы после пережитого им перелома не шло в направлении безмятежного счастья и не привело к нему. Раньше он видел страдания своих близких, страдал сам. Теперь знания расширили его кругозор. «Он читает ежедневно, что в Уржуме — худо, что в Белебее — очень худо! а в Казанской губернии татары пришли к окончательному капуту; он читает все это и в миллион раз больше этого, потому что каждый раз ездит по России, облетая в то же время весь земной шар...» Мало этого, только теперь, поднявшись наверх к свету, он впервые до конца понял глубину страданий, непроницаемость тьмы, в которой жил раньше сам и живут теперь его родные и еще миллионы и миллионы других, о которых он узнал и о которых научился думать. Ему кажется, что он стоит высоко на скале, обливаемый лучами солнца, что глазам его открыты бесконечные горизонты, но рядом пропасть, в глубине которой в муках и тьме нечеловечески страдают другие люди. И тогда радость личной свободы сменяется у него тоской и чувством глубокого одиночества. «Пусть меня обливает солнце, — говорит он Фомичу, — а глаза мои могут видеть бесконечную даль, пусть чистый воздух врывается в мою грудь, но зачем мне все это, когда я не могу всем этим поделиться с теми, которые там, в пропасти?..» Так, сам того не понимая, Михайло сделал новый шаг в своем развитии — от стремлений к *личной свободе* он пришел к мыслям о *свободе для всего народа*. Отсюда его тоска. Поднявшись на эту ступеньку, Лунин стал в уровень своих современников — разночинцев-демократов, болевших той же болью. Как сложится его дальнейшая судьба? С. Каронин не пишет об этом, и не случайно. Это был уже не личный вопрос Михайлы, а вопрос всего его поколения, требовавший специального исследования, занимавшего, как и крестьянский вопрос, не одного С. Каронина, а и многих других писателей, его современников, да и не только современников. С подобными же вопросами, с теми же жизненными явлениями столкнется в девяностые годы и М. Горький, продолживший, кстати сказать, и ряд других важнейших тем творчества С. Каронина.

Таким образом, к произведениям об интеллигенции писателя подвела сама жизнь, реальные вопросы русского освободительного движения. Правда, С. Каронин писал в эти годы своей жизни не только об интеллигенции. В своих очерках, рассказах, статьях он затрагивал разные стороны современной действительности, в том числе писал и непосредственно о мужиках, о «кочевых народах», на новом материале возвращаясь к своим прежним выводам, подчас углубляя их. Однако если говорить об основном направлении его творческого развития, то оно действительно привело писателя к вопросу о разночинно-демократической интеллигенции, как основному и главному в этот период.

* * *

Проблема, на которой сосредоточивает свое внимание С. Каронин в конце восьмидесятых и в начале девяностых годов, естественно, не была для него, как и для его современников, новой. Не следует забывать, что это был вопрос и биографии писателя, являвшегося, как мы помним, актив-

ным участником народнического движения. Вполне естественно поэтому, что С. Каронин неоднократно затрагивал его и в раннем творчестве. Однако потребовались годы раздумий, которые нашли свое отраженние в рассказах о деревне, прежде чем писатель получил возможность сделать определенные выводы, высказать об этом жгучем вопросе свое собственное суждение.

В литературе о С. Каронине содержится утверждение, что писатель оставался на позициях реализма лишь в своих рассказах о мужиках, когда же он переходил к повествованию об идейных исканиях интеллигенции, то изменял реализму. В этом случае якобы начинали сказываться народнические предрассудки писателя и настолько сильно, что он становился даже на путь идеализации русского мужика и его быта. С таким мнением нельзя согласиться. С. Каронин и в последний период своего творчества был чужд народническим догмам и никогда не отступал от своих ранних оценок положения в деревне. И все же следует признать, что повести С. Каронина о русской интеллигенции несколько уступают по своим художественным достоинствам его крестьянским циклам. Объяснить это более слабым знанием интеллигентской среды невозможно, потому что С. Каронин сам принадлежал к ней и имел возможность наблюдать ее не меньше, а больше, чем жизнь русского крестьянства. Дело, видимо, в самой теме, в тех ограниченных возможностях ее разрешения, которые открывались перед С. Карониным, как представителем разночинно-демократического периода развития русского освободительного движения.

Как и в рассказах о деревне, в повестях об интеллигенции проявляется прежде всего конкретно-исторический подход писателя к теме. С. Каронин никогда не говорит вообще об интеллигенции, вообще о ее роли и задачах. Речь всегда идет об интеллигенции, поставленной в конкретные исторические условия, которые определяют и ее духовный облик, и направление ее исканий, и жизненную практику. Столь же исторично пытается подойти писатель к оценке жизни и идеалов различных групп современной ему интеллигенции.

Проблемы, которые поднимает С. Каронин, не одинаковы по своим масштабам. Одни из них более широкие, относящиеся вообще к положению интеллигента-разночинца того времени, другие более частные, связанные с оценкой тех или иных идейных течений, впрочем имевших в те годы весьма широкое распространение.

К первой категории относятся два вопроса. Во-первых, это вопрос о месте разночинно-демократической интеллигенции в классовом обществе, о противоречии между убеждениями интеллигента-демократа и той жизненной практикой, которая диктовалась господствующими в действительности общественными отношениями. Второй вопрос — более узкий, о трагедии утраты веры, безыдейности, вызванной наступлением реакции и крушением народнического движения. Отсюда проистекали более частные вопросы, среди которых С. Каронин особенное внимание уделяет толстовству с его непротивлением злу насилием, проповедью самоусовершенствования и опрощения.

Выделенный выше вопрос о судьбах разночинно-демократической интеллигенции определяет содержание двух повестей С. Каронина — «Мой мир» (1888) и «Места нет» (1889).

Одной из основных черт народнических воззрений было «*игнорирование связи «интеллигенции» и юридико-политических учреждений страны с материальными интересами определенных общественных классов*». [1] Представляя себе интеллигенцию как некую надклассовую силу, народники считали, что она не только свою личную жизнь, но и самую историю может направлять по своему разумению. В своих повестях С. Каронин на простейших житейских примерах показывает, как реальная действительность в прах развеивает эти утопические надежды.

В повести «Места нет» писатель рассказывает о жизни двух приятелей интеллигентов-разночинцев. Оба они безусловно порядочные, честные, демократически настроенные люди. И в то же время разница между ними существенная. Один из них, что называется, деловой человек, любящий порядок, имеющий много полезных знакомых, другой — чудак, совершенно не приспособленный к жизни, беспомощный и беззащитный во всех практических делах. Первый — Иван Червинский не только сам всегда устроен, но умеет помочь в устройстве на работу и своим товарищам, второй — Лобанович нигде не может ужиться и вечно оказывается без места. Казалось бы, трудно придумать более безобидную ситуацию. Однако для С. Каронина практичность одного и непрактичность другого лишь внешнее проявление больших, серьезнейших вопросов в жизни современной интеллигенции, впервые со всей остротой поставленных Помяловским в его повестях «Мещанское счастье» и «Молотов».

Интеллигент-разночинец — это пролетарий умственного труда; чтобы жить, он должен работать. Трудно представить себе что-нибудь более естественное, чем это стремление своим трудом заработать средства к существованию. И вдруг оказывается, что осуществить это стремление, даже при наличии работы, не простое дело, так как для этого на практике следует поступиться не только высокими идеями и убеждениями, но и элементарной порядочностью и честностью. Именно с этими трудностями и сталкивался постоянно Лобанович. «Изволь сообразить, — говорит он, — в какую подворотню надо шмыгнуть, чтобы попасть в надлежащее место; изволь обдумать, что сказать и чего не говорить людям, которые это место держали в руках. А когда положение отыщется, надо уметь держать его. А для этого по большей части надо скрыть все свои мысли, за исключением поганых или заваляющих, погасить огонь в душе, оставив лишь несколько головешек, которые бы понемногу курились, делать лишь то только, что велят, и поднимать голову лишь настолько, насколько поднимает ее свинья, когда отыскивает себе корм... А дальше, чтобы удержать добытое с такими неимоверными усилиями положение, утвердиться на нем, требуется великое множество ничтожных подлостей (из которых впоследствии слагается великое свинство)...»

Итак, «ротозейство» Лобановича оказывается на деле следствием его нежелания пуститься по той дорожке, которая неизбежно должна привести к «великому свинству». Но в то же самое время он человек, и человек моло-

---

[1] В. И. Ленин. Сочинения, т. 2, стр. 481.

дой, жить ему чем-то надо. Особенно остро встает перед ним эта проблема, когда он вдруг узнает, что любим, что ему можно и нужно думать об устройстве своей семьи.

Что касается Червинского, то у него была своя теория, которая позволяла ему неплохо жить и уважать себя. «Нынешний век, — говорил он, — век денежного мешка, перед которым все — в том числе ум, знания, талант— попадало ниц. Но этого не должно быть. Интеллигенция в конце концов освободится из-под тяжести денежного мешка. А пока она должна уважать себя и не унывать в борьбе с грузною, но бездушною силой». Трудно сказать, искренне ли верил Червинский в свои слова или только использовал их в виде фигового листка, но он жил спокойно, а между тем копил в душе груз все новых и новых компромиссов.

Таким образом, была не только неумолимая жизненная необходимость «пристраиваться», но и весьма благородная тога, которой можно было прикрыть свои первые шаги в этом направлении, и Лобанович решает тоже «поумнеть». Он принимает подысканное ему место и едет служить на строительство железной дороги. И тут мы воочию сталкиваемся с тем, что означают эти компромиссы на деле. Обстановка, куда нас переносит писатель, знакома и по произведениям его предшественников и по его собственным, таким, например, как «Легкая нажива». Лобанович оказывается свидетелем беззастенчивого грабежа пришедших на заработки мужиков, нечеловеческих условий их труда, голода, эпидемий. Некоторое время он пытается утешить себя тем, что «это его не касается», думает о Кате и обещанном ему хорошем месте на железной дороге. Однако длится это недолго. Жизнь втягивает его в завязавшуюся на строительстве борьбу, и он вынужден вновь покинуть место. В результате Лобанович «сгинул», Червинский же женился на Кате и зажил с ней обеспеченно и уютно, повторив, следовательно, путь, пройденный в свое время Молотовым Помяловского.

Что же это за люди, такие как Лобанович, как складывались такие характеры? Судьба этих людей, по мнению С. Каронина, находится в неразрывной связи с историей русского освободительного движения.

Люди эти получили особую закалку. Их мысли и идеи, по выражению Лобановича, превратились в совесть, вошли в их плоть и кровь. Это было поколение, сложившееся в период шестидесятых — начала семидесятых годов. Но вот оно пережило первый этап разочарований, и тогда встал вопрос — что дальше? «Мыслишки, идеалы, обратившиеся в совесть, — говорит Лобанович, — надо же куда-нибудь поместить. Куда же, спрашивается? Этот вопрос разно решался и решается. Одни помещали свою совесть в различные отчаянные предприятия. [1] Но им удалось только... разработать теорию смерти. Они научились и научили, как надо умирать. Ясно, что это не решение... Другие совсем никуда не поместили совесть и были замучены ею; такие именно и представляют образцы того исстрадавшегося интеллигента, которого теперь на всех перекрестках выставляют на

---

[1] Имеется в виду террористическая деятельность народовольцев (*Г. Б.*).

позорище. Третьи, — и я к ним принадлежу отчасти, — думали как-нибудь помирить свои мыслишки с положением...», но жестоко просчитались.

Так С. Каронин подводит нас к тому, описанному выше кризису, который переживала в восьмидесятые годы рядовая разночинно-демократическая интеллигенция. Жизнь неумолимо ставила перед ней дилемму: или путь компромиссов, или трагическая судьба Лобановича, новоявленного лишнего человека. Нет ничего удивительного в том, что многие и многие встали на путь уступок. Однако не все они, подобно Червинскому, примиряли «мыслишки с куском, душу и брюхо, идеалы и поганые дела». Были и иные опасные пути, которые на первый взгляд вовсе не означали компромисса. Таковы были некоторые идейные течения восьмидесятых годов, искренне увлекшие многих честных, идейных людей. С. Каронин и ставит своей целью показать всю неприглядную сущность этих течений, их полное несоответствие высоким идеям освободительной борьбы. Об этом С. Каронин говорит в «Борской колонии» (1890) и «Учителе жизни» (1891).

В центре «Борской колонии» интеллигент-разночинец Грубов. В отличие от других участников интеллигентской земледельческой колонии, он идейный, прямой и честный человек. Что привело его в колонию, что сделало участником тех трагикомических событий, которые развернулись в Бору? Грубов — в какой-то мере живая биография если не основного ядра народнического движения, то его периферии. «Еще зеленым юношей, — пишет С. Каронин, — он бросился по самому, как ему казалось, прямому пути и угодил в темное место, где просидел столько времени, сколько нужно для того, чтобы постареть». Далее, после долгих лет сидения в «темном месте», он, как и С. Каронин, оказался «в отдаленном пустом крае», где также прошли годы. Потом некоторое время он был в стороне «от шума», но сильно затосковал «в этой мелкой, бесславной борьбе за существование. И вот в это время возникла мысль о колонии».

Глубокое разочарование в попытке осуществить толстовскую идею опрощения наступило у Грубова не только в силу организационной неудачи и не потому, что товарищи его по колонии оказались никчемными людьми. Грубов глубоко разочаровался в самых основах этого мероприятия. «Раньше, — пишет С. Каронин, — он каждый раз убеждался, что сунулся в жизнь не тем концом; здесь же он понял, что сунулся не только не тем концом, но и не туда». Действительно, он бросился осуществлять эту затею потому, что не мог жить без идеалов, без веры, и вот выяснилось, что сама идея опрощения не отвечает и не может отвечать его идеалам. В самом деле, «что может быть идеального в том, что человек вместо сапогов наденет коты, вместо городской квартиры будет жить в избе, и вместо добывания хлеба косвенным путем, прямо будет царапать его из земли? Что идеального в том, что человек головою своей будет подпирать воз с соломой, а душу свою закопает в землю, окружив себя миллионами пустяков? И что идеального будет в жизни человека, который забудет других и займется только своим совершенством? Человек борется против жизненных пустяков и стремится разделаться с ними, а тут ему пустяки возводят в подвиг и в заслугу... В порыве героизма (а такие минуты бывают у многих) он с восторгом сбрасывает

с себя всю низкую, себялюбивую жизненную мелочь, а здесь его садят на место и говорят: сиди тут и копайся в сору, береги свое тело, дыши свежим воздухом, работай здоровую работу — и ты будешь спасен и благороден. Увлечь, — утверждает в заключение Грубов, — можно всем, даже безумной мечтой, лишь бы в ней заключалось величие, самопожертвование, новизна, подвиг ради людей, но увлечь его обыденным сором — никогда!»

Следует признать, что данная в этом произведении критика реакционного толстовского учения опрощения, широко пропагандировавшегося в восьмидесятые годы народнической публицистикой, является наиболее острой и непримиримой среди аналогичных выступлений демократической прессы того времени. Однако С. Каронин не удовлетворяется и этим. В новом своем произведении — «Учителе жизни» он вновь обращается к развенчанию толстовства, обнажая на этот раз его фарисейство, показывая его глубокую антидемократическую сущность. Героиня этой повести — Александра Яковлевна, вдумавшись в блестящие по форме проповеднические речи Чехлова, легко показывает, что все те добродетели, которые содержатся в этом учении, совсем не подходят для народа. «Ваше учение, — говорит она Чехлову, — только для богатых... Все ваши мысли направлены только на то, чтобы помочь богатому, потерявшему от пресыщения всякий вкус к жизни, возобновить свои жизненные аппетиты». Вы требуете от людей совершенства, говорит она, но как может быть совершенен человек из народа, «кто по временам умирает с голода, кто всю жизнь должен проводить в грязи, у кого каждый текущий день — судорожная погоня за куском хлеба, кто безвестно умирает от нелепой случайности... А если вы все-таки требуете от него совершенства, то как же вам не стыдно?» Мысли, высказанные в этих двух повестях Каронина, несколько позже получат свое дальнейшее развитие в творчестве А. П. Чехова.

Выше было сказано, что С. Каронин, повествуя о современной интеллигенции, всегда стремился связать ее взгляды с конкретной исторической обстановкой. Делает это он, как правило, весьма скупо, но весьма выразительно. Так, например, характеризуя в «Учителе жизни» Буреева, всю свою жизнь стремившегося тянуться за господствующими идеологическими течениями, С. Каронин пишет: «Вслед за тем пришло время, когда все кругом него стали называть потолок небом, идеалы — дурацкой сказкой, мечтателей — скучными болванами, и Буреев поддался этому». В нескольких словах тут набросаны характерные особенности эпохи реакции восьмидесятых годов и ее воздействие на умы таких недалеких и несамостоятельных людей, как Буреев. Так же объясняет Каронин разницу в мировоззрении умных, порядочных людей, подобных Александре Яковлевне и Мизинцеву. «Александра Яковлевна, — пишет он, — родилась под глубоким и светлым небом и жила в светлое, горячее время, когда о себе почти некогда было думать; она на опыте знала, как в огне общественного дела очищается сама собою личность». Отсюда ее скептическое отношение к теории самоусовершенствования. Мизинцев же начал свою сознательную жизнь «при полной мерзости запустения, и вся его жизнь сосредоточилась на азиатском идеале — чисто

обставить частный свой двор», не заботясь о чистоте улицы. Отсюда его сочувственное отношение к этой теории самоусовершенствования. Таков принцип С. Каронина в характеристике своих героев. Нетрудно при этом заметить, что чаще всего С. Каронин выделяет две основные эпохи. Одна — эпоха шестидесятых — семидесятых годов, другая — эпоха реакции восьмидесятых годов.

Говоря о периоде реакции, С. Каронин прежде всего стремится показать пагубное влияние на человека безверия, вызванного идейным распутьем и бездорожьем. Специально этой теме Каронин посвятил свою повесть «Бабочкин» (1888). В центре этого произведения человек, отец которого промотал имение, сестра застрелилась, брат пропал в ссылке, жена ушла от него, «нырнув в широкое море жизни». Однако его окружила пустыня не только в семье. «Картонные» и «бумажные» люди, беспринципные дельцы-авантюристы, полное отсутствие не только идейных, но и элементарных умственных интересов — такова обстановка в городе, куда приезжает Бабочкин. «Господи! — восклицал он. — Хоть бы куда-нибудь деться... все бедность, мрак, глупость везде!» В этих условиях все стремление его было направлено к тому, чтобы жить, не вспоминая прошлого и не думая о будущем. Отсюда его весьма странное поведение, маниакальное стремление к развлечениям, за которыми, однако, скрывается боль истерзанной, исковерканной человеческой души. «Так хочется жить!.. — говорит о себе Бабочкин. — И силы есть, и привязанность к жизни, и любовь, и энергия сердца... только веры нет, и не знаешь, как растратить эти силы... Ни во что не верится». Внешняя беззаботная веселость и неизлечимая глубокая душевная боль приводят к неумолимому трагическому концу. Бабочкин кончает жизнь в сумасшедшем доме. «Не столько страстный, сколько веселый, не столько глубокий, сколько яркий, — пишет С. Каронин, — он походил на те цветы, которые распускаются только в мае и пропадают в мрачные времена». С. Каронин, видимо, сознательно поставил в центр своего произведения о трагических последствиях безверия обычного, ординарного человека. Когда утрата веры, цели в жизни приходит к таким людям, как Грубов, страдание их понятно. Каронину важно показать, что такая жизнь трагична и непосильна даже для весьма заурядных людей, если они честны, если они не замкнулись в мыслях о мещанском благополучии.

Таким образом, повествование Каронина о современной интеллигенции не радостно. На долю писателя выпала задача запечатлеть эпоху идейного тупика и плутаний по бездорожью, повседневно порождавших тяжелые духовные драмы. Сила С. Каронина состояла в том, что, рисуя эту эпоху кризиса, он прежде всего боролся с отступничеством и заблуждениями, обманами и иллюзиями, утверждал такие идеи, которые, по его мнению, нужно было, как святыню, пронести через годы безвременья, разброда и шатаний.

В своих воспоминаниях о Каронине М. Горький приводит следующий эпизод: «Мы должны целиком израсходовать себя в пользу народа, этим решаются все вопросы», — прочитал он мне слова из какого-то письма и, барабаня пальцами по листу бумаги, задумчиво добавил:

— Конечно. Ну конечно! А иначе — куда? На что мы?»[1]

«Целиком израсходовать себя на пользу народа» — эта мысль пронизывает все повести С. Каронина об интеллигенции. Как бы ни было пагубно влияние общественно-политической обстановки на человека, конечной причиной крушения человеческой личности С. Каронин считает отрыв от народа, замкнутость человека в самом себе. Об этом он говорит почти во всех своих произведениях. Так, уже Михайло Лунин чувствует, что «если нам не с кем разделить хлеб, который мы едим, он опротивеет нам и встанет поперек горла; если нам некому высказать нашу мысль, она отравит нас, убьет самозаражением». Отчетливее и яснее всего эти мысли С. Каронин высказал в повести «Мой мир» (1888). Здесь нашли свое отражение и другие волновавшие его вопросы.

Герой этого произведения принадлежит к тому же разряду людей, что и Лобанович («Места нет»). У него также «мысли обратились в совесть», и жизнь «без внутреннего мотива, без определенной цели... без убеждений, без веры» кажется ему невозможной. Между тем борьба за существование повседневно толкает его на уступки и компромиссы. Так и у него созревает душевная драма, вызванная «невозможностью слить в одно целое убеждения и поступки, веру и дела, мысль и жизнь». С растерзанными нервами, находясь на грани сумасшествия и самоубийства, вдобавок тяжело заболев в дороге, герой случайно попадает в дом крестьянина Петра Митрофановича и здесь со временем обретает утраченное им душевное равновесие.

С. Каронин берет, следовательно, традиционную народническую сюжетную схему об исцелении на лоне природы, в здоровом труде, среди здоровой среды издерганного, нравственно изболевшегося интеллигента. Однако содержание, которое С. Каронин вкладывает в эту схему, не имеет ничего общего с народническими догмами.

Начать с того, что Варин попадает в деревню, которая ничем не отличается от Парашкинского сельского общества. Мужики здесь так же «ежегодно помирали, но ежегодно весной, вместе с возрождением земли, они воскресали, как умершие и похолодевшие корни растений». Одни мужики рассказывали ему о своих мытарствах на заработках, другие о расстройстве хозяйства, видел он сгоревшего от вина мужика, жестокие семейные драмы, «ругань, эксплуатацию бедняка богачом, подлость бедного против бедного; видел то и дело... как в праздник какой-нибудь мужик летит к кабаку, прижав судорожно женин сарафан к груди, а за ним с воплями бежит жена; видел и толпы пьяных вповалку, и смерть от истощения, и жизнь впроголодь...» Не привлекателен и их мир, где они решают свои дела так же бестолково, как решали их парашкинцы.

На первый взгляд иное впечатление производят Петр Митрофанович и его семья, где царили добрые и дружеские отношения, не было вопиющей бедности. Но и в данном случае перед нами уже знакомая ситуация. Жизнь просто еще не успела «ошеломить» семью, хотя тучи над ней уже собрались. Весной стало ясно, что мерин Петра Митрофановича, которого он считал,

[1] М. Горький. Собрание сочинений, т. 10, 1951, стр. 307—308.

видимо, бессмертным, оказался никуда не годным «брюханом», выявились и другие более мелкие недочеты. Это означало, что и эту, пока что здоровую семью, настиг «случай», после которого их ожидала не жизнь, а обычная парашкинская «судорога». От неминуемой гибели семья была спасена другим «случаем» — помощью неожиданного постояльца.

Свои советы интеллигентам поселяться в деревне либерально-народническая публицистика основывала на двух посылках. Во-первых, это была толстовская проповедь опрощения, благости «хлебного» труда, во-вторых, народническая теория о здоровых «устоях» крестьянской жизни, о гармоническом развитии человека в процессе «крестьянского труда», под влиянием благостной «власти земли». Что собой представляют эти силы, каково их действительное воздействие на человека, и довелось испытать Варину на собственном опыте.

Свою полемику с теорией «власти земли» С. Каронин начал уже в своих крестьянских очерках. Рассказ о жизненной судьбе Гаврилы Налимова («Две десятины», «Деревенские нервы») — это повесть о судьбе новоявленного Ивана Ермолаевича, который также «не только ничего не умел, но и не питал склонности ни к чему, что не касалось бы земли». В очерках, однако, критика «власти земли» шла прежде всего с точки зрения крестьянского разорения, заменявшего «власть земли» властью «болотцев», погоней за «шишом». Теперь С. Каронин подходит к критике этой теории с другой стороны.

На собственном опыте Варин убедился, что секрет мужицкой выносливости, «крестьянского труда» состоит в том, что «живой человек — с нервами, с фантазиями и с раздражением» превращается в «железную или деревянную машину». Наглядным примером такого воздействия «крестьянского труда» на человека является Игнат Иванович, еще один родной брат Ивана Ермолаевича, живое воплощение «власти земли». Он также поражает своей, на первый взгляд «непостижимой логикой, корявыми и тугими мыслями». Но мужики отзываются о нем лестно: «Нескладно говорит, да с корнем». Размышляя над особенностями этого мужика, Варин приходит к такому заключению: «Он был похож на дерево: как дерево, его нельзя было без порчи корней пересадить на другое место. Все новое ему приходилось мучительно... То, к чему он привык, он делал легко, но все, что приходилось заново обдумать, приводило его в расстройство. И, кажется, в этом большую роль играла машина физического труда. Ум рефлекторный, жизнь неподвижная, движения предопределенные, идеи — умершие, — это была машина, работающая изо дня в день, из года в год. Это был специалист, в котором произошло перерождение в одну сторону, в сторону запряженной в воз лошади; умственная и сердечная его половина чуть-чуть светилась. Крайний специалист, он всегда меня ставил в тупик бедностью воображения; весь мир для него сосредоточился в небольшом фокусе плохого земледелия».

Так легко и просто показывает С. Каронин реакционную сущность одного из важнейших теоретических положений народнической публицистики и критики, которое упорно отстаивал не только Н. К. Михайловский, но и такой скептически мыслящий писатель, как Гл. Успенский.

«Не большая заслуга, — пишет С. Каронин, — сделаться работником; не большая заслуга «выпачкать лицо навозом» и в тот же навоз втоптать свою душу. Слепые вожди — те, которые, унижая человеческий ум и все то, что он добыл с такими кровавыми жертвами, проповедуют слияние с тьмой. Позорное употребление из своего ума делает тот, кто поднимает невежество на пьедестал...» Нетрудно видеть, что эти замечательные слова С. Каронина в равной степени относились как к Толстому, так и к либерально-народническим теоретикам и критикам.

Итак, герой С. Каронина считает, что «на свете нет ничего дороже мысли...», что «люди прекрасны только в той мере, в какой вложена в них эта мировая сила». «Кто накормит голодного, — утверждает он, — тот сделает благородный поступок; но в миллион раз выше тот, кто отдаст нищему духом свою мысль, кто напоит его жажду знания, кто научит его чему-нибудь, кто зажжет свет там, где царила тьма». Осуществлению этой задачи и посвящает себя Варин, постепенно все глубже входя в интересы мужиков, выступая и в роли ходатая, и в качестве советчика, и, наконец, просветителя-пропагандиста. И в этой деятельности он находит счастье, нравственное удовлетворение и душевное равновесие, утраченное ранее в борьбе «за свое одинокое существование». Эта деятельность героя позволяет ему показать несправедливость и другого взгляда на мужика, как на существо не только темное, но и неспособное приобщиться к свету и знанию. «Той заскорузлой косности и тупоумия, которые приписываются мужику, — рассказывает Варин, — я вовсе не заметил; напротив, всякое слово, слух, обрывок разговора, кусочек новости — все это жадно подхватывалось деревенским умом и при помощи воображения претворялось в глубокое убеждение, отчего нередко какая-нибудь вещь, возникшая где-нибудь далеко, превращалась в деревне в вычурную сказку; с тем вместе, голодный деревенский ум способен поглотить бесконечную груду знаний».

Так С. Каронин приводит нас к своей основной мысли, высказанной им в разговоре с М. Горьким и несколько в иных словах провозглашенной и в разбираемой повести: «отдать всю свою жизнь, всю свою душу тому, кто лишен средств заботиться о своей голове, — выше этого нет другой жертвы». Впрочем, как мы видели, это даже и не жертва, а путь к настоящему большому счастью интеллигента-демократа. Нетрудно видеть, что в этой, просветительной по своему существу, мысли С. Каронина нет ничего специфически народнического. Вот почему этот завет оказался действенным и для нового поколения деятелей русского освободительного движения.

Позиция С. Каронина не будет до конца ясна, если мы не обратим внимание на еще одну чрезвычайно важную особенность этой повести. Выдвигая задачу служения народу, писатель ни на одну минуту не забывал о самодержавно-полицейском строе, который отнюдь не склонен был потворствовать подобным идеям разночинно-демократической интеллигенции. В этом принципиальное отличие Каронина от либералов вообще, либеральных народников в частности. Не забыл об этом он и в своей повести. Тринадцатая глава ее кончается восторженными словами героя, который настолько исполнен сил, что его не страшат никакие беды и темные силы. Следующая же глава

начинается словами: «Я принужден был уехать». Каронин не раскрывает нам причин, которые заставили его героя покинуть, казалось бы, так хорошо налаженное дело. Мы узнаем только, что ему сообщили об этом в волости, куда он был внезапно вызван, знаем также из беглого упоминания, что, чем более активно входил он в жизнь деревни, тем больше появлялось у него не только сторонников, но и врагов. Однако этот случай и не нуждался в разъяснениях. Хорошим комментарием к нему являются такие произведения самого С. Каронина, как «Грязев» (1881), «Карьера сельского администратора» (1886), говорящие о всесилии полицейского сыска и произвола.

Так замыкается круг основных проблем в творчестве С. Каронина. Как видно, писатель смог только в общей форме ответить на вопрос Михайлы Лунина. Однако ответ С. Каронина, являясь как бы квинтэссенцией идей разночинно-демократического периода русского освободительного движения, был в то же время очищен от специфических народнических наслоений. Именно поэтому от творческого наследия С. Каронина идет прямая дорога не только к А. П. Чехову, но и к М. Горькому. Так, например, нетрудно видеть, что очень многое в произведениях М. Горького девяностых годов и в его повести «Трое» есть непосредственное развитие на новом этапе освободительного движения тех вопросов, которые были поставлены в творчестве С. Каронина, и в первую очередь в его цикле рассказов «Снизу вверх».

* * *

В своих взглядах на искусство С. Каронин был верным последователем материалистической эстетики и критики революционеров-демократов. С сочинениями Добролюбова, Чернышевского он хорошо ознакомился еще в годы своих занятий в семинарии и кружках саморазвития. Свой восторг и преклонение перед их деятельностью С. Каронин попытался выразить в первом же своем большом произведении — «Подрезанные крылья», выразить по необходимости иносказательно, так как писал его, находясь в тюрьме. Он говорит здесь о семинаристах, которые «сумели выдвинуть из себя несколько звезд первой величины, осветивших темное небо русской мысли». Он говорит о том, что они «не останавливались, когда жизнь втыкала в их тело иглы: они были истинные пионеры, закаленные, суровые и беспощадные. Войдя в жизнь, они без колебаний принялись рубить дремучий лес тупоумия и неумолимо делали просеки, не останавливаясь ни перед гадами, кишевшими у их ног, ни перед роями насекомых, которые жужжали вокруг них и жалили их, ни перед болотными миазмами, всасывавшимися в их организм и отравлявшими кровь их, — им было не до того. И не дрожала рука их, когда они рвали на клочки износившиеся умственные лохмотья и пускали их по ветру».

Так же, как все писатели революционно-демократического направления, С. Каронин был непримиримым врагом безыдейности искусства, последовательно отстаивал его высокое общественное значение. В своих заметках «По поводу текущей литературы» он резко выступал против тлетворного влияния эпохи реакции на литературу, «когда слово делается орудием зла и бесчеловечия, когда от него веет холодом и бездушием, когда от него требуется только,

чтобы оно щекотало концы нервов, не доходя до ума и сердца... Тогда на сцену являются «утонченные эпикурейцы», ни во что не веровавшие и неспособные верить, и словесные жонглеры, и холодные, но притворяющиеся горячими эстетики, и грубые, но наглые ремесленники». В такое время, утверждал С. Каронин, особенно важно не столько полемизировать с этими бездарными писаками, сколько напоминать обществу о цене и значении слова, что, по мнению С. Каронина, прекрасно умел делать Щедрин. Однако эту же задачу выполнял и сам Каронин. «Область изящной литературы, — писал он, — так тесно связана с действительною жизнью, так глубоко влияет на эту последнюю, подвергаясь, в свою очередь, влиянию с ее стороны, что деятель этой области должен помнить добро, которое он может сделать, и зло, которое легко может омрачить его работу... Слово, принявшее форму прекрасного, — могучее орудие, и пользоваться им надо как святыней; только чистые сердцем и убежденные умом, только люди с стремлением любви к человеку будут признаны благодетелями человечества, и только они одни заслуживают названия художников». С еще большей определенностью С. Каронин сказал об этом в своем рассказе «На границе человека», герой которого приходит к убеждению, что «только справедливость делает литературу дорогою для людей, только защита всего обездоленного и погибшего составляет ее содержание. Слово имеет свое сердце, и это сердце есть стремление к истине и борьба за все человечное». Нет сомнения, что под этими словами Каронина мог бы подписаться не только Левитов, но и Некрасов, не только Решетников, но и Щедрин.

Творчество Каронина-Петропавловского, как мы уже отмечали, продолжает и развивает традиции разночинно-демократической литературы шестидесятых годов, сложившейся под непосредственным идейным и эстетическим воздействием Чернышевского и Добролюбова. Близко соприкасается творчество С. Каронина с талантливым исследованием народной жизни у Глеба Успенского. С. Каронин несомненно уступает Успенскому в широте и разносторонности охвата явлений действительности. Не следует также забывать и о том, что С. Каронин шел по следам своего старшего современника и несомненно многому учился у него. При всем том С. Каронин оставался оригинален и самобытен в своем творчестве, а в ряде случаев, как мы видели, оказался гораздо более политически трезв и историчен, чем Успенский.

Так же, как большинство писателей разночинцев-демократов, С. Каронин в основном тяготел к жанру очерка и короткого рассказа, откровенно подчиненных задаче «изучения» различных сторон русской действительности, и поэтому публицистичных в самой своей основе. Публицистично и творчество Каронина. Однако художник и публицист не соприсутствуют в его творчестве, а сливаются воедино в системе художественных образов, которые говорят сами за себя и не нуждаются в комментариях. Публицистичность писателя сказывается, следовательно, в самой структуре его художественных образов, а точнее — в принципах типизации явлений действительности. Как видно из анализа произведений писателя, каждый персонаж рассказов С. Каронина является как бы живым воплощением определенных социально-экономических явлений, или даже определенных их сторон. И это

не случайно. Такова была сознательная установка автора. По воспоминаниям писателя Мачтета, С. Каронин утверждал, что беллетристам «пора оставить *типы людей*, которых у нас наберется целая портретная галерея, а изображать одни *типы общественных явлений*, пользуясь для этого людскими типами лишь как средством, очерчивая их слегка, поскольку это нужно для главной цели». [1]

Такой художественный метод не был новостью. В русскую литературу он был введен Гоголем и получил широкое распространение в разночинно-демократической литературе шестидесятых — семидесятых годов, однако преимущественно в той ее части, которая оказывалась чуждой народническим влияниям. Действительно, для осуществления этого принципа, для создания художественно убедительных, правдивых образов, являющихся «типами общественных явлений», требовалось глубокое проникновение в сущность этих явлений. Народники не признавали объективных законов развития общества, считали, что мыслящие личности могут по своему усмотрению и разумению направлять и изменять ход исторического развития. Все это не способствовало глубокому пониманию исторических явлений, — вот почему писатели, находившиеся под влиянием народнической субъективной социологии, оказывались или неспособными осуществить этот творческий принцип, или не удовлетворялись им.

Писатели просветительского направления были, как мы уже отмечали, чужды такому отношению к историческим явлениям. Их воззрения отличались историческим реализмом, который позволял им глубже других современников постигать общественные явления их времени. Вот почему полнее всего указанный выше принцип создания «типов общественных явлений» был развит в творчестве революционера-демократа Салтыкова-Щедрина. Поэтому мы имеем основание этот принцип, положенный С. Карониным в основу его художественного метода, назвать щедринским.

С. Каронин весьма последовательно проводит свой отказ от прямого авторского вмешательства в ход повествования. Он совершенно чужд сентиментальности, присущей таким писателям-народникам, как Златовратский. Внешняя сдержанность, даже холодность, является отличительной чертой его стиля. Но эта сдержанность и холодность вовсе не свидетельствуют о безразличном отношении автора к изображаемым явлениям действительности. Для Каронина это средство воспроизведения обнаженной правды жизни, которая сама собой должна вызвать необходимую реакцию читателя. Вот, например, как он описывает выбор ходоков в «Светлом празднике»: «Для этой цели они выбрали Тита, самого древнего старика во всей деревне, которого в течение его длинного века секли и лозьем и плетями, следовательно, в высшей степени опытного; на подмогу же ему дали солдата Ершова, об которого также был обит, во время его службы, может быть, не один воз палок; одним словом, выбрали самых мудрых людей и послали их в ближайший город».

---

[1] Г. Мачтет. Николай Елпидифорович Петропавловский. — «Русские ведомости», 1892, № 133.

Однако внешняя холодность и сдержанность скрывают другой существенный признак каронинского стиля. Если внимательно присмотреться к подобным «беспристрастно-сдержанным» описаниям, то легко увидеть, что в основе их лежат иногда более, иногда менее замаскированная ирония, а подчас и сарказм. Действительно, разве не заключает в себе горькой иронии приведенная выше фраза, в которой степень мудрости деревенского «жителя» всерьез ставится в прямую зависимость от количества обломанных о его спину палок? И так на каждом шагу. Вот Каронин совершенно спокойно, без видимого проявления эмоций, описывает, как «его превосходительство» обратилось с вопросом к «сопровождающему лицу» и как последнее затруднилось в ответе, «хотя знало Сысойский уезд так же хорошо, как знает хозяин свой скотный двор». Тут нет никаких прямых оценок, никакого прямого свидетельства авторского отношения к изображенным лицам, однако последнее замечание, брошенное как бы вскользь, сразу придает этой картине нужный автору эмоциональный, а вместе с тем и смысловой оттенок.

Ирония, присущая каронинскому стилю, подчас проявляется и более обнаженно. Так, говоря о странности тех форм, которые принимают в деревне такие понятия, как «закон», «право», «справедливость», С. Каронин пишет: «Закон представляется в виде здоровенного Васьки; право переходит в формулу: «должен честь знать»; справедливость вдруг превращается в похлебку. А орудиями осуществления этих понятий являются: чугун, кулак, зубы и ногти». Чаще всего подобные замечания автора представляют собой характеристику каких-то важных явлений действительности, которую Каронин всегда стремится дать в образной форме, построенной по принципу неожиданного, на первый взгляд, парадоксального сближения понятий и явлений, казалось бы, не имеющих между собой ничего общего. В результате складываются краткие, до предела сжатые и в то же самое время чрезвычайно емкие по своему смыслу иронические или сатирические образы-характеристики, которые можно назвать своеобразными художественными формулами, заменяющими Каронину пространные оценочные описания и характеристики. Таково, например, его определение открывшихся мужикам итогов реформы 1861 г.: «Воля и... отчехвостили! Свободное землепашество и... «штука»!» Такова же его характеристика эпохи реакции, времени, когда стали «потолок называть небом, идеалы — дурацкой сказкой, мечтателей — скучными болванами». Такими «формулами» становятся у Каронина подчас и отдельные слова, например «случай», «момент» и т. п.

Достаточно приведенных примеров, чтобы увидеть, что мы имеем дело с такими художественными приемами, которые нашли свое наиболее совершенное развитие в творчестве Щедрина, а также весьма широко были использованы Гл. Успенским. И это не случайно. На самом деле, для того чтобы создавать такие художественные «формулы», звучащие как определения-афоризмы, нужно было прежде всего все то же умение улавливать глубокую сущность наблюдаемых явлений. Так за стилистической общностью вновь обнаруживается общность идейная, которая и дает реальное основание отнести Каронина к числу писателей щедринского направления.

В 1889 году в одной из своих заметок «По поводу текущей литературы», печатавшихся в «Саратовском дневнике», С. Каронин писал: «Мы живем в такое нервное и мучительное время, когда нет возможности мирно и долго работать, когда на работу остаются лишь короткие минуты, а все остальное время убивается на бесплодную борьбу с обстоятельствами, не имеющими ничего общего с литературой...» Это замечание писателя полностью относится к нему самому. Действительно, Каронин начал писать, как мы помним, в тюрьме и продолжал свою творческую деятельность в тяжелых условиях ссылки. Он бедствовал в ссылке, жил впроголодь позже, в волжских городах, кое-как перебиваясь своими скудными литературными заработками. Весною 1888 года в Нижнем Новгороде его посетил А. М. Горький. Вот условия жизни и работы Каронина, как их описывает Горький: «Мы в узкой, тесной комнате, и первое, что бросается мне в глаза, — в ней нет стола, нет книг. У стены — койка, один ее конец выдвинут немного на середину комнаты, на подушках лежит пирожная доска, на доске — недописанный лист бумаги, несколько таких же листов — на стуле, по примятой постели видно, что человек писал, сидя верхом на койке, а столом служила ему пирожная доска». В другой раз Горький видел, как, сняв с себя жилет и кожаный пояс, писатель продал их за 17 копеек. «Когда я поздоровался с ним, — пишет А. М. Горький, — он сказал, надевая пиджак: — А я вот продал часть своей шкуры. Так-то, барин! Чтобы работать — надо есть...» [1]

Такие условия существования не могли не привести и привели к катастрофе. Каронин ушел из жизни далеко не исчерпав своих возможностей, будучи полон творческих замыслов и планов, которые так и остались неосуществленными. Однако, как ни трудно сложилась жизнь писателя, он, как свидетельствуют все современники, никогда не жаловался, да, видимо, и не умел жаловаться на свою судьбу. Мужество, самоотреченное, всепоглощающее служение высоким идеалам были не только творческим, но и жизненным девизом Каронина.

«Удивительно светел был этот человек», — писал о Каронине М. Горький. Эти слова М. Горького хорошо характеризуют этого замечательного человека — писателя и гражданина, все свои силы без остатка отдавшего благородному делу борьбы за справедливость, свободу и счастье своего многострадального народа, в безграничные силы которого он, несмотря ни на что, непоколебимо верил.

Г. Бердников

---

[1] М. Горький. Собрание сочинений, т. 10, 1951, стр. 291, 307.

РАССКАЗЫ О ПАРАШКИНЦАХ



СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК

(Из детских воспоминаний)

В одном из темных углов России, вероятно, в скором времени выплывет «дело о сопротивлении законным распоряжениям властей». Как и всегда в таких случаях, все дело с начала до конца основано на недомыслии, на недомолвках и полнейшей темноте лиц, запутавшихся в процесс. Дело вышло, конечно, из-за земли... Странно, что у нас беспрерывно, в продолжение сотен лет, идет страдальческая борьба из-за земли, то есть из-за такой вещи, которой во многих местах девать некуда и которая так валяется никем не занятая и пустая на сотни верст... Как бы то ни было, но в названном темном углу дело произошло из-за нескольких ничтожных клочков сенокоса. Во время раздела клочки эти помещены были в план владельца, но владелец *забыл о них;* крестьяне двадцать лет пользовались ими, но не знали, что «по планту» они не принадлежат им. Такова завязка. Никаких недоразумений между владельцем и крестьянами не происходило. Но вот старый владелец продает свое имение в руки живоглота; живоглот берет «плант» и в одно мгновение соображает, что «энти клинья» мужикам не принадлежат. И с этой поры начинается дело. Новый владелец допекает крестьян постановлениями мирового судьи, мирового съезда

и т. д., а крестьяне обороняются вилами, косами и другими земледельческими орудиями, в полной уверенности, что стоят на почве закона. Оканчивается нелепая возня тем, что обороняющихся предают суду. Трудно здесь даже и винить кого-нибудь. Виновато больше невежество, разлитое грязным морем по лицу русской земли и отравляющее самые светлые минуты нашей жизни. Предлагаемый рассказ из детских воспоминаний относится к давно минувшему, но тогдашние события и теперь воскресают ежегодно перед нашими глазами, воскресают в тех же самых формах, при той же самой обстановке, на той же почве темноты и невежества... и, быть может, наш рассказ многое напомнит тем судьям, которые в скором времени будут разбирать дело вышеупомянутого глухого угла.

Началась весна 61-го года. Нагреваемый нежными лучами мартовского солнца, воздух был теплый. Снега таяли. Поля обнажились. Небольшая речка, пересыхавшая летом, теперь вздулась, готовая разломать сковавший ее лед. По улицам деревни стояла уже грязь.

До глухой деревни «воля» дошла только в конце марта. Ее привез исправник из города и местный благочинный. Когда разнеслась весть об их приезде, мужики моментально собрались около церкви, собрались все поголовно, до малых ребят включительно. Церковные двери отворили, и толпа сейчас же заняла весь храм. Взрослые поместились во внутренности его; бабы с ребятами стояли на паперти, а все подростки заняли ограду и цеплялись за оконные решетки и подоконники, чтобы наблюдать за происходящим в церкви.

Во время чтения манифеста стояла мертвая тишина: старики удерживали душивший их кашель; матери успокоивали грудных ребят.

После того мужики двинулись к барской усадьбе, где их ожидал исправник. Впереди бежали сплошной массой взрослые мужики, за ними спешили бабы с грудными ребятами, а по бокам подростки. Никто не обращал внимания на лужи и зажоры. Толпа бежала прямой дорогой, и начиная от самой церкви вплоть до барского крыльца прошла широкая полоса сплошной и превращенной в кашу грязи; на поверхности же вспененных луж долго еще стояли пузыри, — это мужики шли.

И когда они пришли к усадьбе, то были вымазаны с ног до головы брызгами грязи, так что седой исправник был сначала смущен при виде этой толпы, всклокоченной и устремившей на него сотни глаз. Однако, оправившись от смущения, он принялся объяснять смысл воли. Но бедный старик только путался в словах. Он умел только браниться при объяснениях «с этим наро-

дом». Бывало, собрав мужиков, скажет: «Эй вы, канальи! так и так вас!» — и знает, что его поняли. А тут пришлось объясняться длинными словами и разговаривать без всяких вспомогательных восклицаний. Мучил, мучил он себя и круто кончил, спросив, поняли ль его.

Мужики молчали. Они как будто оцепенели. Превратившись в слух, они неподвижно стояли на месте. Взрослые не обмолвились между собой ни одним словом; старики кашляли; старухи вздыхали, а грудные ребята плакали, — вот все звуки, какие услышал старый исправник. Укорив их в бесчувствии, он обратился к ним с последними словами:

— Теперь вот у вас воля, ну и благодарите бога. Молитесь, радуйтесь, н-но чтобы у меня чинно! Боже упаси вас, если вы разведете там какие бунты! Если же с барином затеете смуту, так вам таких!.. Одним словом, ведите себя смирно, а не то...

Старик хотел прибавить еще кое-что, но удержался, положительно не зная, как *теперь* говорить «с этим народом». Скоро он отпустил всех по домам. Мужики послушно разошлись, так же молчаливо, в таком же оцепенении, как они слушали объяснения исправника.

Весть была настолько неожиданна и велика, что обыкновенное, пошлое слово никто не хотел произнести, а подходящих к великой минуте слов еще ни у кого не находилось. Требовалось некоторое время, чтобы мужики что-нибудь поняли и заговорили.

Но уже на другой день на рассвете многие очувствовались.

В сердце проникла великая радость, как будто солнце заглянуло в мрачный погреб, куда до сегодня ни один луч не заглядывал. Еще хорошенько не рассвело, как уже вся деревня поднялась на ноги. Трубы задымили, ворота раскрылись, и люди высыпали на улицу; но нигде не слышно было шумных голосов. Встречаясь, мужики смотрели друг другу в глаза, улыбались и разговаривали о погоде.

— Вот какое бог послал тепло!..

— Тепло!

— Должно, на Святую вёдро будет...

— Да, конешно, ежели вёдро, то уж холодов не будет...

Говорили это, а сами чувствовали совсем другое, что-то необыкновенно радостное.

Только мало-помалу стали на деревне заговаривать о будущем. Но при этом никто не знал, что такое воля, какие есть у человека права, что ему нужно и что дано волей. Прошедшая крепостная жизнь не могла научить их свободе, а времени для раздумывания мужикам не было дано. Ходили между ними разные слухи раньше, но они плохо им верили. Господ призывали обдумывать волю, а мужиков нет. Господа заранее знали, чтó требо-



вать, а мужики не знали. Господа наперед решили, как воспользоваться волей, а мужики не решили. Для них воля явилась нежданно, без их участия, помимо их мыслей, и с ней у них не соединялось никакого смысла, кроме какого-то смутного счастия.

Наконец они стали разговаривать, причем оказалось, что, во-первых, у них не было никакого представления о новой жизни, а, во-вторых, разговоры их вышли такими, что лучше бы уж молчали они! Это было в конце Святой. Возле одного дома случайно сошлось много народу; незаметно возник вопрос, какая теперь будет жизнь. Никто ничего не знал и не понимал. Позвали солдата Ершова, который раньше пускал слухи о воле, когда о ней еще никто не думал, и который считался человеком «с башкой», тем более что он был под Севастополем. Призвали его и стали расспрашивать.

— Ну, как?.. в каком роде? — спрашивали его.

— Да как вам сказать, братцы... Одно слово — воля! — отвечал он.

— Воля-то воля, да в каком она смысле?

— В смысле-то каком? Конешно, в вольном. Например, что хочешь, то и делай. Ежели захочешь ехать куда — ступай, а не захочешь — сиди... Девку замуж вздумаешь выдать — выдавай. Одно слово — все.

— Девку-то можно же выдавать?..

— Да как же! Чудаки вы, право! Конешно, все можно, ни к кому ты не касаешься больше.

— Ну, а барин куда же?

— Этого я сказать не могу — куда, но, должно быть, жалованье ему будут выдавать.

— А мы теперь куда же отойдем?

— К себе. Чудаки, право!..

От этого ответа все засмеялись.

— Кто же нас будет наблюдать? Какое начальство теперь будет над нами? — продолжали спрашивать мужики.

— Да мало ли какое! Всякое. Без начальства не останемся.

Все опять засмеялись. Но Ершов был смущен и сконфужен, потому что относительно этого предмета он и сам ничего не понимал. Его ответами, впрочем, мужики вполне удовлетворились.

— Теперь, скажи нам, как насчет того, чтобы пороть! Будут?..

— Пороть — я не знаю. А так, ежели подумать хорошенько, то без этого дело не обойдется, потому что никак нельзя.

— Без порки-то?

— Видите ли, оно как надо понимать: ежели который, скажем, мужик забалуется, — так что же с ним делать? Ведь поучить беспременно следует?

— Известно, следует, ежели который... ну, а всех прочих-то?

— Тех драть не станут. Для этого и будет начальство приставлено, которое и станет рассуждать, кому сколько. Вот в чем штука-то вся!

Мужики остались довольны словами Ершова.

— Еще скажи ты нам, служба, вот об каком деле. Ежели я, примерно сказать, что́ заработаю, так ведь это уж мое кровное?

— Конешно, твое! Чудаки вы, право!..

Как ни были смутны понятия мужиков о совершившемся в их жизни перевороте, но самое это слово «воля» действовало одухотворяющим образом на их темную мысль, спавшую в продолжение сотен лет. Мало-помалу они стали оживать и вести веселые, хотя и неумные разговоры. Началась весна; деревья расцвели, поля зазеленели; природа воскресла.

Первые весенние работы исполнены были в деревне быстро и весело; люди как будто играли во время работы. Случилось так, что с барской усадьбы не могло прийти никакой неприятности. Старого барина не было вовсе в это время в России — он где-то за границей жил; молодой барин был в Питере, да он и не вмешивался еще в отцовские дела. В усадьбе жил один управляющий из вольноотпущенных; его мужики ненавидели, но и он скоро уехал, вернее бежал. Несколько мужиков, под веселую руку, предупредили его, чтобы он лучше уходил подобру-поздорову, ежели не хочет получить какой-нибудь неприятности, и управитель не заставил себя долго ждать. Начальство также в это время почему-то не показывалось.

Оставшись одни хозяевами, мужики принялись распоряжаться в имении. Прежде всего они постановили осмотреть свои обширные владения и освятить их. Они пригласили церковный причт и пошли по полям с иконами, служа во многих местах молебны. Они каждый кустик в имении знали, но надо же было вступить во владение! Теперь они рассматривали свою землю глазами хозяев, наперед распределяя полосы пашен, лугов, лесов, где какие работы должны быть.

День стоял жаркий, безоблачный. Солнце ярко горело; поля уже сплошь покрылись растительностью. Восторженные мужики шли безостановочно по полям, по долинам, возле лесов, по лугам, между болот и зарослей и всё осматривали с восхищением, как будто пришли на новую, неведомую землю. А останавливаясь, они окружали аналой, где читал и пел причт, и жарко молились, прося у бога урожая для их обширных полей, благословения на всю землю, наконец отданную им, и счастия для них самих. Избороздив все имение, везде помолившись, мужики только поздно вечером возвратились в деревню, утомленные, с лицами, покрытыми пылью, с запекшимися губами, но в радостном настроении.

Других распоряжений, задуманных уже, чудаки не успели сделать, потому что стали между ними ходить в это время темные слухи насчет земли, будто она еще нисколько не принадлежит им, да и принадлежать не будет, так что напрасно они шлялись по чужим полям... Это сначала всех рассердило. Но когда слухи снова возникли, мужики не на шутку встревожились. Земля — это все, что для них было ясного в объявленной им воле. Смутно сознавая свои человеческие права, они взамен того хорошо чувствовали то, что́ у них было под ногами, что́ они орошали по́том своим, чем жили, что любили, — словом, землю. До этой минуты никому из них не приходило в голову, что земля не принадлежит им: что́ другое, а уж земля-то, думали они, вся целиком ихняя, кровная, с испокон веку определенная им. Без земли они и не мыслили о себе.

Однако слухи продолжали ходить.

До крайности рассерженные и встревоженные, мужики собрали бурный сход, где порешили навести справки в городе. Для этой цели они выбрали Тита, самого древнего старика во всей деревне, которого в течение его длинного века секли и лозьем и плетями, следовательно, в высшей степени опытного; на подмогу же ему дали солдата Ершова, об которого также был обит, во время его службы, может быть, не один воз палок; одним словом, выбрали самых мудрых людей и послали их в ближайший город.

Принесенные ими вести были хорошие.

— Ну, ребята, ничего, дело наше ладно. Точно, воля. А насчет земли спокойно. Говорят, приказано дать крестьянину отдых, чтобы он трудился, молился и благодарил.

Но едва прошло несколько времени после прихода ходоков, как появились опять дурные слухи. Из окрестных поместий, в особенности из Чекменя, дошли слухи о какой-то ссоре с барином. Все снова встревожились и послали своих ходоков.

На этот раз старик Тит и солдат Ершов принесли злые известия. Сейчас же собрался сход. Ходоков окружили. Солдат Ершов сказал:

— Ну, ребята, дело, слышь, плохо. Земля-то, говорят, ведь барская! то есть какое распоряжение с ней он сделает, барин-то, то и ладно. А нам по положению следует малая толика... например, вот как: курица ежели выйдет со двора, и то нечего ей будет клевать!

— Как курица? — закричали на сходе некоторые, взбешенные на солдата.

Ходоки в свою очередь также разозлились.

— Да вот так же! Понимай, как знаешь! — отвечал Ершов.

— Да ты не путай, а рассказывай, что и как?

— Больше и рассказывать нечего! Имение не вам принадлежит — вот больше и ничего!

— Куда же оно денется?

— Уж это не мое дело — куда! — угрюмо возражал Ершов.

— А куда же мы?

— К черту лысому, должно думать! Говорят вам, дурачье, что земля не ваша!

Это второе известие потрясло мужиков. Глубокая тишина водворилась на том месте, где они стояли. Сердце этой за минуту бурной толпы теперь как будто перестало биться.

И с крепостным правом-то они мирились потому только, что оно отдало в их руки всю землю, а тут «воля» вдруг отнимает у них вековое наследие. Нет, это невозможно, тут фальшь есть!..

Придя в себя, бывшие на сходе сейчас же приняли свои меры. Ребят и баб они удалили со схода, чтобы осталось в тайне все, что они решат. Когда болтливый элемент был удален, собравшиеся единогласно постановили: «который читали манифест, и тот считать фальшивым; землю не отдавать; начальство будет уговаривать — не поддаваться; ежели же землю сило́м станут отбирать, то умирать. И стоять друг за друга крепко». Наконец еще решили, что «ежели приедет начальство, чтобы выспросить о намерениях, то вполне молчать».

Сделав эти распоряжения, мужики снова повеселели. Мужество к ним возвратилось. Их дух окреп. Созданная ими вначале фантазия теперь поддерживала их мужество. У них была глубочайшая вера в правду, пришедшую вместе с волей, и не их вина, если им вначале никто не растолковал действительного порядка вещей, созданного волей, так что им пришлось довольствоваться собственными измышлениями.

Они решили защищать свои сказочные владения.

От времени до времени они верхами объезжали поместье. Кроме того, всю землю они разбили по душам на будущий посев; разделили также леса, причем часть их вырубили и стали топить печи, а господских полесовщиков, сопротивлявшихся такому дележу и своевольству, пригрозили побить малость.

Скоро об их поступках узнали, и если начальство долго не обращало на них внимания, то потому, что в других местах, например в соседнем Чекмене, борьба грозила дойти до крайности. Наконец и в нашу деревню приехал исправник. Остановившись в барском доме, он велел собраться мужикам. Мужики собрались. Обе стороны были взволнованы, но каждая скрывала свои чувства. Положение было такое: старик исправник желал от всей души хорошенько выругать мужиков, надавать им хороших затрещин и приказать исполнить требование его; бывало, он так и делал: выругается, вышибет несколько зубов, собьет несколько мужиков с ног — и убедит в справедливости своих мнений. А теперь, сознавая необходимость какого-то другого отношения, он дрожал внутренно, ибо не знал, как с этим народом говорить. Другая сторона — мужики — также недоумевали, как быть им; они бы и сказали всю правду, а ну, как начнет по мордам бить! В высшей степени взволнованные, они должны были тем не менее молчать.

Когда исправник вышел на крыльцо, то стороны с минуту наблюдали друг за другом и только после этого начали объяснение.

— Здравствуйте... как вы поживаете, *господа*, — начал исправник с негодованием.

— Слава богу, ваше благородие, помаленьку...

— Это хорошо. Но до меня нехорошие слухи дошли про вас...

— Мы, ваше благородие, ничего...

— Будто вы, *господа*, начали по-своему толковать волю; мечтаете там о чем-то, а?

— Мы промежду собой, ваше благородие... Потому как мы народ темный... — говорили некоторые из собравшихся мужиков.

— То-то «промежду собой»! А зачем вы управляющего прогнали?

— Он, ваше благородие, сам задрал хвост и убёг!..

— То-то «задрал хвост»! Вам дали волю, а вы на первых порах безобразие учинили!

Мужики промолчали.

— А зачем вы землей господской завладели? Ведь я толковал вам, что землю вам нарежут, сколько следует?

Мужики молчали.

— А зачем вы от работы отлыниваете? Ведь толком сказано вам, что все еще должны работать на господина. Зачем же вы упрямитесь? Земля еще не ваша, условий с барином вы еще не заключили, от барина еще не отошли совсем, и я читал вам все это, а вы порете свое... Вы — сущие быки!

— Конечно, ваше благородие, люди мы, можно сказать, темные... Это верно... уж это как есть!.. правильно вы говорите! — кричали мужики, виляя.

— Я вас теперь раз навсегда спрашиваю: намерены вы бросить свои глупости? — сказал исправник, побагровев.

— Да мы, ваше благородие, ничего такого!..

— Я вас спрашиваю: намерены вы бросить свои глупости?

— Позвольте, ваше благородие, нам подумать промежду собой...

— Ну, смотрите... Кончится тем, что вам, господа, рубашки заворотят... Некогда мне теперь болтать с вами, н-но смотрите!

На этот раз мужики выдержали молчанку; но это не могло долго продолжаться. Они чувствовали, что принуждены будут раскрыть карты. От этого мужество их не ослабло. Напротив, после решимости обнаружить свои намерения на них снизошла сила отчаяния, так что, когда стало наведываться начальство, они уже прямо смотрели ему в глаза, отвечая отчаянно.

Сперва приехал становой. Растолковав им волю, раскрыв их намерения, представив все последствия, он убеждал их оставить глупости и потом спросил:

— Согласны?

А они всей кучей отвечали:

— Согласья нашего нет.

Вслед за становым приехал другой какой-то начальник, названия которого они не знали, и также спросил:

— Соглашаетесь?

И они отвечали:

— Не соглашаемся!

Тогда им объявили, что их усмирят. Они держались и после этой угрозы, и потому только держались, что в прежней своей жизни привыкли, раз начав какое-нибудь пропащее дело, стоять за него до последней глупости. Так случилось бы и теперь. Они собрали последний по этому делу сход и решили «стоять за правду твердо, а в случае чего — помереть». Но их положение было таково, что они и помереть уже не могли. Они увидали свет; они уже привыкли к мысли о грядущем счастии; они уже глубоко верили в свою фантазию, и лечь после этого в гроб, отказавшись от светлого вымысла, — нет, этого они не в силах были сделать!

Они до конца, до самой смерти хотели утверждать, что имение им отдано, но уже не верили, что из этого выйдет что-нибудь.

Именно поэтому они задумали в эти дни проститься со своей землей, явившеюся им во всей красоте майского наряда. Они чувствовали, что им больше не видать ее.

В светлый день, с раннего утра, когда не высохли еще капли утренней росы, когда по лесам еще стояла прохлада, а ветерок чуть-чуть только начинал колыхать вершины деревьев, как бы желая разбудить их от ночной дремоты, мужики собрались за деревней и пошли в поле. В последний раз они желали взглянуть на свое великолепное поместье и расстаться с ним навсегда.

Сначала, пройдя выгон, они вошли в пашни. Здесь они стали с грустью рассчитывать, сколько бы земли досталось им на душу. Высчитали — много! Потом они вошли в лес, где осматривали толщину деревьев, качество и количество их, причем убедились, что одних прутьев и валежника им надолго бы хватило; но и прутьев им не достанется. Простившись с лесом, они попали в луга, которые в этот год, как нарочно, были сочные, высокие, густые. Но у них не будет и сена! Бросив последний взгляд на это волнующееся море зелени, мужики перешли вброд реку и посмотрели на столб, служивший гранью между их поместьем и соседним владением. Здесь они отдохнули и пошли назад домой. На возвратном пути им так стало скучно, что они уже ни на что не хотели взглянуть, стараясь забыть свою невозвратную потерю. Вблизи уже деревни они начали ссориться между собой. И домой воротились злые. При этом некоторые мужики побили баб, некоторые напились водки, а некоторые просто ругались нехорошими словами до полуночи.

Через несколько дней пришло известие, что в Чекмене уже поставили «секуцию». Это сильно подействовало на наших мужиков: они замолчали, прекратив всякие разговоры о воле.

Последнее их распоряжение состояло в том, что они отправили в Чекмень верхом на лошади гонца, лучше сказать соглядатая, наказав ему в случае чего скакать во весь дух обратно. Целые сутки прошли в ожидании. Наконец позднею ночью на вторые сутки прискакал соглядатай, как сумасшедший, слез с лошади, брюхо которой раздувалось, как раздуваемые меха, и сказал тихо, едва переводя дух от волнения:

— Чекменских мужиков секут!

Когда эта весть разнеслась по деревне и быстро собрался сход, то все собравшиеся поняли, что чекменское поражение, в котором чекменцы разбиты наголову, есть и их поражение, после чего без слов разошлись по домам.

Наутро взошло солнце, ярко осветив все закоулки деревни, но улица долго стояла пустая, как будто население вымерло все, и когда сюда пришла «секуция», то ей делать было нечего. Мужики наши отказались от своей светлой фантазии. Но еще темнее стало на их душе.



БЕЗГЛАСНЫЙ

Что он был безгласен — это пункт, противный мнению всего парашкинского сельского общества, к которому причислена была его душа, означенная в ревизских сказках под именем Фрола Пантелеева; и если бы кто взял на себя смелость утверждать, что Фрол Пантелеев мало пригоден в тех случаях, когда требуется способность ходить по прихожим и умолять, и стал бы приводить тот всем известный факт, что Фрол Пантелеев любит молчать, а при необходимости — выражаться кратко, то все парашкинцы с недоумением опровергли бы подобную клевету, приводя многочисленные свидетельства в пользу Фроловой способности подвергать себя всем печальным невыгодам гласности.

После того как парашкинцы получили право открыто говорить о себе при посредстве гласных учреждений, Фрол, в качестве единственного письменного человека на все общество, еженедельно доказывал свою письменность на деле, так что известность его как письменного человека и, пожалуй, как ходатая была настолько обширна и прочна, что он и сам в конце концов убедился в невозможности не писать и не тыкаться от одного начальства к другому.

В просьбах о ходатайстве он отказ считал немыслимым. Часто он предавался в руки своих клиентов с отчаянием, потому что должен был бросать собственное хозяйство. Не было ни одного человека, который не знал бы его избы, стоявшей посреди села и подпертой с двух сторон колышками, надо думать не с целью архитектурных украшений. Здесь, починивая обыкновенно сапог, расхудавшийся вследствие продолжительных странствований, он выслушивал мольбы своих посетителей; здесь он часто с свойственной ему решительностью говорил: «Провалитесь вы совсем! Возьму и убегу, провал вас возьми!» Но здесь же он неминуемо должен был сознаваться, что ни посетители его никуда не провалятся, ни он никуда не убежит. И с этим грустным свойством его знакомы были все парашкинцы, во всех трех деревнях, составлявших их «опчество»; даже Иван Заяц, сосед Фрола, в своем еженедельном беспамятстве, вспоминал не писаря и никого другого, а Фрола. Проходя мимо избы последнего, с разодранной рубахой, сквозь которую просвечивало его медное тело, он считал как бы своей обязанностью зайти к соседу.

— Фрол, — начинал он, озирая избу осовелыми глазами.

— Чево? — отзывается Фрол, ковыряя сапог и чувствуя, что уступит просьбе пьяного.

— Пиши к мировому!

— Насчет каких делов?

— Каких? Насчет, например, побиения меня около волости Федоткой — вот каких! — нагло объяснялся Заяц, вспомнивший, что его поколотили.

— Проснись, дурова голова! Кольями бы тебя отвозить, так ты бы не стал лакать винище-то... Уйди! Недосуг! — с негодованием возражал Фрол.

Приди Иван Заяц не в таком неразумном виде, Фрол уступил бы. Если он часто отказывал Ивану Зайцу в просьбе, то лишь потому, что последний и сам забывал о только что случившемся побиении его Федоткой. Чаще же всего случалось, что Фрол бросал распоротый сапог и шило, шел к столу и безропотно начинал возить пером по загаженной мухами бумаге. Если его грамотность и поражала всегда неожиданным сочетанием букв, вследствие чего местный мировой судья постоянно «помирал со смеху», читая Фролово писание, тем не менее многочисленные почитатели Фрола считали себя вполне удовлетворенными и доказывали свое удовольствие гонораром, не известным ни одному адвокату в мире.

Что касается «опчества», то Фрол положительно никогда ему не отказывал. Был ли он занят чем, метался ли подобно угорелому, справляя какую-нибудь домашнюю страду, но лишь только обращался к нему с просьбою сход, он бросал все и шел на сход. Всем известно было, что на сходе по доброй воле он

бывал редко; если же и случалось ему там присутствовать, то он всегда старался забиться в самый дальний угол и молчал, редко бросая робкое слово в общую кучу воплей; по большей же части он был приводим туда силой. Когда на сходе замечалась нужда в какой-нибудь важного значения «письменности», то немедленно все решали: привести Фрола. Отряжался депутат к Фролу. Но Фрола, например, дома не было; депутат шел туда, где он был. Фрол был, например, на гумне; депутат шел на гумно. Приходя туда, депутат садился на краю тока, на котором разложены были снопы ржи, и начинал, например, так:

— Бог помочь, Фрол!

— Спасибо, — угрюмо отвечает Фрол, чувствуя недоброе.

Минута молчания.

— Рожь?

— Рожь.

Молчание.

— Суха! — говорит депутат, кладя в рот рожь и начиная жевать.

— Давно в овине.

Молчание.

— Надо полагать, скоро смолотишь.

— Кто знает! — возражал Фрол, яростно колотя цепом по снопам и тоскливо ожидая, что вот-вот его возьмут и уведут.

— А мы к тебе, Фрол.

— Чево еще?

— Да там, на сходе, известно — письменность. Думали — так; ну, нельзя; бают, письменность... Уж ты сделай милость, пойдем!

Фрол молчит и колотит цепом.

— Уж брось молотить-то.

Фрол молчит.

— Тоже ведь опчественное дело...

— А-ах, провал вас возьми! А куда я рожь-то дену? рожь-то? Свиньи еще слопают, — возражает Фрол и перестает молотить.

— Эва! Свиньи! Да мы ребят кликнем — покараулят... Эй, пострелы! сюда! Гляди в оба, чтобы все в целости!.. Ну, пойдем, Фрол.

И Фрол больше не сопротивляется, кладет на плеча цеп, в предохранение его от «пострелов», и идет, как военнопленный, за депутатом, который с торжеством приводит его на «съезжую». Там Фрол садится за стол и несколько часов кряду возит пером по бумаге.

Сапоги Фрола подвергались постоянному риску развалиться совершенно, вследствие его частых переходов из одной деревни в другую, входящую в парашкинское общество. Для Фрола такая перспектива — остаться без сапог и забросить свое хозяй-

ство — была тем более очевидна, что его хождения не ограничивались одним только парашкинским обществом; известность его простиралась дальше и выходила за пределы наглости парашкинцев. Иногда видели мужиков, пришедших к нему из соседнего общества, и Фрол все равно в конце концов вставал, надевал свои полураспоротые сапоги, напяливал свой серый, блинообразный картуз на самые глаза и шел посреди мужиков в соседнее общество для написания какого-нибудь приговора или для какого-нибудь «ходатайства».

Приговоры были специальностью Фрола. В этом случае он даже и не грубил своим просителям, вполне признавая, насколько вредно поручать сочинение приговора писарю или другому кому-нибудь, душа которого не была приписана к обществу; когда приходили к нему парашкинцы, то он не чесался, не ворчал, а прямо шел на съезжую и принимался за чудовищную работу.

В особенности нужно было тонкое и всестороннее знание закорючек, какими старался ошеломить парашкинцев соседний барин, до последнего времени ведший войну с героическим упорством против бывших крепостных, а теперь «рендателей» своих. Парашкинцы также, в свою очередь, не уступали барину, никогда не отказываясь от права против закорючек барина поставить свои собственные при писании приговора. Для этого всегда выбирался Фрол, которому парашкинцы в этом разе говорили: «Ну, Фрол, гляди в оба! Как бы нам тово... не промахнуться». Фрол на это неизменно возражал: «Ничево, не промахнемся!» И Фрол с глубоким вниманием исследовал закорючки барина, стараясь поставить против них в приговоре свои собственные контрзакорючки. Часто, впрочем, войны парашкинцев с барином оканчивались простой перепиской, вносившей волнение в обе воюющие стороны на время и потом прекращавшейся мирным образом и без письменности. Загонит ли барин парашкинских телят, вырубят ли сами парашкинцы несколько возов хворосту из барского лесу, в том и другом случае, после взаимного озлобления, обе воюющие стороны начинают говорить о мире, убеждаясь на опыте, что военные действия сделали достаточно опустошений с той и другой стороны.

Само собою разумеется, что для примирения выбирался Фрол, который, невзирая на свою любовь к молчанию, несмотря также на свое негодование против поведения «опчества» и барина, не отказывался от дипломатической миссии, шел к лютому барину и убеждал его наложить контрибуцию на телят по-барски, без преувеличения количества опустошенного гнилого сена. Когда же переговоры оканчивались в его пользу, он забирал из барских хлевов парашкинских телят и с шумом гнал их домой. В случае же, когда барин отказывался взять умеренный штраф и начиналась бесконечная тяжба у мирового, то Фрол также

терпел немало, терпел до того, что, наконец, терпение его иссякало.

— Провалитесь вы и с телятами своими! — говорил он иногда, сознавая всю недействительность подобных возгласов.

— А ты уж, Фрол, не больно... тоже ведь опчественное дело,— возражал кто-нибудь Фролу.

И Фрол на другой же день снова отправлялся к мировому тягаться за парашкинских телят.

Одним словом, Фрол пользовался известностью, и не только за свою письменность, но и за свою готовность таскаться по начальству.

Впервые безгласность его проявилась заметным образом по приезде в Парашкино заезжего барина, исследовавшего разные ученые вопросы мимопроездом, за станционным чаем. Барин принадлежал к числу тех праздношатающихся, которые для пополнения праздного времени без пути слоняются по захолустьям и исследуют вопросы с точки зрения своей собственной праздности. Это было время, когда только что возник вопрос: сейчас упразднить общину или повременить. Исследователь, остановившийся у парашкинцев, этим вопросом и был занят. Изъявив свое желание поговорить с человеком знающим, он скоро увидал у себя Фрола, который столбом остановился у притолоки и ожидал приказаний странного барина, смущенно перекладывая свой картуз из одной руки в другую.

После первого обмена приветствий, необходимого для установления хоть какого-нибудь понимания между праздношатающимся и приписанным, исследователь начал интересующий его допрос.

— Скажи, пожалуйста... да ты что стоишь? Садись, друг мой.

— Покорно благодарим...

— Скажи, пожалуйста, как у вас община... крепка?

— Это насчет чего?

— Не хотите землю делить?

— Не слыхать будто...

— Значит, крепко держитесь общинных порядков? Ну, а не бегут от вас люди? не покидают землю? не тяготятся вашими порядками? — спросил исследователь, довольный тем, что вопросы так быстро разрешаются.

— Бывает, и в беги даются.

— И много бегут?

— Бывает.

— Так, значит, община-то ваша распадается? — спросил пораженный исследователь.

— Которые люди в город бегут, те от опчества отстраняются, а которые в опчестве живут, ну, те тут и живут... — отвечал Фрол, недоумевая, зачем все это его спрашивают.

— Ну хорошо, положим. Ну а те, кто в обществе-то остается, не ссорятся? — спросил исследователь, убежденный, что теперь вопрос поставлен прямо.

— Как не ссориться! Бывает.

— При дележе земли?

— Бывает.

— Но разве это хорошо?

— Это насчет чего?

— Да ссориться?

— Что уж тут хорошего!

— Так почему ж бы не разделить землю навечно?

— Не знаю уж... — смущенно проговорил Фрол и замолчал. А барин сердится.

— Ну хорошо, — начал он с другого конца: — положим: не хотите землю делить; крепка община. Но разве не лучше было бы, если бы каждый сидел на своем углу и обработывал бы его как ему надо? и земле было бы лучше, и человеку вольно.

— Это точно.

— Значит, когда-нибудь разделитесь?

— Не знаю уж...

Фрол все свое внимание сосредоточил на картузе, в то время как лицо его начало деревенеть.

— Да ты сам как об этом думаешь? ведь есть же у тебя мнение?

— Это насчет чего?

— Хорошо или худо поделить землю?

— Да я что же... как опчество...

— Да тебе плохо или хорошо жить при этих порядках?

— Чего уж тут хорошего!

— То-то же и есть; значит, хорошо поделить?

— Да как опчество...

Барин сплюнул; лицо его было красно; сколько он ни предлагал далее вопросов, путного ничего не вышло. На лице Фрола под конец не светилось никакой мысли и не было ни одного желания, кроме желания надеть картуз.

Безгласность Фрола была ясная, не допускающая ни малейшего сомнения. Но помимо ее было еще что-то; помимо ее в его неопределенных ответах слышалось прямое изумление, до того полное, что оно в конце концов перешло в деревянность. Между барином и Фролом Пантелеевым было, очевидно, полное непонимание, и говорили они на разных языках, изумляясь легкомыслию друг друга; да и трудно было им сойтись на какой-нибудь точке взаимного разумения. Для исследователя община рисовалась в виде полицейской будки, которую можно упразднить или оставить на месте; а для Фрола «опчество» было его собственным телом, резать которое, само собою разумеется, больно. Первый мог

спокойно говорить об упразднении, а второй и не думал об этом никогда. Мало того, праздный вопрос об упразднении в положении праздношатающегося был совершенно естествен; тогда как второму и предложить себе подобный вопрос было некогда, именно вследствие необыкновенной праздности этого вопроса. И это еще не все: исследователь вопрос об упразднении считал делом личностей, даже и праздношатающихся в том числе; Фрол же только одно «опчество» считал способным порешить вопрос о разрушении «опчества».

Есть основание думать, что Фрол, несмотря на врожденную в нем склонность к угрюмому молчанию, дал бы более определенный ответ, если бы ученый исследователь не позабыл одного обстоятельства, предшествовавшего возникновению вопроса об упразднении. Дело в том, что раньше вопроса об упразднении возникли другие вопросы, не заключавшие в себе ни тени легкомыслия и сводившиеся к следующему: что́ лучше, владеть ли одной десятиной «собча́» или в одиночку и нераздельно? Если бы исследователь предложил этот первобытный и необыкновенно реальный вопрос, то Фрол ответил бы на него разумнее и определеннее. Может быть, он сказал бы, что владеть одному десятиной и разводить на ней капусту гораздо лучше, чем владеть ею сообща и сеять на ней рожь; может быть, он подумал бы наоборот, а может быть, не долго думая, он сказал бы, что несравненно лучше всего прочего плюнуть на эту десятину и «даться в бега». Во всяком случае эти ответы способны были бы в большей степени удовлетворить всякого праздношатающегося. Но Фрол не слыхал таких понятных ему вопросов.

Почему бы то ни было, вследствие ли невежества Фрола или вследствие забывчивости ученого исследователя, но последний уехал в сильном раздражении от парашкинцев, удивляясь всю дорогу до следующей станции неспособности их связно отвечать на самые простые вопросы. Так Фрол и остался немым для исследователя. Сам же по себе Фрол скоро оправился от смущения, в особенности когда он пришел домой и принялся зачинивать распоровшийся сапог, и когда вечером того же дня в его избу пришел староста и сказал: «Фрол! пойдем на сход — письменность», то Фрол тотчас же надел сапог и пошел вслед за старостой, причем ни староста, ни кто другой не заметили на лице его деревянности, потому что он сказал:

— Провалитесь вы!

В конце лета того же года, после сбора урожая, который «позволил ожидать большего», совершилось событие, подействовавшее на Фрола оглушающим образом; оно до того было неожиданно, что он не успел даже сообразить, сказать обычное свое — «правалитесь» и т. д. Для парашкинцев оно не было важно; они, можно сказать, не считали даже событием выбор

гласных в земство, глубоко убежденные, что это повинность, исполнять которую должно потому лишь, что «начальству виднее, что и как». Но если участие на избирательном съезде было для них не стоящим гроша медного, тем не менее, в силу привычки идти туда и сидеть там, где посадят, они точно и регулярно участвовали в выборе гласных, которые, к их счастью, всегда сами себя назначали. Пошли парашкинцы на съезд и в этом году без другой мысли, кроме как скорее возвратиться обратно.

Съезд шел обычным порядком; все было по-прежнему, как следует. До начала выборов парашкинцы и вместе с ними другие избиратели уселись на лугу, против волостного правления, и томительно стали выжидать схода; потом они вынули из тряпиц куски хлеба, лук, редьку и другие съестные припасы, вообще служащие для подкрепления ревизских душ; потом, подкрепив свои силы, они стали обмениваться шутками, наделяя друг друга тумаками. Потом некоторые из них увидали, что с заднего крыльца правления был внесен трехведерный бочонок, настолько известный по прежним избирательным съездам, что сомневаться в значении его появления значило то же самое, что сомневаться в желании старшины выбраться в гласные вторично. Вскоре после этого явления показался и сам старшина и лично пожелал справиться, насколько вид вышеупомянутого бочонка очаровал избирательские сердца. Для этого он обошел все группы лежащих и сидящих избирателей и предлагал себя — одним с умеренною важностью начальства, другим — с указанием худых перспектив в будущем в случае неуважения его сана. И результат оказался несомненен, потому что на вопрос одних избирателей: «ну что, ребя? старшину, что ли?» — другие, в том числе и парашкинцы, отвечали поголовно: «вали старшину!»

Фрол также присутствовал здесь; парашкинцы привели его на тот случай, если понадобится письменность. Но он решительно отстранил себя от деятельного участия в выборах. Съев свою краюшку хлеба, он лег под тень крапивы, густо росшей возле волостного забора, и думал вздремнуть до той поры, когда потребуется письменность. Но едва он успел вытянуть свои худые, длинные ноги и не успел еще забыться, как услышал отчаянный вопль: «Фро-ол!» Крик этот, по своей неожиданности для всех, сначала остался без ответа; но когда он повторился, то тот, к кому он был обращен, отвечал: «чево?» — очевидно, недовольный тем, что ему и тут спокою не дают. И только что Фрол хотел сказать: «правалитесь» и пр., как имя его начало гудеть по всему собранию, среди которого больше всех кричали парашкинцы. Фрол мгновенно, к ужасу своему, понял.

Было ясно, что Фрола выбирали в гласные. Никто этого не ожидал, и всего менее те, кто выбирал его. Старшина также не сомневался, до того не сомневался, что приказал писарю приго-

товить бочонок к появлению на сцене. Но вдруг какой-то взбалмошный голос заорал: «Фрола!» За первым нашелся второй, который также заорал; потом закричал третий, четвертый и т. д., пока не проснулось все собрание, взволнованное таким необыкновенным происшествием. Тотчас со всех сторон послышались возгласы:

— Побоку старшину!

— Чай, тоже и сами силу имеем произвесть в гласные!

— Вали Фрола!

— Фрола, Фрола, Фрола!

И когда Фрол был выведен из крапивы, где он стоял в ошеломлении, то для постороннего взгляда стало очевидно, что старшина провалится. Он и действительно провалился. Несмотря на его известность, несмотря на согласие, данное для его выбора парашкинцами и другими избирателями, несмотря на соблазн, представляемый трехведерным бочонком, вопреки даже рекомендации, данной старшине лицом, известным парашкинцам по внушаемому им непреодолимому ужасу, невзирая, одним словом, на все худые перспективы, старшина получил «побоку», и Фрол к вечеру был избран в гласные Сысойского уездного земства.

Возвращаясь домой, парашкинцы более не думали о своем неразумном поступке и даже удивлялись, почему Фрол идет среди них словно в воду опущенный. Парашкинцы недоумевали, поглядывая на странное лицо своего излюбленного, скорее деревянное, чем живое. А Фролу действительно было не по себе. Прежде всего его поразила неожиданность его избрания; потом он очумел от страха. А потом, ясно представив себя деятелем в Сысойском земстве, он почувствовал боль, от которой ныли все его внутренности. Он погрузился в себя, угрюмо и молчаливо шагая среди своих парашкинцев, ликующих, что, наконец, повинность справлена.

Чтобы понять мрачные мысли Фрола в эту минуту, надо вообразить себе его прошедшую жизнь, столь неожиданно направленную на другую дорогу. Все парашкинцы знали, что Фрол был невольным специалистом в деле сования от одного начальства к другому. Всем в такой же мере было известно, что, как письменный человек, Фрол был клад. Никто поэтому и не сомневался в его способности представлять невежество парашкинцев в Сысойском земстве. Но для Фрола такая репутация была мало полезна в данном разе. Прежде всего он, как известный парашкинец, любил лучше сидеть дома, чем тыкаться бог знает где, и понятна горечь, с какою он всякий раз собирался в уездный город Сысойск. Только дома он чувствовал себя хорошо; вне же дома он был рыбой, вытянутой на берег. Он всю жизнь держался правила или, скорее, вопля: «не тронь меня!» Можно даже сказать,

что и вся-то его жизнь заключалась в несчетных попытках скрыться, утаить свою душу и тело и остаться незамеченным. А тут вдруг пришлось выставлять себя напоказ. Ясно, что для Фрола это было нехорошо.

Далее.

С самого рождения и до того момента, когда он был вытащен из крапивы, он привык не выставлять наружу своих внутренностей, так что даже известность этим приобрел. Болеют ли его внутренности, было ли ему тошно, о чем он думал и думал ли о чем, — все это он скрывал в себе; почему — другой вопрос. Потому ли, что они (внутренности-то) и без того часто потрошились, в силу ли свойственного парашкинцам упорства в молчании, но только Фрол молчал даже и в то время, когда терпение всякого другого человека лопается; и до сих пор действительно никто не в состоянии был залезть в его душу с его ведома. Теперь же он сам должен был вывернуть себя и показать себя изнутри, по крайней мере сам он так думал; слово «гласность» он так и принимал буквально, не вникая во внутренний смысл его. «Уж ежели гласность, — думал он, — так, стало быть, это говорить обо всем». Земство он считал как бы местом раскаяния, где он должен показать себя и своих парашкинцев такими, какие они есть. А разве легко каяться, хотя бы и не для Фрола?

Вот его избрали; поручили ему общественное дело, заставили заботиться о нуждах парашкинцев; но сумеет ли он исполнить это поручение? Фрол понимал всю тягость этого вопроса. Да и самые способы исполнять поручения парашкинцев изменились, что́ также чувствовал и Фрол. Прежде он приносил пользу парашкинцам тем, что вовремя умел смолчать и скрыть; теперь он должен говорить, и притом гласно. Прежде он «действовал», просил, умолял; теперь он должен доказывать, рассуждать, убеждать. Но долгая привычка молчать, неуменье говорить о том, что думаешь, — все это качества, от которых нельзя отделаться мгновенно и по первому требованию. Сумеет ли он говорить так, чтобы не осрамить своих парашкинцев? А что его заставят говорить — это было для него ясно, иначе зачем и земство? Теперь, очевидно, его спросят: какие нужды имеют парашкинцы? какими способами удовлетворить их? как ты об этом полагаешь, Фрол Пантелеев? Фрол представлял себе все это и болел. Ну, а если проврешься? Если осрамишь только парашкинцев? Если вместо пользы принесешь им одно зло?

И Фрол болел.

Думает он и о том, как бы чего не сказать неразумного перед господами, одна близость к которым его бросала в жар; и не потому, чтобы он боялся осрамиться сам, а вследствие внедренного в него страха к людям, которых он никогда не понимал. Фрол, очевидно, не знал, что эта боязнь говорить о себе свойст-

венна не одному ему. Если бы он был выбран в гласные прямо после того, как парашкинцам дано было право говорить о своем безобразии, то он увидал бы, как многие «господа» делали решительно неприличные несообразности в Сысойском земстве, вследствие привычки жить только дома, где, разумеется, можно держать себя и нечистоплотно — никто не видит.

Но Фрол не знал этого и болел, — болел всеми своими внутренностями, болел до того, что весь ушел в себя, вовнутрь, одеревенел снаружи; так что когда пришел к нему его сосед, Иван Заяц, на этот раз «тверезый», и стал просить его насчет какой-то письменности, то он отвечал: «уйди ты, Христом богом прошу тебя!»

Точно с такою же деревянностью дал инструкцию остающейся дома жене Марье.

— Блюди тут, Марья; за пегашом-то гляди в оба, хромать стал, — сказал он с устремленными внутрь глазами.

— Уж знаю.

— И коровешку на ночь загоняй. Да сено бы перевезти с гумна... Вишь, недосуг мне...

— То-то недосуг! Тоже, чай, и меня надо пожалеть. Уж доходишься ты дотоле, покуда и порток не останется, прости господи!

— Ну, — возразил Фрол и замолчал.

Потом стал одеваться. Длинная, неуклюжая его фигура облачалась в новый, только с двумя заплатами, кафтан, повязала на шею себе платок, перепоясалась красным, решительно новым кушаком, положила за пазуху лепешку, испеченную Марьей, почесалась немного, потом перекрестилась и, выходя на улицу, сказала:

— Ну, с богом!

Это поощрительное восклицание относилось к ногам, которые должны были отмахать семьдесят верст до Сысойска, а не к лошади, как это можно было предположить.

Если бы гренадер Миронов, знаменитый своими чудовищными усами во всем Сысойске, увидел Фрола в таком виде, то не вытаращил бы почтительно глаз и не протянул бы руки по швам, как это он делал всякий раз, когда видел во вверенном ему коридоре гласного; можно даже думать, что, гордый своим званием охранителя дверей земского собрания, он грозно бы сдвинул при виде Фрола свои невероятные усы и загремел бы: «куда прешь?» Следовательно, не без основания можно заключить, что Фрол от такой встречи почувствовал бы себя еще менее хорошо.

Именно так и случилось.

В утро того дня, в который предполагалось открыть первое заседание Сысойского земства, гренадер Миронов нарочно встал рано, с целью сделать необходимые приготовления к приему гласных. Отложив до более удобного времени свой туалет, невзи-

рая даже на крайне беспорядочное состояние своих усов, которыми он по справедливости гордился, он взял швабру и принялся с помощью ее тереть, чистить и месть. Сперва он вычистил залу заседания, далее привел в порядок побочные комнаты; затем перешел в коридор, выходящий на улицу. Но здесь швабра его подняла такие столбы пыли, что он поспешил выйти на крыльцо, чтобы отфыркаться и вздохнуть чистым воздухом. Поставив швабру на крыльцо, он оперся на нее и стал безучастно смотреть на главную сысойскую площадь. Конечно, в другое время он не обратил бы внимания на человека, который, по-видимому, без пути бродил по площади; но странная наружность этого человека, а также ранний час утра, когда по площади гулял всегда только козел сысойского исправника, заставили гренадера Миронова пристальнее вглядеться в раннего посетителя. А ранний посетитель площади действительно без толку шатался. Он останавливался возле лавок и, по-видимому, принялся читать вывески; прошел мимо собора, снял картуз; перешел в противоположный угол площади, поглядел наверх, снова воротился, дошел до средины площади; остановился, зачем-то опять снял картуз и тотчас почему-то надел его; поправил кушак и вдруг двинулся в сторону Миронова. Последний только что проговорил «экая дура!», как увидал, к изумлению своему, что странный человек подходит к нему и вот уже полез на крыльцо.

— Куда прешь? — загремел гренадер Миронов, изумленный дерзостью.

Странный человек, который был, конечно, Фрол, немного оторопел, но на его деревянном лице с устремленными внутрь глазами ничего нельзя было прочесть.

— А спросить бы мне надо насчет, где земство? — отвечал он.

— Куда ты прешь? — снова спросил Миронов, поднимая швабру.

— То-то, говорю, — в земство...

— В земство! Собаки не проснулись, а он лезет в земство! Отчаливай, брат, отчаливай! — И Миронов с угрожающим видом потряс шваброй. Но, видя, что странный человек стоит, как столб, на одном месте и не обращает ни малейшего внимания на швабру, он спросил:

— Ты кто будешь?

— Гласный, — отвечал Фрол.

Миронов несколько сконфузился.

— Так бы ты и говорил, а то... Ну, все же тебе домой надо направляться. В одиннадцать часов, вот тогда наше вам почтение, — возразил Миронов, стараясь оправиться от конфуза.

— Да мне спросить бы что ни на есть... — нерешительно отвечал Фрол.

Слова его произвели действие: Миронов смягчился. Кроме гордости своими необыкновенными усами, он имел еще гордость покровительствовать гласным-крестьянам. Поэтому, поставив швабру к стене, он важно проговорил:

— Что ж?.. Это можно... Дела эти мне известны. В прошлогоднюю секцыю приходит вот также ко мне гласный мужик... Миронов! Что и как? Так и так, говорю... Дела эти мне весьма известны.

Собеседники уселись на ступеньках крыльца и начали мирно беседовать. Гренадер, впрочем, один говорил, а Фрол только сосредоточенно смотрел ему в рот.

— Ты, стало, впервой? — самодовольно спросил гренадер Миронов.

— В гласность-то произведен?

— Ну.

— Впервой.

— И видно. Тут тоже наука; привыкнешь. Его превосходительство председатель завсегда говорит: Миронов! — Что, говорю, ваше превосходительство? — Воды! Ну, сейчас ему воды. Тоже и им трудно. Смотришь иной раз, а они там дремлют, скучно им, жарко. А все наблюдают, все наблюдают. Вот тебе — ничего; сиди, знай, да помалкивай. А почему? Первое дело, язык лопата, второе дело — ум за разум зайдет у тебя, как это они начнут говорить.

Миронов остановился, а Фрол напряженно устремил глаза в пространство и недоумевал.

— И все молчать? — спросил он.

— Молчи.

— Ну, а ежели так... к слову, разумное что ни на есть?..

— А я тебе говорю, молчи. Скажи ты необразованное слово, сейчас тебя, господи благослови, за хвост да палкой.

Это вранье Фрол принял так, что решился остерегаться «необразованного слова», и опять устремил глаза в пространство. А Миронов разошелся еще более, видимо восхищаясь своею ролью учителя.

— Или опять вурна... Скажут тебе — клади туда шар, и ты клади без ослушания, — продолжал врать Миронов.

— А это что — вурна? — смущенно спросил Фрол.

— Ты не знаешь вурны! — ужаснулся Миронов, с сожалением посмотрев на несчастного Фрола.

— То-то бы спросить... — отвечал Фрол, снова устремив глаза в одну невидимую точку пространства.

Гренадер Миронов смягчился; он откашлялся два раза и торжественно начал:

— Есть шары белые, и есть шары черные, и есть вурна. Понял?

Фрол хлопал глазами, а гренадер продолжал:

— Когда тебе скажут: Фрол Пантелеев! клади черный! ты клади черный; или опять скажут: клади белый — клади белый; без ослушания! — пояснил Миронов, сам изумляясь своему красноречию.

— Ну, а ежели я сам... положу за кого надо... — нерешительно возразил Фрол.

— Без ослушания! — сурово проговорил Миронов, возмущенный недоверием Фрола.

Фролу надоело слушать дальнейшее вранье своего грозного учителя. Узнав, что ему надо было, он попрощался с Мироновым и пошел к себе на постоялый двор. — Он не переставал болеть. Он даже «пищи решился» и еле-еле дотянул до одиннадцати часов, назначенных для открытия заседания. Когда же, наконец, он дождался назначенного часа, то с первого разу ему все казалось, что вот-вот подойдет кто-нибудь к нему и загремит: это он куда залез?!

Но подобный, можно сказать, младенческий страх продолжался во Фроле недолго. Фрол скоро увидал, что он может безопасно сидеть в самом дальнем углу залы и без смущения смотреть во все глаза, не обращая на себя ничьего внимания. Он даже сначала не обратил внимания на себя и других серых людей, подобно ему забившихся в безопасные места и изумленно глазевших во все глаза. Освоившись с своею неприкосновенностью, Фрол стал примечать. Приметил он тут многих знакомых, встречаемых им раньше: чекменского барина, землянского барина, гавриловского барина — все люди известные, знавшие его в свою очередь; были тут некоторые сысойские жители, которые также знали его. Вообще Фрол скоро понял, что сидеть здесь можно.

И он сидел, и глазел, и учился, безмолвно вперив глаза на председателя. К его счастью, никто не трогал его и не выводил его из того деревянного положения, которое, по-видимому, необходимо было для внутреннего сосредоточения его на одной точке, так наболевшей в нем за все эти дни. Как истинный парашкинец, он туго воспринимал всякую новизну, прежде им не слыханную и не виданную; чтобы обнять ее, приметить и понять, ему необходимо было сначала одеревенеть, отвлечься от всего и сосредоточиться на одной внутри болящей точке. Если бы Фролу не удалось одеревенеть и отвлечься, то, как истинный парашкинец, он постарался бы искусственно добиться этого, надел бы какие-нибудь вериги и непременно добился бы своего: одеревенел и сосредоточился.

Так как в первый день заседания происходил выбор гласных в губернское земство, то ничто не мешало Фролу в его занятии — примечать и учиться. В этот день он делал то, что делали другие; сидел, когда все сидели, вставал, когда вставали другие;

двигался вместе с прочими и отличался от многих только тем, что абсолютно молчал в то время, когда говорили вокруг него. Тем не менее внутренности Фрола не переставали болеть и внутренняя работа не прекращалась в нем; ему хотелось понять смысл всего происходящего, чтобы потом... а дальше он думал поступать как бог на душу положит. За этот день Фрол так намучился, что, придя на свой постоялый и почти ничего «не емши», он как сноп повалился на лавку. А ночью видел ужасный сон, будто он сидел и слушал и будто вдруг, к ужасу своему, громко кашлянул, и затем тотчас услышал голос издалека: а ну-ка, выходи сюда, Фрол Пантелеев! Проснувшись, Фрол больше уже не мог заснуть; чуть только забрезжилось утро, он вышел на двор и долго слонялся по Сысойску.

На другой день читались доклады управы. Вследствие известного свойства членов Сысойской уездной управы — сокращать свой отчет до отсутствия его, гласные напряженно слушали каждое слово докладчика и выказывали глубокое внимание в тех местах отчета, где вместо цифр стояли многоточия. Но Фрол не мог еще понять таких тонкостей. Забившись, как и в первый день, в отдаленнейший угол, он сосредоточенно слушал, стараясь уловить смысл чтения, и — ничего не уловил. Перед его умственным взором проходили цифры, цифры, цифры, которые он долго пытался связать; но, наконец, поняв невозможность этого, он с отчаянием обратил глаза на докладчика. Только в конце чтения он был поражен одним обстоятельством, повергшим его в крайнее изумление. Докладчик все читал, все читал и вдруг перешел к славословию, с восторгом описывая чудесные подвиги членов управы. И боже мой! чего тут только не было! и благое поспешение, и забвение своих дел, и преданность земскому делу, и претерпенные при разъездах труды, и многое другое прочее, оставшееся для ума Фрола смутным. Вообще члены управы не дожидались Гомера для прославления их подвигов.

Фрол был ошеломлен. Его грубое ухо не привыкло к различию тонких мелодий; он мог быть поражен только общим беспорядочным впечатлением доклада. У себя дома он ничего подобного не слышал. Зная одних только парашкинцев, он и уездное Сысойское земство мерял парашкинской меркой. Парашкинцы же, как это знал Фрол, всегда туго выслушивали отчет какого-нибудь своего сотского или попечителя; сам сотский, давая отчет, также никогда не приходил в восторг от своей деятельности. Напротив, Фрол помнил многочисленные примеры того, как тот же сотский напакостит «опчеству», сбездельничает и вдруг приходит на сход и начинает плакать горючими слезами, раскаиваясь в своих пакостях. Таким образом, Фрол не в состоянии был понять доклада и только смущенно тер себе лоб, напрягая все свои умственные способности.

Сравнивая парашкинский сход с Сысойским земством, Фрол, конечно, избрал дурной метод наблюдения; но так как метода этого, собственно говоря, он и не избирал, а держался его неведомо для себя, лишь потому, что, кроме парашкинцев и парашкинских «делов», ничего больше не видал, то он и не чувствовал ни малейшего укора совести в своей душе.

Точно так же он поступал и в следующие дни заседаний. Хотя он мало обращал внимания на мелкие подробности, мелькавшие перед его устремленными в одну точку глазами, но он не мог не заметить, что многие господа очень скучали. Председатель дремал иногда. Чекменский барин громко сопел, ничем не смущаясь. Землянский барин зевал до слез. Многие для развлечения читали газеты; некоторые шептались, кто-то смеялся... Каждый оратор говорил вяло, иной раз брезгливо; если же кто и пылал жаром, то тотчас же остывал, лишь только садился. Чрезвычайно было скучно.

Фрол, примечая эту внешнюю сторону, вспоминал свой парашкинский сход.

Фрол знал, как происходит этот сход. Лишь только сходятся парашкинцы, вспоминал Фрол, так не медля же ни минуты начинают брехать, ожесточаются и сулят друг другу чудовищные кары. Каждый парашкинец в эту минуту своей жизни пылает огненной злобой, и над местом, где кипит эта злоба, стоит неумолкаемый лай. Фрол, конечно, не одобрял такого способа рассуждений и потому с удовольствием видел, что ничего подобного в Сысойском земстве нет. Тут все чинно, разумно, спокойно; везде порядок, каждое слово «образованно», никакой злобы, напротив, во всем доброта и благодушие. За всем тем в голову Фрола попала странная мысль. Он склонен был думать, что парашкинцы все же решают дела быстро и хорошо. Очевидно, что там, на парашкинском скопище, обсуждаются кровные интересы, разрешение которых представляет жгучий вопрос; очевидно также, что скопище привыкло решать дела сообща. А здесь, на Сысойском земстве, помимо непривычки к гласному, открытому обсуждению дел, можно дело и решить, но можно и отложить его, а можно и совсем затянуть его в нераспутанную петлю, причем и пламенеть не для чего, потому что и материала для пламени нет: если бы кто вздумал загореться, то немедленно бы почувствовал ледяной холод, да и смешно было бы ему самому.

Фрол это смутно чувствовал. В парашкинском скопище можно поругаться вволю, наговориться и вылить надолго всю желчь свою. А тут Фрол не приметил ни злобы, ни брани, и «делов» как будто не было. Все как будто делалось так, без причины и без цели.

В душу Фрола начала закрадываться злонамеренная мысль: сбежать. Дело в том, что парашкинец деревянен не для шутки;

если уж он деревянен, то всегда за дело, на котором он готов положить душу свою; одеревенеет он, например, и целые годы тычется по начальству с деревянным лицом; тычется до тех пор, пока его по этапу не отправят на место жительства. Фрол был также парашкинец. Одеревенев, он пришел каяться от лица своего и от лица своих парашкинцев, рассказывать о нужде, о глупости, о безобразиях, рассуждать о способах прекращения всего этого и вообще думать о том, что лучше. А в Сысойском земстве как будто и «делов» никаких нет; о нужде ни слова, а вместо этого славословие. Темная мысль незаметно прокрадывалась в душу Фрола; было очевидно, что он ушел внутрь себя по-пустому. Сбежать — эта мысль так и засела гвоздем в его голову. Но он пока отмахивался от такого странного желания и все по-прежнему напряженно слушал, глядел и усвоивал.

Следующие дни протекли для Фрола тем же малознаменательным путем. Если бы он мог и хотел вести дневник, то его приключения за эти дни выразились бы так:

16-го сентября. Фрол Пантелеев безмолвно сидел и напряженно наблюдал лицо председателя.

17-го сентября. Фрол Пантелеев хранил молчание. Но случилось, что он громко кашлянул, прикрыв рот рукой после времени.

18-го сентября. Фрол Пантелеев до такой степени сосредоточенно смотрел, что на его одеревеневшем лице потекли ручьи пота.

19-го сентября. К Фролу Пантелееву подошел барин с ведомостями в руках и сказал: «почтеннейший! не соблаговолите ли вы уступить мне местечко?» — на что Фрол Пантелеев отвечал: «это ничего... это можно...»

Когда Фрол пересел на другое место, почти рядом с чекменским барином, то услыхал, что начал говорить гавриловский барин. Гавриловский барин доказывал, между прочим, что теперь образование для крестьян в особенности необходимо, вследствие получения ими разных новых прав, пользоваться которыми можно только человеку грамотному. Он указал на парашкинцев, в «округе» которых не было ни одной школы.

Фрол встрепенулся, ожил и начал возиться на своем стуле. Ему понравилась веселая, но понятная речь гавриловского барина.

В это время его соседу, чекменскому барину, надоело сопеть на всю залу; он поднялся, пошлепал губами и стал возражать гавриловскому барину. Он говорил долго, вкусно и сочно, хотя Фрол мало понял из его речи; только лицо его начало терять постепенно свою деревянность... Под конец чекменский барин, высказав уверение, что он «глубоко верит в то, что говорит», приняв во внимание, кроме того, и то, и другое, и третье, «а также

имея в виду (и с одной стороны и с другой) невежество парашкинцев и их собственное нежелание образовывать себя», он «не мог не прийти к заключению», что расход, рекомендуемый почтенным оратором, «бесполезен и обременителен для Сысойского земства».

Фрол все время возился на стуле; вынимал зачем-то картуз, снова прятал его за пазуху, зачем-то откашливался и опять возился на своем стуле. Потом вдруг встал. Как нарочно, в зале в это время настала мертвая тишина. Фрол открыл рот. На него многие обратили внимание. Он и сам в первое мгновение видел, что на него смотрят, и смутился; но мысль, засевшая в нем, одержала верх, требуя выхода, и Фрол стал говорить:

— Ну, ежели невежество у нас... — Он остановился на мгновение — около него раздался смех, вероятно потому, что ни одна речь в Сысойском земстве не начиналась так.

Но он продолжал:

— Невежество — это так... но невежество надо учить, учеба ему надобна...

Раздался хохот. Фрол побледнел, но продолжал:

— Парашкинцы и рады бы учить своих ребят, да сил-то нету...

Новый смех, хотя более сдержанный, раздался. То смеялся чекменский барин и некоторые другие; им было скучно, и они рады были забаве. Фрол замолчал, только с какою-то странной улыбкой проговорил, обращаясь к сидящему подле него барину:

— Грех вам, барин, смеяться!..

Хохот усилился; но в это время со всех сторон удивленной залы послышались повелительные крики:

— Это нехорошо!

— Перестаньте смеяться!

— Нечестно!!!

А какой-то раздражительный голос прямо вскрикнул: подло!

Взволнованный председатель принялся звонить. Когда же восстановилась тишина, он обратился к Фролу:

— Продолжайте, господин гласный.

Но Фрол опять улыбнулся грустной, а больше странной улыбкой и только выговорил:

— Нет уж...

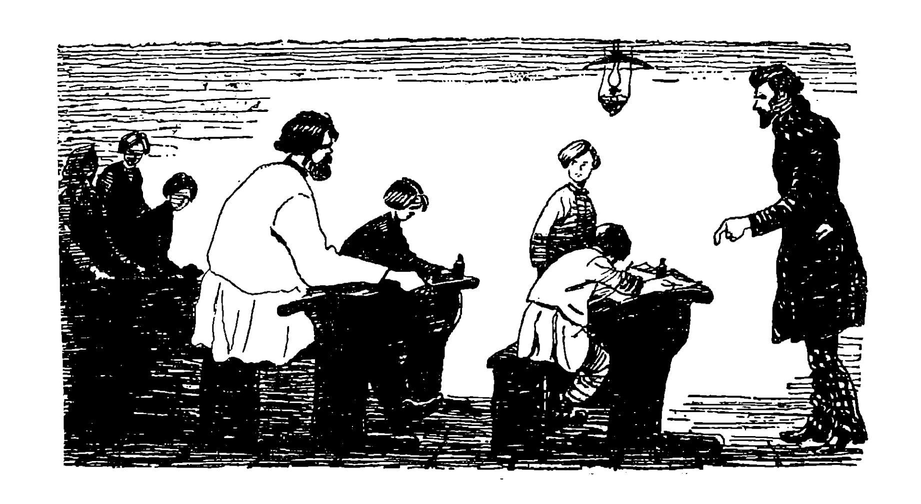
И сел. Председатель поторопился прервать заседание.

Фрол посидел немного, затем поднялся и пошел к двери. Он перешел коридор, где поразил гренадера Миронова своим измученным видом, не имевшим и тени прежней деревянности, спустился вниз по лестнице, утер рукавом крупные капли пота на своем лице и вышел на улицу...

Ни на другой, ни в следующие дни он не являлся больше на заседания; он сбежал домой.



Так и не узнали в Сысойском уездном земстве, что думал сказать Фрол Пантелеев. На его место на следующий год сел раньше выбранный в кандидаты парашкинский старшина, а о Фроле позабыли. Гавриловский барин, правда, доказывал иногда, что только Фрол мог рассказать правду о своих соотечественниках, что только он в состоянии раскрыть темную парашкинскую душу, но его никто не слушал. О происшествии в Сысойском земстве также позабыли, только до сих пор живет там и везде прозвище виновника его: безгласный.



УЧЕНЫЙ

Официально он был Иван Иванов, неофициально, у парашкинцев, — дядя Иван, а в школе его звали Ванюхой. И это увеличительное название в полной силе оправдывалось его русой бородой, длинными, спутанными волосами, большими ручищами, которые он обыкновенно прятал под учебный стол вместе с ногами, и всей его неуклюжей фигурой, которую он сам не знал куда деть. Он всегда сидел на задней скамейке школы и боязливо шевелился там, пугаясь сам своего огромного тела, которое казалось чудовищным среди маленьких клопов, сидящих впереди и по бокам его. Когда он по забывчивости вынимал руки наружу, то они захватывали пространство чуть не полпарты; это вызывало протест со стороны сидевшего рядом с ним Яшки, который колотил в бок невежу. Тогда левиафан в замешательстве прятал руки обратно под парту.

В парашкинской школе были ребята семи, десяти, много пятнадцати лет; а Ванюхе было, пожалуй, тридцать, — нелепость, которой изумлялись все парашкинцы.

Сначала учитель, не очень грамотный человек, приехавший в школу потому, собственно, что есть ему было решительно

нечего, отказался принять «в ученье» такого монстра и с хохотом выпроводил его за дверь, когда последний выразил свое намерение «почитаться». Но после одного вечера, во время которого слышался некоторыми парашкинцами визг поросенка, начавшийся подле избы дяди Ивана и окончившийся в избе учителя, после этого вечера школа, в лице ее распорядителя, навсегда приняла в свои недра Ванюху.

Ванюха не злоупотреблял позволением; он ходил на учение только раз, редко два раза в неделю, в такое время, когда старая его мать, Савишна, не качала грустно головой и когда его скудное хозяйство не могло пострадать от его безрассудного намерения. Что касается до парашкинцев, то Ванюха мало обращал на них внимания; изредка только сердился, если кто-нибудь из них начинал усовещивать его.

К счастью, ему не было надобности мозолить глаза всем своим парашкинцам. Изба его, с земляной крышей, на которой все лето росли большие кусты полыни, выглядывала окнами прямо на школу; вследствие этого Ванюха быстро проскальзывал к учителю и не подвергал себя постоянному посмеянию.

Только ребятишки часто досаждали ему; но здесь он был сам кругом виноват. Сидя на задней скамейке, он вел себя иногда совершенно непозволительно. Ребятишки не смеялись над его бородой и нисколько не удивлялись тому, что вот тут, среди них, сидит огромный верзила и вместе с ними ломает по звуковому методу свой устаревший язык. Они глумились только над его несообразительностью. И это было ему поделом. Короткие слова Ванюха произносил хорошо, одним духом; но иногда ему попадалось предлинное слово, которое он вынужден был переламывать пополам, да и то часто ничего не выходило: выговорит первую половину слова, а дальше не хватает уж силы; или скажет конец слова, а начало уж забыто! Эти случаи всегда приводили его в отчаяние, и он обращался тогда к своему крошечному соседу: «Ну-ка, Яшка! как тут...» Яшка с сознанием превосходства читал ему слово и в награду за это толкал несообразительного верзилу в бок. Тогда все ребятишки поднимали на смех верзилу. А верзила выходил из себя; в его, по большей части, кротких голубых глазах сверкал гнев; он вынимал руки из-под парты и кричал громко, на всю школу: «что вы, черти!»

Только вмешательство учителя и его строгий выговор за беспорядок, вызванный таким поведением Ванюхи, прекращали смех и гвалт. Ванюха, красный как рак, быстро прятал руки под стол и растерянно смотрел на учителя.

Воскресных уроков в парашкинской школе не было. Учитель получал семь рублей в месяц; зачем ему было убивать себя ради такой суммы? Очевидно, незачем. Поэтому Ванюха ходил в школу в будни и делал то, что делали ребята. Когда до него доходил

черед рассказывать «своими словами», он не отказывался, он рассказывал. Он, выслушиваемый целой школой, рассказывал о том, как мужик и медведь решили репу сеять; как мужик надул медведя; как медведь осерчал; как он объявил мужику свое намерение съесть его; как мужик для предотвращения печальной участи обратился к лисе; как лиса выручила его и как мужик хитро наградил ее, выпустив на нее собак, которые вытащили ее из норы за морду...

— Врешь, врешь! за хвост! — с негодованием кричала целая школа.

— Аль за хвост? Ну, за хвост... — возражал дядя Иван, недоумевающим взором глядя то на учителя, то на ребят.

Одним словом, Ванюха подчинялся всему, что происходило в школе. Когда у него спрашивали: что такое корова, он прямо по книжке отвечал: травоядное животное; когда у него спрашивали, сколько единиц в пяти, он отвечал — пять! Или: можно ли ходить по потолку? — он, с осовевшим взором, принужден был уверять, что невозможно.

Мучимый жаждой учиться, он терпел; еще бы ему не терпеть?! Средств у него не было; а то, разумеется, он не стал бы торчать по-пустому в школе. Если бы у него был капитал! Но у него был один-единственный капитал — тело, обладающее сверхъестественным свойством ежегодно обрастать.

Учитель имел странный метод; он сперва учил читать, а потом уже писать. Это имело ближайшим последствием то, что дядя Иван начал считать письмо чем-то в высшей степени головоломным и для него недосягаемым, — он даже и в воображении не допускал возможности выучиться писать; более же отдаленное и окончательное последствие выразилось в том, что дядя Иван и на самом деле остался неграмотным.

Может быть, дядя Иван преодолел бы свой страх перед письменной азбукой; но школа была земская, Сысойского земства, следовательно, в некоторой степени эфемерная. Через год после своего основания она была закрыта.

Всем известна эта грустная история. Пламенное возбуждение, вызвавшее жажду «плодотворной деятельности», прямо повело за собой увеличение школ во всем уезде. Даже те земцы, которые раньше с младенческой наивностью думали, что школа для мужика — «это, можно сказать, чистая революция», вынуждены были сознаться, что они ошибались и что для парашкинцев, например, школа необходима. Это и было время, когда дядя Иван внезапно был озарен мыслью — «почитаться».

Но все это скоро изменилось, и притом так неожиданно, что Ванюха не успел опомниться. Возбуждение в Сысойске начало проходить. Это было заметно по красному, толстому лицу чекменского барина. Сначала, когда ни одно заседание Сысойского

земства не обходилось без гвалта и перебранки из-за школ, чекменский барин, хотя и отплевывался, но принужден был слушать внимательно. Но потом во время дебатов о школе он мог уже позевывать, прикрывая рот рукой; с течением времени для него открылась возможность храпеть во время заседания — он прикрывался листом газеты, где говорилось о невежестве, пьянстве и проч. Далее ему не нужно было и прикрываться чем бы то ни было — он мог сопеть во всеуслышание. Наконец — это было за год до открытия у парашкинцев школы — школьный вопрос был решен. В достопамятном заседании, когда члены управы были уже готовы прочитать отчет о своей деятельности по школьному делу, Сысойское земство вдруг единогласно постановило: заказать портрет председателя управы и повесить его в зале заседания.

Так и не научился дядя Иван писать. Он успел выучиться только читать, да и то с грехом пополам. Когда он читал книжку, то принужден был накладывать на произносимое слово палец; иначе ничего не выходило; слово быстро исчезало с поля его зрения, и ему с мучительными усилиями приходилось отыскивать его.

Книжки давал ему учитель; по отъезде же учителя он должен был сам изыскивать способы добывать их. Жены у него не было: она умерла от чахотки. Он жил только со старухой своей, что для него было выгодно, по крайней мере сам он так думал: он желал остаться вольным и не думал жениться. Без жены он мог свободно читать по праздникам книжки, никто ему не мешал! И детей у него не было, а если бы были, то пришлось бы покупать им петушков из теста. А теперь он покупал книжки той же стоимости.

Возвращаясь из Сысойска, с базара, он всегда был в восторженном настроении духа, хотя дома ожидал его суровый допрос со стороны Савишны.

— Ну-ка! показывай покупки-то! — говорила она, подозрительно осматривая сына, только что возвратившегося с базара.

Дядя Иван не отвечает долго и упорно. Но потом, не желая больше подвергать себя мукам раскаяния, он вдруг вынимает из-за голенища книжку и ухмыляется.

— И книжку купил! — говорит он легкомысленно, не в состоянии скрыть улыбки.

— Ах ты, дурак, дурак! — отвечала старуха, и ее глаза сверкали гневом.

— Стоит-то сколько? — спрашивала она грозно.

— Пятак.

— Ах ты, дурак, дурак!

Старуха собирала сыну поесть, потом лезла на печь и оттуда уже начинала свое увещевание. Старческие, потухающие глаза ее грустно устремлялись на сына.

Невзирая, однако, на такие неприятности, дядя Иван не мог отстать от своей привычки. Увещевания старухи не действовали на него, и не было силы, которая заставила бы его отказаться водить пальцем по книжке, что он и делал в свободные минуты, по большей части скрытно. Досадно было ему не то, что старуха часто накрывала его на месте преступления и брюзжала, а то, что в книжке не все давалось ему. Попадались такие словечки, что он приходил в глубокое волнение, потому что смысл их для него был закрыт, а он все старался проникнуть... В эти минуты голова его трещала от напряжения, глаза с тоской смотрели в одну точку, и палец так и застывал на одном проклятом месте.

Иногда он обращался за пояснением к Фролу Пантелееву, но тот по большей части коротко говорил: «уйди!» И дядя Иван знал, что действительно надо уходить, ибо Фрол не любит шутить даже и в праздники.

Тогда ему оставалось только прибегнуть за помощью к писарю Семенычу. Семеныч был более сговорчив. Семеныч сам любил пояснять, конечно за приличное вознаграждение. Тусклые, оловянные глаза его редко смотрели сурово на дядю Ивана. Так как Семеныч очень часто наливался водкой и пропивал нередко все, вплоть до сапогов, которые в таком случае заменялись валенками, то Иван нередко был нужен ему просто до зарезу. Дядя Иван это знал и без особенной робости шел к писарю, выбирая такое время, когда последний был «тверезый».

В волостном правлении жар; роями летают мухи. За столом сидит Семеныч и скрипит пером. На нем сплошь мухи; чтобы отвязаться от назойливых насекомых, он иногда мотает головой, продолжая скрипеть. Когда же мухи садятся на его глаза, нос, уши, губы, то он хлопает себя по лицу и дует. Бледное лицо его покрыто крапинками пота; глаза тусклы. Он с похмелья.

В прихожей слышится ему шорох.

— Это кто? — спрашивает он, не оборачиваясь.

— Это, Семеныч, я, — кротко отвечает из глубины комнаты дядя Иван.

Писарь продолжает скрипеть. Ему в голову пришла идея. Он молчит.

Но Иван решается донять своего учителя измором. Он стоит возле двери и изредка покашливает.

— Это кто? — снова спрашивает писарь.

— Это, Семеныч, я... — кротко возражает дядя Иван.

— А-а-а! Это ты, дурья голова! Что придумал?

— Вот тут словечко... одно... н-ну, не понимаю! — говорит Иван и с сияющим лицом вынимает из-за голенища книжку.

Семеныч не оборачивается; он говорит: «гм!» и продолжает скрипеть.

— Словечко бы только одно, Семеныч... — умоляет Иван.

— Словечко? Ну, брат, шалишь! Теперь уж ты отваливай. Теперь у меня делов вот по каких пор! — Писарь проводит пальцем вокруг глотки.

— Ты, Семеныч, не сердись... я только самую малость... одно словечко...

Семеныч вдруг пристально уставляет оловянные глаза на Ивана, и так как выпить ему хочется смертельно, то он не выдерживает более.

— Пятак есть? — неожиданно спрашивает он.

— Найдется...

— Лупи что есть духу!

Иван стремглав летит в кабак, берет там шкалик водки, летит обратно и отдает покупку Семенычу. Семеныч выпивает, корчит гримасы и начинает свои пояснения; при этом толкование его не всегда совпадает со смыслом словечка. Но Иван сосредоточенно слушает и пристально глядит на чудовищное слово, которое столько времени мучило его.

Вся душа Ивана была устремлена к науке.

Что он разумел под наукой — ему одному известно, но только мучился за нее он нестерпимо, ужасно! И главное — без всякой корысти. Корыстных видов он никаких не имел. Он был доброволец или, лучше сказать, жертва безрассудного стремления «почитаться». Он ничего не ожидал от книжки, кроме «словечек», которые одно по одному входили в темную пустоту его головы и, однако, там торчали, как вехи в безграничной пустыне. Он никогда не думал о практической пользе. Невыразимое наслаждение доставлял ему самый процесс восприятия «словечек», а не выгода знать их. Словом сказать, дурость его была безгранична.

Понятно, что с ним нет возможности поставить на одну доску образованных людей, знающих значение и цену науке.

Теперь уже всем известно, что в среду истинно образованных людей невежественному человеку и носу показать нельзя; там знают цену науке. Наука — прямая выгода для каждого; без нее ни шагу! Наука питает. Например, у городских образованных людей наука — искусство, доставляющее съестные припасы; а диплом — смертоносное орудие, помощью которого можно схватить невежественного ближнего и съесть.

Это до такой степени верно, что даже никто и не удивляется больше, а если кто вздумает удивиться, тому плохо! Наука не пустое мечтание, а осязательный кусок. Так думают папеньки и маменьки, так и младенцев своих учат, ужасаясь при одной мысли о мечтаниях.

А дяде Ивану нечего было бояться. Никаких «правов» он не добивался и не мог добиться. Это нашел не только он, а все парашкинцы, которые ничего не возражали, когда у них уничтожили школу; и только какой-то шутник заметил: «а ну ее ко

псам!» Учился дядя Иван не ради съестных припасов, а лишь удовлетворяя свой умственный голод. С наукой ему нечего было делать — продать ее было негде, потому что и базара для парашкинской науки не устроено, да и цена ей грош медный.

Сумасшедшая голова дяди Ивана была полна невозможностей. Даже Семеныч смеялся над ним. Парашкинцы тоже стали примечать, что дядя Иван стал чуден. И парашкинский староста изумлялся; часто, когда Иван ошеломлял его каким-нибудь нежданным-негаданным вопросом, староста рассказывал об этом праздничной кучке парашкинцев с величайшим негодованием, начиная свою речь с оглушительных слов: «Ванюха-то!»

Дядя Иван действительно начал задумываться; иногда бог знает о чем тосковал; часто даже «пищи решался». В голове его копошились странные вопросы.

«Откуда вода?»

«Или опять тоже земля... почему?»

«Куда бегут тучки?»

Иногда же странные вопросы достигали крайней несообразности; иногда ему приходило на ум: откуда мужик?! И многое множество таких нелепостей лезло ему в голову. Конечно, на такие вопросы никто не в состоянии был ответить ему. В этом случае даже Семеныч был бесполезен. Как он ни привык врать, но он часто истощался и становился в тупик перед неожиданностями дяди Ивана, а однажды после разговора с последним решил, что с таким «пустоголовым дуроломом» даже и говорить не стоит взаправду, по-настоящему; самое большее — это спить с него шкалик.

Это было в тот раз, когда Семеныч пропился дочиста. Иван, следовательно, нужен был ему до зарезу. Выбрав ближайшее за своим непробудным пьянством воскресенье, он бросил правление и пошел к своему ученику. Нашел он его на дворе, и хотя имел твердое намерение немедленно же приступить к осуществлению своего плана — выпить шкалик, но при виде Ивана должен был заглушить на время свою жажду и только спросил:

— Лежишь, дурья голова?

Дядя Иван действительно лежал вверх дном, подложив обе руки под голову. Глаза его были устремлены в пространство, на чистое, светлое небо. Казалось, что голубые глаза Ивана, устремленные в бездонную небесную синеву, вполне отражали в себе всю ее неопределенность и беспредельность, гармонируя с внутренней смутностью копошащихся в его голове мыслей. Он повернулся.

— Ничего, Семеныч... садись! — рассеянно отвечал он.

Семеныч сел тут же наземь и принялся придумывать способ поскорее осуществить свою идею, потому что жажда, сжигая его желудок, ужасно томила его; но дядя Иван предупредил его.

— Думал я, Семеныч, наведаться у тебя... Ты, Семёныч, не сердись...

— Ну-ка?

— Например, мужик...

Дядя Иван остановился и сосредоточенно смотрел на Семеныча.

— Мужику у нас счету нет, — возразил последний.

— Погоди, Семеныч... ты, Семеныч, не сердись... Ну, например, я мужик, темнота, одно слово — невежество... А почему?

В глазах дяди Ивана появилось мучительное выражение.

У Семеныча и косушка вылетела из головы; он даже плюнул.

— Ну, мужик — мужик и есть! Ах ты, дурья голова!

— То-то я и думаю: почему?

— Потому — мужик, необразованность... Тьфу! дурья голова! — с удивлением плюнул Семеныч, начиная хохотать.

Иван опять лег навзничь. По его лицу прошла тень; видно было, что какая-то мысль мучительно билась в его голове, а он не мог ни понять ее, ни выразить.

— Стало быть, в других царствах тоже мужик? — рассеянно спросил он.

— В других царствах-то?

— Ну!

Семеныч насмешливо поглядел на лежащего.

— Там мужика не дозволяется... Там этой самой нечистоты нет! Там его духу не положено! Там, брат, чистота, наука.

— Стало быть, мужика...

— Ни-ни!

— Наука?

— Там-то? Да там, надо прямо говорить, ежели, например, ты сунешься с образиной своей, там на тебя собак напустят! Потому ты зверь зверем!

— Тсс! — ответил Иван и изумленно посмотрел на Семеныча, который пришел в азарт до такой степени, что его бледное лицо вспыхнуло яркими пятнами. Он уже хотел было врать дальше, но вдруг вспомнил, зачем пришел, и ожесточился.

— И что только ни выдумает такая беспутная башка?! — свирепо сказал он и прибавил неожиданно: — Пятак есть?

Через некоторое время Семеныч повеселел, потому что утолил свою жажду; но зато больше уж не отвечал на выдумки «башки» — хохотал только.

Хозяйство свое дядя Иван до сих пор вел сносно; по крайней мере никогда не случалось, чтобы его призвали в правление и приказали: «Иван Иванов! ложись!» Но с течением времени он опустился. Он стал забывчив; на него находила тоска. Дело валилось из его рук, которые стали работать меньше, чем его «беспутная башка».

Случалось иногда, что во время какого-нибудь хозяйственного дела в его голову вдруг залезет какая-нибудь чудесная мысль — и хозяйственное дело пропало! Он забывает его, а вместо него старается схватить неуловимую мысль. Разумеется, его хозяйство начало страдать, что постоянно подтверждала и Савишна, которая с некоторых пор все чаще и чаще кивала головой, зловеще смотря на сына с высоты печи.

Прежде дядя Иван никогда не копил недоимок. Иван Иванов исправно, в установленные сроки, вносил пачки загаженных целковых — и был прав. Теперь же у него появились вдруг недоимки. Первый раз староста только сказал ему: «Ах, Ванюха! Неужли!..» А на следующий год между ними произошел уже такой разговор:

— Иван! недоимки!

— Чево?

— Ай не слышишь? Недоимки!

— Сделай божескую милость!

— Да мне что! Мне плевать! Ну, только шкуру-то свою я блюду.

— Сделай божескую милость!

— Ну, гляди! Как бы тебе тово...

Однако, когда староста ушел, Иван немедленно же позабыл об этом разговоре. Вообще он все забыл, кроме чудесных мыслей и книжек, которые постоянно торчали у него за голенищами, измызганные до омерзения. Неизвестно, чем бы это кончилось, если бы не вмешалось в это дело постороннее обстоятельство. Хорошо, что вмешалось.

Это случилось два года спустя после того, как парашкинцы потеряли надежду добиться «правов» от школы.

Это случилось в месяц взимания.

Это случилось в тот день, когда рушился мост, переброшенный через реку Парашку; ну, да, рушился; провалился на самой середине! Собравшиеся парашкинцы посмотрели, погалдели, похлопали от удивления руками и затем, так как мост был земский, по свойственному им легкомыслию, решили,

что «это нича-аво» и что «ежели выпадет времечко...» И разошлись.

Но в тот же самый день явился в Парашкино исправник. Он ехал быстро и, разумеется, по делам, не терпящим ни малейшего отлагательства. Поэтому легко представить себе его негодование, когда он очутился перед печальным зрелищем. Увидев прибежавших по случаю его приезда нескольких парашкинцев, он молча указал им пальцем на мост, прибавив: «у-у-у!» Но, вследствие того, что река Парашка довольно широкая и приказание исправника только ветром донеслось на другой берег, парашкинцы не поняли и молча продолжали стоять, уставив глаза на приезжего. Вне себя от гнева, исправник затопал тогда ногами и показал парашкинцам на другой берег пантомиму, которую парашкинцы поняли мгновенно.

Они быстро рассыпались по деревне. Одни из них побежали за топорами, другие просто затем, чтобы скрыться. Но все были в необычайном волнении, лихорадочно суетясь и шмыгая, часто без толку. В особенности горел староста. С красным, как у рака, лицом, с которого текли ручьи пота, он совался по деревне и приглашал к мосту. Забежав в один дом, он начинал убеждать: «Яков! что ж это?! ведь ждет... чтобы сичас!» Потом хлопал руками по бедрам, бежал дальше с тем же волнением в лице.

Наконец-то парашкинцы догадались, что самое целесообразное в их отчаянном положении — это перевезти начальство на лодке. Так и было сделано.

Тогда староста несколько успокоился и с наслаждением вытер пот с лица. Скоро для него стало очевидно, что все «опчество» надо разделить на две партии; одна пусть мост чинит, другая должна идти в правление для исполнения натуральной повинности. К последней партии принадлежал и дядя Иван.

— Иван! в волость! — сказал староста, садясь на минутку на пороге Ивановой избы.

— Зачем? — задумчиво спросил Иван, голова которого в эту самую минуту поражена была какой-то чудесной мыслью.

— Рази не знаешь?

Дядя Иван так и примерз к одному месту. Он пошевелил губами, намереваясь что-то сказать, но у него ровно ничего не вышло. Он ничего не сказал даже тогда, когда староста, уходя, проговорил: «Чтобы сичас!»

Сообщение старосты было громом на голову дяди Ивана.

Но, разумеется, он в конце концов отправился к месту назначения, хотя и машинально, как автомат, и с ошалелыми глазами.

В волости все отпетые уже собрались и дожидались начатия «повинности». Они мирно и добродушно разговоры разговаривали; а Иван ничего не видел. Он стоял в стороне и молчал.

Лицо его было бледно; глаза помутились. Он даже прислонился к стене.

Когда его увидал Семеныч, то замигал глазами. Несмотря на то, что он был «выпимши», он помнил своего друга, и ему вдруг стало жалко его, даже захотелось выручить «пустую башку». Подойдя к Ивану, Семеныч предложил ему «дернуть для нечувствительности», но Иван угрюмо отрезал: «не надо!» и отворотился, по-прежнему бледный вплоть до губ.

Семеныч замигал глазами и отошел; потом вдруг заплакал, в первый раз заплакал от такого случая, заплакал пьяными слезами, но искренне.

Через некоторое время, показавшееся для Ивана Иванова вечностью, в волости все утихло. Дядя Иван возвращался домой. Внутри глодал его червь, снаружи он по-прежнему был бледен, с помутившимися глазами. Проходя по улице, он озирался по сторонам, боясь кого-нибудь встретить, — он так бы и оцепенел от стыда, если бы встретил, — да, от стыда! потому что все, что дали ему чудесные мысли, — это стыд, едкий, смертельный стыд.

Придя к себе, он прошел в сарай и лег наземь. Сперва ему как будто захотелось захныкать, но слезы нужно было выжимать насильно. Вместо слез на него напала дрожь, так что даже зубы его застучали, как в лихорадке. Наконец тоска его сделалась до того невыносимою, что он вскочил на ноги и стремглав пустился бежать.

С ополоумевшим лицом он выбежал на улицу, юркнул в переулок, попал на огороды и, прыгая по ним, скоро добежал до берега реки. Тут он немного приостановился, как бы раздумывая, но потом опять пустился бежать по берегу что есть духу. Ему надо было выбрать хорошее место для того, чтобы утопиться, удобное.

Скоро он совсем остановился и устремил глаза на воду. Подошел ближе к воде; остановился; потер себе лоб; отошел назад; сел на пригорке и снова стал глядеть на воду. Зубы его перестали стучать. Он еще раз потер себе лоб и успокоился. Окончательно решившись утопиться, он снял с себя шапку, сапоги и кафтан; сложил все это в кучу и завязал кушаком... Он не желал, чтобы одежда его пропала даром; зачем обижать старуху? Она и без того голодать будет! Шапка еще совсем новая, и кушак тоже; все денег стоит. А зипун-то? Как-никак, а за полтину не купишь... Сделав эти предсмертные приготовления, Иван опять поглядел в воду; в его безумных глазах сверкала твердая решимость наложить на себя руки.

Он почесал спину... И вдруг:

— Иван!

Иван даже подпрыгнул при этом возгласе и с смертельным ужасом в глазах обернулся к человеку, сделавшему окрик. Это был староста.

— Где у тебя совесть-то, дьявол ты этакий?

Иван смотрел ополоумевшими глазами.

— Коего лешего ты тут проклажаешься?

У Ивана совершенно не было языка.

— Провалитесь вы совсем! Пойдем к мосту, черт! Чай, слышишь?

Издали действительно слышались удары топоров, резкий, хрипящий звук пилы и гвалт. То паращкинцы работали и ругались, починивая мост. Дядя Иван слушал и приходил в сознание. Повинуясь приказанию старосты, с укором озиравшего лентяя, он развязал свой узел, надел сапоги, архалук и шапку и пошел за топором.

Прошло с тех пор довольно времени, а дядя Иван о книжках и чудесных мыслях больше не вспоминал. Он думал только о недоимках; и целый год изо дня в день по телу его пробегал мороз, а внутри все мучительно ныло. Книжек в пятак он не носил больше за голенищами; он зарыл их в яму, выкопанную нарочно на огороде, и старался никогда не вспоминать о них. Если же на него нападала тоска, то он шел к Семенычу и отправлялся вместе с ним в кабачок. Через полчаса, много через час, оба закадычные выходили оттуда уже готовыми. Держась друг за друга и заплетаясь ногами за землю, они шли по улице и размахивали руками. Семеныч в таком случае говорил: «бррр!», воображая, что произносит целую речь; а дядя Иван молчал; он только шевелил губами, все желая сплюнуть горечь; но ему никогда не удавалось переплюнуть через губу.



ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ЗАМЫСЛЫ МИНАЯ

Один раз, обозревая губернию, его превосходительство остановился в Парашкинском волостном правлении. Его превосходительство утомился от дороги и торопился ехать обозревать дальше. Так и уехал бы его превосходительство от парашкинцев, не составив о них никакого мнения, если бы ему не попался на глаза один необыкновенно веселый человек.

Этот парашкинец проходил мимо окна волостного правления и беззаботно свистел. Шапка у него была набекрень, кафтан внакидку, руки за поясом и глаза смеялись. Оборванец и головой не кивнул, проходя перед окном, и его превосходительству показалось, что он даже как будто подмигнул. Пораженный этим, его превосходительство, высказав радость по поводу встреченного им в парашкинцах веселонравия, обратился к сопровождавшему его лицу за объяснением; но сопровождавшее лицо совершенно растерялось и ничего не могло объяснить, хотя знало Сысойский уезд так же хорошо, как хорошо знает хозяин свой скотный двор. Ближайшим последствием этого необыкновенного случая было превратное мнение, увезенное с собой его превосходительством, который стал считать парашкинцев самым веселым в мире народом.

Что касается веселого оборвыша, то в этот памятный для него день он легко отделался. Сопровождавшее лицо, завидев его в том же виде, то есть с шапкой набекрень, только крикнуло:

— Я тебе! Я тебе... посвищу!

Но это мало подействовало. Оборванец остановился, смахнул с себя шапку, почесал затылок и пустился бежать, поддерживая обеими руками полы кафтана, надетого внакидку. Тем дело и кончилось. Его превосходительство уехал, сопровождавшее его лицо также...

Впоследствии по справкам оказалось, что это был Минай, по прозванию Осипов, который всюду появлялся на сцену в таком образе.

Нельзя отрицать, что Минай мечтал; факты немедленно же опровергли бы подобное отрицание. Минай мечтал везде и при всех возможных случаях, мечтал даже тогда, когда для другого человека решительно не было материала для мечтаний. Невозможно отыскать в его жизни ни одного момента, когда он плюнул бы на все и оцепенел. В его жизни постоянно давали о себе знать весьма плачевные обстоятельства, но всем им вместе и каждому порознь он показывал язык. Что с ним поделаешь? — он был неуязвим. Представить себе его окончательно оглушенным, повесившим нос и осовевшим — невозможно и чудовищно. Разве у него было время отчаиваться? Очевидно, нет. Трудно даже и вообразить себе все ужасные последствия отчаяния, если бы только Минай предался ему. На него постоянно обрушивались «обстоятельства»; он вечно вертелся под перекрестным огнем разных невзгод, сыпавшихся на него разом со всех сторон. Досуг ему отчаиваться! Предайся он мрачному отчаянию — и он погиб. Что ему тогда делать? Ложиться и помирать. О, Минай понимал это!

Что он свистел и необузданно фантазировал — этого отрицать нельзя. Все это так и было в действительности. Он вечно ходил с шапкой набекрень, в кафтане внакидку, с засунутыми за пояс руками и свистел. В таком виде он всюду появлялся. Такова уж природа его была; таким он раньше жил, таким и теперь живет.

Самостоятельно сохранять животы свои он начал прямо после освобождения крепостных. В ту пору ему было двадцать пять, двадцать шесть лет. Семья его состояла из стариков его, имевших вместе более полутораста лет, и меньшего брата, который рано ушел в город, потом взят был в солдаты и навсегда исчез из глаз Миная. Несмотря на свой возраст, Минай еще не был женат, хотя он ежеминутно думал об этом. Но в особенности старик, отец его, сокрушался о своем Минайке. В его потухающих глазах часто проглядывала грусть, когда он сознавал всю невозмож-

ность женить сына. Он оставлял ему все, что сам получил от крепостного состояния: две лошади, две коровы, пять овец, полуповалившиеся плетни и полуразрушившуюся избенку; и только жены не мог приискать. Смекал он и так и сяк — и все ничего не выходило, и Минайка все оставался холостым. Подвернулась было раз старику одна бабенка: «гладкая, здоровенная баба! клад, можно сказать, баба!» (расписывал старик свою находку), но Минай наотрез отказался от нее. Он сам устроил себя.

Дело произошло возле реки, в то самое время, когда там стиралось разное вонючее тряпье.

Минай мог, конечно, прямо подойти к Федосье и открыто объясниться, но он предпочел подкрасться, вытянуть ладонью вдоль ее спины и во все горло захохотать в тот момент, когда, взвизгнув от ужаса, она повернулась лицом к нему.

— Что ты, леший? Одурел? — вскричала, наконец, Федосья, оправившись от испуга.

— А ты что кричишь? Ай больно?

Федосья с негодованием смотрела на одуревшего и, собрав все мокрое тряпье в руки, мазнула им по лицу Миная. Но последний, по-видимому, не обратил ни малейшего внимания на это и глупо ухмылялся своим мокрым лицом.



— Слушай, Федось! хочешь за меня замуж? — сказал он.

— Вот еще что выдумал! — возразила Федосья, красная до ушей, и опустила руку с тряпьем, которое она держала до сих пор в угрожающем положении.

— А ты говори прямо, не отлынивай!

— Нечего мне сказать тебе; уйди — вот и сказ весь! — возразила еще раз Федосья, однако с места не трогалась.

— То-то бы мы зажили, а? самым лучшим манером! Чай, тоже знаешь меня... — продолжал Минай и, не кончив начатой речи, громко поцеловал Федосью. После этого Федосья уж ничего не могла возразить.

Через неделю Минай женился «увозом», таинственно выкрав свою невесту; еще через неделю разде-

лился с родителями ее и через месяц сделался полным хозяином всего наследства. В это время умер его старик отец, счастливый, что увидал своего Минайку поженившимся.

И Минай принялся орудовать. Жена его была в то время здоровая баба, ни в чем не уступавшая ему; она не отставала от него в работе, только никогда не высказывала своих надежд. Это было уже дело Миная. Он один работал над проектами будущего; мечтал он почти всегда вслух, перед Федосьей, так как никакими силами не мог удержать в себе свои проекты, которые, надо заметить, тут же и осуществлялись «самым превосходным манером». «Теперь уж не те времена, — рассказывал он Федосье, — теперь крепости этой нет... воля! Теперь только дурак отощает... Ты что молчишь? Ай мы дурачье? Это мы-то?!»

В таком роде восторгался Минай, удивляясь только тому, что Федосья все молчит. Федосья на самом деле все отмалчивалась, — это было в ее характере, — но она не думала сомневаться в восторженных словах Миная. Рассказы Миная были до того пламенны и заразительны, что и она по временам улыбалась, работала сильнее лошади и ничего не возражала, когда Минай хлопал ее по спине; только по привычке говорила: «п-шел, одёр!» Но эта угрюмость была только напускная, и Федосья тотчас же выдавала себя, раздвигая рот до ушей. То же самое было и тогда, когда родился Яшка. Федосья молчала; появлению его на свет она,по-видимому,совсем не обрадовалась. Может, она чувствовала, что Яшка, прежде чем сделается ревизской душой, высосет ее и истомит? Кто ее знает! Но зато Минай восхищался. Яшка был в его глазах необыкновенное существо. «О, о, о! какой бутуз! Гляди, ручищи-то! Знатный мужчина!» — говорил он, осматривая необыкновенные ручищи и тыкая пальцем в брюхо Яшки.

Собственно говоря, с этого времени и начинаются мечты Миная.

Конечно, и в эту пору у Миная были черные дни, когда он опускал нос и мрачно молчал. Но это не один он испытывал, и черные дни были общими обстоятельствами, которые обрушивались на всех парашкинцев. А в таком случае мог ли он совершенно и окончательно опустить нос?

Начались эти обстоятельства с упорства, выказанного обеими половинами, разорванными после уничтожения крепостного права, — начались с той самой минуты, когда, кончив роман, парашкинцы решили все-таки не поддаваться увещаниям их прежнего господина. Главное несчастие для обеих сторон заключалось в том, что одна сторона предлагала болотца, другая с тем же упорством отказывалась от болотцев.

Целых полгода обе стороны мучились так. Барин был седой уже старик, голова которого постоянно тряслась, — от негодования, как думали парашкинцы, не знавшие его прежней жизни.

Он бился совсем не из-за выгоды, а из-за того только, чтобы насолить «мошенникам». Тем не менее он сам желал поскорее развязаться и совсем уехать из деревни. Каждую неделю он собирал парашкинцев и толковал с ними, но все ничего не выходило, и эта канитель тянулась целых полгода! Придут парашкинцы всей кучей, встанут возле крыльца и молчат, напряженно слушая седого барина. А седой барин стоит на крыльце, размахивает руками, трясет головой — и все тут! Уйдет седой барин, побранятся между собой парашкинцы и также уходят всей кучей, не оставив после себя никакого ответа.

Наконец терпение барина лопнуло. Один раз, собрав около своего крыльца парашкинцев, он категорически спросил у них, соглашаются ли они на предлагаемый надел или нет; и когда парашкинцы, по своему обычаю, уклонились от ответа, барин крикнул: «лошадей!», сел в карету и поехал. Проезжая мимо парашкинцев, он крикнул им, с негодованием тряся головой:

— Останетесь вы... Останетесь! Останетесь!

Это было зловещее предсказание, пророчество вороны. Парашкинцы немедленно же поняли свою глупость. Долгое время они молча смотрели друг на друга и думали, каждый про себя:«вот-то дураки!» Они готовы были уже начать, по своему обыкновению, злобную перебранку, но в это время Минай крикнул: «Уехал... ну и пущай!» Этого было достаточно, чтобы парашкинцы вышли из того молчаливого оцепенения, находясь в котором невозможно принять какого-либо решения. Парашкинцы заговорили:

— И пущай его!

— И не надо!

— И господь с ним!

— Способнее же опосля всего нищий надел!

— Нищий, что ли?

— Нищий, так нищий! один конец... Фрол! пиши бумагу!

Но «нищий надел» был только объектом, на который парашкинцы вылили накипевшую горечь; в сущности же они понимали, что взять нищий надел то же самое, что повесить через плечо кошель. К тому же и Фрол наотрез отказался писать «гумагу», сказав, что этакому дурачью он служить не намерен и потакать глупости не будет. Парашкинцы простояли на том же месте, около барского крыльца, весь этот день, весь вечер и всю ночь и только под утро мочи не стало — охрипли. Расходясь по домам, они решили завтра же изъявить согласие на предложенный надел.

Минай в этот раз кричал больше всех; даже в то время, когда все прочие охрипли и по необходимости умолкли, только тихо

перебраниваясь, он все еще орал. Раньше этого решения он убеждал стоять твердо. По его мнению, барин отлынивал. «Приперли его оттэдова, с самого верху, вот он и виляет хвостом-то», — рассказывал Минай, вполне убежденный, что барин приперт, что сунуться ему некуда и что в конце концов как он ни отлынивай, а уступить должен. Поэтому решением парашкинцев Минай был ошеломлен страшно. Если бы ему кто наплевал в лицо, то он чувствовал бы меньшее удивление, чем в тот день, когда парашкинцы решили, что они действительно набитое дурачье. Долго после этого Минай ходил с повешенным носом и с одуревшими глазами.

Когда он мечтал, то прежде всего рисовал себе землю, много земли, и был уверен, что надел положен будет способный во всех смыслах. На этом он и проекты свои основывал, на одном этом. И избу построить, и соху починить в кузнице, и рукавицы купить, и хозяйке платок приобресть, — все это можно было сделать только при земле. И вдруг — болотца! Мгновенно все предположения и мечты Миная разлетелись прахом. Так и сам Минай думал, признаваясь, что «теперь уж что ж... теперь уж больше ничего...» ни в настоящем, ни в будущем. Эта мысль, полная недоумений и тоски, до такой степени поразила его, что он долгое время никуда не показывался из дому. Что он за это время делал и какой процесс совершался в его голове — трудно сказать.

Известно только, что через некоторое время все обошлось благополучно. Через несколько месяцев Минай со своей Федосьей уже покрывал старую избу новой соломой; солому подавала наверх Федосья, а сам Минай стоял на крыше и притаптывал ногами подаваемые ему огромные навильники, причем в промежутках между двумя навильниками он глядел по сторонам и свистел.

Через полгода или через год он сделался прежним Минаем.

Вообще оглушить его было трудно. Он как будто в крови от прародителей получил привычку глядеть легкомысленно.

Такому настроению Миная помогало и отсутствие времени для обдумывания. Все лето и осень он совался и дурел, как подхлыстываемая лошадь. Он едва успевал отмахиваться от всевозможных кредиторов, раздиравших его на части, так что у него не оставалось ни одной свободной минуты, чтобы опомниться. Зимой он отправлялся на извоз и утопал в ухабах, привозя домой пряников детишкам да заезженную лошаденку. Одним словом, думать было мало времени.

Когда же у него выпадала свободная минута, — а это было всегда зимой, во время длинных и тоскливых вечеров, — то вместо обдумывания он мечтал. Физически мучающийся человек

не станет мучиться еще духом; он постарается, напротив, выбросить из головы все, что способно терзать, и сосредоточится только на одном легком и увеселительном. Минай постоянно баловал себя таким именно образом.

Приедет он с зимнего извоза, разденется, разуется, ляжет на полати и начинает фантазировать. Придумывает он тут разные измышления, высчитывает бесчисленные счастливые случаи и сам восхищается своими созданиями. Прежде всего его занимает ожидающийся урожай. Полосы уже засеяны; теперь только ждать надо. У Миная как-то выходит, что и дождичек льет вовремя и сухое время настает в пору, одним словом урожай будет превосходный. С этого осьминника он получит столько-то, а с этого вот сколько. Хлеба будет довольно. Потом Минай начинает распределять баснословный урожай. Туда он заплатит, этому отдаст, сюда сунет, на подати опять продаст — и все выходит как нельзя лучше. Но Минай не хочет наобум решать сложные задачи, он высчитывает. «Р-раз!» — шепчет он про себя, отыскивая счастливый случай, и загибает на ладони палец. Затем начинает прибирать другие неестественные случаи хлебных остатков... «Два!» — радостно шепчет он, загибая другой палец. Он непременно смотрит на пальцы и выказывает необычайное волнение, когда ему не удается загнуть следующего пальца. Но это редко бывает. Фантазия его ни перед чем не останавливается, лишь бы загнуть все пальцы. В конце концов всегда оказывается, что пятерня вся загнута, хлеба достанет и подати будут уплачены.

Достигнув такого блестящего результата, Минай перевертывается на брюхо, болтает босыми ногами и, свесив голову с полатей, начинает веселый разговор с Яшкой, который сидит на лавке, возле ночника.

— Яшка!

Яшка не может произнести ни одного слова; в руке его кусок странного хлеба, и рот набит.

— Что ты, дурак, беспеечь ешь?

— Хотца, — рассудительно отвечает, наконец, Яшка. Яшка действительно с утра до ночи ходит с куском странного хлеба и походя жрет. Если мать не даст ему хлеба, он отыскивает какие-то нечистоты и все-таки жрет. Брюхо у него, как у австралийца, наподобие мешка, прикрепленного снаружи.

— Ну, гляди, брат! Вон как пузо-то у тебя распучило!

Яшка не обращал ни малейшего внимания на слова отца.

— Небось распучит!.. хлебец-то батюшка — камень! — вставляет свое слово Федосья, которая по большей части молчит и только изредка буркнет что-нибудь.

Минаю неприятно; он покашливает. Картины, сейчас нарисованные им, заволакиваются туманом. Но это непродолжительно;

ведь он уже высчитал, что на будущий год ему достанет хлеба на всю зиму, притом хлеба чистого, «святого хлеба», как он выражается, говоря о хлебе без примесей.

— Дай срок... На ту зиму, бог даст, не станем жевать этакой-то...

— Хоть бы молчал, что ли, коли разумом обижен! — возражает Федосья, которая уже перестала верить «пустомеле», как она называет под сердитую руку Миная.

Но Минай не унывает и от своих фантастических за́мков отказаться не хочет. Он уже все высчитал! Потерпев неудачу в разговоре с Яшкой, он по-прежнему смотрит искрящимися глазами на ночник, на Яшку и спокоен.

Разумеется, он не в состоянии скрыть от себя плохого качества землишки, которую он нынче расковырял и засеял. Главное, навозу нет. Навоз — это с некоторых пор его постоянная мечта, мучительная, неумолимая и назойливая. У парашкинцев вся земля истощена; они выжали из нее все, что было можно. И Минай знает это, отлично знает, что без навозу «никак невозможно». Поэтому он каждый день почти возвращается к навозу в своих воображаемых «случа́ях».

Скотины у него осталось мало; изъезженная лошаденка, которую он в своих разъездах измотал так, что у ней круглый год наружу торчали ребра, коровенка, несколько овчишек, одна свинья — вот и весь скот. Какой тут навоз! Но Минай все-таки ухитряется создать в своем воображении несметное число навозных куч; перед его умственными взорами носится даже самая картина возки навоза на поля и удобрение им земли. Конечно, из всего этого ровно ничего не выходит, и он только успокоивает себя несметными кучами.

Когда он отправляется в загон, чтобы собственными глазами удостовериться, сколько его скот натоптал ему навозу, то немедленно же приходит к заключению, что навоза нет, ибо ничего и никто ему не навалит даром. Именно даром, потому что кормить свой скот ему было нечем, кроме гнилой соломы, да и то впроголодь. Навозу никакого нет. «Ведь этакая сатанинская утроба! Словно в прорву валишь корм!» — изумленно говорил он, с негодованием глядя на ни в чем не повинную корову, пережевывающую жвачку.

Если бы кто подумал, что Минай в таком случае отчаивался или по меньшей мере убеждался в отсутствии удобрения, как необходимого средства несколько исправить землю, то он ошибся бы. Минай отчаивался? Ничуть не бывало. Неизвестно как, но у него в результате размышлений всегда выходило, что навоз у него будет, земля удобрится и «рожь уродится преотличная». Трудно поверить такому легкомыслию, но необходимо принимать в расчет нежелание Миная лечь и начать помирать.

О, Минай обеими руками цепляется за тень, которую он назвал «жистью».

И так во всем.

Изба его совершенно изветшала; ткни ее пальцем, и она, казалось, рассыпется. Если бы ее сломать, так она и на дрова не годилась бы; ничего не дала бы, кроме едкой и вонючей копоти. Снаружи она была еще ничего, но внутри... Из нутра ее бревен сыпались гнилушки — явление, которое ежедневно напоминало хозяину, что давно ее надо сломать и построить новую, потому что, того и гляди, рухнет. Зимой, в морозы, она насквозь промерзала, а летом, в сырые дни, по стенам ее росли грибы. А Минай ничего, и в ус не дует. Новую избу построить ему не на что; вместо этого он починяет старую. Сначала перед скверным зрелищем осыпающихся гнилушек Минай стоит некоторое время в изумлении: на него нападает тоска. Но это недолго. Потешет он дощечку, прилепит ее гвоздочками к провалившемуся месту и потом хвастается: «Чудесно! веку не будет!»

А то еще был у него плетень. Минай просто ненавидел его. В плетне постоянно образовывались дыры, в которые пролезали чужие свиньи, забирались на двор и поедали там все, что попадалось под рыло. Но у Миная загородить плетень было нечем. Воз хворосту всего-то стоил гривенник в барском лесу; но у Миная не только гривенника, а часто и заржавленного гроша не было. Так дыры и оставались незагороженными. Придумывал, придумывал Минай, как бы зачинить двор, и наконец придумал. Привязал на веревку Полкана, глупейшую собаку, которая редко и дома-то жила, и посадил ее к самой большой дыре. Полкан постоянно отрывался и уходил. Минай постоянно ловил его и садил на старое место. Целых три месяца бился он так; наконец пес смирился. После устройства такой засады свиньи, познакомившиеся с зубами лютого пса, которого редко кормили, перестали шляться на двор. И вся эта история — из-за гривенника! Но Минаю весело было смотреть, как Полкан хватал какую-нибудь неосторожную хавронью за глотку; Минай хохотал над выдумкой. Только по ночам было неприятно слушать жалобное завывание.

Минай с виду всегда казался беззаботным; по крайней мере никто еще не видал, чтобы он тосковал и терзался пытками безнадежности. Он всегда был ровен, шапка набекрень, руки засунуты за пояс. В самые тяжкие минуты на лице ничего нельзя было прочитать; лицо его в эти минуты делалось бессмысленным, одурелым — и только.

Такая способность Миная прямо зависела от того, что он жил среди парашкинцев.

Парашкинцы имеют такое жизнеустройство, которое помогает человеку в самые отчаянные времена на что-то надеяться. Помощь

эта не только материальная, но и нравственная, и последняя, пожалуй, гораздо важнее первой. Правда, что у парашкинцев есть общий живот, брюхо, которое питает целое «опчество». Правда также, что этот мирской живот играл и играет значительную роль в жизни парашкинцев. Когда парашкинцы лишились личных животишек, на выручку им являлся общий живот; когда их разбивали и рассеивали, они снова собирались около общего живота и, к удивлению всех, снова устраивались. Все это правда.

Тем не менее нравственная помощь парашкинского жизнеустройства для Миная была гораздо важнее всего этого. Благодаря только этой помощи Минай способен был еще хохотать и показывать язык. Бед у Миная было много; сыпались они на него, как еловые шишки на Макара; но он ежеминутно чувствовал за своей спиной силу. Этой силой был мир. Он в него так верил, что когда у него ничего не оставалось, то все-таки оставался мир. Если по временам из его легкомысленной души исчезала надежда, он обращал глаза на мир и ждал: вот-вот мир что ни на есть придумает. Мир для него был крепостью, где он спасался от неприятелей. А неприятелей у него было много, и спасаться от них можно только в крепостях. Не будь у Миная укрепленного места, от него давным-давно остались бы одни порты. Может быть, впоследствии крепости будут и не нужны, и парашкинский мир обратится в цветущее гражданского ведомства место, но об этом Минай пока и не мечтал, хотя от природы был награжден необузданной фантазией.

Очевидно, что Минай совсем предаться отчаянию не мог. Он крепко лепился к «опчеству». Нельзя сказать, чтобы парашкинское «опчество» было особенно укрепленное место, — часто Минай подвергался участи страуса, спрятавшего голову и оставившего свободным зад, — но важна уверенность в некоторой безопасности. А Минай верил в крепость и потому не мог навсегда упасть духом, лечь и начать помирать.

Он не пропускал ни одной сходки и слыл за самого отчаянного горлодера. Даже в те дни, когда его разрывали на части и когда ему приходилось бороться с унынием, он все же появлялся на сходе. Всего вернее, потому и появлялся, что боролся с унынием. Там он был в своей сфере. Горло у него было широкое; ругался он так, что даже опытные в этом деле становились в тупик и умолкали. Он раньше всех приходил на сход, позже всех уходил оттуда. Прямо по приходе на сход он точил лясы и балагурил, потом ругался. Прислонится к чему-нибудь, к плетню или к забору, и орет, пламенно орет, не глядя ни на кого и не слушая ни других, ни, по-видимому, даже самого себя; орет до тех пор, пока все прочие не умолкнут в изнеможении, бессильно хлопая глазами: его поневоле слушали. На миру он так и слыл «горло-

дером», «горлопаном», то есть человеком, который во всякий час дня и ночи может разинуть рот и сколько угодно орать.

Всего яростнее Минай нападал на Епишку. Епишка был кабатчик, небольшой, вертлявый, с пронзительными глазами человечишко. Сначала он чуть не со слезами на глазах вымолил у парашкинцев право держать кабак; а потом ему удалось какими-то подвохами купить землю у барина (старика барина давно не было в живых, — имение было в руках его сына), и с тех пор Епишка преобразился. Кабака он не бросил; напротив, сделал его центром своего хищничества. Здесь он жил, отсюда он делал набеги на парашкинцев, сюда тащил все, что ему удавалось тем или другим путем выудить. В конце концов он опутал парашкинцев обязательствами, и вытурить его было уже невозможно.

— Чего вы смотрите? — кричал Минай на сходе, — чего смотрите? Куда у вас разум-то девался? Ноне он на хвост нам сел, а завтра наплюет нам в бороды! Чего наплюет! он прямо в рот затешется, Епишка-то! Ах, вы...

Но парашкинцы были уже бессильны вытурить Епишку. Епишка утвердился. Это знал и Минай, и, что всего удивительнее, против самого Епишки он ровно ничего не имел. На миру он ругал его на чем свет стоит, а встречаясь с ним, балагурил. И надо оговориться, Минай везде был таким. Он может ругаться, но не может ненавидеть. За минуту пылая ненавистью к врагу, он потом хохочет с ним и шутки шутит и в пьяном виде лезет даже целоваться. С таким же бесстыдством или легкомыслием он и с Епишкой поступал.

Против Епишки он метал массу самых едких ругательств, но иногда почти немедленно же отправлялся в кабак и просил у Епишки водки косушку в долг.

— Епишка, дай! — просил он.

Епишка сверкает пронзительными глазами; он знает, что на сходе Минай орал против него, и отказывает в просьбе.

— Ни за́што!

— Дай!

— Ни за рупь!

— Будь друг милый!

— Не дам, говорю, не дам, и проваливай!

— Отчего?

Епишка снова сверкает глазами и хочет отмолчаться, но не выдерживает.

— А кто на сходе глотку драл? Кто супротив Епифана Колупаева бунтовал? Кто м-миня беспутными словами бесчестил? Кто, бесстыжие твои глаза? Управы на вас нет, голоштанники, право! Не дам!

— Там, брат, апчественное дело; по совести там, братец ты мой... там с нечистым рылом невозможно!

— Лучше и не проси! Уходи от греха! — кричит Епишка, выходя из себя.

— Ну, леший тебя возьми! — говорит, наконец, Минай и уходит. Ему сначала неловко, совестно, да и выпить хочется, но потом ничего. Идя домой, он уже свистит.

Чтобы несколько оправдать бесстыдство Миная, надо заметить, что в «апчественных делах» он всегда старался поступать по совести, «с чистым рылом»; дома же он никогда не следил за собой; дома он даже привык ходить нечистым. Это как раз наоборот тому, что происходит среди большинства праздношатающихся.

Пил Минай только мимоходом, только в тех случаях, когда можно урвать косушку. До безобразия же напивался всего раза три в год. Собственно говоря, он и не напивался даже, а только показывал вид, что необыкновенно пьян, хвастался. Если пьян, стало быть, есть на что, стало быть, деньги водятся, стало быть, человек он не кой-какой... Минай упорно стремился сохранить за собой репутацию не «кой-какого».

Поэтому он всегда бушевал, когда напивался. Но бушевал он, так сказать, в пространстве: орал, стучал об стол кулаками, словесно бесновался, но никого не задевал. Зато он фантазировал, и тут уж не знал никакого удержу. Фантазия его, и без того часто необузданная, в этом случае совершенно выходила из пределов натурального. Он лгал, хвастался, создавал вслух небылицы, громко мечтал и иногда сам запутывался в своем вранье. Он фантазировал безразлично — перед приятелем, если он был, или перед Федосьей, если она слушала его; а иногда мечтал сам с собой, вслух рассказывая себе невероятные случаи того, как он поправится и заживет.

Начинал он всегда с плетня. Плетень — это был его личный враг. Его он сломает и поставит новый... нет, не плетень, а прямо забор. А старый плетень на дрова; сколько будет дров! на год хватит! Полкашке тоже надо отдых дать — бедный Полкан!.. А потом он примется за избу; гнилушки — в щепы, в прах! Будет, послужили свой век — и честь пора знать. Новых бревен он прямо из города привезет; он выждет случа́й; он не промахнется — шалишь! Крышу он тесовую положит, а солому побоку. Как же можно сравнить тес с соломой?! То тес, а то солома. Тес — любезное дело, а солома преет... ну, и вонь! Коровенку еще надо прикупить... расход большой... но зато корова! Суммы у него хватит на все. Да он, ежели прямо говорить, две коровы купит, три! Молока тогда будет вдосталь, масло же... ну, масло в город, по прямой линии в город, почему, что брюхо крестьянское непривычно к нему... Молоко, простокваша — это так, это можно.

Дунька тогда поправится; Дуньке тогда — лафа; Дунька тогда — сыта. А и пользы от коров ожидать должно, в смысле, например, навоза. Тогда он не пожалеет ста куч, двести куч! Тогда этого добра девать будет некуда — вали, знай! И хлеб свой... целый год свой! И не только этакий, со всеми, например, подлостями, а чистый, как следует, хлеб... Расходу — прорва! Ну, зато лошади... Этот самый одёр, теперешний, только хвостом вертит! ты его жарь кнутом, дубиной его жарь; а он вертит... одёр естественный!.. А он купит теперь лошадь, как следует... ха-аррошего мерина! Он две лошади купит! уж заодно, в масть...

Минаю, по-видимому, легко было обманывать себя в пьяном виде. Воображение, воспламененное косушкой сивухи, действовало без всякой узды, и Минай мог предаваться без зазрения совести лжи и хвастовству перед собой. Но, к удивлению, дело было иначе. Трезвый, Минай никогда почти не сознавал себя во лжи и не признавал себя пустомелей, тогда как в пьяном виде он очень часто спускался в область действительности и ныл. Фантастические настроения его куда-то исчезали, и на дне его пьяной души оставалось одно только едкое и болезненное сознание «жисти».

По большей части это происходило по вечерам, когда и грезы сосредоточиваются и всякая боль делается острее. Приходя домой, Минай грузно садится за стол и ошалелыми глазами осматривает стены. Он сопит и вздыхает.

Горит ночник, наполняя атмосферу копотью конопляного масла. Федосья сидит за пряжей. Подле нее копошится Дунька, починивая какое-то тряпье. А Яшка сидит возле двери, рядом с теленком, и плетет лапти. Минай сперва ничего не замечает и ничего не отвечает на грозное лицо Федосьи.

— Дунька! — вдруг почему-то обращается он к дочери, поднимая на нее отяжелевшие веки.

— Ты, тятька, пьянехонек... уж молчал бы ни то! — отвечает Дунька, не поднимая головы и все продолжая работать над тряпьем. Дунька уже выросла; ей пятнадцатый год. Но ей никто не дал бы стольких лет, до такой степени она мала и тщедушна.

— А я тебе говорю — цыц, дура! — с неожиданным бешенством кричит Минай, раздраженный возражением, но немедленно же опускается за стол, забывает обиду и долго молчит, смотря в пространство ошалелыми глазами.

— Слышь, Дунька! — снова вспоминает разговор Минай.

Дунька молчит по-прежнему; только глаза ее, устремленные на ночник, щурятся.

— Слышь, Дунька! А хлеба-то у нас не будет... ни в едином разе!

Дунька еще более щурится и молчит. Молчат и другие члены семьи.

— Не будет хлеба у нас... — настаивает Минай, как будто кто ему возражает.

— Ни в едином разе... ни в единственном... — продолжает он, ни к кому не обращаясь, и бесчисленное число раз повторяет: «ни в едином, ни в единственном». Потом он умолкает, а там снова начинается бесконечное повторение:

— Не будет...

— Ни в едином разе...

— Хлеба-то...

— Не будет и не будет!.. Хлеба-то... и не-е-е будет!

Минай вдруг начинает плакать. Голова его медленно опускается на руки, лежащие на столе; тело вздрагивает; из уст слышатся всхлипывания и икота. Когда он снова поднимает голову и смотрит в пространство ошалелыми глазами, на рукаве его полушубка вырисовывается большое мокрое пятно.

— Лег бы ты, Осипыч! — прерывает вдруг молчание Федосья, и Минай скоро действительно засыпал.

И снова горит ночник, пропитывая смрадом атмосферу избы. Яшка долго еще плетет лапти; Дунька починивает тряпье, а Федосья тянет бесконечную посконную нить.

Федосья с течением времени делалась все более и более молчаливою. Верила ли она фантазиям мужа или только тянула лямку парашкинской «жисти», никто этого определенно сказать не может. Лицо ее сделалось угловатым, морщинистым и дряблым; глаза потускнели и стали бессмысленными, руки отвердели, как старые подошвы. Она никогда не сидит без дела, все над чем-нибудь копошится; летом же она по-прежнему — лошадь. Но всякая работа делалась ею молча и тупо, как заведенной машиной. На ее лице ничего нельзя было прочитать; только губы ее все что-то шептали, словно она с кем-то говорит.

Для Миная это было все одно; он мало обращал внимания на Федосью. Они так тесно жили, что уже не замечали друг друга. Минаю и некогда было замечать разные мелочи; у него едва хватало времени на то, чтобы затыкать дыры «жисти» клочьями своего воображения. Если бы ему велено было обо всем думать, все увидать и понять — так тогда что ж бы от него осталось!

Таким образом, проблески лютого сознания проявлялись в нем только тогда, когда он выпивал. На другое утро после этого он вставал как встрепанный и принимался за какое-нибудь дело, и по-прежнему свистел. Когда же его и въявь в «тверезом образе» застигает трезвое сознание, он хитрит, старается оболгать себя и ускользает от казни.

Он находит ресурсы обольщать себя даже и в таких положениях, где он казался совершенно припертым к стене. Одним из таких обстоятельств были недоимки. В какой мере можно мечтать об уплате их? Без меры; потому что и копит их он без меры. Минай, по-видимому, это знал; он фантазировал в этом случае крайне неумеренно, без всякого воздержания. Накопив недоимки в таком размере, что выплатить их не представлялось возможности, он тем не менее думал, что это ничего...

Здесь повторялась та же история пятерни. Он загибал пальцы и приходил в восторг. «Раз!» — шептал он, отыскивая какую-нибудь фантастическую вероятность уплаты, — и загибал палец. «Два!» — шептал он... «Три!..» Пятерня загнута, и Минай успокоивается. Выходило, впрочем, всегда так, что не успевал он загнуть все пальцы, как уже всем телом чувствовал, что его ведут в волость...

Про него иногда распускали слух, в особенности писарь Семеныч, что он злонамеренно уклоняется от уплаты. Кроме простой глупости, здесь заключается еще непонимание вообще человека, всегда готового подвергнуть себя неприятностям, чтобы избегнуть мучительств. Кроме того, Минай никогда не мог примириться с мыслью, что он голыш и взять с него нечего. Он обижался, когда его называли недоимщиком. Он даже не останавливался перед лживыми уверениями, что он «чист», что «он, брат, не любит этак-то валандаться...» Говорил так он, разумеется, не с парашкинцем, который мог бы его уличить, а с каким-нибудь посторонним человеком, не знавшим, что «чистый», нетронутый парашкинец — миф или нечто вроде привидения.

Минай любил хвастаться, если не тем, что он чист, то по крайней мере тем, что он будет чист. Мечтатель всегда ухитряется забывать настоящее и вперяет глаза только в будущее. Минай держался именно этого способа. Возвращаясь из волости, он немедленно забывал, что его там «тово»... Он принимался высчитывать меры и возможности к уплате в будущем году и увлекался этим высчитыванием. У него всегда оказывалось множество способов уплаты, и он неминуемо приходил к заключению, что на будущий раз он чист. Будущее обращалось в настоящее, фантастические видения в факт, и Минай забывал обиду, надевал шапку набекрень и весело свистел. И это спустя час после «тово!»

Что всего удивительнее, Минай стыдился не того, что он вечно изображает из себя липу, а одного только имени недоимщика. Он в этом случае нисколько не походил на Ивана Иванова. Иван Иванов, после того как закопал на огороде книжки, ожесточенно плюнул на все и нагло отказывался от уплаты. Когда его спрашивали: «Ну, что, дурья голова, пороли?» Он отвечал: «А то как же». — «Здорово?» — «Пороли-то? Пороли, братец ты мой, знат-

но; пороли, надо прямо говорить, небу жарко», — отвечал он, ковыряя пальцем в трубке. Для него существовало что-нибудь одно из двух: «тово» или уплата; вместе, рядом эти два явления не могли существовать. Иван Иванов так утвердился на этой точке, что никто не в состоянии был сбить его с нее. Так он и не платил, хотя ежедневно думал о недоимках и ныл. Но Минай стыдился быть недоимщиком, и если ему не удавалось уплатить действительно, то он платил в воображении.

По этому поводу он всегда рисовал себе картину, созерцание которой доставляло ему величайшее наслаждение.

Картина была действительно густо окрашена. Минай стоит в волостном правлении и ехидничает про себя; ехидничает насчет того, как старшина будет приведен сейчас в конфуз. О, Минай наслаждается этим моментом! Минай стоит поодаль от недоимщиков и высокомерно на них поглядывает. Старшина то и дело кричит: «Валяй его!» Очередь доходит до Миная. «Минай Осипов здесь?» — кричит старшина. «Я Минай Осипов». — «Деньги принес?» Минай нарочно с злым умыслом молчит... «За тобой, голубь мой, причитается... Ого-го! причитается, голубь мой, вон сколько!» Минай молча достает деньги, показывая, однако, вид, что платить ему нечем. «А! у тебя нету!..» Минай медленно копошится, наконец вынимает требуемую сумму и бережно подает ее старшине. Старшина оглушен; это очевидно; это ясно; это видно по его вытаращенным глазам; он даже слова не может вымолвить! «Ну, друг, извини... — говорит наконец он. — Я думал... что ж ты молчишь, чудак! право, чудак!» Минай злорадостно отвечает: «Я, Сазон Акимыч, завсегда... я с удовольствием! Я этой самой пакости, прямо сказать, не люблю!» — «Это, брат, хорошо... Это уж на что же лучше, как ежели отдал — и чист». Минай весело глядит и уходит, сопровождаемый всеобщим удивлением.

Нарисовав эту картину и размазав ее густыми колерами, Минай уже спокоен за будущий год; только спокойствия ему и надо. Добившись его, он предается обычным своим домашним занятиям, а между делом по-прежнему смеется, хвастается, лжет перед собой и перед другими, тянет свою «жисть» без особенной тревоги и без смущения, не отчаивается, во что-то верит и свистит.

С некоторого времени Минай стал невольно и помимо сознания направлять свою фантазию в другую сторону. Он уже готов был выйти из того круга ожиданий и желаний, в котором весь век топтался. Для него явился соблазн, которому он ежеминутно готов был поддаться. Перед его глазами постоянно мелькал живой пример, над которым он задумывался.

То был Епишка.

Епишка действительно был соблазном, перевертывавшим

наизнанку все фантасмагории Миная. Епишка — это человек, получающий во всем удачу. У Епишки всегда есть хлеб, Епишка не нуждается в гривеннике; целковые сами текут к Епишке. Епишка пользуется уважением, ему все парашкинцы шапки снимают. Епишку никто не трогает; напротив, он сам всех задевает. Епишку не секут; у Епишки никогда нет недоимок, да и платит ли он какие-нибудь подати! Епишка содержит кабак... ну, это уж от его паскудства! — но если бы он и кабака не держал, то и тогда он катался бы как сыр в масле. Но, главное, Епишка сам по себе владеет землей — вот чего Минай не мог переварить!

Кто такой Епишка? Прощелыга, который в Сысойске продавал воблу, вырабатывая за весь день не более гривны. Те парашкинцы, которые часто ездили на базар в Сысойск, знавали его и раньше. Епишка в то время выглядел необыкновенно жалким оборванцем; просто жалко было плюнуть на него. Сидел он всегда около небольшой кучки протухлой воблы и жалобно заманивал к себе пьяных покупателей; летом ли то было или зимой, он вечно потирал себе руки, словно не надеялся на свои рубища и боялся, что замерзнет. И вдруг этот самый Епишка, этот прощелыга, этот торговец воблой, этот не матерін сын, вдруг он, по воле попутного ветра, приносится к парашкинцам, садится на хребты их и самоуверенно говорит: «Н-но, милые, трогай!» И парашкинцы везут его и, наверно, вывезут; вывезут туда, куда только пожелает алчная душа его! Разве это не соблазн?

Минай часто надолго забывал Епишку; но, когда ему приходилось жутко, он вспоминал его. Епишка сам лез к нему, мелькал перед его глазами, расшибал все старые его представления и направлял мечты его в другую сторону. Главное, Епишка во всем успевал; не потому ли успевал, что никакого «опчисва» у него нет?

Епишка имел землю, но не имел недоимок; он драл, а не его секли... Этот ряд мыслей неминуемо торчал в голове Миная и смущал его. А далее следовал новый ряд мыслей: Епишка оборванец, Епишка выкидыш; Епишка не имеет ни сродственников, ни знакомых, ни «опчисва»... а имеет землю. Почему?

Этот оглушительный вопрос долго оставался без ответа в голове Миная, и Минай пытался все дело свести к счастию. Но это мало помогало. Далее, Минай уже начинал думать, что он нашел причину удачи Епишки. Епишка ни с чем не связан, Епишка никуда не прикреплен; Епишка может всюду болтаться. Вздумает он землю снять — снимает; захочет вонять на всю деревню кабачным смрадом — и воняет. Были бы только деньги, а в остальном прочем ему все трын-трава. «Ах, дуй его горой! Ловкий шельмец!» — оканчивал свои размышления Минай.

Минай неминуемо приходил к выводу, что для получения

удачи необходимы следующие условия: не иметь ни сродственников, ни знакомых, ни «опчисва» — жить самому по себе. Быть от всего оторванным и болтаться где хочешь. Это вывод, который приводил в изумление самого Миная.

Но Епишка теперь уже не гуляет по воле попутного ветра: он утвердился. Главная его сила в том, что он знать никого не хочет. Сидит себе на своей земле и в ус не дует. Он завел у себя стаи псов, посадил их на цепь, окопался, огородился и живет себе. Никто не смеет к нему носу сунуть, потому что он немедленно тяпнет по носу, высунувшемуся далеко. Он один — и больше ни до кого ему дела нет. «Апчесвенной» тяготы на нем нет, ни за кого он не болеет; знай себе хватает в обе руки. И нет на него никакой узды; и чего он ни захочет, все у него выходит ладно, никто его не корит. «Ну, пес! Да он отрастит такое брюхо, такое брюхо...» — оканчивал свои размышления Минай.

И здесь выходит все один конец. Чтобы хорошо жить, надо быть от всего оторванным, гулять по воле ветра и все делать одному и на свой страх. Для Миная Епишка был факт, которым он поражался до глубины души. Сделав свой доморощенный вывод из факта, он принимался размышлять дальше. Но здесь, впрочем, размышления его прекращались; далее шли одни фантазии, как и во всех тех случаях, когда предметом его размышлений был он сам, Минай. О себе он не мог думать; он только разнуздывал свое воображение.

«А что, ежели удрать, к примеру?» — спрашивал он себя и начинал обдумывать последствия этого необычайного поступка. Он будет волен; копейку он станет зашибать уж лично на себя. Но что копейка? копейка — тьфу! Он на вечные времена снимет землю и сядет на ней... А приобрести землишку — дело нехитрое, механику-то эту он знает! Ведь Епишка как присвоил? ведь он гроша за душой не имел! Так и тут... А своя землишка — уж лучше этого и ничего нет. Вон он, Епишка-то, как вознесся!.. «Беспременно надо удрать, только до лета дотянуть, а там поминай как звали! Беспременно надо! Через годик, через два — землишка... Тогда кланяться-то я не стану, шалишь! Хлеб-от у меня свой тогда... Я тогда чист... тогда рыло-то от меня вороти в сторону... тогда, живым манером, передо мной шапку долой! Марш! сволочь!»

Минай вдруг начинал размахивать руками; глаза его горели с не свойственной ему яростью, а с языка срывался целый поток ругательств. Но тем дело и оканчивалось. Злоба, накипевшая против кого-то, выливалась, он отводил душу и успокоивался. А на следующем же сходе честил Епишку.

Замечательно, впрочем, не это. Важно то, что, когда он рисовал себе Епишку, «опчисво» на минуту являлось перед ним как

враг, от которого надо удрать. Все его старые понятия или ощущения куда-то провалились, а на их место явился один голый факт — Епишка, и ослеплял Миная.

Тем не менее Минай еще не собирался вплотную последовать по пути Епишки. Этому было много причин.

Прежде всего копейка; Минай хоть и плевал на нее, но яснее, чем кто другой, сознавал, что именно копейки-то и не видать ему, как ушей своих, и что без нее он станет всегда есть странный хлеб.

Удерживало еще одно представление. На каком бы месте ни садился Минай в своем воображении, перед ним всегда мелькала такая картина: «Минай Осипов здесь?» — «Я Минай Осипов». — «Ложись...» Это представление преследовало его, как тень. Куда бы он ни залетал в своих фантастических поездках, но в конце концов он соглашался, что его найдут, привезут и положат. Он, таким образом, невольно объяснял причину удач Епишки, которого никто не трогает, и неудачи Миная, которого всюду найдут.

Самую же важную роль в охлаждении к одиночеству играло все-таки «опчисво». Минай только на минуту забывал его. Когда же он долго останавливался на какой-нибудь картине одиночной «жисти», его вдруг охватывала тоска. «Как же это так можно? — с изумлением спрашивал он себя. — Стало быть, я волк? И окромя, стало быть, берлоги, мне уж некуда будет сунуть носа?» У него тогда не будет ни завалинки, на которой он по праздникам шутки шутит и разговоры разговаривает со всеми парашкинцами, ни схода, на котором он пламенно орет и бушует, ничего не будет! «Волк и есть», — оканчивает свои размышления Минай. Тоска, понятная только ему одному, охватывала его так сильно, что он яростно плевал на Епишку и уж больше не думал подражать ему.

Конечно, это только временная узда. Придет время, когда парашкинское общество растает, потому что Епишка недаром пришел. Как лазутчик сысойской цивилизации, он знаменует собой пришествие другого Епишки, множества Епишек, которые загадят парашкинское общество.

Минай жил под массой влияний, которые действовали на него одуряющим образом. Однако Епишка, фигурирующий в числе этих влияний, не занял еще первенствующего места в мыслях Миная. Епишка только еще землю захватил, но не успел еще прокрасться в область мысли. Минай имел силу отбиться от него. Нужно видеть, как он на сходе орет против Епишки! Он там честил его на все корки; нет брани, которая не обрушивалась бы на голову Епишки со стороны Миная. На словах Минай терзал на части Епишку.

Если Минай и мечтал насчет Епишкиных воровских дел, то лишь в те времена, когда ему приходилось туго, когда обыденные

самообольщения не спасали его, когда он готов был лезть в первую попавшуюся петлю, лишь бы она душила его не в такой степени, как та, в которой он бился. Тугие времена действовали на него одуряющим образом. Ежедневные фантастические настроения тогда уже не удовлетворяли его; он жаждал в это время чего-нибудь диковинного и захватывающего дух. Он старался забыть свою «жисть» и выдумать другую, неслыханную. Все мечты его принимали болезненный и придурковатый характер.

Сам по себе он мало надеялся, но зато он ждал; и эти ожидания также принимали больной вид и со стороны казались просто глупыми и невежественными.

То он выдумает, что ему позволят переселиться в Азию, то он верит, что недоимки будут с него сняты, то он убеждает себя, что земли прирежут. Он ловил малейший слух, который не был очевидною нелепостью, и фантазировал на его счет. Показывая вид, что он нисколько не верил болтовне баб, он втайне предавался мечтаниям насчет какой-нибудь утки, пущенной каким-нибудь солдатиком, и в то же время с жаром ловил новую утку, волнуясь при ее появлении до глубины души. В этом случае он даже и не лгал перед собой: он верил. Это спасало его на время, позволяя ему ожидать чего-то.

Чуткость Миная к нелепостям была необычайна. Какой бы ни проносился слух, Минай на лету хватал его и задумывался. Слухи удил он по большей части на базаре, от прохожих солдатиков или из уст господ, с которыми приходилось ему сталкиваться. Каждую нелепость, подхваченную на лету, он делал еще более нелепою, бессознательно перевирая ее. Удержать же слух в себе он не имел силы, разве слух уж слишком нелеп; он рассказывал его другим и незаметно для себя приплетал что-нибудь от себя.

Раз он вылил душу перед Фролом. Фрол был человек основательный, который во всяком деле скажет верное слово. Правда, говорить он не любил; но это Минаю и не больно нужно: Минай охотнее говорит, чем слушает. Минай немного побаивался Фрола, в особенности за способность последнего обливать холодной водой; но, желая во что бы то ни стало найти хотя какое-нибудь подтверждение копошившихся в его голове нелепостей, он разболтался.

Фрол, по обыкновению, работал над сапогами. Он с течением времени стал шить сапоги и на других, и в этом деле творил такие чудеса, что приобрел громкую известность. Он мог сделать и такие сапоги, в которые легко посадить человека, и такие, которые не годны были никакому ребенку.

Минай часто забегал к Фролу; придет, посидит, расскажет какую-нибудь фантастическую невозможность и уходит облегченным. На этот раз ему и кстати было зайти: сапоги его обшле-

пались до такой степени, что странно было смотреть на его ноги.

— Ну, Фрол, к тебе! — начал Минай, снимая сапог и подавая его Фролу. — Чистая беда! Почини, брат... тутотка только заплаточки!

Фрол взял сапог, внимательно осмотрел и молча подал его обратно хозяину. Последний изумился.

— Можно? — спросил он, растерянно держа сапог.

— Нельзя.

— Как нельзя?! Эк хватил, как обухом! Нельзя! Тут заплаточку, в другом месте заплаточку — ан сапог и в целости... Этакий-то сапог нельзя? Эка?

Минай все еще растерянно смотрел на невозможный сапог и удивлялся, почему же нельзя починить. Он до сих пор воображал иначе.

— Да ты воткни буркалы-то! — сказал наконец Фрол, снова беря сапог и просовывая руку в одну из его дыр. — Воткни буркалы-то! Тут ста заплат мало, а он с заплаточками со своими... на!

Фрол подал сапог Минаю и принялся за работу. А Минай долго еще перевертывал во все стороны сапог, пока своими глазами не убедился, что починить его действительно нет никакой возможности. Он надел его. Воцарилось надолго молчание, в продолжение которого Фрол действовал шилом и с шумом размахивал обеими руками, а Минай бесцельно водил глазами по избе; у него под ложечкой начало ныть. Фрол огорошил его сапогами.

— Ай земля-то рожон вострый показала ноне, ежели этакое сокровище вздумал чинить? — не поднимая головы, насмешливо спросил Фрол.

— Что ж, сокровище, так сокровище... А что касательно земли, точно, что хлеба, дай господи, до Миколы хватит... — возразил Минай и совершенно смутился. Он сейчас только узнал, что хлеба у него чуть-чуть «до Миколы хватит».

— Да, брат, не родит наша матушка; опаскудили мы ее! — продолжал Фрол, не работая.

— Опаскудили — это верно.

— Так опаскудили, что и приступиться к ней совестно.

Разговор долго стоит на том, как и в какой мере парашкинцы опаскудили свою землю. Наконец Фрол переменил разговор.

— Земля-то не рожает задаром.

— Как же можно! Ежели к ней с пустыми руками сунуться, так окромя пырею — что ж получишь?

— Земля поит, кормит, ну, тоже и ее надо поить-кормить.

— Да как же без этого? Без этого бросай все — и больше ничего, — подтвердил и Минай.

Снова настало молчание. На этот раз оно не прошло даром для Миная. Эти сапоги, этот хлеб, которого до Миколы не хватит, обескуражили Миная. Он порылся в голове и припомнил.

— Слыхал я... сказывал мне на базаре... Как его? шут его возьми! совсем из памяти вон имя-то... Как его, лешего?.. Еще лысый мужичонко-то, семóй двор у его от конца в Кочках.— Говоря это, Минай вопросительно и с отчаянием водил глазами по избе и старался припомнить имя лысого.

— Захар, что ли?

— Во, во, во! Захар... он самый Захар и есть! Ну, сказывал: придел, говорит, скоро будет; уж это, говорит, верно.

— Так, — сказал Фрол, не отрываясь от работы.

— Беспременно, говорит.

— Так, так, — Фрол видимо начинает злиться. Когда он говорит «так», то всякий знает, что он думает иначе. Минай также это знал и потому вдруг пришел в смятение, чувствуя, что хлеба не только до Миколы, а и до Покрова не хватит.

— Ты как на этот счет, Фрол? — спросил Минай.

— Что ж на этот... по моему рассуждению, лучше лежа на печи сказки сказывать, а не то чтобы... — возразил Фрол и умолк, так что Минаю, хотя и взволнованному его словами, говорить больше нечего. Он начинает о другом.

— А то еще сказывал мне он, этот самый Захар, быдто черную банку заведут, — выпалил Минай.

На этот раз поражен был Фрол. Он перестал работать и с выпученными глазами смотрел на Миная. Как он ни привык хранить все внутри себя, но сообщение Миная ошеломило его.

— Это что ж такое!

— Черная банка; для черняди, стало быть, банка, для хрестьян, — пояснил Минай, довольный тем, что Фрол смотрит на него во все глаза.

— А для какой надобности?

— Банка-то? А гляди: желаем мы всем опчисвом прикуп земли сделать, и сейчас, друг милый, первым делом в банку... «Что, голубчики, надо?» — «Так и так, земли прикупить желаем». — «А станете ли платить?» — «Платить станем, уж без этого нельзя». — «Ну хорошо, ребята, дело доброе; сколько вам?» — «Столько-то...» Вот она какого рода банка! — кончил Минай.

Минай во время этого пояснения поднимался, снова садился, ерзал по лавке и волновался. Очевидно, он верил в свою «банку» и старался убедить Фрола в действительном существовании ее. Он желал бы еще нахвастать с три корóба о своей чудесной «черной банке», но Фрол остановил его вопросом:

— А скоро?

— Заведут, говорит, скоро.

— Так.

Надо питать глубокое отвращение к «жисти», чтобы схватить на лету слух, перелгать его и превратить в «черную банку». Откуда Минай почерпнул этот слух и как обращался с ним — неизвестно. Известно только, что он крепко оседлал его и ездил на нем очень долго, добившись одного: он забыл на время «Миколу», потому что ждал «черной банки».

Уходя на этот раз от Фрола, он был в полной уверенности, что теперь уже недолго мотаться ему и что голодухе скоро придет конец. Однако, находясь уже около двери, он спросил у Фрола:

— Заплаточки, стало, нельзя?

— Никак нельзя, — отвечал Фрол.

Это очень огорчило Миная; но, разумеется, ненадолго. Прошел день, и Минай снова глядел на божий мир легкомысленными глазами.

А легкомыслие его день ото дня становилось поразительнее. Фантазии о «черных банках» — это еще что! Это только потребность замазать трещины «жисти». Дело становилось хуже. Минай все реже и реже ездил в чудесные сферы — некогда было. Он только топтался на одном месте. Ему приходилось считаться *только* с настоящею минутой, отбросив все помыслы о будущем.

Он теперь уже жил из недели в неделю, изо дня в день, не больше. Проживет день — и рад, а что дальше — плевать. По большей части выходило так, что в начале дня он мрачно выглядел, а под конец весело и легкомысленно хлопал глазами. Это происходило от того, что в начале дня или недели он метался, отыскивая полмешка муки, а под исход этого времени мука находилась. Он быстро переходил из одной крайности в другую; то беззаботно свистел (мука есть), то ходил с осовевшими взорами (муки нет). От отчаяния он быстро переходил к радости, которая была необходима, как отдых.

Чем дальше, тем хуже. У Миная постоянно наготове был мешок, с которым он ходил одолжаться мукой. Приходилось толкаться в двери барина или Епишки, или некоторых других богачей. Выбора не было. Но барин всегда нажимал: неумелый, он то зря бросал деньги, то нажимал. А Епишка был еще хуже; он просто опутывал человека так, что после этой операции тот и шевельнуться не мог.

Думал Минай ездить по-прежнему в извоз, но и этого нельзя. Его «естественный одёр» больше не годился для извоза. Минай раз думал отправиться на заработки, но и это оказалось немыслимо. На одну зиму уйти не стоит, а на год не пустят. Минай

кругом был в долгах, и кредиторы растерзали бы его. Он сам знал, что уйди он — его найдут, привезут и положат.

Пробившись так несколько лет, Минай совсем измотался. Вышли очень скверные вещи. Он отказался платить не только недоимки — он ничего больше не платил!

— А! ты не хочешь платить? — спрашивали у него.

— Н-ни магу!

Минаю уже некогда было мечтать о будущем. Он ничего больше не желал, кроме одного — сохранить свои животы хоть еще один годик. А там, что бог даст! Это не голод и не «жисть»; это судороги.

Наконец настало время, когда Минаю нельзя было двинуться ни взад, ни вперед; оставалось только топтаться на одном месте и прислушиваться к урчанию желудка; настало время, когда только и оставалось, что начать помирать.

Что же это такое? Почему? Что случилось? Очень немногое. Но Минай не в силах был понять этого немногого, некогда было. Да и случилось это немногое где-то далеко, далеко за пределами парашкинского зрения, куда даже Минаева фантазия никогда не заезжала. «Что же это такое? — спрашивал иногда себя Минай, — беда, да и только; прямо, можно сказать, ложись и помирай». Но и такие рассуждения не часто приходили Минаю. Его единственным вопросом было: «будет ли завтра хлёбово?» С утра до ночи он только и помышлял о том, скоро ли выйдет полмешка? В голове его только и торчал он один, этот самый мешок, который выходит, выходит... вышел!

А случилось действительно немногое. Пришла новая масса людей и тоже предъявила права на еду. Впрочем, для какого-нибудь Миная это даже и не событие, потому что около него не произошло никакой перемены...

До Миная и парашкинцев это событие дошло понемногу, по мелочам, в розницу и донимало их полегоньку. Минай начал помышлять о таких вещах, о которых раньше он никогда не думал, хотя время и не давало ему одуматься.

Ему в пору было лишь одно: сохранение живота и топтание на одном месте. Когда он находил свободную минуту от мучительных дум о полмешке, он отдыхал, то есть фантазировал; а когда минуты этой не было, он судорожно бился, приискивая способ оболгать себя.

Один раз, когда Минай уже совсем было отправился в неведомую область фантасмагории, Федосья коротко заявила ему:

— Займешь, что ли, хлеба-то на завтра?

Это было вечером, в начале зимы. Минай разделся, разулся и полез уже на полати; но сообщение Федосьи так неожиданно тяпнуло его по голове, что он, как закинул босую ногу на приступку печи, так и окаменел.

— Хлеба-то? Разве уже весь? — спросил он и ошалелыми глазами глядел на Федосью.

— Ели и съели; что тут говорить!

— Ах, грех какой... весь... эк сказала! Полмешка — и весь!.. Что ж это такое!.. Эк резнула... весь!.. А молчала до сей поры!

Говоря эти бессмысленные фразы, Минай бессмысленно глядел на Федосью, без счету повторяя: «весь... эк сказала!» Но это были только слова, праздные слова, явившиеся потому, что мысли Миная спутались и говорить ему больше было нечего. Он, наконец, спустил ногу с приступка, надел сапоги, полушубок, сел, положил руки на колени и бессмысленно вперил глаза в пространство, переводя их по временам на Федосью. Семья была вся в сборе, но никто ничего не говорил.

Идти за хлебом ему было некуда; он везде задолжал. Много побрал он и из «магазеи». Просить у кого-нибудь из своих стыдно и невозможно. Он много похватал мешков у барина, все под летнюю работу. Толкнуться ему еще раз к барину невозможно — не поверит. Минай продал все будущее лето, почти ни одного дня не осталось свободного. А что касается Епишки, то как теперь к нему пристроиться? Прогонит, непременно прогонит. Должен он ему много, ругает его здорово, ну и не даст он, ни за что не даст.

И уйти невозможно было Минаю. Если бы он ушел на заработки теперь, то позади его осталась бы семья, которая помирает. Покинуть ее нельзя. Притом, раз он уйдет, это значит уже навсегда провалится; семья его тогда разбредется, хозяйство пропадет, и он будет один болтаться по свету, как старый волк. На Миная вдруг напала такая тоска, что он не знал, что и делать с собой.

В этот вечер Минай никуда не пошел. Он разделся, залез на полати и всю ночь пролежал, чувствуя, что тоска поедом его ест.

Прошел следующий день. Минаю совестно было взглянуть на кого-нибудь из домашних. «Какой ты такой отец есть?» — спрашивал он себя и находил, что он плохой отец. Он толкался в этот день в разные места, но отовсюду был выпровожен. Когда он воротился домой, то немедленно же, не глядя ни на кого, залез на печь и о чем-то рассуждал с собой, часто вслух.

Прошел еще один день. С утра Федосья жарко затопила печь и на всю деревню стучала горшками, показывая вид, что она стряпает; но из этого шума ровно ничего не вышло. Минай не выдержал и отправился к Епишке.

Епишка в это время жил на хуторе, отстоявшем от деревни версты за три. Вечер был холодный, морозный, и Минаю приходилось дорогою корчиться и по временам прятать свои руки за

пазуху. Надежды получить хлеб было мало — Епишка был сердит на Миная. Минай даже старался совсем не верить в хороший исход просьбы; он ежеминутно твердил про себя: «Не даст, ни за что не даст!» Отчаяние его было полное.

Но это отчаяние, граничащее с смертельным ужасом, неожиданно было выбито из головы его. Когда он подошел к воротам хутора, на него кинулась вся стая Епишкиных собак. Это все были жирные, откормленные псы, которые начали просто бесноваться вокруг Миная, оглушив его своим ревом. Минай с минуту стоял как вкопанный. Но, увидев, что псы вот-вот схватят его за глотку, он принялся обороняться, яростно размахивая руками. Он хватал снежные комья, ледяные сосульки, щепки, прутья и все это пускал в остервенившуюся свору. Во время борьбы у Миная слетела с головы шапка, псы немедленно подхватили и растерзали ее в клочья. Наконец ему удалось схватить длинный прут; им он и стал обороняться, с визгом размахивая его по воздуху.

— Что ты тут делаешь? — закричал Епишка, отгоняя псов.

— Ну, собаки! — возразил Минай и растерянно смотрел на Епишку.

— Да что ты тут делаешь, пес?!

Минай оправился от ужаса; хотел по привычке снять шапку перед Епишкой, но только провел рукой по заиндевевшим волосам.

— За хлебцем, Епифан Иваныч, пришел, за хлебцем... Сделай милость!

— За хлебцем! Вон какая ноне гордыня-то у нас! Бесстыжие твои глаза! А кто м-миня?.. — начал обычную свою речь Епишка.

— Веришь ли... хошь подыхать... сделай милость!

Минай говорил медленно и как будто задыхался.

— И шут с тобой! — с юмором заметил Епишка. — Нет, потоль только вы и смирны, поколь лопать нечего.

Епишка, наконец, сжалился над прозябшим Минаем и повел его в дом; к тому же ему приятно было видеть Миная таким смирным.

Епишка принадлежал к числу тех людей, для которых ровно ничего не стоит получить по морде, лишь бы заплатили за это. Сделка поэтому скоро была заключена; Минай соглашался на все и изъявил готовность работать на Епишку хоть все лето. Епишка, в восторге от сделки, напоил Миная чаем и взамен разорванной собаками шапки подарил ему другую, от чего и Минай, в свою очередь, немедленно повеселел и, уходя с хутора, «покорно благодарил».

Была уже ночь, когда Минай возвращался домой. Мороз был лютый. Но Минай ничего не чувствовал. Он пощупывал с доволь-

ством мешок, лежавший у него на спине, и рисовал себе картину того, как обрадуются Дунька, Яшка и Федосья хлебу. По обычаю, он пытался было засвистеть, и если не привел в исполнение этого намерения, то потому лишь, что мороз слишком был лют. По временам, уставая, он снимал со спины мешок, садился возле него на снег и весело глядел. Небо было чистое, глубокое; выплыла луна; заблистали звезды, и Минай совсем повеселел. Он глядел на деревню, едва заметную по немногим огонькам, хлопал рукой по мешку, взглядывал на небо и воображал, что и звезды, мигая, радуются вместе с ним его вымученной радостью.

Через две недели после этой сделки домашний скот, изба и все строения Минаева хозяйства были описаны и проданы за долги. Федосья, вместе с Яшкой и Дунькой, осталась на улице и стала думать о том, куда ей теперь деться, потому что Минай, уходя на заработки в одну из столиц, никаких инструкций на этот счет не оставил.

Минай утек из деревни за день до того момента, когда занятый им у Епишки мешок муки весь вышел, и так как исчезновению Миная предшествовали некоторые спешные и таинственные переговоры с Семенычем, выдавшим ему годовой паспорт, то понятно, что давать подробные инструкции семье ему и некогда было.

Через несколько месяцев он, однако, прислал письмо, где по-прежнему строил фантастические за́мки и выглядел беззаботным. Вот это письмо, писанное, очевидно, каким-нибудь «земляком» в шинели и с красным носом.

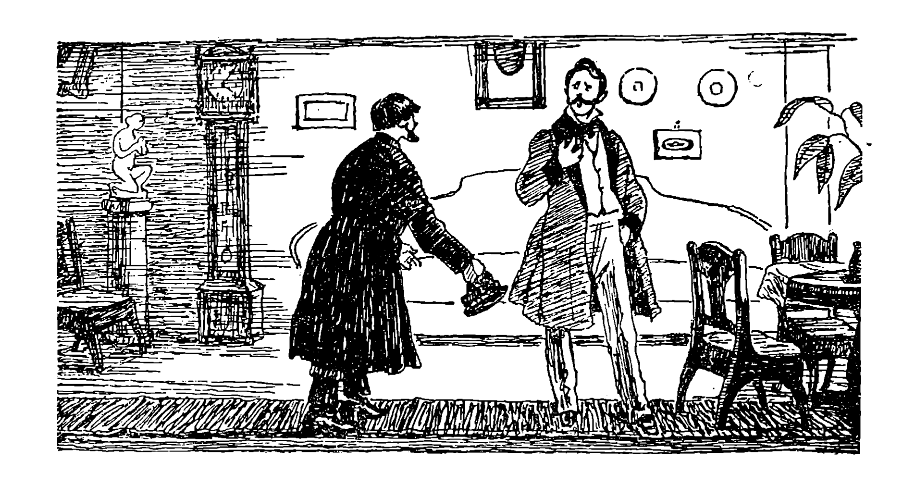
«Любезной супруге моей, Федосье Назаровне, посылаю нижайший поклон до сырой земли и целую ее крепко; и еще любезному сыночку моему шлю нижайший поклон и мое родительское благословение, вовеки нерушимое; и еще любезной дочке моей, Авдотье Минаевне, низко, до сырой земли кланяюсь и посылаю мое родительское благословение нерушимо. Заказываю я ей, Федосье Назаровне, не тужить горько, а во всем полагаться на волю господню и милостивых чудотворцев; и пусть она дожидает меня. А ноне посылаю ей деньги и приказываю сказать ей, якобы больше у меня нету. Которые тут суммы на подати посылаю, и к тем касательства не иметь ей, а прямо отдать в волость; а Федосье Назаровне взять три целковых; а когда будут, то пошлю еще беспременнѣ. И сказать ей еще: буду к той Святой дома, и купим мы избу и станем жить семейственно, с нашими детками».

Но эти фантастические надежды принесли мало пользы Федосье. С этих пор она не имела ни определенного местожительства, ни определенной еды. Яшка ходил то в батраках, то пастухом

и сам едва пропитывался. Дунька жила в господском дворе в прислугах и очень мало помогала Федосье.

Федосья ходила из двора во двор и кое-как колотилась. Работала она много, еще больше прежнего, но толку из этого никакого не выходило.

Она еще более сделалась молчаливою. Когда какая-нибудь баба украдкой совала ей кусок хлеба, она не благодарила, а молча прятала милостыню, растерянно смотря в сторону. Лицо ее совсем сморщилось, и из-под платка выбивались пряди седых волос. Она все что-то шептала про себя; но ждала ли она Миная — неизвестно.



СОЮЗ

Было бы неосновательно думать, что между Епифаном Ивановым Колупаевым и парашкинским барином происходила когда-нибудь серьезная война, стоящая внимания историка или по крайней мере репортера. Ввиду неприложимости общечеловеческой логики к поступкам Петра Петровича Абдулова, нерационально предполагать, что он понял все грозное значение вторжения в его имение и огорчился. Нет, он не огорчился, и захват Епишкой земли у него обошелся не только без всякого насилия, но, напротив, сопровождался дружелюбными отношениями между заинтересованными сторонами. Епифан Иванов, присвоивая землю Петра Петровича, радовался; Петр Петрович, отдавая свою землю, также радовался; и никакого замешательства не произошло.

Событие это, то есть внезапное отчуждение собственности Петра Петровича, произошло так тихо и незаметно, что оно и не могло обратить на себя должного внимания участвующих в нем лиц. Помимо общих причин, оно вызвано было отчасти эстетическими наклонностями Петра Петровича. Петр Петрович был вообще «любитель» — такой характер он получил по наследству, — любителем он остался и после смерти своего отца, умершего

в княжестве Монако. Петр Петрович был не только любитель, но и знаток всего изящного. Эстетические вкусы были в нем так развиты, что он томился в деревне и большую часть года проводил в столицах, где ему известны были все знаменитые икры, от времени до времени сверкающие на сценах. Вот, собственно, эти-то склонности Петра Петровича и были причиной того, что Епифан Иванов сделался вдруг... землевладельцем!

Один раз до Петра Петровича дошел слух, что в Сысойск прибыла цыганская труппа и с ума сводит всех одуревших от скуки сысоевцев, слух, который он счел сперва лишенным всякого основания. Но передавали новость с такими подробностями, что не верить было нельзя. Рассказывали, что труппа объехала всю Россию и всюду возбуждала своим хором восторг; говорили, что принадлежности балагана устроены до последней степени эффектности; утверждали, наконец, за верное, что примадонна труппы, известная под именем цыганки Катьки, исполняет канкан в высшей степени замечательно. Одним словом, слух оказывался верен, и Петр Петрович всполошился, велел заложить лошадей и быстро собрался.

На беду в эту минуту у него не было денег, и ему не с чем было бы ехать, если бы ему не пришла в голову мысль взять нужное количество у Епифана Иванова. Епифан Иванов спас. Отношения Епишки к парашкинскому барину ограничивались до сих пор тем, что он был постоянным поставщиком вин и водок, нарочно им выписываемых для барина. Епишка приходил с ящиком, отдавая его прислуге, говорил: «Петру Петровичу! нижайшее...» и уходил, пряча в карман пачку ассигнаций. Поэтому удивление его не имело границ, когда он узнал, что Петр Петрович имеет до него настоятельную просьбу...

— Петру Петровичу! Нижайшее! — сказал Епишка, представ перед барином и приглаживая себе волосы.

Петр Петрович с нетерпением ходил по зале. Увидав Епишку, он остановился перед ним, положил ему руку на плечо и вперил в него глаза.

— Слушай, Колупаев! Мне надо денег, понимаешь? — Петр Петрович глядел сурово.

А Епифан Иванов растерялся и не знал, что отвечать.

— Мне надо денег, слышишь? — повторил с тем же взглядом Петр Петрович.

— Что ж... деньги всякому человеку требуются... — растерянно возразил Епишка и посмотрел по сторонам, питая еще надежду как-нибудь улизнуть.

— Надеюсь, что ты, братец, не откажешь? — спросил Петр Петрович, начавший уже терять терпение, потому что лошади давно были заложены.

— Как же можно отказать? Отказать невозможно! — с отчаянием отвечал Епишка, бросив косой взгляд на дверь. Улизнуть для него действительно было уже невозможно; Петр Петрович неумолимо стоял над ним и держал его за плечо — способ, какого он некогда держался в своих сношениях с петербургскими евреями. Епишка пришел в глубочайшее волнение; он в душе злобно клял черта, который сунул его в такую минуту к барину; притом просьба последнего была так неожиданна! Но Епишка был сообразителен и выпутывался ловко из всевозможных сетей. Ему вдруг пришла в голову мысль, счастливая мысль, от которой он мгновенно вспыхнул и весело сверкнул глазами.

— Да ты уж и в самом деле не думаешь ли отказать? — с негодованием спросил Петр Петрович.

— Как можно отказать? — весело заговорил Епишка: — отказать! Чай, тоже благодеяния ваши помню... Чай, душа-то есть у меня... Позвольте доложить... извольте приказать мне... скажите: Колупаев! выворoти нутро свое! и сейчас, первым делом...

— А сколько вам требуется, осмелюсь доложить? — вдруг прервал сам себя Епишка, решительно повеселев.

— Шесть, семь сотенных.

— Это мы можем.

— Ну, так ты неси сейчас! Слышишь, сию минуту!

Сказав это, Петр Петрович оставил Епифана Иванова и отправился к себе в кабинет. Однако Епишка не уходил; он стоял на том же месте, топтался с ноги на ногу и все чего-то ждал. Нетерпение и негодование Петра Петровича дошло до высочайшей степени, когда он увидел, что кредитор его все еще мнется.

— Ну? — шепотом проговорил он и топнул ногой.

Епишка исчез. Но через минуту дверь тихо отворилась, и Петр Петрович с удивлением увидел просунутую маленькую головенку Епишки, который жалобно прошептал: «Векселечек бы...» Это окончательно возмутило Петра Петровича. Он взглянул на лошадей, которые, стоя подле крыльца, рыли копытами землю, и бросил зловещий взгляд на своего мучителя. Если бы в эту минуту Епишка не исчез, то барин наверняка протурил бы его в три шеи. К счастию, до такой крайности дело не дошло; Епишка скрылся и только на улице, проходя мимо раскрытых окон, еще раз прошептал: «Векселечек бы».

Менее чем через час сделка была кончена. Епишка вручил барину требуемую сумму и получил вместо нее вексель. Сделка была совершена к обоюдному удовольствию. Петр Петрович немедленно сел в тарантас и поехал в Сысойск, а Епишка провожал его глазами, причем поглаживал обнаженную голову, пощупывал карман, в котором лежала драгоценная бумажка, и, кланяясь вслед уезжавшему, говорил:

— Петру Петровичу! Нижайшее!

Так было дело.

Петр Петрович долго оставался в Сысойске, до тех пор, пока не уехала оттуда труппа; затем занял денег еще раз у кого-то в городе и отправился в Петербург, где к тому времени появились новые икры. И в Петербурге он оставался долго; лишь крайняя нужда в деньгах вынудила его направить свой путь домой, где ждали его кредиторы и, конечно, Епишка.

От Епишки нельзя было добром отделаться; ему непременно надо было уплатить, иначе он замучает. Петр Петрович это знал; но ошибался только насчет способа действий Епифана Иванова. Когда Петр Петрович явился домой, Епишка не стал назойливо приставать к нему и не лез с ножом к горлу; вместо этого он избрал другую политику. Он ежедневно проходил на барский двор и, не тревожа Петра Петровича, спрашивал только о здоровье его у камердинера. Такая политика оказалась до того действительною, что через месяц Петр Петрович почувствовал себя совершенно здоровым; если же и болел чем, так только желанием вышибить несколько зубов у мучителя. Но, ввиду того, что это желание оказалось неисполнимым, Петр Петрович махнул рукой, призвал мучителя и с вызывающим видом, свойственным вообще древнему роду Абдуловых, предложил ему вместо денег землю, на что мучитель и изъявил полнейшее свое согласие. Приплатив еще несколько тысяч, Епифан Иванов утвердился в качестве землевладельца. Таким образом, этот переворот совершился не только мирно, но и к обоюдному удовольствию; потому что, если, с одной стороны, Епифан Иванов имел основательную причину радоваться, то, с другой стороны, и барин, получив неожиданно несколько тысяч, не мог жаловаться на безвыходность. После этого он долго жил в свое удовольствие, читал, играл, охотился и дурил. Мысль об опасном и тягостном положении надолго вылетела из его головы. Он даже забыл на время свою культурную миссию, коня, на котором прежде, бывало, он ездил беспрестанно. Петр Петрович долго после этого чувствовал себя спокойно, избавленный на время от необходимости выжимать из выжатого имения деньги, во что бы ни стало деньги, и, разумеется, не питал вражды к Епифану Иванову. Он едва ли даже хорошо помнил, кто это такой Епифан Иванов!

Единственное враждебное столкновение их, наделавшее шуму между парашкинцами, происходило при таких исключительных обстоятельствах, что, по самой природе своей, оно не могло повлиять на их отношения и вызвать в них жестокие чувства друг к другу.

Случилось это в церкви. Так как Епифан Иваныч отличался набожностью и не пропускал ни одной воскресной обедни, то понятно, что в конце концов он получил полное право становиться

впереди всех и прежде всех прикладывался ко кресту. Петр Петрович долго не обращал на это внимания; но случайно узнав об этом, а также убедившись собственными очами, что все без исключения парашкинцы скидают перед Епифаном Иванычем шапки, тогда как ему перестали и головой кивать, он решился дать своему воображаемому врагу урок. В одно воскресенье он это и сделал, внезапно явившись в церковь прямо с охоты. Он был в венгерке, в высоких сапогах со шпорами и с хлыстом в руке. Хлыст, впрочем, он оставил за оградой, но зато сам так и явился в странном костюме, к удивлению всех присутствующих, никогда не видавших барина в церкви. Пройдя вперед, Петр Петрович бесцеремонно сдвинул Епишку и сам стал на его место. Епифан Иванов побледнел, стал особенно набожно кланяться; но все-таки встал рядом с нахалом... Это было положительно нечестивое зрелище.

Во все время, пока длилась служба, Петр Петрович держал себя неприлично. Он ежеминутно оглядывался по сторонам, сморкался, засовывал руки в карманы панталон и, наконец, к соблазну окружавших, обеими руками облокотился на перила, протянув ноги! Когда же обедня кончилась и крайне смущенный отец Михаил Архангелов вышел с крестом, то Петр Петрович столкнул Епишку назад и первый приложился... У Епифана Иванова по всему лицу выступил пот, и глаза позеленели; оскорбление, само собой разумеется, было ужасное.

Обедня скоро кончилась; народ вышел из церкви и с любопытством наблюдал за двумя предполагаемыми врагами. Епифан Иванов, по обыкновению, снял картуз и, кланяясь, громко проговорил: «Петру Петровичу! Нижайшее!» Но Петр Петрович только кивнул головой, бросился на своего жеребчика «Сашку» и, насвистывая марш, поскакал к себе в усадьбу, вполне довольный произведенным эффектом.

Парашкинцы, однако, слишком рано заключили, что Петр Петрович и Епифан Иваныч — враги; это ошибка, за которую парашкинцы все-таки поплатились. Епифан Иванов не мог сердиться на Петра Петровича потому уже, что последний внушал ему невольное почтение, смешанное с инстинктивным страхом. Что касается самого Петра Петровича, то и он скоро совершенно забыл обо всем происшедшем в церкви. К тому же, в это время он снова влез на своего коня и по-прежнему принялся галопировать на нем. Временно он мог утомляться, слезать с коня и созерцать знаменитые икры; но совершенно забыть об «старом дворянском коне» он был не в состоянии. Неминуемо он возвращается к старой мысли, которую можно выразить приблизительно так: необходимо встать в уровень с обстоятельствами. Так думал Петр Петрович, и чем больше думал, тем больше убеждался, что для него в его теперешнем положении встать в уро-

вень с обстоятельствами самое неотложное дело, вне которого нет ни малейшей надежды удержать прежнее свое влияние.

Петр Петрович был человек передовой, не способный застыть в болоте рутины, и потому он с жаром принялся за осуществление мысли, озарившей его. Он уже мечтал о том, как он снова поднимется во мнении парашкинцев, какое образцовое хозяйство заведет и как станет искоренять невежество, разливая вокруг себя просвещение и культуру. Голова его деятельно работала в этом направлении, и планы без счету роились в его воображении. Он не ограничивался тем, что сам наслаждался своим измышлением, но деятельно распространял его, пропагандировал, наперед предсказывал фурор, который он произведет. В губернском клубе, куда по временам собиралась вся губернская знать, он старался всех убедить в правильности своих воззрений. Он доказывал, что теперь, милостивые государи, волей-неволей приходится встать «в уровень с обстоятельствами», что «при теперешнем положении наука и знание — единственные орудия, достойные нашего просвещенного класса», и что «было бы, милостивые государи, крайне грустно видеть культурный слой отказавшимся от своего истинного предназначения — служить проводником просвещения и рассадником плодов цивилизации». Петр Петрович был красноречив, и его речи проникнуты были верой и симпатией.

Это была самая счастливая пора для Петра Петровича. Он верил и был воодушевлен. Его озарила мысль и придала прелесть его жизни; у него явилась цель и назначение, за которое можно положить душу. Никогда Петр Петрович не волновался так, как в это время, и никогда мысль его не была шире и увлекательнее! Когда, после смерти отца, он приехал в имение, то сразу почувствовал себя скверно; в своих собственных глазах он сделался ненужным человеком. В имении он очутился в положении потерпевшего кораблекрушение и волнами выброшенного на пустынный берег; он не знал ни того, где он, ни того, что ему делать, ни даже того, какими средствами жить. И вдруг его озарила мысль, что он цивилизатор, пионер, который завладеет пустыней, покорит неведомых зверей и распространит вокруг себя мир и благодать. Это назначение должно было удовлетворить его материально и нравственно; эта цель должна была возвратить ему прежнее положение; эта же цель даст ему возможность помочь бедному человечеству вообще и парашкинцам в частности.

Воодушевление его продолжалось долго; но оно не могло длиться вечно. Оно кончилось, и кончилось самым ироническим образом.

Оказалось, что Петр Петрович говорил только для забавы своих слушателей, соклубников; оказалось, что будущие лендлорды, слушая его в клубе, воодушевлялись не его речами,

а двухпудовыми осетрами, и только осетры и могли привести их в восторженное состояние. Речи же оратора они выслушивали с посоловевшими глазами. Взбешенный таким открытием, Петр Петрович однажды под пьяную руку вымазал бараньей котлеткой лицо одному чревоугоднику, пригрозил другому спустить его с лестницы, наплевал на третьего, наплевал вообще на всех и больше никогда не показывался в клубе.

Он решился действовать один и на свой страх. Он хотел воочию убедить всех, что без помощи «просвещенного класса» сумеет сделаться образцом. Но и здесь первые его шаги были шагами младенца. Первая машина, которая была с треском выписана, скоро как-то совсем исчезла, исчезла без шума и незаметно, оставив после себя одно тягостное воспоминание. При первых же опытах с ней произошло столько знамений и чудес, что ее принуждены были бросить; а один из работников Петра Петровича, Федя, впоследствии с ужасом уверял, что ему чуть-чуть голову не оторвало! Машина была брошена под сарай и долго стояла там, подверженная влиянию дождя, снега и всех непогод. Пользу же она принесла только в том отношении, что наглядно убедила всех в «невежестве и недобросовестности наших рабочих».

Собственно говоря, с этого момента и проявляется в Петре Петровиче склонность сообразовать свои действия с обстоятельствами и примириться с духом времени, не отыскивая особенной цели для своего существования. Потерпев неудачу в проведении в жизнь своих проектов, он немного опустился и плюнул на все. Он сразу остался без цели, без дела, без будущего. Пробовал он еще примоститься к всесословной волости, но и здесь оказался за штатом. Было бы странно истолковывать это последнее его увлечение корыстными видами. Он не желал только остаться на пустынном берегу и умереть от тоски и одиночества — только! Потому-то он и изыскивал все способы и меры, чтобы присоединиться к чему-нибудь, отыскать какое-нибудь дело, хотя бы и не особенно выгодное в съедобном смысле. Этот проект, приводимый им уже без прежнего жара и одушевления, сел на мель, встреченный с одной стороны равнодушием, с другой — победоносным хохотом; и Петр Петрович с той поры окончательно отказался от какого бы то ни было провиденциального назначения. Он все бросил, а в одни хозяйственные дела не имел силы погрузиться. Хозяйство его поддерживалось само собой, а Петр Петрович жил сам по себе.

Это не значит, чтобы он отчаялся поставить на ноги свое падающее хозяйство; это только значит, что он вполне убедился в бесполезности своего вмешательства в имение, которое само себя поддерживает, не грозя окончательным разрушением. Такое консервативное положение дел временно удовлетворяло его;

по отношению к своему хозяйству он занял выжидательную позу, наблюдая лишь за тем, что́ из всего этого выйдет? Наняв пять-шесть годовых работников и поручив наблюдение за ними шестому или седьмому, он сам уже редко вмешивался. Вместо этого он предпочитал вести более благородную и осмысленную жизнь. Утром он ездил на охоту, до обеда читал газеты, после обеда читал роман, вечером играл на рояле, ночью опять роман. С некоторого времени он в особенности стал увлекаться газетами. Он их жадно читал и решительно вмешивался в политику. Он не пропускал ни одного политического tour de force [1] и подвергал строжайшей критике европейские меры, беспощадно относясь в то же время к творцам их. Если политик надувал, Петр Петрович называл его мошенником; если политика надували, он клеймил его дураком; если же кто-либо из этих мошенников и дураков задевал отечественные интересы, то Петр Петрович грозил ему, представляя на его усмотрение бесчисленное число шапок, которыми можно что угодно закидать. Вообще Петр Петрович вел в это время беспечальную жизнь, только изредка создавая себе беспредметные тревоги и радости.

Бывали, конечно, случаи, когда Петр Петрович был выводим из терпения и поневоле вмешивался туда, где он чувствовал себя несчастным, всюду внося суматоху. Все без исключения работники его отличались крайней леностью и в высшей степени недобросовестно исполняли свои обязанности. Они всегда находили возможность уклониться от работы и балбесничали. Если Петр Петрович забывал о них — а он постоянно забывал — они выбирали время, садились на сеновал в кружок и дулись в карты, большею частью в носы, так что самый младший из них, Федя, большой забияка и трус, круглый год ходил с облупленным носом. Это хоть кого возмутит.

Петр Петрович, конечно, возмущался; он грозил всех рабочих прогнать, кричал на весь дом и бесновался; но из этого никогда никакого толку не выходило. Петр Петрович долго после этого чувствовал себя расстроенным и жаловался на то, что его не понимают. Действительно, его не понимали. Он хотел жить спокойно и никого не трогать, а его беспокоили. Он был добр, а его выводили из терпения. Он никогда не сказал бы дурного слова о своих людях, а они его заставляли ругаться. Как только Петр Петрович забывал о них, они принимались за старое, то есть балбесничали. Иногда Петр Петрович нарочно подкарауливал их и застигал на месте преступления; но какая из этого польза!.. Все, как и следует, сидели на сене; каждый сосредоточенно смотрел в карты... Игра оканчивалась... Федя защемляет нос меж карт и приготовляется безропотно вытерпеть мучения.

---

[1] Ни одного политического поворота (*франц.*).

«Бей!» — говорил он огромному верзиле. «Я тебе сворочу!» — яростно отвечает тот, засучивая рукав и прицеливаясь тремя картами к носу жертвы...

— Что вы делаете? — неожиданно спрашивает Петр Петрович и с негодованием глядит на игроков.

Поднималась суматоха. В мгновение ока все лентяи исчезали с сеновала, оставляя там только одного Федю-труса, который с ужасом смотрел на взбешенного барина и готовился повалиться в ноги...

— Тотчас приходи за расчетом! — говорил в таких случаях Петр Петрович и спускался с сеновала. Но ни Федя-трус, ни прочие рабочие расчета не получали, потому что и такая мера оказывалась бесполезною; новый работник непременно вел себя так, как и старые, то есть балбесничал. Притом и сердце у Петра Петровича было доброе; он скоро забывал об оскорблении.

Петр Петрович на опыте испробовал всю бесполезность делать выбор между работниками, которые были все похожи друг на друга. Каждого вновь представлявшегося батрака он тщательно исследовал, стараясь проникнуть в самую душу его, и грозно смотрел на него, чтобы наперед напугать его и уверить, что никакого упущения или небрежности он не потерпит. Всегда всякому новому рабочему он предлагал три вопроса:

— Ленив?

— Пьянствуешь?

— Совести нет?

И ничего не выходило.

Вопросы эти, как и следует, сопровождались проницательным взглядом; как и следует, новичок от неожиданности не знал, что отвечать, и бессмысленно таращил глаза, если был несообразителен, или уверял, что «без совести никак невозможно», если был бойкий малый; но строгость ни к чему не вела. Каждый новичок первые три месяца считал своим долгом вести себя как следует; но дальше поведение его шло обычным своим порядком. Через три, много через четыре месяца он уже питал непреодолимую склонность густо мазать дегтем свои сапоги, лепить на голову коровье масло и ходить в красной рубахе. А за этим сами собой следовали дерзости, которые принужден был выслушивать Петр Петрович насчет своего непонимания хозяйских дел! Так вел себя всякий рабочий, и над Петром Петровичем висел как будто неумолимый рок.

Часто он не выдерживал; в ярости писал он корреспонденции в столичные газеты и беспощадно обнаруживал печальную действительность. Жаловался, что теперь хозяйство вести невозможно, что землевладелец окружен атмосферой нарушения контрактов и что борьба с невежеством самое безнадежное дело. Конечно, корреспонденции не приносили ему ни малейшей пользы, но

с помощью их он на время как будто успокоивался, удовлетворяясь пока тем, что казнил лентяев. И действительно, лентяи молчали, ничего не возражая на обвинения, потому что Петр Петрович обставлял свою идею многочисленными фактами, воочию обнаруживавшими бесстыдство их.

Но в материальном отношении письма в газете приносили Петру Петровичу даже вред, отвлекая его от прямых обязанностей по хозяйству, и успокоивая его в то время, когда он должен был беспокоиться. Если бы не экономка Луша, исполнявшая еще другую обязанность, о которой говорить здесь было бы странно, то Петр Петрович как хозяин давно бы уже провалился. Это она посоветовала ему заколотить в доме двадцать семь комнат, отдав их во владение крыс и мышей, она одна наблюдала за кухней и иногда за рабочими, она же ругалась, когда того требовали интересы Петра Петровича. Без нее от Петра Петровича осталось бы одно воспоминание. В благодарность за все ее услуги он под веселую руку все обещался жениться на ней, хотя, по свойственному ему шатанию из стороны в сторону, не исполнял этого обещания.

Что дела его становились плохи, это Петр Петрович и сам иногда замечал, и если не предпринял ничего против этого, то в душе изредка мучился самыми грустными предчувствиями. Не предпринял же никаких существенных мер он оттого, что решительно недоумевал, что ему делать. Все прежние его системы лопнули, планы рушились, новое проектированное им хозяйство, основанное на выгоде, с одной стороны, и великодушии к парашкинцам — с другой, не удалось, принеся ему один срам и сознание своей ненужности. Что после этого оставалось предпринять? У него уже несколько раз зарождалось желание все продать, бросить и бежать, и удерживался он на месте, в Парашкине, только мыслью, что «везде один черт на дьяволе». Ему сразу представлялась в будущем неизбежность вечного шатания и безделья, и он покидал намерение бежать, чувствуя, что в сердце его еще трепещется надежда найти дело. Он все еще не имел силы отказаться от желания устроить свое имение так, чтобы оно, с одной стороны, приносило доход и возвышение над всем окружающим миром, а с другой — нравственное удовлетворение. В нем осталось неизменным желание играть роль и быть в главе хотя бы стада. Но в то же время он во многом переменился. После смерти отца, представителя крепостных инстинктов, Петр Петрович преобразился главным образом в том, что перестал смотреть на мужиков, как на живность. Он думал согласить свою собственную выгоду с выгодой парашкинцев — так и мотался он между этими крайними точками. Можно с уверенностью сказать, что после неудачи его культурных планов он потому и сделался вялым и бездеятельным, что никоим образом не в состоянии был соединить эти

две выгоды. Он видел, что самое легкое и простое дело — это схватить мужика, которого никто больше не блюдет, запрячь его и поехать к одной из своих целей, но это внушало ему непреодолимую брезгливость.

Между тем выбора он не видел: или собственное спасение и истязание других, или постыдное бегство из того места, где он мечтал быть влиятельным и богатым цивилизатором! Он намеревался устроить из своего родового имения рай земной, заложив в фундамент этого рая культуру и великодушие, — и вдруг... Mon dieu! [1] до чего он дойдет, если останется в раю и примется мучить парашкинцев!

Как назло, с некоторого времени Петр Петрович отовсюду слышал дурные вести, всякий, кто с ним говорил, непременно считал как бы обязанностью своей, рассматривая дела Петра Петровича, прибавить: «плохо-с!» К нему раз заехал сосед и наговорил столько горьких истин, что Петр Петрович после этого всю ночь не мог заснуть, все представляя себе зрелище нарушения контрактов, разорения и бегства. В эту ночь он ясно вообразил, как он продал имение, как на все махнул рукой и как вычеркнул свое имя из культурного списка.

Даже прежние почитатели его стали относиться к нему как-то двусмысленно. Старшина, Сазон Акимыч, с которым ему изредка приходилось иметь дело, встречал и провожал его с бо́льшим равнодушием, чем прежде. А исправник, Лука Алексеич Плюхин, вел себя с ним просто неприлично, помимо того что по целым месяцам глаз к нему не казал. Однажды Петр Петрович пригласил его на обед, когда тот проезжал по округу, и стал расспрашивать его о новостях по уезду. Лука Алексеич рассказал ему о всеобщем разорении и, перейдя внезапно к делам самого хозяина, прибавил: «плохо-с!» Несмотря на то, что Петр Петрович резко прервал его, он не унимался. Он держал себя крайне свободно, ел за троих и не постыдился обвинить в разорении самих «господ помещиков». К довершению невежливости, Лука Алексеич перед прощанием взял Петра Петровича за пуговицу, наговорил ему кучу полицейских сентенций, икнул фаршированной капустой и уехал как ни в чем не бывало. Петр Петрович был до того поражен, что с первого разу не мог обнять все неприличие человека, который несколько лет назад настоялся бы у него в прихожей, и только заметил себе, что положение его и в самом деле, вероятно, отчаянное.

Убедившись, наконец, в этом, Петр Петрович сделался страшно угрюмым. С Лушей он постоянно брюзжал, с рабочими ругался. Он повел одинокую жизнь. Ездить ему было не к кому, знакомиться не с кем. Вся «округа» была занята выходцами из всевоз-

---

[1] Мой бог (*франц.*).

можных трущоб, разными торгашами и прасолами, с которыми он ничего не имел общего ни по своему положению, ни по образованию. Он мог быть только чужим между всем этим людом, к которому он относился брезгливо; чтобы жить с ними, ему необходимо было принизить себя до их уровня и сделаться невежественным, как и они. Этого Петр Петрович не хотел и потому запирался в своем кабинете. Что он там делал, об этом не знала даже Луша. Правда, она иногда замечала, что в кабинет Петра Петровича проносили ящик с бутылками, и это делалось по большей части ночью; но она не могла рассказать дальнейшую судьбу ящика с бутылками, который навсегда для нее исчезал. Она могла сделать только более или менее рискованное предположение, что компрессы, часто прикладываемые ею по утрам к голове Петра Петровича, имеют некоторую связь с ящиком. Но зато Луша наверное знала, что Петр Петрович любит читать по ночам книжки; следовательно, если ящик с бутылками и играл какую-нибудь роль, то лишь с любимыми Петром Петровичем поэтами.

Это переходное время тяжелым камнем легло на Петра Петровича и придавило его. Все его мысли рассеялись или заволоклись туманом. Понятие о том, что хорошо и что дурно, скрылось с горизонта его нравственности. Дорогой конь его, на котором он долгое время, к собственному удовольствию, галопировал, изнемог и пал бездыханный. Идеалы его завяли, иллюзии погибли. Вместо всего этого остались одни голые факты: разоренное имение, требующее для своего поправления страшных жертв, и Епифан Иванов, представляющий своей деятельностью ежедневный соблазн. Петр Петрович на время растерялся и недоумевал, что ему предпринять. Это было время, когда ветер не имел определенного направления, а дул сразу со всех сторон порывами, которые сбивали с толку Петра Петровича, не давая ему возможности уловить главного течения, на волю которого следует отдаться. Тяжелое время!

Такое невыносимое состояние не могло долго продолжаться. Так или иначе, Петр Петрович должен был выйти из печального затруднения. Жить без дела, без цели и под постоянным страхом обнищать — тяжело и грустно.

Дело порешено было однажды осенью. Петр Петрович давно уже не видался с Епифаном Ивановым, хотя чуть не ежедневно слышал о его деяниях. Но на этот раз сама судьба взяла на себя обязанность столкнуть их. Они встретились на меже, отделявшей владения Петра Петровича от хутора Епифана Иванова. Епишка был с двумя собаками, которым он постоянно кричал: «цыц!» Петр Петрович был на своем «Сашке» и с хлыстом в руке. Псы Епишки бросились было на барина, но хозяин закричал им «цыц!», и они поджали хвосты. С этого и начался разговор. Епифан Иванов снял, по обыкновению, картуз и, приглаживая волосы, изъя-

вил «Петру Петровичу нижайшее почтение». Однако он не думал, чтобы для него Петр Петрович слез с лошади и кивнул головой. Когда же это действительно случилось и когда Петр Петрович подал ему средний палец, его удивление не имело границ, и он мог выразить чувствительную благодарность только благоговейным пожатием протянутого ему перста.

— Ну, как поживаешь? — спросил Петр Петрович, к еще большему удовольствию Епифана Иванова.

— Покорно благодарим! Бог грехам терпит, Петр Петрович! Живем как следует быть...

— Это хорошо, — одобрительно отозвался Петр Петрович.

— Ежели бы да только не мужики, совсем было бы хорошо, это вы верно изволите говорить.

— Что ж мужики?

— Одолели! Отбою нет... Все лезут за деньгами и за хлебом тоже! Иной раз жисти не рад, потому народ необразованный, бесстыжий!.. А вы, как изволите жительствовать?—вдруг спросил Епифан Иванов.

— Ничего.

При этом ответе Петр Петрович пристально взглянул в лицо собеседника, чтобы удостовериться, не написано ли на нем подлое выражение: плохо-с! Подлое выражение действительно играло на маленьком лице Епифана Иванова, и Петр Петрович раздражился.

— Ничего не могу поделать с ними! — злобно выговорил он.

— Обхождение у вас с ними не настоящее, Петр Петрович... Просим прощения... Поведение у вас кроткое...

— А что же мне делать! Не могу иначе!

— По сей причине они и задрали нос... народ необразованный! И что они говорят про вашу милость, а-ах, что говорят, паскудники!

— Что такое? — спросил Петр Петрович, причем преждевременные морщины на его лбу еще более сморщились, а рука, державшая хлыст, крепко сжалась.

Епифан Иванов лгал; но он имел на это свою цель.

— Мы, говорят, евойное владение, бог даст, купим, потому, говорят, хозяйствовать ему невмоготу...

— Что-о?

— Купим, говорят... — Епифан Иванов остановился; выражение лица Петра Петровича приняло такой оттенок, что он стал опасаться, как бы его не познакомили с хлыстом. Епифан Иванов готов был раскаяться в своей лжи.

Но негодование Петра Петровича скоро утихло. Он задумчиво сбивал хлыстом пожелтевшие листья кустов и молчал. Молчал и Епифан Иванов.

— Поведение у вас кроткое, Петр Петрович, — начал Епифан Иванов: — поведение, прямо сказать, ангельское... А разве так можно? Первое дело, есть ли от поведения стоящая внимания прибыль... Нет? Ну, и шабаш с поведением! По моему рассуждению, с *ними* механику подвести осенью...

Петр Петрович в другое время, может быть, затопал бы ногами, выслушивая этот наставительный тон, но на этот раз он только задумчиво спросил:

— Осенью?

— Осенью. Тут мужик смирен! Тут ему самый мат и есть; тут он, как ошалелый, словно как бы белены объелся...

— Ну?

— И тут ты бери его прямо руками и делай из него все, что следует по положению...

— Ты хочешь сказать, что следует давать осенью задатки, под работу? — спросил задумчиво Петр Петрович. Ему как-то странно было слышать откровенные советы собеседника; сам он чувствовал себя не в состоянии так искренно выражаться. «Вот это настоящая, воплощенная правда!» — подумал он, задумчиво глядя на Епифана Иванова.

— Что ж... мое дело сторона, Петр Петрович... Ну, только благодеяниев они ваших не поймут, а вам один разор!

Петр Петрович все еще задумчиво стоял, сбивая хлыстом листья. Он был видимо поражен тем, что услыхал, и главным образом наивною искренностью собеседника, который наивно смотрел на свои советы, как на благожелательство. Вообще Епифан Иванов очень выигрывал своей ужасной откровенностью. Петр Петрович, наконец, очнулся от задумчивости и вскочил на коня. На прощанье, когда Епифан Иванов умолял дозволить ему оказать услугу своему благодетелю, Петр Петрович пожал ему руку и поскакал в усадьбу.

Вот с каких пор Петр Петрович радикально изменился.

Услуга действительно была оказана Епифаном Ивановым. Он переговорил с старшиной, Сазоном Акимычем, — и дело было кончено. Для Епифана Иванова было выгодно поставить Петра Петровича на одну доску с собой, и не только выгодно, а просто необходимо. Парашкинцы до сих пор в тяжкие минуты шли к Петру Петровичу — и он их выручал. Летом давал им заработки; зимой — хлеб; осенью — деньги. И никогда еще не слыхано было, чтобы Петр Петрович вымогал пятаки и мелочно притеснял. Если и случалось, что он давал денег под работу, то парашкинцы не могли пожаловаться на Петра Петровича — для обеих сторон такие сделки были выгодны. Вследствие этого парашкинцы только в редких случаях обращались на хутор, зная, что Епишка легко умеет надевать петлю и захлестывать ее. Епишка действовал так, что каждый обращающийся к нему чувствовал через некоторое

время себя кругом виноватым. Он не боялся даже и того, что парашкинцы перестанут обращаться к нему, и он останется одинок и голоден, как паук осенний. Он знал, что Петр Петрович, когда ни на есть изменит свое «поведение» и будет действовать с ним в согласии... Поэтому радости его не было конца, когда он увидал свое желание осуществившимся. Перед Сазоном Акимычем, которого он втянул в свою комбинацию, он прямо хвастался, что все это он делает по поручению своего *друга* Петра Петровича.

Результат не заставил себя ждать долго.

Дня через три парашкинцы с тревогой увидали, что в волость привезен воз хворосту. Зная по опыту, что хворост ничего доброго не предвещает, они попросили у Сазона Акимыча пардону. Но Сазон Акимыч был строг и действовал по своей должности неупустительно. Тогда парашкинцы принуждены были отказаться от своего намерения уклониться от исполнения обязанностей; они решились, не медля ни минуты, удовлетворить справедливое желание Сазона Акимыча. Те из них, у которых не было ни гроша денег, отправились к Петру Петровичу.

К удивлению их, Петр Петрович совершенно изменил свое поведение. Он и прежде был суров, но теперь сделался недоступен. Как ни умоляли его парашкинцы ссудить им деньжонок, он оставался непреклонен и на все их бессвязные восклицания отвечал: «Хотите под работу — берите, не хотите — убирайтесь». Парашкинцы ничего не могли поделать. Когда, наконец, они согласились продать себя на будущее лето, они увидели, что и здесь поведение Петра Петровича изменилось. Петр Петрович ожесточенно торговался из-за пятаков, за несколько пятаков требовал нескольких дней работы и, подобно всамделишному торговцу, говорил им: «Я не неволю; не нравится — убирайтесь». Парашкинцы разинули рты от удивления, до такой степени поведение барина было необычно, и уступили. Возвращаясь домой, они ругались меж собой, громко высказывали в глаза друг другу старую истину, что они «дураки — и больше ничего», и уверяли друг друга, что «влопались как нельзя лучше», хотя такие уверения были уже бесполезны.

Весь этот день Петр Петрович чувствовал себя хорошо. Ему казалось, что он исполнил нынче какую-то обязанность, о которой он забыл, хотя давным-давно должен был исполнить ее. Он ощущал в себе сознание, что, наконец, нашел выход из отчаянного положения, и вырос в собственных глазах. Роль практического человека ему очень понравилась, может быть, впрочем, потому, что в первый раз в жизни разыгрывалась им. Это бодрое настроение духа было отравлено только одним эпизодом...

Когда все парашкинцы уже ушли, Петр Петрович неожиданно увидел перед собой седого, дряхлого старика. То был дед Тит,

которого Петр Петрович немножко знал. Дед Тит не помнил, когда он родился и сколько лет проехало по его спине. Во всяком случае, он был стар, очень стар. Реденькие волосы его были совершенно белы; зубов и в помине не было; а глаза сделались от времени разными. Один глаз был маленький, черный и насмешливый; другой был пошире, желтый и грустный. Ноги деда тряслись, руки дрожали...

Войдя к Петру Петровичу в комнату, служившую приемной для черных людей, дед Тит прежде всего постарался отыскать глазами то место, где был Петр Петрович, прищурил свой маленький насмешливый глаз и вдруг, не дожидаясь приглашения, сел на пол.

Петр Петрович вдруг неожиданно почему-то смутился и мягко проговорил:

— Тебе что, дедушка, надо?

— За деньжонками, соколик, за деньжонками, милостивец! потому... — Дед закашлялся и не кончил.

— Под работу?

— Под работу.

— Кто же работать-то станет?

— Я, самолично я.

— Да как же ты работать-то станешь, когда ты и стоять не можешь? — спросил Петр Петрович, еще более смущаясь.

— Ты не гляди, что я этакой... Я на работе лют!

— Большая у тебя нужда?

— Нужда во какая! — отвечал дед и хотел провести рукой по шее, но рука не повиновалась ему: — Пороть меня вздумали...

— Тебя?!

— Верно говорю. Сын у меня на заработках... Подождите, говорю! Дайте срок, уплачу, все уплачу! Нет, говорят, нельзя... Ложись, говорят, сивый черт!

Маленький глаз деда стал еще меньше, а из большого выкатилась слеза.

Петр Петрович чувствовал величайшее смятение; очевидно, день был испорчен. Ему поскорее хотелось выпроводить странного гостя. Он бросился к столу, взял красненькую ассигнацию и торопливо сунул ее в руку деду.

— Вот тебе, Тит... Теперь ступай. Заработаешь — хорошо, не заработаешь — и так ладно... Ступай.

— Дай тебе господи...

— Ступай, дедушка! — перебил Петр Петрович.

— Владычица небесная...

— Ступай, ступай, дедушка.

— Здоровья! — упорно окончил свою фразу дед и пошел в двери. По дороге к лестнице он все продолжал благодарить; но когда стал спускаться с лестницы, выходящей на улицу, он

принужден был прекратить благодарности, потому что споткнулся, и со страхом проговорил: «Вота!»

Петр Петрович видел все это, видел, как дед, наконец, спустился, как он старческой походкой заковылял домой, слышал даже, как он кряхтел и покашливал, — и ему сделалось омерзительно. Очевидно, день испорчен! Мысль, какую сегодня роль он играл, забыв все свои старые традиции, эта мысль быстро проскользнула в нем и отравила ему вечер.

Петр Петрович зашагал большими шагами. Он кое-что понял... Он ясно представил себе культурменша, и ему стало противно, и он изругал его беспощадно. Где он теперь, этот рыцарь? Пропал... Он отказался от своего назначения и подчинился времени. Теперь он не брезгует никакими средствами... Разве Епифан Иванов, прощелыга, брезгует? А разве кто его за это осуждает? Никто, потому что ничего не поделаешь! Надо работать; но не над возвышенными проектами... куда уж! Он прежде сам должен спасаться и не брезговать мещанскими средствами... А какие это средства? Мужик — пока единственное средство... И от него никуда не уйдешь. Разве Епифан Иваныч не прав? Он встречает на пути мужика и пользуется им, как и всем, что плохо лежит... Кто его за это осуждает? Никто, потому что это неизбежно... А почему того же нельзя делать культурменшу? Обычаи чести и долга требуют от него только того, чтобы не избегал грязного грабежа и надувательства. Вот и все...

А он все-таки исчез! Его уже не узнаешь. Мещанская мелочность, заботы о завтрашнем дне, вечная возня с разным людом, жизнь без цели, минутная жизнь, — неужто это и все? Только этим и должен он жить? А если голова его не приходится по плечу новых людей, — стало быть, он должен согнуть ее? Исчез он! Все планы, мечты, иллюзии провалились; провалилось его культурное назначение; и сам он провалился! Он хотел быть представителем и проводником науки, а теперь все его собственное спасение основано на невежестве и нищете; он хотел сократить нищету, — он уверял в этом! — а теперь пользуется нищетой и увеличивает ее, он называл себя источником гуманности, чести и долга, а теперь отказался от себя и отрекся от своего назначения...

Исчез он! От него не осталось даже имени. Нет у него и будущего! Он потерял свою индивидуальность; он слился с толпой... И ведь это все прощелыги!.. А он им подал руку и сделался их братом... Свои понятия о чести и долге он должен бросить и принять другие; старую нравственность он должен отбросить, как негодную. Чтобы с волками жить, надо по крайней мере шкуру волчью напялить на себя... Он должен понизить и уровень своего образования. Не он вытянул прощелыгу вверх, а прощелыга стащил его вниз; не он дал прощелыге тон, а прощелыга заставил его думать по-своему... Исчез он!

Петр Петрович остановился. Он высказал все грустные слова, которые подсказала ему минута, и любовался ими. Он вообще всегда любовался словами и высказывал их целыми массами, когда его посещала грусть. Слова всегда помогали ему усмирить взбунтовавшиеся ум и сердце. Помогли ему они и теперь, меланхолия его почти прошла.

Он остановился; потом взглянул на рояль, быстро присел к нему и заиграл. Полились игривые, хохочущие звуки Оффенбаха, и Петр Петрович восторженно прислушивался к ним, и улыбка возвратилась к нему...

— Епифан Иванович! — доложил лакей.

— Скажи, что дома нет! — с гримасой ответил Петр Петрович.

— Видели-с!

— Ну, скажи, нездоров.

— По делу-с, по большому...

— Ну, так гони его к чертям! — закричал Петр Петрович и топнул ногой.

Лакей ушел.

Но это было последнее возмущение барина. Союз был все-таки заключен, союз оборонительный и наступательный.

Через некоторое время Петр Петрович вошел во вкус своей новой роли. Он увидел, что жить так легко. Все свои прежние гордые и заносчивые мечты он бросил; над культурной миссией стал хохотать и не без основания доказывал под веселую руку, что о ней могут вздыхать теперь одни только юродивые. Он и Епифан Иванович теперь закадычные друзья. Вместе они оперируют, заодно создают проекты и часто за одним столом пьют и кушают.

Дружба, конечно, хорошее дело; но замечательно, что от такого неожиданного союза парашкинцы взвыли.



ВОЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Неприкосновенным он считал себя только дома и разве отчасти в кузнице; во всяком другом месте он чувствовал себя нехорошо, ибо был уязвим.

В самой середине деревни, в том месте, где берег реки образует мыс, стояла изба, низ которой подался налево, а верх — направо; единственные два окна ее мрачно и неприветливо глядели на улицу, потому что вместо стекол в них была вставлена требушина. К избе примыкали сени, из глубины которых виднелось голубое небо, а напротив сеней стоял сарай, соломенная крыша которого исчезала ежегодно в желудке домашних животных; дальше же виднелся задний двор, нижним концом опускающийся в воду. Все эти строения Егор Панкратов называл «домом», и именно здесь он ничего не боялся.

Кузница же играла в его соображениях некоторую роль только потому, что она была недалеко от дома и составляла его часть; она находилась на другом берегу реки, возле моста. Это была нора, вырытая в земле, с узким отверстием вместо двери, с кучей земли вместо крыши и с колесом вместо трубы. Колесо было воткнуто в крышу недаром: без него никто из путешественников не мог бы открыть присутствие Егора Панкратова, потому что

из подземелья не слышно было ни шипения, свойственного прорванным мехам, ни стука молотка, ни человеческого голоса. Егор Панкратов не любил вообще говорить, а в кузнице он хранил всегда глубокое молчание.

Даже когда он не работал, — а работы в кузнице у него немного, — он предпочитал молчать. Если же его кто-нибудь окликал с моста, он высовывал из отверстия голову и недовольным тоном спрашивал: «Чево надо?» Затем снова скрывался, подавая тем знак, что в дальнейшие переговоры он вступать не намерен.

Так он обращался со всеми, кто приходил к нему с просьбой, без различия лиц и состояний. В отсутствие работы он всегда выходил из подземелья, садился около речки на песке, снимал с себя рубаху и бил блох. Он вообще не смущался ни перед кем. По мосту проходили пешие, проезжали конные, иногда господа, но Егор Панкратов не прерывал своего занятия. Внезапно услышав свое имя, он поднимался, в последний раз вытряхал рубаху и только после этого предлагал обычный свой вопрос: «чево надо?»

Невозмутимый и молчаливый, Егор Панкратов приучил к той же краткости и всех приходящих к нему. «В починку, Егор!» — говорил приходящий, кладя подле него вещи. «Ладно», — отвечал Егор Панкратов. «Две гривны будет?» — «Ничего». — «Чтобы к пятнице готово было». — «Ладно!» Приходящий позевывал и уходил.

Егор Панкратов вел замкнутую жизнь, находясь попеременно то в кузнице, то дома, среди своего семейства, и, казалось, глядел на окружающее с полной безучастностью. О нем парашкинцы составили такое понятие: «мужик стоящий», «мужик кремень», человек, который не позволит положить ему ноги в рот; а временами бывает лют... Наружность Егора Панкратова только подкрепляла подобные мнения. По-видимому, для него ничего не стоило в гневе схватить человека и размозжить его так же, как расплющивал он кусок железа. Егор Панкратов, конечно, ничего подобного не делал, но все думали, что временами он способен быть лютым. Видя же, что он никогда ни о чем не просил, никому никогда не покорялся и ни перед кем не стучал зубами от страха, все считали себя вправе заключить, что Егор Панкратов шутить шутки не любит, а держится правила: «отваливай в сторону...»

Ввиду таких свидетельских показаний, можно, пожалуй, согласиться с общераспространенным мнением, тем более что сам Егор Панкратов ни одним словом не опровергал его. Вероятно, оно даже выгодно было ему, и он, надо думать, подсмеивался себе под нос, смотря на людей, считавших его неприступным; он только этого и желал. Малейшее движение его большой головы говорило: «это до меня не касающе».

Друзей у него было немного, и он редко с кем сходился близко. Единственное исключение составлял Илья Малый. Это был его друг-приятель; но и с ним Егор Панкратов вел краткие разговоры.

Илья Малый, небольшого роста, плешивый и с слезящимися глазами мужичок, иногда порывался «точить лясы», но невозмутимое, угрюмое молчание Егора Панкратова обладало способностью парализовать самый неугомонный язык. В конце концов в разговоре с Егором Панкратовым Илья Малый примирялся с необходимостью держать язык на привязи и редко нарушал обычное безмолвие.

Чаще всего они встречались в кузнице. Там Илья Малый садился около двери и битый час наблюдал за работой Егора Панкратова. Когда же бездействие ему надоедало, он вынимал из кармана кисет с табаком, набивал трубку и закуривал. Это было косвенное приглашение Егору Панкратову — бросить работу и присесть к другу-приятелю. Егор Панкратов так и делал — садился на корточки насупротив Ильи Малого, набивал его табаком свою трубку и также закуривал. За этим следовало обыкновенно продолжительное молчание, во время которого друзья-приятели сосредоточенно пыхали в глаза друг другу вонючей махоркой. Но обыкновенно после продолжительного безмолвного сидения Илья Малый терял терпение и спрашивал:

— Табачок — ничего?

— Ничего, — всегда отвечал Егор Панкратов.

Трубки выкуривались; Егор Панкратов вставал и принимался за свою работу. А Илья Малый, помолчав еще некоторое время, говорил:

— Одначе пора идтить. Просим прощения! — и уходил, по-видимому, вполне довольный проведенным временем, в особенности, если Егор Панкратов отвечал ему на дорогу:

— Заходи как ни то.

На другой раз повторялось буквально то же самое. Друзья-приятели и о хозяйственных своих нуждах говорили больше знаками, нежели словами. Тем не менее они никогда не надоедали друг другу, и дружба их оставалась неизменною, вопреки несходству характеров; они, видимо, находили взаимное удовольствие от своей дружбы. Не будучи противоположностями, взаимно исключающими друг друга, они и не походили друг на друга.

Илья Малый был простодушен; Егор Панкратов сосредоточен. Илья Малый молчал только тогда, когда говорить было нечего. Егор Панкратов говорил только в тех случаях, когда молчать не было никакой возможности. Один готов был всю душу вывалить наружу, другой многое скрывал в себе. Один постоянно отчаивался, другой показывал вид, что ему ничего. Первый в самых обыкновенных обстоятельствах запутывался и терялся,

второй невозмутимо выносил невзгоды. Первый способен был поверить во всякие химеры, второй держался более положительного. Илья Малый ничего не знал из того, что дальше носа; Егор Панкратов также почти ничего не знал, но старался во все вникать и доходить до всего своим умом. Илья Малый жил так, как придется и как ему дозволят; Егор Панкратов старался жить по правилам, не дожидаясь позволения. Один жил и не думал, другой думал и этим пока жил. Илья Малый всего страшился, постоянно ожидая, что вот-вот на его голову бухнет случай и прихлопнет его, и потому никогда вперед не заглядывал; Егор Панкратов не очень верил случаям и был расчетлив; первый жил минутой, как фаталист, второй — будущим, как философ. Илья Малый перед начальством робко моргал глазами, готовый по первому знаку повалиться в ноги и просить о помиловании; Егор Панкратов, при подобных же обстоятельствах, глядел в сторону и чесался. Илья Малый, будучи лет на десять старше своего друга-приятеля, все еще оставался в крепостной скорлупе; но Егор Панкратов был уже в некоторой степени человек новый, несколько вылупившийся из скорлупы старого времени... Одним словом, разница между ними была заметна.

Но это несходство не мешало им быть закадычными друзьями. Илья Малый питал безмолвное удивление к Егору Панкратову, а Егор Панкратов чувствовал большую жалость к Илье Малому, и это обстоятельство было, по-видимому, одной из причин их обоюдного удовольствия от сообщества. Илья Малый становился спокойным, когда сидел возле Егора Панкратова, а Егор Панкратов делался мягче, когда глядел на Илью Малого.

Их сообщество открыло свои действия с того дня, в который Егор Панкратов случайно оттягал в пользу Ильи Малого корову, назначенную к продаже. Илья Малый никогда не воображал, чтобы человек был способен на такой отчаянный поступок; сам он считал себя беспомощным в таком деле, думая, что при таких обстоятельствах первое дело — молчать. А Егор Панкратов доказал ему противное.

Егор Панкратов случайно шел мимо двора Ильи Малого в то время, когда оттуда выводили корову; увидав жену Ильи Малого, которая неистово ругалась и плакала, и самого Илью Малого, который стоял растерянно на крыльце и что-то шептал про себя, Егор Панкратов подошел к корове, отодвинул от нее старосту и прогнал животное на задний двор. Все это он сделал молча и не торопясь, с обычной своею флегмой, а потом сел на крыльце возле Ильи Малого и попросил у него табачку. Кисет Илья Малый вынул, но сказать что-нибудь обо всем им виденном не мог, лишившись употребления языка.

Точно так же и староста в первые минуты не в состоянии был понять, что случилось; он на время оцепенел на месте и онемел,

молча поводя блуждающими взорами от Ильи Малого к Егору Панкратову.

— Это ты что же делаешь, Егор? — спросил, наконец, он прерывающимся голосом.

— Корову прогнал, — кратко отвечал Егор Панкратов.

— Рази это по закону?

— В законе, братец ты мой, про корову, чай, нигде не сказано. Так-то.

Староста решительно недоумевал, что ему делать — вынуть ли из-за пазухи бляху и принять внушительный вид или начать усовещевать. Он не сделал ни того, ни другого, а только хлопнул себя по бедрам руками, по своей привычке, и куда-то побежал рысцой, сказав мимоходом: «Ну, дела!»

Ни для Егора Панкратова, ни для Ильи Малого этот случай не прошел бы даром. Егор Панкратов, правда, заявил после, что корова его, якобы купил он ее; но все же их обоих вздули бы. Не случилось этого только потому, что Илья Малый перевернулся, уплатил денег сколько следует — и все было предано забвению. Парашкинский староста не любил вообще историй с коровами; мученик своей должности, он в данном случае тем более не желал связываться с «энтим дьяволом», как он называл Егора Панкратова, что побаивался его.

С этих пор Илья Малый питал безмолвное удивление к своему другу-приятелю. Он стал его во многом слушаться, сделался менее болтлив и не так ерзал на месте, когда говорил с Егором Панкратовым. Вообще в жизни Егора Панкратова он заметил некоторое отступление от старых обычаев и робко приглядывался к нему, в особенности к его бесстрашию и невозмутимости. А потом он уже пытался подражать ему; но в действительности выходило, что он только передразнивал его.

Такое представление Ильи Малого о своем друге-приятеле отчасти соглашалось с действительными привычками Егора Панкратова. Поведение Егора Панкратова имело в себе нечто новое, удивительное для Ильи Малого, и это новое заключалось, главным образом, в том, что он ничего не боялся, когда находился дома; тут он ни перед кем не смущался и никому не кланялся. Илья Малый, например, перед всяким заезжим барином трусил, видя в нем или злонамеренного исследователя его души, или просто шатающегося барина, для которого закон не писан и который безнаказно может причинить ему, Илье Малому, существенный вред.

А Егор Панкратов не боялся этого. Когда какой-нибудь проезжий барин обращался к нему с просьбой починить попортившийся в дороге экипаж, Егор Панкратов не юлил перед ним и не устремлялся по первому его требованию, а двигался с такой же безучастностью, как и всегда. Просовывая голову из своей

норы, он равнодушно спрашивал: «чево надо?» — и скрывался. Барин должен был идти к нему в нору и там рассказать свое дорожное несчастие. Егор Панкратов выслушивал и назначал цену, делая это раз навсегда, неумолимо и без дальнейших разговоров. Барин, конечно, старался внушить ему всю несообразность назначенной им «сумасшедшей цены», но Егор Панкратов не внимал, упрямо отмалчиваясь.

Напрасно барин ругался, Егор Панкратов не любил браниться; он только изредка загибал такое словечко, которым, как перец, обжигал неотвязчивого человека, заставляя его мгновенно умолкать. Напрасно барин принимал внушительный вид и бросал на упрямца молниеносные взгляды, Егор Панкратов оставался глух, нем и слеп; он привык со всеми обращаться одинаково, был ли перед ним господин с блестящими глазами или нищий с сумой на боку. Напрасно также барин предлагал «на водку» или «на чаек», — этого Егор Панкратов терпеть не мог. Он всегда предпочитал «сумасшедшую цену».

Было одно происшествие, — нельзя этого скрыть, — которое подвергло неустрашимость Егора Панкратова большому сомнению и которое он сам не мог вспомнить впоследствии без негодования. Это было в Сысойске на базаре. Егор Панкратов ездил туда затем, чтобы продать хлеб или несколько фунтов гвоздей. Не доверяя своего товара лавочникам, он выбирал место на базаре и сам продавал, сидя на своей телеге. Он равнодушно посматривал по сторонам и ничего не боялся. Раз выбранное место он никому не уступал, с ругавшимися ругался кратко, пьяных отталкивал, а если городовой приказывал ему переменить место или хоть просто сдвинуться, он ослушивался, упрямо стоя на своем месте. Вообще строптивость свою он и здесь не ограничивал.

Но однажды возле него вышла драка пьяных. Пьяных забрали в участок, а Егора Панкратова пригласили туда в качестве свидетеля. Вот когда он «спужался»! Вследствие ли наследственной привычки страшиться даже имени начальства или по неспособности сообразить все обстоятельства дела сразу, но только он не выдержал. Не долго думая, он с необычайной быстротой запряг лошадь, свалил за бесценок какому-то лавочнику свои гвозди и утек из города, вполне убежденный, что спасается от каких-то неведомых ужасов.

Это происшествие было, однако, исключением. Дома с ним ничего подобного не бывало. Дома он строго наблюдал за своей неприкосновенностью. С упрямством, свойственным ему, он говорил своему приятелю Илье Малому: «Теперь, братец ты мой, закон. Так-то». И думалось ему, что нынче жизнь идет «по правилу». Как ни мал Егор Панкратов, но все же и для него правила написаны, — следовательно, если бог не выдаст, то никакая свинья

не решится съесть его. Он говорил: «Нынче, братец мой, вот так-то... Только самому не следует плошать, а то ничего».

Егор Панкратов неуклонно держался правила — никогда и никому не подавать повода трогать его. Все повинности он отправлял исправно, подати платил в срок и с презрением глядел на гольтепу, которая доводит себя до самозабвения. Порка для него казалась даже странной; он говорил: «Чай, я не дитё малое!»

Тронули его только раз в жизни; но, собственно, он был тут ни при чем; он только подчинялся издавна установившемуся обычаю. Когда умер его отец, накопивший перед отходом в вечность недоимки, а Егор Панкратов сделался хозяином дома, то был, разумеется, выпорот. Очевидно, это неумолимая неизбежность; это — очищение розгами, которое должен принять всякий парашкинец, если желает в наступающей жизни быть чистым от долгов и недоимок.

С Егором Панкратовым это и было только раз. Вследствие этого он стал самоуверен. Сравнивая давно минувшее с настоящим, он все более и более укреплялся в своей строптивости. О давно минувшем он знал только из рассказов Ильи Малого и дедушки Тита. Илья Малый был суеверен; для него в жизни не было закона, а только случай. Он видал виды и потому во все верил и всего ожидал, даже невероятного, бесчеловечного. Илья Малый и о настоящем говорил в таком же тоне; иногда перед Егором Панкратовым он боязливо сознавался, что боится того-то и того-то. «Ври больше!» — недовольным тоном прерывал Егор Панкратов.

Болтливость Ильи Малого находила себе пищу только в рассказах о прошлом, и Егор Панкратов с удовольствием слушал эти рассказы. Егору Панкратову приятно было сознавать, что это время прошло и никогда не возвратится. Ужасы в прошлом, рассказываемые Ильей Малым, он охотно признавал, но в настоящем отвергал. Егор Панкратов любил свое время.

Этим он постоянно досаждал дедушке Титу. «Оттого-то у тебя и сыпется песок», — говорил он дедушке, когда тот принимался расхваливать свое время. Тит хотя и рассказывал много ужасов из своего времени, но все же любил свое прошлое, с негодованием отплевываясь от всего проходящего перед его потухающими глазами. Часто Егор Панкратов своими насмешками выводил его из терпения, и он с негодованием говорил ему:

— Ну, уж погоди, Егорка! Узнаешь ты Кузькину мать!

— Ладно, — отвечал Егор Панкратов.

— Не равен час... как случай... все под богом! — вставлял свое замечание Илья Малый, стараясь помирить ссорившихся.

Егор Панкратов, однако, не покидал своего презрения к давно минувшему. Его большая, упрямая голова не хотела отказаться от превратной мысли, что тогда «жили без правилов, а нынче — закон, так-то».

«Правилов» тогда, конечно, не было; но было зато определенное «положение», заменяющее собою всякие правила. Егор Панкратов не смел бы питать в себе в то время желания, — никакого права на это не было; теперь он получил право иметь желания, но они были неосуществимы. У него не было бы тогда потребностей, кроме одной — удовлетворить снедающий голод; ныне у него родилось множество новых потребностей, но все они неудовлетворимы. Тогда он должен был жить по указу, теперь — по воле судьбы, указ заменился случаем, смотрение в оба по правилу уступило место смотрению в оба без всяких правил.

Егор Панкратов не думал об этом. Можно сказать, что неприкосновенность свою наблюдал он столько же по убеждению, внушенному ему новым временем, сколько и по врожденной строптивости.

Помимо желания быть неприкосновенным у себя дома, он еще держался правила быть, по возможности, дальше от деревенского и другого начальства. Начиная с десятника, он со всеми был крут, если кто-нибудь из этих всех посягал на его личность. Он ни во что не вмешивался, знал только хозяйство свое и не желал, чтобы и его трогали.

Десятником у парашкинцев был дурак Васька, бессменно служивший в этой должности уже несколько лет. Сначала парашкинцы исполняли должность десятника по очереди, иногда же нанимали особого человека на целый год; но все это дорого стоило. Тогда им пришла счастливая мысль воспользоваться Васькой. Васька до этого времени ходил колесом по улицам и бегал с ребятишками, несмотря на то, что был уже большой малый, лет двадцати; пользы от него не было никакой, даром только хлеб ел. Но когда его обули, одели на мирской счет и сделали десятником, он преобразился и сделался полезнейшим членом общества. Дурак он был, конечно, безответный; но это-то и хорошо; пусть уж лучше дурак принимает гнев и оплеухи, нежели человек умный. Рассуждение парашкинцев относительно этой выборной должности не лишено было разумности.

Васька сам возрос в своем мнении, когда неожиданно сделался десятником. Он гордился собой и строго выполнял наложенные на него обязанности. В день, например, схода или по приезде начальства он важно обходил улицу, барабанил палкой по окнам и приказывал домохозяевам выходить на сход.

Исключение Васька делал только для одного человека — Егора Панкратова. С ним Васька совершенно переменял обраще-

ние, делаясь мгновенно прежним дураком. Он почему-то боялся кузнеца, никогда не барабанил в его окно, а приглашал его издали, становясь сажени на три от избы.

— На сход, дяденька... — говорил он.

— Знаю, — отвечал Егор Панкратов.

— Сей минут...

— Говорят тебе, знаю, дурацкая башка! Чего еще пристаешь?

И Васька уходил.

Точно так же Егор Панкратов поступал и с старостой, бегавшим в горячие дни с растерявшимся лицом и весь покрытый пóтом. Иногда Егор Панкратов опаздывал взносом податей на день или на два, тогда староста приходил к нему и смиренно напоминал ему об этом.

— Уж ты сделай милость, Егор, внеси.

— Знаю! — круто прерывал его Егор Панкратов.

— Строжайше наказал...

— Незачем и язык чесать, сам знаю!

— Да ты что рыкаешь зверем-то, а? Гляди, брат! — возмущался староста, стараясь разгневаться; но его посоловевшие от усталости глаза и потное лицо отказывались принять грозный вид. Он уходил.

От прочего начальства, более высшего, он «хоронился»; ведь он и желал быть в безопасности только дома! В тех же случаях, когда ему волей-неволей приходилось сталкиваться с «вышним начальством», он хоронил свои сокровенные мысли и чувства, молчал. Так как слова и поступки его могли бы раскрыть его строптивость, то молчание приносило ему существенную пользу: он оставался нетронутым, потому что трогать его было не за что.

Такой способ действий и проистекающие из него следствия еще более утвердили Егора Панкратова в мысли, что теперь только самому не следует распускать нюни — и никаких случаев не произойдет с ним. Теперь время «правилов». Однако по временам в его душу закрадывалась темная мысль... Ну а что, если на него налетит случай? Что делать в том разе, когда его захватит нужда, за ней придет кабала, за кабалой порка? Тут большая голова его оказывалась несостоятельной. Он мог упрямо думать, что этого «в жисть с ним не произойдет, лопни его утроба!» — и все-таки видеть в будущем возможность нужды, кабалы и порки. Что же тогда делать?

У Егора Панкратова были средства избавиться от вечного рабства, но все они носили на себе чисто отрицательный характер, притом же были старые-престарые; он получил их с молоком матери от пращуров своих. Терпение до изнеможения и бегство с отчаяния — вот и все его средства избавиться от нужды,

кабалы и пр. Об этом Егор Панкратов смутно и сам догадывался и знал, что с вышеупомянутыми средствами вести борьбу с нуждой невозможно. Отсюда — тот страх, который по временам смущал его очень сильно.

Одна эта боязнь произвела в нем переворот. Противно всем своим наклонностям, он сделался прижимист и на каждом шагу скряжничал. За каждый грош он готов был вынести невероятные труды, лишь бы добыть его, и урезывал потребности своего семейства до последней крайности, лишь бы сохранить его. Если он покупал какую-нибудь вещь, то торговался по целому дню; если продавал, то старался заломить «сумасшедшую цену». А с господами и совсем не церемонился, назначая за свои поделки неслыханные цены.

— Да ты с ума сошел? — спрашивали его в таком случае.

— В уме, в своем, братец ты мой, уме, та́к-то! — возражал Егор Панкратов.

Несомненно, что если бы как-нибудь невзначай судьба послала ему крупную сумму, он сделал бы сундук, лег бы на него и стал бы охранять, подвергая семейство и себя всем возможным лишениям. Таково было настроение его в это время, — до того сильна у него была боязнь попасть в кабалу и подвергнуться периодическим «секуциям». Ввиду подобной участи Егор Панкратов все свои умственные и физические силы употреблял исключительно на то, чтобы остаться свободным, даже под условием нести нищенскую нужду. Забудься он на мгновение — и пропал!

О своей боязни за себя Егор Панкратов никому не говорил; никто еще не слышал от него жалоб на бедность, и ни перед кем он не хныкал. Напротив, перед всеми он выглядел мужественно, даже когда у него на сердце кошки скребли. Только раз проговорился перед Ильей Малым, да и то Илья Малый ничего не понял, получив вдобавок незаслуженное оскорбление.

Однажды сидели друзья-приятели возле избы Егора Панкратова, на завалинке, и, по обыкновению, мирно молчали, покуривая трубочки. Были уже сумерки летнего вечера; на горизонте загоралась заря, тень дневная улеглась, и в воздухе стояла невозмутимая тишина. Все способствовало молчанию, и друзья-приятели разошлись бы мирно, как и всегда, если б Илья Малый не вздумал рассказывать о старинных временах. Хотя Илья Малый и путался в своих словах, но долго не прерывал себя. Не прерывал его и Егор Панкратов. Он молчал. Только когда Илья Малый кончил свои рассказы и прибавил, что теперь «ничего, жить можно», Егор Панкратов шевельнулся на своем месте.

— Не очень можно... — выговорил он с трудом.

— По-моему, можно...

— Не очень!

— Почему? по какой причине? — недоверчиво спросил Илья Малый и, устремив слезящиеся глазки на Егора Панкратова, стал терпеливо ожидать ответа.

Егор Панкратов говорил всегда кратко, постоянно поясняя свою мысль разными неожиданными знаками, назначение которых не всегда понимал и Илья Малый. На этот раз Егор Панкратов только ткнул в бок Илью Малого и спросил:

— Это что?

— Стало быть, бок, — растерянно отвечал Илья Малый.

— Бок, верно; скажешь — тело... Ну, а душа?

Предложив этот вопрос, Егор Панкратов пристально вглядывался в темноту.

— Что ж, душа? — спросил Илья Малый, ничего не понимая и быстро моргая глазами.

— Вот тут, братец мой, и загвоздка.

Егор Панкратов умолк. Притих и Илья Малый на время.

— Чтой-то я не понимаю тебя, Егор, — начал Илья Малый.

— Душа, братец мой, вольна нынче, а тело — нет, так-то! — объяснил Егор Панкратов.

Больше он ничего не прибавил. Он опять устремил глаза в темноту и умолк. Но от этого Илье Малому не сделалось легче; он завозился на завалинке и делал усилия понять... Безмолвное удивление, питаемое им к Егору Панкратову, возросло еще более теперь, когда он увидел, что вот Егор Панкратов говорит, а он, Илья Малый, ничего не понимает... Илье Малому также следовало бы замолчать, но он не унялся.

— Стало быть, душа вольна, — ну, так... Ну, а держать у себя на уме... или там говорить, о чем вздумаешь... можешь? — спросил он боязливо.

Егор Панкратов помедлил, подумал и твердо проговорил:

— Могу.

Илья Малый, по обыкновению, удивился главным образом самоуверенности Егора Панкратова.

— И чтобы, значит, тебя никто не тронул... чтобы все ты жил в законе, по правилу... можешь? — робко спросил Илья Малый.

Егор Панкратов долго молчал, но все-таки, наконец, выговорил, хоть на этот раз не твердо:

— Что ж, можно...

— Ну, а, например, жить по-своему, как душе желательно... или уйти на новые места и все такое прочее... можешь? — неотвязно допрашивал Илья Малый.

Егор Панкратов молчал. Но вдруг озлился и решительно сказал:

— Дурак!

Тем и кончился разговор.

Илья Малый был оскорблен. Он еще некоторое время повозился на завалинке и встал.

— Пора идтить... Что уж тут! — сказал он глубоко обиженным тоном.

— Погоди, куда бежишь? Сиди! — возразил Егор Панкратов, уже раскаившийся в душе, что так огорчил своего друга-приятеля.

Егор Панкратов дошел до своей мысли «своим умом», тягостно, ценой всей жизни. В его голове царил такой хаос, что он с трудом мог разобраться в нем, чтобы выделить свою мысль из кучи других, по воле гулявших представлений. В этом хаосе была всякая чертовщина и всевозможные странности; между ними, например, и то, что душа — пар. Легко поэтому понять, что он только в редких случаях решался обнаруживать свои соображения насчет тела и души, да и то по большей части запутывался в словах и умолкал.

Однако в приведенном разговоре он озлился не столько на то, что был поставлен в тупик, сколько на непонятливость Ильи Малого.

Этот случай разногласия или прямо ссоры друзей-приятелей был единственный; вообще же они мирно уживались, исполняя множество хозяйственных дел «сопча́». В сущности, они ничего не предпринимали порознь. Егор Панкратов только кузницей распоряжался один, без вмешательства Ильи Малого, во всех же других хозяйственных делах они помогали друг другу.

У Ильи Малого была всего одна лошадь; Егор Панкратов имел полторы: лошадь и годовалого жеребенка. Они складывались и обрабатывали землю на двух с половиной лошадях, что, несомненно, было для обоих выгодно.

Разумеется, их совместное хозяйство не было союзом двух равносильных людей. Егор Панкратов играл первостепенную роль, а Илья Малый принужден был подчиняться его упрямству. Но подчинение Ильи Малого Егору Панкратову было добровольное, к тому же Илья Малый считал себя по многим вопросам слабым и малопонимающим. Вследствие этого безмолвное удивление, питаемое им к Егору Панкратову, никогда не подвергалось риску, и он никогда не пытался стряхнуть с себя иго, наложенное на его язык Егором Панкратовым. Илья Малый не роптал ни на какое действие или слово Егора Панкратова.

Они были неразлучны и на сходах, где Илья Малый всегда брал сторону Егора Панкратова. Последний нередко производил

на сходах ожесточение, ни с кем не соглашаясь. Он обыкновенно и там молчал, но иногда, уже после постановки сходом какого-нибудь решения, вдруг возьмет да и скажет: «А я не желаю». Илья Малый в этих случаях становился на сторону Егора Панкратова и не прежде отказывался от его мнения, как когда возмущенный сход, во всем составе, обрушивался на упрямого кузнеца.

Илья Малый подчинялся Егору Панкратову тем охотнее, что последний избавлял его от многих несчастий в сношениях с Епифаном Ивановым и Петром Петровичем Абдуловым. Раньше, действуя один, Илья Малый был вечно внакладе от мошенничеств кабатчика и легкомыслия барина. Уходя от Епифана Иванова, Илья Малый всегда шел понуря голову и целую неделю не поднимал ее.

Не легче ему было и тогда, когда его выгонял барин. Барин почти измотал его несвоевременной уплатой заработанных денег или мелочной придиркой при найме. А Епифан Иванов чуть было не закабалил его; Илья Малый начал уже считать себя перед ним кругом виноватым — скверный признак, сознавая который Илья Малый только вздыхал. После же того, как Петр Петрович и Епифан Иванов устроили стачку, он счел себя окончательно погибшим. В это-то время Егор Панкратов, для обоюдной выгоды, предложил ему работать «сопча́».

Вместе они стали снимать в «ренду» землю у Петра Петровича, вместе работали у него и Епифана Иванова и вместе же ходили носить уплату «ренды» или получать деньги за работу. При этом действующим лицом всегда был Егор Панкратов, а Илья Малый являлся только в качестве молчаливого свидетеля.

У барина в прихожей Егор Панкратов всегда становился впереди, а Илья Малый прятался сзади его. Точно так же и говорил Егор Панкратов один, а Илья Малый лишь изредка смягчал строптивые слова Егора Панкратова.

— Что скажете хорошего? — спрашивал Петр Петрович, выходя в прихожую к Егору Панкратову, стоявшему впереди, и к Илье Малому, прятавшемуся позади.

Егор Панкратов, подумав немного, начинал без предисловия:

— За косьбу три рубля с полтиной, за жнитво четыре шесть гривен и еще за пахоту шесть рублев, а всего-навсего, стало быть, четырнадцать рублев с гривенником и еще мне три гривны за скобы, только и всего.

— Нашли время когда прийти! После рассчитаю! — говорил барин, отчасти удивленный краткостью Егора Панкратова.

— Никак нет, этого нельзя, ваша милость.

— Да как же я рассчитаю вас, когда не знаю, правду ты говоришь или врешь? — начинал уже сердиться барин.

— Ну, только и нам, ваша милость, не ближний свет таскаться к вам, так-то! — упрямо настаивал Егор Панкратов.

— Да чего же вам надо? Сейчас вас рассчитать? — кричал уже Петр Петрович.

— Н-да, сичас, в книжку гляньте.

— Некогда мне, приходите через неделю... Ну, ступайте!

— Как же это можно? через неделю! Поколь же нам таскаться? — угрюмо спрашивал Егор Панкратов, знавший, что неделя Петра Петровича равняется месяцу.

Обыкновенно тут вмешивался Илья Малый, ежеминутно ожидавший, что их прогонит барин. Он уже давно беспокойно возился за спиной Егора Панкратова и делал ему невидимые знаки умолкнуть. Но знаки не достигали цели; тогда Илья Малый несколько выступал вперед и нерешительно пытался что-нибудь сказать.

— Мы, ваша милость, ничего... и через недельку... — запинаясь, говорил он. Но Егор Панкратов в эту минуту обыкновенно оборачивался и кричал: «Молчи... дай ты мне сказать!»

— Нет, уж вы, ваша милость, увольте нас. Тоже и нам недосуг, так-то! — снова начинал Егор Панкратов, повертываясь в сторону барина.

Эти бурные беседы оканчивались различно. Или барин выдавал заработок, или приказывал вытурить наглых мужиков. В первом случае Егор Панкратов и Илья Малый немедленно выходили, садились на лужок перед окнами Петра Петровича и тут же делили с таким трудом добытые деньги. Во втором случае Илья Малый стремительно исчезал куда-то, а Егор Панкратов садился у парадной двери и говорил, что он останется тут год, если ему не отдадут заработка, умрет тут. По большей части Петр Петрович уступал, приказывал ввести в прихожую Егора Панкратова и выдавал ему должную сумму. Егор Панкратов отправлялся тогда в дом Ильи Малого, у которого душа ушла в пятки, и производил дележ, никогда не укоряя последнего в бегстве.

В решительные минуты Илья Малый постоянно изменял Егору Панкратову. Он подчинялся ему без возражения, но не мог преодолеть своего страха перед барином, перед Епифаном Ивановым и перед другими лицами, власть имеющими. В стычке с барином, когда от него требовалась смелая демонстрация, рассчитывать на которую Егор Панкратов имел право, он всегда обращался в постыдное бегство.

Впрочем, даже и подчинение Ильи Малого Егору Панкратову прекратилось. Этому помогло одно происшествие, в котором замешался Егор Панкратов и которое совершенно расстроило не только хозяйство его, но и весь его нравственный склад.

Как-то в одно время Петр Петрович Абдулов с особенным легкомыслием обращался с рабочими, работавшими у него летом. Он водил их за нос, не отдавал заработанных денег или отдавал по частям, или просто забывал имя рабочего, наотрез отказываясь от уплаты. Многих парашкинцев он закабалил, совместно с Епифаном Ивановым; давая им задатки под работу, он делал из них что хотел; но это входило в его новую систему. А тут и системы не было, — он просто небрежно относился ко всему. Небрежность его, смешанная еще с желанием во что бы ни стало успокоиться от летних тревог, задела за живое и Егора Панкратова с его другом-приятелем. Петр Петрович, правда, не забыл их, но зато водил без толку за нос.

Как назло, события так совпали, что ни та, ни другая сторона не могла миролюбиво покончить. С одной стороны, у Петра Петровича к этому времени собрались гости, несколько соседних помещиков, становой и Епифан Иванов, и Петру Петровичу некогда было возиться с мужиками; с другой стороны, Егору Панкратову и Илье Малому грозили за промедление уплаты податей «описанием». Одна сторона одурела от пятидневного пьянства до потери сознания текущих дел; другая же ожесточилась от перспективы «описания». Петру Петровичу было не до расчетов с мужиками, — у него трещала голова, — а Егору Панкратову до зарезу нужны были деньги, иначе — описание.

Егор Панкратов и Илья Малый уже несколько недель ходили к барину и всё были выпроваживаемы без ничего. Егор Панкратов на этот раз не упрямился; он видит, что люди веселятся, — «ну и пущай их», — говорит он. Но, наконец, в последний день ему стало невтерпеж; он почувствовал зуд во всем теле от предполагаемых розог и взбесился.

Никогда еще он не находился в такой крайности. Предчувствие о ней давно уже тяготело над ним, но смутно; он не очень беспокоился. А теперь эта крайность встала перед глазами. Мысль же о порке приводила его в необузданное состояние, и понятно, что он выглядел очень мрачно, когда предстал перед барином.

— Да, что же это такое? — сказал он с волнением, стоя в прихожей перед барином, также взбесившимся.

По обыкновению, Егор Панкратов был впереди, а Илья Малый прятался за ним.

— Сколько раз вас гоняли и говорили вам, что некогда? — бешено говорил Петр Петрович, чувствуя, что голова его сейчас треснет.

— Нам, ваша милость, дожидать нельзя — описание! Мы за своим пришли... кровным! — отвечал с возраставшим волнением Егор Панкратов.

— Ступайте прочь! душу готовы вынуть за трешницу!

— Нам, ваша милость, нельзя дожидать...

— Говорю вам, убирайтесь! Рыться я стану в книгах! — кричал совсем вышедший из себя Петр Петрович.

А Егор Панкратов стоял перед ним, бледный, и мрачно глядел в землю.

— Эх, ваша милость!.. Стыдно обижать вам в этом разе... — сказал он.

— Да ты уйдешь? Эй! Яков! Гони! — шумел барин.

Егору Панкратову надо было бы уйти, а он все стоял в прихожей.

На шум вышли почти все гости, соседние помещики, Епифан Иванов и становой. Последний, узнав, в чем дело, приказал Егору Панкратову удалиться. Но Егор Панкратов не удалился; он с отчаянием глядел то на того, то на другого гостя и, наконец, сказал упавшим голосом:

— Ты, ваше благородие, не путайся в это место.

Присутствовавшие онемели от этой дерзости. Пьяные глаза одних гостей спрашивали:

— Каков?!

А более трезвые глаза других отвечали:

— Ужасно!!

Егор Панкратов надел шапку и вышел. Он был один; Илья Малый давно уже улепетывал в деревню, стуча зубами. Егор Панкратов пошел вслед за ним. Он вдруг как-то упал духом. Денег он мог занять только у Епифана Иванова; а Епифан Иванов затянет петлю и закабалит... А если не занять — описание или порка. Прежние предчувствия не обманули Егора Панкратова; на него налетел подлый случай, и у него нет сил увернуться от него.

Этим дело не кончилось. Выступил старшина Сазон Акимыч. Сазону Акимычу приказано было наказать бунтующих розгами, и Сазон Акимыч изъявил свое согласие, только не согласился с характером наказания.

— Что ж, — говорил он, — розгами можно попугать; розгами каждочасно можно. А только в этом случае, я положил бы, в темную посадить, на хлеб, на воду. Егорка — мужик бедовый, взбалмошный мужик, — ну его к ляду!

Таким образом, решено было посадить Егора Панкратова в темную. Исполнение решения поручено было старосте, который, хотя и обомлел, но приказ выполнил. Он взял с собой несколько понятых, Ваську-дурака и двинулся к избе Егора Панкратова, наперед ожидая от него всего худого.

Войдя к Егору Панкратову, он сперва наговорил множество разного вздора, какой попал ему в рот в эту минуту, боясь, что Егор Панкратов взбеленится, и только после этого, вытирая



пот с лица, объявил последнему, что его приказано посадить в «канцер», на хлеб на воду.

— Сделай милость, Панкратыч, пойдем... уже ты не тово... покорись! — говорил староста.

— Ну, ладно... — отвечал Егор Панкратов растерянно, с убитым видом. Он надел кафтан и пошел к волости во главе толпы, состоявшей из старосты, понятых, дурака Васьки и примкнувших по дороге ребятишек.

Егор Панкратов шел медленно, смотря в землю, и ничего не говорил; только когда очутился возле «канцера», представлявшего собою дощатый чулан без окна, он сказал мрачно:

— Тут, что ли?

— Тут, Панкратыч... — отвечал староста и еще раз просил Егора Панкратова извинить его, старосту, потому что «причины его в этом грехе нету». Даже затворив дверь, он еще раз «умолительно просил сидеть смирно».

Стояла глубокая осень. На улице была грязь; дул холодный ветер, с воем проникавший в щели чулана и обдававший морозом Егора Панкратова. Но Егор Панкратов ничего не чувствовал. Он сел в угол на пол, скорчился и опустил голову на колени.

А сырой ветер все посвистывал в щели и леденил его тело. Если бы кто мог заглянуть в это время в душу Егора Панкратова, то он, может быть, открыл бы, что и там все обледенело; вымерла единственная надежда, составлявшая красу его жизни.

Егор Панкратов просидел в темной двое суток и во все это время не проронил ни одного слова; а Илье Малому мрачно велел уходить, когда тот пришел к нему и предложил краюшку хлеба и косушку водки.

Илья Малый с краюшкой хлеба и косушкой водки почти не отлучался с крылечка волостного правления и все ждал, что Егор Панкратов одумается и поест; но так и не дождался. Тогда он отнес краюшку хлеба и косушку водки на дом к Егору Панкратову в надежде, что последний, придя домой, поест и выпьет; но и этого не дождался. Когда Егор Панкратов вышел из темной и пришел в свою избу, Илья Малый немедленно предложил ему поесть. Но Егор Панкратов не взглянул даже и на семейство свое; он влез на полати, прилег там и попросил холодного кваску...

С ним началась горячка.

Вместе с Ильей Малым в избу пришли староста и Васька, и все они выразили полное сочувствие свое Егору Панкратову; Егор Панкратов на все отвечал молчанием. А когда с ним начался бред, они все вышли один за одним, удивляясь, чем Егор Панкратов так огорчен был.

Он пролежал в постели два месяца.

Никто не узнал Егора Панкратова, когда он в первый раз вышел из избы. Он совершенно переменился.

Прохворал он почти всю зиму; покопошится на дворе, поработает и опять сляжет. Илья Малый старался во всем ему помогать, но все-таки хозяйство его было уже расстроено, да и сам он был не тот.

Несчастие Егора заключалось в том, что он жил в то время, когда не было ничего определенного ни в области мужицких отношений, ни в круге тех отношений, которые влияли на него извне. Его отец был крепостной человек, жизнь которого была проста, как жизнь вьючного животного, и определенна, как действие машины, и который не имел права мечтать; сын Егора устроит свои отношения человечнее и определеннее; но сам Егор жил в атмосфере загадок и «загвоздок». Кругом же его в деревне был хаос; ничего прочного не виделось ему; старое, по-видимому, рушилось, но новое еще не было создано. В нем таилась частичка искры божией о воле, но так темно, что в практическом смысле была бесполезна для него, ибо не могла освещать его пути, да и занимала ничтожнейшее место в нем, а прочее все существо его было переполнено смутными ожиданиями чего-то худого и безнадежного. Опоры для каких бы то ни было человеческих надежд деревня не представляет, где вся жизнь есть страх, беззаконие, «загвоздка». Егор сидел между двумя временами, из которых прошлое показывало ему цепи, а будущее — черную дыру; а в настоящем, когда он вздумал вообразить себя вольным, постоянно проходят перед его глазами явления, убивающие самые низменные мечты и желания, подтачивающие всякую энергию. Переходное поколение, к которому Егор Панкратов принадлежал, самое несчастное, потому что оно не живет, а мается, и существует не для самого себя, а для других поколений; оно служит материалом для будущего, но на него, прежде всего, падает месть уходящего прошлого.

Однажды, в начале весны, он вышел на завалинку погреться солнышком, и все, кто проходил мимо него, не узнавали в нем Егора Панкратова. Бледное лицо, тусклые глаза, вялые движения и странная, больная улыбка — вот чем стал Егор Панкратов. К нему подсел Илья Малый и, рассказав свои планы на наступающее лето, неосторожно коснулся происшествия, укоряя Егора Панкратова за то, что тогда он огорчился из-за пустяков. Егор Панкратов сконфузился и долго не отвечал, улыбаясь некстати... Потом сознался, что его тогда «нечистый попутал». Он стыдился за все свое прошлое.

Таким Егор Панкратов остался навсегда. Он сделался ко всему равнодушным. Ему было, по-видимому, все равно, как ни жить, и если он жил, то потому, что другие живут, например Илья Малый.

Действительно, Илья Малый ни на каплю не переменился. Плешивый, с слезящимися глазами, безжизненный, он тем не менее упорно жил. Были случаи, до того неожиданные и оглушительные, что, по всем видимостям, Илья Малый должен был бы помереть; ему иногда самому казалось, что вот в таком-то случае он непременно исчезнет, пропадет, а глядь — он жив! Невозможно его истребить быстро.

Этой-то живучести Егор Панкратов и стал подражать, удивляясь Илье Малому.

Разумеется, Егор Панкратов и Илья Малый остались по-прежнему друзьями-приятелями; они «сопча́» работали, «сопча́» терпели невзгоды; их и секли за один раз.



ПОСЛЕДНИЙ ПРИХОД ДЁМЫ

— Ежели мы все, сколько нас ни на есть, цельным опчеством, разбредемся, кто ж станет платить, а?

Ответа на этот вопрос парашкинцы не нашли. Парашкинцы сами себе задали этот вопрос, но отвечать были не в силах, частью потому, что вопрос был из таких, в ответ на который можно только выпучить глаза и молчать.

Не зная, что говорить, и, может быть, боясь говорить, парашкинцы так и сделали. Они собрались на сход и долго недоумевали. Это было летом. Сходка имела место возле сборной избы. Разместились кто как мог. Одни уселись на гнилой колоде, поставленной около плетня; другие стояли, заложив руки назад и сдвинув шапки на затылок; третьи лежали на животе, а некоторые уселись на плетень между колышками и болтали ногами. Все почти были в сборе; но никто не хотел начинать разговор о деле, которое возбуждало злобу во всех и каждом.

Дело вышло из-за Дёмы, Дёмы Лукьянова. Дёма редко находился дома. Зарабатывал он хлеб на стороне; со стороны же и подати платил. А на деревне считал себя лишним, даже невозможным. Но ныне он прямо заявил миру, что душу свою он поки-

дает, подушное платить не может и не будет. Сказав это, Дёма высморкался, сел на траву и стал ждать, что из всего этого выйдет.

Парашкинцы после долгого молчания начали говорить разные разности, совершенно не идущие к делу. У жены Ильи Малого мальчишка попал в кадушку с гущей... Лукерья родила в канаве, что возле Епифановых владений... Иван Иванов с пьяных глаз опоил бурку, который раздулся... Иван Заяц поймал у себя на полосе девять сусликов, продал их шкуры и радуется... О Дёме же ни полслова, как будто парашкинцы старались по возможности дальше отвлечь свои мысли от дела, которое каждого задевало за живое и возбуждало злобу, требуя напряжения всех их умственных способностей.

Дёма долго ждал. Но, наконец, не вытерпел и заговорил с тем рассеянным видом, который был вообще присущ ему. Он как будто продолжал свой отказ и говорил как будто с собой одним.

— Ежели на чугунку не удастся, — ну, тогда в Питер махну... Здесь же мне невозможно... Или еще можно на завод Шелопаева; а то спички делать... А то еще...

Дёма был прерван. Его словами все возмутились.

— Да что у тебя, шальной ты человек, мысли-то ходуном ходят! — заговорили ему в ответ многие голоса. — То он остается на деревне, то глядь — он уж в Питер едет, то спички!.. Как же после этого валандаться с тобой, шальной человек?

Парашкинцы вдруг все поднялись с мест, зашумели и взволнованно произнесли следующую речь:

— Это что ж такое?! Платить он не может, не будет... в каком смысле? Уйдет в бега — и лови его!.. Душу бросает, хозяйство в разор — по какой причине? А там плати за него... Плати, верно!.. Ты за него не только плати, а прямо спину подставляй; за ихнего брата порют!.. Да, как же! Он душу свою измотает, бежит, а мир в ответе?.. Сколько уж таких-то! Кажный норовит дать деру... Да, как же! Он от мира уж отстранился, уж ты его сюда калачом не заманишь; все на мир валит!.. Довольно уж у нас таких... Петр Беспалов — раз! Потапов — два! Клим Дальний — три! Кто еще?.. А Кирюшка-то Савин... четыре!.. Семен Белый... это который? — пять! Семен Черный — шесть! Дёма вот... Да их не перечесть!.. Что же это такое будет? Я не буду платить, он улизнет, Черт Иваныч Веревкин наплюет на мир, — что же отсюда произойдет, а?.. Бра-а-атцы! Пущать их не надо! Совсем их не надо пущать... Сиди и плати... Оно так-то лучше... Это верно — сиди и плати!.. Ах вы, голоштанники! Доколь же нам отдуваться за вашего брата, а? Нет, ты посиди тут, дома-то... А как же их не пущать? Народ они вольный, бродяги-то... Кочевые народы!.. Ты ему на голове теши кол, а он не внимает!.. Он вон задерет хвост — и лови его, Дёму-то!.. Господи боже

мой! эдак все в бега... Я хозяйство брошу, другой бросит, третий... бежим все, ищи нас свищи, кто ж останется?.. Кто будет платить, ежели мы все в бега, а? Кто?!

Вся эта речь произвела сильное впечатление, в особенности последний вопрос. Даже Дёма, решительно ко всему равнодушный, поражен был возможностью исчезновения всех парашкинцев. Он также встал на ноги и тоже что-то заголосил; но его никто не слушал до тех пор, пока не замолчал весь сход.

Конечно, Дёма скоро оправился и по-прежнему заговорил рассеянно и вяло, настаивая на том, что обрабатывать надел свой он не может, уходит на заработки и просит мир уважить его — снять с него душу.

— Никак нельзя по-другому, — сказал он. — Чай, видали? Хозяйка моя как сноп лежит, работать где ж ей? изнурилась; мать также... Ну, и невмочь держать надел. Ежели бы еще полдуши, да и то...

Дёма махнул рукой, показывая тем, во-первых, что он и полдуши боится принять и, во-вторых, говорить ему надоело. Он вяло высморкался еще раз и умолк. Для всех было очевидно, что с ним ничего не поделаешь. Пожалуй, его можно заставить жить в деревне, но что из этого? Он останется, ему все равно, мысли его вразброд пошли; но какой толк из этого выйдет?

Попробовали его подвергнуть перекрестному, очень хитрому допросу.

— Изба и прочее хозяйство есть у тебя? — спросили у него.

— Полагается, — нехотя отвечал Дёма.

— Так. Ну, а скот есть?

— Скот?.. Самая малость. Подох.

— Так. Скот твой, стало быть, кормится, и кормится, надо полагать, мирскими землями, ай нет?

— Что ж...

— Вот тебе и что ж! Избу ты имеешь, место занимаешь, скот твой пользуется, а ты не платишь; по какой причине?

— По причине, что нечем; рад бы! — возразил Дёма, чувствуя, что из-под его ног ускользает почва.

Допрос продолжался.

— И опять: мать твоя с хозяйкой надел до сей поры держали, занимали землю, а ты душу не платишь, по какой причине?

Дёма взбесился. Перекрестным допросом приперли его к стене, говорить ему было невозможно. По какой причине? Он и сам хорошенько не знал, по какой причине платить ему нечем, как он ни бился. Выходило так, что нечем — и все.

— Тыщу раз говорю вам — нечем платить мне, нечем, нечем! Чего еще пристали? — возразил Дёма, выходя из себя.

— Ну, так и сиди дома, — отвечали ему: — по крайности, тут самого тебя выпорют, а не то чтобы мир из-за тебя мучение принимал.

— А куда ж я дену пашпорт? — вдруг оживился Дёма. — Куда я дену пашпорт? Деньги я за него уплатил сполна, и он у меня на целый год, годовой; куда ж мне его деть? Ах вы, головы умные!

Дёма оправился от своего смущения и опять рассеянно глядел и слушал, — ему было все равно! Но в свою очередь сход был поражен, так что перекрестного допроса как будто и не было. Дёма взял годовой пашпорт, деньги за него уплатил; куда же ему, в самом деле, деть его! Зная цену деньгам, парашкинцы стали в тупик и замолчали в полнейшем недоумении.

— Пашпортом ты не тыкай: бери его и ступай с богом. А только душу плати.

Говорить о деле Дёмы дальше не представлялось уже надобности; все было переговорено. Да и надоело всем! Эти истории повторялись в последнее время очень часто и, кроме тупого озлобления, ничего не приносили парашкинцам... Что возьмешь с Дёмы? Если он и в деревне останется — это все равно, еще беду какую-нибудь сделает! Притом каждый на сходе понимал, что, может быть, завтра и он очутится в таком положении, когда взять с него будет нечего.

— Погляжу я, с тебя теперь ни шерсти, ни молока не получишь. Козел ты и есть! — вздумал кто-то пошутить на сходе над Дёмой, но балагуру никто не сочувствовал.

Поболтав еще о разных разностях, не идущих к делу, парашкинцы решили: просьбу Дёмину уважить, надел с него снять, оставив за ним только полдуши. Дёма также больше не артачился: занятый послезавтрашней отправкой, он согласился платить полдуши.

Сход после этого скоро разошелся. На всех собравшихся легло что-то тяжелое и неопределенное, как кошмар, и разогнало их; каждый желал поскорее убраться к себе.

Редко парашкинцы находились в таком гнетущем настроении; по большей части каждый шел на сход с тайным желанием стряхнуть с себя обыденные мерзости. На этот раз, однако, дело было иначе — парашкинцы торопились разойтись. Им было противно присутствовать на сходе, говорить без толку и глядеть друг на друга. Ничего они не могли решить, — зачем же и шуметь без пути? На лицах друг друга они видели беспомощность и уныние, — к чему же и собираться вместе?

Ежели все разбегутся, то кто же станет платить? Вопрос нелепый; по парашкинцы все-таки ломали над ним свои худые головы. Не оттого, что каждый из них непременно горел желанием платить, но оттого, что перед каждым из них мелькала

щемящая душу мысль — бежать из насиженного места. Это дело будущего, но оно мучило парашкинцев в настоящем.

Щемящая душу мысль вовсе не была вымышлена. Парашкинцам их же однодеревенцы доставляли ежегодный пример того, как люди бегут, куда бегут. Число парашкинских бродяг все более и более увеличивалось; образовался особенный кочевой класс, который только числился на миру, а жил уже другою жизнью. Вон Клим Дальний, Петр Беспалов, Семен Белый... да их и не перечтешь всех! Каждый парашкинец поэтому понимал, что если он нынче сидит твердо на месте, то это совсем не значит, что он и завтра здесь будет сидеть, — сидит он на месте по произволению божию, а пройдет год, смахнут его с места, и он быстро войдет в число «кочевых народов».

По опыту парашкинцы знали, что нынче человек легко или, правильнее сказать, внезапно покидает насиженное место. Он нынче здесь, а на следующий год уже за тысячу верст, откуда пишет оглушительное письмо, что он платить больше не может и не будет. Раз же он выскочил из своего места, — он редко возвращается обратно; он так и остается в числе «кочевых народов». Бывали ли прежде такие случаи? Слыхано ли было когда-нибудь, чтобы парашкинцы только и думали, как бы наплевать друг на друга и разбежаться в разные стороны? Не бывало этого, и парашкинцы об этом не слыхали.

Тогда их гнали с насиженного места, а они возвращались назад; их столкнут, а глядишь — они опять лезут в то место, откуда их вытурили.

Прошло это время. Нынче парашкинец бежит, не думая возвращаться, он рад, что выбрался подобру-поздорову. Он часто уходит затем, чтобы только уйти, провалиться. Ему тошно оставаться дома, в деревне; ему нужен какой-нибудь выход, хоть вроде проруби, какую делают зимой для ловли задыхающейся рыбы...

Уходя со схода, Дёма немедленно забыл, что там происходило. Он стал соображать, на какие средства ему отправляться. Деньги у него были, но в таком количестве, которое достаточно было лишь на то, чтобы впроголодь добраться до места заработков, до новостроящейся железной дороги. А как без всего оставить хозяйку и мать?

Вспомнив свои домашние дела, Дёма сразу осовел. Был уже вечер; покрапывал мелкий дождь; делалось темно. Дёма только еще больше опустился, рассеянно шлепая по улице к дому.

С тем же чувством подавленности он и в избу свою вошел. Мать его, Иваниха, собиралась ужинать и предложила ему поесть.

— Ужинать-то будешь? — басом спросила она.

Дёма хотел отвечать обыкновенным своим: «да кто знает...», но вовремя сообразил, что в данном случае отвечать так нельзя.

— Чтой-то не хочется, — рассеянно выговорил он и сел на лавку возле изголовья жены. Устремив пристальный взгляд на нее, почувствовал, как все в нем заныло.

Он взглядывал попеременно то на больную жену, то на мать. Иваниха, не сказав больше ни слова, села к столу. Она вытерла ложку, похожую на ковш, о фартук и принялась есть. В избе моментально запахло протухлой капустой. Но Иваниха не чувствовала этого; она была занята. Хлеб, который она кусала, разваливался, и крошки его сыпались ей на колени. Иваниха постоянно подбирала их в горсть и ссыпала в рот; точно так же она делала и с теми кусочками, которые валились на стол. Иначе было нельзя; хлеб состоял из муки, мякины и земли и разваливался.

На столе возле незанятой ложки лежало еще несколько сухарей. Это были камни, но они содержали чистый черный хлеб, и потому Иваниха их не трогала. Дёма понял, что это она для него припасла, для гостя!

Дёма взглядывал на Иваниху и ныл; взглядывал на жену и также ныл. И каждый раз, как он появлялся в деревне, он ныл.

Настасья, хозяйка Дёмы, лежала на кровати в углу и неслышно дышала. По-видимому, она спала, хотя веки ее были полуоткрыты. Она была покрыта разной рванью; только лицо ее оставалось снаружи. Странное это было лицо! Таких лиц нет в деревне. Бледное, небольшое, нежное, оно резко противоречило и рвани, лежавшей в беспорядке на кровати, и грязному виду всей избы, и ее «жилому» запаху. Какая-то печать хрупкости лежала на лице Насти, делая черты ее мягкими. Высунувшаяся из-под лохмотьев рука довершала впечатление; рука эта была маленькая, худая и прозрачная. Так изменила Настю болезнь, смыв с ее лица загар, а с рук коросты и мозоли.

Дёма посидел у изголовья жены и перешел на другую лавку; посидел там немного и встал. Потом остановился посреди избы и к чему-то проговорил: «Ишь какой дождь!», ни к кому, собственно, не обращаясь. Он не находил места. Успокоился он только тогда, когда сел неожиданно на порог и положил руки на колени. Порог ему очень понравился, и он долго на нем сидел. Здесь же его застал и вопрос Иванихи, которая все еще ужинала.

— Отдал душу-то? — обратилась она к сыну, не повышая ни на одну ноту обычного своего баса.

— А?

Это откликнулся Дёма. Иваниха не обиделась и не возмутилась. Она только помолчала.

— Душу-то, говорю, отдал? — пробасила она во второй раз.

— Полдуши! — отвечал Дёма, придя в себя.

— В субботу, значит, в отправку?

— Да кто знает! Как вон вас оставить-то! — упавшим голосом возразил Дёма.

— Об нас не печалься... А ежели дома останешься, так все один конец, даром баклуши будешь бить... Там ты прокормишься, а тут — рот лишний.

Высказав свое мнение, Иваниха умолкла.

В это время Настасья открыла глаза и попросила пить. Иваниха поднесла воды в ковшике, а Дёма покинул порог и сел опять на лавку у изголовья больной.

— Ну, как, плохо? — спросил он у Насти.

— Теперь ничего, полегче, — ответила почти шепотом Настя и потом спросила: — Уходить думаешь, Дёма?

— Да кто знает? Вишь ты вон... — Дёма не договорил. Он отер об полу влажную от дождя руку и погладил ею по руке Насти.

— Уж лучше ступай. Даст бог, поправлюсь, — сказала Настя.

Настя опять закрыла глаза и, кажется, заснула. А Дёма посидел, посидел около нее и снова отправился на прежнее место — на порог. Он находился в ужаснейшей нерешительности, недоумевая, что ему предпринять. Помолчав с полчаса, в продолжение которого Иваниха убирала со стола принадлежности еды, он выразил свое настроение вслух.

— Или уж не уходить? — мрачно спросил он. Но, не встретив со стороны Иванихи согласия или возражения на это неожиданное решение, он прибавил: — А то еще можно в Сысойск, спички делать. Это способно мне; в самую линию...

Дёма, по-видимому, с одним собой рассуждал. Но на этот раз Иваниха, несмотря на все ее хладнокровие, не выдержала. Застучав костылем, она проговорила зловещим басом:

— Погляжу я, соску бы тебе еще сосать! И что у тебя никакого порядку в голове нет? Ну, порешил раз уходить — и ступай! Э-эх, голова!

Ничего больше не сказала Иваниха. Она совсем убрала со стола и принялась молча копошиться в каком-то тряпье, починивать что-то.

Иваниха не отличалась особенно резко от остальных деревенских баб, но все же это было отесанное в форму божьего создания полено. Ее с натяжкой можно было причислить к слабой половине человеческого рода; по крайней мере сама она очень сильно была бы оскорблена, если бы ее поставили на одну доску вообще с женщиной. Она скорее походила на мужика и по своему образу жизни и по наружности. Ей было уже более пятидесяти лет, но она была еще очень здоровою старухой. Правда, природа по отношению к ней пренебрегла художественностью, но зато сбила ее плотно. Голова Иванихи была почти четвероугольная;

лоб небольшой, выпуклый; глаза глубоко сидели в своих впадинах, оттеняемые густыми бровями. Толстый нос, неуклюжий подбородок, на одной стороне которого торчала бородавка с клочком шерсти, и большие скулы придавали ей угрюмый вид; а короткие руки и ноги делали ее кряжистою.

Говорила Иваниха всегда басом; другого голоса она не имела. Даже в своей молодости, на вечеринках, она не пела, а гудела.

Иваниха была упрямая старуха, но это не исключало в ней своеобразной доброты. Вообще сердце у ней было мягкое, «отходчивое». Она была справедлива и не обладала той чисто женской способностью — фыркать и пилить, которая не очень удобна в общежитии. Будучи матерью, она не потакала сыну; сделавшись свекровью, она не терзала невестку.

К Насте она питала даже своего рода любовь, то есть она грубо ругалась иногда и в то же время брала на себя всю тяжелую работу, которая была не по силам бедной женщине. К Насте она относилась миролюбиво. Невестка была для Иванихи всем, что осталось родного. Когда же Настя занемогла, то Иваниха очень заботливо стала ухаживать за ней. Обе женщины жили согласно, тем более что ссориться было решительно некогда, в особенности после ухода Дёмы на заработки, когда на их попечение перешло все хозяйство, дома и в поле.

Иваниха, впрочем, владычествовала и в присутствии Дёмы. Дёма и до отхода своего на заработки беспрекословно повиновался ей. Хозяйство полевое всегда составляло арену деятельности Иванихи и ею одной поддерживалось на одинаковом уровне. Только в последнее время дела ее покатились под гору, вместе с летами и силами ее.

С Иванихой случилось несчастие. Почти в одно время с Настасьей и Иваниха занемогла. Раз она ехала с поля на возе сена; на косогоре воз накренился, покачался, покачался и опрокинулся, а вместе с ним и Иваниха. Подобные случайности происходили с ней нередко, и Иваниха не обращала на них ни малейшего внимания; только изругается басом и опять свое дело делает. Но на этот раз она поплатилась. Поднимаясь с земли, она поняла, что вывихнула ногу. Иваниха недоумевала, как это ее угораздило, но не захныкала. Она озлилась, только озлилась, но зато так, что если бы в это время кто попался ей, то даром не ушел бы. Она поняла, что с этого несчастного мгновения дела ее примут плохой оборот, и из ее уст посыпались ругательства.

Иваниха не обманулась. Хотя ногу ей и поправили несколько, но от прежней Иванихи очень немного осталось. Она стала ходить с костылем. Потому-то в это лето она и не могла обработать душевого надела. Она, конечно, не упала духом, ей немедленно же представился выход из тяжелого положения. Она обработала большой огород, посадила овощей и надеялась, что с помощью

этого занятия она с Настасьей прокормится... Она каждый год станет обрабатывать огород и прокормится. Была бы только изба, где можно жить, и лошадь, на которой Настя будет ездить в город продавать овощи, а то ей плевать!

Это, разумеется, так себе, самообман один, потому что этим прокормиться нельзя.

Вследствие прошлогоднего неурожая и нынешних несчастий Иваниха не платила подати более двух лет. Это обстоятельство возбудило в волости вопрос: следует ли ее посечь или ждать, когда она добровольно выплатит долги? Но Сазон Акимыч заметил, что Иваниха не правомощна, и потому вопрос остается пока нерешенным.

Так было подкошено хозяйство Дёмы. Дёме не оставалось уже надежды опять оставаться в деревне. Так размышляла и Иваниха. Оставаться Дёме, думала она, незачем теперь. Что ему тут делать? Только даром баклуши будет бить. Но Дёма не признавал основательности этого мнения, или, прямо сказать, он не составил на этот счет никакого мнения. Он растерялся. День спустя он может уйти, но может и в деревне остаться; он этого не знает. Дёма растерял свои мысли, которые давно уже «ходуном ходили».

Это нелепое положение имело свою историю, потому что не всегда же его мысли ходуном ходили. Было время, четыре года тому назад, когда Дёма безотлучно жил в деревне и не воображал, что он через некоторое время будет бродить. Тогда ему жилось ничего себе: тогда он даже очень удачно колотился. Урожаи были посредственные; скот у него был; подати он с грехом пополам платил, и таскали его в волость не очень часто. А ему больше ничего и не нужно было.

Как он дошел до крайности и до мысли бежать, это неизвестно. Дёма и сам не отдавал себе ясного отчета в этом; он дожил до невозможности жить в деревне и бежал; а как и почему — не спрашивал себя. Впрочем, причины его хозяйственной несостоятельности были более или менее известны парашкинцам, которые не удивлялись исчезновению Дёмы. В это время парашкинцы очень истомились. Разные несчастия обрушивались на них, как по заказу. Епифан Иванов, Петр Петрович и еще одно фиктивное лицо, заключившие союз, были ничто перед совокупностью гнусностей, как бы заказываемых для парашкинцев. Голод, скотский мор, например, были так многочисленны и до того неожиданны, что в большинстве случаев парашкинцы и названия им не знали, не придумали еще.

Поэтому парашкинцы и не удивлялись ничему; они лишь ожидали новых гнусностей.

Много народу за то время скрылось с поверхности парашкинской жизни; бежали и кучами и в одиночку. Между последними был и Дёма, который с тех пор беспрерывно мыкался по свету.

Первое время после ухода из деревни Дёма употребил на то, чтобы наесться. Он был прожорлив, потому что очень отощал у себя дома. Те же деньги, которые у него оставались от расходов на прокормление, он пропивал. Поэтому домой в это время он ничего не отсылал или отсылал самую малость. Но Иваниха, впрочем, не упрекала его за это; она рада была и тому, что хоть сам-то он кормился. К тому же Дёма скоро сделался менее прожорлив.

Дёма был сперва очень доволен жизнью, которую он вел. Он вздохнул свободнее. Удивительна, конечно, свобода, состоявшая в возможности переходить с места на место «по годовому пачпорту»; но по крайней мере ему незачем было ныть с утра до ночи, как это он делал в деревне. Пища его также улучшилась, то есть он был уверен, что и завтра он будет есть, тогда как дома он не мог предсказать этого.

Дёма переходил с фабрики на фабрику, с завода на завод и таким образом кормился. Это был большой выигрыш для него. Проиграл он только в том отношении, что сделался оглашенным; такой уж у него был род жизни. Дёма растерял свои мысли.

Но это было неизбежно. В деревне или на воле — все равно он сделался бы оглашенным. Такую жизнь он в последнее время перед уходом вел и дома у себя; у него ничего не было определенного насчет будущего. Он желал принять какое-нибудь твердое решение относительно себя и своего семейства, но не мог. Он прежде думал о своем хозяйстве и перестал — бесполезно. Он раньше умел соображать — и бросил: всякое его соображение оказывалось ни на что не годным.

Дёма повел бродячую жизнь. Выходя из деревни, он не знал, куда его занесет нелегкая. Он останавливался там, где натыкался на работу. Приходя же в деревню, он не знал, останется ли здесь или уйдет.

— Уйдешь, что ли? — спрашивала обыкновенно Иваниха.

— Да кто знает! — возражал Дёма.

Связь его с деревней была двусмысленна. Он не знал, куда себя причислить: кто он, бродяга или деревенский житель? Войдет он снова в деревенский мир или он навсегда от него оторван? Он этого не знает. Дёма даже не мог часто решить, желает ли он остаться на миру. В нем произошло полное разрушение старых понятий и желаний, с которыми он жил в деревне.

В первое время Дёма часто наведывался домой; когда он долго не бывал дома, им овладевало нетерпение и ему не сиделось на месте. Случалось хуже. На какой-нибудь фабрике Шелопаева им вдруг овладевала тоска по деревне... Работал Дёма, по обыкновению, семнадцать часов, — думать, следовательно, времени не было. К концу дня Дёма чувствовал себя так же, как пьяный после похмелья, и сам удивлялся своей тупости. Вечером у него всегда

оставалось одно желание — завалиться поскорее и заснуть. Шелопаев для рабочих устроил спальню, в которой в два яруса были сделаны трещины, куда рабочие вдвигали свои тела на ночь. Туда же, разумеется, и Дёма залезал. И вот среди ночи, после ужасного дня, он вдруг просыпается и начинает ворочаться; ворочается и думает. Кругом темень непроглядная, смрадно, отовсюду слышится храп, душно... На Дёму нападает тоска. Он вспоминает деревню, ему хочется побывать там...

Но лишь только Дёма показывался в деревню, его сразу обдавало холодом. Через некоторое время, пожив в деревне, он видел, что делать ему здесь нечего и оставаться нельзя. Таким образом, поколотившись дома с месяц, он уходил снова бродяжить.

С течением времени его появления в деревне делались все реже и реже. Его уже не влекло сюда с такой силой, как прежде, в начале его кочевой жизни. К деревне его привязывали уже одни только нитки, которые очень скоро могли оборваться.

Деревня опостылела Дёме. Являясь туда, он не знал, как убраться назад; по приходе домой он не находил себе места. На него разом наваливалось все, от чего он бежал; мигом он погружался в обстановку, в которой он раньше задыхался. Как ни жалки были условия его фабричной жизни, но, сравнивая их с теми, среди которых он принужден был жить в деревне, он приходил к заключению, что жить на миру нет никакой возможности.

Сравнение было решительно и бесповоротно.

Вне деревни Дёму по крайней мере никто не смел тронуть, и то место, где ему было не под силу и где ему не нравилось, он мог оставить; а из деревни нельзя было уйти во всякое время. Вне деревни он кормился, а деревня давала ему только одну траву. Но, важнее всего, вне деревни его не оскорбляли, деревня же предлагала ему ряд самых унизительных оскорблений.

Страдало человеческое достоинство, проснувшееся от сопоставления двух жизней, и деревня для Дёмы, в его представлениях, стала местом мучения. Он бессознательно начал питать к ней недоброе чувство. И чувство это возрастало и крепло.

Дёма в этот вечер несколько раз переменил место, переходя с одной лавки на другую и на порог. Подходил он и к больной или в нерешимости останавливался столбом посреди избы.

— Ай уж сходить в артель? — вопросительно проговорил он, стоя среди избы.

Иваниха, к которой, по-видимому, относился этот вопрос, не повернула головы и не бросила работы. Она давно бы имела право возмутиться, глядя на сына; но она не возмутилась, а только проговорила:

— Нечем толчись на месте-то, взял бы да сходил.

Дёма колебался. Ему надо было немедленно же принять какое ни на есть решение, а он не мог. Те представления, которые окутывали густым туманом его голову — и в избе, и на улице, и во всей деревне, затемнили в нем совершенно способность найти выход из двусмысленного положения. Эта растерянность, однако, увеличилась еще более, когда в сумерках в избу вошел посланец от Епифана Иванова, батрак, с крайне неожиданным предложением купить у Дёмы дом. Так верно суждено было Дёме испытывать в этот день одни мерзости.

— Я к тебе, Дёма, на минуточку... — сказал работник Епифана Иванова. — Очень недосуг, а хозяин дюже бранится.

— Какие такие дела у тебя? — угрюмо спросила Иваниха, чуя недоброе.

— Хозяин, значит, послал. Приказывает сказать тебе, что ежели ты избу продавать думаешь, так чтобы ему. Куплю, говорит, по настоящей цене! — это хозяин-то.

Иваниха даже поднялась с лавки, — так оглушило ее предложение.

— Что ты, пустоголовый, мелешь? Какую такую избу Дёма продает? — забасила мрачно Иваниха, приводя в смущение ни в чем не повинного батрака.

— Вот эту самую... Хозяин слыхал, будто Дёма продает, — обиженным тоном возразил батрак.

Иваниха смотрела то на сына, то на батрака. Она злобно выглядела.

— Пошел прочь, дуралей! — крикнула, наконец, она. — Ишь что выдумал: продать ему избу! Ступай прочь и скажи своему хозяину, — так и скажи ему прямо, — пускай только он сунется с эдаким словом, я ему в морду! И не погляжу, что он пузатый стал! Ах вы, окаянные! Нигде от вас спокою нет, идолы!

Иваниха долго еще ругалась, даже и после того, как посланец, выполнив свою миссию, ушел. Но Дёма не сказал ни слова в продолжение этого разговора, и нечего ему было сказать. Глухая тоска и растерянность еще более увеличились. Дёма просто подвергнут был пытке. Для него сделалось ясно только то, что и Епифан Иванов считает его похороненным. Сам Дёма никогда не думал о продаже избы; об этом Епифан Иванов сам заключил, а сделав это заключение, немедленно послал работника предупредить Дёму заранее, что съест его он, Епифан Иванов, а не кто другой, за что и предлагает «настоящую цену».

В другое время Дёма не обратил бы внимания на предложение, но в эту минуту оно увеличило нарост его горечи. Если уж Епифан Иванов, обладающий острым нюхом, почуял возможность покупки избы, значит, ему, Дёме, пришел конец. Вот какая мысль согнула и придавила Дёму. Ему сделалось невыносимо оставаться

в избе; надо было куда-нибудь убираться. Дёма поэтому почти с радостью отправился в артель.

Но дорогою к Петру Беспалову он несколько раз останавливался и все хотел вернуться назад. В это время он был жертвой множества самых разнородных побуждений, которые тянули его в разные стороны.

К Петру Беспалову в это время собирались уже все артельщики, отправлявшиеся послезавтра на чугунку. Сам Петр Беспалов, Потапов, Клим Дальний, Кирюшка Савин, Семен Черный, Семен Белый — все были в сборе и вели между собой шумную беседу. В избе было совершенно темно.

— А, Дёма, сколько лет, сколько зим! — зашумел Кирюшка Савин, узнав вошедшего Дёму и очищая ему место на лавке.

— Ну как, Дёма? Порешил, идем? — осведомился Петр Беспалов.

— Да кто знает! — возразил Дёма.

— Мир, что ли, не пущает?

— Не, мир пущает.

— Так это ты сам отлыниваешь? Не дело, брат, задумал, прямо тебе скажу, не во гнев, — зашумел Клим Дальний. — Что же, нам артель расстраивать из-за твоей милости?

— Ná што артель расстраивать!

— А как же? Было нас семь человек в артели и вдруг, цап-царап, стало шесть! Как ты полагаешь, хорошо это? Нам дожидать нельзя здесь, а ты смутьянишь.

— Ná што смутьянить! Не смутьян я, — отвечал Дёма и начал понемногу оправляться от своей тоски и растерянности. Ему сделалось легче между товарищами, и он с большею определенностью сознавал свое желание поскорее выкарабкаться из деревни, где, кроме оплеух, на его долю ничего не доставалось.

— Погоди, Клим, — вмешался Петр Беспалов, — тоже и его дело надо рассудить. Баба его лежит пластом, а ты к нему с ножом к горлу лезешь! Чай, не сдуру он говорит!

Вмешательство Петра Беспалова прекратило нападение на Дёму. Напротив, все его товарищи разом догадались, в каком состоянии он был, и стали неуклюже успокоивать его.

— Жалко ему хозяйства и бабенки тоже... — сказал Потапов.

— Да, бабенка его ничего, славная бабенка, — подтвердил Клим Дальний.

— Что ж, Дёма, тужить, ежели грех случился? Бабенка твоя встанет, и хозяйство поправится, — успокоивал Семен Черный.

— Не горюй, даст бог, поправится! — добавил Семен Белый.

— Известно — поправится; а только я не знаю, какая мне теперь линия: тут жить или уходить на сторону, уж не знаю! — опять возразил Дёма, впадая в прежнюю рассеянность.

Наконец артельщики решили подождать день; если же Дёма и завтра не управится с своими делами, то идти на заработки,



не дожидаясь его. Это решение артельщики приняли потому, что оставаться в деревне им надоело, хотя они недолго оставались в семействах. Делать им, как и Дёме, было нечего дома; как и Дёма, даже в большей степени, они тяготились своим двусмысленным положением, стоя одною ногой в миру и поставив другую ногу «на сторону».

У всех собравшихся в деревне были еще домишки, год от года разрушавшиеся. У некоторых осталось даже небольшое хозяйство, но внимания они на него уже не обращали, предоставив его всецело бабам, которые и маялись кое-как. Полный надел земли был только у Петра Беспалова; остальные довольствовались половиной, как Клим Дальний и Потапов, или четвертью, как Семен Белый и Семен Черный. Понятно, что все они ликовали, уходя из деревни. Все время, пока они оставались в деревне, они испытывали одну тоску и чувство ненужности. Отщепенство их от мира зашло так далеко, что они и сами это сознавали, делаясь все более и более равнодушными к своим делам. Ненависти к деревне они уже не питали, как к месту, имеющему очень малое отношение к ним. Ненависть эта была, когда они употребляли нечеловеческие усилия остаться при земле, и прошла, когда они были выпихнуты из деревни, сделавшейся им с этих пор чужой. Осталась одна насмешка — и к своим прежним усилиям остаться на миру и к деревенщине, которая продолжает колотиться и потеть над пропащим делом. Артельщики теперь смотрели на деревенщину свысока.

Они даже по наружности изменились так, что никто в них не признал бы «хрестьян деревни Парашкина». Настоящие, коренные парашкинцы одевались в такие облачения, что издали поголовно походили друг на друга; артельщики же одевались каждый по своему вкусу. Петр Беспалов, например, носил недубленый полушубок и смазные сапоги, неизвестно как попавшие к нему; Потапов — в зипуне, в лаптях и с чухонской шляпой на голове, а Клим Дальний надевал коротенькое пальто невозмож-

ного цвета и возмутительного запаха. Что касается двух Семенов — Белого и Черного, то они, так сказать, взаимно дополняли друг друга. Однажды им взбрело на ум купить плисовые штаны и жилет — и купили; Семен Черный взял на себя плисовые штаны, а Семен Белый — плисовый жилет, и оба были довольны.

Говоря о наружности артельщиков, нельзя оставить без внимания одного обстоятельства, хотя и незначительного, но имевшего влияние на взаимные отношения мира и его отщепенцев. Дело в том, что без Дёмы в избе сидело шесть человек, а у них было только четыре носа. По этому поводу между Потаповым и Семеном Белым происходили иногда стычки.

— На фабрике нос-то оставил? — спрашивал Потапов.

— На фабрике... — отвечал, конфузясь, Семен Белый, у которого в наличности находились только признаки органа обоняния.

— Машиной оторвало?

— Машиной...

— Оно и видно!

Потапов хохотал, а Семен Белый злился, ругался на чем свет стоит и грозил тем моментом, когда у самого Потапова исчезнет нос.

Таким образом, отщепенцы уносили из своего села имущества, силы и души и взамен этого ничего не возвращали. Единственная дань, которую они платили миру, — это отвратительная зараза, приносимая ими с фабрик. Если к этому прибавить то, что они для парашкинцев были новым и плохим примером жизни вне мира, а также то, что они вносили вместе с собой всюду ссоры и отщепенство, тогда роль их будет совершенно определена.

На этот раз их ликование по поводу скорого отхода было на время прервано приходом Дёмы, который еще не мог оправиться. Шумный разговор артельщиков прекратился. Воцарилось на всех лицах тоскливое молчание. Уныние так подействовало на собравшихся, что им всем захотелось выпить, но это было тайное желание, которое никто не хотел обнаружить. Недавно они сложили все деньги свои в общую кассу и постановили единогласно: «водки... ни боже мой, не пить». Поэтому теперь каждый стыдился первым заявить о своей слабости, и все молчали, тайно понимая друг друга. Только Семен Черный выразил тайное желание, да и то безмолвно. Он красноречиво посмотрел на Семена Белого, но из этого пока ничего не вышло. А Потапов, увидев знаки, сурово посмотрел на обоих Семенов, назвав их вслух «пустыми головами» и давая этим понять, что только пустые головы могут думать о невозможном, о водке, например.

— А я полагаю так, что раз ты ушел, хозяйство забросил и уж ты не воротишься, — вдруг сказал Дёма, вопросительно

взглядывая на Петра Беспалова и не предупредив, о чем он хочет говорить.

— Да это ты про что? — удивленно спросил Клим Дальний.

— Про деревню. Раз, говорю, ты ушел, и уж обратно пути тебе нету! — пояснил Дёма свою тоскливую мысль.

— И не надо, — угрюмо возразил Потапов.

— Как не надо! Домой-то? — удивился Дёма.

— Так и не надо. Будет! Меня арканом сюда не затащишь, — больно уж неспособно.

— Ну, все же домишка-то жалко, ежели же он еще разваливается, — заметил Петр Беспалов.

— И пущай его разваливается! Сытости в нем нет, потому что он гнилой! — сострил Клим Дальний. Но ему никто не сочувствовал.

— Про то-то я и говорю: ушел ты — и хозяйство прахом, — настаивал Дёма, в голове которого, по-видимому, безотлучно сидела мысль о конечном его разорении.

— Кто ж этого не знает? — с неудовольствием заговорил Кирюшка Савин, возмутившийся тоскливым однообразием разговора. — И что ты наладил: ушел, ушел! Словно без тебя и не знаем... Тоска одна!

— Да я так...

Все умолкли. На всех присутствующих действительно напала злая тоска.

Но в это время Семен Черный решительно посмотрел на Семена Белого, указывая последнему на свои плисовые штаны, которые часто закладывались в кабаки. Семен Белый безмолвно отвечал ему удивлением и выразил ему за его решимость полное одобрение. Поэтому Семен Черный немедленно встал и вышел. Когда же он воротился, то плисовых штанов на нем, конечно, уж не было, а были простые посконные, продранные на коленях.

— Куда это ты девал штаны свои? — насмешливо осведомился у него Потапов.

Семен Черный, разумеется, ничего не мог ответить и смущенно мигал, но все-таки немедленно вынул из-под полы штоф водки и молча поставил его на стол. Так как Семен Черный нередко приносил свои плисовые штаны и другие принадлежности костюма в жертву общим тайным желаниям, то никто не удивился при появлении водки и никто не подвергал его допросу относительно причины этого появления.

Прежняя шумливость компании возвратилась. Пошла круговая. Водкой распоряжался Семен Черный, по праву своей самоотверженности; он поочередно каждому подавал грязно-зеленый стаканчик и блаженно улыбался. Сам же он выпивал после всех, причем вдруг делался серьезен.

— Ну-ка, брат, выпей. А то уж ты очень... — сказал Семен Черный, подавая грязно-зеленый стаканчик Дёме.

Дёма сперва взял стаканчик, подержал его в руке, но потом вдруг поставил на стол.

— Не могу! душа не принимает! — ответил Дёма и отошел в сторону. Через некоторое время он совсем ушел, спросив только:

— Стало быть, послезавтра?

— Будь готов, — отвечали ему.

Когда Дёма вышел, присутствующие долго еще находились под его впечатлением, проникнутые каким-то неопределенным, но тяжелым чувством. Не помог даже и штоф водки.

— Эх, как его сердешного перевернуло! — сказал Петр Беспалов, говоря об ушедшем Дёме.

На это никто не отвечал. Только Кирюшка Савин, неосторожно пролив водку на бороду и грустно улыбаясь, заявил, что ему также тошно и что было бы хорошо, если бы теперь закусить огурчиком.

Дёма не пошел в эту ночь в избу, несмотря на то, что шел дождь; он прошел в сарай и там лег на соломе. Тоска грызла его все больше и больше. Он мог несколько успокоиться и заснуть только тогда, когда твердо решил уйти из деревни, поскорее и навсегда. В этом ему помог случай.

На постели, где лежала Настя, лохмотьев уже не было. Иваниха выбросила их и убрала свою невестку, и Настя не казалась уже странною с своей мягкой красотой. Бледное лицо ее сделалось еще лучше и чище после смерти, которая еще не успела обезобразить свою жертву. Болезнь смыла с нее грязь, смерть же уничтожила на нем страдание. Все черты ее запечатлены были покоем, которого она не знала при жизни.

Она и умерла тихо, без стонов и без конвульсий. Это было ночью, никто не знал, как она умерла и что сказала. Иваниха задремала и прокараулила, а когда очнулась, то Насти уже не было.

Иваниха не стала реветь, не проронила даже слезы. И как бы она стала реветь басом? Это не шло к ней. Она, правда, долго стояла над постелью умершей, но ничего не говорила.

Оправившись от своего оцепенения, она принялась медленно и сосредоточенно убирать свою невестку в неизвестный путь. Она открыла свой сундук, отложила оттуда самое лучшее белье, какое только было у ней, взяла лучший холст, какой только она имела, и принялась за дело. Если бы Насте надо было отдать все имущество, то Иваниха, не задумавшись, отдала бы. Зачем теперь имущество ей, старой карге? Теперь ей ничего не надо, — проживет!

Иваниха замерла на месте только тогда, когда пошла будить Дёму, чтобы сообщить ему о смерти жены. Она просто похолодела вся. Но страх ее был напрасен. Дёма побледнел, замигал глазами и сел на порог. По-видимому, он даже ожидал этого и как будто совсем не удивился.

Через длинный промежуток времени он пересел на лавку, возле изголовья своей жены, и застыл тут. Иногда он бережно гладил своей большой черной рукой руку умершей и все о чем-то думал, упорно смотря в пол. Иваниха долго стояла перед ним и наблюдала. Это была минута, когда она готова была зареветь.

— А я так полагаю, что это мне уж предел такой, то есть уйти, — промолвил только раз Дёма и вопросительно посмотрел в пространство. Но через минуту он уже снова задумался.

После этого Иваниха оставила его одного, занявшись приготовлением к похоронам. Надо сперва сделать гроб. Для этого лучше всего снять доски с полатей, — больше досок взять неоткуда. И куда ей полати? Не надо ей ничего. Там семь досок, и четыре из них как раз подходят к росту Настасьи.

Потом надо уговорить попа похоронить нынче же, потому что завтра утром Дёма должен отправляться в путь; оставаться же ему здесь незачем, — только изведется, а пользы никому не принесет. Но согласие попа похоронить сегодня же надо купить, и это стоит три рубля, а у Иванихи таких денег нет. Иваниха мрачно задумалась.

Но в это время к ней явилась неожиданная помощь — артельщики, которые уже узнали, что хозяйка Дёмы померла. Сперва явился Кирюшка Савин, потом Семен Белый, потом Петр Беспалов и, наконец, все артельщики, а также семьи их. Все товарищи Дёмы старались сначала чем-нибудь утешить Дёму и изъявили готовность по мере сил помочь ему.

Но Дёма не обращал ни на кого внимания; он только, как и прежде, сказал, глядя вопросительно в пространство:

— А я так полагаю, что это мне уж предел такой, то есть уйти.

Проговорив это, Дёма опять задумался.

Это было сказано странным голосом, с странным взглядом; но артельщики не удивились. Они поняли необходимость предоставить Дёму себе самому и не приставали к нему, боясь разбередить его тихую тоску. Дёма так и просидел весь этот день на лавке, никем не тревожимый. Из волости пришел было посланец за Дёмой, но Иваниха живо выпроводила его, пригрозив ему кочергой, из чего посланец сейчас же заключил, что ей и Дёме некогда.

Каждый из артельщиков с жаром принялись помогать Иванихе в ее хлопотах. Кирюшка Савин тотчас же снял с полатей доски и начал делать гроб; он был плотник, и потому дело его подвигалось быстро к концу. Петр Беспалов и Клим Дальний отправи-

лись копать могилу, а Потапов пошел к попу. Без дела на время оставались только Семен Черный и Семен Белый; но скоро и им Иваниха нашла дело в избе. Притом Семену Белому предстояло в этот день оказать специальную услугу.

Ввиду недостатка денег у Иванихи, артельщики ссудили ей из своей кассы полтора рубля; да сама она вынула из какой-то преисподней тряпку, в которой был завернут рубль медными деньгами, очевидно припрятанными лет двадцать тому назад на черный день. Но все-таки полтинника недоставало. Вот здесь и помог Семен Белый. Он поглядел на Семена Черного, пошептал ему что-то и вышел, сопровождаемый одобрительным взглядом Семена Черного. Он побежал в кабачок, заложил там свою плисовую жилетку за полтинник с прибавкой чарки водки и явился в избу к Иванихе в посконной рубахе; только поднял дорогой веревочку и подпоясался.

Так весь день прошел в хлопотах. Похороны Насти совершены были уже вечером. Гроб несли артельщики, а сопровождали его их семьи.

В тот же день Иваниха пошла на сход, вместо Дёмы, и объявила там, что Дёма отказывается и от полдуши. Сход снова заволновался. Был предложен вопрос: скоро ли все разбегутся? И другой: ежели все разбегутся, то кто станет платить? Как и вчера, парашкинцы волновались, говорили, злились, унывали, наконец упали духом и разошлись по домам, ничего не решив.

Рано утром на другой день Иваниха провожала Дёму.

Дёма сидел на завалинке своей избы и, держа на коленях шапку, глядел вдаль. На него страшно было взглянуть. Он сгорбился, похудел и выглядел беспомощным.

Иваниха стояла подле него. Она передала ему котомку, а за пазуху положила какой-то узелок. Оба молчали. Иваниха крепилась и не выказывала наружу своей тревоги.

Наконец она сказала сдержанно:

— Приходи повидаться-то.

Дёма поднял голову.

— А может, и не свидимся... — возразил Дёма, отвечая, казалось, не на просьбу Иванихи, а на какую-то свою мысль.

Помолчали.

Иваниха все крепилась. Было только одно мгновение, когда она изменила себе. Она погладила рукой по голове уходившего и тихо, неслышно сказала:

— Сынок мой! — и голос ее задрожал.

Вот и все. Это было одно мгновение.

Скоро собрались все артельщики, в сопровождении своих баб и ребятишек, и начали торопить Дёму. На прощанье они дали

обещание Иванихе, что все они строго будут блюсти Дёму, пока он не оправится.

Всю последнюю ночь шел дождь, а утром поднялся с земли густой туман, расстилавшийся вдоль улицы, на реке, по лугам и дальше, дальше. Он неподвижно лежал на земле, как бы застыв в густую массу, не поднимаясь и не волнуясь, и только чуть заколыхался при проходе артельщиков с толпой их семейств.

Иваниха постояла на крыльце, подождала, пока все фигуры уходивших скрылись, окутанные мглой, и отвернулась. Сначала одиночество ей показалось ужасным; но потом, подумав немного, она решила, что такой старой карге ничего не нужно, кроме избы и куска хлеба. А если у ней и хлеба не будет, и сил больше не будет, и ничего не будет, то и хорошо, потому что эдакую старую собаку жалеть нечего... Иваниха с ненавистью оглянула деревню.



КАК И КУДА ОНИ ПЕРЕСЕЛИЛИСЬ

На берегу реки Парашки и доныне еще стоит одинокий столб, окрашенный в черную и белую краску. Он устоял, когда вокруг него все разрушалось. Его обливал дождь, обдували ветры, черви точили его внутренности, а он все стоит. На верху его прибита доска, которая гласит: Деревня Парашкино, душ 470, дворов 96; но эта надпись так же устарела, как и самый столб, и если бы кто поверил ей и стал отыскивать девяносто шесть дворов, заключающих в себе четыреста семьдесят душ, то, вероятно, пришел бы в недоумение, потому что место, где должны быть дворы, покрыто одними развалинами.

Повсюду кругом веяло запустением и заброшенностью. Река тихо катила свои мутные струи, берега ее поросли мелким кустарником, а ее поверхность покрылась лопухами и кашкой, как поверхность озера. Нигде не видно тропинок, даже дорога, ведущая к мосту, заросла травой, только сам мост уцелел, хотя его никто больше не поправлял, и он, видимо, готов был запрудить собой реку. Где же дворы? Прежде деревня далеко тянулась в два порядка вдоль реки, а теперь остались от улицы одни только следы. На месте большинства изб виднеется пустое пространство,

заваленное навозом, щепками и мусором и поросшее крапивой. Кое-где вместо изб просто ямы. Несколько десятков изб — вот все, что осталось от прежней деревни. Стоял, без видимой причины, еще один сорт изб, в которых не было ни дверей, ни окон, ни даже потолка, а около них не находилось никаких строений, так что издали они казались срубами, употребляющимися для ловли зверей. В нескольких местах просто торчали поверх крапивы и полыни печи с полуразрушенными трубами, как после пожара, истребившего дом и изгнавшего его обитателей. В трех-четырех местах лежали огромные кучи навозной золы, которая во время ветра поднималась вверх и вместе с остатками другого разного сора носилась в воздухе над этою пустыней.

Вдали виднелась барская усадьба Петра Петровича; возле нее высилась церковь и погост, а возле погоста волостное правление. Дальше тянулся пустырь, оканчивающийся строениями Епифана Иваныча Колупаева, которые только и скрашивали мерзость запустения, поражая еще издалека своей обширностью. Епифан Иваныч окреп от всеобщего парашкинского несчастия и широко разросся, как поганый гриб, выросший на трупе.

От прежней деревни действительно остался один труп. Много к этому времени разбежалось народу, который редко показывался домой, и деревня исподволь, но непрерывно пустела.

И немного осталось жителей в ней. Все это были люди, сросшиеся с землей, на которой они жили так крепко, что связали свою судьбу с ней. Если земля худала, худали и жители, сидящие на ней. В этой связи заключалось даже своего рода удобство, потому что для парашкинцев была нечувствительна собственная захудалость, когда все вокруг них носило следы истощения и бедности. Поля вокруг деревни уже не засевались сплошь, как прежде; во многих местах желтели большие заброшенные плешины: там и сям земля покрылась вереском, кое-где вновь появились незаметные раньше болота. Засеянные же поля были тощи по качеству и незначительны по количеству. А бродивший по кустарникам скот едва волочил ноги, паршивый, худой, с ребрами наружу и с обостренными спинами, на которые часто садились галки и клевали мясо.

Но парашкинцы были равнодушны ко всему.

Это равнодушие день ото дня делалось сильнее и распространеннее, проявляясь во всем, что ни предпринимали они. На улице, как сказано выше, громоздились горы щеп, золы и всякого сора, и никто не думал счистить это, хотя бы перед своим домом. Строения также стояли беспорядочно среди всякого разрушения. Если стена косилась, ее не думали подпирать, иная крыша ежеминутно грозила рухнуть и задавить находящихся под ней обитателей, но и на это не обращалось внимания. Рушился сарай, его не поднимали, он так и лежал, постепенно растаскиваемый на

растопку печей. Падала в колодезь курица, ее не вытаскивали, а воду начинали брать из мутной реки или из другого колодца. Разбивалось окно, его затыкали тряпицей, соломенным чучелом или просто ничем не затыкали. Валилась труба, хозяин ее только равнодушно удивлялся такой странности: «Труба... эк ее угораздило! Дивное это дело, братец ты мой! Все стояла аккуратно, как быть должно, и вдруг — хлоп!» Труба оставалась неисправленною, и достаточно было одной искры, вылетевшей из нее, чтобы истребить огнем всю деревню «от случайности». В описываемую весну река Парашка почему-то очень сильно разлилась, затопила огороды, снесла много задних дворов, повредила часть жилых изб, но это не возбудило никакого волнения среди пострадавших. У солдата Ершова, как его называли за шинель, которую он носил, и за одну медную пуговицу, которая болталась у него назади, повалило и снесло водой добрый сарай, стоивший некогда много хлопот ему, но он и ухом не повел, когда ему сказали о случившемся. Придя на то место, где был сарай, он заметил только, что столбы выперло ловко, лучше не надо! «Вона! вона как сверлит!» — добавил он, глядя на реку, бушевавшую у его ног, и ушел.

Парашкинцы были спокойны.

Это странное спокойствие изо дня в день становилось невозмутимее. Прежде они из-за всяких пустяков волновались, радуясь или огорчаясь, но в последние два года перед описываемым ниже событием успокоились. Происходило ли какое дело в их селе, отнимали ли у них свиней и овец, задавали ли им перцу в счет прошедшего и для разъяснения будущего, грозили ли отнять у них землю, находила ли хворь на их детей, умиравших десятками, или падал скот, они оставались невозмутимы и не задавали себе никаких вопросов насчет завтрашнего дня. Даже разносимые богомольцами и солдатиками мифы, что в некоторых отдаленных странах живут люди с песьими головами, или что в Питере стоит царский амбар в две версты длиной, наполненный доверху хлебом, или что из-за моря приплывут к Покрову десять кораблей с мукой, назначенной для раздачи желающим, — даже эти мифические сказания, составлявшие значительную долю умственной пищи парашкинцев, перестали обращаться между ними. Когда-то эта пища возбуждала их, а теперь им было все равно. Ничего им не надо. Ладно и так.

Парашкинцы ко всему стали приспособляться.

Положение их давно сделалось невозможным, а они уже не думали из него выходить и употребляли все силы лишь на то, чтобы приспособиться к нему. Это не то приспособление, когда человек, сообразуясь с обстоятельствами, напрягает силы, чтобы улучшить свою жизнь, и вырастает, вытягиваясь до высоты нового положения; парашкинцы приспособлялись, постоянно

понижаясь и понижая уровень своих требований. Чем хуже становились окружающие условия, тем хуже делались и они, желая лишь одного — остаться в живых. Зато в оставшихся в их руках делах они выказывали бездну изобретательности.

У мельника Якова скопилось одно время множество отрубей, которые он не знал куда деть; кормил он ими гусей, кур и свиней, но все еще их оставалось много, а в город везти не было расчета. Отруби гнили. В это время кто-то из жителей деревни придумал способ из отрубей печь хлеб и во всеуслышание хвастался превосходным качеством этого печения. И все приняли с радостью изобретение и начали делать улучшения в первоначальном способе, после чего отруби Якова быстро разошлись, принеся ему значительную выгоду.

Иваниха придумала для той же цели употреблять клевер молотый, которым одно время она неограниченно пользовалась со двора Петра Петровича; парашкинцы усвоили и это открытие и начали одолевать просьбами Петра Петровича. Так как у последнего ежегодно засеваемый клевер гнил и вообще не приносил никакой выгоды в его хозяйстве, то он много роздал его даром всем парашкинцам и радовался, что, наконец, наш народ начинает усвоивать выгоды рационального полеводства. Конечно, он был поражен, когда узнал через некоторое время, что парашкинцы клевер его сами съели, и даже перестал раздавать, ругая грязную сволочь, которая ничем не брезгает, но парашкинцы долго еще шатались к нему, а один раз даже всей деревней пришли.

— Дашь? — спросили они равнодушно, словно дело шло о понюшке табаку.

— Не дам, — отвечал Петр Петрович.

— Отчего не дашь?

— Потому что вы сами жрете! Ах вы... черт знает что такое! И как это вы выдумали есть такую мерзость? — говорил Петр Петрович и злился.

— Ну, овса, — сказали парашкинцы. Овес в это время был очень дешев.

— И овса не дам! — закричал выведенный из себя Петр Петрович.

— Что ты серчаешь? Мы те заработаем. Хочешь канаву вырыть — выроем тебе канаву. Хочешь болото просушить — и болото просушим. Дашь?

Петр Петрович задумался. Принятая им прежде система найма рабочих перестала удовлетворять его; он стал сомневаться, действительно ли он хорошо поступает, нанимая парашкинцев за два, за три года вперед и почти за бесценок. Парашкинцы давно уже продали себя ему, и если не приходили в отчаяние от такого порядка, то это зависело лишь от их равнодушия к своей жизни. Поэтому в данном случае у него опустились руки,

и он дал просителям по пуду муки, как делал это не один раз. Парашкинцы получили муку и съели.

Приходила им четыре раза земская ссуда, пришла и в эту весну, причем земство различило хлеб, назначенный на семена, от хлеба, назначенного на пропитание. Но парашкинцы не различали, — они получили ссуду и съели ее.

Был у них, совместно с двумя другими деревнями, хлебный магазин, случайно еще хранивший в себе овес, наполовину прогнивший, наполовину изгрызенный мышами, но парашкинцы не разбирали тонкостей: они разделили овес и съели его.

Ходили они и к Колупаеву, прося у него под работу по пуду. Отказал.

— Дашь? — спросили они равнодушно.

— Не дам, — отвечал сначала Колупаев; однако им овладела тревога. Он также при взгляде на парашкинцев делался раздражительным и неспокойным, ибо, завлекая их в свои сети и общипывая поодиночке, что требовало большого труда, неутомимого наблюдения и постоянного содержания себя в напряженном состоянии, он с некоторого времени чувствовал глухое недовольство своей медлительной деятельностью, в особенности когда благосостояние его сделалось прочным. Ему захотелось погубить их сразу, чтобы уже больше не возиться с ними; он только не знал, чего ему, собственно, желать, того ли, чтобы они куда-нибудь внезапно провалились, оставив ему землю, или того, чтобы они за недоимки подпали под опеку и были отданы ему на откуп. Но на этот раз, заметив необыкновенное спокойствие просителей, он уступил. Парашкинцы получили по пуду муки и съели.

Так они и жили изо дня в день, ко всему равнодушные, кроме дневного пропитания, да и на пропитание обращали лишь незначительное внимание, приспособляясь и привыкая к такой жизни, которая в иные времена заставила бы их жестоко убиваться. Вследствие этого труд их сделался случайным, непроизводительным, а потому ни для кого не пригодным. Эти непригодность и непроизводительность, имея своей причиной отчасти их апатическое спокойствие, главным образом зависели оттого, что им «недосужно было» в должной мере заботиться о полях, а равным образом и оттого, что они перестали понимать себя и свои нужды, вообще потеряли смысл. Существование их за это время было просто сказочное; они и сами не сумели бы объяснить сколько-нибудь понятно, чем они жили. Попадалась им невзначай, как с неба свалившаяся, работа, они хватались за нее и перемогались; не попадалось работы, также перемогались. Прорвало в нынешнюю весну плотину у мельника Якова, и парашкинцы неожиданно получили по пуду муки за исправление плотины, которая в один день была приведена в прежний порядок. Случайно прибежал назад к своему хозяину пропавший теленок — и хозяин немед-

ленно же свел его в город; а у другого хозяина вдруг опоросилась свинья двенадцатью штуками, и поросята почти мокрыми тоже увезены были в город.

Несчастие вызвало непроизводительность, а непроизводительность еще более увеличивала несчастие. Парашкинцы жили уже не на счет своего труда, который или вовсе отсутствовал, или был бесполезен и нелеп, а на счет продолжительности своей жизни. Потом они стали приспособляться уже не к сей жизни, а к будущей, доводя до нуля признаки, по которым можно было догадаться, что они еще живут. В сущности, они давно съели все, что у них было, съели десять лет будущего и принялись есть самих себя.

Между тем о них всюду начали говорить, хотя сами они ничем не заявляли о своем существовании, ни на что не жалуясь. Если бы сотая доля этих несчастий произошла в другом общественном слое, то поднявшийся по этому поводу оглушительный вопль проник бы всюду, куда предназначено; но парашкинцы молчали. Их осталось уже немного, и в деревне царствовала мертвая тишина. Жены их ходили и работали машинально, истомленные, угрюмые и вялые, дети не играли, совсем не показываясь на улице. Мужики не собирались на сход, или соберутся, но молчат, а если начнут говорить, то о пустяках; когда же кто хотел заговорить о деле, на того накидывались и чуть не силой затыкали ему рот, — до такой степени они дорожили своим спокойствием. Свежему человеку просто жутко было жить среди такого народа.

Приехал к ним губернский гласный, посланный земством специально для того, чтобы посмотреть на парашкинцев. Еще не доезжая до села, он уже все понял и почувствовал желание поскорее уехать из зачумленного места. Но он волей-неволей должен был исполнить свою обязанность и собрал всех парашкинцев около волостного правления. Парашкинцы, однако, молчали, и каждое слово надо было насильно вытягивать из их уст.

— Все вы собрались? — спросил прежде всего гласный.

Парашкинцы переглянулись, потоптались на своих местах, но молчали.

— Только вас и осталось?

— А то сколько же?! — грубо отвечал Иван Иванов.

— Остальные-то на заработках, что ли? — спросил гласный, раздражаясь.

— Остатние-то? Эти уж не вернутся... не-ет! Все мы тут.

— Как же ваши дела? Голодуха?

Парашкинцы пошевелились, переступили с ноги на ногу, но хранили глубокое молчание, вперив двадцать с лишком пар глаз в гласного. Им, видимо, был не по нутру предмет разговора, а в задних рядах слышался даже ропот, очень неприязненный,

к гласному: «Приехал... и чего ему надо? По какой причине приехал?»

— Так как же, — спрашивал: — голодуха?

— Да уж, должно полагать, она самая... Словно как бы дело выходит на эту точку... Стало быть, предел... — отвечало несколько голосов вяло и апатично.

— И давно так?

На этот вопрос за всех отвечал Егор Панкратов.

— Как же не давно? — сказал он. — С которых уж это пор идет, и мы все перемогались, все думали, авось пройдет, авось бог даст... Вот она слепота-то наша какая!

— Что же вы, чудаки, молчали?

— То-то она слепота-то и есть!

— Теперь-то хоть имеете вы что-нибудь в виду? Намерены что-нибудь предпринять? — спросил гласный и получил в ответ один ничего не значащий вздор.

— Да уж что ни на есть, а надо... Промышлять ни то будем... Без этого уж нельзя... Как же без этого, без пропитания-то? — и так далее, все в том же смысле.

Постоял-постоял на крыльце гласный и сам замолк. Задал было он еще некоторые вопросы парашкинцам, да они отвечали ему до такой степени ни с чем не сообразную чепуху, что он стал собираться к отъезду: довольно насмотрелся! На него нахлынуло то тяжелое, хотя и бесформенное чувство, когда руки опускаются и противно глядеть на все окружающее. И хочется закрыть глаза, все забыть и хоть на минуту забыться, а сил на это нет. Тогда первое, что представляется уму, это — бежать скорее, если возможно...

— А что, ежели спросить вашу милость, к примеру, насчет, будем прямо говорить, ссуды... будет нам ссуда, ай нет? — спокойно осведомились парашкинцы, когда гласный садился в тележку.

— Ничего вам не будет! — мрачно ответил он и уехал.

Не один гласный губернского земства бежал и увозил от парашкинцев тяжелое чувство; все, кто имел с ними какие-либо сношения, испытывали то же самое и потому старались не заглядывать к чумным людям.

Даже исправник и становой на эту весну ездили к ним только по необходимости. Первый посещал их изредка лишь затем, чтобы посмотреть, тут ли они, живы ли? Что касается до последнего, то он, разумеется, волей-неволей должен был навещать их, но делал это уже без прежней увлекательности, потому что никаких дел с ними у него больше не было. Приневоленный своими обязанностями от времени до времени появляться среди парашкинцев, он ехал к ним с отвращением, уезжал с странной меланхолией, как будто начал сомневаться, действительно ли его

должность и проистекающие из нее обязанности имеют смысл после того, как выбивать было больше нечего, и может ли он по совести сказать, что получает жалованье за работу? Одним словом, на всех парашкинцы наводили уныние.

Сами парашкинцы еще более притихли, когда их начали чуждаться сторонние люди; они замкнулись в себе и не предпринимали никаких мер против своего несчастия, уклоняясь даже от взаимных советов, которыми в прежние времена они облегчали свои души. Водворившаяся, таким образом, мертвая тишина действовала еще более удручающим образом; редко можно было увидеть кого-нибудь из них в поле, на улице или в каком другом месте; если же кто и показывался, то все действия его были настолько странны, что их скорее можно было приписать человеку, опоенному дурманом. Шальное выражение лиц, бесцельность и беспричинность в разговоре, полнейшее отсутствие сознательности— таковы качества, отличавшие всех вообще парашкинцев. Их забыли, и они всех людей забыли. Тогда, не видя других людей, кроме ошалевших, не слыша возбуждающих слов или угроз, поощрений или советов, не видя вокруг себя ничего, кроме дикости и запустения, без цели в жизни и без надежд, пустые и отупевшие, парашкинцы одичали.

Стали они пить, чтобы чем-нибудь наполнить пустое время и пустоту в умах своих, а так как своих собственных средств у них не было, то они норовили поймать первого провинившегося против них человека другой деревни, приводили его к кабаку и брали сивухи. Здесь, около кабачка, на заросшей полынью лужайке они и пили все вместе; здесь веселее, здесь же нередко происходили между некоторыми из них битвы с кровопролитием; наконец, здесь же, против кабачка, некоторые из них плакали навзрыд, укоряя друг друга в глупости, в свинстве и в безбожии.

В таком-то нравственном состоянии был возбужден солдатом Ершовым вопрос о переселении на новые места.

Солдат Ершов числился хозяином, имел одну душу, но землю давно бросил и начал промышлять пропитание другими способами, изо дня в день, отличаясь от остальных жителей только тем, что был неизмеримо изобретательнее их, чему немало помогала его бессемейность и знакомство со многими отдаленными странами. У него, пожалуй, и была своя семья, состоявшая из жены и двух взрослых дочерей, только он никогда их не видал, а часто даже не знал, в каких местах они спасаются. Разбрелись они в разные стороны еще в начале парашкинского несчастия и с тех пор жили особняком, каждая сама по себе: жена в Москве, одна дочь в Питере, другая дочь всюду, потому что не имела постоянного местожительства; сам же солдат оставался дома, хотя дом его был только центральным пунктом, откуда он делал

экскурсии, простиравшиеся на все окрестности и продолжавшиеся иногда по целым месяцам. Как и дочь, он, в сущности, не имел определенного пристанища, промышляя пропитание подобно птице небесной.

Характер его труда был в высшей степени неопределенный, вследствие чего пропитание его зависело всегда от случайности, от стечения благоприятных или неблагоприятных обстоятельств. То он живет целую неделю у попа заместо кухарки, которая вдруг заболела, и месит пироги, обнаруживая в этом занятии увлечение и близкое знакомство с делом; то отучает у барина жеребят от соски и быстро достигает своей цели, употребляя особые намордники и перцовку; то вдруг делается нянькой у богатого мужика, живущего за пятьдесят верст от Парашкина, и в этом качестве живет всю страду, выговорив за свой труд скромное вознаграждение — «дневное пропитание и сапоги к Успению». Часто он уходил, если уж нигде не мог пристроиться, в Сысойск и там в подвалах, куда имел по своему обширному знакомству свободный доступ, ловил крыс, продавая шкурки на лайку. Конечно, о полезности и производительности труда здесь не могло быть и речи.

Ершов был в том же положении и так же приспособлялся, как и все вообще парашкинцы. Те приспособлялись к смерти, сокращая свою жизнь до нуля, и он приспособлялся к загробной жизни; те съели все, что было, и все, что будет за десять лет вперед, и он также. Только он был изобретательнее. Весной, когда он принужден был часто оставаться дома, что делалось им крайне неохотно, он пропитывался чуть не одним воздухом, придумывая в то же время разные способы обмануть свой голод: ел щавель, отыскивал какие-то коренья, называя их «свиным корнем», жарил какие-то листья, называя их «заячьей капустой», и пр. Просто было удивительно видеть в таком старом человеке столько неутомимости!

Наконец, в последнюю весну, он остался навсегда дома. Сказалась ли в нем дряхлость — ему было уже около шестидесяти лет — или начала угнетать вообще усталость и бесцельность существования, только он сильно затосковал. Стал он частенько высказывать желание поселиться где-нибудь навовсе, подумывал также о собственном постоянном пристанище, где бы можно было положить старые кости, и о спокое, который заслужен им. Когда же ему говорили, что пристанище у него есть — его дом, — то он возражал, что дома у него можно только волка заморозить, а не то чтобы успокоить человека, да и вообще относительно деревни мнение его было таково, что в этом месте и умереть спокойно не дадут.

Однажды, когда волостное начальство собрало всех парашкинцев на сход и выдало каждому из них книжки недоимок вместо

книжек податей, Ершов задумчиво заговорил о местах, где ему пришлось бывать, и о местах, о которых он слыхал, причем он горько плюнул, сравнив эти места с своей деревней.

— А знавал я, — говорил он: — нечего бога гневить, чудесные места, ну уж точно что места! Там бы и помирать не надо; так бы и остался там на веки веки вечные! Перво-наперво — лес: гущина такая, что просвету нет; как заберешься в этакую темноту, так только крестишься, как бы выбраться да не заблудиться... одно слово — божеское произволение! И земля... сколько душе угодно; а назем, чернозем, стало быть, косая сажень вглубь, во как! — При этих словах Ершов провел ладонью от земли до своей макушки и добавил: — Видал, видал я всякие места!

Парашкинцы стали прислушиваться, заинтересованные словами Ершова, что́ давно уже не замечалось среди них.

— Так вот, братцы, и нам бы в такие места пробраться, — сказал далее Ершов и вопросительно оглядывал всю сходку.

— Больно ты ловок! — недоверчиво воскликнули многие. Но было уже ясно, что интерес к словам Ершова был возбужден, что́ доказывалось, во-первых, инстинктивною таинственностью, с какою сходка отодвинулась подальше от волостного правления, выбирая укромный угол, защищенный хлевом и огородом, во-вторых, волнением, пробежавшим по всем мертвым лицам.

— Да, право! Взяли бы пашпорта и ушли бы таким манером, и было бы все честь честью, — продолжал между тем Ершов.

— Ловок! Уйдешь! Как же ты уйдешь, выкрутишься-то как отсюда? — раздались вопросы со всех сторон.

Это было уже не простое любопытство, а сознание кровности дела. Сходка начала колыхаться; прежней апатии и спокойствия не замечалось уже ни на одном лице. А Ершов продолжал:

— Отселе-то как выкрутиться? Говорю: возьмем пашпорта и уйдем, по причине, например, заработков, — возразил Ершов и сам начал волноваться.

— А как поймают?

— На кой ляд ты нужен? Поймают... кто нас ловить-то будет, коли ежели мы внимания не стоим, по причине недоимок? А мы сделаем все как следует, честь честью, с пашпортами...

Можно было слышать, как пело несколько комаров, вьющихся над сходом, — такова была тишина, водворившаяся среди говорящих. Все парашкинцы плотной кучей встали и жадно слушали Ершова, устремив на него напряженные взоры. Ершов воодушевился и заговорил взволнованным голосом:

— Братцы! — сказал он, снимая шапку. — Оставаться нам здесь невозможно; доживем только до греха в этом месте... Уйдем! Побросаем домишки и уйдем. Тут уж нам жить нельзя! Тут только помирать... Уйдем! А ежели дорогой приключится

с нами что ни на есть, так нам все единственно, хуже не будет... Так ли, правильно ли я говорю?

— Так! Так! Верное слово, хуже не будет! Справедливо! — заговорил весь взволнованный сход.

— Что ж, поколевать нам здесь? А? Поколевать, говорю? Нет брат, шалишь! — закричал Иван Иванов и грозно поводил сумасшедшими глазами во все стороны.

Ивану Иванову закрыли рот шапкой, но это не значило, что сходка была несогласна с ним; напротив, после его восклицаний никто больше не колебался. Найден был выход, а куда он поведет, никто об этом не думал. Стали расспрашивать Ершова о месте, куда он, в качестве бывалого человека, намерен повести деревню, но эти расспросы были поверхностны, словно это место мало кого касалось. Действительно, парашкинцы видели один только выход, неожиданно открывшийся им, запертым и помирающим людям.

— Пойдем куда глаза глядят и до которых мест дойдем, там и сядем, — сказал Иван Иванов, выражая общее настроение.

Ершов, однако, попытался рассказать о новых местах, которые он имел в виду, причем, описывая их живыми и яркими красками, сам волновался; у него у самого дух захватывало от своего рассказа. Выходило так: хлеба там вволю, ешь, сколько душа просит; в лесу можно заблудиться; в лугах можно пропасть совсем; в реках рыбу прямо руками бери; в озерах караси кишат; птицы всякой — тучи; чернозем — во! При этих словах Ершов опять провел ладонью от земли до макушки своей головы. Дальше же его описания были еще лучше: степь неоглядная, кругом ни души, воля! Жить можно. Только православных нет, а все киргиз.

— И нет там ни одной православной души, все киргиз? — спросил кто-то.

— Кругом киргиз! — отвечал Ершов, бледный и едва переводя дух.

— Ну, ну! Как же с ним, с собакой, совладаешь, жить-то с ним как?

— Киргиз — он ничего; киргиз — он честный. Если ты его попоишь чайком, он тебе лугу отвалит... Вот он какой киргиз!

Это была единственная справка, наведшая смущение на парашкинцев, но немного погодя уже кто-то возразил:

— Да все одно — киргиз так киргиз!

Дальше Ершову незачем было и доказывать неизбежность переселения. Напротив, он должен был охлаждать волнение, охватившее всю сходку. Глаза у всех лихорадочно горели; лица были взволнованные и безумные; каждый принялся говорить, не слушая других; началось смятение, гвалт. Напрасно Фрол убеждал остепениться и хорошенько обсудить дело, напрасно он говорил, что дело это трудное и что за него придется держать

ответ, парашкинцы все пропускали мимо ушей. Их можно было обуздать одним только страхом, что́ Фрол и сделал, сказав, что если они будут галдеть и вообще вести себя неосторожно, так их накроют и не пустят. Парашкинцы это поняли и мгновенно затихли, так что снова слышно было пение комаров. Они решили немедленно разойтись по домам и собраться ночью, но не на открытом месте, а в лесу. Чтобы дело было вернее, решили еще втянуть в умысел и старосту, для чего привели его из волостного правления на сход и стали убеждать пристать к миру. Тот сперва отлынивал, путался в словах и потел, но его начали стыдить:

— Что ты с нами делаешь? Где у тебя совесть-то? Душа-то, крест-то есть ли у тебя?

Старосту пристыдили, а так как положение его было не менее ужасно, чем и всех остальных, то очень скоро, поняв неизбежность переселения, он и сам стал лихорадочно сиять глазами и безумствовать.

Настала ночь, и парашкинцы собрались в условленном месте. То была прогалина, со всех сторон закрытая густой чащей кустарников и деревьев. В ней было совершенно темно; только когда выплыла луна, то печальные лучи ее чуть-чуть осветили верхушки деревьев и середину прогалины, где стояла кучка народа; но окраины и пространство между деревьями сделались еще мрачнее. Было тихо. Иногда вдали раздавался треск сухих ветвей: то перебежал заяц на другое место, показавшееся ему, вероятно, более безопасным; где-то выпорхнул из-под куста тетерев; один раз вблизи собравшихся сел на дерево филин, мрачно захохотал и скрылся. Подувал ветерок; шелестела листва. Парашкинцы тесно сбились в кучку, имевшую посередине солдата Ершова, чувствовали, как ужас проникает в их души, но не трогались с места; они обсуждали дело шепотом, сливавшимся с шелестом леса. Оставаться долго в лесу они не могли; здесь, в этом мрачном месте, они сознавали всю серьезность и опасность затеваемого ими дела и потому решали вопросы быстро, на скорую руку. Раздумывать было некогда; завтра они возьмут паспорта, послезавтра соберутся в путь, через два дня уедут. Под влиянием того же страха, навеянного таинственностью леса и темными предчувствиями, они уговорили Фрола отправиться немедленно по начальству и ходатайствовать за них хоть задним числом — все же, может, простят их! Фрол не устоял и угрюмо согласился. Этим кончилась ночная сходка; парашкинцы разошлись молча и торопливо, подозрительно оглядываясь по сторонам, не заметил ли кто и не донесет ли на них.

Фрол сдержал свое слово. На другой же день он собрался в путь, чтобы толкаться по прихожим и ходатайствовать. На этот раз он уходил вовсе и вследствие этого не мог сдержать накопившегося в душе гнева; он запряг единственную свою лошадь,

которую по приезде в город намеревался немедленно отдать на живодерню, как животное, не стоящее корма, поклал на телегу весь свой скарб, злобно заколотил окна избы, спихнув в то же время ногой колышки, которыми она была подперта, и плюнул на все.

— Айда, Марья! Садись! — говорил он жене, оглядывая свой дом.

Однако ж и тут не выдержал: отправился на огород, покопал там из ямочки земли, положил ее в кожаный кошель, висевший у него за пазухой, и только тогда тронулся в путь. Это было его последнее прощание.

Парашкинцы также не медлили. Один по одному они принялись брать паспорта, которые выдавались легко, потому что волостное начальство не подозревало умысла своих подчиненных, воображая, что они отправляются на заработки. Старшина даже радовался, что, наконец, зачумленные люди ожили, перестали приспособляться к смерти и отправляются отыскивать пропитание. Парашкинцам это было на руку. От них отделились четыре семьи, долженствовавшие положить в недалеком будущем основание новой деревни, быть может более счастливой, чем старая, да еще не пошла «со всеми» Иваниха, не пожелавшая следовать в далекий и неизвестный путь. Но эти обстоятельства не могли смутить парашкинцев. Они деятельно, хотя и таинственно, готовились. Хлопот, впрочем, представлялось немного; к этому моменту у них не оставалось уже ни имущества, ни скота, а потому собирать и везти было нечего, кроме себя самих. Что касается избенок, все решили побросать их, не продавая, потому что трудно было найти покупателей гнилушек; притом продажа могла возбудить неожиданные подозрения. Боязнь подозрения и накрытия была так сильна, что они приняли, ради безопасности отъезда, специальные меры. Во-первых, за деревней на пригорке был нарочно поставлен дурак Васька, чтобы слушать, не звенит ли колокольчик, и смотреть, не едет ли кто; и Васька, радуясь предстоящей дороге и новым впечатлениям, добросовестно исполнил поручение — он с утра до поздней ночи торчал на пригорке и вертел головой во все стороны. Во-вторых, парашкинцы сочли нужным выбрать старосту и в то же время путеводителя на все время дальней дороги, и для этого годным оказался один солдат Ершов, человек опытный и бывалый.

Случилось еще одно исключительное обстоятельство, сильно повлиявшее на ускорение отъезда. Дедушка Тит, сильно одряхлевший, но еще находившийся в полном разумении, вдруг воспротивился переселению и не захотел лично участвовать в нем. Он уже давно жил в своей избушке один, потому что единственный сын его умер на заработках, сноха же скиталась по разным городам, никогда не являясь в деревню. Дедушка поэтому не

желал улучшения своей судьбы и на все уговоры отправиться вместе с прочими на новые места отвечал упорным отказом, грозно стуча в землю костылем. Где он родился, там и помирать должен; которую землю облюбовал, в ту и положит свои кости,— вот все, что он говорил каждому. Приходили его уговаривать все парашкинцы, один по одному пробуя на нем силу своих просьб и угроз, но Тит упорствовал.

— Тит! Дедушка! Как ты останешься один? Да тут тебя вороны заклюют одного-то! Подумай, рассуди. Уважь нашу просьбу — пойдем с нами! Уважь мир!

Но дед или молчал, или грозил:

— Не донесете вы своих худых голов... свернут вам шею! Помяните слово мое, свернут!

Это упрямство и эти угрозы подействовали возбуждающим образом на парашкинцев, заставив их еще лихорадочнее приготовляться к переселению и безумнее торопиться бежать. Слова Тита, который был уважаемым патриархом деревни, запали им в самую душу. Они торопились выбраться из деревни, чтобы не слышать страшных угроз, боясь, что они сбудутся.

Но дедушка Тит взял назад свои слова; он примирился и с своим одиночеством и с теми, которые покидали его. Когда настал назначенный вечер для отъезда и парашкинцы двинулись длинною вереницей телег за околицу, то дед вышел из своей избушки и добродушно простился.

— Прощай, Тит! — ответили ему.

— Прощай, дедко!

— Дай тебе господи долго жить! — говорили все парашкинцы, завидя белую голову Тита.

Тит совершенно расчувствовался и забыл свою злобу.

— Прощайте, детушки! — говорил он. — Дай вам господи доброго пути и чтобы все было хорошо... С богом!

После этого Тит отправился к себе в избушку, сел за стол и облокотился на него. На столе стояла чашка с водой, подле чашки ложка и что-то похожее на кусок хлеба; а у ног деда терлась пестрая кошка, которая была единственным существом, оставшимся коротать с ним дни. В таком положении он просидел весь вечер, всю ночь и весь следующий день; в том же положении его застали и парашкинцы...

Потому что парашкинцы возвратились. Они не могли не возвратиться, охраняемые заботливостью станового, и было бы удивительно, если бы они ускользнули от этой заботливости и бесследно пропали. Простившись с дедушкой, они почувствовали на сердце легко и отправились без предчувствий. Они были в самом бодром настроении духа, и все прониклись одной мыслью и одной решимостью, вопреки худым и тощим лицам, ввалившимся глазам и изморенным телам, на которых мотались безобразные

лохмотья. Но радость их была непродолжительна; не успели они отъехать пятнадцати верст, как их нагнал становой.

Кто уведомил последнего об умысле парашкинцев — неизвестно, но, как бы то ни было, он узнал и быстро пресек злой умысел. В это время он как раз находился в другом конце своего стана, где случилось смертоубийство, важное дело, вследствие которого он не спал целые сутки. Не удивителен поэтому овладевший им гнев, когда он узнал о бегстве парашкинцев, считаемых им самым неповоротливым и непредприимчивым народом, который способен скорее умереть, чем причинить неприятности начальству. Бросив дело, лежавшее на его руках, он поскакал догонять беглецов, нагнал, задержал и стал смеяться над дураками, хотя при нем было только двое понятых.

— Это вы куда собрались, голубчики? — спросил он, попеременно оглядывая ввалившиеся глаза, с ужасом устремленные на него.

Парашкинцы в оцепенении молчали.

— Путешествовать вздумали, а?

Парашкинцы сняли шапки и шевелили губами.

— Путешествовать, говорю, вздумали? В какие же страны? — спросил становой и потом, вдруг переменяя тон, заговорил горячо: — Что вы затеяли, а? Переселение? Да я вас... вы у меня вот где сидите! Я из-за вас двое суток не спавши... Марш домой... У! Покою не дадут!

Парашкинцы все еще стояли оцепенелые, но вдруг, при одном слове «домой», заволновались и почти враз проговорили:

— Как тебе угодно, ваше благородие, а нам уж все едино! Мы убегём!

Тогда становой велел понятым поворотить лошадей головами к покинутой деревне. Когда это приказание было исполнено, после продолжительной и утомительной возни, в которой сами парашкинцы не принимали никакого участия, безмолвно стоя на месте, становой приказал им ехать домой, причем двое понятых сели на переднюю телегу переселенцев, а сам он с своим тарантасом встал после задней телеги. Парашкинцы безмолвно заняли свои места, и поезд тронулся в обратный путь, изображая собою погребальное шествие, в котором везли несколько десятков трупов в общую для них могилу — в деревню. Это парашкинцы, видно, и сами чувствовали, потому что прониклись поголовно безнадежной и мрачной решимостью.

Так как спать становому все-таки смертельно хотелось, а слова парашкинцев пугали его своим таинственным смыслом, то он попробовал заручиться от них немедленным же отказом от невозможного предприятия. Для этого на половине дороги он выехал на середину поезда и спросил так громко, чтобы всем было слышно:

— Ну что, ребята, надумались? Или все еще хотите бежать? Бросьте, — пустое дело!

— Убегём! — твердо отвечали парашкинцы.

Становой опять поехал сзади. Но перед въездом в деревню, куда погребальное шествие пришло через несколько часов, он опять спросил, надумались ли они.

— Убегём! — с тою же мрачной твердостью отвечали парашкинцы.

Становой окончательно растерялся. Он испугался, как бы и в самом деле парашкинцы не исполнили своей угрозы; и чтобы доказать им всю незаконность их поступка, а также убедить в невозможности привести в исполнение их замысел, принял временную меру, в одно и то же время мягкую и целесообразную. Недалеко от деревни, возле водопоя, стоял бревенчатый загон, куда пастухи Петра Петровича ночью загоняли лошадей, а в жаркие часы дня — рогатый скот. Сюда и были, с согласия Петра Петровича, временно помещены с телегами и лошадьми парашкинцы, с помощью понятых, взятых из окрестных деревень; помещены до тех пор, пока не сознаются в незаконности своих действий и не откажутся от желания бежать.

Так прошли два дня, в продолжение которых становой наблюдал за действиями парашкинцев, пытаясь от времени до времени вести с ними переговоры, а парашкинцы оставались в загоне и отказывались отвечать. Из места их стоянки поднимались испарения; под ногами их образовалась грязь; лошади их стояли без корму; сами они также оставались не евши. Но не обращая внимания ни на свое положение, ни на увещания, твердо держались только за одну мысль и высказывали лишь одно решение.

— Убегём! — говорили они на все увещания.

Становой прожил еще полтора суток, задержанный в деревне неожиданным происшествием: умер дедушка Тит, скоропостижно и неизвестно когда. Его нашли в избушке уже закоченелым; он сидел на лавке, облокотившись на стол; подле него стояла деревянная чашка с водой, лежала ложка и небольшой сухарь хлеба, а у ног его терлась пестрая кошка. Становой волей-неволей должен был остаться в деревне, хотя на него напала такая меланхолия, что он с минуты на минуту собирался ускакать из зачумленного места. Действительно, истощив все средства убеждения, все более и более одолеваемый черными мыслями и тоской, он поглядел-поглядел и махнул на все рукой.

— Черт с вами! Живите как знаете! — вскричал он и уехал.

А через несколько дней после его отъезда парашкинцы бежали. Только не вместе, и не на новые места, куда было повел их солдат Ершов, а в одиночку, кто куда мог, сообразуясь с направлением, по которому в данную минуту устремлены были глаза. Одни бежали в города: так, солдат Ершов очутился в Питере и

долгое время продавал на Гороховой дули, одетый все в ту же шинель с одной пуговицей, дряхлый и худой. Другие ушли неизвестно куда и никем после не могли быть отысканы, продолжая, однако, числиться жителями деревни. Третьи бродили по окрестностям, не имея ни семьи, ни определенного пристанища, потому что в свою деревню ни за что не хотели вернуться.

Так кончили парашкинцы; вместе с ними кончился и героический период деревни, вступившей после того на путь мелочей и пустяков.

РАССКАЗЫ О ПУСТЯКАХ



МЕШОК В ТРИ ПУДА

Чуть брезжилось утро. Солнце только что засветило бледным светом, который осветил голые вершины холмов, недавно еще покрытых снегом, а теперь желтых, как глина; воздух был теплый, весенний, и с желтых холмов скатывались ручьи, неся с собой остатки снега, грязь, глину, и растекались по полям. А поля, наполовину оттаявшие, наполовину покрытые снегом, там и сям показывали прогалины голой земли, покрытой прошлогодней желтоватою травой... Ближе к деревне снегу совсем не было видно. Речка, извивавшаяся вокруг нее, уже бурлила; по улицам журчали ручьи, увлекая с собой грязь и навоз. Начиналась весенняя чистка деревенского воздуха и земли. Даже дым, стоявший над деревней каждое утро, не был так едок, как зимой; испускаемый всеми наличными трубами, он рассеивался в воздухе. Только одна изба не топилась, из ее трубы не валил дым, возле ее ворот не видно было жизни в виде поросят, собак и ребятишек, и ее окна не были открыты, как делается это в других избах, обитатели которых не желают задохнуться в копоти. Одним словом, не топилась печь в избе Савостьяна Быкова, известного в деревне более под уменьшенным именем Савоси.

С раннего утра поднялась вся семья его, поднялась она было на обычную работу, но с первого же мгновения, когда семья продрала глаза от тревожного сна, никакой настоящей работы не оказалось; все были как будто заняты, но все занятия им как будто были не нужны, бесполезны и затевались зря. Татьяна занималась около пустой, холодной печки, перемывала посуду, перетряхивала несколько раз помело, но как бы сомневалась, были ли необходимы все эти действия, обычные во всякое другое время и бессмысленные теперь. Она осмотрела пустую квашню, поскребла ее ножом, вымыла и поставила сушить; однако квашня только напомнила ей хлебы, которые бы она теперь «месила», а хлебов в доме не было, потому что вчера еще испечена была последняя горсть пыли и муки; приготовление квашни, следовательно, ни к чему не вело, лишь наполняя пустое время Татьяны. Между ненужными занятиями она раз только спросила о деле.

— Нету? — спросила она у Савоси.

— Нету, — отвечал тот смущенно.

После этого Татьяна кольнула ладонью в голову Шашку, которая возымела было намерение влезть головой в ведро с помоями. Шашка заплакала и стала просить есть, что еще больше возмутило мать, и она резко сказала:

— Молчи, Шашка! Нету у нас есть. Вон проси у отца... И чего же ты сидишь как пень? — обратилась вдруг Татьяна к мужу. — Чай, есть-то надо?

Савося с самого утра сидел на лавке и приставлял заплату к полушубку, который, правда, очень расхуделся, но не был еще так плох, чтобы им одним заниматься в тот день, когда есть было нечего. Он все время молчал и копался в полушубке. Но когда Татьяна обратилась к нему с упреком, он вдруг поднялся, заволновался, надел недочиненный полушубок и заговорил скоро, торопливо, обращаясь ко всей семье и повторяя одно и то же:

— Авось, бог даст, промыслим! Не впервой... живы будем, бог милостив... Айда, робя, промышлять, кто куды!.. Опчими силами. Господи благослови! Васька, Ванюшка! Живей, други, одевайся, валяй в кусочки, на прокормление. Авось помирать не придется, чай, мы православные хрестьяне... Добрые люди помогут, способие будет... Даст бог, поправимся. Стало быть, хлеба у нас в нынешние сутки нету, и каждый из нас промышлять должон. Васька! Ванюшка! Живее шевелись... Господи благослови!

Высказав это, Савося постоял с беспокойным лицом около лавки, потом, когда Васька и Ванюшка живо стали одеваться и искать кошели, к обращению с которыми они издавна привыкли, он притих, успокоился, снова сел, скинул полушубок и принялся рассматривать его, намереваясь снова приняться за его починку.

Возбудив своих сыновей идти промышлять, он и сам на мгновение воодушевился; но, вспомнив, что, собственно, промышлять ему негде, он сразу опустился. Эта мысль, очевидно, стукнула прямо его по голове, и он сел. Обычное спокойствие его возвратилось, опять все внимание его обратилось на разорванные места полушубка, и опять он оглядывал равнодушно свою семью: Татьяну, Ваську, Ванюшку, Шашку. Последняя, потерпев поражение около помойного ведра, подошла к отцу и ласково терлась щекой о его колени. Она была худая, полуголая девочка, нужда отразилась на всем ее худеньком и грязном тельце, рисовалась во впалых и грустных глазах, которые были постоянно широко раскрыты, как бы изумлялись, почему ей не всегда давали есть, отпечатывалась на побледневших щеках и на животе, который был постоянно надут, как пузырь. Она иногда ложилась на живот и, болтая ногами, уставляла взгляд широко раскрытых глаз на отца или на мать и не сводила его до тех пор, пока ее не отвлекал другой предмет. Мать сердито отворачивалась от этого взгляда удивления; отец всегда приходил в некоторое смущение. Теперь он погладил свою Шашку по голове и опустил глаза на полушубок. Он не сказал ей ни одного ласкового слова; молчал. Молчала и Татьяна. Только Васька и Ванюшка ужасно возились; надевая штанишки, полушубки и отыскивая шапки, они подняли содом, смеялись и не скрывали своей радости, отправляясь «в кусочки». Во-первых, они захотели есть; во-вторых, им уже мысленно представлялось, по дороге в другие деревни, множество предприятий около ручьев, луж и бушевавшей от весеннего разлива реки. Нужды нет, что они отправлялись собирать «пособие» кусочками, но детская натура взяла свое, и они уже заранее разыгрались. Васька надел на голову Ванюшки кошель и сквозь него потянул брата за нос, а Ванюшка орал, вертелся на одной ноге и из глубины нищенского кошеля несколько раз прокричал скворцом.

— Что вы, дьяволята, разбушевались? Васька... ах ты, пес паршивый! — закричала Татьяна, после чего Васька получил громкий подзатыльник. — Постыдились бы хохотать-то, не на работу идете... Христарадники! — добавила Татьяна.

И в то же мгновение Ванюшка на свою долю получил нечто; но он ловко увернулся, вследствие чего полного подзатыльника счастливо избегнул.

При слове «христарадники» Савося поднял с полушубка глаза и посмотрел на Татьяну.

— Мы не христарадники, потому кажнную весну идет на людей нужа́... обыкновенно ничего не промыслишь, — возразил он убежденно.

Он был прав. В местности, где он жил, каждую весну мужики колотились. Приходила весна и приносила с собой нужду, которая свирепствовала беспощадно и неумолимо; прилетали

ласточки, и появлялись ребятишки с кошелями, гулявшие по всем деревням за кусочками. Хлеб к этому времени у всех выходит, а травы еще не поспели. Взрослые редко ходили в кусочки; только некоторые старухи не смущались и христараднichали. Зато ребята почти поголовно кормились кусочками, подобно жаворонкам, клевавшим скудный корм наступающей весны. Это было правило, с давних пор оставшееся без исключений. Половина населения пропитывалась на общий счет, взаимно помогая себе, вынося нужду под круговой порукой. Когда наставала оттепель и с гор катились ручьи, дети шатались из деревни в деревню и питались. Им никто не отказывал; та баба, у которой были испечены «последние хлебы», не считала себя уже вправе гнать маленьких, хронических нищих; отказывала только та, у которой и «последнего хлеба» не было. С давних времен это вошло в обычай, переставший быть предметом стыда, потому что и стыдиться было некому. Стыд был общий, следовательно, его не существовало.

Если Татьяна и попрекнула мужа, то потому, что была зла на этот раз, несчастна, потерянна...

Татьяна выпроводила за дверь Ваську и Ванюшку и опять принялась за домашнюю суету, не ведущую ни к каким последствиям, то есть перемывала ненужные нынче горшки, колола зачем-то лучину, заглядывала в пустую печь, вымывала оказавшиеся без дела ложки и пр. Деревенская баба, лишенная возможности «стряпать», чувствует себя глубоко несчастною, не потому только, что предвидит в будущем голодный день, но потому, что вдруг лишается обычного занятия, делается сама на целые дни непригодною, оскорбляется в своей заветной гордости хозяйки и кормилицы и чувствует себя несчастною. Татьяна не составляла исключения. Каждое утро она обыкновенно возилась с помоями, палила себе волосы перед печкой, жгла руки о горячие хлебы, пачкалась сажей о трубу; а нынче было отнято от нее все это, и если она продолжала толкаться возле печки, то это только обнаруживало ее желание скрыть душившее ее раздражение.

Сам Савося все утро также сидел дома и громко сопел над полушубком. Когда же все прорехи были зачинены, он принес в избу худое корыто и также принялся чинить его. Затевал еще много других хозяйственных дел и оканчивал их, но совершалось все это без охоты, с целью забыть пустую печь.

Наконец он вынул из-под лавки мучной мешок и задумчиво рассматривал его, вертя в руках и заглядывая в его внутренность. Мешок был пустой. Это обстоятельство, по-видимому, удивило его.

— Все дочиста́ поели... диковина! Добывать где ни то надо,— сказал он и вопросительно посмотрел на Татьяну.

— А то ты думаешь как: починишь дыру и будет тебе хлеб? — сердито возразила Татьяна.

Савося смутился, положил на лавку мешок и сел сам.

Шашка все терлась около его колен и просила от времени до времени есть; наконец она довела его до такой степени стыда, что он беспокойно завозился и возымел намерение выйти совсем из избы, чтобы толкнуться «туды-сюды» и позанять хлеба. В долгу он находился кругом, постоянно ощущая на себе узду, за которую его тянули в разные стороны забротавшие люди; но он к такому ощущению привык и без опасения лез к ним за новыми обязательствами. К обязательствам он также привык, половину их позабывая или совсем не исполняя, если его не ловили; а на обязывающих людей смотрел как на мешки с мукой. Дают эти мешки, — он их почитает; нет, — он с ними не имеет никакого дела. Его тянул управляющий соседнего имения, Тараканов, тянули все помещики соседних имений, все местные кулаки, казна, и всем им он был должен, но отдавался тому, кто прежде всех успевал его поймать и засадить за работу; про всех остальных хозяев своих он забывал и, взяв от них мешки, бегал от них.

Все описанные приметы и действия подадут иному читателю повод счесть Савостьяна Быкова плохим мужичонкой, худым во всех отношениях и пролетевшим все ступени нищеты и наглости. Это неверно. Положим, что Савося был измотавшийся, пустой мужик, за душой которого не осталось ничего цельного. Все ушло *в долг*, в котором он завяз по уши. С первого раза это явление кажется самым обыкновенным. Ну, должен — и конец, — у кого же нет долгов и кто же не разоряется? Но с некоторого времени многим этот долг кажется несколько подозрительным, почти фальшивым. На Савосе лежал особенный долг, ни в каком другом классе не знакомый. Этот долг так обширен и необъятен, что, наконец, с недоумением спрашиваешь себя: да действительно ли Савося Быков должен кому-нибудь? Подозрительной кажется именно эта необъятность Савосиных обязательств: должен он в волости, должен Шипихину, должен Тараканову, должен Рубашенкову и какому-нибудь конокраду, должен кулаку и всякому другому прохвосту, кому только не лень взять его за шиворот и обязать. Если бы еще Савося сидел сложа руки, пьянствовал и развратничал, как кутила другого класса, тогда этот поразительный долг был бы несколько понятен; но Савося, в обыкновенном смысле, вел честную жизнь: работал, чтобы достать пуд муки, пил вместо вина яд, чтобы на мгновение отравить себя, и развратничал разве тем, что ходил иногда голым, потеряв стыд к такому безобразию. Просто берет сомнение, как это человек с такими ограниченными, почти нелепыми потребностями, удовлетворяющимися мукой и ядом, вдруг оказывается

всеобщим должником, притом таким должником, который всеми признается безнадежным и долг которого неоплатен? С таким обязательством, с таким *долгом* найти в другом классе нельзя ни одного человека; чтобы отыскать для Савоси Быкова подходящую пару, нужно спуститься ниже человека, взять домашнюю скотину, которая действительно всякому хозяину должна и обязана все делать; между тем Савося — человек, притом человек довольно хороший, в обыкновенном смысле этого слова, настолько хороший, насколько это допускается жизненными условиями его.

Пустая жизнь сделала Савосю пустым. Жил он, как говорится, чем бог пошлет. Не имея ничего за душой, никакой определенной мысли, ни даже определенного существования, он метался со дня на день: в одном месте наткнется на барина и своими услугами выхлопочет несколько копеек, в другом — поймает временную работу и добудет хлеба; там что-нибудь словит — и жив. Никаких обязанностей он за собой не признает, просто забыл о них; никаких долгов не платит и всегда доволен, мучась только тогда, когда «жрать нечего». Сделавшись сам пустым мешком, он и всех остальных людей делил на две половины: на таких, от которых можно чем-нибудь попользоваться, и на таких, с которых содрать нечего. Встречаясь в первый раз с человеком, он прежде всего соображал, даст тот ему что-нибудь или не даст. Если видел, что не даст, то относился к нему с глубоким равнодушием и несколько даже презрительно, не желая пошевелить пальцем или губами для такого «жидомора»; но если судьба натыкала его на человека подходящего, в смысле муки́, тогда он сразу преображался, обнаруживая такую энергию и суетливую старательность, что трудно было и понять, откуда столько силы берется в этом мужичке, обыкновенно апатичном и сонливом. Он делался неистовым в работе, как в последнем случае у попа, где он копался в сору по пятнадцати часов в сутки, не уставая и требуя лишь краюшку хлеба побольше.

Живя постоянно этим пустым существованием, свыкнувшись с ним, видя позади и впереди себя то же самое пустое существование, под которым подразумевается лишь краюшка хлеба, он постепенно бросил съемку земли, да и мирской надел обрабатывает с грехом пополам. Стоило только посмотреть Савосю Быкова во время пашни: самый это злосчастный человек! Еще не выезжая в поле, он уже разъяренно ругался, вопил, безумствовал, словно в судорогах. Все у него валилось из рук и ничего не клеилось. Бранный рев его раздавался, как будто его резали. Оказывалось вдруг, неожиданно для него самого, что лошадь у него не кормлена, настоящей сбруи нет, соха валялась где-нибудь на огороде; какой-нибудь кнут — и того в наличности не было. Савося метался. Наконец, кое-как напичкав захудалую лошадь соломой,

отыскав соху, перевязав мочалкой сбрую и взяв вместо кнута обрывок веревки или прут, выдернутый из плетня, Савося был готов. «Н-но! Господи благослови!» Выезжал со двора. Поехал. Но вот выехал он в поле, поставил соху, двинул лошадь веревкой и потащился... «Стой! пес тебя съешь!» — орет он уже через минуту. Оказалось, что подпруга у него расползлась, не лопнула, а именно расползлась. С этой минуты все у Савоси поползло! Ревет он благим матом, лается. Над пашней стоит неумолкаемый вой. Все у него ползет врозь — дуга, гужи, вожжи, соха, — все это лезет, трещит, ломается. Лошадь, и без того с ребрами наружу, теперь еле-еле переводит дух, задерганная хозяином. Савося на нее накидывается, срывает на ней свою злобу и му́ку. Он дергает животное за вожжи, лупит его по ребрам прутом и, разъярившись до исступления, подступает к нему с кулаками и жарит по морде. Наконец, истыкав землю, измученный, с измученной лошадью с расползшейся сбруей, едет домой, кидает на дворе и лошадь и сбрую и лезет на печь отдыхать от этого страшного дня, который он долго помнит. Но, с другой стороны, Савося был обыкновенный мужичок... У каждого читателя есть известное представление мужичка, — не Пахома, не Якова Петрова, а просто мужичка, — и пусть он оглядит умственным взором это представление. Просто мужичок одевается в худой полушубок, пропитанный бог знает чем; лицо его вообще немытое, руки похожи на осиновую кору; борода обыкновенно пестрая. Выражения на лице его обыкновенно нет никакого, если не считать испуга, постоянно рисующегося на нем, словно он ожидает с минуты на минуту окрика или затрещины. Это относится и к глазам, которые по большей части мутны и равнодушны, — они таращатся только тогда, когда в голову его стараются что-нибудь вколотить, а сама голова никому не известна по своему содержанию... Если Савостьян Быков и отличался чем от этого простого мужичка, то только тем, что описанные сейчас приметы были в нем несколько усилены. Например, он редко чем-нибудь бывал взволнован и ко всему в жизни питал полное равнодушие, за исключением мешка с мукой, которого у него вообще не оказывалось.

И теперь также. Он обо всем забыл. Чтобы не видеть больше широко раскрытых глаз Шашки, он собрался выбраться из избы, для чего положил пустой мешок под мышку и вышел. Состояние его головы в эту минуту было вот какое. Шел он по рыхлому, проваливающемуся под ногами снегу и думал: «Хлебца бы...» Это было его idée fixe.[1] Затем он вспомнил об управляющем, которому был кругом должен, и подумал: «А не даст...» Дальше Савося ни о чем больше не хотел и думать и направил шаги

[1] Навязчивая идея (*франц.*).

в имение к Тараканову, хотя и не надеялся у него насыпать мешок.

Савося совсем не думал о том обстоятельстве, что Тараканов, запутавший в сеть всех окрестных мужиков, давно поймал и его; ему надо было раздобыться пропитанием, и он шел. Но по дороге ему встретился поп. Савося обомлел. Он верил, что встреча эта не предвещает ничего хорошего. Однако он подошел к благословению, положив шапку под мышку вместе с мешком. Батюшка благословил и стал укорять его в небрежении к церкви и в безбожии, стыдил его за леность и обман, попрекал полтинником, который Савося обещал занести, но не занес. Это была правда, и Савося слова не мог вымолвить. Причту он задолжал за разные требы, но дал клятвенное обещание отдать долг. Недавно в квашню Татьяны попали две мыши, и батюшка также в долг очистил от них кадушку, думая, что Савося принесет весь долг враз; но Савося обещание свое забыл.

Батюшка долго стоял с ним и попрекал.

— Христопродавец ты эдакий!.. — говорил он. — Забыл совсем храм-то божий. Когда ты принесешь мне полтинник? Ты подумай: ведь ты православный, а, между прочим, нерадение твое к нуждам духовного отца твоего дошло до непотребности. Иуда Искариот, жалко, что ли, тебе?

Савося стоял потерянно, мигал глазами и не мог слова вымолвить в свое оправдание. Он сознавал справедливость грозного нападения батюшки и молчал.

— Клятвопреступник! — сказал сурово батюшка, — зачем ты обманываешь?

— Ваше благословение! Я уплачу, за все уплачу, только бы мне передохнуть... Вся причина в мешке, нету у меня муки, а то я все уплачу, — возразил Савося.

Батюшка покачал головой. Он соображал — поверить еще раз Быкову или нет. Он поверил. Савося глубоко вздохнул, когда бытюшка отпустил его, и он мог продолжать свой путь. Шапку он надел на голову, а мешок оставил под мышкой. Но он был еще раз ненадолго задержан. Увидал его староста и закричал ему издали, чтобы он явился нынче в волость, куда барановский барин прислал требование — взыскать с Савостьяна Быкова долг, описав часть его имущества. Савося, однако, отнесся к словам старосты равнодушно, хотя не преминул издалека крикнуть, что «дай срок, он все уплатит». Про себя же проговорил:

— Ишь, жидоморы! Ладно!..

Впрочем, возмутился он только наружно, а внутренне давно забыл, что его разрывают на части, и думал только о предстоящей просьбе у Тараканова. К нему он и продолжал идти. Путь был недалекий, версты в две по растаявшему снегу; он скоро доплелся туда. Дойдя до конторы, где можно было увидать «управителя»,

он остановился сперва у крыльца и заглянул внутрь сеней. Никого не было. Недалеко рабочие стучали топорами, но он боялся кого-нибудь спросить. Постояв около двери, он попятился, пощупал мешок под мышкой, обошел затем всю контору кругом, заглянул в каждое ее окно: он боялся получить вместо хлеба «по шеям!»

— По какому делу? — спросил «управитель», вдруг заметив мужика, туловище которого оставалось за дверью, а голова была выставлена вперед.

— Насчет муки... под работу бы... я уплачу, — сказал Савося и осмелился целиком показаться управителю.

— Ты просишь под работу денег?

— Как угодно вашей милости... мучки бы — оно лучше... я и мешок захватил... три пуда в нем в аккурате...

Савося при этих словах и мешок показал управителю, как неотъемлемую часть себя, после чего стал выжидательно смотреть на Тараканова.

— Дурак! — резко сказал управитель и презрительно посмотрел на мешок: — Я не торгую хлебом. Если хочешь, бери деньгами. Сколько тебе надо и под какую работу?.. Да скажи прежде: кто ты, — лицо-то знакомое.

— Быков, Савостьян Быков.

— Быков? Посмотрим. Ты, кажется, так много должен, что у тебя остается описать имущество.

Управляющий стал рыться в книгах.

— Я уплачу... верно уплачу... сумления я не люблю... — возразил Савося, равнодушный к угрозе управителя.

— Я так и знал! За тобой числится, гусь лапчатый, девяносто шесть рублей сорок четыре копейки! — возразил управляющий.

Но и это не произвело на Савосю ни малейшего впечатления; он равнодушно выслушал цифру неоплатного долга, удивляясь только тому, что о ней совсем забыл.

— Мы уплатим... дочиста зароблю. А как теперь есть у меня нету, я и пришел... сделайте божескую милость, дайте передохнуть!

— Денег я тебе больше не дам! — возразил управитель. — С вами, чертями, одно мученье; нахватаете, а потом лови вас... Ну да погодите, вы мне кругом должны; если летом не пойдете на работу ко мне, так я у вас все опишу, и из деревни-то вашей выгоню вас. Довольно вам обманывать... Ну, пошел!

— Я все зароблю... мне бы передохнуть, а я все уплачу... Господи милостивый! дайте срок, все представлю в аккурате... А есть мне желательно...

— Ступай вон... Или, лучше, вот что, — вдруг перебил себя управляющий: — у меня сейчас строится амбар, ваши же работают; так ступай на работу и получишь вечером гривенник. Иди.

Управляющий отдал приказ одному рабочему отвести Быкова в амбар.

Савося без слова пошел вслед за рабочим. Он не удивился тому, что его поймали и ведут на даровую работу; он был поражен только тем, что хлеба у него все-таки нет, и переложил мешок под левую мышку. Во всем остальном он был спокоен. Ни тени протеста против управителя, который распоряжался им, как бревном, необходимым для вновь строящегося амбара. Управитель закупил его, как и всю его деревню, таскал ежегодно по мировым судам, грозил описать его имущество, каждое лето пользовался его трудом даром, и Быков ничего этого не понимал. Не понимал, что́ вокруг него творится, за что его мучат, почему и когда он попал в каторжники, отчего и с каких пор у него нечего есть. Кругом него носилась мгла, сквозь которую он видел один пустой мешок, который надо бы было наполнить во что бы ни стало. Свой разговор он про себя формулировал так: «не дал, жидомор!» Больше мыслей у него не было.

Работник Тараканова привел его на место постройки амбара. Там уже с раннего утра стучали топоры, шуршала пила, таскались бревна, гремели жестяные листы, предназначавшиеся на крышу, рылась канава. Работа кипела, производимая такими каторжниками Тараканова, как и Быков. Все они старались даром, потому что давным-давно задолжали в контору имения — до смерти. Подобно Савосе, им также «передыхнуть» было некогда; подобно ему, они с таким же равнодушием и беспамятством относились к своему каторжному положению, сделавшемуся для них столь же обычным, как их собственная стихия. Между ними и их многочисленными хозяевами шла глухая борьба, но замечательно, что эта борьба велась ими без всякого протеста... Борьба без протеста — очевидная нелепость, но по отношению к таракановским мужикам невозможность превратилась в неизбежность. Они, собственно, не боролись, а убегали от борьбы. По летам, в страдную пору, они уклонялись от даровых работ на Тараканова, бегали от его посыльных обманным образом и вообще старались что-нибудь урвать из дорогого времени, отлынять от обязательств, взятых ими на себя зимой. Но все эти ухищрения ни к чему не вели. Сила была на стороне Тараканова, чем он и пользовался, устраивая летом на своих мужиков организованную охоту, отрывал их от собственных работ и гнал к себе. Вот какая была их борьба.

Борьбу мужики не могли вести потому еще, что они не знали, что могли и чего не могли, какие имели права и каких прав им не было дано; они думали, что они на то и созданы, чтобы за ними охотились, ловили их, засаживали; в силу такого убеждения, они могли только отлынивать и в то же время сознавать, что Тараканов в своем праве, а они нет, потому что все это доказыва-

лось расписками, написанными по закону и обязывавшими их на египетские работы вполне законно. И когда Тараканов исполнял этот закон, сгонял их силою расписок на египетские работы, они более не сопротивлялись, шли и начинали косить, жать, молотить, рыть канавы, чем борьба и оканчивалась. От всего этого, кроме сознания своей виновности перед Таракановым, мужики ясно видели в себе необычайную глупость, потому что сами лезли к Тараканову, а не он к ним, отчего сумятица в их головах еще более усиливалась. Понятно, что необходимость брала свое: они продолжали лезть к Тараканову и отлынивать от его обязательств; тот их ловил и заставлял их чувствовать, какие они обманщики, дурачье, пропойцы. Вместе с сознанием своей немощи и глупости, мужики доведены были до сознания их недобросовестности.

Все описанные сейчас явления относятся к небольшой местности, состоящей из нескольких деревень, и потому, может быть, их нельзя обобщать; в соседних с этими местностях совершаются, может быть, другие удивительные явления; но в описываемом округе эти явления вполне утвердились и приняли чрезвычайно своеобразный характер. Под влиянием их жители, доведенные до каторжного состояния, усвоили себе положительно звериный образ жизни. Они перестали понимать вообще, что с ними делается, и искали одного только дневного корма; не было корма,— они метались в поисках за ним; был он у них, — они больше ни о чем не заботились, вообще равнодушные к жизни. Это не есть обыкновенная погоня за улучшением своего материального благосостояния: это — просто искание корма, необходимого вот сейчас, в этот день, а что будет в следующий день — плевать. Они перестали о себе заботиться, потому что перестали видеть себя, и заботились лишь о пище. Эту заботу они понимали так узко, что, кроме временного удовлетворения потребности, ничего не желали, — так замершая мысль их сузилась. Они шатались всюду, гоняясь за пропитанием, рыскали за куском ко всем людям, от которых его можно было получить, хватали новые обязательства, но никогда не задумывались даже о ближайшем будущем. Сами они с каждым годом нищали, но нищета мысли их была еще поразительнее — мысль о дневном корме сделалась единственною мыслью, которою они жили. Чтобы дойти до такого звериного состояния, нужно было пережить раньше этого долгие годы, в продолжение которых замерла всякая человеческая мысль, кроме одной, ежедневно подсказываемой пустым животом; нужны были годы страдания, чтобы получилось полное бесчувствие к нему, нужны были, наконец, нечеловеческие условия жизни, чтобы явилось пренебрежение к ее улучшению.

Разумеется, Савостьян Быков не мог в данную минуту заботиться о какой-нибудь другой цели, кроме той, ради которой

он попался глупейшим образом на глаза Тараканова. Но, раз попавшись на работу и очутившись возле строящегося амбара, он принялся старательно и добросовестно исполнять приказ десятника работ, который дал ему в руки лопату, указал, где следовало копать, и сказал: «На вот, копай; да смотри, идол, не прокопай глыбже»; после чего Савося без устали, до самого обеда, метал землю из назначенной ему ямы.

Шапку, полушубок и мешок он сложил на краю ямы, в которую был погружен, и иногда поглядывал на свои вещи, чтобы их «не сперли». Но всего больше его смущал мешок; при виде его ему приходило на мысль сбежать из ямы; скучно ему стало копать землю. Он едва дождался обеда. Обедом его не обидели; пришел он на работу позже всех, но наравне со всеми получил порядочную краюшку хлеба и сколько угодно квасу. Только квас не шел ему в горло, — очень уж он проголодался. Он сел возле своей ямы и, не сводя глаз с нее, медленно жевал. Хлеб ему очень понравился.

Вдруг ему вспомнились Татьяна и Шашка. Он поглядел на краюшку, которая подходила к концу, — еще несколько времени, и он сжевал бы ее всю. Этот осмотр образумил его и, должно быть, поразил его, в связи с воспоминанием о Шашке, так сильно, что он тут же перестал есть и положил оставшийся кусок в свой мешок.

Но оставшаяся часть краюшки была бы бесполезна, если бы не была отнесена домой, где ей обрадуются. А как ее отнести? Савося задумался и долго смотрел в выкопанную яму. Наконец ему скучно стало, а между тем решение сбежать с работы созрело окончательно. Он стряхнул с подола рубашки крохи, высыпал их в рот, перекрестился, показывая тем, что обед он кончил благополучно, — и встал. Недалеко стоял десятник. Савося, положив мешок под мышку, попросил у него отлучки. «Я сей секунд», — сказал он десятнику. Тот отпустил, не подозревая обмана со стороны такого робкого мужичка.

Савося пошел на зады и оттуда дал тягу. Через полчаса он был уже дома и был рад, что не пришел с пустыми руками. Сама Татьяна, впрочем, не воспользовалась краюшкой: она всю ее отдала Шашке, которую в первый раз в этот день приласкала; она гладила ее по голове все время, пока та ела. Забота о своих детях у Татьяны была в эту минуту сильнее желания удовлетворить голод. Благодаря этой же заботе она и посмотрела на пустой мешок.

— Нету? — спросила она у Савоси.

— Нету. Не дает. Знаю, говорит, я вас... такой анафема! — задумчиво проговорил Савося.

Но это все, что было сказано относительно Тараканова; о том же, что он был пойман на работу по обязательствам и что он от

вновь строящегося амбара утек обманным способом, Савося даже не упоминал; безусловно нельзя сказать, чтобы он имел в намерении скрыть это обстоятельство, он просто забыл о нем, всецело поглощенный мучительным соображением насчет того, куда ему после этого толкнуться. Оставаться дома ему было очень скучно. Поэтому он посидел в избе недолго и отправился, снова взяв мешок под мышку.

Был у него в смежной деревне еще один человек, который вообще внушал ему страх, а теперь надежду. Это был богатый мужик, давно купивший Савосю (кто его не купил!) и каждое лето заставлявший его работать на себя. Случалось так иногда, что Савося был разрываем на несколько частей, понуждаемый с одной стороны Таракановым, с другой — барабановским барином, с третьей — богатым мужиком; тогда Савося предавался на волю божию: кто успевал его раньше захватить, к тому он и шел; но чаще всего успевал завладеть им богатый мужик, а все другие оставались на некоторое время обманутыми Савосей. Это происходило оттого, что Тараканов был силен по отношению к массе; он не обращал внимания на потерю нескольких рабочих, и не было расчета у него гоняться за каждым рабочим; имение его большое, и для работы в нем он ловил оптом, точно так же как и грозил описанием имущества оптом, враз всем окрестным деревням, вследствие чего Савосе нередко удавалось обманывать его. От богатого же мужика ему не было никакой возможности увернуться; тот сам был в этих делах опытен, пройдя предварительно школу каторжного труда; поймав летом Савосю, он так и сидел над ним, — сидел и клевал его в продолжение всего времени, пока длилась работа, и выматывал из него душу и долг.

Все это Савося теперь смутно чувствовал, его пугала лютость богатого мужика; но боялся он не того, что тот забросит на него новое обязательство на приближающееся лето, а того, что он теперь его обидит: «хлеба не даст, только надругается, анафема», и, пожалуй, задаром еще заставит работать. Савося не мог отдать себе отчета, почему богатый мужик надругается над ним; он только смутно сознавал или, скорее, предчувствовал, что какие-то непреодолимые, стихийные силы владели им, гнули его к земле или разрывали его на части; он едва успевал «передыхнуть», но ему никогда не приходило на мысль, что с этими силами мог он бороться и что Тараканов, богатый мужик, все управители и хозяева были им же самим обращены в фетишей, которых он страшился, заклинал и приносил им жертвы в виде каторжного труда.

На этот раз судьба избавила его от нового испытания, освободив его на этот день от богатого мужика, от Тараканова и от всех его хозяев. Этот день был счастлив для него, и он никогда не забудет его... Шел он по рыхлому снегу, проваливавшемуся

под его ногами, и вдруг вспомнил Ваську и Ванюшку, которые отправились за кусочками по тому же направлению, по которому теперь он шел и сам. Тогда ему стало скучно идти одному; он решил, что идти к богатому мужику не стоит, потому что «Васька и Ванюшка, бог даст, что ни на есть принесут» и прокормят в этот день всех. С этим скорым решением он повернул было назад, как вдруг вдалеке заметил Ваську и Ванюшку; подумал сначала, что он обознался, и пристально посмотрел в даль снежной равнины, прикрывая глаза рукой от солнца, весенние лучи которого сверкали ослепительным блеском. Но нет, это были действительно Васька и Ванюшка. Они стрелой летели к нему, о чем-то крича ему еще издали; шубенки их развевались по ветру, шапки едва держались на головах.

— Тятька! сюды! барин влопался! — кричали оба они враз и врозь, перебивая друг друга, принялись объяснять ему дело, какое-то происшествие в «Собачьем вражке», но он долго ничего понять не мог.

— Какой барин? — спросил, наконец, Савося.

— Чужой... влопался по ухи... Ехал-ехал — бух! в самый зажор влопался... И сидит. Бегем скорее.

— Куды?

— В Собачий вражек. Там он и есть. В самую середку попал... Ругается; велел кликать мужиков, чтобы вытянуть его... Я, говорит, за все заплачу... Бегем скорее!

Васька и Ванюшка выходили из себя, объясняя отцу о барине. Они говорили с необыкновенным жаром, перебивая друг друга, и тащили за полы отца. Тот нерешительно упирался.

— Чай, и сам вылезет? — спросил он, нерешительно смотря на Ваську и Ванюшку.

— Он-то? Да он только ругается. Влопался по ухи... Зови, говорит, заплачу.

Савося понял и больше не колебался.

Все трое быстро, бегом, направились в «Собачий вражек» и там скоро наткнулись на сцену, описанную жаркими устами Васьки и Ванюшки. Сани действительно застряли в ложбине, набитой рыхлым снегом, под которым была уже вода, а пара лошадей чуть не по уши завязли и беспомощно барахтались в снежном киселе. Кучер растерянно хлестал их кнутом и без пользы ругался. Барин сидел в санях и оттуда кричал, подавая советы; беспомощность его также была полная. Завидев Савосю, он обратился к нему и приказал ему действовать. Савося заметался, забегал и принялся ухать на лошадей. Но он скоро бросил лошадей и полез в сани, утопая по пояс в мокром снегу. Добравшись до саней, он посадил барина на загорбок и понес его на берег. Утопал он несколько раз в снегу, но в конце концов вынес барина благополучно. Потом отряхнулся и снова принялся ухать

на лошадей. Когда этот способ не удался, он помог кучеру выбраться на чистое место и вдвоем они принялись распрягать лошадей; при этом обоим им пришлось несколько раз выкупаться в снегу; они вымочились, иззябли. Однако никогда Савося не работал с таким жаром, самозабвением и так добросовестно.

Этот жар был искренний. Савося работал в эту минуту не каторжным трудом и не по принуждению, а охотой. Он из всех сил старался, имея в виду поощрение, и благодарил бога, что ему послал такой «случай»: барин влез в «Собачий вражек». Без этого «случáя» что бы ему делать? очень трудный был для него день. Купаясь в зажоре, он не чувствовал нестерпимого холода; он думал: «уплотит». Эта мысль удвоивала его силы, и он выходил из себя от волнения, таща за веревки сани, горячился, прыгал по берегу. Это не значит, что в эту минуту он только и думал о наполнении мешка, на разные манеры говоря себе: «уплотит...» Он искренне тянул за уши лошадей, бил их по мордам; он добросовестно старался, не щадя живота своего, и жертвовал здоровьем без всякой задней мысли. Он только наперед знал и был уверен, что за этот горячий труд ему заплатят, потому что вознаграждение он заслужил.

Впрочем, выбиваясь из сил на берегу, утопая в зажоре, он боялся, как бы не пришли другие мужики и не перебили у него... Эта единственно корыстолюбивая мысль его привела его в еще больший жар. Натурально: бог послал ему на бедность барина, и этого-то неожиданного счастия он лишится. Савося до того старался, что стал лезть в снег и купаться без всякой нужды.

Наконец сани были вытащены. Лошадей впрягли. Кучер торопил барина поскорее ехать; барин также торопился и стал расплачиваться с Савосей и благодарить его от души.

— Старательный же ты мужик, спасибо тебе, — сказал он, вынимая из кармана кошелек.

Савося стоял возле него без шапки; со всей его одежи текло и образовались сосульки; губы у него посинели; дрожь пробегала по всему его телу. Но давнó уже его так не благодарили, — он с давних лет слышал одни только ругательства, — и теперь был глубоко признателен барину, неизмеримо глубже, чем барин был благодарен ему.

— Что, озяб? — спросил благодарный барин.

— Не дюже, только в нутре как быдто... а то бы ничего.

— Сколько же тебе за труды?

— Сколько положит ваша милость, — отвечал дрожащим голосом Савося.

— Да, ты стóишь, спасибо. На, вот! — и, говоря это, барин выложил на подставленную ладонь Савоси две бумажки и еще медной мелочи, часть которой предназначалась на то, чтобы

Савося пошел обсушиться в кабачок. —Поди, обсушись, — сказал он, сел и поехал.

Савося обомлел. Он не нашелся даже поблагодарить барина, который быстро уехал. Давно уже он не получал такой поразительной суммы денег; он все пробавлялся по мелочи, длил свою жизнь посредством копеечек. Но затем, когда Васька и Ванюшка принялись тормошить его, он вышел из оцепенения, перекрестился и пустился бегом к деревне, схватив мешок под мышку. Придя туда, Ваську и Ванюшку он отослал домой, а сам забежал в кабачок обсушиться, в чем почти не было надобности, потому что радость его превышала холод, заморозивший его нутро. После этого он побежал к состоятельному кулаку, занимавшемуся, между прочим, продажей муки. Там случайно собралось несколько мужиков, которые очень удивились, услыхав требование Савоси отвесить ему три пуда муки. Осведомились, какая благодать выпала на его долю; но Савося и сам еще не мог хорошо объяснить себе происшествия, давшего ему возможность купить муки на свои деньги, а не в долг; он едва и сам сдерживался от рассказа о необыкновенном случае, который послал ему бог. Когда хозяин взвесил хлеб, Савося с изумлением потрогал свой мешок и оглянул всех присутствующих ошеломленным взглядом, как бы сам не веря в чудеса, случающиеся иногда на свете.

— Три пуда в аккурате... ловко. Дай бог здоровья барину, выручил, а то чистая смерть! — сказал он, продолжая оглядывать собравшихся тем же взглядом.

— Да ты расскажи, какой такой барин, какая причина муки́? — спросил кто-то из присутствующих, и к нему присоединились все, прося Савосю рассказать.

Савося был в крайне возбужденном состоянии. Он начал рассказывать; вначале все колесил вокруг предмета, начав рассказ с самого утра, то есть как он чинил полушубок, как пошел к управителю, как его там «пымали» и ему пришла чистая смерть. Но когда он дошел до «Собачьего вражка», то не сумел ничего сказать от волнения; свое участие в происшествии с барином он передал так бессвязно, что слушатели долго ничего не понимали; из его рассказа они усвоили прежде всего, что Савосе в этот день пришлось плохо, чистая смерть, от которой спас его заезжий барин. Но кто такой барин? — Савося рассказать путно не мог, повторяя только, что дело было в «Собачьем вражке»... «Барин врюхался... но ничего, вытащили кое-как... Чудесный барин, дай бог здоровья, а то чистая смерть...» Мужики сначала равнодушно слушали Савосю, но когда последний назвал сумму денег, полученную им от барина за труды, все были глубоко поражены. Савося назвал эту сумму, заметив, что по этой причине и мука́, — и все переглянулись между собой взглядом, выражающим недоверие и изумление.



— Два целковых? — спросил один из кучки, живший так же зажиточно, как и Савося.

— Два целковых и еще меди... На, говорит, обсушись, — отвечал Савося.

— Так прямо два целковых и влепил?

— Два целковых. Бери, говорит, — заслужил ты!

— Стало быть, в аккурате вляпался?

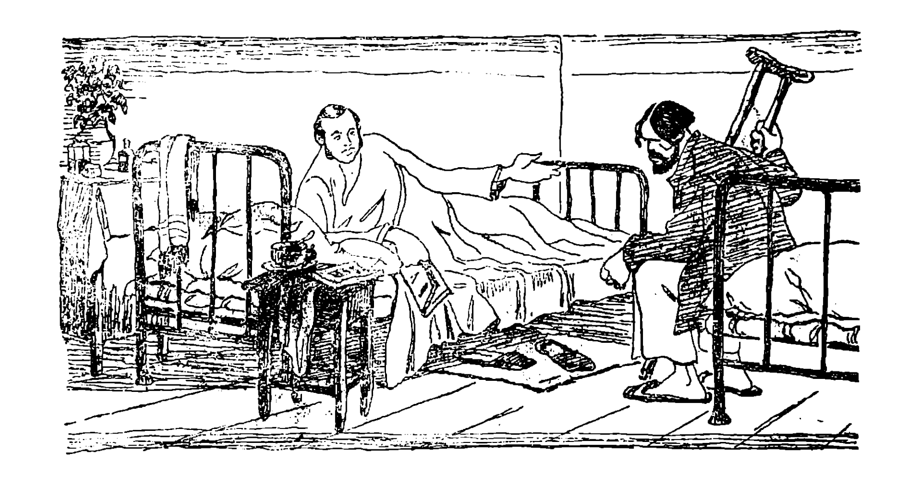
— В самый раз... в самую эту прорву! Утоп совсем. На, говорит, тебе за труды, старательный, говорит, ты мужичок... Я вот теперь и с мукóй, дай ему бог здоровья!

Савося был взволнован рассказом, но, кончив его, стал поднимать на плечи мешок.

Он в эту минуту сделался героем. Ему помогли взвалить на плечи мешок, и он отправился, сопровождаемый взглядами, полными удивления.

Дома Савосю ждали, конечно, с большим нетерпением и чувством, которое он и сам не мог подавить в себе. Он в другой раз рассказал своему семейству о «Собачьем вражке» и о барине, который, дай ему бог здоровья, уплатил хорошо за труды, и на его лице светилась радость, а глаза светились благодушием. Мешок был поставлен на стол в переднем углу, и все столпились вокруг него. Шашка вскарабкалась на лавку, влезла на стол, чтобы лучше видеть мешок; Васька похлопал его ладонью, Ванюшка запустил было в него руку, не достав муки только потому, что своевременно получил от матери в лоб. Татьяна сама достала щепотку муки, перекрестилась и взяла ее в рот, после чего и Ванюшка с Васькой взяли в рот по щепотке; и все жевали, пробуя. В избе царило глубокое молчание. Все пять человек только глядели на мешок, стоявший на столе стоймя.

Савося был счастлив.



ПРАЗДНИЧНЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

В воздухе раздавались удары колокола, сзывавшего к обедне. Был праздник. Утро стояло теплое; солнечные лучи весело играли. Воздух был чистый и прозрачный. Деревня полна была миром и тишиной.

Но если бы собрать всех жителей этой деревни и всего описываемого округа, то и тогда разговоры жителей были бы не более интересны, чем те отрывочные беседы, которыми от времени до времени нарушали свое молчание шесть человек, сидевших перед прудом, позади двора Чилигина. Можно бы подумать, что они отвлекутся на время от ежедневной суетливой жизни, толкавшей их, с одной стороны, на поиски «куска», с другой — медной копейки; но такое предположение не имеет за собой ни теоретического основания, ни практической осуществимости. Душа крестьянина этой одичалой местности всегда мрачна, сердце сжато затаенным горем, мысли переполнены глубокой думой. Сидели эти шесть человек и молчали; звон ли колокола нагнал на них раздумье, или они погружены были в обычные предметы своей мысли? Вид их, впрочем, был довольно праздничный. Один надел сапоги (чего он никогда не делал в будни), другой был в красной ситцевой рубахе (а обыкновенно он ходил

почти без одеяния), третий причесал волосы и т. д. У всех лица были озабочены.

Тишина.

— Уши-то отнес? — спросил один, обращаясь к ситцевой рубахе.

— Как же, отнес, — отвечал последний, ездивший на протекшей неделе в лес — вырубить тайно пару берез.

Снова тишина.

— Счастье, братец, тебе привалило! — заметил первый.

— Прямо сказать, сам бог! — возразил второй убедительным тоном.

— Как же это ты его ухлопал-то?

— Оглоблей. Верно говорю тебе: не настоящий, должно быть, волк был, а так, шут его знает, замухрышка какой-то тощий... не жрал, что ли, целое лето!.. Слышу, хрустит. Ну, думаю, пропала моя голова — полещик идет, а это он самый и приперся! И лезет прямо на лошадь — жрать! Ну, я и двинул его в башку...

Раньше рассказчик прибавил, что он в этот же день обрезал у волка уши и отвез их в земскую управу, объявившую плату — пять рублей за каждую пару ушей волчьих.

— А шкура? — оживленно спросил третий и даже приподнялся от волнения на ноги.

— Шкуру еще не определили; да и худая, потому дюжо́ тощо́й был зверь.

— А все же — верные деньги. Счастье, братец, тебе! — возразил приподнявшийся на ноги крестьянин. — Это не то что мне! — добавил он с горечью и сел.

На него никто не обратил внимания. Снова настала тишина.

— Н-да! Это не то что мне! — возобновил свое грустное восклицание огорченный. — Я вон наеднись курицу понес, стало быть, взял на руки глупое или пустое, например, дело, а и то случилась беда. — Все стали прислушиваться. — Иду я по городу и попадается мне, господи благослови, господин. «Продаешь?» — спрашивает. «Купите, говорю, ваше превосходительство, будете ублаготворены; то есть, вот какая, говорю, птица, будете спокойны!» — «Сколько же ты просишь?» — спрашивает. «Да полтинничек!» — говорю я эдак ласково... И вдруг даже испугался и не помню, как я ноги убрал...

Рассказчик остановился и испуганно посмотрел на всех, как будто видел еще перед собой барина.

— Ну? — спросили несколько заинтересованных.

— Как сказал я это самое слово, то он даже побледнел и лицо жестокое сделалось. «Ах ты, говорит, обманщик!» И давай меня честить... «Да ежели бы, говорит, ты самого себя продавал вместе с курицей, так и тогда я не дал бы полтинника!»

— Ну и потом?

— За пятнадцать копеечек ухнул!

— Курицу-то?

В ответ на это рассказчик только плюнул.

Таковы праздничные разговоры.

Незаметными переходами как-то дошли до вопроса: как отваживать скот от шлянья по огородам? Один говорил, что первейшее средство — кипяток, которым очень удобно ошпаривать. Другой возразил на это, что он поступает решительнее. «Стукнул топором и шабаш», — сказал он и повернулся на брюхо. До последнего разговора этот мужик безмолвствовал. Лежа на земле, он останавливал неподвижный взгляд на каком-либо предмете и не шевелился, как бревно. Вид его не был свиреп, но сложение коренастое и внушительное: здоровенные руки, плотное туловище, большая голова. Все, что говорили, он пропускал мимо ушей. Когда же к нему обращались: «Чилигин!» — он только отвечал: «мм...», а в дальнейший разговор вступать не желал, отдыхая от протекшей недели, во все продолжение которой он таскал бревна.

Действительно, он отдыхал всем туловищем. Июльское солнце было уже высоко, и лучи его сильно пекли. Падая на Чилигина, они припекали ему спину, руки, лицо и вливали во все члены истому. Говорить ему было лень, слушать лень, смотреть лень; и он не говорил, не глядел и не слушал. Когда какой-нибудь звук поражал его слух, волосы на его лбу несколько приподнимались, обладая способностью рефлективного движения, — и только; в детстве у него и уши двигались, но с течением времени он утратил эту способность.

Все перекрестились, когда раздался звон к «Достойно», но никто не говорил вплоть до той минуты, когда вошло новое лицо. Это был Чилигин-отец.

— Васька! — сказал он, обращаясь к сыну, который, однако, не пошевелил ни одним членом. — Васька! — повторил отец: — да дай ты мне хоть пятачок ради праздника. Я знаю, у тебя есть сорок копеек, так хоть пятачок-то пожертвуй, ради моих старых костей, для великого праздника, а?

Васька Чилигин только усмехнулся в ответ на эту просьбу отца. Отец стоял и старался принять грозный вид, но никак не мог напугать. Он был уже дряхлый старик, сгорбленный и с трясущимися членами. Тусклые глаза его отражали сознание бессилия и робость; все лицо возбуждало жалость. Напугать он не мог потому еще, что, в сущности, сильно боялся сына; их семейная жизнь шла так неаккуратно, что возбуждала удивление даже в этой деревне, где вообще были неизвестны семейные нежности.

Не дождавшись от сына ответа на просьбу, отец обратился с жалобой к присутствующим:

— Вот, господа православные, какой у меня подлец Васька: кормить он меня не кормит, а прямо говорит — помирай, старая кочерга! Будьте, господа, свидетелями, ежели, к примеру, смертоубийство. Бьет он меня нещадно, а пить-есть не допускает. И вчерась прибил. Теперича прошу я пятачок, а он, подлая душа, молчит.

— Да из-за чего у вас опять вышло? — спрашивали некоторые из сидящих.

— А из-за того и вышло, что он изверг!.. Такой скотины, то есть бесчувственного зверя, — нигде, чай, не было. Чтобы, например, уважение или почитание к отцу — где?

Отец долго бы развивал свои взгляды на характер сына, но присутствующие перестали его слушать, обратясь за разъяснением к сыну. Но тут разъяснение вышло еще удивительнее.

— Из-за чего? Из-за похлебки. Вчерась велел я бабе похлебку сварить; давно горячего во рту не было, даже в горле пересохло, а в животе, например, волк сидит и воет. И еще наказал бабе, чтобы близко не пущать вот этого самого блудню (указывает на отца), потому никакой работы за ним не числится, день-деньской сидит у себя и думает, как бы что ни есть слизнуть насчет пропитания. И ведь какой хитрый человек: как только уйдет баба, он сейчас заберется в избу, а там краюшка ли ситного, яйцо ли — словил и в рот. Так и вчера: забрался и вычерпал весь чугун... Я сейчас за ним. «Ты, говорю, съел?» — «Я, говорит». — «Зачем, говорю, ты съел, когда приказу тебе не было?» — «А как же, говорит, чай, мне не один сухарь крошить зубами, чай, я — отец твой!» — «Какой ты отец, ежели ты только насчет как бы воровски сожрать, а никакой пользы от тебя нет? Объедало-мученик ты, а не отец». Ну, а он лезет драться. Тут уж я терпения решился, взял я этот самый чугун и тукнул его...

— Драка, стало быть, произошла? — спросили сидящие.

— Я-то так-сяк, только по загорбку разов пять... А ты вот его спроси! — возразил Чилигин, указывая на отца.

— Что же он?

— Икру мне прокусил.

— Ишь ты!

— Так прямо зубами и впился в мякоть, даром что всех-то четыре зуба у него...

При этих словах Чилигин показал укушенное место.

Осмотрели икру; на ней действительно оказался след зубов. Старик также смотрел с чрезвычайным вниманием на дело зубов своих. Впрочем, его в это время занимала мысль, что все-таки пятачка у него нет. До остального ему мало было заботы, и он нисколько не удивлялся жестокому положению в семействе. А что положение это было жестоко, свидетелями тому могут

послужить все жители деревни. Между отцом и сыном шла вечно битва, потухавшая только в те дни, когда обоим есть было нечего, то есть когда главнейшая причина ссоры отсутствовала.

Прежде, когда старик был моложе и мог работать, он нещадно колотил сына; обессилев и перестав работать, он принужден был выносить нещадные побои от сына — вот и все. Он жил в бане, пристроенной здесь же, возле избы, на берегу пруда, но врозь от сына; питался чем попало, преимущественно же картофелем, но вечно голодал. Он был жаден, как ребенок, и забирался в избу для хищения съестного. За это в избу его не пускали, и если он забирался и похищал что-нибудь, сын бил его. В сущности, он был свирепый старик, плакал от бессилия, при удобном же случае кусался и царапал.

В некоторых случаях он жаловался сходу — официальному или случайному, собравшемуся из нескольких человек поблизости их избы. «Вот, господа православные, опять Васька меня прибил!» — говорил он. Но сочувствие никогда не было на его стороне. Ему прямо говорили: «Тер-тер ты свои кости-то, и все конца тебе нету». Он не работал, — следовательно, не имел права жить; он объедал, — следовательно, должен быть истреблен измором. «Помирать бы давно надо, честь бы надо знать, а ты все мотаешься», — говорили ему в глаза. В описываемом округе семейная жизнь вообще устраивалась по этому образцу: брат корил сестру за ее бесполезность и старался ее «спихнуть»; муж сживал со свету больную жену. Это была страшная, но неизбежная логика, и другой не может быть там, где египетская работа доставляет лишь сухую корку и медленно вгоняет работника в гроб. Тот идеал, который мы привыкли приурочивать к деревне, обладает свойством внушать «нервную» дрожь всякому, кто никогда не видал ее. Закон, право, справедливость принимают здесь до того поразительную форму, что с первого разу ничего не понимаешь. Закон представляется в виде здоровенного Васьки; право переходит в формулу: «должен честь знать»; справедливость вдруг превращается в похлебку. А орудиями осуществления этих понятий являются: чугун, кулак, зубы и ногти.

Собравшиеся мало-помалу стали расходиться. Наконец остались только отец и сын Чилигины. Последнему надоело лежать на солнце, он поднялся, и в эту минуту ему пришла заманчивая мысль.

— Так и быть, — сказал он: — дам тебе выпить, пойдем. Только смотри, больше как на пятак и думать оставь, а то ей-ей прибью.

И они пошли рядом. Василий остановился ненадолго у ворот своего дома, чтобы выгнать двух чужих поросят. Некоторое время на дворе царил содом, в котором принимали участие куры, два поросенка, пес и Василий, дававшие знать о себе свойствен-

ными каждому из них голосами. Один поросенок успел спастись, пробив головой скважину в плетне, другой попался. Василий взял его за задние ноги и постучал об забор, после чего поросенок одурел и некоторое время кружился по улице, потеряв сознание.

Доро́гой отец боялся, что Васька его надует. Это случалось: совсем позовет пить, а потом прогонит.

— Ты, брат, Васька, смотри... по справедливости, не обижай! — заметил заранее старик.

— Небось, — возразил Василий, проникнутый честным намерением напоить отца. И он выполнил свое намерение, так что через непродолжительное время оба они вышли навеселе из питейного заведения и сели под окнами его, рядом с другим посетителем, Прохоровым. Отец ослаб от водки, и из глаз его без всякой причины струились слезы. На сына водка производила обратное действие. Глаза его мутились, но мускулы приобретали непомерную упругость. Он становился хвастливым, а руки его, как говорится, чесались. Поэтому не проходило выпивки, чтобы он не поссорился с кем-нибудь.

На этот раз на беду попался Прохоров. Это была прямая противоположность Чилигину. Лицо его было изможденное и бледное, как у всех портных, к числу которых он принадлежал, занимаясь по зимам шитьем тулупов и зипунов. Вид его был отрепанный, вплоть до штанов, сшитых из разноцветных заплат. Трезвый, это был кроткий и крайне пугливый человек; у него всегда краснел нос, когда с ним разговаривал человек посторонний, глаза пугливо бегали по сторонам и слова застывали на губах. Ничего не стоило обмануть и обидеть его в это время. Но стоило ему только напиться, как он делался совсем другим человеком. Пьяный, он ходил по улице и бормотал бессвязно, но громко: «Сволочь!.. дурак!.. Умнейшего человека в деревне!..» Если ему не встречался ни один человек, которому бы он мог выразить глубочайшее презрение, он останавливался перед каким-нибудь неодушевленным предметом — плетнем, забором, стеной — и откровенно высказывался. Этим странным способом обездоленный человек открывал в себе присутствие человека и мстил за поругание в себе человеческого достоинства.

Все трое знали друг друга с малых лет, но теперь сидели молча, словно незнакомые. Впрочем, Прохоров намеренно не замечал сидевшего рядом Чилигина, с презрением оглядывая его изредка, между тем как последний сидел надутый, говоря всем своим видом, что никто теперь ему не перечь... Ссора неизбежно должна была произойти.

— А скажите, милостивый государь, как ваше имя, фамилия? — спросил, наконец, Прохоров, вперяя злобный взгляд на Василия.

— Меня всяк должен знать. Вот это видишь? — Чилигин показал кулак. — Сила! — добавил он.

— Это точно, что превосходный кулак, — согласился Прохоров.

— За голову возьмусь — голову оторву, за руку — руку... больше ничего.

— А прочих превосходных частей в туловище нету?

— Найдется. Я, брат, и не таких сопляков убирал, — возразил Чилигин, мрачно надуваясь.

— Вполне понимаем. Описывайте дальше!

— И ежели, например, я двину плечом, так ты отскочишь на версту...

— И больше ничего-с?

Прохоров был злобно спокоен, но делался бледнее. Василий Чилигин вышел из себя. Лицо его окончательно надулось. Он походил на быка, которого раздразнили красной тряпкой.

— Дам вот тебе по шее, ты и узнаешь, что́ больше! — сказал он.

— Ваша угроза для меня — все одно, как тьфу: только и есть. А насчет головы что скажете? Потому, по мнению моему, на место этой статьи у вас, например, арбуз пустой.

— Что? — мрачно сказал Василий, пододвигаясь к Прохорову: — Васька! молчи лучше. Ей-ей, по морде!

— А так как, — продолжал дразниться Прохоров, — голова у вас — арбуз пустой...

Раздался лязг со свистом, и Прохоров моментально очутился под рыдваном; но сейчас же выкарабкался оттуда и пустил в голову Чилигина полено. Произошла ожесточенная драка, в продолжение которой Прохоров то катался по земле, то ложился на землю плашмя. Но в конце концов победа случайно досталась ему при помощи бороны с железными зубьями...

— Ой-ой-ой! — вскричал вдруг Василий, наткнувшись босой ногой на зубья.

Этим драка кончилась. Василий сидел на земле и посыпал песком ногу, из которой струилась кровь. Рана была глубока, зуб почти насквозь пропорол ногу, так что песку потребовалось очень много. Прохоров оказался джентльменом: он отдал противнику свой платок, пропитанный запахом овчины, табаку и водки.

Чилигину было больно. Плетясь по улице, он смотрел во все стороны и искал человека, которому можно бы было своротить физиономию. Но улица была пуста, а отца он раньше прогнал. Замечательное явление совершилось в нем в эту минуту. Он вообразил, что его никто не уважает, и чувствовал, что это страшно обидно. Он шел по улице и искал человека, чтобы заставить его уважать себя, и в этих видах во все горло кричал:

«В морду дам!» Когда эта угроза потерялась в хаосе, он нашел другую. «Кто супротив?» — кричал он. Единственное существо, попавшееся ему на глаза, была тощая лошадь, лениво шагавшая к водопою. Василий дал ей удар по крупу. Она повела ушами, но продолжала лениво идти, не обратив ни малейшего внимания на человека. Василий с удивлением посмотрел ей вслед, чувствуя себя еще глубже оскорбленным.

Дома он застал только одну хозяйку свою, Дормидоновну; дети играли на другом конце улицы. Но и без них он произвел одним своим появлением переполох. Каждый большой праздник Дормидоновна обыкновенно ждала его домой с сердечным замиранием, за целую неделю перед тем думая, как он пройдет для нее. В этот день она всегда пряталась у соседей, по огородам, в закоулках своего двора, выжидая того времени, когда *он* придет. Регулярные побои так изнурили ее, что она согнулась в дугу, сморщилась и одряхлела в тридцать лет. Ее в деревне называли *безживотной*. Действительно, живота у нее буквально не было, пропал куда-то. Сегодня она также сообразила, что ей надо куда-нибудь уйти, но ошиблась в расчете времени и лицом к лицу столкнулась с мужем. В ней вдруг все замерло.

Василий сидел на лавке и до поры до времени молчал. Он только наблюдал за каждым движением Дормидоновны. «Уважает ли она его?» — думал он и подозрительно вглядывался. Дормидоновна растерялась и молча копошилась в углу, повернувшись спиной к мужу. Руки и ноги ее дрожали; она молилась угодникам, обещая, что поставит свечку. Она стояла и прислушивалась к малейшему шороху в избе, к сопению, которое раздавалось за ее спиной... Оглянуться она боялась. А Василию казалось, что она нарочно повернулась к нему задом: на, мол, смотри!

— Хозяйка! Это ты что? — грозно спросил он.

— Я ничего, Степаныч...

— То-то, смотри у меня в оба!

Василий погрузился в себя, не переставая наблюдать за маневрами хозяйки. Последняя должна была бы выйти из избы, но она боялась шелохнуться. Она лихорадочно перебирала около печки вещи, чтобы наполнить чем-нибудь время. Но Василию положительно казалось, что с ее стороны уважения к нему нет. Случайно повернув ногу, он почувствовал невыносимую боль; тогда он посмотрел на хозяйку и увидал, что она попрежнему стоит как вкопанная. Он был глубоко возмущен таким бесчувствием. Он понял, что она не хочет даже взглянуть на него, а не то чтобы дать поесть или спросить: чем ты болен, Степаныч?

— Хозяйка! — сказал Василий.

— Что, Степаныч?

— Гляди на меня!

Дормидоновна с ужасом посмотрела.

— Я тебя, шельма! — заключил Василий свое подозрение.

Дормидоновна промолчала. Она опустила глаза в землю и затаила дыхание. Лицо ее исказилось страданием. А Василию показалось, что она смеется.

— А-а! насмехаться надо мной, не уважать? — закричал он и принялся колотить Дормидоновну.

На шум прибежали дети; он их вытолкал. Пришел отец, он и его прогнал. Он так остервенел, что Дормидоновне пришлось бы худо. Но две из соседних баб прибежали, выручили Дормидоновну и вытолкали Василия за дверь избы. Он еще долго бродил вокруг своего дома, пробуя ворваться, но его прогоняли.

На ночь он пошел в хлев: очень отдохнуть захотелось. Там он сначала успокоился; его клонило ко сну. Но боль в ноге начала уже сильно давать знать о себе, а чувство обиды неотлучно сидело в нем. Он присел в угол на навоз и с большим недоумением смотрел на противоположную стену. «Зачем его обижают?» — думал он и вспомнил ехидство Прохорова, его насмешки, зуб бороны и пр., вспомнил и заплакал, и слезы тихо катились по его щекам. Зашевелились другие воспоминания. В волости его прошлый месяц обругали и пригрозили отпороть за бесчувствие к уплате долгов... Таракановский барин обманул на полтину, а когда он пикнул, его же обругали. Так и во всех случаях. Намеднись повез в город продать сено, купец обманул, облаял и его же спровадил в часть за буйство. Дорогой прибили; прибили, и на морде кровь осталась. «Зачем меня обижают?» — твердил Василий, и слезы продолжали струиться по его щекам.

Он продолжал смотреть на противоположную стену и все припоминал. В памяти проходили разнообразные обиды, только обиды, миллионы обид! Целая жизнь представлялась сплошным оскорблением. За что? Он — ведь человек... А есть ли хоть один, который хоть раз молвил бы ласковое слово? «Васька, мол, так и так, дружище... по человечеству... терпи, голубчик!» Так нет такого человека, и никто не сказал ласкового слова. Одно тебе название — свинья, например... Василий громко зарыдал. Он довел себя воспоминаниями до той степени, когда недостаточно обыкновенного дыхания, когда грудь высоко поднимается. И слезы продолжали струиться по его щекам и капали в навоз. Потом он задремал, притих и успокоился. Тогда в хлеву настала тишина; раздавались только храп и сопенье, которыми Василий втягивал в себя воздух навоза.

Праздник кончился.

На другое утро Чилигина разбудила Дормидоновна известием, что открылся недалеко хороший заработок: можно заработать «рубль в день, а кормят сколько хочешь!» Это в имении Шипикина, одного из окрестных помещиков. Чилигин был разбужен этим с неба упавшим оповещением; он еще не успел хорошенько

продрать глаза, как уже сообразил, что надо бежать со всех ног, иначе другие перебьют представляющийся кусок. Вольные заработки в этой местности были немногочисленны, ограничиваясь сдиранием лык, тасканием бревен с плотов на землю, пилкой этих бревен и прочими случаями, большую часть которых посылал случай, как, например, неожиданную поимку волка. Но мужики, не обеспеченные на лето собственной работой, — а к таким именно и принадлежал Василий Чилигин, — не обращали внимания на то, вольный ли представлялся заработок или не вольный; они ловили упавший с неба кусок, рыская за ним по всем окрестностям и перебивая его друг у друга с тем остервенением, примеры которого можно найти только в зоологической жизни. Не вольные заработки находились в руках Тараканова и Шипикина, и к ним мужики гуртами шли, часто не разумея смысла их заработка.

Быстро поняв необходимость заработка, Чилигин схватил из рук Дормидоновны каравай, сунул его за пазуху, перекинул через плечо сапоги и отправился в путешествие к Шипикину перекладывать муку.

По дороге он ничем не развлекался — ни видом окружающих лесов и полей, которых он никогда не замечал, ни своими собственными размышлениями, которые у него все были физического свойства. Другой на его месте от скуки запел бы, но он не мог, потому что петь не умел, не знал ни одной песни. Он даже не умел тихо свистать. Свистнуть оглушительно — это он мог. Проходя небольшим лугом, он увидал стаю скворцов и свистнул: стая с шумом поднялась и бросилась в сторону. А Василий улыбнулся широкой улыбкой. Это потому, что он умел только улыбаться, а хохотать — никогда.

Почти на половине дороги Василий сделал привал. Солнце было высоко, и ему захотелось есть. Для этого он избрал поросшее тростником и водяными растениями болото, через которое по мосту проходила дорога, залез на кочку и, мокая хлеб в воду, принялся обедать. Случайно он увидел в воде свой образ, на котором ему не понравились кровяные пятна, напомнившие ему, что вчера был бой. Чтобы смыть их, он потер лицо смоченными руками, вследствие чего грязь равномернее распределилась по лицу, и утерся подолом рубахи.

Работа кипела у амбаров Шипикина, когда Чилигин подходил туда. Пешие таскали мешки в пять пудов, получая за каждый десяток по семнадцать копеек; конные укладывали их на воза и увязывали. Всем этим муравейником управлял приказчик, стоя на лестнице с книжкой в одной руке и длинной хворостиной, имевшей загадочное назначение, в другой. Кругом, на несколько верст, тянулись телеги; одни из них уезжали, нагруженные хлебом, другие приближались, чтобы забрать груз.

Земля сделалась белоснежною от мучной пыли; мука носилась в воздухе, покрывала волосы и лица рабочих, мукой чихали. Откуда столько взялось ее с оголенного и отощалого округа? А Шипикин собрал ее и отправлял в столицу, откуда она должна была отправиться за границу.

Чилигин подошел к приказчику и попросил работы. Но приказчик прогнал его, а когда Чилигин заупрямился, начав приставать, он пугнул его длинной хворостиной. Впрочем, как будто вскользь, прибавил, что нужно отправиться к самому барину.

Это была просто военная хитрость или, лучше, звериная ловушка, придуманная старозаветным умом самого Шипикина. Обыкновенно каждому рабочему приказчик отказывал в работе, уверяя при помощи хворостины, что не надо ни лошадей, ни людей, и обыкновенно этот рабочий лез в прихожую самого барина. А там происходил вот какой разговор. «Сделай божескую милость!» — просит мужичок. «Нельзя, дружочек, и рад бы дать тебе деньжонок, но что же поделаешь!» — «Стало быть, никак невозможно?» — «Не могу, голубчик мой! Право, вся работишка отдана, и жаль тебя, да что уж тут...» — «Теперича мне, значит, домой плестись?» — говорит в раздумье мужичок. «Миленький мой, понимаю! Знаю всю твою беду-горе крестьянское!.. Ну, ладно уж, Христос с тобой, ступай на работу, куда ни шли семнадцать копеечек; иди с богом, друг, работай на здоровье!» После такой операции мужичок делался необыкновенно смирным и молча все время таскал мешки, боясь пискнуть, как человек, которому сделали величайшее одолжение; только в конце работы, считая на ладони медяки, задумчиво говорил про себя: «А, между прочим, жидомор!»

В то же самое время Шипикин уверял, что он — чисто русский, с русским сердцем, с народной подоплекой. Он любит мужичка русского и его душу. Действительно, он был всеобщим в деревне кумом, для чего держал у себя постоянно медные крестики и полотенца для ризок. Он не отказывался никогда присутствовать на храмовых праздниках, где, наряду с прочими, пил водочную влагу. У себя в поместье он носил красную рубаху с косым воротом. В церкви стоял на клиросе и пел стихиры. А на паперти собственноручно прибил к стене кружку в пользу славянских братьев...

Действительно, он любил мужичка и приходил искренно в умиление от одного его вида заморенного. Самый дух его нравился ему. Он постоянно упоминал словечки вроде — «пуп», «сердцевина без червоточины», «не вспаханная нива», употребляя и другие слова, даже иногда страшные. Но с той же искренностью он не отказывался грызть этот пуп, точить эту сердцевину и ездить даром по ниве, собирая обильную жатву с нее.

Он действительно был русский человек, и все, что в русском человеке было протухлого, искренно считал своим идеалом. В нем не было прямоты Тараканова, с которой тот ободрал весь округ, потому что не было таракановского сознания законности обдирания. Он, напротив, вечно сознавал свою неправоту. С Таракановым они были друзья, действуя часто вместе. Тараканов брал на себя самую наглую и бесстыдную роль, а Шипикин пользовался результатами этого бесстыдства. Тараканов, например, представлял мировому судье полвоза векселей, и одурелые мужики валом валили — одни к Тараканову, чтобы написать еще несколько возов векселей, другие к Шипикину, чтобы даром свалить ему свой хлеб. Но Тараканов после этой травли мужика потирал от удовольствия руки, а Шипикин чувствовал себя скверно, для чего пьянствовал, шляясь по крестинам и наделяя кумовьев серебряными пятачками. Одурачив мужика, он до небес принимался хвалить «чисто русский ум», «широкое сердце народное» и т. д. Подличая на счет мужика, он смутно сознавал свою виновность перед ним и вознаграждал его словами: «пуп», «здоровое ядро» и пр.

Чилигину было, однако, все равно — с русским сердцем имел он дело или с каким иноплеменным. Шипикин был для него просто кулак русский, с инстинктом ветхозаветного разбойничества. Чилигин стоял возле крыльца барина, чесал всклоченные волосы и тупо соображал, каким бы манером достать работы. Василий, наконец, вошел в прихожую и дожидался барина. Тот немедленно вышел.

— Что скажешь хорошенького? — спросил он.

— Пришел наймаваться, — сказал Василий и опять запустил обе руки в нечесаные волосы, думая этим пригладить их несколько.

— Опоздал, дружок, всю работу роздал.

— Ишь ты! — задумчиво заметил Василий.

— Да, голубчик, роздал.

— Так... А уж я бы тебе удружил вот как! К этому делу, насчет мешка, привычен: то есть... этот самый мешок для меня все одно, что ничего.

— Молодец! Ого, какие ручища-то у тебя! И видно, что здоров. Ты, я думаю, воз поднимешь?

— Воз не воз, а лошадь можно.

— Ну, хорошо. Такому богатырю стыдно и отказывать, — горячо заметил Шипикин. — Иди, работай с божьею помощью за двадцать копеек, я даю тебе, как никому. Грешно отказывать такому силачу... «Раззудися плечо, размахнись рука», а?

Шипикин в первый раз не смошенничал, приведенный в восторг здоровенным видом Чилигина.

Чилигин ухмыльнулся. Во-первых, похвала барина ему понравилась; во-вторых, его удивляла простота его, и он был рад, что ловко воспользовался чудаком. Шипикин поднес ему, кроме того, рюмку водки, из чего Василий тонко сообразил, что чудак-барин сам малость выпимши.

После такого счастливого случая Чилигин, шутя, принялся таскать мешки в пять пудов, опережая всех рабочих и удивляя своей силой. Про него говорили: «Ну, лошадь!» Это мнение было приятно Чилигину; он от удовольствия разевал рот и скалил зубы. Со стороны глядя, думалось, что он на самом деле возил горы шутя; но стоило только взглянуть на его вытаращенные глаза, когда он нес мешок, на плотно сжатые челюсти, на растопыренные ноги, похожие на ноги лошади, когда она везет воз в крутую гору, выбивается из сил и порывисто дышит, расставляя ноги в разные стороны, чтобы не грохнуться на землю; стоило только взглянуть на искаженное лицо его, когда он стряхивал ношу на воз, — и делалось понятным, что ему тяжело. Кроме того, рана не давала ему покоя. Когда пришло время обеда, он сам удивился, отчего руки его дрожали, губы запеклись и почему он вообще так сильно устал. Он подумал, что его сглазили. Чтобы парализовать дальнейшее действие дурного глаза, он отошел в сторону и быстро проделал несколько таинственных манипуляций, после чего плюнул на все четыре стороны (также с медицинской целью) и пошел. Выходя из своего волшебного места, он посмотрел хитрым взглядом на топтавшуюся вдали массу рабочих: что, мол, взяли?

По тому, как он принялся есть, все поняли, что, работая за десятерых, он и ест соответственно этому. Обедал он молча и сосредоточенно. Хозяин давал хлеб, квас, лук, огурцы, притом всего этого вволю. Василий даже обомлел, когда понял это. Дома из-за краюшки хлеба он ссорился с отцом и Дормидоновной; квас он пил всегда белый, а огурцов в нынешнее лето он еще в рот не брал. Легко вообразить, с какой напряженностью он ел эти вкусные вещи. Сперва он думал, что, пожалуй, мало будет пищи, но, к удивлению его, к концу обеда все наелись и даже он. Но, чтобы не быть обманутым скоропроходящим счастием, после обеда, когда все разбрелись по разным местам, он положил в карман несколько луковиц, потом взял десятка два толстых огурцов и тайно отнес их в сторону. Там он положил все это в яму и закопал сором. Это — на всякий случай, чтобы потом отрыть и унести с собой. Он думал о будущем.

Но к вечеру он с тревогой почувствовал, что занемог. Болезненное действие произвели на него все события, пережитые им в эти дни: бой, рана, пятипудовые мешки, лук и огурцы — все это роковым образом отразилось на нем. Уже прямо после обильного обеда он почувствовал себя нехорошо, но дальше все дела-

лось хуже и хуже. В голове его начался жар, живот дулся, ногу кололо, дергало и рвало. Пробовал он кое-какие простые врачебные меры, например — катался по земле, но это нисколько не помогло. Перемогаться дольше не было сил. Думал он поискать знахарку, но его надоумили отправиться к фельдшеру, впрочем предупредив насчет его характера: «Очень лют бывает, но добер и пользует дельно».

Чилигин отправился. Дорогой он сообразил, дорого ли с него возьмет этот лекарь за лекарство и лечение. Он испугался, как бы ему не вывернуть карманы окончательно для этого лекарства. Эта мысль даже боли успокоила. Но дав себе слово, что в случае чего он упрется, он отправился в сени фельдшера. Последний скоро вышел к нему и приказал сесть больному на пол. Он обращался с ним грубо. «Повернись вот эдак! Держи хорошенько ногу!» — говорил он резко, но исследовал внимательно.

— Это что? Где ты просверлил такую дыру? — спрашивал он сердито.

Чилигин рассказал. Рассказал также о животе. Фельдшер желал знать подробнее: что он ел, где спал, что делал. В конце концов огурцы обратили на себя большое внимание.

— Ишь, свинья, нажрался! — сказал фельдшер и в продолжение нескольких минут вслух соображал, что дать такому гиганту? Ложка касторового масла — сущие пустяки для такого чудовища. Для эдакого чурбана надо стакан, чтобы его разобрало!.. Чилигин апатично сидел.

Фельдшер продолжал говорить, хотя не столько говорил, а приказывал. Это была его обыкновенная манера говорить с мужиком. Мнение его о мужике было вот какое: «Ты с ним много не разговаривай, прямо ругай его — и он тебя будет уважать. Это — оболтус, которого надо учить, дерево, а не человек!..»

На этом же основании, что-нибудь объясняя мужику, он долбил ему долго, что следует делать. И теперь он подробно принялся объяснять.

— Сейчас я сам тебе промою рану... Я бы тебе дал, да ты ведь, пожалуй, выпьешь. А раз ты выпьешь, все внутренности твои будут сожжены. Это называется карболовой кислотой. Вот пузырек — нá домой. Как придешь, выпей его, тебя прочистит... да смотри у меня, выпей до дна, слышишь? все выхлебай... А вот это тебе мазать рану, на, бери. Да ты понял ли? Повтори.

— Как не понять? Это, стало быть, нутряное пойло.

— Ну, нутряное, что ли... — подтвердил фельдшер.

— Как сейчас домой, чтобы выпить? — повторял Чилигин.

— Хорошо.

— А это, говоришь, в язву?

— Да, в язву.

— Чтобы мазать ей.

— Мазать. Хорошо.

Фельдшер принес промывательный прибор и приготовлял раствор карболовки. Но Василий не забыл своего решения — упереться в случае чего...

— А как цена, ваше благородие? — спросил он.

— Пустяки. Тридцать две копейки.

Василий обомлел. Почти такая цифра и была у него в кармане. Он решился.

— А нельзя ли две гривны? Чтобы, то есть, нутряное за гривну и гривна в язву.

— Нельзя. Давай ногу.

Но Чилигин уже уперся, и не было силы, которая заставила бы его лечиться после этого. Фельдшер еще раз сердито приказал, но его слова не имели ни малейшего действия. Чилигин стоял возле дверей и угрюмо смотрел в пол. Тогда фельдшер торжественно заговорил:

— Всякой земноводной и воздушной твари положено от самого начала природы заботиться о своем здоровье, чтобы жить в чистоте и радости, а не как свиньи. Вследствие того же всякому человеку, носящему на своей физиономии образ и подобие божие, от самых древнейших времен и до настоящего времени свойственно заботиться о своем теле и душе, чтобы жить честно и благородно, как предписывает образование. А потому человек, пренебрегающий, по глупости, своим телесным и душевным благополучием, во сто крат гнуснее всякой небесной и земной твари и заслуживает того, чтобы его бить по морде... Ах ты, бревно глупое!.. — вдруг воскликнул фельдшер, не выдержав торжественного тона. — Да неужели тебе жалко какого-нибудь четвертака для здоровья? Да ты хоть бы спросил, выздоровеешь ли ты, если не станешь лечиться? Да ты ведь жизни лишаешься за пять-то огурцов, верблюжья башка!

— Мы привышны. Даст бог, и так пройдет, — возразил Чилигин, начиная питать злобу к фельдшеру.

— Привышны! — передразнил фельдшер. — Ты думаешь, что желудок твой топор переварит? Врешь, верблюжья голова, не переварит! И ты думаешь, что ежели ты навалишь в себя булыжнику, так это тебе пройдет даром? Так врешь же, брат, не пройдет, потому что брюхо у тебя почти что естественное...

— Нам недосуг жить, как прочие народы, то есть господа, да брюхо свое наблюдать! — заметил злобно Чилигин, разъяренный словами фельдшера.

Последний также разъярился.

— Да ты — человек?

— Мы — мужики, а прочее до нас не касаемое. — При этом Чилигин надвинул шапку на глаза и шагнул за дверь.

— И убирайся, бревно глупое! — сказал фельдшер и ушел к себе.

Чилигин был рад, что отвязался от него. Но недолго он радовался, и не пришлось ему более таскать кули. К вечеру он окончательно занемог и надолго лишился чувств. Он помнил только, что залез под амбар, с целью не мешать другим и себе дать покой. Но что дальше совершалось, он все забыл в бреду; только бледный луч сознания мелькал в его голове, освещая по временам некоторые случаи, происшедшие за это время...

Будто кто-то подошел к нему и вытянул его за ноги из-под амбара, что было очень обидно. Потом он услышал голос якобы самого барина: «Вот еще наказание! Отвезите его в городскую больницу, а то еще помрет». Тогда его взяли, как куль, и снесли на нагруженный мукой воз. С этой минуты потянулись долгие, ужасные дни, во все продолжение которых он болтался и трясся на возу, и он подумал, что быть кулем довольно подло; его куда-то везли, а он ничего не видал, ничего не мог сказать или о чем-нибудь попросить. И голова его стукалась об телегу, тело качалось во все стороны, в нос и рот лезли пыль и мука, а в то же время другие кули безжалостно тискали его. Наконец его привезли, стащили с воза и отнесли в амбар, положив около другого тощего куля. После этого вдруг сделалось темно и тихо. Только где-то крысы скребли, и он боялся, что они именно к нему пробираются, чтобы прогрызть его и таскать из него муку.

Но место, представившееся Чилигину амбаром, было только больницей, куда его привезли, положив его рядом с другим больным, а за крысу он принял старую сиделку в коленкоровом платье, которое шуршало при малейшем движении сиделки. Впрочем, больной скоро снова сделался бесчувственным на целую неделю и не помнил, кто его лечил, кто за ним ухаживал и когда совершили операцию в его ноге, в которой открылся антонов огонь.

Когда он пришел в себя, то целый день употребил на то, чтобы возобновить в памяти все случившееся с ним. Между прочим, он вспомнил о луке, отчасти оставшемся в его кармане, и тотчас обратился за разъяснением этого обстоятельства к сиделке. Та сердито приказала ему молчать, но, впрочем, успокоила его, объявив, что деньги его — тридцать пять копеек — останутся целыми, а лук, найденный в кармане, выброшен в помойную яму... тсс! Чилигин успокоился, увидав, что его кормят хорошо, только не очень сытно. Действительно, выздоравливая, он очень жадничал; поедал все, что ему давали, и все-таки считал себя голодным. Барин, лежавший с ним рядом, заметив это,

стал отдавать ему почти всю свою порцию. Чилигин и ее поедал. С этого началось их знакомство. Оно упрочилось еще более тем, что оба были больны.

Но Чилигин в первые дни неохотно вступал в разговор. Он молча лежал, все раздумываясь о своем положении, беспримерном и поразительном в его жизни. Во-первых, его кормили даром; во-вторых, ему нечего было делать. Тогда как в настоящей, во всамделишней его жизни он вечно гонялся за куском, а о досуге, — о таком досуге, когда ничто не печалило бы, — он до сего дня не имел никакого представления. Это странное положение дало ему возможность и время глубоко задуматься. Но досужая мысль его сперва освещала только внешние, окружающие его предметы и явления. В палате стояла невозмутимая тишина. Чилигин прислушивался, смотрел. Он никогда не жил в такой избе, где стены были белы, как снег, потолок высок, окна громадны. Выкрашенный пол казался ему столом, и он смертельно испугался, когда однажды плюнул на него, тотчас стерев ладонью замаранное место. Осмотрев все эти предметы, он сказал раз вслух: «У, как тут чисто!»

Он не пропускал ни одной мелочи без внимания. Простыню, на которой лежал, он несколько раз ощупал; подушку исследовал со всех сторон. Когда ему принесли в первый раз тарелку, он позвенел об нее пальцем, а когда ему дали металлическую ложку, он попробовал ее зубами. Любопытство его проникало всюду. И всякий раз, как что-нибудь обращало его внимание, он делал свои замечания, которые по большей части выражали его удивление насчет чистых вещей. Но все, что его окружало, казалось ему холодным, скучным, хотя и богатым, причем ему пришло в голову, что было бы хорошо, ежели бы все это было дома и ежели бы возможно было жить так. «Чудесно было бы, чисто и приятно!» Однако, в опровержение этой сумасшедшей мысли, он уныло покачал головой и сказал: «Как же, держи карман!»

Сосед видел его скуку и затевал с ним разговоры. Чилигин, наконец, сделался сообщительнее. Беда только в том, что им часто разговаривать было не о чем, потому что общим между ними было только больное положение и больничная порция. Тогда барин стал читать книжку. Книжки Чилигин раньше всегда как-то побаивался, и если ему приходилось держать такую вещь в своих руках, то он всегда улыбался, как ребенок, которому кажут неизвестную вещь, а он думает, что она укусит. Книжка была «О земле и небе», школьное издание. Барин не ограничивался одним чтением, — трудные места он обстоятельно объяснял. Чилигин в некоторых местах взволнованно слушал. Наконец чтение кончилось, и сосед спросил, как ему понравилось?

— Забавная книжица. И даже очень приятно, — отвечал Чилигин.

Больной сосед нахмурился.

— Только забавная? — спросил он.

— А то что же еще? Побаловаться от скуки можно, — возразил Чилигин.

Барин просил объяснения, горячился, и Чилигин добавил, что такое баловство мужику не идет.

— Отчего не идет? — спросил барин.

— Так. Жирно очень!

Сосед-барин не понимал и продолжал допытываться. Он повернулся лицом к товарищу и пристально осматривал его, тогда как последний не глядел никуда, мрачный и задумчивый.

— Почему же жирно? Наука — для всех.

— А для мужика — предел, — возразил Чилигин. — Потому ему предел, чтобы он не безобразничал. А то книжки... ловко сказал!

— Да что же худого в книжках? — спросил тоскливо и с удивлением больной.

— Например, разврат и прочее.

— Как?!

— То есть подлость! — Чилигин говорил мрачно. — Потому, ты не балуйся, а живи по совести. Назначена тебе точка, и ты сиди на ней, а нечего тут безобразия выдумывать, лежать вверх брюхом. Ты станешь книжку читать, другой мужик захочет тоже, а я за тебя отдувайся! Нет, уж ты сделай милость, прекрати эти глупости; работай, брат, потому тебе от самого первоначалу положена эта самая точка, а не забавляйся... А то книжка... эдак всяк бы захотел книжку читать да ручки свои беречь!

Сосед опечалился, выслушав это. Лицо его омрачилось туманом. К его удивлению, он пришел к заключению, что не Василий Чилигин не понимает его, а, напротив, он не понимает Василия Чилигина. Из слов последнего он понял только то, что читать книжку почему-то бессовестно, худо. Тогда он стал говорить о прошлом, начав издалека, чтобы добиться с товарищем взаимного понимания. Он рассказал в простой форме, как жил крестьянин в старые времена, как его преследовали, убивая в нем душу, унижая человека и доводя его до звериного состояния. Долгое время он был подлый раб для других и для себя, потом он сделался «холопом Ванькой»; наконец, его обратили в «мужика», из снисхождения крича ему иногда: человек! Не убили в нем душу, не обратили его в зверя. Но он все-таки пострадал. Он стал живым мертвецом. В нем сохранилось много живого, но многое умерло в его душе и исчезло из его памяти и жизни. Он стал труслив в отношениях к высшим и часто жесток

к своему брату. Страдая сам, он сделался равнодушен вообще к страданиям. Меру человеческого достоинства он тоже утратил, называя себя вслух дураком и создавая сказку об Иванушке. Он потерял величайшую силу жизни — самолюбие. Живя в грязи, он думает, что это так и следует. Ничего не зная, он говорит, что наука — доброе дело, но сам для себя не считает ее пригодною, потому что он — мужик, то есть нечто среднее между человеком и каким-то неизвестным животным. И вот потому, что сам он себя не уважает, никто и из посторонних не питает уважения к нему. Разве иногда пожалеют.

— Верно. Так. Не уважают. Как есть ты свинья, так и нет тебе никакого снисхождения! — взволнованно проговорил Чилигин, когда барин кончил свой рассказ.

Цель была достигнута. Чилигин проникся глубочайшим интересом к разговору. Но он долго не понимал вопросов.

— Ну, что ты вообще разумеешь под словом, например, худо?

— Не жрамши быть, — отвечал, наконец, Чилигин.

Больной барин с грустью посмотрел на говорившего. Он долго после этого молчал, видимо озадаченный, и боялся спрашивать дальше, чтобы еще более не разочароваться. Он задумчиво вглядывался в широкое лицо собеседника и только по истечении долгого времени предложил и второй вопрос: «Чтó хорошо?» Чилигин сначала отвечал: «*Двадцать пять рублей*». Удивленный этой загадочной цифрой, барин попросил объяснения; но Чилигин наивно рассказал, что он никогда не обладал такой суммой и желал бы малость попользоваться. Очевидно, что помянутая сумма была для него решительно мифической.

Барину опять пришлось долго говорить, чтобы выяснить, чтó, собственно, он желает знать. А именно, он желает узнать, какую жизнь вообще Василий Степаныч считал бы хорошей?

— Ну, ты скажи, чего бы ты для себя желал?

Но с этого момента начались поистине нечеловеческие усилия Чилигина. Барин все продолжал вглядываться в него. Он думал, что собеседник его теперь шибко размечтается, уйдет с пахнущей пóтом земли на чистое и счастливое небо, уйдет и оттуда расскажет свои сердечные помыслы, тайные думы и глубокие желания. Но Чилигин просто мучился. Вопрос действительно взволновал его, но решить его он был не в силах. Он вертелся на своей койке, поводил глазами по комнате и шевелил беззвучно губами. Настали сумерки. Воцарилась могильная тишина во всей больнице. Сквозь оконные стекла виднелась зарница, разгораясь все ярче и ярче на темном небе. Чилигин все вертелся на кровати и кряхтел. Несколько раз он садился на постель и глубоко вздыхал или шептал что-то, задумчиво почесывая свою спину. Мрак ночи все более и более сгущался,

парализуемый лишь луной, которая бросала несколько бледных лучей на пол палаты. А Чилигин все придумывал умный ответ на взволновавшую его мысль.

— Да ты уж лучше отложи. Успеем еще наговориться, — сжалился барин.

— Нет, ты погоди. Я все тебе распишу по порядку! — торопливо начал Чилигин. — Во-первых, милый человек, скажу тебе насчет сытости, то есть как должно всякому человеку питаться, например, и тут я тебе скажу прямо, что двух пудов вполне достаточно для меня, а стало быть, для всего моего семейства, по той причине, что мне за глаза довольно мешка. Ладно. Два пуда. Теперича насчет хозяйства. Чтобы хозяйство было уж вполне, как следует человеку, а не какому-нибудь бродяге, — чтобы вполне довольно было скота, птицы и прочего обихода, потому без этой живности нашему брату, не говоря дурного слова, чистая смерть. Ладно. Птицы и прочее. Но главное — лошади, и ежели говорить по совести, то лошадь должна быть дельная, натуральная, то есть прямо лошадь в теле, чтобы ежели сорок пудов, так она везла бы честно. На такой лошади, братец ты мой, и выехать на улицу лестно, потому что она все равно как ветер, а со стороны тебе уважение.

Больной барин резким движением завернулся с головой в одеяло и мрачно уткнул лицо в подушку. Он не хотел больше слушать, показывая вид, что ему спать хочется. Чилигин остановился.

Но расходившееся воображение его долго не могло успокоиться. Перестав говорить, он не прекратил обдумывания хорошей жизни, взволнованно ворочаясь на постели и изредка продолжая шептать: чтобы все как следует и... Никогда он так усиленно не думал. Голова горела от напряжения, сон бежал от глаз, и он до глубокой ночи лежал с широко раскрытыми глазами, как будто желая проникнуть взглядом в окружающую темноту комнаты. А ночь делалась все темнее. Месяц скрылся. Окна больницы чуть-чуть виднелись из глубины палаты, едва освещенные неопределенным звездным светом. Тишина всего окружающего ничем больше не нарушалась. Чилигин стал успокоиваться, чувствуя изнеможение сил; шептать он перестал, лежа неподвижно на койке; глаза его закрывались. Но вдруг его озарила неожиданная мысль, от которой он даже приподнялся и сел середи постели. Было далеко за полночь.

— Барин! — тихо, полушепотом, окликнул он соседа.

Барин высунул голову из-под одеяла.

— А ведь все это — бездельные глупости! — прошептал он дрожащим шепотом.

— Что такое?

— А то, что я тебе врал насчет мереньев-то. Никогда этому не бывать. Главное не тут, что я врал...

— Где же?

— А в том главное, что терпи и больше ничего.

Сказав это, Чилигин посидел еще несколько минут, потом лег и заснул.

Больной человек сбросил с себя одеяло, желая еще о чем-то спросить, но Чилигин уже спал богатырским сном.

Больше никогда между двумя больными не возобновлялся этот разговор. Чилигин стал быстро поправляться; но, выздоравливая, он не сделался прежним Чилигиным. Он сделался кротким и благодарным. Раньше никто о нем не заботился, и его поражало до глубины души то обстоятельство, что теперь о нем заботились сразу четыре человека: доктор, сиделка, сестра милосердия и больной барин. К старой сиделке он чувствовал некоторый страх: достаточно было с ее стороны одного слова, чтобы он сделался смирнее ребенка. К доктору он питал уважение и благодарность за лечение и хорошее обращение: «придет, велит высунуть язык, и больше ничего, а не бранится». Что касается сестры милосердия, изредка навещавшей больницу, так у Чилигина к ней родилось самое сложное чувство, несмотря на то, что та была у него всего раза три. Когда она в первый раз собственными руками промыла ему рану, он проникся безусловным изумлением и серьезно расчувствовался, отчего на глазах его показались слезы. В последний раз он намеревался было схватить ее руку и приложиться к ней, но остановился перед этим поступком только из страха, как бы чего не было.

В последний день, когда доктор объявил его выздоровевшим и велел ему выписаться, он глубоко задумался. Между прочим, ему захотелось отблагодарить чем-нибудь добрую госпожу. Никому не сказавшись, он сходил в мелочную лавочку и, возвратившись назад, остановился в темном коридоре, дожидаясь прихода барыни. Лишь только она поравнялась с ним, он вручил ей бумажный картуз. «Что такое?» — воскликнула сестра милосердия. Оказались грязные пряники. Она засмеялась и отдала их назад. Чилигин не мог сказать от замешательства ни одного слова и стоял как вкопанный, смотря на удаляющуюся сестру.

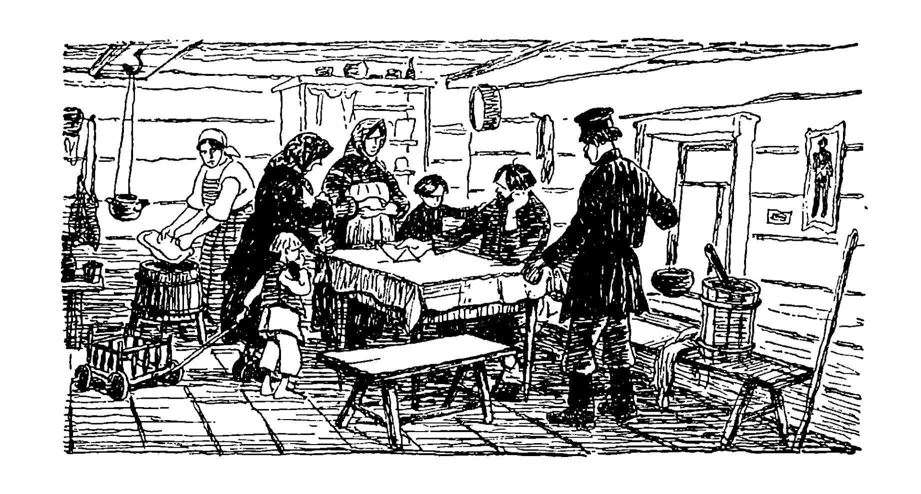
Когда он выходил из больницы через час, его охватила тоска.

. . . .

Здесь кончилось для Василия Чилигина праздничное время, когда он мог отдохнуть, оглянуться вокруг себя, порыться в своей душе и задуматься. А что с ним будет дальше? Быть может, увидав снова свою убогую обстановку, он почувствует отвращение к ней, и нападет на него тоска, и он апатично примется работать, равнодушно доживая свой век; быть может,

он потопит свою печаль в тухлой водке; быть может, его начнет душить злоба, когда беспросветная жизнь в деревне снова закрутит, завертит его, не давая минуты времени для раздумья, когда в уме зародится беспредметная ненависть, а по телу разольется бессильная желчь... Но, быть может, он сразу забудет все и снова заживет...

Дальнейшие события в жизни Чилигина состояли в том, что, во-первых, он пришел домой и съел два фунта сухарей, по той причине, что у Дормидоновны ничего не было и во все время его отсутствия она из-за хлеба жила у попа; во-вторых, к нему на другой день явился староста и объявил его должником мира, который заплатил за него больничную плату, а впрочем, с искренним сожалением спросил, отчего он хромает? На это Василий отвечал: «Лапу отрезали». В-третьих, на другой же день его призвали в волость, где довольно многочисленные кредиторы его встретили объявлением, смысл которого состоял в одном слове: «отдавай!» В-четвертых, быстро сообразив, что с него намереваются содрать шкуру, он незаметно удалился со схода и тем спас себя на некоторое время от неминуемой гибели.



ДВЕ ДЕСЯТИНЫ

Вся семья была в сборе по случаю получения письма, которое явилось весточкой, поданной издалека сыном. Обыкновенно при получении такой редкой вещи в крестьянской семье получатели испытывают особенное настроение, не знакомое ни в каком другом общественном слое, потому что «письмецо» приносит с собой или весть о здравии человека, о котором уже много лет ничего не было слышно, или о неожиданной смерти. Один вид писанной бумаги, вложенной в конверт с марками, производит уже некоторого рода душевный переполох; все бросают занятия и сосредоточиваются взорами на страшном листе с его страшными письменами. Так было и в этом случае. Письмо держал на ладони сам хозяин, задумчиво поглядывая на него; около хозяина разместилась как попало его семья: жена, бросившая помои, которые она приготовляла для теленка, два мальчугана, ездившие до этого времени друг на друге верхом, а теперь засунувшие руки в рот, старуха, приползшая в избу с завалинки, где она грелась на солнечном припеке, и зять с женой, пришедшие ради такого редкого случая с другого конца деревни. Воцарилось торжественное настроение; все глядели на письмо. Хозяин был задумчив; хозяйка вздыхала; старуха

мрачно качала головой. Только зять с женой легкомысленно болтали. Прочитать письмо никто не умел.

— Вот тебе и Ивашка! — говорил среди всеобщего тягостного молчания зять. — Ему бы только вырваться, а там поминай как звали. А ведь дожидали... а он хоть бы что... Выходит, стало быть, надо прямо говорить, так: нет ни денег, ни Ивашки!

— Точно, дожидали... Главное, как теперь быть с землей? — тоскливо и скучно возразил сам хозяин, обводя всех пораженными взорами.

— Про то я и говорю: нет ни денег, ни Ивашки!

Еще не узнав содержания письма, все были грустно изумлены и растерялись. Ивашку, приславшего эту бумагу, действительно ждали к весне; в крайнем случае ждали от него денег, необходимых для съемки земли, и вдруг — хлоп, письмецо! Зять довольно правильно определил положение семьи: нет ни денег, ни Ивашки, а стало быть, невозможна и съемка земли. Без земли же семье угрожала зловещая участь. Отсюда всеобщая тягость и удивление. Старуха, неизвестно отчего, плакала, шепча молитвы; хозяйка, видимо, закручинилась; ребята с испугом поглядывали на всех, не понимая, что все это значит.

А письмо все еще не было прочитано.

— Молчи, молчи, баушка! дай срок, вычитаем ужо все по порядку... Айда, ребята, к учителю. Он нам почитает.

Эти слова заставили встрепенуться всех, бывших в избе. Только ребята остались дома для караула, все же остальные двинулись к учителю. Впереди всех шел сам хозяин, бережно держа на ладони письмо, за ним шествовали хозяйка и зять с женой, а, наконец, позади всех ковыляла старуха, переставшая плакать. Учителя застали на огороде, который он приготовлял для засева, но прочесть он не отказался. Сейчас же вся семья обступила его со всех сторон и приготовилась слушать. Учитель было отложил конверт в сторону, но его заставили прочитать «все дочиста», что написано, без пропусков, и он волей-неволей должен был декламировать сначала весь конверт, где оказалось, кроме названия губернии, уезда, волости и деревни, имя Гаврилы Иванова Налимова, а потом длиннейший список сродственников, которым адресат воздавал должное — кому поклон нижайший, кому от бога здравия и всякого благополучия, а родителям поклон до сырой земли, причем испрашивалось родительское благословение, навеки нерушимое. Во все продолжение монотонного чтения лица слушателей были напряжены, глаза влажны, за исключением самого хозяина, который ждал конца письма и разрешения мучительного недоумения. Конец состоял всего из нескольких строк. Учитель, отдохнув от утомительного перечисления сродственников, прочитал следующее:

«А что касаемое насчет моего возвращения домой, чтобы то есть пустые баклуши бить подобно лодырю, поэтому я не возвращусь. Здесь по крайности я завсегда в полном спокойствии и существует кусок хлеба, а ежели болтаться по-прежнему дома, а меня будут пороть за землю, коей все одно, что нет совсем, и она для меня никакого интересу не дает, не только чтобы хоть горький кусок, то лучше же мне оставить это дело в стороне. Теперь я живу в трактире для чистки посуды, а жалованья мне положен рубль, да еще хозяин сулит превосходную работу, когда опростается место полового; если же бы я пришел домой и меня бы начали завсегда пороть без снисхождения, отдай, мол, подати, а, между прочим, земля не предоставляет для меня никакого предмета, а не только что удовольствие, и никакого смысла в этом для меня нет. И лучше не уговаривайте меня, Христом богом умоляю, потому сказал — не пойду, и не пойду, и не невольте меня. Иван Гаврилыч Налимов!»

Женская половина слушателей быстро успокоилась, услыхав, что Ивашка жив, но зато Гаврило замер на месте, пораженный, как громом, поступками сына. Темное лицо его еще более почернело. Он постоял-постоял на месте, и когда учитель опять принялся копаться на огороде, очищая его от сору, нанесенного вместе со снегом, то обнаружил несколько раз попытку поговорить, но только пожевал губами и поплелся понуро домой, имея вид ушибленного. Он держал письмо до самого дома по-прежнему на ладони, боясь к нему притронуться, а за ним в том же порядке двигалось семейство, кроме, впрочем, зятя и дочери, отправившихся в свой конец.

Лучше чистая смерть! — так казалось в первые минуты Гавриле. Страшное письмо оглушило его, причем он поражен был не столько странными поступками сына, сколько тем положением, в которое он внезапно попал вследствие отказа со стороны Ивашки от своей души. Действительно, до прихода этого письма у Гаврилы были мысли настолько лучезарные, что он нисколько не сомневался в возможности вечно снимать землю, и если в минувшую осень семья решила отправить сына Ивашку на заработки в город, то опять-таки только затем, чтобы получить таким путем необходимые средства пахать землю. Сам Гаврило не только ничего не умел, но и не питал склонности ни к чему, что не касалось бы земли; ко всякому другому рукомеслу он был совершенно равнодушен. Это-то свойство часто вводило в заблуждение людей, которые с ним сталкивались, в особенности людей образованных, вроде посредников, становых и мировых, — всем им он, вместе с другими ему подобными мужиками, казался страшно туп. Каждый из этих людей, собственными своими сношениями с мужиком, убеждался, что он туп подобно барану и упрям как осел: не понимает ни дел, ни разговоров. Отсюда

происходили необыкновенно нелепые столкновения, когда образованный человек и мужик стояли друг перед другом чистыми болванами. Принимаясь в чем-нибудь убеждать, первый сначала видел, что мужик (например, Гаврило) как будто вполне соглашается с ним. «Да, да! как раз! уж это как есть!» — говорил мужик, вызывая этими пустыми словами радость в душе разъяснителя. Но стоило только образованному прекратить свои горячие рассуждения и спросить, как об этом думает собеседник, последний (например, Гаврило) вдруг начинал нести такую околесную, что хоть уши затыкай. Гаврило обыкновенно давал ответ, не имеющий ничего общего даже с разговором собеседников, из которых один после этого приходил в исступление, а другой замирал и молчал, как столб. Между тем, положа руку на сердце, можно засвидетельствовать, что Гаврило не был ни глупо упрям, ни туп. Во все продолжение странного разговора он, может быть, думал о «Сучьем вражке» (чудесная землица! дай бы господи, мне досталась!) или о лемехе, который, может быть, в эту минуту был в починке у кузнеца, вообще думал о чем-нибудь своем, близком и понятном. А думал он о своем (в то время как ему долбили и разъясняли), потому что был в полном смысле специалист, всепоглощенный специалист, утонувший в земле с ног до головы. Хорошо ли это или худо, но специальность его настолько широка, что кроме нее он действительно ничего больше не понимал и не умел. Если бы когда-нибудь пришлось обратиться за советом по вопросу о лугах, о навозе, о ржи и мякине, о количестве и качестве надела, вообще обо всем, что касается земли, то каждый мужик оказался бы самым смышленым и глубоким знатоком между всеми людьми, не исключая мировых и становых, из которых тоже у каждого есть своя специальность: у одного — судить, у другого — выбивать недоимки, и которые, затесавшись в специальность Гаврилы, выказывали бы себя также чистыми болванами.

Потому-то Гаврило так и поражен был, по-видимому, пустым письмом, — никак он не мог понять поступков сына и того, чтобы земля «не давала для него никакого интересу...»

В тот памятный год, когда все жители в его собственной деревне пустились во вся тяжкая рыскать за пропитанием, которого вдруг не хватило, когда явилась неожиданно так называемая «нужда», состоявшая, как известно, в том, что у жителей пучило животы, Гаврило вместе с прочими бежал сломя голову в дальний город. Требовалось достать пищи во что бы то ни стало, немедленно, почти сейчас, рассуждать было некогда, хлеба, — во что бы ни стало и за какую угодно цену, — и Гаврило прибежал в город. Подгоняемый этим ужасом, он напал с радостным остервенением на представившееся ему в скором времени место. Это было беспримерное счастие в то время: он попал в сторожа

в конторе при вновь строящейся железной дороге. Все его обязанности состояли, — кажись, чего проще! — в том, что он утром должен был подметать контору березовой метлой, а весь остальной день стоять у двери и «не пущать». В этот памятный год рабочие отдавались почти из-за хлеба, но, несмотря на ничтожность заработной платы, наплыв был так густ, что контора большинству отказывала, а так как жители все-таки нагло лезли и надоедали, то она и распорядилась — «гнать силой». И Гаврило гнал. «Куда? поворачивай оглобли!» — кричал по целым дням Гаврило; если слова не действовали, он давал по шее, — словом, исполнял свои обязанности нещадно и добросовестно, даже лицо сделалось у него зверским, и в какой-нибудь месяц он так остервенился, что трудно было узнать его: из робкого, пугливого мужичка с черным лицом и с пегой бородой он сделался цепным псом, которого приучили лаять и кусать. Но недолго Гаврило усидел на своем месте и кончил чрезвычайным скандалом. В день получки жалованья он напился мертвецки пьяным и, стоя у двери, то ругался, то рыдал, рыдал навзрыд, после чего сейчас принимался отборными выражениями ругаться с кем попало; между прочим, обругал какого-то барина, занимавшегося в конторе, за что и был сию же минуту побит и прогнан. После этого он еще несколько дней шатался по городу в поисках за работой, проночевал несколько ночей под заборами и поплелся домой. Дома на все расспросы о его промысловых приключениях в городе он ничего путного не мог ответить. «Был сторожем... дул по шее!» — говорил он в замешательстве. «Ну а еще что же?» — спрашивали у него. «Что же еще?.. больше ничего...» — возражал он, окончательно спутавшись, и не понимал сам, что, собственно, с ним тогда случилось. За что он получал жалованье и зачем «дул по шее»? Этот прожитый вне его обычной сферы месяц кажется ему до того нелепым, что он не может вспомнить о нем без замешательства.

Очевидно, выбитый из своего обычного положения, с которым он сросся всем существом своим, он терялся, становился человеком-болваном, хворал всей душой, был никуда не годен, делался *сам не свой*. Душа и сердце Гаврилы были зарыты в землю. Он походил на растение, которое неразрывно соединено с землей и, вырванное, засыхает и чахнет, годное только на съедение скоту. Но было бы ошибкой сказать, что его отношения к земле носят на себе следы рабства. Самый яркий признак рабства — это неволя; между тем у Гаврилы и ему подобных душа и сердце *сознательно* были зарыты в землю, составлявшую неразрывную часть его самого.

Более двадцати лет он пахал, никогда ничего не получая, кроме нечеловеческой усталости, более двадцати лет сеял, собирая плоды в виде неизменной березовой каши, всю жизнь мечтал,

как бы еще больше вспахать и засеять, и, собирая каждогодно вместо настоящих плодов березовую кашу, приходил в отчаяние, но ни разу не пришла ему в голову мысль, что земля — его враг, что он должен ее бросить и бежать без оглядки на поиски других занятий. Гаврило, после всех бед, какие приносила ему земля, сделался только жаднее — вот и все.

Он желал больше, все больше земли, чтобы она у него была и спереди и сзади, по бокам и под ногами, чтобы он завален был, окружен ею со всех сторон, чтобы, куда он ни взглянет, все бы виднелась она. Он не мог равнодушно слушать известного рода рассказы, которые иногда делал от нечего делать его зять: разинет рот, засверкает глазами и замрет.

— Слыхал я, что там сорок десятин на душу, — равнодушно говорил зять, рассказывая про губернию, находящуюся в отдаленных местах.

— На душу? — спрашивает Гаврило с начинающейся дрожью в голосе.

— А то как же! Там, брат, иди ты сейчас из дому и ступай на все четыре стороны, куда хошь, на тридцать ли, на сорок ли верст от своей деревни, и чтобы кто тебя остановил: стой, мол, куды лезешь в чужие места! — там этого нет. Хошь ты целый день иди, а до конца краю своей земли не достигнешь. Непроходимые места!

— Уж будто... чай, враки?

— Ну вот, стану врать. Я сам видал человека с тех местов в городе, своими глазами, как вот сейчас тебя; приехал бумаги справить. Он мне все и рассказал. Да и видно сразу по роже, что мужик не наш, то есть, прямо сказать, как перед богом, даже и не крестьянин, а шут его знает, какой такой человек, какого роду: настоящая туша, пузо жирное, толстомордый, словно барин! Гляжу я это на него и думаю: есть же, мол, такие мужички на свете!.. Да ежели эдакий верзила даст нашему жителю щелчка — богу душу отдаст! потому что человек сытый, кормленный, хлеб ест белый, убоину жрет вволю, а тут сидит наш-то, как кулик на болоте, и только думает, как бы не помереть от нужды! Так вот гляжу я на него и думаю: «А что, говорю, Степан Яковлич, много в ваших местах угодья?» — «Угодья, говорит, у нас, слава богу, довольно». — «А как, говорю, к примеру?» — «Да десятин сорок, што ли...» — «Стало быть, пропитаться вполне можно?..» Смеется!

— Так и сказал: сорок десятин? — спрашивает Гаврило уже совершенно изменившимся голосом.

— Сорок ли, пятьдесят ли, там этого не разбирают, потому что, прямо сказать — конца краю нет.

После такого разговора Гаврило выглядит некоторое время как бы помешанным; такая в нем разжигается жадность, что он

и слов больше не в состоянии подыскать. Вдруг ему приходит на память настоящий его земляной надел, ничтожество которого теперь ему ярко до очевидности, и он приходит в отчаянную апатию. Слово «сорок» режет его до нестерпимой боли, и в нем моментально выступают самые мрачные чувства: зависть, ненасытность и отвращение к своей жизни. Гаврило просто боялся вести такие разговоры, потому что они, разжигая его преобладающую страсть, поселяли в нем страшное беспокойство.

— Беспременно врет он! — успокоивал себя Гаврило, приписывая зятю способности беспутного лгуна.

Сама жизнь помогала ему успокоиваться, ежедневно засасывая его в тину пустых забот и не давая времени одуматься и размечтаться. В этом, пожалуй, и заключается разгадка того обстоятельства, что, никогда не получая никаких плодов, он продолжал пахать и сеять и все жаждал нахватать больше и больше десятин на свою шею, под какими угодно условиями. Каждый год это ему более или менее удавалось, и каждый год у него было по горло возни. После этого понятен тот испуг и растерянность, когда он получил письмо от сына. Его положение в самом деле было отчаянное.

Ивашку он послал за деньгами, чтобы снять в аренду побольше земли у соседних владельцев. Теперь у него не было ни денег, ни Ивашки. Время стояло горячее, большинство выехало уже в поле пахать под яровое, а у него и земли нет! Правда, одну мирскую душу он засеял еще прошлой осенью под озимое, надеясь, что с приходом весной Ивашки мир согласится дать и еще одну душу под яровое; но, во-первых, надежда на мирское согласие значительно ослабевала после письма Ивашки; во-вторых, мирская душа была так ничтожна и плоха, что Гаврило оставлял ее в полнейшем пренебрежении. Удавалось ему получить и обработать ее — ладно, не удавалось — он позабывал про ее существование. Главная и всегдашняя забота его — это прихватить землишки со стороны, и ему каждый год после нескольких неудачных попыток удавалось прихватить; но нынче нет. Ни один из соседних владельцев не дал ему аренды. Все осенью прогнали его без разговора; у каждого было по горсти условий, которыми Гаврило предавался не на живот, а на смерть владельцам, вследствие чего им было выгоднее земли ему не давать, потому что он и без того будет работать целое лето даром. Мог бы он примазаться к одной из компаний, которые составлялись в деревне специально для съемки земли в аренду, но компании все еще зимой составились, а для него места не нашлось. Еще мог бы он пойти к богатому мужику Давыдову, арендовавшему крупные участки, и взять земли через его руки, но это средство было также чистою смертью. Гаврило был по уши ему должен и уже не имел права ожидать с его стороны

снисхождения; земли Давыдов завсегда дал бы, но взамен того насел бы на Гаврилу и целое лето клевал бы его, пока не выклевал весь долг, все проценты на него и урожай с данной десятины. Таковы были обстоятельства Гаврилы в деле по получении от сына письма.

И нашел на него вот какой стих. Пришел он домой с письмом на ладони и сел. Сидит и хлопает глазами. На все вопросы и слова хозяйки, освободившейся от тяжелого настроения после прочтения письма, он отвечал молчанием и нелепой улыбкой. Просидев так половину дня совершенным истуканом, он положил письмо на божницу, пошел к задней лавке, лег и в таком состоянии провел остальную часть дня. Наконец это взорвало и хозяйку и старуху; обе они с страшными упреками накинулись на Гаврилу. Всякого дела по дому у него накопилось по горло, «а у него, вишь, брюхо заболело... Плесну я вот на тебя кипятком, так небось зáраз вскочишь».

Но раз пришедшую хворь нельзя было вылечить так скоро и такими простыми средствами. Гаврило вообще туго воспринимал впечатления и медленно принимал решения. На другой день он принялся было ходить по дому и поправлять разные вещи, которых накопилось множество. Следовало бы поправить телегу, у которой еще до зимы переломилась ось; надо было сходить к кузнецу за лемехом, потом сходить на мельницу за отрубями для лошади на время пашни и пр. Все хозяйство громко вопияло своим дряхлым видом. Наконец, сам Гаврило к этому времени обносился окончательно; у него остался только один ветхий зипун, да и тот требовал починки, а обуви и пояса совсем не существовало; даже шапки, без которой ни один крестьянин не решился бы выехать в поле, у Гаврилы не было, или, лучше сказать, была, но в невозможном состоянии, располосованная недавно щенками. Одним словом, Гавриле предстояла кипучая деятельность.

Однако неожиданная хворь привела его в изнеможение; он ни о чем не думал, руки его опускались, сил не было. Начал он сколачивать телегу и тесать ось. Тесал-тесал дерево и зарезал его, то есть сделал из толстого, дорогостоящего дубового чурбашка тонкую палку, которая годится только собак гонять. Эта горькая неудача так обескуражила его, что во весь этот день он не хотел приняться ни за что больше. Даже хозяйка перестала ругать его; она с тревогой наблюдала за ним, выражая на своем лице жалость. Пошатавшись по двору, Гаврило опять засел надолго в избе и не расставался с лавкой, хлопая глазами и нелепо улыбаясь. Хозяйка не на шутку перепугалась.

— Что я тебе скажу, Иваныч... Пошел бы ты к управителю, авось и дал бы. Так и так, мол, ваше степенство, — ласковей

этак скажи ему, — как вам, мол, угодно, а одолжите землицы, сделайте такую божескую милость... Как же не даст? только попроси хорошенько. Я, мол, завсегда с преданностью к вашему степенству... уж явите божескую милость!.. Умоляй его ласковостью: сахарный, голубчик! заступник наш милостивый! Не оставь погибать бедного человека... И все такое прочее. Авось и даст, искариот!

Не встретив со стороны Гаврилы ни возражения, ни согласия, хозяйка замолчала, еще более встревожась. Она посоветовала было положить в левый сапог богородской травы, так как это помогает укрощать гнев сурового начальника, но и то сейчас должна была умолкнуть, вспомнив, что у мужа сапогов не было. Гаврило на все речи жены отвечал вздохом или чесал спину обеими руками. Да и едва ли он слышал что-нибудь из слов хозяйки, поглощенный всецело своим горем. Из этого тяжелого состояния вывели его не слова, а нечто другое. Как-то к вечеру он вышел на двор, машинально забрел под сарай и наткнулся на бурку, единственную и любимую им лошадь. Бурка жалобно заржал при его входе: голоден был. Это сразу отрезвило Гаврилу. Его с быстротой молнии поразила мысль, что бурка его на всю зиму останется голоден. До сих пор он берег и лелеял свою лошадь так, как не хранил себя и свое здоровье; когда ему приходилось ехать с кладью, то сам тащил воз едва ли меньше бурки; сам иногда голодал, но бурка — никогда. Машинально к Гавриле возвратились все чувства — жалость, страх, энергия и жадность.

Был уже вечер, но это не остановило Гаврилу. Без шапки, босиком, в одном драном зипуне, он вышел из дому на поиски, сам еще не знал куда. Он только дорогой принялся мучительно соображать, ломая голову, куда ему ринуться. Он шлепал босыми ногами по лужам и грязи, которая обдавала его ноги ледяным холодом, но чувствовал жар в голове и выступавший пот во всем теле. Выйдя за околицу, он приостановился, ломая голову — куда идти! А идти непременно надо было, во что бы то ни стало, идти нынче, сейчас, чтобы взять пашни непременно, под какими угодно условиями. В это время ударил колокол к вечерне — и Гаврило поспешно перекрестился, в одно и то же время обрадовавшись этому звону, который почему-то разом прекратил его невыносимое, головоломное мучение, и испугавшись при воспоминании, что он уже около года не бывал в церкви. «За то меня и наказывает бог, проклятого!» — подумал он и пошел обратно в деревню, по направлению к церкви. В церковь он вошел тогда, когда уже началась служба. Впереди стояло несколько старух, все остальное пространство церкви было пусто. Гаврило выбрал ближайший к двери и самый темный угол, где обыкновенно становились нищие и калеки; там он притаился и молился. Он ду-

мал поставить свечку, но, взглянув на себя, удержался на месте; он был весь забрызган жидкой грязью, которая сидела пятнами на его зипуне, покрывала толстым слоем его штаны, блестела, как вакса, на его лапах и образовала мокрые, скользкие следы на полу, где он стоял. Но ему не надо было свечки; он горячо, мучительно молился. Он знал только одну молитву: «Господи Иисусе! Помилуй меня, грешного!» — и ее одну шептал, крестясь и делая земные поклоны. В это мгновение одна у него была просьба — достать пашни. Его сердце кричало: земля, земля!

Когда Гаврило вышел из церкви, его осенила счастливая мысль идти к Савосе Быкову, которого он увидал у попа на дворе. На этот раз и Савося Быков, отличавшийся бесталанностью, был для него счастливой находкой; для Гаврилы важно было хоть за что-нибудь ухватиться и начать хотя бы с Савоси Быкова. Последний чистил двор у попа; земли он, конечно, не снял; нельзя ли поэтому войти с ним в компанию? — думал Гаврило. Явившись на батюшкин двор, он застал Савосю в полном вооружении, с лопатой, с вилами и метлой. Он уже около недели возил сор, подрядившись вполне очистить Авгиевы конюшни, за что батюшка обещал выдать ему полпуда муки, десять фунтов крупы и семь копеек серебром. Савося, обезумевший от такого случайного счастия, с страшной энергией возил со двора навоз; около сорока возов уже стащил и торопился поскорее вывезти остальные сорок возов, заранее предвкушая крупу.

— Чистишь? — спросил Гаврило, подходя к нему.

— Уж сорок возов стащил, — отвечал Савося.

— Ну, ладно. Я к тебе за делом. — Гаврило рассказал ему свое положение. Сын его не пришел и не вернется никогда. К мирской земле его не пустят, да ее такая малость, что одно баловство. — Капиталу у нас нет... Шипикинский барин не даст, таракановский барин протурит. Стало быть, пришла на меня беда. Прямо сказать, ложись в могилу и засыпай себя землей!

Гаврило говорил словами отчаяния, но вся фигура его выражала решимость и страшное напряжение. Он как сел по приходе на кучу сора, так и остался неподвижным. Глаза его сверкали, выражая гнев. Савося Быков сначала слушал его с сочувствием и спокойно, не понимая еще, с каким делом к нему обращался Гаврило.

— Ежели бы я один приперся к таракановскому... да нет, лучше и не показывайся! — сказал Гаврило.

— И глазыньки не показывай, — подтвердил Савося.

— Не даст. Обругает, обшельмует, а не даст.

— Жидомор!

— Сейчас, как только явишься к нему, он прямо в книгу лезет. «А-а-а! это ты Гаврило?» — спрашивает.

— Лют! — согласился Савося, приходя постепенно в возбужденное состояние. Он припомнил свои многочисленные похождения у таракановского барина.

— Особливо, ежели у меня долг, — продолжал Гаврило. — Должен же я ему за прошлую весну да муки брал пудов эдак с пять... Придешь теперь к нему: за тобой числится восемьдесят целковых, скажет... А какие восемьдесят целковых, неизвестно. Словно как бы колом ударит в голову. Стоишь как безумный! Ежели теперь я предъявлюсь к нему, он перво-наперво этим колом огреет: подавай восемьдесят целковых! Ежели спросишь, какие такие восемьдесят целковых? — в шею прогонит, а ежели посулишь уплатить — тоже в шею.

— Не иначе, как в шею! — подтвердил и Савося.

— Вот и пришел к тебе, Савося. Сделай милость, пойдем сообща, чтобы разом... Нагрянем на него: ты с одной стороны, я с другой — не выдержит. Как ты полагаешь?

При этом предложении Савося Быков даже вздрогнул; сердце его екнуло от страха. Это Савосе-то идти к таракановскому барину! Да он с давних пор наводил на него страх одним своим именем, потому что именно этот барин и привел его к краю погибели, запутав его и сделав рабом своим. Савося прежде снимал землю, работал и постепенно получил такое отвращение к этой съемке и к этой работе, что пугался всякий раз, как только вспоминал о них. Какое-то жуткое, хотя и бессознательное, чувство ныло в нем и сосало его всякий раз, как он слышал имя таракановской усадьбы.

Конечно, Савося много был должен, так много, что не мог выговорить цифру долга, и потому был совершенно равнодушен к ней; но его пугал не долг, не эта громадная, сумасшедшая цифра, а самая таракановская работа, таракановская земля, таракановские мировые судьи, — одним словом, все, что напоминало ему неволю, египетские работы и рабский хлеб. И вот Гаврило предлагает ему идти в ненавистную усадьбу.

— Боюсь я! — сказал, наконец, Савося после долгого молчания.

Гаврило не возражал. И ему стало вдруг почему-то жутко. Оба молчали.

— Так не пойдешь?

— Слопает он меня! — проговорил с ужасом Савося.

Потом Савося засуетился около навоза, ринувшись валить его на воз с удвоенной скоростью. Гаврило больше не прерывал его занятия, и если не вставал и не шел, то потому только, что не знал, куда теперь идти, что делать? Для него было только ясно, что он напрасно обратился к Савосе, даром потратил время.

Погруженный в глубокую задумчивость, Гаврило, наконец, поднялся с своего места и собрался уходить. Но Савося еще некоторое время задержал его.

— А что, Гаврило, ежели бы попросить у таракановского хоть с пудик? — спросил оживленно Савося.

— Не даст.

— Пожалуй, что оно так и выходит. Ну, а ты как пойдешь к нему?

Гаврило с мрачным отчаянием покачал головой.

— А ежели ты землишки достанешь, так уж не забудь меня, позови пахать. Живо я это дело оборудую, вполне положись! А насчет того, что у меня у самого пахоты чуть-чуть, дня на два, так ты уж мне доплати, как люди.

Гаврило молчал.

— Дашь полпудика — и то слава тебе господи. Скажу тебе так, то есть прямо выворочу с корнем, верно тебе говорю. А заплатишь, как люди.

Гаврило молчал.

— Мне хошь полпудика да крупы чуть-чуть — и того довольно. Чай, тоже свои люди.

— Да нет у меня земли, пустомеля! Нет земли, пустая башка, нет! — крикнул с глубоким волнением в голосе Гаврило и зашагал прочь с попова двора.

К Гавриле возвратилось сознание безнадежности. К кому теперь идти? По дороге у него стоял домик учителя, туда он и забрел, — забрел так себе, без дела, без определенной мысли, с смутным желанием поговорить, потому что одному ему страшно казалось остаться. Действительно, Гаврило зашел, посидел, поговорил, добродушие учителя несколько размягчило его боль. Кроме того, учитель подал ему благой совет: попросить зятя снять на свое имя землю; зятю, Болотову, окрестные помещики верили больше, как человеку довольно состоятельному. Гаврило и сам удивлялся, как не пришла ему в голову такая мысль: снять землю на чужое имя! Пусть земля пройдет хоть через сотню рук, лишь бы она ему досталась. А что она ему достанется, за это он ручается головой, и он поколеет, а уж землю достанет.

Гаврило высказал это с сдержанным гневом и с явным волнением. Он преображался в такие минуты, когда говорил или занимался дорогим делом. Этот невзрачный человек, ободранный, выщипанный, без шапки и с голыми ногами, покрасневшими от ледяной стужи, как гусиные лапы, удивительно, как этот пугливый крестьянин вдруг превращался в задумчивого или взволнованного, умного или гневного человека, в котором вдруг начинают светить человеческие черты.

— Уж я добуду! — шептал Гаврило, и в том месте, где он сидел, учитель увидал две горящие точки, но самого Гаврилы не было видно среди сумерек вечера.

— Про то я и говорю. Разве тебе не все равно, как ни добыть, только бы добыть, а уж там зять ли, сват ли, главное — земля.

Конечно, тяжело, что и говорить! Если аренда через двое рук пройдет, так она в какую цену влезет?

— Прямо надо говорить, в дорогую цену влезет. И думаю теперь насчет бычка: пропал мой бычок! — прибавил неожиданно Гаврило.

— Какой бычок? — спросил учитель.

— Собственный мой, кровный. Сам я его поил, вот из этих самых рук...

Гаврило показал руки. Но учитель из этого еще не понял.

— Ну так что же, что поил? И продолжай поить, — возразил учитель.

— То-то, что не рука!.. Говорю тебе: пропал мой бычок!

— Да что же, околел он или захворал?

— Бычок? А вот как рассуждаю теперь насчет бычка: ведь ежели, к примеру, я пойду к зятюшке, — что ж, ты думаешь, задаром он пойдет для меня?

— Само собой, нет; не таковский человек.

— Вот то-то и оно-то. Когда еще он приставал ко мне с этим бычком: продай да продай, — а какой шут ему продаст, если еще он хочет заполучить его за бесценок, да ежели и бычок-то не ребенок уж, а целый бык? Кормил я его, кормил, поил, поил, все думал поправиться на нем, — ан нет: не привел господь самому своего кровного бычка выхолить, не рука! Иди, бычок, к любезному сродственнику, иди, милый, к Семке Болотову под нож! Прощай, мой бычок! Не рука мне поить-кормить тебя! Не поминай меня лихом...

Учитель Синицин не без удивления выслушал этот взрыв отчаяния крестьянина, в котором быстро чередовались самые противоположные чувства.

— Ну, что тут заранее убиваться! Может, он бычка-то твоего и не отнимет, — заметил с сочувствием учитель.

Гаврило не возразил, только покачал головой. Он вдруг заторопился уходить и принялся шарить возле порога, где сидел, ища свою шапку. При тусклом свете сумерек, которые уже давно настали, плохо было видно, и Гаврило искал долго и безуспешно. Видя безуспешность поисков, учитель сам начал помогать ему, с недоумением оглядывая все углы своей хаты, спрашивал ребят, не они ли куда затащили, пока, наконец, не спросил тревожно: да точно ли у Гаврилы была шапка? Гаврило вдруг оторопел, спутался: ведь действительно шапки у него не было. Он смущенно распрощался с учителем и вышел, сопровождаемый ласковым и печальным взглядом учителя.

Придя домой, Гаврило посидел на обычном месте на лавке, похлопал глазами, смотря на жену, как она укладывала ребят спать и собиралась сама лечь в постель, но ничего не ответил на вопрос жены: «должно быть, несолоно хлебавши?» Он отпра-

вился в загон, к бычку. Тот уже давно лежал на соломе и сопел. Гаврило погладил его по шее и потом принес ему пойло, с простоквашей, отрубями и кусками хлеба. Гаврило в эту минуту отдал бы ему весь хлеб, но не нашел, — должно быть, за день весь вышел. Гаврило гладил животное по голове, трепал по шее. На следующее утро он еще раз напоил его, встав чуть свет, когда только что петухи запели. «Кушай, кушай!» — говорил Гаврило, лаская животное за уши. Когда бычок все съел и стал лизать хозяину руки, принявшись вслед за тем жевать подол его рубахи, Гаврило не выдержал: на глазах его навернулись слезы, он с размаху ударил теленка и вышел из загона.

Конечно, он забыл обо всем, постаравшись выбросить из головы бычка, когда пришел к зятю, чтобы уговорить его похлопотать насчет аренды. В минуту прихода Гаврилы зять занимался приготовлением к базару, куда он должен был повезти лен, пеньку, лапти, гужи и прочие предметы, скупленные им по мелочам у деревни. Он занимался решительно всем, кроме сельского хозяйства. Понадобилось молоко — он брал молоко; скупит несколько фунтов шерсти — везет шерсть. Особенного барыша эта перепродажа не приносила, но он жил — и этого вполне достаточно, жил несравненно лучше тестя и большинства жителей, поняв хорошо, что в теперешнее время надо быть «на все руки». Сметливый и юркий, как угорь, он проползал довольно ловко сквозь деревенские неприятности вроде «нужды», голодухи, безденежья. Копейка у него всегда была, заработанная таким образом: один грош он выторговывал у мужиков, другой грош выманивал у торговцев — вот и копейка! Таких угрей в нынешней деревне завелось много. Чем-нибудь надо жить! Такие жители ни для деревенского обывателя, ни для человека развитого не симпатичны, но они не подлы, хотя и не честны. Что касается, собственно, Болотова, он был человек терпимый. Правда, терся он между всеми, несколько изнаглел, но понимал и нужду, зная ее по своему опыту.

— На базар? — спросил Гаврило, смотря на суетливую фигуру зятя, раскидывавшего свой товар по сортам.

— А, это ты, тестюшка? — болтливо возразил зять.

— Да, зашел по пути, попроведать...

— Милости просим... Точно, что на базар. Нельзя! Я бы теперь лежал на боку, да колупал в носу, а тут вот поезжай в город. А прибыток — еще как бог даст. Одно беспокойство!

— Уж и беспокойство! — вяло возразил Гаврило, все время думавший, как бы начать разговор, и совершенно равнодушный к многочисленным предметам, в беспорядке раскиданным по сеням. У него стало ныть сердце от ожидания.

— Эка сказал! Тут как в котле кипишь, нет никакого тебе покою, а он не верит! — разгорячился Болотов. — Ты вон ле-

жишь всю зиму на печи да паришь кости, а мне и зимой жарко! вот как ты должен рассудить. Например, гляди вот сюда — лен! Как ты понимаешь его в своем воображении? Ты думаешь — купил, свез, спустил и все дело в шляпе? Никакого размышления больше и не требуется? Нет, брат, это ты не дело говоришь. Лен льну розь. Во-первых, вот гляди: лен желтый, будто на нем корова лежала, а вот эта горсть сизая, как голубь, это значит худой, вымоченный лен, так надо прямо говорить, негодный, и ежели ты не будешь ломать головы, так лучше прямо бросай дело, отходи прочь, все равно как дурак. Надо, чтобы покупатель зарился, чтобы разные штуки перемешаны были ровно, чтобы лен горел, а на это нужно ум. А то выедешь ты со своим добром на промысел, а он, этот лен-то, так огреет тебя по затылку, что ничего от него не останется... Вот я про что говорю.

— Это верно, всякое рукомесло... — вставил Гаврило с возрастающей тоской ожидания.

— Про что же и я говорю! Без ума в нынешние времена не проживешь, — продолжал Болотов. Он собрал, рассматривал лен, который действительно горел у него, как солнце, и принялся осторожно перекладывать яйца. — Без ума, брат, нынче плохое житье. Возьмем, например, яйцо. Конешно, оно яйцо; бывает яйцо пахучее, с духом, бывает болтун — это всякий понимает. А ты сделай так, чтобы твое яйцо, с духом ли, болтун ли — все одно, чтобы оно сплошь было вполне чистое, торговое яйцо, разложи его как следует. Так вот и подумай! ой-ой, как подумай, как его раскласть, чтобы покупатель не обратил внимания. Иная женщина-то придет на базар и только думает, как бы подешевле, — ну, с этой глупой не надо и разговоры разговаривать; другая же попадется ка-аррахтерная, — придет, обнюхает, ощупает, да так тебя обойдет, что и свету не взвидишь! Бывает, что подходит она прямо, господи благослови, к кошелке, да цап за болтун! так уж тут сиди и молчи; ежели она добрая — только плюнет и отойдет, а попадись — долго ли до греха — карактерная, так она тебя при всем стечении народа не только осрамит, да и морду-то твою этим болтуном вымажет — вот какие бывают случаи! Стало быть, ты все это строго должон держать в воображении, а коль скоро нет у тебя головы, так один грех.

— Да уж, чай, греха в эдаком деле много?

— Не то чтобы грех, а беспокойно! Словно как бы в кипятке варится голова... Думаешь-думаешь, ломаешь-ломаешь башку — инда хворь на тебя найдет, словно как бы туман или эдакое затмение ума... Возьмем опять вот творог... Ой-ой! как он достается дорого!

Болотов перебирал разные вещи, приготовляя их для продажи, и рассуждал о каждой с такими подробностями, что разговору и конца не предвиделось.

Гаврило молча, с замиранием слушал, пропуская мимо ушей большую часть разговоров зятя, и все собирался высказать о мучившем его деле; он даже и рот уже открывал, как зять уж продолжал снова свой бесконечный разговор. Наконец он не мог дольше сидеть спокойно.

— Сёма! Сделай ты мне одолжение, в ноги тебе поклонюсь, — выручи меня из беды! — заговорил, волнуясь, Гаврило.

— Значит, худо тебе? — сочувственно осведомился зять.

— Как теперь Ивашка у меня сбежал и достатку у меня нет, а барину на глаза не показывайся, — начал было Гаврило, но вспомнил сразу весь ужас своего положения и не мог говорить.

— Ну?

— Спаси мою душу! Я уж тебе удружу.

— То есть насчет какого предмета?

— Земли у меня нет — вот какой мой предмет! Нет земли — вот и весь предмет... Ты бы взял для меня ренду, тебе поверил бы барин, а?

Зять на некоторое время задумался.

— Сёма!

— Что?

— Сделай милость! не оставь старика. А бычок... пущай бычок идет тебе по уговору.

— Что мне твой бычок! — заговорил торопливо Болотов. — Бычок для меня маловажная причина. Ты думаешь, я рад? А спросил бы ты, сообразил, что такое есть для меня бычок? какой в нем прок существует... Да ладно; так и быть, сродственнику удружить надо... А что касательно бычка, прямо я скажу тебе, нет мне в нем корысти.

Дело было спешное, ждать Гавриле нельзя было; Болотов это понимал и немедленно согласился, в сопровождении тестя, идти к Шипикину. Впрочем, Гаврило, как было решено, не должен казать глаз. Отправились.

Оба были возбуждены, хотя по разным причинам: тесть думал о Шипикине, зять распределял мысленно части бычка на предстоящий базар. Это была сложная умственная работа; требовалось сообразить бычка всего, до мелких подробностей. Взять и заколоть скотину, потом свезти тушу на базар — это, конечно, дело немудреное. Но Болотов из всего привык извлекать часть пользы, хотя бы на грош, но пользы. Он думал о том, куда девать рожки, нельзя ли извлечь пользу из копыт? Точно так же и шерсть теленка долго занимала его голову; он вспомнил, что из коровьей шерсти ткут половики, но от кого он это слыхал, где покупают такую шерсть, куда, в каком виде ее надо представить — этого, хоть убей, он не мог вспомнить! Он беспощадно ломал голову, но ничего не мог придумать по всем этим вопросам.

Он был сам не рад, что все эти предметы лезли ему в голову, мучили его, тем не менее выбросить их из своей головы было не в силах, как какое-нибудь бесовское наваждение. Таков уж был характер его жизни. Как человек, одаренный от природы шустрым умом, он волей-неволей вечно искал предметов для размышления и изобретал способы улучшить жизнь, победить наготу свою и незащитность, возвыситься над окружающей темной бедностью; но как человек голый, живущий в голой деревне, дошедшей до страшно пустой жизни, он, также волей-неволей, должен был пробавлять свой ум пустяками и вертеться между пустяшных дел. Разумеется, пустяшные дела могли дать ему барыша только по грошу каждое, и с помощью их нельзя серьезно скрасить свою жизнь, вследствие чего количество этих пустяшных дел разрослось у него непомерно. Он решительно всем занимался; яйца, молоко, кожи, шерсть, свиная щетина — это только пример; на самом же деле сфера его промышленности была необъятна. И над каждым из этих пустяшных дел он задумывался, на всякую промышленность он тратил пропасть ума, изобретательности, ловкости, почти гения. Безошибочно можно сказать, что вся мозговая деятельность жителей описываемого округа, весь прогресс мысли, все развитие умственности шло именно в этом направлении. Выдумать грошовую промышленность, расширить количество грошовых промышленностей — в этом и состояло все умственное развитие, добытое после освобождения из крепостного состояния. Подобному направлению, впрочем, может быть, в значительной степени помогла старинная, общерусская, прославленная, но на самом деле гнусная «смекалка», которая учит человека «на обухе рожь молотить» и приспособляться к самым отвратительным гадостям.

Так они шли, думая каждый о своем деле, шли в первое время молча, шли, обмениваясь бессознательными фразами. Путь был до Шипикина далекий, почти на целую половину дня, и свободного времени для разговора так же, как и для молчания, оставалось бездна. Гаврило смотрел под ноги, да так и шел, не поднимая головы, наклоненной книзу свинцовой думой; Болотов, напротив, ездил глазами по сторонам, ни минуты не останавливая их на каком-нибудь предмете, что́, может быть, зависело оттого, что он все продолжал распределять части бычка, количество которых разрослось до невероятного множества.

— Да, тут, брат, бывает так, что и идти незачем, — продолжал вслух свои размышления Болотов, говоря все о том же бычке, хотя упоминать именно о нем все как-то стыдился. — Со стороны оно, конешно дело, выходит просто. Между же прочим, он тебя огреет! Ты походи около него, да обнюхай, да сообрази, с какой стороны подойти к нему... Ежели же ты подой-

дешь не с той стороны да сунешься без всякого соображения — никакого толку не получишь. Разве какую ни на есть сущую безделицу!

— Безделицу, уж это как есть! — сказал Гаврило тревожно.

— Про то я и говорю. Хлопот, ходьбы по горло, а интересу мало. И обидно, даже очень обидно!

— Верно. Уж если интересу мало, так как же не обидно? — от всей души согласился Гаврило.

— Ходишь, ходишь иной раз, язык высунешь, голова кругом пойдет, да вдруг возьмет тебя зло, да так разгоришься, что плюнул бы на все и больше ничего. А почему? Интересу мало. Так и теперь — не очень-то одолжил ты меня! Иди вот, беги, верти хвостом, а интересу получишь безделицу.

— Иной раз ничего не получишь от него — это верно! — взволнованно проговорил Гаврило и не мог скрыть ненависти. — А сладко говорит! Уж мелет, мелет тебе, думаешь: ну, слава богу, даст, а глядишь — он тебя эдак ласково берет за плечо, да и пихает в дверь. Здоров точить лясы, чистый Иуда!

Зять, слушая Гаврилу, с удивлением смотрел на него. Ему стало очевидно, что они говорили про разные предметы. Он обозлился.

— Да ты про кого говоришь? — спросил он вдруг и злобно посмотрел на Гаврилу, который в свою очередь пришел в изумление.

— Я-то? Я про барина, про шипикинского, — ответил смущенно он.

— Эх ты, головушка! Ушами ты слушал или... Я ему рассказываю про теленка, а он... эва куды!.. Ты, брат, уши-то шире расставляй, а то... Я ему свое, а он про шипикинского барина, чудак!

Некоторое время оба пешехода молчали, стыдясь взаимного непонимания, вина которого, впрочем, ложилась на одного Гаврилу, потому что он один был в мучительном состоянии. Но Болотов быстро оправился от смущения и продолжал описывать все трудности своей неопределенной жизни. Гаврило стал слушать со вниманием.

— Так вот я про то и говорю, про бычка ли, про другое ли что — все единственно, нигде покою нет, то есть не только что интересу, а даже спокойствия не замечаешь, только и делай день-деньской, что бегай, как собака без хозяина. А все отчего? Оттого, что землю бросил. Теперь иной раз и вернулся бы, да уж боязно, отвык, даже страх какой-то...

— Что ж это ты так... К земле завсегда можно вернуться, от нее не уйдешь далеко...

— Да уж заболтался... Нет у меня уж никакой домашности, а заводить сызнова, тут и веку не хватит, — задумчиво возразил Болотов.

— Что ж ты так? ведь от меня ты отошел вполне хозяином, отчего же ты не соблюл наследства? Ведь мы разделились по-божески? — спросил Гаврило.

— По-божески, — это верно. Ну, только у меня другие мысли были; не рука мне землепашество. Дело уж теперь прошлое, скажу я тебе по совести, поверишь или нет, скажу как перед богом, тоска меня взяла от этого самого землепашества, и даже такая тоска, что, например, кабак был первейшее удовольствие для меня, так и тянет, так и тянет — вот уж до каких пределов дошло. Стало быть, от судьбы мне не велено заниматься хлебопашеством.

Болотов задумчиво говорил с искренней печалью; Гаврило уже с величайшим вниманием слушал.

— Так и спустил все хозяйство. Говорю тебе, судьбы не было. Главное, отчего у меня тоска-то взялась? мысль у меня была одна: утаить ничего нельзя, коль скоро ты землепашец есть — вот какая мысль забралась. От этого самого и бросил всю домашность. Как вспомнишь, бывало, что все у тебя на виду, ничего припрятать для себя на черный день не можешь, все у тебя снаружи, приходи всякий и бери сколько угодно, как вспомнишь, что некуда тебе схорониться, так и тоска. Возьму я, к примеру, себя в теперешнем моем положении, как нет у меня никакой домашности, и, стало быть, взять у меня нечего, то никакой у меня тоски нет, заработаю я малую толику и сейчас денежки в кармашек — чисто-благородно! Приходи сейчас в моем теперешнем положении староста, старшина, хоть сам становой, и ежели я сам расположиться не пожелаю и не выну денежки из кармашка, никто ничего не найдет. Первым делом: «Корова есть у тебя?» — «Никак нет». — «Овцы, телята, свиньи по двору ходят?» — «Никак нет-с». — «Лошадь есть?» — «Только и есть что одна...» — «Значит, ничего у тебя нет?» — «Точно так, ваше благородие...» Коль скоро я денежки спрятал и ежели не пожелаю сам расплатиться, то у меня ничего снаружи нет и никаким образом ничего не добудут. Весь мой живот в монете, а монету кто же полезет считать?

— Никто не полезет. А землепашцу... — возразил было Гаврило.

— А у землепашца весь живот снаружи. Во-первых, скотина, уж это мало-мало, ежели есть одна лошаденка, да коровенка, да три овцы, уже это бедно. У меня было в ту пору две лошади, две коровы с телкой, семь овец, так вот как пустишь их по двору, так даже у самого глаза разгорятся, а не то что у чужого человека. От этого самого и тоска пошла... Ведь нельзя спрятать всю домашность в карман, вся она снаружи, в глаза хлещет. Случилось однажды, такая тоска меня взяла, что я взял да и прогнал всю скотину в лес, чтобы, то есть, схоронить ее. Вот

хорошо. Прогнал это я и сейчас вижу — валят ко мне на двор описатели: старшина, староста и прочие другие, — ну, я вышел из избы и довольно равнодушно смотрю... «Где, спрашивают, у тебя скотина?» Я говорю: «Так и так, коя подохла, кою украли, и ничего у меня нет; ежели бы было, разве я сам не знаю, что надо уплатить? Уж извините. А коль скоро, говорю, у меня нет, то и ничего у меня не полагается. Что же касательно, говорю, будущего года, как только поправлюсь, сейчас все уплачу, будьте вполне благонадежны, даже с полным моим удовольствием». Говорю я это да взглянул на улицу, а там ба-атюшки! вся подлая-то тварь, скотина-то моя, вижу, прет прямым путем на свой двор, и как только ввалилась она на двор — и коровы, и лошади, и овцы, — увидал это старшина мою наглость и подходит ко мне, не говоря дурного слова, да р-раз! р-раз! в одно ухо да в другое! Тут я в ноги повалился... Да ты, чай, слыхал?

— Слыхал в ту пору что-то, — отвечал Гаврило.

— Было, все было. Эх, да что об этом поминать! — с досадой кончил Болотов, как будто отгоняя от себя какие-то темные воспоминания.

Несколько минут оба пешехода молчали.

— С этой поры и пошло, значит? — спросил, наконец, Гаврило.

— С этого и пошло. Главное, эта самая мысль зачала меня мучить: спрятать ничего нельзя. И все мне кажется, что домашностью связан я по рукам и ногам: подобно рабу я у нее... И начал я пущать все сквозь рук; бедность, и до того опаршивел, до той степени уж дошло, что хоть надевай кошель да иди с Христовым именем для ради кусков. Ну, однако, бог не допустил, спас, милостивый, не дал вконец погибнуть. Стал я понемногу промышлять и теперь вот живу по мелочи.

— Землепашество порешил совсем?

— То-то, что судьбы нет. Начни я опять заниматься, и пойдут мысли, знаю уж я! Да и кой шут в теперешнем моем положении приневолит к землепашеству, ежели копейку, какая она ни на есть, сберечь в кармане легче; хочу я ее показать — хорошо, а не хочу, ежели по случаю собственной нужды, не объявить и не объявлю. Потому ведь я сам знаю, когда могу и когда нет отдавать копейку. Время уж нынче такое воровское: кто что увидит, тот то и тащит, а кто сумел вовремя копейку спрятать, тому ничего, жить можно. Да кабы ежели мне еще земли-то полагалось, а то одна душа, стало быть нет никакой возможности мараться, ведь я уже все сообразил. Ну, однако, сильно берет меня раздумье насчет земли!

— А что? — спросил с живостью Гаврило.

— Думаю, что насчет земли чего не будет ли. Меня и берет раздумье, заниматься ли хлебопашеством или уж лучше бросить это дело, потому как нет судьбы...

Внутреннее состояние двух пешеходов совершенно переменилось. Гаврило был взволнован. Болотов стал равнодушен. Последние свои замечания он сболтнул так, от нечего делать, нисколько не веря своим словам, и врал, говоря, что «его берет раздумье насчет земли», — врал потому, что на самом деле давно уже и не думал об этом предмете, сделавшемся для него чуждым и непонятным. Между тем это вскользь сказанное замечание вызвало целую душевную бурю в Гавриле. Он что-то вдруг стал припоминать... и припомнил! Прошлое, забытое в продолжение долгой пустяшной жизни, не позволявшей отдохнуть ни минуты, сразу вернулось, заполонило всю голову бедняги и заставило забыть и Шипикина, и бычка, и две десятины, и все, что за минуту перед тем казалось ему важным. Гаврило с каким-то ожесточением запустил обе пятерни в волосы, поскреб с шумом голову и опустил руки.

Когда они подходили к усадьбе Шипикина, Гаврило уже оправился от нахлынувших на него мыслей. Перед ним снова стоял вопрос жизни и смерти: «даст или не даст?» Гаврило снова ужасался, и, когда они совсем подошли к усадьбе, он выразил на лице и в словах величайший испуг. «Не даст!» — решил, заранее подготовляя себя к самому худшему. Зять успокоил его. Только просил не казать глаз барину, который тогда, ежели откроется обман, действительно уж не даст. Ввиду этого Болотов даже посоветовал Гавриле совсем отойти прочь, спрятаться куда-нибудь. Гаврило на все был согласен, хоть бы в землю провалиться на время переговоров с барином, и ушел.

Невдалеке от самого дома стоял сенной сарай, двери его были, к счастию, отворены, людей вблизи не было, и Гаврило зашел туда. Босые ноги его сильно озябли, да и сам он весь чувствовал необходимость обогреться, потому что на улице стояла слякоть — шел не то дождь, не то снег, а вернее — какие-то помои лились с неба. Весна еще не установилась. Чтобы отдохнуть и обсушиться, Гаврило закопался в сено, воткнув в него сперва ноги, потом туловище и оставив открытою только голову. Он ни о чем не думал. Перед ним стоял двойной вопрос: «даст или не даст?» Его он и решал, причем мысленно хвалил барина в самых ласковых выражениях, если тот воображаемо давал ему, или в самых отборных словах ругал, если не видел с его стороны никакого снисхождения. Конечно, это нельзя назвать размышлением.

Наконец Гаврило увидал зятя выходящим из дому и вылез из сена. Однако вести были неутешительны. Шипикин дал одну десятину. Гаврило, выслушав рассказ зятя, разгорячился. Зять возражал и также в споре сильно разгорячился. «Да ведь я ж тебе говорил, чтобы две десятины!» — кричал Гаврило. «Да куды тебе две, ежели и одна-то тебе не по силе, потому

за нее ты должен убрать две десятины травы да десятину льну, ежели и одна-то тебе житья не даст, хоть пропадай!» — кричал в свою очередь зять. «Да ведь мне же надо две!» — «Ну вот толкуй тут с ним... Да как же можно две, когда тебе и от одной-то, можно сказать, мученическая кончина придет?» — И зять, говоря это, еще раз повторил варварские условия: убрать две десятины лугу, десятину льну и вовремя, месяц спустя после уборки хлеба, заплатить громадную арендную плату; если же десятина льну и две десятины травы своевременно не будут убраны, то хлеба Гавриле не видать, как ушей; барин прямо сказал, что в этом случае до снятой десятины он не подпустит Гаврилу на десять верст... «На вот, смотри записку, тут все написано», — сказал зять и подал бумажку Гавриле.

Болотов был прав; действительно, от таких условий можно было принять мученическую кончину; при этом Гаврило еще отдавался живьем в новые руки, в руки зятя; отныне зять его был кредитором. Но Гаврило упрямо стоял на своем. Взять шипикинскую десятину он согласился, узнал место, где она будет отведена ему, помял в руках записку, но мысль попользоваться еще где-нибудь десятинкой не покидала его: это желание даже упорнее теперь засело в нем. Он простился с зятем, сказав, что в деревню не вернется, и попросил у него три копейки на хлеб. После этого он пошел прямым путем к таракановскому барину. По дороге к деревне, лежавшей на его пути, он купил на три копейки полкаравая хлеба и принялся есть на ходу, не останавливаясь ни на мгновение и все ускоряя шаг, который перешел в рысь. Он трусил, грыз каравай и думал. Думал он о том, какими неправдами еще ухватить одну десятинку у таракановского барина, которому он уже давно не показывал глаз. Для него было ясно, что тот надругается, прогонит, а потом через мирового приневолит к работе за нескончаемые долги.



Все опасения Гаврилы сбылись в точности. Но управитель на этот раз не стал ругаться, когда Гаврило поймал его у крыльца, и даже не

взглянул на него, а только махнул рукой, что означало: «убирайся!» Ему хотелось пить чай. Гаврило, однако, не упал духом; раз что-нибудь втемяшилось ему в голову, никакие уже силы не могли выбить из него решенной мысли. Теперь он решил намозолить глаза управляющему — и намозолил. Через час управляющий вышел опять на двор, чтобы сделать вечерние распоряжения, но куда он только ни шел, Гаврило следовал за ним, не близко, а издали, на почтительном расстоянии. Управляющий спустился к реке, где строили лодку, — Гаврило за ним; управляющий зашел в коровье стойло — Гаврило остановился близ прясла и наблюдал за ним сквозь щели. Управляющий остановится — и Гаврило также встанет как вкопанный и вперит глаза. Управляющий, ничего не видя, чувствовал, что за ним следят. «Отчего он без шапки и без сапогов?» — подумал почему-то управляющий, и ему сделалось неловко. Он мог бы прогнать этого «странного мужичонка», но отчего-то не делал этого. Напротив, он старался не оглядываться назад, не видеть и, может быть, в первый раз не решился прямо взглянуть в глаза оборвышу. Все продолжая ходить по усадьбе, он чувствовал, что его спину прожигают два глаза, как зажигательные стекла, — чрезвычайно неприятное ощущение! Он круто повернулся к преследователю и взглянул прямо в лицо ему.

— Тебе что нужно? — взволнованно спросил управляющий, и не то с гневом, не то со страхом оглядывал «странного мужичонка» без шапки и без сапогов и забрызганного грязью.

— Да все насчет давишнего... Сделайте милость, дайте хоть десятинку! — проговорил задумчиво Гаврило.

— Как звать?

— Меня то есть? Да Гаврило Налимов, как же еще!

— Из какой деревни?

Гаврило сказал. Он говорил совершенно спокойно. В эту минуту он сознавал, что с ним ничего не поделаешь и что никакие угрозы, слова и мучения — ничего теперь для него не значат.

Тут управляющий не выдержал, раздраженно заговорив. С его уст сорвались страшные упреки и ругательства. Он доказывал Гавриле, что все жители его деревни — негодяи и мошенники, что они берут земли даром, ничего не платя и не работая на имение, и что он давно бы мог всю деревню продать с молотка, и если не делает этого, то потому только, что жаль дураков, которые от своей небрежности, лени и пьянства дошли до последнего разорения...

— Так, стало быть, дашь десятинку-то? — спросил Гаврило.

Управляющий пожал плечами, пораженный этой непобедимой неотвязчивостью, и согласился.

Но за это он обязал Гаврилу, кроме арендной платы и разных работ, вычистить все отхожие места в усадьбе (ждали самого

графа из Москвы), и притом нынче ночью. Впрочем, он обещал заплатить. Сейчас же он крикнул сторожа и приказал вручить Гавриле лошадь с телегой, кадушку, лопаты, лампу и прочие инструменты, а Гавриле приказал пока отдохнуть. Гаврило отдохнул и затем принялся среди ночи с величайшей добросовестностью за дело, которое, правда, было незнакомо ему, но которым он хотел отблагодарить управителя, потому что, в сущности, Гаврило был сам удивлен, что добился земли. К утру следующего дня он уже с ног до головы был забрызган вонючею грязью. Управляющий выслал ему несколько мелочи и велел через сторожа передать ему, что он доволен им. Гаврило сиял. Не то чтобы он был рад полученным медякам, но по всему его существу разлилось чувство успокоения и сознание того, что он сделал все, что хотел и что мог.

Здесь кончились на эту весну мучения Гаврилы.

Когда к вечеру он вернулся домой, то вдруг вспомнил, что он в эти дни ничего почти не ел и не спал; ввиду этого он наскоро съел полпирога хлеба, выпил полведра квасу и заснул на целые сутки. После этого одурел: вскочив с постели через сутки вечером, он вообразил, что земли еще не добыл и что ему надо немедленно бежать, чтобы вовремя ухватить хоть малость, и он уже готов был ринуться из избы, но был остановлен хозяйкой. «Да ты никак одурел!» — сказала она и объяснила, что она уже все приготовила для пашни. Гаврило пришел в себя и окончательно успокоился.

Отдав зятю бычка, он справил себе сапоги. Но на пашню не торопился выезжать. А когда медлить было больше нельзя, он сговорился с Савосей Быковым поехать вместе. Савося был рад-радехонек, что нашел товарища.

В первый день их совместной работы у сохи Савоси отвалился резак, во второй день у них ушла лошадь «шут знает куда», ушла на целый день, так что только вечером ее отыскали. Савося при всяком подобном несчастии лаялся и метался, как будто его поджаривали на медленном огне. Гаврило, напротив, оставался спокойным, больше молчал и работал довольно вяло. Ухлопав свою крестьянскую энергию на добывание земли, он был уже бессилен и настоящей работе мог отдать только уцелевший остаток растрепанных сил. В его незаметной жизни, по внешности тихой, из года в год совершалась тяжелая драма. Чем-то она кончится?



НЕСКОЛЬКО КОЛЬЕВ

Лето подходило к концу. Страда оканчивалась, хлеба были убраны. Чисто деревенские работы перестали тревожить жителей. В деревне все было благополучно: дифтерита не было, и можно было рассчитывать, что зимой благодаря энергии местного начальства его и не будет; от пожара во все лето сгорел один амбар, оказавшийся принадлежащим старшине; неизвестному червю, появившемуся было в начале лета на овсе, жрать было нечего, ибо овес поторопились скосить на корм.

В соседнем поместье у Тараканова открылся выгодный заработок — пилка дров, на которые после слома назначены были старые сараи, избы рабочие, конюшни; всего подлежало к слому приблизительно саженей двадцать пять в виде дров. За это дело взялась артель, в которой принимали участие: Василий Чилигин, Мирон Ухов, Портянка и некий Тимофей, по прозванию Лыков. Работали в две пилы.

Портянка пилил сонно, смутно мечтая о воскресной выпивке, после которой он хлопнется где-нибудь на улице и захрапит. Василий Чилигин взялся за пилку потому, что отец стащил недавно у него полмешка муки, продал, а деньги неизвестно куда спрятал, и хотя за такое вероломство он жестоко прибил старика, но муки не воротил. Отец потом жаловался на волостном

суде на варварство сына, что тот беспрестанно его бьет: «Вот он какой есть идол, Васька-то мой! бить бьет, а кормить не кормит!..» Суд, принимая во внимание неугомонный желудок старика, наотрез отверг его жалобу. После этого старик не раз приходил на самое место пилки, чтобы побраниться с сыном, а когда его слова не действовали, то пытался пронять сына жалостью. «Васька! — говорил он: — да ты хоть пожалел бы старого отца, заплатил бы хоть пятиалтынный за побои. Теперь у тебя вон сколько будет деньжищ, так ты хоть малость снизойди к немощи моей, Васька!..» Раз, во время самого разгара работы, между отцом и сыном поднялась драка, причем отец намеревался уже пустить в сына чурбаном, но их розняли артельщики. Вообще Чилигин во все продолжение пилки был озлоблен, постоянно раздражаемый семейными делами. Третий артельщик, Мирон, напротив, радостно суетился; он имел особенную, таинственную причину горячо пилить. Несколько дней работая без всякой задней мысли, он вдруг обратил серьезное внимание на опилки и был поражен их видом. Он припомнил, что в городах опилки не бросаются зря, а идут в дело, особенно во фруктовых лавках, где в них сохраняется «дуля, например, и другой фрукт». Он стал правильно каждый вечер относить по кулю опилок к себе во двор и за неделю натаскал их порядочную кучу. По его расчетам выходило так, что за всю эту громаду он получит по крайней мере два с половиной рубля серебром. Наконец, четвертый артельщик, Тимофей, взялся за пилку дров потому, что привык ходить по чужим людям, сколачивая средства на холодную зиму, и держал себя с неподражаемой веселостью. Он во всем находил развлечение и из самой пилки устроил игру, разговаривая с бревнами. Одному бревну он говорил: «Ну-ко, ты, толстяк, полезай»; другое бревно укорял за худобу или гнилость; на третье вскакивал и плясал по его поверхности.

От его шуток расправлялись суровые лица товарищей. Даже Портянка улыбался. Только один Мирон сердился, не понимая, как можно надо всем забавляться? Но Тимофей не обращал на него внимания. Иногда он начнет ни с того, ни с сего плясать, неистово шлепая по земле босыми ногами; иногда — запоет, а товарищи вслушиваются, задумываются, умолкнут, потому что Тимофей пел задушевно, пел те грустные мотивы, от которых за душу хватает.

Особенно по вечерам Тимофею было раздолье; когда прекращалась работа, артель садилась в кружок, разводила огонь и ждала, пока сварится жидкая кашица или поспеет картофель. Тимофей показывал штуки и фокусы. Он тягался на палке с Портянкой, причем последний не успеет еще хорошенько понатужиться, как уже летит через голову шутника; с Чилигиным он вел забавные споры о том, можно ли проглотить аршин? Чили-

гин уверял, что это пустое, а Тимофей, напротив, показывал, что можно, что недавно в городе, в балагане, он сам видел такую штуку. Забавляя таким образом товарищей, сам Тимофей никогда не смеялся. Лицо его в самые шутовские минуты носило неизгладимую печать печали.

— А можешь пройти на руках двадцать шагов? — спросил его однажды Чилигин вечером.

— Могу, — возразил Тимофей.

— Врешь...

— Ей-богу, могу.

— Двадцать шагов?

— Двадцать ли, пятьдесят ли — все одно, могу.

— Валяй. Чтобы только взад и вперед...

— Ладно, — согласился Тимофей.

Измерили расстояние. Тимофей сделал несколько предварительных опытов, по окончании которых встал вверх ногами. Шел он правильно, изредка колыхался. Вдруг на месте действия появился Рубашенков, таракановский подрядчик и надсмотрщик. Трое артельщиков живо уселись около огня и думали: «Ну, задаст же он ему перцу!» Но Тимофей ничего. Он шлепнулся на землю, встал на ноги и как ни в чем не бывало заговорил с подрядчиком.

— Пожалуйте, ваше степенство, папироску мне! — сказал он, и, к удивлению товарищей, Рубашенков дал ему папироску.

Но когда Рубашенков ушел, Мирон с укором покачал головой.

— Какой ты, право, Тимофей... нисколько нет в тебе страху!

— А чего мне бояться! — возразил Тимофей.

— Да мало ли чего... Даже удивительно, как можно эдак ребячиться. Погляжу я, никакого в тебе нет правила.

— А на что мне правило?

— Да разве можно всю жизнь ходить вверх ногами! Вон у тебя изба стоит без двора — разве это дело?

— Без двора, так без двора. Что мне о дворе печалиться. Только начни заниматься делом, и не оберешься подлостей разных.

— Погляжу я, разуму в тебе, что в малом ребенке! — еще раз покачал головой Мирон.

— Только зачни печалиться о домашности, сейчас страсть сколько подлостей наделаешь. Достатку, а наипаче богатства можно только через подлость достигнуть.

Тимофей, вопреки своему характеру, говорил задумчиво. Натура его была до такой степени искренняя, что, когда он шутил, вслед за ним и товарищи оживали, а стоило ему на мгновение затуманиться, на всех лицах появлялись тени. И на этот раз вышло так же. Едва он пришел в себя, как Чилигин и Портянка повесе-

лели. И долго еще, уже находясь в постели, то есть попросту на голой земле около костра, прикрытые зипунами, они не могли заснуть от шуток Тимофея, который из-под полушубка шептал от времени до времени прибаутки, заставлявшие товарищей покатываться со смеху.

Тимофей для всех был человек легкомысленный, которому все равно, что бы ни случилось в деревне. Разные деревенские недуги и невзгоды как-то не касались его. Ходил он большею частью по чужим людям; там поживет, в другом месте поживет — глядишь, ан зиму как-нибудь и провел. Ходил он по людям по большей части с женой, а если где с женой нельзя было жить, то покидал тот теплый угол, где ему удалось пристроиться, чтобы отыскать другой, в котором могла поместиться и жена. Многого от жизни он не требовал, был бы хлеб и вареная картошка, которую он, впрочем, любил в теплом виде, иначе сердился и делался мрачен. А хлеб и картошку добывать ему удавалось всегда. Изредка два супруга дозволяли себе роскошь: выпивали вместе водки и гуляли обнявшись по улице, гуляли и пели, в промежутках весело разговаривая. Оба были еще молоды, здоровы; жена даже выглядела ядреной с своим толстомясым лицом и круглым туловищем. И хорошо было бы им, если бы они могли вести всегда такую жизнь.

Но русский человек, в особенности деревенский, любит дом, привязывается к нему крепко, всеми помыслами, до самого гроба. Иной в деревне с трогательной преданностью заботится о своем доме, все что-то прилаживая и приспособляя, тогда как на самом деле посмотреть, у него и дома-то никакого нет. Многое множество живет такого рода людей в этой деревне; на месте дома у них стоит одна мечта, притом мечта тревожная, беспрестанно мучающая, неотвязчивая. Иной бедняга ходит, ходит вокруг этой мечты, да и не выдержит, падет, загубленный ненастоящей жизнью. В деревне то и дело происходили необыкновенные и, по-видимому, неожиданные перевороты; один мужик, в особенности из юрких и достаточно бессовестных, выкарабкается из нужды, купит две лошади, «по случаю», захватит несколько земельных наделов и заведет действительное хозяйство; а другой смотает последний скарб, разрушит вконец свою мечту и затем закладывает шапку и шаровары, чтобы выпить. А между тем до этой минуты все видели в нем хорошего крестьянина, потому что у него был дом, хозяйство и все прочее. Эти необыкновенные перевороты так часты и внезапны, что их можно объяснить только болезненным состоянием жителей. Достаточно, кажется, ничтожнейшего случая, малейшего дуновения противного ветра, чтобы свалить с ног ослабевшего человека. Появился в деревне дифтерит — и половины ребят как не бывало! Наложили лишнюю полтину сверх прочего — и два-три человека, как потом оказы-

вается, ослабели и пали, записавшись в разряд мертвых. По-видимому, нет такой болезни, которая бы быстро не привилась к деревне.

Но обидно для Тимофея было слово — «бездомный», ибо под этим словом разумеется и непутевая голова, и голый бедняк, и нищий, и вор. Ни к одному из этих классов Тимофей не желал причислить себя, да и на самом деле не принадлежал к бездомовным людям. Правда, особенной страсти городить у него не было, но дом он имел; при новенькой и чистенькой избе подстроены были сени и чулан — пока больше ничего. Двора в настоящем смысле ему не удалось поставить. То пространство, которое принадлежало к его усадьбе, загородили с двух сторон соседи, так что это пространство походило несколько на двор, но зато третья сторона, выходящая на улицу, не была ничем заставлена. Круглое лето у Тимофея на дворе росла трава, ради которой весь деревенский скот ежедневно по вечерам наведывался к нему; но Тимофей никогда не обращал внимания на коров, лошадей, свиней и овец, когда они паслись на его усадьбе, и не сгонял их, может быть, потому, что своих животных у него еще не было. Кроме травы, посредине двора у него зияла яма, которую он выкопал в тревожные минуты, думая, что со временем она будет погребом. Потом, в углу, подле чулана, стояла какая-то невыразимая постройка, вроде шалаша, покрытая соломой и мочалом. Таково было хозяйство Тимофея.

Это, впрочем, в летний сезон. С конца осени вид Тимофеевой усадьбы резко изменялся: двор и дом доверху занесены снегом; кругом — горы сугробов, и всякая жизнь прекратилась, потому что хозяев здесь больше не было. Тимофей с женой с конца осени существовали где-нибудь в другом доме, у кого-нибудь из соседей, покидая свое пустое хозяйство. Вся забота Тимофея в продолжение зимы состояла в том, что он от времени до времени подходил к летнему своему местопребыванию и смотрел, до самого ли верха занесен дом его или еще его видать.

Происходила такая перекочевка вот как.

К концу лета Тимофей с женой устраивали обыкновенно забор с воротами и калиткой. Хворост и жерди доставались *как-нибудь*, случайно, между делом. Встретится сторож из казенного леса, разговорится о том, о сем, а между прочим, и о том, как бы хорошо было теперь достать где-нибудь папушку табаку; на это Тимофей отвечает, что папушку — это возможно; но и он с своей стороны очень желал бы, чтобы у него были жердочки и хоть полвоза хворосту.

— Ну, так ты наведайся в лес ночком, — говорит дипломатически сторож.

— О какую пору?

— Когда хошь, только чтобы папушка была представлена. Да ты смотри, идол, не попадись!

— Вона! Чай, я не маленький!

Таким образом, через несколько дней у Тимофея на дворе лежал воз хвороста и несколько жердей, которые, по его рассказам, он очень сходно купил, что и действительно было справедливо. Достал он их случайно, без труда; но откажи ему лесной сторож — он и не подумал бы печалиться. В другой раз сосновые жерди достались ему иначе. Шел он однажды ранним утром мимо постоялого двора, стоящего на пустоши, далеко от деревни, и видит — лежат прямо на дороге штук семь сосновых слег. «Ишь ведь дурак, бросил гнить на дожде... чем бы в пользу употребить дерево, а он кинул их в канаву!» — рассуждал Тимофей, подобрал валявшиеся слеги, взвалил на плечо и пошел. Если бы этих слег случайно не увидал он, то, наверное, и не подумал бы о своем заборе, потому что до сих пор с смутным страхом сторонился от того мучительного и оподляющего процесса, путем которого в деревне созидается самое дрянное хозяйство.

Получив случайно хворост и жерди, Тимофей при помощи жены отгораживался от улицы, заплетал плетень и воздвигал ворота, сам увлекаясь своим творением. Воткнув последний кол в землю, он отходил в сторону и оттуда смотрел, любуясь великолепным забором. «Вот так забор! Знатный!» — говорил он жене с гордостью настоящего хозяина. Но это восхищение продолжалось всего дня два-три. Далее он забывал.

Приходила осень. Наступали морозы. Тимофей и жена очень зябли. Кое-как собранные за лето дрова выходили. Топить печку и варить картошку нельзя. Наконец, когда последняя охапка осинника сгорала в холодной печке, Тимофей впадал в уныние. На печке, где он с женой спал, климат переходил постепенно от жаркого к умеренному, от умеренного к холодному. В избе наступал ледовитый период. Чистая смерть! Тимофей первый день терпел; он и жена накрывались шубой, стараясь думать обо всем, только не о дровах. Проспав кое-как ночь в стуже, на другой день чуть свет Тимофей отрубал аршина полтора великолепного забора, а жена топила печку, пекла хлеб и варила картошку. В следующий день он еще отрубал аршина полтора забора, и в какую-нибудь неделю загородь пропадала: оставались одни ворота со столбиками. Но, не видя никакого смысла в воротах после всего случившегося, он колол и их на дрова. После этого в доме окончательно на целую зиму наступал ледовитый период, и обитатели его перекочевывали к кому-нибудь из соседей, где за умеренную плату им отводили угол. «Вот тут», — говорили им хозяева, отмеривая строго определенные границы, за которые до следующей весны они и не переступали.

И надо сказать, что подобных жителей в деревне было много. Все это из-за одних дров. Сколько людей погибло в этой местности из-за дров! Как только наступала зима, с десяток семейств каждогодно трогалось с места, подобно птицам, и все отыскивали теплые места, понимая это слово в буквальном смысле. Одни шли в город, где нанимались в кучера или делались водовозами, другие рассеивались по окрестностям, нанимая углы, где и сидели всю зиму, как куры. Женщины по большей части нанимались в кухарки, поступали к прачкам, кто куда мог. Но как проводили зиму те, на плечах которых сидели ребята, — трудно и сказать что-нибудь определенное.

Что касается Тимофея и жены его, нельзя сказать, чтобы они чувствовали неловкость своего положения. Так же, как и лето, они проводили беззаботно и зиму. И понятно. Детей они не имели, домашнего скота тоже, а единственное их животное, — огромный кот с облупившейся шкурой, на зиму куда-то сам уходил, добывая пропитание своими средствами. Но кроме того, что заботиться им было не о ком, оба были здоровы, молоды, выносливы и легкомысленны в душе. Что им попадалось под руки, то и ладно. Отсутствием настоящего хозяйства Тимофей не только не тяготился, но иногда рад был своей бездомовности. Деревенская жизнь еще не вовлекла его в тот круг оподления и страдания, из которого люди идут совсем как из омута или появляются на свет божий поломанными, разбитыми и одураченными. Тимофей как-то инстинктивно увертывался от этого круга, избегая чисто зоологическим чутьем поставленной жизнью западни.

Потому что всякое улучшение быта в этой деревне сопряжено с таким мучительством, что самые сильные жители неминуемо оканчивают отчаянием; каждая мелочь, не стоящая понюха табаку, достается мужику после ряда страданий. Один погиб из-за дров (озяб и убежал из дому), другой — из-за полушубка (занял семь рублей, не отдал и поступил в работу), третий кончил жизнь вследствие покупки телушки, которая в продолжение зимы вместе с сеном съела, между прочим, своего хозяина.

Из этого положения два выхода: если житель во что бы ни стало желает улучшить свою жизнь, то не должен гнушаться кулачества и других видов негодяйства, или должен бросить все и жить как бог пошлет. Последнего исхода и придерживался Тимофей, чувствуя бессознательное отвращение к подлости, не согласовавшейся с его молодой искренностью.

Дело в том, что Тимофей с женой не были полными собственниками дома и огорода. У Тимофея еще жива мать; она безотлучно живет в городе в няньках; ей-то и принадлежит право собственности на дом. Не нуждаясь в нем сама, она отдала его двум своим сыновьям, Тимофею и Петру, который служит в солдатах, то есть, чтобы одна половина избы и половина усадьбы

принадлежала Тимофею, а другая половина — Петру. Напрасно Тимофей пытался убедить старуху, чтобы она отдала дом ему одному, ввиду того что брат все равно пользоваться им не в состоянии, а для него, Тимофея, очень важно было знать, что брат его по возвращении со службы не вломится к нему с оружием в руках и не выгонит его на улицу. Он ее убеждал, что и для солдата лучше, если она даст ему на обзаведение деньжонок, которые у нее есть, чем награждать его пол-избой без всякого смысла. Что же он сделает с пол-избой? Никакой радости для него нет в таком доме! Иногда Тимофей убеждал старуху честью, иногда угрозами, но старуху нельзя было ничем прошибить. Огородом, где жена Тимофея сажала картошку, также последний пользовался временно, каждогодно готовясь к тому, что общество отнимет его у него, потому что на огород предъявляли права, кроме Тимофея, еще человек пять. Это была одна из тех деревенских путаниц, которые никак нельзя было разрешить и которые только раздражали своею нелепостью.

И вот Тимофею для заведения настоящего хозяйства на первых же порах требовались следующие условия: во-первых, чтобы умерла старуха; во-вторых, чтобы умер солдат; в-третьих, чтобы пять мужиков окончательно исчезли с лица земли. Иначе в самом деле Тимофею нет охоты работать бог знает для кого: он вперед знает, что плоды его работы того и гляди отнимут.

Это только на первых порах. Но дальше — лес дремучий, сквозь который надо продраться, чтобы дойти до крестьянского благополучия. Так как каждая чепуха в хозяйстве достается только после длинной цепи мучительства, то Тимофею надо идти напролом, ломая совесть. Ему уже тогда не будет времени обращать внимания на соседей, — надо хватать и цапать, что попадется под руки и что выгодно. Надо пользоваться всяким случаем, лишь бы он был выгоден, не размышляя о том, что от этого же случая, может быть, кто-нибудь помирает. Надо ловить момент. Надо купить корову, ежели в год бескормицы хозяин умоляет взять ее Христом богом. Надо не упустить лошадь, хозяин которой уже твердо решил содрать с нее шкуру, чтобы получить три целковых и удовлетворить кредиторов, которые разрывали его на части. Надо уворовать за несколько папушек табаку дрова из казенного леса, чтобы не замерзнуть, а чтобы не остаться без хлеба, надо поставить миру два ведра, опоить и тогда получить вместо двух десятин четыре. Надо ласкаться к разжившемуся соседу, чтобы в трудное время не остаться без подмоги, и без внимания относиться к бедняку, от которого пользы никакой нет. Словом, чтобы завоевать первые необходимые вещи для спокойной жизни, надо рвать, лгать, жить по-зверски, поступать по-волчьи, держа во всякое мгновение наготове зубы и когти.

Только тому, кто ничего не делает, ни о чем не думает и не заботится, предоставляя своей жизни идти как ей хочется, только Тимофею и жилось сносно при отсутствии всякого благополучия. При всяком неприятном случае он говорил: «Пес с вами!» И теперь, когда даже Портянка носил в себе скрытую идею воскресной выпивки, Тимофей пилил бревна без всякой задней мысли. Вернее всего он купит хлеба. Отработает, получит свою часть и купит хлеба — вот и все. Единственное тайное намерение его заключалось в том, чтобы по получении денег от Рубашенкова как-нибудь скрыться на время от старосты.

У него было много кредиторов, но самый страшный — староста. Последний в зимние и весенние тяжелые минуты вносил собственные деньги в уплату податей за несостоятельных, налагая известный процент, который и выручал ожесточенно. Тимофей также состоял в долгу у этого благодетеля и знал, что наткнись он на него сейчас после работы — и деньги поминай как звали! Но и на такое неприятное происшествие Тимофей смотрел равнодушно. У него заранее придуманы меры укрывательства от благодетеля. В прошлом году он спасался от него тем, что в критический момент, среди белого дня, ложился с женой в чулан и просил кого-нибудь из приятелей-соседей, например Чилигина, запереть дверь замком снаружи. Пришел староста, посмотрев с полнейшим изумлением на замок, обошел кругом избы, взглянул в окно, — нет Тимошки! Вышел на улицу, приложил руку козырьком, всматриваясь вдаль, — нет Тимошки! Посмотрев еще раз на замок, староста заволновался, завертелся и прерывающимся голосом спросил у Чилигина, как бы случайно проходившего мимо: «Где же это он?!» — «Ты про кого?» — возразил Чилигин. «Про Тимошку... куда он провалился? ведь я вот сейчас, можно сказать, за спиной шел у него и видел своими глазами, как вот теперь тебя вижу, как он к себе повернул... а глядь — замок!»

— Да ты, может, не Тимошкину спину-то видел, обознался?— нагло спросил Чилигин, после чего староста ушел, пораженный случившимся на его глазах провалом. Тимофей проделал такую нехитрую штуку раз пятнадцать, покуда, наконец, нашел возможность уплатить долг.

Нынче Тимофею лень было залезать в чулан, чтобы спастись от благодетеля, который, как известно было Тимофею, глаз с него не спускал во все продолжение пилки. Он решил спастись иначе, помимо чулана. Он, лишь только получит с Рубашенкова свою часть, проберется задами к хлеботорговцу и на все наличные купит хлеба. Если на задах, соображал Тимофей, попадется староста, он спрячется в конопли и там выждет. Староста, конечно, прибежит в этот день и скажет:

— Ну уж, Тимофей, ты, брат, теперь отдай, потому, знаю хорошо, деньги завелись у тебя.

— Чаво? — возразит Тимофей насколько возможно равнодушно.

— Вот тебе раз, — он еще спрашивает! Это даже очень бессовестно ты говоришь! Отдай долг — вот я про что.

— А! ты вот про что. Ну, так уж извини, я хлеба купил, все дочиста отдал за мешок.

— Как мешок?! — закричит староста, как ужаленный.

— Так. Одно слово — хлеб, больше ничего. А денег нет.

Сказав это, Тимофей посмотрит на небо и по сторонам.

— Что же ты, идол, со мной хочешь делать! — застонет староста.

— Не беспокойся, отдам. Забыл я вчера совсем тебя...

— Ах ты, идол!

— Право, забыл. Да ты не очень огорчайся. Я скоро принесу, ей-богу.

После такого объяснения они помирятся. Староста согласится подождать.

Придумав этот способ спасения, Тимофей перестал тревожиться насчет заработка. Он весело работал, шутил, забавляя товарищей по вечерам. Когда к работам подходил Рубашенков, он и ухом не шевелил, в то время как другие начинали торопливо работать. Тимофей даже разговаривал с Рубашенковым, почтительно, но с неизменною веселостью. Он удивлялся, почему этого человека так пугались. «Что он здóрово ругается — это наплевать! Что он разжился, разбогател, ходит в тонком сукне и курит папироску — это неважно. Пускай хоть разнесет его с жиру — шут с ним!» — рассуждал с своими товарищами Тимофей, не воображая, что скоро он будет иметь дело с Рубашенковым.

. . . .

Впоследствии, когда Тимофея спрашивали, как это он потерял голову, то он охотно отвечал: «Через колья!» При этом кратко рассказывал свою историю.

— Через эти колья я и пропал, — говорил он добродушно, без всякой злобы.

— Как же это через колья?

— Одно слово, надо мне было забор у себя, который от улицы, поставить, и я в ту пору обратился прямо к господину Рубашенкову, чтобы он дал мне маненько кольев. Он дал. Вот через эсти самые колья я и пропал, и теперь больше ничего как низкий человек...

— Да неужели через одни колья?

— Через одни. Значит, судьба моя такая...

— Да ты расскажи путем, — просили его.

Но сколько ни пытались расспрашивать Тимофея дальше, он молчал. Испитое и одутлое лицо его только на мгновение освещалось тихой грустью, а вслед за тем снова становилось бессмысленным. По-видимому, он только и помнил одни колья, забыв все остальное, происшедшее с ним.

На самом деле вот что произошло. Заметив большую кучу хвороста, слег и просто палок, очевидно брошенных управляющим как негодное гнилье, Тимофею внезапно пришло в голову попросить этой дряни для своей загородки у Рубашенкова, ближайшего распорядителя. Пришло это ему в голову случайно, без всякой связи с какой-нибудь нуждой. Да и попросить вздумал он так, от нечего делать, решив, что если даст — ладно, не даст — наплевать, пес с ним! А если будет браниться, тогда ничего не стоит и уйти. Впрочем, Тимофей заранее был уверен, что Рубашенков надругается и откажет в просьбе. Кажется, чего проще — попросить несколько никуда не годного дерева, а между тем Тимофей почувствовал какую-то смутную тревогу, когда решил идти к Рубашенкову.

И это понятно. Рубашенков до того быстро взобрался наверх из ничтожества, что не мог не поражать расстроенное деревенское воображение. Из безыменного человека, подозреваемого в пробуравливании дыр в амбарах для выпускания хлеба, он стал некоторого рода властителем, когда таракановская контора взяла его к себе в десятники и подрядчики. Еще недавно последний крестьянин мог бить его сколько угодно, если заставал у себя под амбаром, хотя до смерти его как-то не забили, оставив лишь на ушах и еще кое-где несколько знаков, но теперь он сам мог распоряжаться жизнью громадной кучи мужиков. Он стал силой, перед которой пали ниц жители пяти-шести деревень, сделался господином, владетельным человеком. Ему в глаза нагло и бесстыдно льстили, издали снимали перед ним шапки.

У него с рабочими заведен был порядок: едва он показывался, как мужики, словно по команде, должны были снимать перед ним шапки. С нанявшимся в имение человеком он обходился как с крепостным, беспрестанно придираясь и давая при случае хорошие подзатыльники. И отшлепанный никогда не жаловался, считая за Рубашенковым полное право бить, раз ему удалось получить в руки палку. Для всех безнаказанность Рубашенкова подтверждалась ежедневными фактами.

Рубашенков одевался в тонкое сукно, в скрипучие сапоги, «при часах», тогда как раньше на его одежде лежало несколько десятков заплат. Рубашенков больше уже не ходил, а ездил. Крестьяне так и видели его в двух видах: или стрелой пролетал по улице, или стоял на работах «при часах», причем презрительно оглядывал своих людей. Все это поражало. Наконец, видели, что с сильными мира сего он обращался запанибрата. На старосту,

например, он и глядеть не хотел, как последний ни юлил перед ним. С неменьшим пренебрежением он относился к старшине, когда в волости писали условия с рабочими, которых законтрактовывала контора. Рубашенков то и дело покрикивал на старшину: «Пошевеливайся, друг!» — и имел такой вид, что он очень гневается. Видели, что, идя по улице с урядником, он громко хохотал, хлопая того по плечу. Это урядника!

Никто не мог отдать себе ясного отчета, почему он пугается Рубашенкова. Последний никогда не обсчитывал сверх меры, расплачивался аккуратно. Просто было отчего-то боязно. Он поражал. Иногда, дав зуботычину, платил деньгами получившему ее. Но это было редко. Всего чаще он пускал пыль в глаза: сорил кучами денег, издевался, мучил словами и везде держал себя нагло. Это была свинья, посаженная негодными обстоятельствами за стол совсем с ногами.

Дело было вечером. Окончив пилку, Тимофей пошел в сарай, где обыкновенно в это время Рубашенков подводил счет. Наступали уже сумерки; тени легли по углам сарая, и Тимофей едва разглядел фигуру подрядчика.

— А я к вашему степенству, — сказал беззаботно Тимофей, улыбаясь. — Изволите видеть, приметил я вон там хворост и палки и думаю: дай-ка я пойду к ним, то есть прямо к вам, и попрошу — авось они дадут...

— Это еще что за новость! — насмешливо возразил Рубашенков.

— Мне чуть-чуть только... Хворост, вижу, зря валяется... Дай, думаю, спрошу у его благородия, то есть у вас.

— Какие палки и хворост?

— Да вот они там в куче. Есть хворост, чурбашки, жердочки, вон посмотрите... Я и думаю: дай, мол, думаю, к его высокоблагородию доложить... — Тимофей проговорил последние слова робко, думая, не пересолил ли он, называя подрядчика высокоблагородием.

— Зачем же тебе такая вещь понадобилась? — спросил последний.

— Да уж мне пригодились бы... Извольте знать, у меня, можно сказать, заплоту нет при доме. Признаться, не на что поставить его... Так вот я и подумал: дай-ка у них спрошу... Мне маненько, а для вас без пользы.

Рубашенков все это выслушал вполоборота. Потом снова принялся считать на стенках. Он был безграмотен, а потому бухгалтерию вел на палке, а чаще всего на дощатых стенах сарая, царапал мелом или углем длинные ряды каких-то знаков. Но он никогда не ошибался, кто сколько заработал. Тимофей уже думал, что дело его не выгорело, и собирался уходить, как был круто остановлен.

— Подожди там! — сказал Рубашенков.

Тимофей стал ждать. Он пока занялся оглядыванием сарая и заметил по всем углам массу бутылок. Посередине сарая стоял большой ящик, служивший как будто столом, потому что на нем валялись объедки ветчины и огурцов; подле этого ящика стоял другой, поменьше, заместо стула. Под ним также навалены были груды пустых бутылок. «Должно быть, шибко пьет!» — подумал Тимофей, а до него немногие рабочие знали, что Рубашенков ночи проводит напролет в пьянстве.

Прошло много времени, прежде чем Рубашенков кончил счет.

— Так ты просишь дерева из той кучи? Хорошо, посмотрим, умеешь ли ты заслужить... Вот я тебе такой урок задам: пробеги до кабака и возьми для меня бутылку рому, и обернись сюда всего-навсего в десять минут. Ежели прибежишь вовремя, тогда посмотрим, стоит ли такой бродяга снисхождения... Ну?

Тимофей при этом неожиданном предложении задумался, хотя во весь рот улыбался; но под упорным взглядом подрядчика решился.

— Это я могу, — сказал он весело.

Рубашенков вынул часы, посмотрел на них и махнул рукой. Тимофей пустился что есть духу бежать, засучив предварительно штаны. До кабака было довольно далеко, но Тимофей все-таки вовремя прилетел, тяжело дыша; от усталости у него даже глаза были вытаращены. Подрядчик не взглянул на него, взял бутылку, уселся возле ящика и выпил разом объемистый стакан рому. Потом из-под сидения вытащил бутылку сельтерской воды и всю ее опорожнил. Он барабанил от нечего делать пальцами по столу. Ему, очевидно, было страшно скучно.

Во все это время Тимофей стоял у входа в сарай и любопытными взорами наблюдал за Рубашенковым, думая, что последний уже забыл о его существовании. Но тот, выпив еще стакан, тусклым взглядом оглядел его с ног до головы.

— А может, и ты хочешь выпить? — насмешливо выговорил он.

— Ежели вашей милости угодно — отчего же...

— На, пей.

Тогда Тимофей, не подходя близко к ящику, вытянулся и издалека взял стакан в руки.

— Ух, какая крепость! — сказал он, задохнувшись от выпитого стакана.

— Привыкли сивуху трескать, так это для вас не по рылу! — презрительно заметил Рубашенков.

— Точно, что не по рылу. По нашему карману, выпил на двугривенный и сыт. А какая, позвольте спросить, цена этому рому?

— Как бы ты думал? — спросил в свою очередь Рубашенков.

— Да я так полагаю — не меньше как рупь...

Рубашенков захохотал.

— Пять целковых!

— Б-боже ты мой! — возразил Тимофей и покачал головой.

На лице Рубашенкова отражалось самодовольство.

— А как бы ты думал, сколько, по твоему разуму, стоило всего навсего мое платье? — спросил Рубашенков.

— Все дочиста?

— Дочиста, с головы до ног.

— Да как бы сказать... Надо думать — полсотни мало...

Рубашенков захохотал. Потом высчитал по пальцам: пара стоила сотню рублей, часы семьдесят, сапоги пятнадцать, картуз семь, шейный платок четыре и т. д.

— Б-боже ты мой! — сказал Тимофей и покачал головой.

Несколько минут помолчали. В сарае горел уже огонь в виде сальной свечки, воткнутой в расщелину ящика. Мрачные углы осветились, но приняли какой-то зловещий вид, наполненные разбитыми бутылками, пробками и объедками закусок. На стенах от колебания пламени прыгали знаки Рубашенкова, царапанные мелом и углем. Рубашенков молча пил. И чем больше он пил, тем вид его делался скучнее и наглее. Тимофеем, все стоявшим у входа, овладел смутный страх перед этим пьяневшим человеком, хотя у него у самого шумело в голове перед этой мрачной обстановкой.

— Так как же, хочется тебе получить из энтой кучи? — спросил Рубашенков, обратив помутившиеся глаза на Тимофея.

— Да, уж дайте... Что для вас составляет...

— А очень хочется? Ну, чем же ты меня поблагодаришь?

— Я бы услужил... по гроб жизни!

— Ты!! Такой нищий пролетай! Ха-ха!.. Как тебя звать?

— Тимофей...

— Значит, Тимошка, Тимка. Ладно. Так ты, Тимка, полагаешь, что по гроб жизни!.. А знаешь, кто ты передо мной? Ведь все одно червяк? Ну, скажи, червяк ты? Иначе прогоню.

— Точно что по нашему необразованию... — прошептал испуганно Тимофей.

— Нет, ты скажи прямо — червяк? — зловеще повторил Рубашенков.

— Оно, конечно...

— Молчать! Отвечай прямо — червяк?

— Ну, червяк... — дрожащим голосом, сквозь зубы проговорил Тимофей.

— Хорошо. Так вот эдакий червяк, которого ничего не составляет растоптать, вздумал услужить мне? Эдакая вот козявка? Чисто что козявка. Вот хочу — дам тебе сору, который тебе понравился, а не захочу — прогоню. А захочу сейчас вот дать тебе плевок в самую что называется образину — и плюну. Вот смотри...



— Нет, уж позвольте, я на это согласия не имею! — торопливо залепетал Тимофей и пятился задом к выходу.

Рубашенков захохотал.

— Не пугайся! Не плюну. На вот, пей! — Рубашенков налил стакан и заставил Тимофея выпить.

Рубашенков разыгрался. Что-то отвратительное, как бред, происходило дальше. Прежде всего Рубашенков сжег зачем-то перед самым носом Тимофея одну ассигнацию, а другую швырнул в Тимофея. Он требовал, чтобы последний забавлял его. Просил сказать его какую-нибудь такую гнусность, от которой сделалось бы стыдно. Тимофей сказал. Потом он заставил его представить, как можно прыгать на четвереньках. Тимофей принялся прыгать, бегая на руках и ногах по сараю, и лаял по-собачьи. Он сам вошел во вкус. Прыгая по полу и лая, он затем уже от себя, без всякой просьбы со стороны Рубашенкова, представлял свинью, хрюкал, показывая множество других штук. Но когда он обнаружил неистощимый запас разных штук, принимая на себя всевозможные роли, Рубашенков мало-помалу пьянел; у него уже слипались глаза; он уже неподвижно сидел и не видал ничего из того, что представлял Тимофей.

Наконец, когда последний хотел было кричать по-заячьи, Рубашенков как будто проснулся и дико посмотрел вокруг.

— Будет! — закричал он. — Пошел с глаз моих, и чтобы духу твоего здесь не было. Бери из той кучи — заслужил; но чтобы духу твоего мерзкого не было... надоел ты мне хуже всякой скотины..

Тимофей бросился со всех ног. Выйдя на свежий воздух, он сразу очувствовался, пригладил взъерошенные волосы и остановился задумчиво на месте, как бы припоминая, что такое с ним случилось? Было уже около полуночи, когда он прошел мимо места работ. Но не зашел туда. На оклик товарищей не откликнулся. Потом услыхали вдали его сильный голос, дрожа разливавшийся в ночном воздухе правильными волнами звуков. Он пел. В песне, неизвестно какой, слышалась необычайная грусть и печаль. Оставшиеся товарищи прислушивались, тихо разговаривая друг с другом, а наконец совсем затихли. Песня все разливалась волнами, напоминая смутно каждому из них что-то хорошее, чего в их жизни нет и не бывает... Двое из товарищей приподняли головы из-под зипунов, забыли сон и всматривались в ту сторону, откуда шли волны хватающих за сердце звуков, пока они не замерли в отдалении.

— Хорошо, шельма, поет! — сказал со вздохом Мирон.

— Заплачь, и больше ничего, — добавил Чилигин.

Тимофей между тем на другой день, когда совсем окончились работы в имении, стал копошиться около дома. Все почти вышло так, как он заранее предвидел. Он прошел задами чрез конопли

и купил хлеба. Вслед за тем пришел староста, причем произошел тот самый разговор, который раньше он придумал. Впрочем, он дал старосте рубль, полученный вчера от Рубашенкова. Проделав все это, он вяло принялся строить забор, лес на который привез на Мироновой лошади, из той кучи, ради которой вчера пошел...

Все, по-видимому, шло ладно. Он удачно воткнул два кола, долженствовавшие изображать воротные столбы, и уже принялся отбирать хворост, но, кончив почти уже всю работу, упал духом, лишился сил и рассердился. Его все раздражало и все казалось не так. Хворост отвратительно торчал, колья смотрели врозь, ворота оказались узки. «Не глядел бы на эдакую пакость!» — сказал он и совершенно озлился. Топор из его рук полетел на один конец двора, колотушка, которою он вбивал колья, — на другой. Так у него засосало под сердцем, что не было больше сил терпеть.

Вопреки прежним своим привычкам, он отправился в кабак один, без жены, да еще нанес ей ущерб. Прокравшись к сундуку, он вытащил оттуда ее платье и, прижав его к груди, ринулся вдоль улицы к кабаку. Жена за ним. Она бежала с ревом, то умоляя, то требуя, чтобы отдал ей платье. Тимофей летел как стрела и, добежав до убежища, захлопнул за собой дверь и заложил вещь. Пока жена ломилась в окна и двери, он пил. Через какие-нибудь полчаса он был уже готов.

А еще через полчаса около дома Тимофея собралась вся улица. Сбежавшиеся соседи и жена его составляли как бы публику в театре, а Тимофей один как бы давал драматическое представление К нему никто не смел подойти. Жена также вдалеке стояла от дома и тихо всхлипывала. Из публики спрашивали: «Тимошка! Что ты, дуралей, делаешь?» А он отвечал: «Унистожаю!» Смотрели, что еще он разобьет.

До сих пор он разнес в щепки свой новый забор, с какой-то дикой радостью уничтожая его. Он разрушал систематически, разрубил его топором на несколько частей и каждую часть своим чередом превратил в сор, палки ломал на колене, хворост свалил в яму. Точно тем же путем снес он ворота, перерубил их, расчесал и свалил в яму. Некоторое время он стоял посреди двора, как бы в раздумье, недоумевая, что бы еще уничтожить; но когда несколько человек вздумали, по просьбе жены, воспользоваться этим моментом, чтобы схватить его, он опомнился и бросился к избе.

— Тимофей, Тимоша! Что ты, брат, затеял? — говорили из публики, делавшейся все многочисленнее.

— Я вам покажу, какой я есть червяк! — ответил Тимофей.

И с этими словами расколотил вдребезги стекла в окне, вынул раму и, превратив все в сор, спустил его в яму. Когда на месте окна осталась только зияющая дыра, он превратил в песок и сор стекла и раму другого окна, свалив все в яму. За вторым

последовало третье и последнее окно. От всех этих тяжких трудов на руках его показалась кровь, одежда во многих местах разорвалась и висела клочьями. Но он этим не смущался. Покончив с окнами, он напал на дверь, стараясь без следа уничтожить ее.

Но, сорвав ее с петлей, он долго не мог расколоть крепко сплоченные доски. Тогда им овладела страшная энергия; топор в его руках свистел от быстроты. Через короткое время от двери не осталось и следа: всю искрошил. «Без остатка унистожу»,— как бы про себя говорил он и бросился лезть с ловкостью кошки на крышу, должно быть с намерением разрушать свой дом сверху. Но некоторым из публики удалось отвлечь его от этого намерения тем, что они схватили его за ноги и стащили на пол. Однако захватить его не удалось. Он стоял возле стены и отбивался от нападающих чем попало. Побежали за старостой, который, впрочем, скоро и сам явился.

— Ты что это делаешь? — закричал было сначала он.

Но в ответ на это Тимофей пустил в него огромным комом глины, после чего староста проговорил:

— Тима! За что ты осерчал? Ты не серчай...

Тимофей стал рубить косяки двери; но тут его удалось схватить. Тогда его повалили, скрутили веревкой и заперли в чулан, откуда долго еще слышались крики и плач. Собравшаяся толпа медленно и с неохотой расходилась, обсуждая этот деревенский случай и недоумевая, что такое сделалось с смирным мужичком?

С этого дня Тимофей беспросыпно запил. Вещички, какие только были в его беззаботном хозяйстве, он спустил. Жена от него ушла. Иногда он и сам пропадал из деревни на несколько месяцев, но, возвратившись, пил, а напившись, обнаруживал страсть «уничтожать». Попадалась ему телега — он крошил ее на мелкие куски, вообще разрушал все, что попадалось ему под руку. За это его иногда били. Но в период трезвости он был скромен и боязлив; а когда его спрашивали, почему он загубил свою голову, он говорил:

— Через эти самые колья. Изволите видеть, низкий человек стал...

И на его припухшем лице показывалась грусть, но не злоба.



СОЛОМА

Как-то в середине зимы по деревне разнесся смутный слух, будто сельский староста своровал. Явились и некоторые доказательства. Староста построил дом из толстых бревен, купил гладкого мерина, завел плисовую жилетку и стал водить компанию с туземной знатью. Дело, очевидно, было неладно. Но дойти до причины необыкновенных явлений (гладкого мерина, толстых бревен и плисовой жилетки) никто не думал. Слух ходил по деревне, переносимый бабами, но от мужчин всюду встречал убийственное равнодушие.

Общественная жизнь в деревне равнялась нулю. Как будто совсем не было ни дела, ни интересов общественных. Жители отбывали повинности, иногда скопом собирались по приказу решать дела, но своих мыслей не имели и никаких собственных дел не знали. Изредка крестьяне собирались, чтобы спить с какого-нибудь провинившегося человека. В этом случае, по возможности, все являлись, получали свою порцию и, выпив, уходили прочь.

Между тем в деревне то и дело происходили случаи, имевшие, по-видимому, общественный характер. По большей части это

были «шкандалы». Много в деревне «шкандалов», и еще недавно такое случилось происшествие.

Есть в деревне старуха Лапа, дожившая до такой старости, что перестала помнить свои лета. Дома у ней нет; родственники — перемерли; работать она не в силах: руки не действуют. Когда она увидала, что руки ее бессильны заработать кусок, то сильно озлилась. Вообще презлая стала бабка. В деревне моталась порядочная куча таких бездомных птиц, но Лапа изо всех выделялась. В то время как те жалобно напевали на обычный мотив, она требовала себе кусок, и притом со злостью. Записной нищей она не считает себя, никогда не ходит с мешком и не ноет. Войдя в избу, она грозно спрашивает: «Есть, что ли, кусок лишний?» — и смотрит на хозяйку или на хозяина со злостью. Получив кусок, она злобно благодарит и больше в этот день уже никуда не явится. Ночует она по очереди. Приходит в намеченный ею дом и без спросу залезает на печь в угол. Если кто из хозяев вздумает ее потревожить, она огрызается. «Ведьма!» — говорили про нее. Но она считает своим прирожденным правом есть и обладать печью. Это она постоянно высказывала при всех возможных случаях, грозно требуя себе у мира места, избы, мазанки, бани, вообще какого-нибудь жилья. Но мир отказывал. «Вот опять идет Лапа», — говорил кто-нибудь на сходке, завидя бабку.

— Ты опять пришла лаяться, кочерга? — спрашивали ее.

— Опять. Помяните мое слово: ежели не будет у меня места — спалю я вас! — начинала свою просьбу старуха.

— Ах ты, ведьма! разве можно говорить такие слова? За такие слова, знаешь ли, тебя можно куда спровадить?

Но никто не хотел придавать значения сумасшедшим угрозам полоумной Лапы. Между тем Лапа говорила в «сурьез», и когда ей надоело ходить по очереди ночевать, она взяла да спалила несколько дворов, что весьма удивило жителей. Раз одна хозяйка поручила ей вынести горячую золу из избы, а Лапа бросила золу к плетню и ушла со двора, грозно оглянув деревню. К вечеру показался возле забора дымок, тонкой струйкой поднимаясь вверх; потом по двору поползли густые клубы; наконец сквозь черную тучу смрада прорвался чудовищный язык огня, и не успели жители оглянуться, как он слизнул два дома, одни задворки и несколько хлевов. Едва потушили.

Все знали, что это Лапа подпалила, но только удивлялись злости ее, не зная, что с ней делать.

— Что же нам с ней делать? Эдакая, прости господи, чертовка навязалась! Ведь уродится же такой идол! — говорили одни через несколько дней после пожара.

— Никак не может помереть, кочерга, — говорили другие. — Хоть бы поскорей померла! Ну, как нам теперь с ней поступить?

Но никому не хотелось подумать, как поступить с Лапой. Решили: «Пес с ней! неужто ж ее судить? Шут ее возьми!» — и забыли. На месте пожара долго валялись головешки, торчали обгорелые столбы, зияли какие-то ямы. Когда незнакомый, видя это место, спрашивал объяснения пожара, ему отвечали:

— Старуха тут одна есть... Такая ведьма, не приведи бог! Она спалила.

— Как спалила?

— Взяла да спалила.

— И ничего ей за это не было?

— Чего же ей! Спалила — и права. Что с нее, с оглашенной, взыщешь! Пес с ней! А между прочим, никак скоро помрет... Ну ее!..

Вот таким же образом затих и слух о старосте.

Только несколько человек между разговором вспомнили об этом. Встретили на улице Ивана Иваныча Чихаева и задержали его. Спросили, как он поживает, что поделывает, отчего его давно нигде не видать. Иван тревожно посматривал по сторонам с видимым желанием убежать от назойливого общества. К этому времени он уже сильно переменился. Жил скромно; ходил крадучись; сидел больше дома, а встречаясь с людьми вне своего дома, глядел одичало. Догадывались, что с ним что-то случилось, но ничего подлинного никто не знал.

Чихаев и на этот раз озирался по сторонам и отмалчивался. Но он, к несчастию, был учетчиком старосты в прошлом году и должен был знать, верен ли слух. Мужики пристали к нему. Сначала рассказали ему бабью болтовню, привели видимые доказательства и пожелали узнать его мнение.

— Ты в ту пору учитывал... ничего не замечал эдакого?

— Ничего.

— Не приметно тебе было, чтобы он рыбачил из мирской казны?

— Кто его знает! не видать что-то было...

— А как же мерин?

— Надо думать, купил он его.

— А дом? А жилетка? Как это рассудить? Почему?

— Да что вы пристали ко мне! Не знаю я — вот и все! Мерин ли, нет ли, что мне за дело... Вот пристали! Пойду лучше домой.

И, говоря это, Иван Чихаев скрылся к себе в избу, радуясь, что отделался от пустого разговора. Ему гораздо приятнее сидеть в своей избе и ничего не знать. На улице в эту минуту поднялся ветер. Снег, до сих пор медленно падавший, завертелся, закружился, загустел. Небо потемнело, ветер свистал. Ворота мрачно скрипели, ставни хлопали. В избе чувствовалось, что буран рвался во все щели в окнах, ища щелей в стенах. Вся избенка дрожала, как бы окруженная с четырех сторон врагами, которые уже

решили взять ее приступом, разрушить и разметать по щепкам. Но Ивану Чихаеву было хорошо; на душе у него сделалось радостно. Буран не мог донять его; в избе тепло; жилой, влажный дух густо стоял в комнате; незачем было залезать и на печку, как сделал бы какой-нибудь бедняк, который теперь мерз, стучал зубами и мечтал о дровах. У Чихаева были дрова. Он радостно смотрел, как занимались его домашние каждый своим делом. Это напоминало ему о топорище, которое надо было приделать к топору, и он взялся скоблить дерево. Во время работы он сопел, посвистывал или мурлыкал, как кот.

Издалека неясно послышался звон церковного колокола. Это звонили на случай замерзания среди открытого поля. Этим звоном деревня как бы говорила: «Мне студено, я замерзаю!» Кто-то из семейных заметил, что сегодня непременно кто-нибудь замерзнет.

— А мы не замерзнем! — возразил Иван с радостью и погрузился в топорище. Он не слыхал ни свирепого воя за избой, ни церковного звона и оставался равнодушным, спокойным и безучастным.

А давно ли было время, когда Иван сам ежеминутно чувствовал, что погибает! И постоянно приготовлялся умереть нехристианскою смертью! Тогда судьба его была общая со всеми жителями деревни. Главная, господствующая черта жизни жителей — это вечное беспокойство, нервность и удивительная неустойчивость во всем. В деревне, несмотря на ее наружную тишину, кипела и варилась каша, в которой одни тонули, другие всплывали внезапно наверх. У одних вырывались восклицания радости, у других — крики о спасении. Одни жители куда-то бежали, другие барахтались дома, ухватившись за какое-нибудь дело, всегда почти безнадежное. Нервы у всех напряжены до последней степени. Сердце стучит неестественно скоро и бьет постоянную тревогу. Никому нет времени ни одуматься, ни устроиться. Никто не живет тою правильною, законною жизнью, которую требует земля и связанные с ней сельские работы. Труд, сопряженный с мучительством, стал невозможен. На его месте явился на деревенской улице «момент», который и ловят. Не всем, конечно, попадает удача. Громадное большинство только разевает рот, но ухватить ничего не может. И только на долю ничтожного меньшинства достается добыча.

Последние переживают в самое короткое время страшные перевороты. Иван Чихаев, принадлежащий к этому разряду жителей, и на себе испытал всю превратность судьбы. Сперва он пал, потом возвысился, потом опять стремглав полетел вниз, откуда снова выбрался значительно поврежденным. Все это с ним стряслось в течение двух зим, из которых на долю последней, описываемой здесь, выпало самое большее количество внезапностей. От этого он несколько тронулся в уме и в сердце, но это ни-

чего не значит, потому что и все окружающие его жители были более или менее тронуты. Он выглядел то равнодушным, почти преступно равнодушным, то беспокойным и мечущимся.

Недавно еще он был, подобно своим односельцам, глубоко несчастным. Подобно им, он сражался за получение гроша с тягостными случайностями. Так же, как и они, кидался во всевозможные стороны, хватая возможность еще хоть немножко продлить свое существование. Как и все, угорел в этом чаду и, подобно прочим, готов был совершать негодяйские дела, пользуясь несчастием своего же брата. Одним словом, пал на самое дно несчастий, которые все сводились к слову: жрать.

Прошлой зимой он, к своему несчастию, купил корову. Соблазнился дешевизной скота, отдававшегося вследствие бескормицы даром; но корова в конце концов съела его. Корму он потратил на нее много, а она сдохла, и последние денежки, убитые им на нее, лопнули. Следствием этого было несколько с его стороны поступков, кончившихся жалкими приключениями. У него вышли все дрова. Он поехал в таракановский лес на лошади ночью. Но полесовщик поймал его. Иван умолял, плакал, чтобы пустили его, помиловали, но сторож неумолимо вел его в контору, где от него отобрали дровишки, топор, лошадь и шапку. А если он желает выкупить взятые у него вещи, пусть привезет штраф. Иван предлагал убить его, но только чтобы возвратили ему шапку и лошадь, но контора сочла это предложение неудобным. Тогда Иван взялся за оглобли пустых дровней и повез их домой, где несколько дней вел себя как умалишенный. Это состояние продолжалось до тех пор, пока за убийственные проценты он не нашел денег для выкупа шапки, топора и лошади.

Бросаясь из одной крайности в другую, Иван Чихаев в ту же зиму пустился верст за сто, заслышав о какой-то работе. Прожил там месяц, но, возвращаясь домой, имел в кармане всего рубль. Дорогой застиг его такой же буран, какой описан выше, но в тот несчастный день он не мог благодушно радоваться теплу. Он шел пешком. От ближайшей деревни было по крайней мере верст пять, но в волнах крутившегося снега нельзя было определить, куда и сколько идти до ближайшего жилья. Одежонка его трепаная, драная. Он стал замерзать. Спасся только тем, что закопался в снег и переждал непогоду. Однако этот день стоил ему ушей, которые были отморожены.

Много в этот год вынес он крайних несчастий. Все они мелки и жалки, но тем хуже было для Ивана. Нет бесчеловечнее обстоятельств, при которых из-за воза прутьев или из-за рубля погибает христианская душа.

Дело в том, что крайности, на которые пускался Иван, были в некоторых случаях двусмысленны. Большого негодяйства он не мог совершить по неимению средств, но мелкие и обыкновенные

делал. Плохо ему жилось. В этом отношении он не отличался от прочих жителей. В деревне его житье не выдавалось какими-нибудь особенностями. Кособокая изба, нелепые постройки усадьбы, пустота на дворе, жалкие предметы — решительно все так, как у людей. Одно было отличие: издалека еще виднелся какой-то стог, возвышающийся посередине самой деревни. Стог этот стоял на дворе у Чихаева. Это была просто огромная куча соломы. Неизвестно, как Чихаеву удалось накопить столько богатства, в то время как у других скот всю зиму ел крыши.

Солома и была причиной его благополучия. В ту самую минуту, когда Чихаев уже был близок к концу своего земного существования, кто-то из соседей пришел к нему за соломой, заклиная Христом богом одолжить ему хоть полвоза этого корма до следующего лета. Иван одолжил. Но вслед за тем ему пришла блистательная мысль: воспользоваться соломой для поправления своих отчаянных дел. Придумано и решено. Чихаев проникся неописанной радостью.

Положение его, как собственника соломы, было великолепное. Бескормица давала себя знать. Истощенный скот падал. Появились особенные болезни, еще быстрее уничтожавшие коров и лошадей. Последние просто стали таять. Каждый день кто-нибудь из деревни вез за околицу мертвое животное, сваливал днем в общую яму, а ночью сдирал с нее шкуру; ежедневно на каком-нибудь дворе слышался женский плач — это жена хозяина жалела павшую скотину. Не было такого отчаяния, когда мерли ребята. В это самое время общей печали Иван Чихаев праздновал свое возрождение.

Им было объявлено по деревне, что у него есть продажная солома. Многие обрадовались и повалили покупать. Первые появившиеся хотели перехватить как можно больше корму, надеясь получить по крайней мере по возу, но Чихаев заломил такую цену, что сам испугался, не веря своим словам. Однако ж, когда некоторые требуемую им цену дали, он поверил. Хотя больше никто уже не думал торговать у него возом, но тем лучше: он раздавал по мелочам. Кто брал вязанку, кто охапку, но за все хозяин получал чистые деньги. Он нещадно драл. Первые зазвеневшие в его руках деньги обозлили его. Такая в нем развилась жадность и подозрительность, что многие не узнавали в нем прежнего смирного мужика. Если пришедший за соломой просил подождать деньги, Иван гнал его со двора. В долг он не верил. У многих, не обладавших необходимой платой, но желавших все-таки взять корму, он брал в залог полушубки и сапоги; кажется, он готов был принимать в заклад человеческие головы — до такой степени остервенился от запаха денег.

Ночью он, невзирая на лютость мороза, спал в своей драгоценной соломе и караулил ее. Вообще он жил в каком-то бреду.

Да и большинство в деревне находилось в горячке. Многие буквально бредили соломой. Несчастную деревню охватил какой-то соломенный ажиотаж. Вопрос — «есть солома?» — сделался жгучим. Успевший купить у Ивана Чихаева вязанку или полвоза корма, считал себя счастливым, не успевший — впадал в глубокое уныние. Чихаеву платили сумасшедшие деньги или делали у него не менее сумасшедшие обязательства.

Однако всему бывает конец. Конец соломенного бреда настал как-то сам собой в исходе зимы. Скотина наполовину пропала. Все как-то вдруг увидали чрезвычайную свою глупость. По-видимому, каждый сознал, что не стоило так волноваться, а тем более платить Чихаеву чистые денежки. Тогда принялись нещадно ругать Ивана. Страшная против него поднялась злоба. Никто больше не шел к нему во двор. Последние посетители пришли к нему уже не затем, чтобы взять корму, а привели самый скот.

К весне, впрочем, большинство забыло живодерство Ивана Чихаева; явились другие дела, а вместе с ними и другие лихорадки и горячки. Иван канул в пропасть равнодушия. И сам он успокоился и имел более благоразумный вид. Заработанными деньгами он оправился, расплатился с долгами, ожил. Правда, за уплатой всех долгов, в его руках не осталось ничего, но зато он чувствовал, что больше никто его не преследует и не тянет его за душу, — огромное преимущество, которым многие в деревне не пользовались.

Кроме того, у него на дворе остались четыре лошади. Две совсем проданы были ему, конечно за ничто, две другие были отданы ему на прокорм с обязательством большой платы. Но Иван желал, чтобы они совсем остались в его руках, чтобы хозяева их куда-нибудь провалились, померли. С одним так и случилось: он бежал весной из деревни, бросил дом, пашню, семью, а вместе с тем и лошадь. Только Миронова лошадь еще находилась в неопределенном положении. Но так как у Мирона нечем было заплатить за потравленную солому, то Иван оставил и ее за собой.

Не было ни минуты, когда бы он сознал, имеет ли он право отнимать чужих лошадей? В распутицу он повел их продавать в город. Лошаденки были дрянные; у каждой брюхо волочилось по земле; шерсть торчала, как у свиней. Иван сомневался, чтобы ему удалось сбыть с рук таких скотов. Но была весна, подходило рабочее время.

Велико было его изумление, когда заморенные животные быстро были скуплены у него. Он своим глазам не верил. Он не мог опомниться до тех пор, пока не выехал за город. Полученная сумма была до такой степени в его жизни необычно огромна, что точное ее значение он долго не мог себе представить. Вынул бумажки на ладонь, посмотрел и покачал головой. Засунул в кар-

ман. Но через некоторое время снова вынул и пересчитал. Вслед за тем он обомлел, чувствуя, что умрет от восторга.

Его даже обуял страх. Куда ему спрятать капитал? Вынув его в последний раз, он судорожно зажал его в горсти. Страшась, что обронит его нечаянно, он первым делом засунул его за пазуху. Однако это место показалось ему опасным, и он попробовал разуться и положить деньги на дно сапога. Но, пройдя с полверсты, ему пришло в голову, что таким образом он может истереть бумажки в порошок. Тогда он снял сапоги и опять запихал бумажки за пазуху.

Он не был скареден. Дома он сейчас же рассказал всем домашним, какую бог ему послал радость. И чтобы отпраздновать благополучное окончание своего путешествия, купил баранью ногу, накормил семью и сам наелся.

Этим кончилась прошлая зима. Летом событий с Иваном, к его счастью, никаких не случилось. Он долго приходил в себя, размышлял, обдумывая, что с ним произошло. Летние работы у него шли вяло. Урожай, по обыкновению, «оставлял желать большего», но Иван не метался, мало огорчаясь. Он был очень задумчив и тих. Кажется, он ничего не слыхал из того, что происходило на селе, — ни жалоб, ни криков, раздававшихся по случаю неурожая. Едва ли он даже село-то самое видел — так он притих и задумался.

Незаметно для него прошла и осень. Во всей деревне между тем происходило движение. Явился «недостаток в продовольствии». Причина та, что рожь сожрал червь. Это был не «кузька» — кузька царил в других местах, а в этой деревне жил «савка» — червь, исключительно поедающий рожь. Но это все равно. Многие хозяйства от нашествия савки лопнули. Домохозяева скрылись из деревни для отыскания продовольствия. Приезжал чиновник. Расспросив о неурожае и узнав о савке, он от всей души пожалел. Как-то невольно он произнес слова, которые потом переходили из уст в уста по всей губернии... «Что за несчастный народ! Нападет червь, какой-то савка, и целые деревни пропадают. Я не знаю, что это такое... Если бы, кажется, вошь напала, и тогда массы народу погибли бы...»

Ко всему прочему, с первых же дней зимы наступили морозы, перемежающиеся буранами. Ни пищи, ни дров, ни работы — таково было положение большинства жителей. Спасались кто как мог. В селе настала тишина.

Но, вероятно, никто не жил в такой тишине, как Иван Чихаев. Редко кому удавалось его видеть. По-видимому, он пропал неизвестно куда. Но на самом деле он сидел дома. Буквально сидел, наслаждаясь в первый раз глубокой тишиной. Он сделался не то пустынником, не то медведем в спячке. Одиночество приятно было ему. С этой стороны он вполне обеспечил избу, разогнав

половину семьи. Племянника, малого восемнадцати лет, протурил в Москву, а старшую дочь в ближайший город в кухарки. Дома остались жена да маленькая девочка. И Иван наслаждался.

Сначала он не мог положительно привыкнуть к благополучию. Ел горячую похлебку, жевал хлеб, грелся в тепле, но недостаточно сознавал это. Он не мог довольно надивиться благам, которые ему послал бог, хотя осязал их руками. Отрежет ломоть от каравая, посмотрит на него — хлеб! Возьмет в рот, разжует — хлеб! Несколько раз в день он подходил к печи и щупал, чтобы осязательно увериться, правда ли, что она горячая? Оказывалось — правда: печь пылает огнем. Наконец он вполне освоился с мыслью, что обладает действительно хлебом, дровами, горячей похлебкой, деньгами, вообще всем.

После этого у него явилось самохвальство. Мысль, что у него все есть, а у других ничего, делала его гордым. На дворе стоял жгучий мороз или свистела буря, а ему ничего. И он знал, что в это время многие коченеют, и несказанно радовался. Соседом с левой руки у него был Василий Чилигин; Иван представлял себе, как Чилигин дрожит от холода и чавкает картошку за отсутствием хлеба, — и был рад.

— А Васька-то теперь сидит не жрамши, — говорит он жене.

— Должно, что не жрамши, — нехотя, с печалью в голосе, отвечает жена.

— Чай, мороз-то так и ходит у него по избе! — продолжает радоваться Иван.

— Известно, коли дров нету...

На глазах жены навертываются слезы. Морщинистое лицо ее, изборожденное следами переворотов деревенской жизни, заволакивается грустью. Она уже несколько раз под фартуком, тайно от мужа, носила караваи Чилигину.

Несмотря на благополучие, Иван делался, к удивлению жены, необыкновенно сердит, когда видел постороннее человеческое лицо. Только сидя один у себя в избе, он благодушествовал. День он проводил таким порядком. Встанет, поест горячего хлеба и начнет копаться над чем-нибудь по домашности. Потом обедает горячую похлебку, а после обеда греется на печке. Вот и все. Свесив голову с печки, от времени до времени сплевывает на пол, наблюдая, как жена прилаживает к его рубахе заплату, или болтает босыми ногами и проектирует планы один другого радостнее.

— На ту весну поставлю новую избу, — говорит он жене, которая вскидывает глазами, но молчит.

Недалеко от него стоит изба Тимофея, который, шут его знает, где пропадает. Ивану приходит в голову, что хорошо бы завладеть Тимофеевой избой. Он решает, что непременно захватит, если только Тимофей пропадет куда-нибудь совсем.

— А Тимошка-то, должно думать, начисто пропадет! — говорит он неожиданно жене. Последняя опять вскидывает глазами.

— Кто его знает...

— Бездельник! — добавляет он.

Планы, выдумываемые им на печке, были нередко положительно бесчеловечны.

Избенку его к половине зимы завалило горами сугробов, и к его дому дорога исчезла. Но он не отрывался, не прокапывал путей. Ему так больше нравилось. Он желал, чтобы его совсем завалило снегом, чтобы никто не сунулся к нему. Он перестал ходить по людям, и к нему никто не показывался. Гробовое безлюдье стало ему по душе. Жителей он видеть не мог. Надоели они ему.

— На деревне у нас, я так думаю, совсем теперь нет хороших людей; всё прохвосты живут! Только и смотрят, как бы обманом! — говорил Иван, обращаясь к жене с печки.

Та удивленно глядела на него и ничего не отвечала.

— Того и гляди последние твои денежки упрет... Вот у нас какой народец!

Жена удивлялась, откуда у Ивана проявляется такая злоба. Правда, он боялся отчасти, что кто-нибудь отнимет у него деньги, однако боязнь сама по себе, а бесчеловечные мысли сами по себе.

Иногда Иван старался представить абсолютное безлюдье. «Можно ли в таком разе жить?» — спрашивал он себя. Ему казалось, не только можно, но даже отлично. Что бы, например, произошло, если бы вся деревня пропала, а он бы один остался? Например, пропала бы от мору, от пожару, от неурожая?..

— Вон Колки дотла сгорели, как есть дочиста! Говорят, только и уцелело два двора... То-то, чай, рады! — обращается он к жене с печки, болтая ногами.

Жена бледнела и крестилась.

— А у нас позапрошлось только три двора сгорело.

Жена тревожно взглянула в окно. Ей вспомнился недавний пожар, она видела слезы погоревших и читала про себя молитву, чтобы бог еще не послал такой страсти. Разговор мужа казался ей глупым.

Несомненно, что Иван такие бесчеловечные мысли держал от праздности. Он всю зиму почти ничего не делал. Скучно так лежать и ни о чем не думать. Но, с другой стороны, странно, что именно эти мысли лезли ему в голову, а не другие. Кажется, можно бы из множества всяких нелепостей, существующих на свете, придумать более безвредные, однако он вел все одни негодяйские разговоры.

Однажды он сообщил жене, что думает с весны скупать хлеб на стороне и продавать своим односельцам, когда они будут на-

ходиться в нужде. И спрашивал: «Какая, по ее рассуждению, выйдет польза из эстаго?» Жена грустно качала головой, убежденная, что Иван только праздно хлопает языком.

Эти бесчеловечные глупости повлияли даже на его действия. У него вышло происшествие со старухой Лапой.

Однажды сидел он в избе и сдирал кору с березовой слеги, делая из нее оглоблю. На дворе был страшный мороз. Окна сплошь покрылись толстым слоем льда. С подоконников текла вода. В избе царствовал полумрак. Должно быть, по термометру было градусов сорок, но для бездомных — сто. Иван не обращал внимания на мороз, благодушествуя в тепле, и пел потихоньку отрывки церковной службы. Божественные песни он любил, но, к сожалению, ни одной не знал с начала до конца, а какие-то бессвязные обрывки. Но зато пел жалобно по целым дням, на разные лады.

И на этот раз он что-то тянул бесконечно. Вдруг, откуда ни возьмись, лезет в дверь Лапа, вся синяя от стужи. Едва отряхнув ветхую одежду, она полезла на печь, по обыкновению ни слова не говоря. Иван обомлел.

— Ты это куда? — закричал он, приходя в себя от изумления.

— На печь! — грозно возразила старуха.

— Ах ты, боже мой! — вскричал Иван и ухватил старуху за полы, таща с печи.

Завязалась борьба. Старуха вздумала было сопротивляться, стараясь запустить костлявые пальцы в лицо Ивана, но последний вытолкал ее за дверь, которую запер на замок. Он зверски разозлился, бормотал и рычал что-то про себя, обругав прежде всего жену. Жена испуганно стояла посреди избы. И пугало ее, что Лапа натворит какой-нибудь беды, и жалко было бездомную старуху, и нехорошо было смотреть на мужа — таким он зверем казался. Впоследствии, через две недели, Лапа померла: с ней сделалась горячка. Она, очевидно, простудилась. Трудно сказать, в тот ли именно вечер она захватила смертельную болезнь, в который ее вытолкал Иван, но говорили, что старуха угомонилась, померла, потому что ее согнали с печи.

С этого дня Чихаев погрузился еще глубже в себя. Он ничего знать не хотел, что происходило на свете. Раза два еще приходили к нему справляться, жив ли он, — думали, что он будет разговаривать. Но он вместо того на все отвечал: «Ничего не знаю!» — и так негостеприимно озирался, что посетители погрелись, почесались и пошли вон из избы. Мысли Чихаева сделались звериными, поступки бессовестными. Дом свой он превратил в нору. А разве в норе может быть совесть, которая мыслима только среди общества людей? В норе теряется представление о том, как надо поступать с людьми. Единственная нравственность в норе состоит только в том, чтобы не повредить себе самому. И Чихаев

у себя в избе, отрешенный от всего мира, планировал самые противообщественные, вредные деяния на будущее.

Он то и дело рассказывал жене, как он на эту весну заведет у себя во дворе торговлю товарами, постоянно требующимися жителям: мукой, соломой, овсом. Когда жена возражала, что едва ли у него будут брать, потому что не каждый же год будут совершаться такие страсти божии, Иван раздражался, доказывая, что деревенская беда от самых древних веков пошла и будет до самого светопреставления, пока не народится антихрист, и затем делался угрюмым, сопел себе под нос и озирался.

К концу зимы Иван сделался совсем как умалишенный. Иногда он по два дня молчал. Его что-то тревожило. Иногда он что-то бурчал себе под нос и озирался. Домашние дела совершенно валились у него из рук; начиная многое, он ничего не оканчивал, так что под лавками валялись груды каких-то нелепых чурбанов. Бросив под лавку работу, он мрачно слонялся по избе. Иногда садился и скреб обеими горстями спину и живот; скребет час, скребет два и потом ворочает буркалами. Делал все как-то отрывисто, беспричинно: вдруг ни с того ни с сего очутится в одно мгновение на печи, а потом вдруг же бухнется оттуда на пол — и стоит; а что ему дальше делать, не знает.

Иногда он делался даже болен. Ничего ему не нравилось; теплый хлеб и горячая похлебка казались ему невкусными. Он жаловался, что этой еды не хочется, попрекал жену. По ночам не спал. Жена сперва думала, что Иван дурит, но вся наружность его показывала, что он действительно был болен. Но деревня не признает нервов, называя их своим языком — «блажью».

Наконец подходила весна. Пришла пасха. Солнце начало греть. Таял снег. Явились бурые прогалины с щетиной прошлогодней травы. Овраги вокруг деревни ревели водопадами и порогами. Запели первые перелетные птицы, радуясь началу наступающей жизни.

И жители радовались. Целый день завалинки перед избами наполнены были народом, молодым и старым. Страшная зима прошла. Все грелись и вдыхали влажный воздух, наполненный теплыми парами, поднимавшимися от земли. Колокола с утра до ночи звонили. Угрюмое настроение студеной зимы заменилось живыми разговорами. Видно было, что на великий праздник все запаслись едой; на лицах написана была сытость. Кто имел несколько уцелевших копеек, тот выпивал для праздника. Впрочем, и без выпивки все благословляли жизнерадостные дни.

К концу пасхи снова разнеслась молва, что староста нечист на руку. На завалинках и в избах, трезвые и пьяные, принялись оживленно рассуждать об этом воровстве. Одни уверяли, что староста не смеет своровать, другие говорили, что слух без толку не явится. Старики на всех завалинках разгорячались до того, что

ругались, готовясь вступить в рукопашные доказательства. Но вечером спор моментально кончился, ибо все узнали, что староста действительно своровал и уже сидел в находящейся при волостном «сажалке». Никто не знал, какою властью он посажен туда, но все были поражены. Некоторые бегали к правлению справляться, действительно ли сидит, и видели — точно сидит и посматривает в дыру, сделанную в стене «сажалки». «Ты здесь?» — спрашивали его. «Здесь», — отвечал он.

Как же это так скоро, своровал и уже сидит? — недоумевали жители. Но *скоро* только им казалось, — староста *давно* пользовался общественными деньгами, и только жители не знали этого, занятые исключительно пропитанием и приисканием способов «спастися». И когда узнали о случившемся, то осердились. Имя старосты сделалось ругательством. До поздней ночи по всему протяжению сердились и волновались.

Единственно спокойным человеком был в эту минуту один староста, равнодушно выглядывавший из дыры «сажалки». Он свое дело справил. Беспокоен он был тогда только, когда собирался вытащить из сундука не принадлежащие ему деньги, а потом ничего. Свойства воровской мании везде одинаковы. Кругом темнота; холод, голод и равнодушие; гибель человеческих связей и крушение общественных порядков. Так было по крайней мере здесь, в деревне. Это вроде как чума. Староста своровал потому же, почему люди во время чумы предавались разврату во всех видах: пользуйся минутой, за которой, может быть, стоит смерть. Староста рассуждал так: «А что, в самом деле, дай-ка я малость попользуюсь напоследки. Нечего в зубы-то смотреть... эдак и помрешь, ничего не видя!» Осуществить это было можно среди людей глубоко равнодушных, спасавших свою шкуру. И он попользовался. Первым же его делом было предоставить себе удовольствие, для чего он быстро поставил дом из толстых бревен, купил жирного и гладкого мерина и сшил плисовую жилетку. Потом завел компанию с Рубашенковым, писарем и другими; сам поил их, и они поили его. Когда его посадили в сажалку, он уж свое удовольствие урвал, и взять с него было нечего. Дом он заложил, мерина продал, жилетку закапал вином. Словом, совершил, что хотел, а потому был спокоен.

Жители между тем волновались. Наутро в воскресенье все, словно по уговору, двинулись к волостному правлению и собрались в куче вокруг сажалки. Стали переговариваться со старостой, который выглядывал из дыры. Попрекали его. Было, между прочим, уже известно, что староста стащил не только мирские деньги, но и, как носился слух, часть собранных податей, возмещение которых падет на деревню, то есть жители должны будут вторично раскошеливаться. Это подлило горечи.

— Что ты с нами сделал? — кричали ему.

Но, увидав тупое равнодушие со стороны старосты, возмутились. Поднялся гул ругательств. Если бы староста был на воле, над ним совершился бы самосуд. Многие уже предлагали взять приступом сажалку, расшибить ее и поучить вора как следует, но это желание почему-то не состоялось. Принялись опять укорять старосту скверными словами. Кто-то взял в руку комок земли и пустил его в сажалку, стараясь угодить прямо в дыру. Это была, вероятно, просто шутка от скуки. Но едва пролетел первый ком, как все присутствующие схватили кто что мог и давай кидать в сажалку. Посыпался град камней, земли, оставшегося снега. После чего настало относительное спокойствие; на время все были удовлетворены, излив озлобление этим ребяческим способом. Да и взять со старосты нечего было.

Вдруг кто-то вспомнил Ивана Чихаева. Ведь он был учетчик. Подавай сюда учетчика! Сделано было распоряжение привести Чихаева силой. Трое из сходки сейчас же бросились за Чихаевым и через короткое время привели его.

Видом его все были поражены; едва признавали его. Он дико озирался, как пойманный лесной обитатель. Лицо у него было даже осунувшееся, какое-то мертвое; глаза ввалились. Волосы были нечесаны. Он казался всем поразительно несчастным.

С ним сразу заговорили десятки голосов, а он молчал. Только смотрел по сторонам, но сказать ничего не мог. Может быть, он разучился разговаривать в своем уединении, но это всех озлило.

— Ты что ворочаешь буркалами! Оглох, что ли? — завопили два-три ближайшие мужика на него.

— Ворона ты эдакая! Ведь ты учетчик был... что же ты рот-то разевал? Прямая ворона! говори: не приметно тебе было, что вон энтот срамник упер, например, капитал?

Иван продолжал молчать. Вдруг по всему его телу прошла как бы судорога.

— Братцы! Я не виновен... Моей вины нет... Истинным богом говорю!

Проговорив это, он оживился и бессвязно заговорил, доказывая, что ничего насчет воровства не знает. Ему объяснили: староста, вишь, упер мирской капитал и подати...

— Ты вон погляди на него... у него и сраму-то нет... бессовестный!

Иван посмотрел на старосту, выглядывавшего из сажалки. В это мгновение с Иваном совершился переворот. Лицо его выражало негодование. Он чувствовал, что какая-то сила подмывает его. Видя вокруг себя взволнованные лица, чувствуя горячее дыхание живых людей, он весь проникся их настроением. У него явилось страстное желание услужить чем-нибудь людям. Его связывала какая-то крепкая связь с ними. У него явилась страстная потребность любить людей и жить с ними одной жизнью. Если бы они пошли ломать сажалку, он бросился бы первым. Если бы старосту начали бить, он нанес бы самый жестокий удар. Но этого не было. Бросали только комья земли. И Чихаев с ожесточением схватил кучку липкой грязи и шлепнул ее в стену сажалки, не попав в старосту. При этом яростно выругался.

— Бездельник! — судорожно крикнул он и готов был зареветь от злости. На глазах его показались слезы.

Его охватило невыразимое волнение. Каждый мускул его дрожал. Он не мог стоять на одном месте и толкался по кучкам, на которые разбилась сходка.

— Что ж, ребята... Ведь точно вины его нету, — предложил кто-то. — Стало быть, он только по глупости... Надо бы с учетчика-то ведерка два стащить, будто за то, что проворонил общественные денежки...

Это для всех был неожиданный и желанный выход.

К Ивану обратились с требованием.

— Ставь два ведра, нечего! — приказали ему.

К удивлению всех, он не сопротивлялся. На лице его написана была полнейшая готовность исполнить все, что велят.

— Сейчас! — сказал он радостно, взял с собой человека три и бросился домой за деньгами, а оттуда за водкой.

Пил он через несколько часов вместе со всей деревней, лихорадочно угощая. Домой он не показывался целые сутки.

Но когда пришел, то, крадучись, вынул из сундука часть денег и пустился бежать, после чего снова пропал на целые сутки. Видели, что он ходил с бутылью водки, окруженный толпой оборванцев, которые с сияющими лицами следовали за ним. Он их угощал и также сиял.

Жена ужаснулась, увидав это. Видимо, с Иваном произошел новый переворот, конца которого она не могла определить. Пробовала она принять меры. Когда Иван явился на третий день ночью пьяным, она заперла его в чулан. Он сперва буянил, колотил в стены, но скоро настроение его переменилось. Он стал меланхолически тянуть божественные песни.

К утру ему удалось бежать из чулана, захватить деньги и скрыться. Им овладела какая-то горячка пустить по ветру все, что он взял от людей в годину их бедствия.

В неделю, следующую за праздником, он спустил все деньги дочиста. И только после этого остепенился.

Но с этой поры он уже стал не тот. Дома он почти не жил. Его тянуло вон из избы. Принужденный иногда остаться на месяц дома, он выглядел скучным. Ночью пугался, и ни за что нельзя было заставить его остаться одному в избе. Он не мог прожить дня без общества людей. Выписав опять племянника и дочь из города, сам он ходил по заработкам, и всегда в артели, хотя с одним товарищем. Дома он глядел угрюмым и несчастным, но на людях, едва вырвавшись из избы, мгновенно делался болтливым, шутил, смеялся.

Он сделался обыкновенным деревенским жителем — не богатым и не обеспеченным от случайностей, и жил так, как и все. Испытав на себе, как страшно отделяться от людей, он никогда больше не мог питать в себе одинокие и негодяйские замыслы против окружающих.

Соломы он больше уже не копил.



ПУСТЯКИ

До своей деревни Мирону оставалось не более пятнадцати верст, ничего не значащих для свежих ног. Но он прошел не одну сотню верст, устал, проголодался и почувствовал желание отдохнуть. Положа на землю сапоги и котомку, болтавшиеся у него за спиной, сняв шапку и зачем-то посмотрев в ее нутро, он несколько минут оставался в нерешительности, где ему присесть. По обеим сторонам дороги торчали шершавые кусты, в прошлом году дочиста обглоданные скотом, а ныне только что покрывшиеся редкой, заморенной листвой; под кустами зеленела весенняя травка, а над ее уровнем кое-где возвышались плешивые бугры из глины, сделанные муравьями. Неизвестно почему, но Мирон выбрал место привала возле одного из этих бугров.

Не медля ни минуты, он вынул из котомки съестные припасы, берестяный бурак с водой и принялся, с несколько странными приемами, закусывать, весь сосредоточившись на этом занятии. Сначала он отрезал тоненький листик ржаного хлеба, посыпал его тончайшим, почти невидимым слоем соли и отложил с величайшею бережливостью в сторону. Потом принялся лупить луковицу; слупив с нее осторожно первую кожуру, он собрал ее на ладони

и с задумчивым видом соображал, нельзя ли и ее съесть? Однако убедившись, что это невозможно, он с сожалением положил ее на траву. И тогда только решился кусать листик хлеба с луком. Съев первую порцию, он некоторое время медлил, думая, что может ограничиться таким обедом, но решил еще отрезать немножко. Еще и еще, и так далее. Странная операция продолжалась долго и с одинаковым однообразием, пока луковица не была доедена. Тут уж делать было нечего. «Будет! и то уж очень сладко!» — сказал Мирон с укоризной, обращенной, очевидно, к собственному желудку. Сложив оставшуюся краюху ржаного хлеба в котомку, он задумался. Думал он о том, съесть ли ему оставшееся каленое яйцо, или донести домой в целости, но искушение было столь сильное, что он поддался ему почти без сопротивления. После этого он перекрестился, икнул и торопливо проговорил серьезным тоном:

Бог напитал,
Никто не видал;
А кто видел,
Тот не обидел.

Во все продолжение обеда он не обращал внимания на окружающее. Пролетела ворона над его головой, села на ближайшее дерево и принялась глядеть на него; возле него через дорогу пробежал суслик, над самой его головой копошились какие-то твари; в уши, в нос и рот лезли ему весенние мошки. Но только после прекращения обеда он оглядел окрестность. Вдали по дороге показался еще человек, но за дальностью расстояния Мирон долго не мог ничего разобрать. Прохожий понуро шел, глядя в землю.

— Господи! Неужели Егор Федорыч?! — воскликнул Мирон, разинув рот от удивления.

Последний, внезапно окликнутый и выведенный из задумчивости, поднял голову.

— Ты ли, Егор Федорыч? — продолжал спрашивать Мирон.

Но на его восклицания Егор Федорыч молчал, очевидно не узнавая своего земляка.

— Стало быть, не признаешь?

Прохожий покачал головой.

— Мирона-то, говорю, не признаешь?.. Я Мирон, чай, помнишь... эка!

И на это прохожий только покачал головой, усиленно вглядываясь в Мирона.

— Я Мирон, ишь память-то у тебя отшибло!.. Мирон Ухов, Мирон Петров, а по прозванию Ухов... эка!

Прохожий узнал и улыбнулся. Земляки поздоровались. Егор Федорыч также уселся на траве и снял свою котомку с плеч. Обыкновенно при таких неожиданных встречах люди принимаются усиленно говорить, захлебываясь и перебивая друг друга, но

при этой встрече говорил и спрашивал один только Мирон, а Егор задумчиво вглядывался в него, протянув ноги и пощупывая их.

— Зудят? — спросил Мирон, указывая на ноги.

— Беспокойно, — отвечал Егор Федорыч.

Он сидел так же понуро, как и шел. Он был сгорблен, казался дряхлым, с осунувшимся лицом, хотя жидкие волоса его не имели ни одного седого волоса.

— Знаю я это. Словно кто жует у тебя икру. Как и не зудиться, братец ты мой, ежели ты бывал, чай, и в Питере, и в Москве, и в Крыму, и у казаков, и в прочих палестинах... А ты их дегтем мажь.

— Хорошо?

— Первое удовольствие. Сейчас вытер больное место — и ничего, вреда нет.

Мирон предложил Егору Федорычу воды, видя его запекшиеся губы. Это дало новый оборот разговору.

— На каком же ты теперича положении сюда предъявился? За какой нуждой? — спросил Мирон.

— Побывать вздумал...

— Значит, дело?

— Нет, так... заскучал.

— Это верно. Заскучать недолго. Уж я на что человек, можно прямо сказать, домашний, да и то даже на удивление!.. Все думаешь, как там лошадь, благополучна ли корова. Тоже опять ребята, хозяйка — все забота, все беспокойство. Нынче я и не чаю, как домой прибежать...

— Несчастье?

— Нет, бог грехам терпит, несчастья нет. Но только вот мосол... — Говоря это, Мирон взволнованно смотрел на собеседника.

— Какой мосол?

— Обыкновенно, мосол, кости... Ну, только вполне измучился! И во сне-то, ночью, все он мне видится, чуть прикорнешь, а уж его видимо-невидимо! А наяву бесперечь думаешь, в какой препорции покупать, за какие цены продавать и прочее тому подобное...

— Да ты о чем говоришь? — спросил Егор Федорыч раздраженно.

— Обыкновенно, о костях. Думаю я, братец, промышленность завести, прямо сказать — торговлю. Надоумил меня в городе один барин; не то чтобы барин, а даже лакей в господском доме. Пришел я однова к нему под лестницу, — тринадцать копеечек полагалось с него получить, — пришел и гляжу: лукошко стоит, а в лукошке эта кость; стало быть, господа едят убоину, а кости не трогают... «Куды, спрашиваю, предназначаются?» Тут-то

я и узнал, что кость идет в пользу, хорошие деньги дает. С этой поры я и задумал.

— Ежели дает хорошие деньги, так на что лучше, — сказал Егор Федорыч.

— То-то вот и рассчитываю. Иной раз, господи благослови, в барыше у меня остается рубль, иной — три, а то так и нет ничего... Как вспомнишь, что тебе ничего не останется за все твои труды-хлопоты, как подумаешь, что, сохрани бог, ухлопать свои собственные денежки на этот мосол, все равно как дубиной тебя долбанет! Ты как мне присоветуешь? — с нетерпением и дрожью в голосе спросил вдруг Мирон.

— Что ж я тебе присоветую! — возразил Егор Федорыч. — Я толку не знаю. Сам бы я завсегда плюнул на эти полоумные пустяки, а ты как знаешь. Это уж твое дело.

Егор Федорыч стал собираться. Замолчали. Тишина невозмутимая. Мирон беспокойно поглядывал вокруг, размышляя о своем деле, а Егор Федорыч безучастно глядел вдаль.

Наконец Мирон первый нарушил молчание. Он предложил Егору Федорычу идти вместе. Оба они зараз встали, закинули за спину свои котомки и молча зашагали по дороге на родину. На полпути Егор Федорыч свернул в сторону, объявив, что ему надо зайти в другую деревню. Во все время он не спросил ничего, что делается дома, ни одного слова! Мирон некоторое время следил глазами за его сгорбленной фигурой, медленно двигавшейся посреди кустов, и на мгновение задумался. Такое впечатление Егор Федорыч производил на всех, кто с ним сталкивался.

Никто в деревне не обратил внимания на возвращение Егора Федорыча Горелова (так было его прозвище), когда он снова, после нескольких лет отсутствия, поселился в своем заброшенном доме. У каждого было свое собственное дело и некогда думать о чужих.

Егор Федорыч не только не оскорблялся этим равнодушием, но был рад ему, потому что желал одного, чтобы его не трогали и не надоедали ему разными мучительными делами. Одинокий, без семейства и без друзей, он безучастно и уединенно жил в своей избе. Конечно, жуткий это был кров. Не говоря дурного слова о соседях, можно тем не менее подтвердить факт, что все хозяйственные постройки возле избы куда-то пропали вместе с плетнями, заборами и воротами; после них на дворе остались одни груды мусора, да и те заросли травой; а ветлы, посаженные некогда (давно это было) Егором Федорычем на задах, были срублены, и лишь корни их еще виднелись из земли. Самая изба подверглась опустошению; в ней теперь стояла только печь, от ко-

торой несло холодом. В трубе поселились галки, в сенях — летучие мыши.

Ни к чему не прикасался Егор Федорыч по приходе домой. Он бросил в один угол охапку сена, служившего ему постелью, купил чашку, ложку и котелок, в котором по вечерам варилась жидкая кашица. В этом и состояло все его хозяйство. Странно сказать, он не бегал, не хлопотал и не имел никакого определенного дела; странно потому, что все в деревне бегали и хлопотали, всё что-то такое устраивая.

Когда у него вышли все деньги, он стал наниматься на работы, которой в это время довольно было везде. Вознаграждением он довольствовался ничтожным, беря гривенник или двугривенный, вообще столько, сколько ему надо было на хлеб и на кашу. Это равнодушие удивляло и радовало, так что все брали его с удовольствием. Не нравилось только то, что он был плохой работник. Едет он, например, по пашне с бороной, а сам все о чем-то думает, и так задумается, что ездит час, другой, третий. «Ты что же делаешь?» — спрашивает у него хозяин, и только тогда Егор Федорыч приходит в себя.

Ни с кем он не объяснялся о своих думах, да и у него никто не спрашивал, как он думает жить по возвращении. Разве от нечего говорить спросит иной хозяин об его делах. Так, однажды хозяин принялся его пытать разными вопросами. Дело было на пашне во время обеда.

— Как же ты, Егор Федорыч, насчет хозяйства, думаешь приноравливать или так? — спросил хозяин.

— Так, — отвечал Горелов.

— Мочи нет, то есть, например, капиталу?

— Не желаю!

— А надо бы...

— Не надо, — возразил Горелов.

— Хозяйство? Чудак ты, я вижу, этакое неосторожное слово сказал! Да как же без хозяйства? хозяйство всяк должен приспособить.

— Для чего?

— Это хозяйство-то? — Очевидно, это слово ставило хозяина в тупик.

— Да глух, что ли, ты!..

— Ну, шутник ты, погляжу я. Потому хозяйство требуется, быть без него нет силы-возможности. Даже какой-нибудь мошенник или собачий сын и тот... Да как же это возможно, чтобы хозяйства не надо..

— Разное бывает хозяйство. Главное, чтобы в уме был порядок. Который человек полоумный и никакого хозяйства в душе у него не водится, тому все одно... Есть у тебя эдакое хозяйство?— резко спросил Горелов.

Хозяин положил ложку на траву, положил туда же недоеденный огрызок хлеба и чесал спину. Изумление его было столь велико, как если бы ему сказали, что его ноги, собственно говоря, растут вместе с онучами у него на голове. Подумав немного, он снова взял ложку и только сказал в глубокой задумчивости: «Вон оно как!» Разумеется, хозяин после такого разговора перестал расспрашивать Горелова, чувствуя к последнему неопределенный страх.

Вообще после таких разговоров многие жители деревни стали побаиваться Горелова. Оказалось, что говорить с ним нет никакой возможности: нападает тоска. Разве иной по незнанию впутается в разговор, да и то спешит замолчать. Так было через несколько дней у другого мужика, имевшего неосторожность пристать к Горелову за советом. Горелов нанялся к нему за четырнадцать копеек помогать пахать. Между тем хозяин недавно перенес глубокое несчастие: у него развалилась изба. Чтобы поправить поскорее дела, он отобрал годные к употреблению бревна от старой избы, прибавил к ним круглых чурбашков от курятника, присоединил еще несколько слег от коровника и сочинил из этого нечто новое, якобы избу. Но убежище это не понравилось ему и мучило его одним своим видом, к сожалению довольно странным. С этим делом он и обратился к Горелову, считая последнего опытным.

— Ты как думаешь о моей избе... выдержит? — спросил он.

— Не знаю, — ответил Горелов.

— Я полагаю — не выдержит! — с внезапным отчаянием выговорил хозяин. — Все она смотрит вот эдак... Задом села и перед подняла кверху.

— Что ж, опрокинется! — заметил Горелов.

— Во-во... это самое я и думаю! Не выдержит! Что ж мне с ней, подлой, делать?

— А я почем знаю!

— Нет, так, к слову, что бы ты присоветовал, а?

— Да говорю тебе — не знаю!

— Однако как бы ты думал? Чем бы эдак утвердить ее? Чего ей, сволочи, недостает?

Горелов, наконец, потерял терпение.

— Лесу ей недостает, а тебе ума и бога... — сказал он со злобой.

Молчание и оцепенение. Хозяин буквально разинул рот, даже побледнел, потому что им овладел вдруг какой-то суеверный страх.

Темные слова, сказанные Гореловым, были, очевидно, ясны для него. Под ними он разумел целый ряд явлений, хорошо знакомых ему, кровью пережитых и потому особенно ненавистных, как и все его прошлое, внушавшее ему одно отвращение. Между тем несколько лет тому назад он был не тот, каким стал теперь.

Большинство жителей деревни скажет, что тогда он жил ладно, — ладно, то есть вместе со всеми прочими. Все метались, промышляя еду, и он метался. Никто не помнит истинной жизни, и он забыл. Забыл вплоть до того времени, когда ему случайно пришло на мысль волей-неволей оглядеть себя. В это время он сделал открытия, сам не веря тому, как он мог их пропустить мимо глаз и ушей.

Было ли в его жизни что-нибудь особенное? — Нет, ровно ничего такого, что было бы необыкновенно в деревенской жизни. Пожалуй, можно приписать случившийся в его настроении переворот трешнице, но история ее также обыкновенна. Она состояла в следующем. Был у Егора Федорыча шестилетний сын Мишка. Неизвестно, любил ли он его, как единственную свою опору в будущем, только особенного внимания Мишка не обращал на себя. Мальчонко рос, ел, бегал по лужам, ловил воробьев, ездил верхом на телятах, ревел, когда его колотили, или шалил, когда его забывали на целую неделю, — все как следует. Но вот однажды пришлось Егору Федорычу прихватить у соседа деньжонок; тот дал и в назначенный срок аккуратно пришел за долгом. Егор Федорыч также аккуратно вытащил из-за пазухи кожаный кошель, а из кошеля осторожно вынул трешницу и нежно разглаживал ее на ладони. И вдруг дьявол подтолкнул Мишку выпросить у отца бумажку, чтобы посмотреть на нее хоть одним глазком. Не успел отец опомниться, как сорванец подбежал к печке, которая топилась, и выронил бумажку, заявив об этом несчастии страшным ревом. Моментально все находящиеся в избе бросились к печке, и несколько пар глаз вперились в огонь. Бумажка вспыхнула и пропала. Егор Федорыч бросился от печки, догнал улепетывающего Мишку и, вне себя от ужаса и отчаяния, принялся тузить его. И ведь, правильно говоря, недолго тузил. Но Мишка с этой поры стал какой-то дурак, чистый юродивый. Из ушей у него текло, изо рта текло, из носу текло, глаза смотрели тупо, слышать он перестал. Потом он помер.

Так вот. Пожалуй, можно приписать случившийся в душе Егора Федорыча переворот трешнице, но, вероятно, были общие, более широкие условия всей деревенской жизни, благоприятствовавшие вместе с трешницей превращению Егора Федорыча из хозяина в бездомного шатуна, не знавшего нигде покою. Самые обыденные и обыкновенные вещи ему опротивели с этого времени. Первым предметом его отвращения сделался ближайший к нему человек — хозяйка его Аннушка. Не то чтобы она была действительно противная баба, — совсем напротив. Аннушка работала с нечеловеческими усилиями, по-лошадиному, а потребности имела ничтожные. Вид ее был всегда растерянный и пугливый, но это происходило оттого, что она не давала себе отдыха. Даже в свободные минуты она готова была куда-то бежать, что-то схватить,

взвалить на спину и тащить, — такое уж лицо у ней было беспокойное. Сидит, например, в воскресенье и ест ватрушку, но вдруг вспомнит какую-нибудь картошку, которую надо будто бы перенести вот в этот угол, — вспомнит и ринется, а потом уж целый день все что-то перетаскивает, перекатывает и перевозит, тяжело дыша, а к вечеру валится, как убитая, и спит, как бездыханный труп. Такая неустанная деятельность уживалась рядом с неряшливым одеянием, с заморенным лицом и вечной бедностью всюду, где она только проявляла эту деятельность.

Наблюдая за ней, Егор Федорыч питал все бо́льшую и бо́льшую ненависть к ней. За то, что она работала до упаду, за то, что у ней не было ни минуты покою, — одним словом, за все, что в ней было для всех посторонних хорошего, он чувствовал отвращение к ней, как и к картошке, узлам, отрубям и прочей дряни, ради которой она убивалась. Иногда кипевшая внутри его злоба вырывалась наружу. «Да ты хоть бы раз подумала... Спрашиваю я, для какой надобности ты всполошилась и вообще по каким причинам ты живешь? Ну, хоть бы одно путное слово обронила... туды-суды мечешься, как оглашенная, там накричишь, в другом месте наругаешься... хлоп — и спишь...» Говоря это, Егор Федорыч чувствовал всю безнадежность этих слов и своей жизни. Наконец он не выдержал и отправился на заработки, да там и застрял на несколько лет. Аннушка также ушла на заработки, долго мыкалась по свету божьему. Потом померла.

Получив полнейшее отвращение ко всем обычным делам и порядкам, Егор Федорыч нигде и ни на чем уж не мог остановиться. Поработав в одном месте, он шел в другое, гонимый каким-то беспокойным чувством. Он колесил по всей России, побывал в самых темных ее закоулках, но нигде подолгу не оставался. Недавно он заскучал по родной стороне и поплелся туда.

Теперь беспокойное чувство утихло немного, и он мирно жил в своей старой избе. Каждый день он шел куда-нибудь работать, а вечером возвращался домой, разводил в печке огонь, варил кашицу и грел мозжившие ноги. Морщинистое лицо его было спокойно и безучастно. По-видимому, ничего не ожидая от жизни, он ничем не волновался. Его не манила к себе деревенская суета, не прельщала его копейка и не гонялся он за куском. Какой-нибудь гривенник вполне удовлетворял его. Но у него была внутренняя жизнь, волновавшая его, были внутренние раны, которые болели, потому что он сам их бередил.

Сидя перед пылающей печкой, Егор Федорыч весь погружался в свои думы. Деревня давала ему материал ежедневно, а он его перерабатывал, только мысли его принимали чрезвычайно странные формы. Он думал о своей родной деревне, припоминая в то же время Аннушку и Мишку. Все свои думы он олицетворял в этих двух образах, врезавшихся ему в память так сильно, что он уже

не мог обойтись без них, размышляя о деревенской жизни, а последняя ежеминутно врывалась в его жизнь, хотя он казался равнодушным ко всему. Он не мог оторваться от нее, хотя старался не думать о ней. Да, наконец, поэтому-то он и возвратился к своей земле, в свою избу, что они, помимо его воли, влекли к себе. И вот он волей-неволей задумывался над жизнью деревни, волнуясь, припоминая, гневаясь и страдая... Все это переживалось перед печкой. Когда ему в голову лезли ненавистные для него деревенские порядки, когда в нем поднималось отвращение к «полоумству», тогда вдруг деревня превращалась в Аннушку, которая вставала перед ним во весь рост, и он ссорился с деревней, которая все суется за какой-то картошкой, все о чем-то горячо, до смерти хлопочет, но ничего из этого не выходит путного. Вид ее растерянный, дела полоумные, и ни ума, ни бога.

— Хозяйка! — говорит Горелов вслух, забыв, что Аннушка давно умерла. — Да ты хоть бы однажды одумалась, полоумная, по каким причинам ты живешь? Что ты все суешься, дура!

Воспаленные глаза Горелова неподвижно смотрели на огонь, и все лицо его выражало ненависть: он припоминал и соединял все гнусное из жизни своей деревни... Но, в сущности, он жалел ее от всего сердца, любил, был до могилы привязан к ней, к этой несчастной стране, которую оглушили, изувечили. Тогда появлялся Мишка как живой, и на лице Горелова появлялась невыразимая жалость.

— Мишка! — говорил Горелов шепотом: — ты не сердись... прости меня!.. Славный был бы мужик... прости, Мишка!

Егор Федорыч с тоской глядит в одну точку печки и совершенно позабывает, где он и что с ним. Но все эти представления и лица, предметы и события, перепутанные и темные, были для него ясны, как божий день, и составляли одно целое. Деревня и Аннушка, Мишка и мужики — все это совершенно складно соединялось у него. Первую он ненавидел, второго жалел. Первой он приписывал полоумство, глупость, второй вызывал внутри его невидимые рыдания. От первой он бежал, второму хотел помочь. И для него все было ясно.

Так он проводил свои вечера. Трудно сказать, до чего он дошел бы в этом мучительном перебирании пустяков и припоминании беспутно проведенной жизни, если бы он имел средства безотлучно торчать перед печкой. Но у него не было гривенника, и, чтобы добыть его, он должен был поневоле забывать свои думы, жить день за день, сталкиваться с людьми, проникаться их несчастиями и слушать деревенские разговоры. За постоянной работой ради этого гривенника, за неминуемыми разговорами все о том же гривеннике должна была неизбежно протекать и его жизнь.

Через некоторое время даже в самой избе его поселился сожитель, некий Федосей, по-видимому старичок, на самом же деле

еще довольно молодой мужик, только страдавший ломотой в руках, а потому беспомощный. Не имея пристанища в деревне, хотя был коренным ее жителем, он просился к Горелову, обольщая его двадцатью копейками ежемесячной платы. Эта просьба целый час оставалась безуспешной.

— Пустишь? — со страхом спрашивал Федосей, не переставая обольщать. — Тоже, брат, двадцать-то копеек — деньги! они, двадцать-то копеек, с полу не подымаются! Двугривенный, сокол мой! А при всем том я прошу Христом богом, сделай снисхождение несчастному!

— Молчи! — с негодованием, наконец, сказал Горелов, выходя из себя. — Больно мне нужен твой гривенник или двугривенный... Чтобы ни слова, а иначе по шее...

Федосей со страхом смотрел в лицо Горелова, ожидая его решения, как смерти. Но, к удивлению и радости его, Горелов согласился пустить его в свой дом на жительство, указав угол, где он мог спать, сколько ему угодно. Он только утвердительным тоном выговорил условие, чтобы Федосей не болтал. «Придешь с работы, шлеп в угол — и молчи, а иначе по шее...» Это условие Федосей свято исполнял.

Нельзя представить себе более делового человека, как этот Федосей. Прожив свое хозяйство, свой дом и свою семью, он остался спокоен, как генерал, проигравший сражение. У него каждый день находились дела. Правда, заработки его были плохие, — кто же даст ему работу, коли руки у него не годятся? — но Федосей оставался тверд и деятельно искал работы и пищи, и если иногда обстоятельства ставили его в недоумение, так он, не долго раздумывая, брал кошель и знакомым ему тоном вымаливал куски Христа ради. Последнее занятие было даже вернее; не бывало случая, чтобы Федосей приходил с пустыми руками. Куски всегда приносились в достаточном количестве, вследствие чего Федосею непременно представлялась возможность по приходе домой заняться подробным вычислением и сортированием добычи. Он высыпал всю добычу из кошеля и раскладывал куски на кучи. Вот эту сейчас съесть, эта пойдет на завтрашний день, эта куча предназначается к продаже, а эту должно обратить в сухари. Федосей рассчитывал глубокомысленно, как банкир, подводящий баланс. Вообще жизнь Федосея была занятая, полная. В то время, когда он поселился у Горелова, он нашел довольно складную работу. На маслобойне в соседней деревне пала лошадь, возившая ремень, которым вертелись маслобойные колеса. Узнав об этом, Федосей живо скатал на маслобойню и после непродолжительных переговоров подрядился возить колеса впредь до того времени, когда хозяином будет приобретена новая лошадь, за что и получал шесть копеек в сутки и меру толокна.

Никакого имущества Федосей не имел; все у него было ободрано, рвано, вонюче. Но Федосей не унывал никогда, довольный всем миром, всей своей жизнью, и в том числе и своей одеждой. Однако и у него были свои пристрастия. Во-первых, он до бесконечности любил сахар и постоянно имел его, хотя бы в виде огрызка с булавочную головку. Где он его доставал — неизвестно, но каждый вечер после серьезной и утомительной деятельности за ужином он сгрызал немножко сахару, и только тогда спокойно укладывался спать. Другою страстью его были рукава полушубка. Полушубок давно протух, истлел и износился, — звания его не осталось, — но рукава остались. Федосей неизменно надевал их на руки и говорил, что без них ему давно бы пришел смертный час. Он их любил, берег и боялся, как бы их не украли.

Горелов в первое время усиленно наблюдал Федосея и в конце концов, к своему собственному удивлению, стал жалеть его. Иногда он кое в чем помогал ему, иногда давал ему кашицы. Федосей за это так привязался к нему, что в дождливое время отдавал ему на хранение рукава.

В редкие минуты у Горелова являлось желание вмешаться в дела деревни. Так было через неделю после того, как в его доме поселился Федосей. Егора Федорыча потребовали на сход, и он не отказался идти. На очереди стояли два вопроса. Во-первых, пустить Рубашенкова с лавочкой или отказать ему. Второй вопрос заключался в том, согласны ли миряне сделать единовременный взнос одной копейки с души на покупку канцелярских принадлежностей для сборной избы, где сельский писарь растратил все слюни для выдуманного им способа делать рыжие чернила, и обозлился, вымаливая у баб гусиных перьев, так как стальные перья составляли для него неосуществимую мечту. Миряне после продолжительных взаимных оскорблений согласились на уплату одной копейки, которую, впрочем, решено было выбить из мирян через месяц, по причине безденежного сезона.

Горелов раздраженно покачал головой и выбросил на стол несколько медяков, — поступок, вызвавший во всех присутствовавших оцепенение, а потом благодарность. Горелов на этот раз сдержался и отошел в самый дальний угол, где на лавочке помещался Прохоров, бывший на этот раз в трезвом состоянии. Прохоров имел довольно жалкий вид: короткие штаны, открывавшие голые икры, коты на ногах, вместо сапогов, не придавали ему бодрости; он робко прижался в угол, не смел слова выговорить и чего-то стыдился. Соседство же Горелова привело его в полное смущение; он еще плотнее прижался к углу, по-видимому желая влезть в самую стену, чтобы скрыться там.

Горелов, конечно, и не думал пугать кроткого Прохорова, который только вообразил это, потому что с малых лет был напуган всей совокупностью нехорошей жизни. Лицо Горелова, прав-



да, исказилось злобою, но она относилась к решению схода относительно Рубашенкова. Решено было в таком смысле: по причине того, что сладиться с Рубашенковым нет возможности, то взять с него четыре ведра, а лавочку пущай заводит! Это было обыкновенное решение. Крестьяне чувствовали свою немощь и вознаграждали себя за бессилие водкой.

Таково было обаяние имени Рубашенкова. Это был природный житель деревни, который рано понял невыгоду быть битым дураком. Некогда постоянным занятием его было выпускание хлеба из амбаров посредством пробуравления дыр, но затем он нашел это рукомесло невыгодным и бросил его; от него остались только незначительные признаки на лице, а именно: рубец на лбу, ближе к левому виску, и поротое левое же ухо. Он сделался подрядчиком у Тараканова, занимался наймом рабочих, которые боялись его пуще огня. В нем была одна глубокая, совершенно немошенническая черта: он страшно, систематически мстил за свое прошлое. Иногда он не обращал внимания даже на материальные интересы свои, чтобы только удовлетворить жажду мести к крестьянам, — мести, которая сделалась его наслаждением и сознательным удовольствием, почти усладой его темной жизни. Он насмешливо издевался над пойманным крестьянином и радовался до одурения, когда последний валился к его ногам. По большей части он прощал его. Впрочем, и материальные интересы его не страдали; он уже завел в нескольких деревнях мелочные лавочки, а теперь думал устроиться с лавочкой и в той деревне, где жил Горелов.

Горелов протискался вперед и заговорил. После некоторых усилий ему удалось заставить себя слушать. Он говорил толково, но волновался и задыхался. Он уверял, что жизнь идет нехорошо; настоящих людей нет, остались какие-то твари худые. «Главное — нет ума и бога! Живем мы, можно прямо сказать, не для себя и не для других прочих, а так, для полоумных пустяков... Второе — науки нам нет, по причине чего и идет эта бестолочь. Подумайте сами: неужели ж нет никакого сла́ду с этим Рубашенковым, прямо сказать, негодяем, кото-

рый рад, что нашел уйму дурачья, а это дурачье пьет за его здоровье ведрами...»

— По моему рассуждению, — кончил Горелов, — с лавочкой Рубашенкова не допускать, а чтобы он больше не путал народ, прописать ему мирской приговор в том смысле, что, мол, видеть его больше не желаем.

Горелов замолчал как-то вдруг. Лицо его сразу осунулось, и он безнадежно слушал гам, поднявшийся затем. Большинство сначала перетрусилось до невероятности, услышав предложение; некоторые побелели как снег. Третьи закричали, выражая накипевшую злобу против своего бессилия, что надо бы, давно надо бы спровадить его этаким манером. За ними почувствовал прилив злобы и весь сход. Со всех сторон кричали: «Чтобы и другому псу неповадно было!» Потом все принялись ругать и издеваться над Рубашенковым. Каждый старался выкрикнуть самый едкий эпитет, самое вонючее слово. Егор Федорыч ушел, — невозможно было дышать в этой атмосфере. Он понял, что дело вонючими словами только и ограничится. Не то чтобы он поражен был невыгоревшим предложением... что ему Рубашенков? — он и говорить-то не хотел об этом негодяе. Он желал только взволновать душу крестьянскую, заставить одуматься, а вышло совсем иное, совсем противное, полоумное.

— Поди ж ты... мочи не стало, — сказал с отчаянием Горелов, идя домой, на другой конец села. Он шел, не обращая внимания ни на что, всецело погруженный в себя. Вдруг позади его раздалось шлепанье котов, усиленные плевки и грозная речь. Как оказалось, это бурлил Прохоров, успевший зайти в кабачок и выпить, по крайней мере настолько, чтобы потерять обычную робость и сделаться гордым. Он гордо шлепал котами и рассуждал о своем уме, но, по обыкновению, доказывал это положение издалека. Сначала он разговаривал с каким-то невидимым врагом, который, должно быть, оспаривал его положение, но, заметив Горелова впереди, принялся его вызывать на словопрение, а если можно, и на бой. Горелов молчал.

— Позвольте, господин умник, остановить вас малость...

Горелов, как будто ничего не слыша, продолжал шагать.

— Позвольте с вами один момент поговорить, — продолжал приставать Прохоров, но, не встретив возражения, стал разговаривать с затылком Горелова. — Позвольте, умница вы наша, теперь узнать, что есть жук... в каком рассуждении у вас жук?

Волей-неволей Горелов слушал, и на этот раз с недоумением.

— Не знаете? Вот то-то и оно! А еще умник!.. Жук есть самая последняя, например, тварь, в которой существует естественная глупость. Сидит этот жук в навозе, жрет этот навоз и ни в каком случае свету божьего не видит. Но никто не смеет сказать

ему: подлец ты, жук, дурак! Никто не смеет, потому что он живет по-жучьему, по своим правилам. Верно я рассуждаю?

Горелов прислушивался, и на его сумрачных чертах появилась слабая улыбка.

— Теперь позвольте вас спросить, господин умник: какое дать название мирянину нашему, этому православному-то мужику, одру-то нашему?

— Не знаю, — невольно отвечал Горелов.

— Он есть жук...

— Кто?

— А мирянин-то, с которым по глупости нынче вы рассуждали, оболтус-то наш... Он — жук, говорю. Живет он в навозе, жрет этот самый навоз, а свету божьего не видит... А умнейший человек во всей округе, господин Горелов, считает, что имеет полное право ругать его: ах ты, дурак, дурак! скотина, мол, ты чумазая!

Лицо Прохорова засияло радостнее, и он принялся говорить о своем уме, ругая Горелова и всех. Последний долго ничего не отвечал и, только подойдя к своему дому, оборотился к Прохорову и возразил ему зараз на все.

— Ежели бы ты в самом деле был умный мужик, так ты бы допрежь всего прочего подумал, откуда свету-то божьего получить, с какой стороны, от какого солнышка?.. А потому скажу: ах ты, дурак, дурак! пошел лучше спать, пьяная рожа!

Горелов поплелся к своей избе, а Прохоров от неожиданности на одно мгновение даже отрезвел; съежился, струсил и пугливо посматривал на уходившего Горелова.

— Оголтел народ душевно! — сказал Горелов задумчиво по приходе в свою избу. Он задумался над этим случаем, над Прохоровым, над его пьянством. Но незаметно для себя он перестал питать презрение к пропойству, которое сделалось предметом его мысли, и не ругал пропойцев, потому что принялся объяснять их. Такая перемена особенно резко объявилась в другом случае, на который он случайно натолкнулся через несколько дней. Случай этот представил своей особой Портянка.

Его настоящее имя было Василий, фамилия — Портянков, но его все звали просто Портянкой, — до такой степени он упал во мнении всех. Он всегда находился в состоянии бессознательном. Был ли он пьян или трезв, он всегда оставался бесчувственным. Время он делил так: всю неделю работал, в воскресенье пил, присоединяя иногда к праздничному дню и понедельник и не останавливаясь перед закладом портков, если они не были надеты в момент жажды. Лицо его всегда было одутлое и больное, хотя толстое, подобно свиному пузырю; глаза бессмысленны. Но здоровье еще оставалось в нем. Все с охотой брали его на работу, потому что он не обращал внима-

ния, выдержит его пуп или треснет. Что бы ни заставили его делать, он безмолвно ворочал, возил, таскал с покорностью слона. Он буквально молчал несколько лет, и если пытался иногда выразить что-нибудь, то крайне бестолково и бессвязно: он разучился говорить.

И пьяный он никогда не говорил. Тогда он падал даже ниже: молча напьется, выйдет на улицу — хлоп, и лежит без движения,— лежит до тех пор, пока работодатель, нанявший его, сам не придет и не растолкает его пинками.

— Эй, ты, бревно, будет тебе отдыхать! — кричит он, пуская в ход пинки.

— Вставай, одёр! Довольно уж поспал! — с бо́льшим нетерпением кричит хозяин и с бо́льшим остервенением будит «одра».

После этого Портянка вставал и покорно следовал за хозяином; но не просыпался, потому что спал вечно, беспрерывно, как в могиле.

Когда Егор Федорыч к вечеру этого дня вышел из дому, чтобы порасспросить в деревне, нет ли какой работишки на завтрашний день, он наткнулся внезапно на лежавшего без движения Портянку и невольно остановился над ним. Но в эту минуту к нему подходил Мирон Ухов.

— Никак Портянка? — еще издали сказал он. — Так и есть, он самолично. Я его искал, искал, а он вот. Здорово, Егор Федорыч!

Последний ответил на приветствие, а Мирон принялся будить Портянку.

— Эй, ты, бык, поворачивайся! — кричал он, толкая спящего.

Портянка не шевелился. Мирон употребил более энергические меры.

— Бусь... — послышалось глухо, как из-под земли. Это говорил Портянка.

— Шевелись, бревно проклятое! Некогда мне с тобой тут валандаться!

— Бусь... бубусь... — возразил Портянка.

— Вон до чего налопался... что есть слова путного не выговорит! — сказал Мирон, тяжело переводя дух и обращаясь к Горелову.

— Да зачем он тебе? — спросил Горелов.

— Он нанялся. Завтра чуть свет в поле... А не разбуди его, до полдéн завтра пролежит, как бревно!

— Что же ты с ним хочешь сделать?

— Утащить к себе, чтобы с глаз не спускать.

— А как ты его утащишь? — удивленно заметил Горелов.

— Как ни то, надо... За ноги, что ли... А то бы ты помог! — обратился Мирон с просьбой.

Горелов согласился. Вдвоем они подняли Портянку, взяли его под руки и повели. Доро́гой Портянка вел себя нехорошо, валясь то на ту, то на другую сторону, то устремляясь вперед, то пятясь назад. Для предотвращения этих колебаний, Мирон хлопал Портянку то по переду, то по заду, смотря по надобности. Лицо Горелова затуманилось состраданием, но глаза выражали злобу.

— Зачем ты его бьешь? Лечить его надо! — сказал он Мирону.

Мирон больше не делал из своего кулака руля для направления пути Портянки. Он рассказал Горелову свое горе, состоявшее в том, что вследствие хлопот над костями он не может сам завтра выехать в поле докосить лужок, а на Портянку не полагается вполне, опасаясь, как бы он и на завтрашний день не остался в бесчувствии.

— Ежели бы ты помог, а? — с заискивающей лаской обратился Мирон к Горелову.

— Что же, мне все одно, где ни работать, — согласился Горелов.

Мирон несказанно обрадовался, найдя двух таких невзыскательных работников. Остальная часть дороги прошла без всяких приключений. Портянку благополучно привели на место, именно на погребушку, предварительно дав телу его положение дуги, и положили его на солому.

Его́р Федорыч постоял еще с минуту в задумчивости и отправился домой.

Ему очень дурно работалось у Мирона, вялость на него напала такая, что по вечерам он отказывался от ужина, недоумевая, спать ему или не спать. К довершению его глухого недовольства, работы у Мирона растянулись на целую неделю: то сено было мокро от дождя, то слишком сильно дул ветер, и нельзя было его метать в стога. Хоть он и говорил, что ему все одно, где ни работать, но Мирон надоел ему. Один вид этого суетливого, вечно мечущегося мужичка раздражал его. К нему возвратились обычные чувства — тоска и злоба, силу которых Мирон ежеминутно увеличивал своей возмутительной деятельностью.

Он, этот самый Мирон Ухов, был настоящий «трудолюбивый муравей». Всю жизнь он о чем-то хлопотал, за что-то страдал и чего-то ужасался. Ужасался — вот слово, которое хотя несколько определяет и объясняет внутреннее его состояние. Голодный ли червь сидел в нем и жрал его, напуган ли он был с детства каким-нибудь случаем — кто его знает? Как бы то ни было, жизнь для него была чрезвычайно печальным обстоятельством, пугавшим его до такой степени, что он решительно не знал, что с ней делать. Мучился он там, где для другого была только

ничтожная неприятность. Стала в эту весну у его лошадки лезть шерсть, так он измаялся, глядя на нее, словно у него у самого лезла шерсть; в продолжение месяца он все похаживал около нее и с смертельной тревогой поглядывал, заранее приготовляя себя к мысли, что лошадка околеет.

Этот ужас ко всему на свете был вполне неоснователен. Мужик жил ладно, не нуждался особенно и не таскался по миру. Весь его двор и дом, имущество и хозяйство носили на себе следы неусыпности хозяина. Только все это было в малом виде. Крохотная избушка его имела одно окошечко со стеклами и одно с тряпицей. Двор его, также микроскопичный, окружен был какими-то ничтожными строениями, похожими будто бы на амбары, сараи, погреба. Это и на самом деле были амбары, сараи и т. д., но значительно уменьшеннее против естественной величины. В сарайчики и погребушки он и его домашние ходили следующим замысловатым способом: надо было изогнуться налево, держась одной рукой за правый косяк, потом наклониться вперед и тогда лезть. В амбарушку же ходили почти на четвереньках. Что касается скота домашнего, то у Мирона он был как на подбор — все малый и ничтожный, но сытый. О лошаденке уже было упомянуто; у него одно время жила большая лошадь, но он ее не полюбил, называл «дылдой», потому что должен был с большими трудностями затаскивать ее в сарайчик, пихая сзади. За это он ее живо променял на ярмарке. Была у него еще безрогая корова, которой он иногда хвастался, уверяя, что молока она дает много. Еще у него была бесхвостая свинка. Но нет нужды перечислять все чудеса хозяйства Ухова; достаточно сказать, что у него всего было понемногу и в малом размере. Тем более неуместен был его ужас. Мало того, что он изнурял свое сознание действительными несчастиями, совершавшимися с ним, он сам выдумывал разные мнимые страхи. То вдруг вообразит, что коровку его волки слопали, причем откуда-то добудет известие, что видели копыта и хвост, принадлежащие его коровке... То неожиданно, среди глубокой ночи, поражает себя чудовищной мыслью, что в амбарушке появились стада мышей и грызут его хлеб, после чего уж не может заснуть до утра и даже будит всех домашних. И все это неправда; действительно, жили в амбарушке мыши, но, посадив на следующее утро туда кота, он с помощью его ничего не поймал и через три дня должен был выпустить несчастное животное еле живым от голода.

Ужасы, придумываемые Мироном, касались иногда дел иного рода. Так, несколько лет перед тем неизвестно каким путем он решил в уме, что за недоимки будут впредь давать по 333 лозы, и только тогда убедился в неправде своего страха, когда на самом себе испытал фактическое опровержение, доказавшее,

что количество лозы осталось прежним. В прошлом году он создал еще бо́льшую нелепость, воображая сам и уверяя всех, что теперь за долги худых мужиков станут отдавать в рабство вместе с землей Рубашенкову.

Горелов с нетерпением ждал дня, когда сено у Мирона будет убрано, а до тех пор, в глаза и за глаза, выражал свой взгляд на хозяина. «Кажись, человек ничего себе, ладный, а, между прочим, вполне дурак, — столько этого полоумства в ём, чисто как зверь неразумный!» — сказал однажды Горелов, обращаясь к своему товарищу Портянке. В ответ на это товарищ сочувственно хрюкнул. Наконец работа кончилась. Но напоследок Мирон поразил-таки себя ужасом. Заметив, что несколько горстей сена остались не прибранными и рассеянными по лугу, он сначала оцепенел, а потом с страшным укором посмотрел на Горелова. Последний, однако, не обратил внимания на его страдания и вместе с Портянкой поторопился оставить его.

В следующие дни Горелов и Портянка ходили на заработки вместе. Между ними завязалось нечто вроде дружбы. Портянка кротко подчинялся Горелову, незаметно подпав под его влияние. Горелов не сердился на то, что товарищ его никогда не говорил, и, может быть, потому только и почувствовал симпатию к нему, что тот умел лишь мычать.

На следующий день они нанялись к некоему Зюзину, крестьянину их деревни, убирать с ним и его семейством луг. Здесь оказалось, что Горелову не все равно было, где ни работать. Все, что напоминало ему прошлое, что раздражало его и делало из него беспокойного человека, мгновенно выплыло наружу, когда он увидал Зюзина и проверил своими очами рассказы, ходившие про этого человека в деревне. Войдя к Зюзину в избу, он подумал, что попал не туда, а в нищенский приют; точно так же он не поверил, что видит самого Зюзина, который предстал перед ним в виде одного из нищих, которые сидят на паперти церквей. Он был худой, с костлявыми руками, с воспаленными, подозрительными глазами; от его лохмотьев, болтавшихся на изморенном теле, пахло чем-то резким, отвратительным. Горелову показалось, что он трясется, но это был просто обман зрения, потому что на самом деле он выглядел неподвижным скелетом; это было просто обманчивое впечатление, производимое им на каждого вновь знакомившегося. При первых же словах, в разговоре с двумя рабочими, он выразил жалость, что он бедный человек, взять с него нечего. «Уж вы не взыщите, родимые, насчет хорошей платы, как перед богом — нету!» — говорил он. Горелов и Портянка согласились, однако, работать. Но все дни, пока длилась уборка сена, Горелов раздражался, не вынося даже вида детей и всего семейства Зюзина. Кормил работников Зюзин каким-то каменным хлебом и водой.

Оказалось, что хлеб был хороший, но его пекли три недели тому назад.

— Хлеб-то у меня, родимые, чуточку черственек, а хороший, вы только покушайте — питательный хлебец! — говорил Зюзин во время обеда в поле, а Горелову опять показалось, что рука Зюзина, в которой он держал кусок хлебца, трясется.

— Собака, пожалуй, съест! — коротко заметил Горелов.

— Зачем собака?.. Дар-то божий нельзя бросать всякому псу смердящему... Он хоть и крепкий, а пользительный хлебец... Кушайте, родимые!

Горелов долго всматривался в лицо хозяина, и на его языке уже вертелись слова: «пес смердящий», но он промолчал. Впрочем, он и Портянка нашли способ есть «хлебец»: они с утра клали его в озерко, находившееся подле луга, и «хлебец» несколько разбухал.

Но напрасно Горелов обращал свое отвращение и на семейство Зюзина, которое ни в чем не было виновато. Дети его были несчастными, заморенными и запуганными существами: худые, с коростами на головах, глупые и вялые до полной безжизненности. Его жена и сноха солдатка также представляли собой что-то в этом роде, обе женщины носили на себе резкую печать нравственного отупения. Одежда их всегда была так паскудна, что возбуждала гадливое чувство даже в деревне; они едва были прикрыты. Таково было влияние Зюзина на свою семью. Жизнь его самого была до крайности несчастна, полна лишений, нужды и всякого рода грязи. Но он еще добровольно подвергался лишениям. Он буквально морил голодом себя, семью и домашний скот, подвергая всех безграничным страданиям. Одна у него была радость — копить деньги; это была неутолимая жажда, ради удовлетворения которой он не щадил ни себя, ни родных. Хлеб, скот, молоко, яйца, солома, мякина — все, что попадалось в его костлявые руки, он тащил в город и продавал. Его разоренное хозяйство, его заброшенный, потонувший в нечистоте, срамной двор так и носили на себе следы постоянной распродажи и опустошения, как будто хозяин намеревался все бросить и уйти. Эта распродажа шла круглый год, и круглый год дети и жена со снохой не имели отдыха и не знали покоя перед жгучим взглядом хозяина, который все высматривал, что бы еще стащить и продать для удовлетворения ненасытной жажды желтых бумажек. Полученную бумажку он клал в знакомый черепок, черепок засовывал в старое голенище, а старое голенище спускал в подполье, где у него была особая трещина. Выгнав из избы семейство, он запирался, спускался в подполье и там наслаждался медленным счетом бумажек. Он шептал: «раз... два...» — и замирал на месте. Капитал его дорос уже до цифры сорок пять рублей, которые он вымучил

из себя и из своего семейства в продолжение пятнадцати лет, но эта сумма не удовлетворяла его. Пятнадцать лет копил. Это совершенно верно, ибо пятнадцать лет назад он был славный, добрый мужик, хотя беднягой никогда не переставал быть.

Как мог появиться этот странный человек, этот заморыш, этот иуда-стяжатель в деревне, где ни стяжать, ни копить нечего, где каждая дрянь сейчас же идет на дневное продовольствие и где надо вымучивать себя, чтобы припрятать нечто на черный день. Или с ним произошло какое-нибудь потрясающее событие, показавшее ему ярко неверность существования, случайность счастия и бесправие лица? Или жизнь его была слишком бессодержательна, чтобы дать ему иную цель, кроме опустошения дома и вымучивания копейки? Или вся вообще окружающая жизнь была смердящая и циничная?

Когда Горелов с товарищем стали по окончании работы рассчитываться с Зюзиным, он съежился и побледнел. Отойдя далеко от них, он стал считать деньги, перекладывал их с одной ладони на другую и мучительно, с лихорадочным взглядом, не решался отдать их, боясь, что обсчитался. Наконец отдал.

— Не хватает одиннадцати копеек, — возразил Горелов, не скрывая своего раздражения.

— Что ты! что ты, господь с тобой! — судорожно заговорил Зюзин.

— Погляди сам.

— Ах ты, грех какой... Не хватает, говоришь?

— Само собой, не хватает.

— Одиннадцати копеек, говоришь? Ах вы, родимые соколики, ведь у меня их нету... одиннадцати-то копеек, как перед богом!

— Прихвати у кого, — сказал Портянка.

— Одиннадцать-то копеек?.. Милые мои голубки, да кто же мне даст? Так не хватает, говоришь?

Горелов остановил пристальный взгляд на фигуре Зюзина, как будто изучая его; потом вдруг сказал:

— Да пропади ты с одиннадцатью копейками, собака!.. Пойдем, Василий, вон!

И они пошли вон. На этот раз Горелов решил уйти вон на некоторое время совсем из деревни, куда-нибудь подальше. Он пригласил с собой Портянку. Последний согласился безмолвно ходить по окрестностям и добывать пропитание. Они оба привязались друг к другу. Портянка во всем подчинялся Горелову, беспрекословно слушался, глядел ему в глаза. Почему Горелов приобрел над ним такую власть, трудно сказать, но он ничего не проповедовал, не ругал его, между тем следующий же день, по уходе из срамного двора Зюзина, Портянка провел трезвым, хотя этот день был воскресенье. Горелов просто сказал ему:

— Ты, Василий, не пей, погоди.

И Василий не напился. В первый раз он умылся, причесался и смирно сидел на лавочке перед избой Горелова; взор его был кроткий, довольно смышленый, хотя сидел он как истукан. Он не знал, как ему убить время. У него в кармане лежал заработок в виде меди, и он несколько раз высыпал его на ладонь и с глубоким недоумением рассматривал. Решительно у него не было никакого дела в жизни. Мало-помалу он проникался одной мыслью... Когда-то он мечтал купить красную рубаху, белый платок на шею, сапоги и хорошую шапку, но — это было давно, мечта не осуществилась, и он забыл ее. Теперь, в этот новый для него день, он что-то припомнил, и это сильно воодушевило его. Он сознательно хотел теперь работать, чтобы добыть необходимые средства для приведения в исполнение давнишнего желания.

Горелов как-то проник в эти тайные помыслы и сказал ему сочувственным тоном:

— Ты, Василий, не бойся... Одежда у тебя будет, рубаха, например...

— И портки бы... — заметил смущенно Василий.

— И они будут.

— Чтобы уж и сапог был настоящий...

— И сапог... все будет. Только погоди пить. Походим и заработаем. — Горелов говорил твердо; Портянка смотрел ему в глаза, и видно было, что он безгранично верил своему другу. Так и не пил в этот день.

Горелова в этот день попросил к себе Синицын, местный учитель. Он только лишь хотел везти закупленную астраханскую селедку на распродажу, как увидал, что рыба дала дух; надо было разбирать ее, промывать и перекладывать — дьявольская работа, с которой Синицын не мог сладить. Вот почему он и прибежал утром к Горелову, умолял помочь ему. От него пахло рыбой; ноги его были обуты в стоптанные смазные сапоги; он был в жилетке. Странная это была личность, но при знакомстве загадочный его вид вполне объяснялся: это был просто несчастный промышленник. На его руках лежало большое семейство, состоявшее из восьми человек включительно, а жалованья он получал только семь рублей, которые съедались с ужасающей быстротой. Чтобы пополнить пробел в своем фальшивом бюджете, бедняга должен был в продолжение всего лета, не щадя живота, добывать средства к зиме, то сеянием огурцов, то перепродажей яблоков, а также астраханской селедкой. Разумеется, он мало походил на учителя. Он был простодушный, во всех отношениях простой человек; он мужественно боролся с нуждой, но не с невежеством, с которым он не мог сладить и в своей-то голове; очевидно также, что для своего дела учи-

тельского он был в положении отребья. Нынешнее лето вышло для него неудачное. Купил он рыбу дорого, а спрос на нее остановился, к тому же она протухла. Целый день до темной ночи он с помощью Горелова бился над бочками.

Проработав с Синицыным до полночи, Егор Федорыч пошел было домой. Он вышел на улицу, где его охватило холодом и мраком. Было сыро, дул ветер. Ему вдруг стало жутко, и он решил вернуться. Целый день он мучился недоумением: поговорить с учителем или не надо? Ему страстно хотелось что-нибудь узнать, и он остановился в нерешимости на площади. Он пошатался еще немного и пошел назад. Придя к воротам учителя, он тихонько постучал, но, не получив отклика, сел около калитки, не решаясь еще постучать. Он сидел около калитки, съежившись, засунув руки за пазуху кафтана, и не шевелился... Наконец он постучал в окно.

— А, это ты? — заметил Синицын при виде его и принялся за прерванную работу в сенях: ворочал бочки, надписывал на них мелом какие-то цифры и перевязывал веревками. Но семейство его давно уже спало.

— Да, зашел поговорить, но опасаюсь, как бы тово... А уж давненько я думал выпытать у тебя... — Горелов сел на порог сеней и пристально наблюдал за работой учителя.

— Насчет чего? — равнодушно спросил учитель.

— Да насчет нашего брата. Слыхал я, будто в губерне насчет деревень наших хлопочут, стало быть, касательно мужика... Мне и занятно бы послушать, что такое, в каком значении? Сказать так, к примеру, о нашей деревне: ведь уж ты сам жил и видишь, что тут ничего больше, как худо, и даже сил нет глядеть... Одно слово — пусто!

— Конечно, бедность в наших местах, — заметил учитель.

— Не то чтобы бедность, чтобы жрать было нечего, а в уме-то пусто. Вот что есть важное. Ведь уж ты жил, своими глазами видел, как же эдак возможно жить? Ведь уж он, житель-то наш, на кого он похож стал, спрошу я тебя? Какой образ у него? Образа у него нет.

— Конечно, глупости у нас довольно, — заметил учитель.

— И то! Глупости-то само собой водятся, — да нет, не в том причина! Образу-то, лику-то у него нет. Хотя бы, к примеру, в нашей деревне: кто он такой — мещанин, купец или крестьянин? Ведь вот уж до чего дело дошло! Насчет, например, земли... не то чтобы от земли он совсем чурался, — как это возможно! — но и не занимается он ей как следует быть, а только паскудит... Там напаскудит, в другом месте напаскудит, а заместо всего хорошего получает шиш. А как шиш-то ему объявился, и не раз, и не два, а каждый божий год, так уж он земле не рад, уж он на нее внимания не обращает, не мила она ему!

— Само собой, не умеет наш крестьянин обрабатывать по науке, как предписывают земледельческие правила, — глубокомысленно подтвердил учитель.

— И невдомек мне теперь, почему такой срам идет? Главная его забота — монету словить; медом его не корми, а дай ты ему двугривенный. А коль скоро получил он монету, и никакой заботы ему нет, никакого основания в пустой башке! И день, и неделя, и месяц только и норовит, как бы легким способом монету зацапать, а не думает, полоумный, что в этой самой монете и есть конец ему. Ежели же уж монета на уме, так какой же он крестьянин? Стало быть, жулик он выходит, а не то что честный житель.

В голосе Горелова звучало негодование.

— Конечно, подлости эти существуют в наших местах.

— Не то он полоумный, не то дурак! Все у него идет в разор, все валится, а он внимания не обращает, только и есть эта жадность к монете... — Горелов внезапно остановился, на мгновение задумавшись. — Или уж в самом деле измотался он, пес его знает? — сказал он.

— Да, нехорошо у нас.

— Вот я и хочу у тебя спросить, насчет чего хлопочут в губерне? В каком нынче значении житель-то наш? Слыхал я, что в мещане приписывают... или останется он на прежнем положении?

— Хлопочут, чтобы как лучше ему было, — возразил учитель. — Ты вот не умеешь читать, а я читал газету. Прямо написано: дать мужику в некотором роде отдых.

— Облегчение?

— Облегчение. По крайности, чтобы насчет пищи было благородно.

— А насчет прочего? — с тоской спросил Горелов.

— Ну, в отношении прочего я тебе ничего пока не могу сказать. Пока не вычитал. А как вычитаю, приходи, расскажу досконально.

Настало длинное молчание. Учитель молчал, потому что действительно «пока ничего не вычитал» и ничего не знал. Горелов понуро сидел на пороге. Кажется, что он уже раскаивался. Разве он это хотел сказать? В нем билось что-то глубокое, таинственное, он хотел узнать самую середину, сердце своей мысли, допытаться до самого последнего корня мучивших его вопросов, а вышли какие-то «полоумные пустяки». Когда он поднял голову, выражение его лица было уж совсем новое.

— А я так думаю, не миновать ему казни! — сказал он.

— Кому казни? — удивленно спросил учитель.

— Да жителю-то.

— Что ты говоришь?

— Да так... Не минет он казни. Помяни ты мое слово: будет ему казнь! Ужели же пользу ему возможно сделать, ежели он ополоумел? Говоришь, хлопочут, да господи боже мой, зачем? Стало быть, пришел же ему конец, как скоро он все одно что оглашенный. Нету ему больше ходу, и никто не волен облегчить его. Не знаю... не знаю, как нашим ребятам... им бы помочь, а нашему брату, древнему жителю, ничего уж нам не надо! Одна единая дорога нашему брату старому жителю — к бочке грешной...

— В кабак?

— Пря-амехонько в кабак! По той причине, что никто не волен дать нам другой радости, окромя этой...

Настало опять молчание. Синицын страдательно глядел на Горелова.

— А ты пьешь?.. Я что-то не слыхал, — сказал он.

Горелов покачал головой.

— Извини, что утрудил. Поздно, кажись. Пойду домой.

Утром следующего дня Горелов в сопровождении Портянки отправился в путь, в окрестные деревни. Он ухаживал за своим товарищем, как за малым ребенком, отдавал ему деньги свои, если последние у него были, покупал ему табаку... И чем больше он был угрюм, тем ласковее был с Портянкой.

Чтобы хоть сколько-нибудь уяснить состояние Горелова, надо вспомнить время, доставшееся на его долю, и поколение, к которому он принадлежал и будет всецело принадлежать до последнего своего вздоха, до самой могилы. Это странное поколение нельзя назвать даже страждущим, несчастным; оно не мучилось и не страдало до глубины сердца, потому что не боролось, потому что и не с чем было бороться, — все билось, постепенно задыхаясь, но не жило, не страдало, не падало в пропасти, не поднималось на высоту. Это было поколение по преимуществу пустое, бессодержательное, в котором не было действительной жизни, а лишь прозябание под спертым воздухом, без мрачной темноты, без яркого света, но и без холода; о нем скоро забудут, оно вымрет, не оставив после себя следа, и если будут вспоминать его, то лишь за беспримерную, поразительную пустоту и бессодержательность.

Отчего оно не жило? Разве воля сама по себе не была потрясающим событием, способным стряхнуть всякую обузу с головы? Нет, тогдашние дни были памятны, глубоки и — что главное — вносили содержание в жизнь деревни, давая смысл ее существованию. Горелову в то время минуло двадцать пять лет, — следовательно, он сознательно пережил эту эпоху; однако он не помнит, чтобы на его долю выпал хоть один день светлой радости и успокоения. Всеобщая суматоха, страх возврата прошлого, страх за будущее, взаимное объегоривание и подсиживание

судившихся тогда сторон, обоюдная жадность, распаленная дележом крепостного имущества, — вот что он помнит. Но, несмотря на это, была действительная жизнь, настоящая, человеческая, с волнениями и борьбой, с отчаяниями и надеждами, жизнь, достаточно полная, чтобы дать смысл и цель существованию. Но что было потом, что делалось в последующие длинные годы, этого, хоть убей, он не помнит, не может припомнить. Да и припоминать нечего, потому что во все это время стояла пустота без смысла и без определения. А в этой безграничной деревенской пустоте, не заключавшей в себе ни воздуха, ни свету, ни человеческих волнений и борьбы, *ни событий*, — одним словом, ничего настоящего, — в этом неопределенном полумраке и полужизни развелось мало-помалу столько пустяшного «жителя», который вел не настоящее, а пустяшное существование, что от него не стало проходу, все он заполонил собой...

Плоское это было время, беспутное. Довело оно жителя до пустяшности не враз, а потихоньку, незаметно подкрадываясь к нему. В тот самый момент, как житель воображал, что он все еще живет, его уж давно ошеломили. Медленно, тихо, в продолжение десятков лет это распутное время мотало «жителя», так же тихо и незаметно, как трусливый развратник мотает достояние своих родных. И вот «житель» все убывал, убывал, пока не умалился до такой степени, что трудно стало различать в нем полную человеческую фигуру. И не в том беда, что у ошеломленного «жителя» пищи не стало, — мысль-то его одурела! Вот та причина, которая ухлопала его наповал. Получая от всех предприятий нечто выразимо малое, или, по словам Горелова, «шиш», житель сперва приходил в изумление от такого странного результата и продолжал свои предприятия с достойной лучшей участи энергией; но когда «шиш» стал получаться хронически, ежегодно, ежемесячно и, можно сказать, ежечасно, когда после всякой египетской работы получался все тот же странный «шиш», — он одурел и начал метаться, подобно угорелому; а так как распутное время ему опомниться не давало, то он окончательно и вполне стал «полоумным», упорно гонялся все за тем же «шишом», который сделался его целью, конечным желанием и почти что идеалом. После падения крепостного рабства жителю предстояла новая жизнь, развитие, а тут он принужден был бороться с пустяками и ради пустяков. Пропустив через свою душу и сердце миллион этих «шишей», он и мысль свою довел до степени «шиша», да и сам стал шишом, с которого взять решительно нечего... «Житель» умалился до ничтожества, в нем не стало больше руководящей думы, которая проникла бы все его существо до мозга костей, пропал в нем интерес к подлинной жизни, и лишился он божьей искры, которая грела бы его нахолодевшее сердце и светила бы его мысли...

Нет, решительно, это обездоленное поколение шагнуло на сто лет назад!

Кажется, лишнее говорить, что все сказанное относится к описываемой местности. Но и здесь время медленного распутства отразилось не одинаково на жителей. На одних оно подействовало так, что они стали вполне пустяшными, — до такой степени пустяшными, что, встречая их, сейчас же даешь им соответственные имена. Это тот разряд жителей, для которого необходим непосредственный удар, толчок, гром и молния, чтобы он пришел в память, — такой удар, от которого засвистело бы в ушах, посыпались искры из глаз, а мысли ходуном заходили. На других эти годы отразились более роковым и менее отвратительным образом. Таков был Горелов.

Вялость, апатия сделались неразлучными его спутниками; у него все валилось из рук, и он положительно не находил себе места. Он избороздил всю Россию вдоль и поперек, все как будто что-то отыскивая, с жгучей жаждой сесть на облюбованном месте, но проходила неделя, много месяц — и он плелся дальше. У него не было дела. Как это ни странно сказать про крестьянина, который вообще привык вечно быть занятым, озабоченным, погруженным в работу, но относительно Горелова это была страшная правда. Он не мог более видеть в «полоумных пустяках» дела, потому что питал к ним непреодолимое отвращение. Вид пустяшных жителей омерзел для него после гибели его семьи. Но мало того: не имея никакого дела, над которым работала бы и отдыхала его душа, он остался без определенного занятия, шатался туда и сюда, мотая свою жизнь изо дня в день и нигде ни с каким занятием не находя себе покою. Преобладающим чувством была тоска, которую он разносил по необъятному пространству Руси...

Бывали случаи и минуты в жизни Горелова, когда в нем вдруг поднимались неведомые силы, являлась жгучая жажда в пользу православного народа, когда он чувствовал, что способен совершить ради своей нуждающейся деревни, в пользу родного мира какое-то большое дело; тогда ему казалось, что тоска его пропадала, а в измученной душе его совершается переворот. И он уже видит себя на площади, перед громадным сходом, которому говорит божескую правду, позорит полоумную, одурелую жизнь. И народ слушает, пораженный до глубины сердца. Но вдруг его что-то ударяло, словно дубиной по голове, речь его моментально обрывалась, а в сердце снова водворялось отчаяние. Егора Федорыча поражала вдруг мысль, что он, собственно, ничего нужного не говорит, да и не в силах ничего сказать, потому что ничего не знает. Эта мысль клала его в лоск. После такого момента он опускался и дряхлел на двадцать лет.

Иногда, смущенный, что все больше и больше растрачивает свою жизнь, он собирался совсем уйти вон, дальше от старых мест, куда-нибудь в неведомую глушь. Приволье глубоко волновало его. Его манил дремучий лес, непроходимые и не топтанные человеческой ногой земли, широкие, бездонные реки. Там, среди могучей природы, на лоне матери-земли, во мраке дремучего бора, он жаждал отдохнуть. Там он примется работать; застонут сосны под его топором, побежит дикий зверь и почернеет земля от его плуга, и в этой борьбе он найдет свою потерянную радость, свой покой. Раздумывая над этими мыслями, Егор Федорыч чувствовал, что он поднимается духом, что сердце его замирает от надежды... Но проходила неделя, проходил месяц, и Егор Федорыч, кругом опутанный пустяшною жизнью, окруженный пустяшными людьми, забывал обо всем. Сам не замечая того, он слишком крепко прирос к ненавистной жизни, чтобы какая-нибудь сила могла оторвать его.

Горелов и Портянка проходили до осени; когда уже полили дожди, они собрались домой. Между ними было решено, что Портянка на всю зиму поселится в избе Егора Федорыча.

Нет никакой возможности логически связать все события, совершившиеся в деревне вскоре после прибытия туда Горелова и Портянки и заставившие их изменить намерения.

У Федосея были рукава — это известно. Но, к несчастию, он их лишился: они сгорели. С этого и началась история. Федосей был глубоко поражен однажды, когда, вынимая из печурки свои рукава, где они сушились, он увидал и понял, что их у него больше нет. Он замер от этого несчастия и с безмолвным волнением осматривал их; они покоробились, высохли и при малейшем прикосновении к ним трескались и крошились, как сухари. Несколько раз Федосей потрогивал их пальцами, но, наконец, убедился, что одежды, спасавшей его руки от непогоды, нет у него. На глазах его навертывались слезы. Когда пришел в избу Горелов, Федосей обратился к нему с страшным упреком, потому что именно Горелов положил рукава в печурку, и теперь не мог слова выговорить в свое оправдание.

Что было потом с Федосеем — неизвестно. Он решился только во что бы ни стало промыслить средства на новую одежду для наступающей зимы, вследствие чего случайно залез в амбарушку Мирона, отсыпал в свой мешок несколько фунтов муки, да, кстати, наклал и лукошко костей. И вдруг застал его сам Мирон. Мгновенно он окоченел со страху. Окоченел и Мирон, как только увидел случившееся. В продолжение некоторого времени оба молча смотрели прямо в глаза друг другу.

Федосей лишился языка, а Мирон, пришедший в ужас, беззвучно шептал: «мука́... мосол...»

— Что ты сделал, разбойник, со мной? — вскричал, однако, Мирон прерывающимся голосом. Потом, как будто все поняв и оправившись от оцепенения, он заорал что было мочи: — Братцы, вора поймал! Сюда!..

На этот отчаянный крик прибежали соседи, а вместе с ними откуда-то влетел и Василий Портянка. Все живо обступили «разбойника». Одной рукой Мирон вышиб у него мешок, другой — лукошко с костями. Все это посыпалось врозь. «Ребята, бей его!» — крикнул Мирон. Мгновенно все набросились на Федосея, сшибли с ног и принялись таскать по двору, кто за ноги, кто за волосы. Всех яростнее свирепствовал, как оказалось, Василий Портянка; он положительно остервенел в этой бойне и уж не помнил, что делает.

— Тащи его в темную! — сказал Мирон, задыхаясь. Моментально Федосей был поднят с земли и поставлен на ноги. Его было повели со двора, но он вдруг заартачился и выразил на своем лице мольбу. Что?! Он потерял сахар.

— Ведь обронил я сахар-то, — сказал он, обводя глазами двор Мирона. — Не замай, я найду его... Я сейчас...

Все остановились.

— Пропал, родимые... ведь вот грех какой! А был в тряпочке, — бессвязно говорил он и нагибался то к тому, то к другому месту двора, где его били. Но поиски его были безуспешны: туман застилал его глаза, откуда струились слезы. Ничего не видя, он принялся шарить по земле, ворочая щепки, разрывая сор. Все принялись деятельно помогать ему в его поисках и также шарить по двору... «Да где ж найти его!» — кто-то заметил. «Найду, найду, родимые!.. В тряпочке... я сейчас... как не найти?!» — испуганно лепетал Федосей и метался в разные стороны. Волосы его были всклочены, на лице сидело несколько синяков, волоса и усы выпачканы были кровью, но он весь погрузился в поиски. Некоторые из присутствующих бросили уже помогать, только обводили глазами двор, но остальные все еще старательно разгребали руками сор.

— Вот он! вот он! — сказал, наконец, Федосей, поднимая тряпочку, и в голосе его слышалась радость, но эта радость мгновенно вызвала ярость присутствующих, которые опомнились.

— Тащи, ребята, его!.. Я тебе покажу, как лазить по чужим амбарам! — сказал Мирон.

К вечеру, неизвестно кем собранная, сошлась сходка в сборной избе. Всего вероятнее, что никто в особенности не собирал, сами все вообще собрались судить Федосея. Собравшиеся плотною массой стояли вокруг лукошка с костями и мешка, которые

были вещественными доказательствами. Лица собравшихся были озлоблены; в плотно сбившейся толпе постоянно выкрикивалось имя Федосея; удивлялись дневному грабежу, кричали о ворах, конокрадах и других врагах мира, и с каждой минутой злоба, накопившаяся долгими годами, все сильнее разгоралась. Кто-то упомянул о «мирском приговоре». Это предложение было подхвачено и разнесено по всему сходу. Послали за сельским писарем. Когда он пришел, ему закричали:

— Пиши: не принимаем, — вор, мол, он!

— Пиши руки!

Была уже ранняя осенняя ночь. Но это нисколько не успокоило. Перед столом, который стоял тут же на дворе, горел пучок лучины, и при свете красного пламени его писарь писал бумагу. Явилось странное затруднение: когда писарь вызывал поодиночке для «приложения руки», у каждого мгновенно пропадала злоба, и он нерешительно бормотал: «Да мне что! по мне наплевать!» Но лишь писарь обращался ко всему сходу в массе, раздавался всеобщий крик: «Не принимаем!» — и гул этого слова снова разносился в воздухе ночи по всей деревне.

На сходе были не все жители, но те, кто приходил позже, немедленно присоединяли свои голоса к общему гулу, в котором слышались злоба и внутренняя тоска. Каждый из приходящих, хотя заранее знал, в чем дело, все-таки спрашивал:

— Насчет мослов?

— Мослов, — отвечали ему.

— Жарь его, разбойника!

Это означало: «не принимаю!»

Федосею грозила Сибирь. Мирской приговор быстро подвигался к концу. Но, когда после написания приговора Федосея привели на сход самолично, мрачное озлобление стало понемногу стихать. Всех напугал жалкий вид Федосея. Ясно было, что вспыхнувшая ненависть только случайно пала на беднягу.

— Ишь, какой синяк! — заметил кто-то.

На него внимательно смотрели. Лицо его освещалось пламенем лучины и производило странное впечатление.

— Слышь, ребята, — заговорил кто-то: — взять бы его да дать березовых, — больше никакого награждения он не заслуживает.

Это предложение было принято так же быстро, как и первое. Мгновенно нашлись розги и экзекуторы... Федосей получил все, что требовалось. Тогда его прогнали со двора и принялись сечь других... Кого? Виновные сейчас нашлись из среды того же схода. Как это случилось — это невозможно рассказать, но тем не менее через несколько времени отодрали еще пятерых. Один в прошлом году украл узду, другой случайно воспользовался чужой шапкой, третий упомянул как-то в пьяном виде о «красном петухе» и пр. Гневное настроение на сборном дворе

стало непрерывным и росло, как волна; эта волна подхватывала виновного, и он не успевал опомниться, как его бросали под розги. Постоянно раздавался вопрос: «Кого еще?» И голосу отвечал сейчас же другой голос: «Вот этого сокола». И «сокола» хватали, клали и отпускали, что требовалось. Таким образом наказали еще нескольких человек, в том числе Василия Чилигина за то, что он не заплатил больничные деньги, Василия Портянку за пьянство и Василия Прохорова просто за неуважение к миру... Была минута, когда измученные и разгневанные жители готовы были устроить всеобщую порку, чтобы вылить и забыть поднявшееся мрачное озлобление. И если этого не случилось, то потому лишь, что одиннадцатая жертва, угрожаемая наказанием, успела выкрикнуть прерывающимся голосом: «Ей-ей, погоди, ребята!.. два ведра!.. дай срок...»

Волнение стихло, и на этот раз окончательно. Мало-помалу двор пустел; крестьяне поодиночке и группами, среди глубокой ночи, двигались по улице к кабаку и уже мирно разговаривали друг с другом. Собравшись возле кабака, сейчас же принялись пить, невзирая на полночный час. Пили до рассвета, причем один упоенный взял общественный приговор о Федосее в рот и тоскливо жевал его.

Горелов некоторое время сидел безмолвно на сходе, но никто его не видал и не тронул. Однако впечатление от схода так врезалось в него, что он принял решение: «Уйду вон!» Его потянуло из деревни, и он раздумал зимовать. Через несколько дней он уже совсем собрался, не обращая внимания на наступившую осеннюю распутицу. На полу стояла котомка, в руках он держал походный костыль. Он присел на лавку и равнодушно оглядывал свою избу, в которой царил полумрак, потому что все небо было покрыто клочьями осенних облаков, из которых лился мелкий, холодный дождь. Если бы он остался дома, он, может быть, поправил бы свою расшатанную избу, но теперь ему было все равно; в трубе завывал ветер, сквозь большую щель в потолке просачивался дождь и спускался широкою полосой по стене.

У него в деревне не было человека, который бы пришел сказать ему на прощанье несколько слов. Федосей куда-то пропал, а Василий Портянка запил. Так он и ушел один, никем не провожаемый. Провожал его только туман, носившийся над холодной землей, да грязь, пристававшая к его ногам, когда он одиноко удалялся из деревни.

Прошло с того дня много времени. Где ходил Горелов, никто не знал. Но скоро он объявился в разных местах и сделался популярным среди крестьян. Из него выработался опытный

путеводитель и ходок при переселениях. И в это дело ушла вся его страстная, фанатическая натура; ведя партию на новые места, он не обращал внимания ни на холод, ни на голод, а бодро шел вперед за тысячи верст. Проводив одну партию, он становился во главе другой. Его костлявую, сгорбленную, но выносливую фигуру можно было встретить на берегах Туры и Кубани, в неоглядных степях Семиречья и в предгорьях Кавказа, в Оренбургской пустыне и среди улыбающихся пейзажей Башкирии. Жизнь его проходила в беспрерывном путешествии по далеким странам, и много было в ней тяжелого; не было только одного — полоумных пустяков, выбивших его на этот страннический путь, полный приключений.

СНИЗУ ВВЕРХ

История одного рабочего



МОЛОДЕЖЬ В ЯМЕ

На дворе у Луниных происходили нападение и оборона. Это была просто семейная неприятность. Нападал, имея несколько грустный вид, отец Лунин. Оборонялся, сверкая глазами как волчонок, припертый в угол, сын его, Михайло. Дедушка сидел на пороге сенной двери и бросал на обоих действующих лиц взгляды, полные негодования. Отец держал в руках обрывок веревки, который долженствовал служить орудием наказания, и говорил:

— Мишка, лучше сдайся. Все одно, ухвачу же я тебя за волосья...

— Не касайся. За что ты меня хочешь бить? Не подходи! — говорил сын. Он стоял в углу двора и держал обеими руками колесо. Собственно, у него не было намерения именно колесом пустить в отца; он поднял его, как первую попавшуюся оборону, и держал для всякого случая. Наружность его показывала, что он действительно не дастся. Лицо его побледнело. На нем не отражалось ни тени страха, но дикость; глаза мрачно блестели.

— Мишка! не дури. Я тебя чуть-чуть только поучу! Ей-ей, парень, худо будет, ежели не покоришься отцу родному! Схвачу вот за виски...

— Не схватишь. Не подходи! — возражал сын, угрожая колесом.

— Мишка! да ты что это, пес, вздумал? Говори, отец я тебе или нет?

— Что ж, что отец... Без дела не дамся... Не подходи! Не касайся!

— Да ты только дайся, небось! Я только раза два по спине...— не то грозил, не то упрашивал отец, ругаясь довольно вяло.

— Не дамся.

— Это отцу-то ты говоришь? Ну ладно, погоди, дай срок, ухвачу я тебя.

Сын только еще больше озлился, не сводя глаз с отца и готовый во всякую минуту обороняться с отчаянием.

Дед не вмешивался. Он молчал. Только голая голова тряслась как осиновый лист, да несколько бессвязных слов срывалось из его беззубого рта.

— Мишка! — продолжал между тем отец, — покорись, шельмец, брось колесо!

— Что ты пристал! Скажи, за что ты на меня накинулся? — спросил сын, едва переводя дух от волнения.

— А не лайся — вот за что. Я тебе слово, а ты десять. Разве так можно с отцом разговаривать?

— Что ж, разве я не правду сказал? Хороший хозяин овцу со двора не понесет... и сейчас это скажу!

— Да разве я в кабак овцу-то стащил? Что ты лаешь! — закричал отец, снова разгорячаясь так, как в то время, когда ссора только что началась.

— Мне нечего лаять. Я говорю правду. Хороший хозяин овцу со двора не понесет, — упрямо твердил сын.

— Ах ты, пустая голова! да разве я овцу-то пропил? — кричал отец и бросил в сторону веревку. Вслед за ним и сын оставил колесо, и они начали горячо спорить, забыв, что сию минуту стояли в угрожающих позициях. — Ведь надо же было отдать хоть малость сборщику, заткнуть ему рот!

— А ты посуди сам: овца без малого стоит четыре рубля, а ты провалил ее Трешникову за рубль...

— За рубль... как же мне сделать, коли лезут с ножом к горлу?

— Подождал бы. Не очень я испугался бы.

— То-то что не ждет! Уж я кланялся.

— И кланяться незачем. Не отдал бы — и все.

— Погляжу я, какой ты дурак. Меня бы сборщик подвел под секуцию, ежели бы я не сунул...

— Да, конечно, ежели сам дашься на секуцию, так и отхлестают. А ты взял бы да не давался.

— Фу ты, боже мой, глупая голова! Как же ты не дашься?

— Я бы убег! — сказал сын решительно.

Отец развел руками и расхохотался.

— А, да пес с ним! Разве с таким дуралеем можно говорить? — сказал он, обращаясь к дедушке, и поплелся со двора.

Этим всегда кончались споры отца и сына. Первый каждый раз бросал разговор и умолкал, уверяя, что Мишку нельзя переспорить. Отец Лунин как бы признавал свое бессилие перед сыном, который во всякую минуту выглядел колючей травой, тогда как его самого жизнь сильно трогала, так много трогала, что в нем, кажется, места живого не осталось.

Только что описанная сцена происходила в то время, когда отцу было с лишком сорок лет, а сыну без малого шестнадцать. Когда спор окончательно был забыт, отец пошел выпить. Грустно как-то ему стало от упреков сына. Вспомнил он много нехорошего, и печален показался ему этот день.

Но в это же самое время сын принялся работать за троих, как бы желая загладить чем-нибудь грубость свою перед отцом. Он скидал на поветь воз соломы, перетащил на другое место двадцатипудовую колоду, вычистил в хлеве навоз, и когда отец пришел обедать, сын сел за стол, мокрый от пота; видно было, что он устал.

С тех пор много воды утекло. Несмотря на кажущуюся тишину и досадную медленность деревенского прозябания, жизнь идет все-таки вперед с тою же неумолимостью, как растет трава или дерево, незаметно поднимаясь вверх. Кажется, тише деревеньки Ямы трудно и отыскать. Поистине это была «яма», со всех сторон закрытая какими-то пригорками, овраг, лишенный воздуха и света; не было в ней ни торговых, ни промышленных заведений; от ближайшего города она стояла с лишком на двести верст; под нее не пролегал никакой тракт, и она, по-видимому, была забыта и богом и людьми. Но, существуя на свой страх, Яма все-таки думала же о чем-нибудь? Это неизвестно. Верно только то, что она изменилась и не была уже тем, чем была пять лет назад. Новые обстоятельства — новые нравы.

Эти новые обстоятельства всего более отразились на молодом поколении, не знавшем крепостного права, между прочим и на Михайле. Воспитание он получил особенное.

Как всякого деревенского мальчика, воспитывали Мишку не люди, не родители и учителя, а природа и обстоятельства. Степь, лес, пруд, дождь, снег, лошадь, корова — таковы были неизбежные учителя и воспитатели Мишки. В этом смысле жизнь мальчика не отличалась от других ребяческих жизней. Если ребенок, лучше сказать, «пострел», не утонет в пруду, не будет ушиблен лошадью, не замерзнет в буране, то останется жить. Некоторые из этих несчастий с Мишкой случались. Раз его ударил в грудь, под сердце, поповский козел, от чего Мишка

упал без чувств; в другой раз он слетел с воза сена под колесо; а еще раз его лягнула рыжка в затылок. Но Мишка остался жив.

Но если воспитание природы шло обычным порядком, то обстоятельства, действовавшие на Мишку, не были тождественны с обстоятельствами других времен и иных людских отношений. Не очень счастливо было детство Мишки. С самого раннего возраста он должен был видеть и слышать много неправды, а еще больше непонятного.

Первое непонятное обстоятельство состояло в том, что, несмотря на аппетит Мишки, ему мало давали есть. Это ему ужасно не нравилось; он готов был целый день бегать с куском, а мать отказывала. Мало того, хлеб, в сущности, был в семействе Луниных только в продолжение полугода; остальную часть года ели какую-то выдумку, которую Мишка терпеть не мог. Он не иначе называл этот хлеб, как «штукой», и питал к нему отвращение.

— Дай-ка, мама, мне штуки! — говорил он, показывая на хлеб, когда бывал голоден.

Он не мог любить этого, но не понимал, почему его плохо кормят. И бьют больно, в особенности мать, под руку которой он постоянно подвертывался. Не видал он ласки от матери; ей, вероятно, самой приходилось худо. Никогда она не засмеется! Черты ее лица всегда несчастные и скорее жалкие. Жалкое горе, горе из-за горшков, из-за ковша муки так исказило женщину, что она к детям относилась равнодушно. «Хоть бы вы подохли!» Но так как Мишка и тогда уже отличался неуступчивостью, то равнодушие матери переходило часто в жалкую несправедливость к нему. Для него это была злая-презлая женщина. То и дело в голову ему попадала скалка, а не скалка, так веник. Не любил он мать; в сердце его и тогда уже воцарился холод. Впоследствии он понял, что мать не виновата, — ее собственная жизнь не ласкала ее, — но сделанного не воротишь. Мишка не видал ласк, и сердце его замерло.

И во всем этом виновата была, пожалуй, «штука».

Продолжалась она не месяц и не год, а как Мишка только что начал помнить себя. Это не была случайность, из ряда вон выходящее явление, а обстоятельство, неразлучное с ним. На глазах его случилось только одно необыкновенное явление, поразившее его ужасом и мало понятное ему. Тогда ему было четыре года.

С раннего утра того дня в Яме происходило необычное движение, говор, кое-где бабий плач. Все собрались на площади возле часовни, не исключая баб, девок и малых, даже грудных ребят. И Мишка, конечно, присутствовал, близко прижимаясь к подолу матери. Мужики жарко о чем-то разговаривали; старики, мрачно потупившись в землю, молчаливо чего-то ждали. На крыше одной избы стоял парень и смотрел в разные стороны,

куда только направлялись дороги. Большинство с напряжением следило за этим парнем. Вдруг он благим голосом заорал: «Идут!» — и упал с крыши. Мишке так сделалось страшно, что он готов был убежать куда-нибудь, но скоро любопытство его остановило. На бугре, стоявшем за деревней, показались солдаты. Впереди ехал верхом начальник. Мишка в особенности его испугался. Когда солдаты спустились в овраг и расположились на другой стороне площади, поднялся такой шум, что хоть уши затыкай. Начальник долго говорил что-то мужикам. Чаще всего он спрашивал: «Ну, что, согласны?» А мужики отвечали: «Согласия нашего нет». Начальник сердился. «Ну, несдобровать вам, канальи!» — «Ребята, — кричал Мишкин дедушка, — будем помирать! Господи благослови! ложись наземь!» Начальник отъехал к солдатам; началась «экзекуция». Мужики пали на колени. Бабы с ребятами побежали. Мишка как-то потерял мать в суматохе и сам, на свой страх, задал стрекача. Он прилетел к себе на зады и схоронился в сено, где и оставался до вечера.

Впрочем, когда солдат разместили по избам и все утихло в деревне, Мишка вылез из своего убежища и увидал, что в их избе также сидит солдат. Солдаты прожили в деревне с месяц, в продолжение которого Мишка не только перестал бояться Филатыча, как звали их солдата, но близко сошелся с ним. Солдат был смирный. Только он много ел, — так много, что даже жадный Мишка удивлялся. Для Филатыча ничего не стоило выхлебать котел щей, съесть чугун каши, проглотить в самое короткое время каравай хлеба. Но это был добродушный, работящий человек. Своим хозяевам он таскал на коромысле воду, рубил дрова, задавал корму скоту, а Мишке перед уходом из деревни сделал деревянную свистульку.

После этого воспитательное действие на Мишку имело другое обстоятельство. Сам Мишка на себе испытал его. Оно касалось его родных, знакомых и в особенности отца. Но впечатление было сильное, глубокое. Один раз, играя с другими ребятами на улице, против сборной избы, где собирались мужики и куда приезжало начальство, как это случилось и в этот день, Мишка вдруг услыхал рев, раздавшийся со двора этой избы. Он захотел полюбопытствовать и вздумал было с приятелями проникнуть во двор, полный народа. Но в самых воротах ему дали хороший подзатыльник, после которого он убедился, что лучше всего посмотреть сквозь плетень. Он живо проковырял дыру в плетне и посмотрел... Посреди двора лежал врастяжку какой-то мужик, которого держали за голову и за ноги. Но Мишка скоро широко раскрыл глаза, и сердце его екнуло. На мужике надет был желтый чапан, а на спине чапана сидела треугольная заплата, такая же самая, как у его отца! Он хотел крикнуть: «батька!» — но голос у него пропал. Глаза его были устремлены

в одну точку, все члены замерли. Но, чтобы не зареветь, он впился зубами в руку и закусил ее до тех пор, пока отец не поднялся. Тогда Мишка со всех ног бросился бежать, оставив игру. «Мишка, Мишка! куда ты?» — кричали товарищи, но он, не переводя духу, улепетывал.

Во весь этот день он боялся поднять глаза на отца. Ему казалось, что отцу стыдно, как было стыдно ему. К удивлению его, отец — ничего... Вечером выпил сорокоушку и с непонятным для Мишки благодушием рассказывал, как давеча его «отчехвостили». Он не выказывал ни злобы, ни горечи. Этого Мишка никогда не мог в толк взять. Он в эти дни с ребяческим любопытством наблюдал за отцом, но всякий раз, видя его благодушие, чувствовал пренебрежение к нему. В его еще нетвердую душу прокрадывалось уже недоверие.

— Послушай, батька, неужели тебе не совестно? — спросил однажды Мишка отца, которого только что «отчехвостили».

Отец сконфузился.

— Ничего, брат Мишка, не поделаешь... И рад бы... да никак невозможно! — возразил отец в замешательстве.

Никогда больше Мишка не предлагал отцу вопросов. Он стал уходить в себя. Он мечтал и думал один, без всякой помощи со стороны отца, недоверие к которому быстрыми шагами шло дальше. Мишка уже в малолетстве инстинктивно старался поступать обратно тому, как поступал отец. Это был явный признак разрыва сына с отцом.

Время шло, Мишка рос. Семейные неурядицы рано поставили его в ряды самостоятельных работников. Семнадцати лет Мишка стал во главе управления домом. Отец каждый год уходил на заработки, пропадая из дому иногда по девяти месяцев. Дедушка был слаб. А больше в семействе и мужиков не было. Старший брат его навсегда ушел из деревни, окончательно развелся с отцом и жил при каком-то пивоваренном заводе. Таким образом, Мишка почти круглый год оставался в доме хозяином и невольно раздумывался о том, что видел. Невольно приходили ему на ум самые неожиданные сравнения. Воля и... отчехвостили! Свободное землепашество и... «штука»!

Он делался угрюмым.

Что касается собственно «штуки», то она отразилась на молодом Лунине с явною резкостью. Это подтвердилось в рекрутском присутствии, куда его привезли, чтобы забрить лоб. Старший сын ушел годами от воинской повинности, и солдатская доля пала на Михайлу. Родители плакали, провожая его. Отец был так мрачен и в то же время так ласков, как никогда. Но сам Михайло не плакал. Его обычная угрюмость нисколько не изменилась. Кажется, он думал, что все равно — в солдатах или мужиках жить. Мать и отец, дедушка и сестры не услыхали

от него ни одного слова сожаления о потере крестьянской свободы, которую, вероятно, он не признавал существующею. Он только сделался за эти дни злой. Холодно он простился с родными, механически снял шапку и перекрестился, когда они с отцом выезжали за околицу Ямы. В конце концов оказалось, что Михайло в солдаты не годится. Раздетый в рекрутском присутствии, он обнаружил всю свою физическую несостоятельность. Смерили его рост — мал; измерили и выслушали грудь — плоха и узка. Ноги оказались выгнутыми снаружи; позвоночный столб кривой. Брюхо большое. Малокровие. В другое время его взяли бы в солдаты затем, чтобы варить крупу или садить капусту в гарнизонном огороде. Но доктор, делавший осмотр, решительно воспротивился, высказав мнение, что такого бутуза лучше оставить в покое. Во всей его фигуре в исправности были только лицо, холодное, но выразительное, и глаза, сверкающие, но темные, как загадка.

Отец Лунин обезумел от радости, узнав, что его Мишка — урод. Во-первых, с радости он напился до того, что потерял шапку; во-вторых, целый день лез к сыну целоваться; в-третьих, предложил ему жениться, назвав имена сватов. Михайло в ответ на это положил отца поперек саней и поехал домой.

Сколько было неприятностей в семье из-за одной этой женитьбы! Избавившись от солдатчины, Михайло, однако, имел свое мнение о женитьбе, что сильно раздражало отца. Он беспрестанно твердил сыну о женитьбе.

— Уж это мое дело! — возражал сын.

— Как твое? А отца-то позабыл? — волновался отец.

— Не забыл, а говорю: не суйся в чужое дело.

— Как в чужое? Возьму вот я хорошую палку да начну тебя жарить!..

После этого между отцом и сыном обыкновенно происходила распря, никогда не прекращавшаяся. Отец доказывал, что он имеет право учить своего сына, а сын опровергал.

— Не вижу я проку в твоем ученье... Ты наперед скажи, учили ли тебя-то? — глухо замечал сын.

— Меня... учили! — волновался отец.

— Палкой-то?

— Палкой ли, чем ли, а учили. Уж это, брат, сделай милость, без ученья нас не оставляли.

— Да какой же прок от этого? — насмешливо спрашивал Михайло.

— Прок? А вот какой прок: б-боже тебя сохрани, бывало, сказать супротивное слово отцу! Бывало, дедушка-то твой привяжет меня к столбу, да и дерет. И баловства этого духу у нас не было!

— Слыхал я это. Да какой же тебе-то прок в битье?

— Не баловался — больше ничего!

— Ну, мало же об вас оббили дубья! Надо бы больше, — говорил сын, злобно смеясь.

— Мишка! лучше замолчи, не гневи меня! Ей-ей, схвачу я тебя за волосья...

И так далее. Отец грозил, Михайло пренебрежительно отворачивался. Но когда дело заходило далеко, он вспыхивал как порох, обнаруживая страшную свирепость.

— Разве я не правду говорю? — спрашивал он, как бы готовясь запустить в отца смертельную стрелу, которая ранит того и заставит зареветь от боли. — Разве не правда? Ну, скажи на милость, хороша ли твоя участь? Ладно ли живешь ты? А ведь, кажись, дубья-то получил в полном размере!..

— Что же, хрестьянин я настоящий... Слава богу, честный хрестьянин! — говорил отец, едва сдерживая себя от боли.

— Какой ты хрестьянин! Всю жизнь шатаешься по чужим странам, бросил дом, пашню... Ни лошади путной, ни кола! В том только ты и крестьянин, что боками здоров отдуваться... Пойдешь на заработки — ногу там тебе переломят, а придешь домой — тут тебя высекут!..

— Не говори так, Мишка! — со страшной тоской огрызался отец.

— Разве неправда? Барщина кончилась, а тебя все лупят!

— Мишка, оставь!

Но Михайло злобствовал до конца.

— Да есть ли в тебе хоть единое живое место? Неужели ты меня думаешь учить эдак же маяться? Не хочу!

— Живи, как знаешь, бог с тобой! — стонал отец.

Тогда Михайле делалось жалко отца, — так жалко, что и сказать нельзя.

Такого рода разговоры происходили беспрестанно, всегда оканчиваясь тем, что отец Лунин опускал голову все ниже и ниже, сознавая, с одной стороны, свое слабосилие, а с другой — пораженный непонятным озлоблением сына. Отец Лунин на самом деле не имел прочной точки опоры, не имел настоящего дома и настоящей цели, жил изо дня в день, добывая хлеб на сегодня и не зная, будет ли он у него завтра; жил безучастно, равнодушный ко всему на свете, кроме обыденных потребностей. Собственно, он не жил, а маял себя. Редкий год он возвращался с заработков целым и невредимым. У него была целая масса приключений, всегда оканчивавшихся тем, что его били. Однажды на железной дороге ему переломили ногу, и хотя он ее починил, но остался хромым. В другой раз, под новостроящимся домом, с высоты десяти сажен на него упали два-три кирпича, отчего он потом никогда уже не разгибался. Всякие происшествия непременно ложились на его бока. И когда он возвращался домой в Яму, его или сажали в холодную, или секли. Чтобы

найти какую-нибудь одну определенную черту Лунина, можно сказать, что по жизни это был поломанный человек, а по характеру — межеумок. И поразительная его честность, и несомненный ум, и способность без устали работать — все это было развеяно прахом.

Над ним смеялись с двух сторон: сын Мишка и дедушка. Дедушка называл его дуралеем, беспутным человеком и ветошкой. Постоянная нужда в семье еще более вооружила старика, свалившего всю вину на «ветошку». Дедушка обыкновенно лежал на печке или на завалинке, если было лето и солнце припекало, и когда узнавал о какой-нибудь новой беде, стрясшейся над сыном, то злобно плевался. Тьфу, тьфу! Выражать иным образом свои критические мысли он уже не мог. Старик давно потерял счет своим летам, живя в бесконечном пространстве. Голова его была голая и походила на дыню, руки тряслись, рот уже не закрывался. Глаза постоянно дремали, ничего не видя. Кажется, все в этом существе вымерло: мысли, воспоминания, чувства и сознание, кроме ощущения печки или солнца, которые давали ему теплоту. Но в этом полуживом человеке остались какие-то бессвязные воспоминания и всего более раздражение, злоба против нехорошей жизни, в которой все было для него глупо, беспутно, и против сына, в котором он видел воплощение всякой беды.

В избе Луниных жило три поколения, положительно не понимавших друг друга.

Иногда Михайло дразнил дедушку:

— Дедушка! — кричал он что есть мочи. — Что ты все сердишься?

Дедушка начинал трясти своей дыней, приходя в раздражение.

— На кого ты сердишься, дедушка? — продолжал Михайло.

— Уйди! Все вы — поганцы!

— За что так, дедушка?

Старик собирался с мыслями, что-то шептал.

— За все. Умей жить... Поганцы!

— Как же жить, дедушка? — коварно спрашивал Михайло.

— По-божецки! — отвечал старик гневно.

— Не понимаю... Расскажи, как у вас жили?

Старик припоминал. Дыня его тряслась. Лицо делалось энергичным и гневным.

— Скажи, дедушка, как это по-божецки?

— У нас поганцев не было! У нас коли ты родился, так держись, стой, крепись! — говорил старик, мало-помалу воодушевляясь и подогревая себя собственными словами.

— А как же насчет притеснения у вас было?

— У нас был соглас... Коли, бывало, притеснение — молчим. Стой, крепись! — Грудью выноси!

— Стало быть, были же притеснения-то, — коварствовал Михайло.

— Мы не стали бы плакать по-бабьи. Стой грудью!.. А ежели сил нет терпеть — помирали. Эй, ребята! ложись, помирай!

— И что же, все помирали, которые ложились?

— Поганцев у нас не было. У нас дружба... Который слабосильный мужичонко, и тот не выл по-бабьи... У нас, бывало... — путался старик, припоминая старые времена и не подозревая насмешки внука.

— А может, вы только ложились, а не помирали?

Дедушка всматривался во внука и затем разражался плевками. Если в его руках находился батог, он яростно стучал им.

Нечего и говорить, что Михайло не серьезно заводил беседы с дедом. Дедушку, дожившего до потери сознания времени, он очень уважал, но чтобы учиться у него — это внуку и в голову не приходило. Иногда старик, наскучив молчанием, принимался бессвязно, как ребенок, рассказывать о старинных временах, без всякой меры хвастаясь тогдашними людьми, но Михайло слушал этот набор чудес, как сказку. Он понимал только, что тогда было одно мученье. Тогдашним людям действительно ничего не оставалось делать больше, как молчать: стой! крепись! А когда притеснение выходило за границы человеческого терпения, надо было ложиться и помирать, ибо это был единственный исход. Страдание до того было непрерывно, что каждый старался выработать в себе непрерывное терпение. В конце концов страдание стало в одно и то же время средством и апофеозом существования.

Молодой Лунин не желал ни быть битым зря, подобно отцу, ни ложиться и помирать, подобно деду. Он с течением времени совсем отбился от рук. Хозяйничая один каждую зиму, он решительно никого не спрашивался. У него были свои дела, пристрастия и друзья. Из семьи никто не знал, что́ он будет делать завтра.

Одно из его пристрастий обитало в худой избенке, с виду похожей на баню, где, однако, жили две женщины — старуха Марфа с дочерью Пашей. Сам Михайло никогда не выражал словами своего пристрастия к этой избенке и не показывал виду, что имеет некоторые намерения на дочь Марфы. Объяснение его состояло лишь в том, что раза два в неделю он забегал мимоходом в избенку и осведомлялся, не надо ли что сделать по хозяйству? По большей части надо было наколоть дров, напоить корову, которая была, если не считать избенки, единственным имуществом двух сирот, задать ей корму, чтс-нибудь починить. Михайло сделает все это, вспотеет и уйдет. Ни одним намеком кому бы то ни было не выразил он намерения жениться.

По воскресеньям он иногда покупал осьмушку чая и какого-

то рыжего сахару и относил к Паше, которая поила чаем свою больную старуху. Вот все подарки, какие он делал Паше. Всякий другой гостинец он считал как бы обидой для нее. Как ни были бедны женщины, но кормились на свой счет. Собственно, работала одна дочь, потому что старуху зиму и лето душил кашель. Паша была деревенская швея. Она тачала рубахи, порты, поддевки, женские платья и т. д. И нигде не светился так упорно огонек, как в ее избушке. Пока она была еще здорова, вечное сиденье не изнуряло ее. Напротив, она желала больше тачать и питала мечту когда-нибудь купить такую же машину, какую ей довелось видеть у попадьи смежного села. Об этом узнал Михайло.

Год он ломал голову над тем, как бы достать денег на машину. Самая плохонькая, по его справкам, машинка стоит двадцать пять рублей... даже выговорить трудно! Но Михайло был фанатик. Он озлился и принялся сколачивать деньги. И через год сколотил. Только половину он вычел из счета податей. Когда в известное время пришел сборщик, Михайло свирепо сказал: «Нет!» — «Как?» — «Что же, ты оглох? Говорю, нет!» Когда он принес машину к Паше, то заметно было, как похудел Михайло: глаза его ввалились, лицо постарело и осунулось, во всей фигуре замечалась лихорадочность, измученное состояние нервов.

У этого бутуза нервы? Надо признаться, что ответ на этот вопрос может быть только утвердительным. Он почему-то тосковал, ему были знакомы уже страдания, неудовлетворенность, сомнения, — словом, в бутузе шла неумолкаемая работа, не позволявшая ему глядеть весело. В двадцать два года он уже порядочно измучился.

Несколько раз по праздникам он уходил к пруду на мельницы Трешникова, где по берегу росли тощие кусты. Туда приходила и Паша. Здесь, среди полыни, тальника и чилиги, они проводили праздники, отдыхая. Говорили мало. Паша была задумчивая, тихая девушка, не любившая шумных бесед, а Михайло просто не умел говорить. Иногда ему и хотелось что-нибудь сказать повеселее, и скажет, но тут же и обозлится,— до такой степени шутка его выходила уродлива, словно вместо языка у него сидел во рту деревянный клин. Ограничивался он самыми неизбежными словами. Спросит, много ли она за неделю нашила? Есть ли у них со старухой дрова? Не надо ли чего починить в избе?

— А когда же мы с тобой в церковь? — спросил однажды Михайло, выражая на лице своем волнение.

— Когда хочешь. Только скажи — и пойду, — отвечала Паша.

— Да нет, нечего пока и думать об этом! — вскричал со злобой Михайло, сам себя перебивая.

— Отчего же?

— Да какое же у нас тебе удовольствие? Солому-то жрать? Ведь у нас беднота... тоска берет!

— Не горюй... Только скажи — и пойдем к попу! — успокоивала Паша.

— Все беднота, ничего больше, как беднота! Такая что ни есть страшная жизнь, что даже совестно! — продолжал, почти не слушая, Михайло, и злоба горела в его глазах.

— Что поделаешь, Миша!

— Про то и говорю... Ничего не придумаешь. Как жить?

— Как люди, Миша, — заметила робко девушка.

— Какие люди? Это наши старые-то? Да неужели же это настоящая жизнь: побои принимать, срам... солому жрать? Человеком хочется жить... а как? Не знаешь ли, Паша, ты? Скажи, как жить? — спросил оживленно Михайло.

— Не знаю, Миша... Голова-то моя худая. Я могу только идти, куда хочешь, хоть на край света с тобой...

— Как же нам быть?.. Чтобы честно, без сраму... не как скотина какая, а по-человечьему... — Михайло говорил спутанно, с невероятными усилиями ворочая своим деревянным клином. Но в глазах его сверкали слезы.

Он не раз, видно, уже задавал себе такой мудреный вопрос. Но, к несчастию его, обстоятельства так сложились, что он как свои пять пальцев знал, чего *не надо* делать, а когда старался придумать, как же надо жить, то был немощен и, чувствуя это, ненавидел свою жизнь.

Под давлением этого Михайло бросался из одной крайности в другую. Нередко на него находило какое-то равнодушие. Он по неделе ничего не делал, кроме самого необходимого в хозяйстве, лежал в коноплянике, глядел на небо, спал, валяясь под плетнем огорода, ходил мрачный. Ни с кем не говорит; глядит на всех в доме, как на лютых своих врагов; волосы не чешет, не умывается и сопит. Но вдруг как с цепи сорвется. За неделю, проведенную в безделье, старался наверстать вдвое, выказывая лихорадочную деятельность, придумывал новые работы и с каким-то остервенением работал.

Так, он постоянно затевал со своими товарищами разные предприятия, не очень мудрые, но хлопотливые и новые. Главное — новые. Никогда с пожилыми мужиками он не связывался, ибо их ум-разум ставил ниже гроша и дела их все фактически отрицал.

Товарищами его были такие же безусые, как и он сам. Между ними лучшими друзьями считались двое. Один был Щукин, другой назывался Шаров. С ними он беспрестанно советовался и вел общие дела, хотя между ними было мало общего. В то время как Михайло выглядел затравленным волчонком, молчали-

вый, недоверчивый и погруженный в себя, Иван Шаров был живой, как ртуть, и болтливый, как балалайка. Он давно уже оставался самостоятельным хозяином в доме; все его родные перемерли, кроме матери, и он, парень двадцати пяти лет, чрезвычайно ловко вертелся в темной жизни Ямы. Одно время он завел было лавочку, где продавались лапти и сахар, дуги и пряники, махорка и сухой лещ, — словом, все, что требовалось в Яме. Хотя с лавочкой ему не удалось укрепиться, но и тут он, как вьюн, ускользнул от банкротства, ловко выбрав надлежащее время для прекращения торговли. Изобретательный на добывание хлеба насущного, он не оставался сложа руки никогда. Нюх у него был замечательный. Проследит, что за десяток верст один человек должен заколоть больную свинью, которой переломал кто-то ноги, и уже там — покупает больную свинью и везет продавать. Как ни был далек от Ямы город, но Иван Шаров и там завел приятелей, с помощью которых всегда мог найти себе занятие. Он постоянно был в разъездах по каким-то важным делам, в беготне и суете. Жизнь его походила на мелькание. Если бы мрачная судьба Ямы когда-нибудь вздумала захватить его в свои объятия, он непременно ускользнет, как кусок мыла. Он давно женился. И жена его как раз приходилась ему впору. Она могла косить и жать, сидеть кабатчицей, жить в кухарках — на все руки.

Михайло питал род удивления к Ивану, часто сидел у него, выслушивал его, хотя сам решительно не способен был вертеться таким кубарем. Природа наделила его неповоротливостью и тем древним мужицким свойством, которое выражается так: думает затылок. Схватить на вилы копну сена, воткнуть на пол-аршина в землю соху, поднять колоду — это он понимал и мог, несмотря на явное слабосилие свое; но чтобы всю жизнь крутиться, ускользать, ловить случаи — это было не по его характеру.

— Не понимаю, как это ты все вертишься? — спрашивал он не раз Шарова.

— Без этого нельзя, пропадешь! — возражал последний: — надо ловить случай; без дела сидеть — смерть...

— Да разве ты работаешь? По-моему, ты только бегаешь зря.

— Может, и зря, а иной раз и подвернется счастье, а уж тут... На боку лежа, ничего не добудешь. За счастием-то надо побегать.

Шаров был душой между своими товарищами, Михайлом и Щукиным. Один год, по его остроумной мысли, товарищи сняли несколько наделов несостоятельных мужиков и посеяли лен. Штука немудреная, но Шаров сделал ее чрезвычайно замысловатою. Дело в том, что несостоятельный мужик бежит от своей земли не потому, что именно земля ему наскучила, а потому,

что ему надоело платить за нее, и он рад, когда находится человек, который берет, вместе с удовольствием владеть лишним участком, и неприятность платить за нее деньгами или спиной. Но Шаров решил, что можно в одно и то же время взять свое удовольствие и отделаться от неприятности, то есть взять наделы с условием платить за них, но на самом деле не платить. Он рассуждал основательно, что, если он и не возьмет землю, все равно подати несостоятельный хозяин не уплатит, а между тем земля пропадет даром. На этом основании товарищи взяли несколько участков на имя Щукина. Почему на имя Щукина — это также изобретение Ивана Шарова. Ведь их потянут, если они не станут платить? Надо было прогнать силой сборщика податей, и сделать это способен был Щукин. В деревне его боялись.

В обыкновенные минуты Щукин был смирный и недалекий человек. Полное, круглое лицо его ничего не выражало. Уши висели, зубы торчали наружу — самый обыкновенный деревенский парень и несмышленый человек. Но достаточно было ничтожного случая, чтобы вызвать с его стороны необузданный поступок. Такие парни в минуты сознания обиды или просто неудовлетворенности дрались, бывало, в кулачные бои, разносили вдребезги избушку какой-нибудь вероломной солдатки и пр. Но у Щукина уже рано явилась в поступках определенная точка, преднамеренность. Он питал ненависть к сельским властям, но в особенности к Трешникову, местному богачу, который полгода давал жителям Ямы свой хлеб, а другие полгода сосал из них кровь. Щукин с величайшим удовольствием готов был сделать ему какую угодно пакость.

Между другими подданными Трешников владел и отцом Щукина. В отце это не вызывало протеста, но сын поступил иначе. Ему тогда было менее восемнадцати лет. В отместку за все, он выбрал темную ночь, залез к Трешникову в конюшню и обрезал под самый корень хвост лучшей лошади. Позор был до такой степени чувствителен, что Трешников взвыл от боли. Щукин не скрывал, что откорнал хвост именно он сам, и сулил и на будущее время еще какое-нибудь посрамление. Трешников в свою очередь выместил на отце, перестал давать ему хлеба, а кровь сосать продолжал, вследствие чего тот окончательно отощал и помер где-то на чужой стороне на заработках. Сына Трешников не тронул, пугаясь его угрозы.

У Щукина был другой подобный случай. Некоторое время после смерти отца он служил ямщиком на станции земских лошадей. Никто из проезжающих на него не жаловался. Свое дело он справлял аккуратно, водки никогда в рот не брал, «на чай» просил стыдливо. Но вышло так, что он оплошал. Ехал с ним местный становой. Дни стояли ненастные. Лил дождь.

Дорога превратилась в сплошное тесто, в котором колеса тонули по самую ступицу. Лошади измучились. Сам кучер обил все руки, понукая их. Не мудрено было разинуть рот от изнеможения. И Щукин прозевал. На косогоре, почти под самой деревней, куда ехал становой, экипаж его повернулся боком, повисел несколько на воздухе и перевернулся, увлекая пассажира, его вещи и кучера. Щукин воткнулся головой в лужу, сильно расшибся, но живо выскочил и уж совсем принялся было хлопотать вокруг барина, как последний, неистово ругаясь, съездил ему по голове... Это значило показать быку красную тряпку или ударить по рогам козла. Щукин освирепел. Глаза у него помутились, зубы выставились наружу, и он бросился на барина с поднятыми кулаками. Тот счастливо ускользнул и пошел наутек. Щукин за ним. К счастью, становой через неделю захворал, возбуждать дело было некогда, а потом его перевели в другое место.

С этой поры Федьку Щукина всякий знал. Для дела, придуманного Шаровым, он как раз годился. Действительно, лишь только сборщик явился к нему, он бесцеремонно выпроводил его вон. Произошло замешательство. Земля должна быть оплачена, а между тем никто не платил. Потянули тех самых несостоятельных хозяев, которые отдали Щукину свои наделы. Те опять указывали на Щукина. Эта путаница отразилась в конце концов на самом безответном мужике. С него неожиданно потребовали уплаты за его надел, но так как денег у него не нашли, то его выдрали без всяких отговорок. Чрезвычайно удивленный такой несправедливостью, он поочередно обошел всех трех товарищей, ругая каждого на чем свет стоит. Щукин отделался от него, вытолкав его в шею. Шаров заговорил ему зубы. Но Михайло не мог слова сказать.

В тот же день один Михайло заговорил об этом с товарищами.

— А ведь жалко беднягу... — сказал он, сидя у Ивана в избе, где находился и Щукин.

— Кого жалко? — спросил последний.

— Да тово... мужичонка-то, Трофимова...

— Сам он дурак! А ты тетерев... — презрительно засмеялся Щукин.

— Да ведь он поплатился ни за что.

— Прямой тетерев! — подтвердил Щукин.

Михайло все-таки стоял на своем, думая, что тот мужик безвинно потерпел. Но вместо Щукина возразил Шаров. Он говорил резонно, с убеждением.

— Видишь ли, друг Михайло, — сказал он: — жалости он действительно достоин. Отчего не пожалеть дурака, который не умеет сам защищать себя? Вреда от жалости нет. Но скажи мне, пожалел бы кто нас? Ты вот об этом подумай. Худо нынче

тому, кто сам не умеет обороняться. Но жалеть дурака можно — вреда от этого нет.

На лице Михайлы появилось жесткое выражение. В душе он согласился с товарищем.

У него на этот счет не было определенных мыслей. Ему постоянно казалось, что во всем мире он — сирота, брошенный человек, забитая тварь. Но это было настроение. С колыбели, когда его кормили жеваным хлебом, набитым в соску, до последнего дня, когда он стал во главе разрушенного дома, он ни разу не испытал той нежности, которая смягчает обозленное сердце. Мякина изуродовала его тело; бесчеловечье, среди которого он рос, сделало его жестким. Умственной пищи никто не думал дать ему, а ту умственную мякину, которою питались его прадеды, он не считал уже годной. И он вырос столь же темным, как его родители, но более несчастным, чем они, потому что желания его были широки, а средства всё такие же грошовые. Он жаждал счастия и видел, что в Яме никто не знает его. Он стал тогда ненавидеть и отрицать всю Яму. Он иногда желал убежать из этого бездольного места. Яма, воспитав его, показала ему свои язвы — бесчеловечье, мякину, розги, — и он насквозь пропитался отрицанием. Мало-помалу он убеждался, что рассчитывать в жизни ему не на кого, кроме себя. Если желать что-нибудь получить, то это возможно не иначе, как силой. В противном случае останешься в дураках. Отца его били, но он живьем не дастся. На всякое притеснение он станет огрызаться. На бесчеловечье он ответит собственным зверством. Он ничего не знает, но тем хуже, потому что всем своим сердцем он чувствует, что жить худо.

Стоит сказать несколько слов о вещественном наследстве, доставшемся Михайле.

Отец его собирался на заработки. Назначен был день его отхода. Но, прежде чем уйти, он решил сдать на руки сыну все движимое и недвижимое имущество, так как сын сделался настоящим мужиком. Совершил он это торжественно. Помолился богу. Купили для такого торжества сорокоушку и сказали речь, приличную случаю.

— Мишка! вот я тебе препоручаю! Владай всем имением... Живи честно, работай как следует, в кабак не тащи...

Михайло слушал, слушал и засмеялся.

— Да чем тут владать-то? Ничего нет! — сказал он.

Но отец рассердился на такое замечание и повел сына по двору с намерением показать все, что там находилось. Но в конце концов он сам, к удивлению, убедился, что владеть нечем. Сараи были раскрыты; заплоты падали. Хозяйственные и зем-

ледельческие орудия были одним прахом. Вместо лошади под сараем стояло чучело лошади, набитое соломой. Михайло с нескрываемым презрением указал на все эти провалы и ничтожество в хозяйстве. Отец заволновался. Кажется, он только в эту минуту разглядел свое нелепое житье. Не найдя у себя в действительности ничего, он с чрезвычайною торопливостью принялся сочинять небылицы. Водя сына по двору, он показывал вид, что ищет много вещей, которые были, но которые теперь куда-то запропастились.

— А где железная лопата? — спрашивал он озабоченно, как настоящий хозяин.

— Что ты врешь! Никаких лопат нет. Одно разоренье. И зачем ты затеял эту канитель? — сказал Михайло, которому надоело слушать сочинение небылиц.

— Мишка, не обижай меня!.. — грустно выговорил вдруг отец.

— Да разве я сам не знаю, что у нас есть? Небось не растрачу! Все сберегу в лучшем виде.

— Ты укоряешь меня беднотой? — спросил еще тоскливее отец.

— Ну, пошел!.. Ты лучше скажи-ка, сколько должен Трешникову?

— Трешникову? Пес его знает... Никак немного... — сказал смущенный отец и почесал живот.

— Надо думать! Чай, и голова-то у него в закладе? — беспощадно допрашивал сын.

Отец положительно затосковал. Так вдруг внутри у него засосало, что он едва слышал колкие слова сына. Потом ему показалось, что он что-то чует недоброе...

— Чует мое сердце, не к добру! — сказал он.

— Еще что выдумал?

— Верно тебе говорю. Чует сердце, что не надо бы уходить мне из дому.

— Что же может случиться?

— Кто знает... Сохрани бог! Либо не вернусь я, умру, либо тут дома какая ни на есть беда... Чую, худо будет!

— А ты сегодня вороны не видал?

Но отец ничего не отвечал на это. У него все еще сосало. Мысленно он уже прощался с избой, со старухой, с дедушкой, с детьми и с буркой, и такая жалость напала на него, что на глазах у него показались слезы, и он только вздыхал. Чтобы потушить такое невыносимое чувство, он с глубокой печалью выпил стакан из сорокоушки, купленной для торжества.

Бурную зиму провел Михайло после ухода отца. Он запальчиво принялся хлопотать, чтобы поправить дела семьи, да и самому ему надоело ждать той минуты, когда он может, без

страха за свою участь, жениться. Прежде всего он постарался привести в известность отцовские дела. По отношению к хозяйству это не трудно было сделать. Дело было ясное: дом со всеми принадлежностями неумолимо разваливался. Стоило ли хлопотать вокруг него? Сперва этот вопрос Михайло решил утвердительно. Он жарко принялся работать на поправку, надеясь сначала прикупить скота, а потом положить на избу заплаты, а другие же части выстроить заново. Первое не удалось. Как он ни горячился, изнемогая в работах, изобретаемых его товарищами, как ни крутился в куче дел, но денег на покупку скота не заработал; ежедневные потребности семьи съедали все плоды его дел. Свою лошадь он возненавидел; его раздражал один вид этой барабанной шкуры; он перестал ее почти кормить. Мать с каким-то страхом следила за поступками сына.

Второе желание — положить заплаты — скоро стало еще ненавистнее для него. Долгое время он с утра до ночи стучал по дому топором, пилил, долбил и наклал множество заплат. На это у него хватило терпения и силы. Но когда он однажды увидал, что починенный им сарай имеет наклонность все-таки пасть, им овладел припадок бешенства. Он схватил топор, наперся грудью и брюхом — и сарай пал. На треск выбежали домашние, даже дедушка, но Михайло просто объяснил, что над такой подлостью не стоит и мучиться. С этих пор, что бы ни делалось на дворе, он не обращал внимания.

Михайло стал заботиться лишь о том, чтобы накормить семью, и любимое его времяпровождение состояло в том, что он ложился под сараем на солому и мечтал до поздней ночи. Странные это были мечты! Чаще всего он видел с каким-то замиранием сердца всеобщее крушение ненавистного для него места. Видел, что вот эта изба, созерцаемая им, сию минуту хлопнется и рассыпется в безобразную кучу. И от души желал, чтобы это так вышло. Пускай сдохнет шкура... падет амбар... сгниет, как старый гриб, погребица... пускай на этом месте ничего не будет, все мигом пропадет — лучше! Он снова все заведет. Делать заново все дочиста лучше, чем класть заплаты на старье. Пусть все сгинет, как сон. Тогда он новую жизнь начнет, и, может быть, доля ему выпадет счастливее отцовской. Он бы вот все раскатал по бревну, но это гнилье — не его, а отцовское. Хоть бы громом и молнией спалило все это ненавистное, мучительное жилье!

Михайло знал, что главное его наследство от отца — долги, от которых нет нигде спасенья. Но приходили мимолетные минуты, когда он думал об отце с сожалением. Жалко и обидно становилось за этого поломанного человека. Михайло желал чем-нибудь удружить ему, помочь, усладить его горькую долю. К нему приблизилась уже старость, силы его видимо слабели; от всего сердца Михайло придумывал способы успокоить его на

конце жизни. В эти мгновения Михайло делался спокоен, почти нежен, ласково говорил с семейством, не привыкшим вообще слушать его разговоры. Дедушку он переставал дразнить, сестрам покупал гостинцы в виде платков. С матерью обходился в особенности хорошо, старался всеми силами услужить ей и раз купил ей кожаные башмаки. Когда мать растрогалась от такой ласки, он почувствовал себя на минуту счастливым.

Но такие минуты улетали, как дым, разгоняемые действительностью. Внутри его снова поселился волк.

Долго он не мог собраться сходить в волость и к Трешникову, чтобы узнать количество отцовских долгов, но, наконец, нашел время. Сперва он отправился в волость. Там ему показали все. Сказанная цифра была так велика, что даже он с невольным страхом проговорил: «Ух, какая прорва!» Впрочем, через минуту успокоился. Этот долг не очень пугал его и не много он думал о нем. Выходя из правления он сказал: «Черт с ним!»

Не то вышло у него с Трешниковым. Михайло чувствовал ко всей этой семье непреодолимый страх, несмотря на свою смелость и негодование. Еще мальчишкой он дрался до крови с сыном Трешникова, сверстником своим. Он не любил этого плаксу, и тогда уже Гаврюшка, как его звали, всегда возбуждал в его кулаках зуд. Бывало, Мишка то даст ему в нос хорошего тумака, то повалит на землю и прибьет. Гаврюшка был, однако, коварный мальчишка; он ревел, когда на него наседал свирепый Мишка, но, улучив минуту, из-за угла пускал в голову последнего камнем. Сколько раз Мишка приходил от него с разбитой рожей! Теперь они, конечно, не дрались, но их взаимная антипатия еще более усилилась. Михайло видеть не мог этого выхоленного и наглого сынка, державшего себя заносчиво, с сознанием, что он — наследник разбогатевшего мельника. Лентяй и шалопай, он уже стыдился черной работы, день-деньской слонялся по дому отца и покрикивал на рабочих. Он принадлежал к той еще немногочисленной, но беспутной деревенской молодежи, которая в Яме и подобных ей местах играла роль золотой молодежи. Он был отлично знаком со всеми окрестными увеселительными местами, умел пить виноградные вина, курил папироски и ходил в смазных сапогах. В праздничные дни он выходил на улицу затем только, чтобы показать деревенским парням и девкам свою великолепную фигуру, плисовый пиджак, смазные сапоги и цепочку от часов. К играм и разговорам молодежи он, конечно, не прикасался, смотря на всех гордо, как гусь. Отчего это у всякого разжиревшего мужика, энергиею проложившего себе путь к богатству, дети почти всегда выходят дохлыми и с зачатками идиотизма? Несомненно, что Гаврило Трешников был дохлый идиот, которому предстояло после смерти отца наполнить окрестность скотскими поступками.

Михайло, встречаясь с ним и его отцом, нарочно не сдвигал шапки со лба. Его отец был крепко связан с Трешниковым, но в Михайле это возбуждало только дикие чувства, но не раболепство. Он явился к Трешникову поговорить зуб за зуб. Без всяких околичностей он спросил, в какой сумме повинен ему отец? Трешников велел подождать на дворе. Это ожидание продолжалось очень долго. Наконец мельник вынес зажатыми в горсти кучу замазанных и рыжих клочков бумаги, изображавших векселя.

— Вот где сидит твой отец! Вот их сколько, вексельков-то!— сказал Трешников.

Михайло с недоумением оглядел горсть засаленных бумажек.

— Да ты не хочешь ли наняться ко мне в батраки, может — затем и пришел? — спросил мельник.

— В батраки к тебе я не пойду, а хочу знать, сколько на отце ты считаешь? — возразил Михайло.

— Ты хочешь платить за отца? Не больно ли ты прыток, парень?

— А сколько годов ты еще будешь мучить отца? — спросил сдержанно Михайло.

— Ах ты, молокосос! Да ты бы должен в ноги поклониться мне, что я кормил твоего отца! Да я и говорить с тобой не стану, рвань ты эдакая!

Михайло дико озлился, слушая это.

— Жирный пес! — наконец проворчал он. — Больше я тебе ничего не скажу. Прощай, туша! Попался бы ты мне в другом месте... Ну, да прощай!

Михайло вышел со двора, не оглядываясь. Он понял, что отец его пропал. И поправить его нельзя. Он воочию видел, как отец помирает, задавленный худыми делами. Тогда в его груди появилось новое чувство, до этой поры не изведанное им: месть.

С этого дня он уже не любил оставаться дома. Появляясь домой, он глядел волком, и все семейные боязливо обращались с ним. Достаточно было первого случая, чтобы сделать его окончательно чужим в семье.

Как-то весной, когда со дня на день в доме Луниных ждали отца с заработков, в деревне оповестили всех домохозяев, что приехал старшина из волости и приказывает всем собраться на съезжую. Домохозяева собрались, но молодежи собралось больше, чем пожилых мужиков. Многие еще не вернулись с заработков. Пожилые стояли особой кучкой в ожидании выхода начальства. Они держали себя степенно. Ожидая нагоняя, они заранее как бы подготовлялись к своей участи. В то же время молодежь обнаруживала все признаки недовольства и роптала, что людей без дела держат столько времени. Пожилые и смирные уговаривали ропщущих замолчать, потому что старшина и так, сказывают, приехал сердитый и очень гневаться будет, если ему



станут досаждать. Молодежь не унималась и ругала во всеуслышание начальника, пока тот не вышел.

Он действительно сердито оглядел собравшуюся на дворе толпу; затем сказал краткую, но сильную речь.

— Эй вы, идолы, знаете ли, где я вчерася сидел?

Старшина замолчал. На лицах молодых отразилось недоумение. Но смирные боязливо возразили:

— Как же мы можем, ваше степенство, знать, где вы сидели?

— «Как же мы можем знать!!!» — передразнил старшина. — В кутузке я сидел вчерась — это, чай, можно сообразить!

В толпе молодежи послышался сдержанный смех. Но пожилые жалостливо покачали головой.

— Сохрани бог! — сказали они.

— В кутузке сидел, в кутузке, идолы! А через кого? — спросил старшина.

— Сохрани бог, ежели через нас...

— Через вас. Не через кого больше, как через вас!

В среде молодежи смех сделался общим.

Старшина разъярился.

— Вы над чем зубы-то скалите, а? Погоди ужо, я вам пропишу смех... Эй, ребята, заприте ворота! Не сметь выходить!

Ворота заперли. Лица собравшихся вытянулись.

— Неси, ребята, хворосту! Начнем, господи благослови!

Пожилые сдавались безропотно, но молодежь заволновалась.

Послышались резкие возражения.

— Что же это мы, ребята, глядим, разиня рот! — сказал кто-то.

— Мы, ваше степенство, на это не согласны! — сказал другой.

— Взыскивайте с отцов, а мы неповинны! — заметил Михайло.

— Руки еще коротки, ваше степенство! — сказал Щукин, ухмыляясь.

— Ах вы, молокососы! Ребята, хватай сперва вот этих двух сорванцов! Слава богу, вспомнил: на этого Мишку Лунина уже давно жаловался Трешников. Вот их!

Но тут вышло невообразимое смятение. Михайло с Федькой вырвались после отчаянной борьбы и бросились к воротам. Вслед за ними хлынула, как буйное стадо, остальная толпа. Ворота сшибли и бросились врассыпную, кто куда мог. Через мгновение на дворе осталось пять-шесть мужиков да множество шапок, рукавиц и кушаков, в беспамятстве брошенных бежавшими. Старшина не знал, что предпринять ему, и решил ехать жаловаться.

И выдался же этот денек для Ямы! Скромная, тихая, почти мертвая деревенька взволнована была неслыханными происшествиями. После панического бегства из съезжей избы ночь всеми проведена была тревожно. И вдруг на следующее утро раз-

неслись из конца в конец вести, одна другой изумительнее. Одна касалась старшины. Он вечером поехал в волость, разгневанный, но больше удивленный окончанием сходки в Яме, и решал в уме, какую награду припасти для сорванцов, устроивших ему такую пакость. Дорога его шла по кустарникам, продолжающимся вплоть до мельницы Трешникова. Светила луна, виднелись звезды. Вдруг, уже возле мельницы, из кустов, с противоположных сторон дороги, выскакивает разом два страшных человека. Они были одеты в вывороченные шерстью вверх тулупы. Лошади, увидав таких чудовищ, рванулись в сторону, тележка опрокинулась, кучер полетел в одну сторону, старшина в другую. И лишь только он пал на землю, как почувствовал, что на него кто-то насел. Он безропотно ждал своей участи. Но разбойники помяли его немного и слезли, сказав: «Помни это. Худо будет тебе, если эти глупости не оставишь, помяни слово!» Вслед за тем тулупники скрылись в кустах. Старшина долго не мог прийти в себя; но, опамятовшись, одним махом вскочил в тележку и поскакал дальше, со страхом оглядываясь назад. Он сообразил, конечно, что сыгранная с ним пакость дело рук кого-нибудь из давишних сорванцов, и полетел во весь дух домой. Прискакав к себе, он решительно ничего путного не объяснил домашним. Всем было ясно, что он чего-то испугался, но на вопросы отвечал только, что теперь ничего не может решить.

В то же утро, но еще с бо́льшим страхом, проснулся Трешников. У него за ночь спустили пруд. Весеннее половодье прошло, плотина была поправлена, и мельница начинала уж работу. Трешников взвыл. Он бросился на мельницу. Там было полное разрушение. Одно мельничное колесо было сорвано с вала. По берегам реки валялись кучи хворосту, леса, балок, камней. Дерн весь уплыл. Обширное водное пространство превратилось в мелкий ручей, который можно было перейти с одного берега на другой. Работники при мельнице ничего не знали. Засыпка лишился языка и ходил по берегу как помешанный. Он нашел две длинные заостренные жерди да один вывороченный шерстью вверх тулуп и молча указывал на эти вещи. Дело было ясное. Плотину прокопали этими жердями, сделав большую дыру снизу плотины, пока, наконец, не образовался огромный провал. Тогда вода с ревом устремилась в него, но, сдавленная его боками, разорвала скрепы, и вся громадная масса дерну, леса и булыжника рухнула. Трешников увидел, что работа многих лет уничтожена.

Он поскакал обратно в деревню и начал созывать народ делать плотину. Одних он умолял, другим обещал простить их долги, третьим сулил хорошие деньги. Многие согласились. Они забыли обиды мельника, его притеснения, его жадность; видели в нем только человека в несчастии и изъявляли готовность навозить ему гору земли, камней, лесу.

К этому времени мало-помалу подходили люди с заработков, между прочим и отец Лунин. Приходящие, узнав о случившихся происшествиях, покачивали головами. Никто не спрашивал, кто и зачем это сделал. Большинство догадывалось и молчало. Но все-таки дело само по себе оставалось темным. Над Ямой повисло какое-то новое преступление.

Через несколько дней вернулся домой Щукин. Раньше его пришел Михайло. В суматохе их не замечали. Михайло прежде всего побывал в избенке Паши. Он сказал ей, что надо уходить вон из деревни. Та ни минуты не задумалась. Больная старуха Марфа жалобно застонала, когда узнала, что дочь ее бросает. Ей оставалось только поскорее умереть.

Когда Михайло появился дома, худой, как будто несколько дней лежал в тяжкой болезни, сестры и мать, отец и дедушка смутились. Но, чтобы предупредить всякие расспросы, он немедленно заявил, что уходит из деревни пока вон, и просил отца выслать ему паспорт. Эти слова пали камнем на всех. Михайло видел, как все замерли от его слов. Отец сидел неподвижно и смотрел в пол. Дедушка свесил свою дыню с печи и даже не шептал, остановив безжизненный взгляд на внуке. Сестры жались к углу. Эта немая сцена произвела тяжелое впечатление на Михайлу. «Мертвые!»— подумал он. Все сидящие в избе показались ему мертвецами, и это еще скорее погнало его вон. Пускай мертвые живут как знают!..

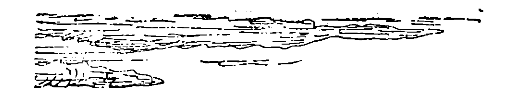
Ему было жалко только мать. Сутки, которые он провел дома, он говорил только с ней. Никогда он не любил ее, но теперь почувствовал стыд, жалость и сочувствие в виду этой дряхлой старухи. Он сознался ей во всем. У него своя жизнь, — зачем же ему связывать себе руки? Это он так прямо и сказал.

— А когда сам по себе буду жить, может, и придет мне счастье, — заключил он.

Старуха не понимала этого своеобразного эгоизма. Она вздыхала не о себе, а о сыне. Как будет он жить один на свете? Есть ли у него какие средства?

Средств Михайло не имел никаких. Голые руки, темная голова, полное мести сердце — вот все, чем он обладал. Но едва лишь мать напомнила ему ничтожность его сил, он засверкал глазами. Он верил в себя. Она прислушивалась к его словам, как бы желая запомнить всякую мелочь в сыне, и гладила рукой по его лицу, ощупывала его голову. Михайло уговаривал ее не горевать, говоря, что издалека он вернее поможет им.

Старуха уже вечером отпустила его. Она вышла с ним на двор, потом на улицу и смотрела и прислушивалась, стараясь понять, куда он пошел; но она ничего не видала по своей слепоте и не слыхала его шагов, потому что была глуха. Да и без того над деревней повисла ночь.





ЛЕГКАЯ НАЖИВА

Все благоприятствовало бегству Михайлы, когда в сообществе с Пашей он бросил свою Яму, где ему житья не стало. Вышли они из деревни почти без денег, с какими-то копейками, которых не могло хватить даже до того города, куда они стремились. Предстояло побираться ради Христа — единственный и излюбленный способ пропитания отправляющихся на заработки мужиков. Но для этого Михайло был слишком молод, и не в его характере было просить и вызывать к себе жалость. Тем не менее он верил в свое счастье и теперь всеми помыслами устремился к городу.

На первый раз случай его выручил.

В одном селе, стоявшем на пути в город, Михайле с Пашей пришлось заночевать. Едва они поели, как в избу вошел сотский этого села и привязался: кто, откуда, по каким причинам? Михайло сперва грубо пробурчал под нос, видя, что сотский пристал просто от безделья. Но сотский пришел в азарт и велел сейчас же казать ему виды. К несчастью, вида у Михайлы не было; он его надеялся получить в городе. А пока молча осматривал сельского начальника, размышляя про себя, что лучше: поднести ли ему косушку, на которую тот, очевидно, напрашивался, или дать хорошего леща по уху, что, собственно, Михайле больше нравилось? Но пришедший в неистовство сотский не дал времени

решить эту задачу и повлек обоих путешественников в волость. Из всего этого произошла польза.

Так как старшины в «присутствии» не оказалось, то сотский предоставил пойманных писарю, со словами: «Какие-то люди...» После минутного допроса писарь послал сотского к черту, а вслед за несколькими дальнейшими вопросами, обращенными к парню и девке, оказалось, что последняя желает найти место кухарки, которая именно и требовалась писарю. Через короткое время дело сладилось. Паша сперва колебалась — жалко ей было расставаться так скоро с Михайлой, но последний с какою-то поспешностью подал ей совет принять предложение писаря, после чего Паша беспрекословно повиновалась.

Михайле также вдруг нашлось дело — переколоть сажени две писарских дров, с платой по гривеннику за сажень, причем писарь уверял, что это даже очень дорого. Михайло и на это согласился, но тут же дал себе клятву, что такими пустыми делами он займется в последний раз и то только потому, что до города у него не хватает денег на хлеб. Он свои таланты ценил неизмеримо дороже, с каким-то фанатизмом веря, что теперь, бросив свое глупое хозяйство, он дойдет до всего.

С Пашей он на другое утро простился без малейшего сожаления; она заплакала, провожая его, а он стоял бесчувственным. О покинутых домашних в Яме он давно забыл. Теперь забыл он и Пашу, положительно не зная, что ей сказать. Она ему казалась даже обузой, без нее в городе он скорее мог сколотить капитал,— единственная мысль, занимавшая его во все время, пока он прощался с девушкой.

Выйдя, наконец, из села, он был охвачен восторгом. Ему нужны были простор, свобода, и, очутившись один, со всеми развязанный, он почувствовал необыкновенное волнение. Вопреки своей угрюмости, он весело подпрыгнул, когда увидал себя на поле, под открытым ясным небом, по дороге в город. Он как будто освободился от каторги. На Яму он смотрел как на каторгу; там он делал то, от чего не видал никакой пользы, пахал землю, которая иногда не давала и мякины, ухаживал за домом, который в общей сложности не стоил ни копейки, жил с людьми, которые очумели от нищеты, и вообще подчинялся чужой, какой-то неизвестной пользе, а не своей. Каторга и есть! Главное, Михайло не понимал, зачем, когда другие подыхают, и ему надо подохнуть, не понимал этой общности несчастий, этого единства беды! Потому он так и ненавидел Яму, что не имел желания подохнуть, а между тем Яма непременно требовала этого от него.

Теперь эта каторжная деревня осталась позади. Михайло решил на сто верст не подходить к Яме, боясь, как бы его опять не стали неволить к смерти. Он шел быстро, желая поскорее удалиться от знакомых мест.

Он шел разбогатеть. Одна эта мечта волновала его «Разживусь», — думал он и ускорял шаг. «Поставлю дом», — соображал он и устремлялся вперед. Он всего наживет, заведет себе новую одежду, будет ходить в «пальте» табачного цвета, а жене сошьет зеленое платье и будет жить... Соображал он все это и бежал вперед, просто летел, причем лоскутья его одежды развевались, как перья. К вечеру усталость брала свое. Ноги его ныли, хотелось есть, спать, ни о чем не думая. Тогда на него нападало сомнение. Созданная в пространстве жизнь вдруг пропадала, вместо нее являлась действительность, то есть разбитые ноги, желание отдохнуть и несколько копеек в штанах.

Но наутро, когда силы восстановлялись, солнце светило и дорога была открыта, Михайло доводил себя понемногу снова до прежнего взволнованного состояния и летел вперед как птица.

На третий день он был уже в городе.

Как всякий деревенский парень, впервые попавший в чудное место, называемое губернским городом, ничего о последнем не знает, так точно и Михайло ничего не понимал, куда ему двинуться, где переночевать и за что прежде всего взяться. Впрочем, Михайло вел себя самоуверенно и не унывал. Остаток дня, в который он появился в город, он прослонялся по улицам и площадям и нисколько не растерялся. Шатаясь по одной пустынной площади, он заметил несколько телег, около которых были привязаны кони, а под телеги укладывались спать мужики, и решил, что здесь ему можно будет отдохнуть. После чего он выбрал сухое место, положил шапку в голову и проспал как убитый до утра. Словом, первый свой дебют он проделал без всякого смущения, не страдая еще от вопроса, что ему теперь делать.

Этот вопрос испугал его только на следующее утро, когда, едва продрав глаза от толчка в бок, он увидел перед собой городового и понял, что последний гонит его с места.

— Ишь, где нашел место дрыхнуть! Чисто охальники! Напьются и лежат где угодно... Пошел вон!

У Михайлы не было даже времени отгрызнуться, как это он сделал бы при других обстоятельствах. Он сейчас встал и пошел. А куда — этого он спросонья не мог сообразить. В самом деле, куда деваться дикому парню, явившемуся в сравнительно толкучее место буквально на босую ногу, с голыми руками, без знания ремесла, без знакомых и без всякой определенной цели, с одним лишь смутным желанием получить кусок и с еще более смутной жаждой как-нибудь «разжиться»! Пришлось опять слоняться по улицам и площадям. В одном месте Михайло увидал десятка два чернорабочих, копавшихся, подобно муравьям, в каком-то доме, закоптелом и полуразрушенном. Как ни был нелюдим Михайло, но спросил одного рабочего, что тут делают. Тот охотно ему объяснил, что дом недавно сгорел, так вот те-

перь хозяин думает поставить на его место новый, для чего и приказал разобрать кирпичи, отделив годные от негодных. «А что касательно платы, так он кладет по пятнадцати копеек на нос, хочешь бери, а не хочешь — твоя воля. А ты также пришел на работу?» — спросил словоохотливый мужичок, кончая объяснение.

На утвердительный ответ Михайлы рабочий с величайшей готовностью указал, где живет хозяин. Михайло пошел и нанялся.

Это было для него разочарование. И такая на него злость напала, что он как попало швырял кирпичи, смотря недоброжелательно на своих неожиданных товарищей. Он вообще не любил толпы, а здесь ему просто словом не хотелось обмолвиться. Он пришел в город для себя, по своим делам, и желал знать только себя; прочие люди ему не нужны были; от них, от прочих людей, он думал только нажиться. Он не желал мешаться в какую бы то ни было артель; ему думалось, напротив, что товарищи только помешают его делам.

И вдруг ему волей-неволей пришлось влезть в толпу и подчиняться ей без всякого возражения. Когда люди носили кирпичи — и он должен был вместе с ними ту же работу работать. Те шли есть хлеб с водой — и он вместе с ними должен есть. Все отправлялись вечером на задний двор на солому — и он принужден был зарываться в солому до следующего утра, когда снова повторялось то же самое. Всем приходилось на нос по пятнадцати копеек — и он заработывал эти несчастные пятнадцать копеек. А прежде ему почему-то думалось, что он будет работать один. Теперь, когда он в этом разубедился, ему оставалось только сердиться, что он и делал. Ненавидел он здесь все: и кирпичи, и пятнадцать копеек, и хлеб, и солому, и всех товарищей. Мало того, через несколько дней Михайло узнал, что попал он не в артель даже, а в какой-то сброд лоскутников, которые жили со дня на день и радовались, получая по пятнадцати копеек.

Из этого города часто писали в газеты, что в нем происходит периодическое наводнение голодным деревенским людом, от которого в иные времена отбою нет городским жителям. По зимам скоплялось несметное множество народа, жаждущего заработков, и городское начальство просто терялось, недоумевая, куда его девать. Постоялых дворов часто не хватало, да у большинства странных пришельцев и платить за ночлег было нечем. Устроен был даровой ночлежный приют, но и за всем тем оставалась масса людей без пристанища. Нередко по зимам город должен был выдавать таким по две копейки на ночлег.

В остальные времена года главные силы этой армии ретировались назад в глубь деревень, разумеется только до следующей зимы, когда, поев весь урожай, странные полки снова двигались на город. Но все-таки в городе круглый год стоял значительный отряд армии, состоящий преимущественно из окончательно

оголтелых, для которых явиться в деревню значило все равно, что попасть в засаду к неприятелю и умереть. К ним присоединялась некоторая часть местных обывателей и других горьких мучеников.

Городские жители весь отряд в совокупности называли «босоногой ротой», намекая этим названием на ничтожное распространение среди этих людей необходимой одежды. Иногда просто называли «гуси лапчатые», что, впрочем, более относилось к нравственности босоногих, потому что некоторые из них вели себя неспокойно, вечно подвергаясь подозрению в кражах, в буйстве, в нахальном попрошайничестве и в других проступках. Но большинство держало себя смирно, почти забито. Не было людей, более готовых на всякую работу за какое угодно вознаграждение.

Незадолго до прихода в город Михайлы, в начале весны, произошел такой случай. Затерло льдом баржу с хлебом. Судно уже трещало. Лед громадными глыбами напирал на него с боков, спереди, сзади, сверху и снизу. Плывший сверху реки новый лед громоздился на старый, ломался около судна, падал на его палубу, давил борты. Достаточно было полчаса, чтобы от баржи не осталось следа. Взволнованный судохозяин кликнул босоногих. Последние мигом слетелись на зов, кто с багром, кто с колом или жердью, а большая часть с голыми руками. Мигом баржа была облеплена людом. Лед в самое короткое время был уничтожен, оттолкнут, искрошен. Босоногие буквально не щадили живота, хотя заранее знали, что больше «пятнадцати копеек на нос» никто не получит. Один из них совсем утонул среди разгара работы, несколько человек выкупалось и получило смертельные простуды, но баржа была освобождена, и босоногие получили по пятнадцати копеек и по стакану водки. Жизнь их ценилась копейками; работа обращалась в убийство. Но когда и такой работы не находилось, многие надевали кошели и обивали пороги.

Михайло был сильно раздражен близостью к таким отрепанным людям. В свою очередь последние платили ему теми же чувствами, смотря на него как на чужого, каким он и был по справедливости. Только с одним он обменивался разговорами, да и то помимо своей воли. Это был тот самый рабочий, по имени Сёма, который в первый день указал, где живет хозяин разрушаемого дома. Прозвища у него, по-видимому, не было; по крайней мере все его звали Сёмой, хотя это выходило странно, потому что Сёма был уже довольно пожилой человек.

Всегда он выглядел спокойно; работал безропотно и с большим чувством; хлеб ел радостно и также с чувством, громко благодаря бога до и после незамысловатой еды. Настроение его всегда было легкое; казалось, на душе его всегда было тихо и светло. Ни с кем он не ругался, самые ругательства выходили у него ласкательными. Михайло невольно переставал дичиться

и питать злобу, когда работал подле этого легкого мужичка; не в силах он был сказать грубость, когда Сёма обращался к нему с какими-нибудь словами. А обращался Сёма беспрестанно, видимо скучая от безмолвия; если не с кем ему было перекинуться словом, он разговаривал с кирпичами. Достаточно было Михайле коротко ответить, чтобы вызвать у Сёмы целую речь. Грубое, но все же юношеское сердце Михайлы не могло устоять против этой душевной легкости.

Сёма был услужлив. В первый же день он предложил Михайле постель, то есть удобный угол, набитый соломой и закрытый со всех сторон от ветров. Все рабочие вповалку спали на заднем дворе купца, и Сёма там же почивал, выбрав только удобный уголок. Но, завладев им, он совестился безраздельно обладать таким благополучием и пригласил спать с собой Лунина. Но, помимо душевной легкости, Михайло потому еще стал снисходительно относиться к Сёме, что он был положительно интересен. Он прошел Русь, кажется, вдоль и поперек. То и дело в разговоре он вставлял такие выражения: «Когда я был в Крыму, о ту пору вот какой произошел случай...» Или скажет: «Жил я, прямо тебе сказать, на Кавказе в ту пору...» Михайло сначала поражался этими заявлениями Сёмы и с удивлением переспрашивал:

— Да разве ты был на Кавказе?

— А то как же. Мы там, в эфтом Кавказе, почитай, с полгода жили, — отвечал Сёма, сам нисколько не удивляясь своей перелетной жизни.

Ближе познакомившись с ним, Михайло перестал восклицать; он убедился, что Сёма везде побывал, даже в таких местах, которые Лунину по имени были неизвестны. Михайло с живейшим любопытством слушал рассказы про неизвестные страны.

Происходило это в последнее время жизни Сёминой, как сам же он рассказывал, очень просто. По Руси ходят тысячи жаждущих работы, разоренных у себя дома и ищущих пищи на стороне. Ходят эти толпы всюду, откуда только пахнет заработком, ходят чутьем, на авось, без географии, по слуху. Пронесется темный слух, что в такой-то стороне хороший урожай, и тысячные толпы двигаются туда, побираясь дорогой именем Христа, но упорно и безостановочно направляясь к сказанной палестине, как пилигримы ходили в Иерусалим. Но в этой стороне часто оказывалась такая же недостача, как и в той, откуда они начали странствие. «Наврали», — говорят им местные обыватели палестины. И толпы проваливают еще на тысячу верст в другую палестину, где, по слухам, заработок есть; проваливают потому только, что им «наврали». «И шагают они в синюю даль...»

Таким же способом и Сёма шагал. Он был преимущественно человек толпы. Только в толпе, в куче, он чувствовал себя спокойно. Когда толпа двигалась, и он двигался, а если толпа

останавливалась, и он останавливался. Он делал, жил, ходил, работал, как люди. Если бы эта ощупью двигающаяся толпа полезла в огонь или в воду, то и Сёма полез бы и не задумался бы сгореть или утонуть. Собственной жизни у него не было. Он только тогда и сознавал, что существует, когда затирался в кучу, с которой у него было одно сердце, одни нервы, одна голова. Ему всецело принадлежало только туловище. И вот когда, по какой-либо несчастной случайности, он лишался сообщества и оставался туловищем без сердца, мозга и нервов, то пропадал пропадом. Он терялся, не зная, как с собой поступать. Поэтому в одиночестве с ним всегда совершались чрезвычайные происшествия. То он в помойную яму упадет, то его посадят по неизвестной ему причине в чижовку, откуда выталкивают также без объяснения причин. Раз он так потерялся, что залез, не зная сам как, в острог. Это вышло страшно нелепо. Он схватил пару калачей у торговки и был пойман. Решительно нельзя сказать, что у него был злой умысел стащить калачи; *он сам не знал, как это случилось*. Дело, однако, было названо «грабежом с насилием», потому что взял калачи он днем, при стечении базарной публики, а когда торговка кинулась отнимать у него свою собственность, он ожесточенно, до последней крайности отбивался. Зачем он все это проделал и было ли у него намерение попасть в острог, как это делают многие, чтобы иметь теплое место и кусок, он тоже не знал и не мог объяснить следователю. Впрочем, просидел он недолго. Следователь, на первом же допросе, после нелепого рассказа Сёмы, задумчиво посмотрел на лицо сидящего перед ним разбойника и отдал приказ выпроводить немедленно его из острога.

Так Сёма и ходил с толпой. Так он попал в Крым, идя за людьми, которые прослышали, что там хорошие заработки, но в Крыму в это время была филоксера, гессенская муха и пр., так что толпа двинулась обратным путем, питаясь по дороге подаянием, а вместе со всеми тем же способом шел и Сёма, не видевший в этом ничего необыкновенного. Что касается Сибири и Кавказа, то Сёма побывал в них в качестве переселенца. Переселялся он два раза. В Сибири (собственно, в Оренбурге) он потерял лошадь, которая сдохла, на Кавказе же потерял троих детей, которые умерли от дизентерии. Вот и все.

Один раз в свободную минуту Михайло подробно расспросил Сёму о виденных им странах, а также о том, как там живется.

— Что-то я запамятовал... был ты в Москве? — спросил Лунин.

— В Москве я бывал, — отвечал Сёма.

— Что же там, как жить?

— В Москве ничего... Там, милый мой, рупь за день получишь. В Москве большие деньги.

Сёма говорил серьезно.

— Отчего же ты там не остался?

— Да так... не вышло дело... беда чистая вышла!

— Какая беда?

— Да так уж... одно слово, неспособно стало...

Сёма готов был замолчать. Дело в том, что именно в Москве он попал в помойную яму, едва не утонув в ней. Он тогда жил там одиноко и, понятно, не любил рассказывать о тогдашней страшной жизни.

— Ну, а в Сибири как? — интересовался Михайло.

— В Сибири, рассказывают, ладно; хлеб, слышь, там нипочем, сколько хочешь, девать некуда; очень хорошо!

— Да ты сам в Сибири-то был?

— Мы до Сибири не доехали, с Оленбурха вернулись...

— Зачем же вернулись? — удивился Михайло.

— Кто его знает... видишь ли, как оно вышло. Приезжаем мы в Оленбург — сейчас начальство. Спрашивает: «Есть документ у вас, ребята?» — «Документ у нас вот». Например, подаем. «Это, говорит, не тот документ». Ну, а мы почем знаем, тот или не тот! «А куда вы идете?» — говорит начальство. «Идем мы, говорим, на новые места». — «Дураки вы глупые, ведь новых мест мало ли, так в которое же вы идете, в какую губернию?» — спрашивает. А мы не знаем, в какую губернию... Вот оно дело какое! Стояли, стояли мы у города, хлопотали, хлопотали — все ничего; решения нам нету. В ту пору пала у меня лошадь, и у других ребят лошади стали падать. Чума, вишь, ходила в городе. Думали, думали мы, да и поперли назад.

— Дураки вы и вышли! как же можно без документа и не знамши куда? Сами виноваты! — сердито заметил Михайло.

— Это верно. Ну, да и начальство строго... Быть бы нам теперь на новых местах, ан оно вот... — возразил Сёма задумчиво.

Действительно, нельзя разобрать, кто причина здесь. Верно то, что «переселенцы», с Сёмой включительно, не имели всех бумаг от своей волости и деревни и за то поплатились.

— На Кавказе-то, кажется, тоже был ты? — спросил Михайло снова.

— Как же, были. С полгода, чай, мы там существовали.

— Что же хорошего там?

— На Кавказе? На Кавказе очень хорошо, — без запинки ответил Сёма.

— Так что же ты там не жил? — уж со злобой сказал Михайло. — Доехали ли хоть до места-то?

— Чуть-чуть не доехали. А потому, милый, не доехали, что хворь на нас напала.

— Как хворь?

— Да так, хворь. Предсмертно нам было...

Сёма начал волноваться.

— Я думаю, можно бы обождать. Хворь прошла бы, — с недоумением возразил Михайло.

— Нельзя! Невозможно! Мерли! — взволнованно произнес Сёма.

— Какая же причина? — спросил Михайло, также волнуясь.

— Бог его знает... Я думаю, все дело пошло от фрухты, не от чего больше. Оно видишь ли как... Стояли мы станом. Ждали всё, покуда нас отведут на новые места. Пищи всякой в Кавказе вволю. Скота, хлеба, особливо фрухты страсть сколько! Так вот оно из-за фрухты этой и вышел нам капут. Фрухта дешевая. Бывало, на две копейки полон подол насыпают. Ну, мы и навались. Сейчас у нас резь в животе, понос! Известно, люди тощие были, так брюхо-то и не берет. Стали у нас малые ребята помирать; которые и мужики попадали. Глядели, глядели мы, и страх взял нас. Вышло тут несогласие, раздор: одни желали назад, другие в городе советовали перемешкать, а третьи тянули на новые места. У меня в ту пору все трое ребят скончались. Да что ребята! сам я через великую силу отдох. А как отдох — господи благослови, взял жену, да и давай бог ноги!.. Ну его с Кавказом...

Михайло слушал эту чудесную эпопею с нескрываемым изумлением. В самом деле, куда бы только ни показывался Сёма, всюду его подкарауливала беда. А места хорошие. Везде оказывалось ладно, очень хорошо! Между тем на всяком месте Сёму, лишь только он показывал туда нос, немедленно окружали мор, чума, смерть и другие трагические элементы, столь же разнообразные, сколько было мест, куда он попадал. Самые блага обращались для него в бич. Где же ему могло быть хорошо?

— Здесь-то тоже маешься? — сочувственно спросил Михайло.

— Нет, зачем маяться? В этом месте у меня легкая жизнь. Жена здесь же в городе промышляет насчет мытья полов и прочего такого... Мне легко — без куска не остаюсь.

Сёма говорил резонно, с убеждением.

— По пятнадцати копеек в день?

— По пятнадцати. Бывает больше и меньше, разное случается.

— И доволен ты?

— Чего же мне еще, какого рожна? Сыт, обут, одет — и слава богу. Я живу легко.

Михайло видел, что Сёма говорит от глубины души: ему, очевидно, было легко. Стоило взглянуть на него, когда ночью он свертывался в клубок и, зарывшись в солому, спал блаженным сном и улыбался во сне или когда он работал, словно играя в кирпичики, чтобы убедиться, что на душе этого пожилого ребенка поистине было светло и радостно. Сёма был один из тех «малых», которых сам Христос велел не обижать; и жаль, что вся его чудесная жизнь прошла в обидах.

Михайло во все время этого знакомства относился к Сёме

мягко. Жесткие слова просто застывали на его губах в сношениях с Сёмой; но последний, помимо воли, возбудил в душе молодого Лунина страшную тревогу. Неужели и ему предстоит такое же жалкое, собачье существование и он, может быть, также кончит легкою жизнью со дня на день, жизнью, оцениваемой копейками? Нет, не затем он ушел из Ямы! Уж и там копейки вызывали в нем озлобление; а здесь, в городе, каждодневно по вечерам получая по пятнадцати копеек, он с остервенением засовывал их в карман, и по лицу его блуждала презрительная улыбка.

Михайло решил, что Сема потому всю жизнь испытывал неудачи, что «сам дурак». С этой мыслью он задумал как можно скорее бросить мелкую работу, которая после знакомства с Сёмой стала ему особенно ненавистна. Но с этого времени Михайло уже не переставал тревожиться. Вера его в себя значительно поубавилась. Сёма и пятиалтынные совершили в нем переворот. Он стал замечать, что не один Сёма вел собачью жизнь. Бедность была кругом. Даже пятиалтынных не на всех хватало. Большая часть его товарищей были круглые голяки, колотившиеся бог знает как, и все они — из деревень. Правда, он питал к ним презрение, но жизнь их глубоко смущала его. От этого в нем явилось какое-то судорожное желание вырваться из среды лохмотников какими бы то ни было средствами и во что бы то ни стало.

Проснулся раз Сёма поутру и, не успев хорошенько оглядеться, хотел разбудить своего товарища, как это он делал каждый день, но руки его встретили пространство. Тогда только он заметил, что соломенная постель Михайлы давно простыла. Скучно ему стало. Весь этот день он провел молчаливо и не разговаривал даже с кирпичами. Он как будто что-то потерял. Что был для него Михайло? Он привязался к нему, как привязывался ко всем, с которыми случайно сталкивался, он не мог жить без привязанности, но, находя товарища, он сейчас же и терял его. И никогда в руках у него не осталось чего-нибудь прочного. Дом был — пропал, дети были — померли. По-видимому, сама судьба предназначила ему бездомную жизнь. Точно так же и конец его придет: пропадет где-нибудь под забором или помрет по дороге на «новые места», или в ночлежном приюте. Заплатив две копейки, ляжет икнет — и исчезнет.

Тем временем Михайло снова слонялся по городу и искал счастья. Но под руки ему ничего не попадалось. От этого он еще злее стал. Пятнадцати копеек в день он лишился, но вместо их ровно ничего не мог найти. День он слонялся, посматривая на встречающихся людей исподлобья, а ночь проводил в ночлежном доме, где ели насекомые. Крайность опять вынудила его обратиться к артели. Он немного плотничал, а потому обошел всех плотников, встреченных им в городе. Все отказывали. Только одна артель согласилась взять его в свою среду, но поставлен-

ные ею условия показались ему чрезвычайно суровыми. Плотники согласились его кормить в продолжение года, который он должен был честно употребить на выучку ремесла; денег ему за это время не должно идти ни копейки.

— Главное, старайся. Доходи до всего. Не жалей себя, — говорили ему поочередно плотники, обсуждая его прием.

— Что есть мочи старайся, тогда науку нашу узнаешь... Ты что волком глядишь?

— Буду стараться как можно... — отвечал Михайло, едва сдерживаясь, чтобы не сказать какой-нибудь грубости.

— И не лайся. Будешь лаяться — прогоним, — сказал один из плотников, как бы предугадывая характер молодого парня.— Живи в послушании. Мы тебя будем учить науке, а ты слушай ушами. Иной раз и по загорбку ненароком ткнешь, всяко бывает! — а ты не лайся. Оно эдак в течение времени тебе лучше.

Михайло вздохнул и молча согласился с условиями, но в душе решил, что загорбкам не бывать. Он не из тех, кому дают по загорбку. Что касается паспорта, отсутствие которого уже сильно отзывалось на нем, то плотники сказали, что это ничего. Впрочем, сам Михайло был уверен, что скоро он получит из деревни паспорт, да, может быть, он и теперь уже пришел на имя одного земляка, живущего в городе, да только отыскать последнего ему недосуг было. Михайло уныло понурил голову, сознавая, что он, соглашаясь на тяжкие условия, надевает на себя недоуздок и спутывает себя по рукам и ногам.

Действительно, скоро все его стало возмущать в этом новом положении. Сперва церемониал жизни плотников смешил его. Никто не смел делать того, чего не делали другие, и наоборот: за что принимались все, обязан был делать и каждый. Утром один начнет умываться, и все остальные враз умываются. Когда вслед за тем один брался за топор, чтобы работать, и предварительно плевал на ладонь, то и все хватали топоры, плюнув на руку.

Михайле это надоело. Другое нечто еще более было противно ему. Плотники действительно не жалели себя в работе, как учили и его. Жизнь их была в работе, монотонной, тяжелой и маловыгодной, и ради этой работы они жертвовали собой, вкладывая в свое ремесло все помыслы и силы, так что ремесло сделалось их жизненной целью. Для Михайлы это было не по нутру, против шерсти. Для него нужна была выгода. Он не видел ни малейшего смысла в тесанье изо дня в день, в смешных церемониях и во всей скучной жизни плотников.

Работа артели никогда не прекращалась. Как узнал Михайло, плотники никогда не оставались без дела. Поэтому доля каждого была заранее известна. Она была не велика. Этой суммы каждому хватало на хлеб и на прочие неминуемые потребности, и никто не рассчитывал на что-нибудь необыкновенное. Корми-

лись — больше ничего. И это продолжалось изо дня в день, каждый год, всю жизнь. Вот что раздражало Михайлу.

Ему предстояло веки вечные работать из-за хлеба, но когда он сообразил, что и до этой цели ему совершенно даром придется жить, то его совсем взорвало. В нем снова проснулась жадность, энергия и необыкновенные планы.

Никому не сказав, без слова прощания, он удрал однажды ночью из артели. Прожил в ней он не более месяца.

Но энергия его была особенная. Он желал сразу нажиться. Это «сразу» было сокровеннейшею его чертою, как и всего его деревенского поколения. Беспорядочное время наделило его беспорядочными порывами. Он стремился не то что завоевать счастье, а, так сказать, схапать. Он мог для этого выказать сразу непомерную энергию, хотя бы под условием пасть от истощения, но чтобы только добиться немедленно желаемого. На медленный, хотя и верный труд он не был способен. Беспорядочная жизнь, начавшаяся еще в Яме, стала единственно понятной для него. Исковерканные, разорванные еще деревней нервы его работали порывисто и дико, как клавиши поломанного инструмента.

Опять после ухода от плотников он стал без дела шататься по городу. Подвертывались кое-какие работишки. В одном доме ему поручили дрова переколоть, в другом месте он чистил двор, иногда нанимался поденщиком по переделке уличной мостовой. Этим он пока пробавлялся, проводя где день, где ночь, и питался то хлебом, то требухой, взятой из «обжорного ряда». Это жалкое скитание, конечно, не удовлетворяло его, но и не надоело, потому что он распоряжался собой, как хотел.

А между тем в голове его развивались разные необыкновенные планы, где все делалось «сразу». Эти планы были, несомненно, дутые. Вдруг его осеняла мысль, что он может на улице найти деньги. Это было бы хорошо. С этой мыслью, шагая по улице, он сосредоточенно смотрел под ноги, ежеминутно ожидая, что вот он сейчас заприметит толстый бумажник. Он составлял план, как ему в этом разе поступить. Поднять, но как? Главное, не показать виду. Надо незаметно нагнуться — и в карман. Потом продолжать путь как ни в чем не бывало.

Иногда мысли его были совсем недействительные, какие-то смутные, как сон, приснившийся ночью, но забытый утром. Что-то видел, а что — хоть убей, ничего не припомнишь. Михайле казалось, что с ним случится что-то неожиданное, моментально привалит какое-то огромное счастье. Что именно случится и что привалит — он не мог дать себе отчета, но все-таки беспрестанно ожидал. Не раз ему приходилось вспомнить о паспорте, в особенности когда на него смотрели подозрительно, но он как-то все откладывал это дело. Наконец в свободную минуту он решил сходить к тому земляку, на имя которого отец обещал выслать вид.

Надо было исходить весь город, чтобы отыскать след земляка, потому что Михайло не знал точно — ни где он живет, ни чем занимается. Известно ему только было, что Васька Луков, как звали почтенного уроженца Ямы, где-то «состоит при скоте». Таким образом, он обошел все скотопригонные дворы, пока не наткнулся лицом к лицу на самого искомого человека. Михайло потому так долго избегал встречи с Васькой Луковым, что, во-первых, последний был из Ямы, во-вторых, сам по себе он внушал Лунину презрительнейшие чувства, как горький человек во всех отношениях. Несчастнее его и в Яме, кажется, не было. Михайло помнил его таким трепаным мужичонком, который даже жалости к себе ни в ком не возбуждал: до такой степени он не умел обороняться.

Но теперь, лицом к лицу столкнувшись с ним, он наивно ахнул, словно перед его глазами совершилось чудо. Против него стоял здоровый мужчина, очень тонко одетый. На голове кожаная фуражка; на ногах большие и светлые сапоги; пальто; шелковая с крапинками жилетка; красная рубашка. Лицо было умыто, руки чистые. Он выглядел подрядчиком или одним из тех недавно расплодившихся людей, которые не занимаются никаким ремеслом, а командуют. Михайло совсем спутался, позабыл, зачем пришел, и не знал, что сказать такому блистательному человеку. Луков ослепил его, как солнце.

— При скоте состоишь? — только и мог вымолвить на первых порах Михайло.

— Надзирателем у гуртовщиков! — важно возразил Луков.

Михайло кое-как пролепетал о паспорте. Оказалось, что паспорт давно пришел и лежал без всякого употребления у Лукова в доме, отведенном ему хозяевами; туда он и повел Михайлу. Михайло взял паспорт, письмо и пошел прочь, забыв проститься с великолепным земляком. Он был смущен, а брошенный взгляд на свои лохмотья вызвал в нем такую досаду, что ему и свет сделался не мил.

— Ты что же бежишь? Заходи, как случится... тоже ведь земляк... — сказал ему вдогонку Луков.

— Зайду... — пробурчал Михайло.

— На разживу пришел?

— Н-да, — нехотя ответил Михайло.

— Напал на место?

Михайло от этого вопроса готов был сгореть со стыда, но ответил правду.

— Забегай проведать! — еще раз закричал Луков вдогонку Михайле, который почти бежал, чтобы скрыть свои лохмотья от взоров земляка.

Внутри его поднялось какое-то рычанье. Вид Лукова напомнил ему его нищенство и неуменье на что-нибудь напасть. Он

даже думал: вот даже Васька успел достигнуть, а я еще не достиг. Потом на некоторое время забыв себя, он стал припоминать виденное явление и представлял себе до мельчайших подробностей наружность и слова настоящего и жизнь прошедшего Васьки, каким он был в Яме. Очевидно, Васька теперешний живет сыто, в довольстве и уважении. Тогда в Яме он был худой, а нынче вон как поправился. В Яме у него была противная привычка быстро моргать глазами, а нынче он смотрит прямо. Видно, его больше уже не колотят. Лукова в деревне не то что колотили, а обижали. Раз его обобрал кабатчик дочиста, до штанов включительно, да его же обвинил в воровстве какой-то пустой вещи, вроде седелки или кнута, и когда Луков обратился с жалобой в волость, его же и отстегали там. Стегали его по просьбе схода, стегали по настоянию местного попа и стегали из-за жены. Кто только попросит его отстегать — его и отстегают. Ничего преступного он не делал, а все как будто сговорились его наказывать. Батюшка потребовал наказать его за то, что будто он, Луков, при его проходе дерзко заржал. Несмотря на видимую натяжку в этом обвинении, Лукова наказали. Сход наказал его в другой раз за «неуважение», хотя другие на чем свет ругали всю деревню, и никому в голову не приходило наказывать их. Что касается жены, то уже никто по-настоящему не должен бы слушать ее, потому что, жалуясь на буйство мужа, она нисколько не уступала ему в драках, которые завязывались между ними. Раз после такого семейного несчастья Василий пришел в волостной суд жаловаться на жену, которая положительно проломила ему голову скалкой, но суд почему-то послушал не его, а явившуюся к допросу жену и постегал его.

Бывают же такие несчастливцы! Все как будто наперерыв обижают такого человека, пользуясь его неумелостью платить око за око, и все считают его виноватым. Что ни случится, вспоминают прежде всего этого человека. «Он! кому же больше, беспременно его рук дело!!» — говорят, прячась за спину одного козла отпущения. От этого в обществе развивается фальшь, сливание всех своих язв на одного жалкого и ничтожнейшего своего члена, которого и выпирают повсюду.

Так случилось и с Луковым. Прежде всего жена его совсем-таки выперла из дому. Кое-какой домишко был же у него заведен, но она оттерла его от всего. А чуть он возмущался, она грозила жалобой в суд. Деревня также его выперла, при дележе общественного достояния — лугов, пашни, вина — Василию Лукову выпадал на долю какой-нибудь обглоданный кусок, который ему не давали, а бросали, как бросают дворняге кость. Между тем не проходило недели, чтобы на него не взвалили какого-нибудь тяжкого обвинения: украл лошадь, увез сено из поля, грозил подпалить деревню. Все предполагали в нем неиссякаемый ис-

точник злобы. Выпертый, таким образом, из семьи и из деревни, Луков очутился даже не на улице, а прямо в поле. Поэтому он счел нужным убраться совсем из Ямы, где ему не оказалось места. Однажды, вытащив у жены из сундука коекакое имущество, он заложил его в кабак и с полученными от этой операции деньгами отправился искать счастья.

В городе ему посчастливилось. Это вышло случайно. Таким людям в смутное, беспорядочное время достается подачка очень часто. Когда все хапают, и такому что-нибудь удается зацепить, именно потому, что процесс жизни выходит из границ логики. Самый последний паршивец в такие времена может выглядеть орлом. С Луковым это и произошло в городе. Лишенный от природы способности разбирать, что следует и чего не следует, он быстро разжился, конечно сравнительно с прежним. Природное его ничтожество оказалось его великим счастьем. Скототорговец один взял его затем сперва, чтобы он утаивал от полиции пригоняемый чумной скот, а потом сделал его надсмотрщиком над скотным двором, где и застал его Михайло. Сам Луков, себе предоставленный, был никуда не годен, а употребляемый другими, вышел хорош.

Михайло стал похаживать к нему, уже не скрывая своего удивления к такому чудесному обогащению: ему завидно было.

— Поправился ты ничего... — сказал однажды Михайло, когда сидел у Лукова, угощавшего его пивом.

— Что еще это за поправка! По моему желанию, разве это поправка? — возразил Луков.

— Чего же тебе еще? Деньги водятся ведь?

— Деньги у меня есть; да мало по моему желанию... Мне и тыщи мало!

— Куда тебе! Что ты?

— Это верно, что некуда, а так... Всякому больше хочется.

Луков, говоря это, самодовольно улыбался. Глупейшее хвастовство всего более нравилось ему.

— Жадный какой ты! — изумленно прошептал Лунин.

— Совсем даже напротив, жадности во мне ничего нет. Ты спроси хоть кого: куда Василий Василич Луков девает деньги? Пущает на ветер — вот что тебе скажут. Мне пятьдесят, шестьдесят упаковать — что? Ничего! Попадут в руки, я их пущу. Оно и лестно. Я люблю, чтобы весело. А деньги мне идут легко.

— Деньги-то? — удивился Михайло.

— А то чего же? Пятьдесят, сто целковых мне нипочем. Я тыщами желаю ворочать. Тогда можно и назад в деревню.

— А можешь тыщу нажить? — с дрожью в голосе спросил Михайло.

— Отчего же, можно. Только теперь не хочу я путаться... ну их! — загадочно ответил Луков.

— А в деревню-то зачем тогда?

— В деревне лучше. В деревне промежду бедноты, да ежели с капиталом, очень свободно. Большую силу в деревне можно получить, ежели с тыщами.

Михайло это пропустил мимо ушей. Его, главным образом, поразила уверенность Лукова брать, сколько угодно, в карман денег. Тайно Михайло этого человека презирал. Несмотря на внешнюю поправку, Луков остался в существе таким же, каким был прежде, — сонливым и тупым. Легкомыслие, совершенно дурацкое, было у него безгранично. Как прежде он безропотно покорялся всяким обидам, так теперь верил, что он все может. Но Михайло видел внешность, факт, что относительно денег Луков не врет, и удивлялся, разжигая свою жадность.

— Как же ты можешь получить столько капиталу? — спросил он.

— Разно. Вот и теперь деньги сами лезут в руки, а я не желаю... — сказал Луков.

— Сами лезут?

— Только бери! Сделай милость!

— Вот мне бы... — начал было Михайло, но Луков его перебил.

— Есть тут человек один, то есть мясник, так он предлагает.

— Капитал? — спросил, задыхаясь, Михайло.

— Большие деньги, — а я не желаю.

Луков выразил на своем лице тупое удовольствие.

— Ты хоть бы мне предоставил. Видишь, без места я хожу, — сказал взволнованно Михайло.

— Надо подумать. Это можно. Самому мне не хочется путаться, а тебе... ничего. Дело выгодное. Я получу, и тебе с сотню перепадет, я так смекаю.

— С сотню!

— А то из-за чего бы и мараться! — самодовольно заметил Луков.

Это свидание решило участь Михайлы. К этому дню он уже совсем обносился и отчаялся. Даже в ночлежном доме ему нечем было платить. За «выгодное дельце» он ухватился всеми силами. Луков назначил день, когда ему прийти, и он с нетерпением ждал его, весь проникшись неизвестным ему предприятием. Перед его глазами мелькала «сотня», ни о чем другом он не рассуждал.

В каком-то тумане он провел тот замечательный день, когда устроилось дело. Он не рассуждал. Он ничего не понимал, что вокруг него творится, и вообще смутно потом припоминал совершившееся мошенничество... Луков свел его к какому-то действительно мяснику. Это был жирный человек, с лицом, похожим на говядину, и с взглядом откормленного вола. Когда они пого-

ворили о разных пустяках, дело зашло о скоте. Содержатель мясной лавки просил у Лукова сто голов скота предоставить ему, но Луков заломил слишком большую цену. Торговались. При этом Луков постоянно указывал на Михайлу, как на ловкого малого, который сколько угодно предоставит... Как впоследствии понял Михайло, Луков этим способом хотел выгородить себя, свалив все на него, но эта хитрость была так же глупа, как и все, что Луков делал. Но в этот день Михайло рад был, что и он участвует. Какой скот, откуда — он этого не понимал, предполагая, что Луков все хорошо знает. Словно в тумане, он согласился удовлетворить мясника, который поставил ему следующие условия: он должен доставлять в лавку скот и получать по пятнадцати рублей за штуку. После этого мясник долго отсчитывал задаток, выговоренный Луковым, но, сосчитав деньги, выдал их Михайле. Денег было пятьсот рублей. Все были взволнованы, в особенности Михайло.

— Смотри, ребята, чтобы верно было... — сказал мясник.

Вскоре после этого Михайло и Луков оставили лавочку. Луков взял от Михайлы четыреста рублей, а ему оставил сотню. Все это произошло так просто, как будто в волшебной сказке: получили и пошли. Даже и Михайлу это смутило.

— Да откуда же я возьму скота? — воскликнул он дорогой.

— А ты свое получил? — спросил Луков с дурацкой улыбкой.

— Получил...

— Положил в карман?

— Положил...

— Чего же тебе еще! А что касаемое скота, так представлю я тебе голов пять, отведешь их, пока будет с него.

Этим объяснение кончилось. Луков поспешил оставить Михайлу, который сперва не знал, как ему держаться.

Прошло с неделю. Туман вокруг головы Михайлы сделался еще гуще. За это время он сходил к Лукову, который поручил ему представить пять штук рогатого скота к Ивану Мартынову. Михайло представил; он понимал при этом, что дело неладно, но не мог сообразить, в чем суть?

— Что мало? — спросил у него Мартынов.

— Не было больше, — отвечал Михайло наобум.

— Когда же еще доставишь? Ты, брат, свое дело веди аккуратней, чтобы без товару я не оставался... Где хочешь бери, а мне предоставляй...

— Буду стараться, — возразил Михайло, не понимая своих слов.

За объяснением он опять обратился к Лукову на скотный двор. Но Луков уже сделался сам собой: выглядел сонливым, легкомысленным дураком. На вопрос Михайлы, когда ему еще прийти за новым скотом для Мартынова, он отвечал: «Да чего ты

пристал! Плюнь ты на него... Сам придет, коли нужно будет. Ну его!»

— Как бы чего за это не было... — задумчиво проговорил Михайло.

— Не смеет! Какой шут ему велел путаться в эдакое дело? Сам пеняй на себя... Мое дело теперь сторона, не беспокой ты больше меня.

Михайло ушел, успокоившись, вернее совершенно забыв о скоте, о Мартынове, обо всем этом темном деле. Он несколько дней наслаждался ощущением внезапного богатства. Первым делом он завел себе одежду. Но потом не знал, что дальше делать с деньгами. Нанял квартиру, заплатил вперед хозяину деньги, но все-таки денег осталось много. Он побывал на радостях в нескольких развеселых заведениях и готов был, кажется, совсем развеселиться... Но его тут арестовали. Мартынов «посмел». Пришел городовой и приказал Михайле идти в участок. Напрасно он кричал: «За что, это не я, а Луков», городовой был неумолим и тащил его в участок. В участке его назвали мошенником, упомянув о выманенных им совокупно с Луковым деньгах у Ивана Мартынова под предлогом продажи рогатого скота. Михайло обомлел, сразу все сообразив. Он не отрицал ничего, совершенно отдавшись на волю судьбы.

Через день он уже был в тюрьме. Следствие тянулось несколько месяцев. Михайло вел себя глупо. Он то старался выпутаться и врал, то упадал духом и молчал. Впрочем, следователь не слишком приставал к нему, мало интересуясь деревенским парнем из какой-то Ямы, потому что в конце следствия дело раздулось в скандальнейший процесс. Неизвестный деревенский парень из неизвестной Ямы сделался предлогом к открытию множества дел, так что сам он, вместе с Луковым, совершенно потерялся, никем не замеченный.

Когда начался суд, то перед глазами публики прошло тысячное повторение одного и того же позорного зрелища... Обвиняемых было только двое: Михайло и Луков. Жаловался на них, как потерпевшая сторона, только один человек — Иван Мартынов. Обвиняли их в том, что, преднамеренно сговорившись между собой, они отправились к Ивану Мартынову, торговавшему мясом, и условились с сим последним о доставке в его мясную лавку разновременно ста штук рогатого скота по пятнадцати рублей за голову, но когда Мартынов выдал задаток в количестве пятисот рублей, то они скрылись, доставив ему лишь пять голов, причем по исследовании оказалось, что доставленный скот был заражен чумою. Вот и все дело. Никто бы и не подумал им интересоваться в этом простом виде, но поражало то обстоятельство, что все эти три лица обнаруживали необычайное легкомыслие, очевидно ослепленные возможностью скорой наживы и,

по-видимому, совершенно лишенные способности рассуждать о последствиях. Михайло без всякого рассуждения положил в карман «сотню»; Луков с таким же легкомыслием, не скрыв даже следов, положил в карман «четыреста», а мясник Мартынов с еще большим бессмыслием выпустил из кармана «пятьсот», одураченный представлением голов скота, который он воображал получить даром. Первые двое ни минуты не задумались над мыслию об остроге, последний не сомневался в обогащении. У всех троих, очевидно, было одно неудержимое слепое побуждение — «взять», «получить». Эта черта оказалась у них общая с остальными действующими лицами процесса, явившимися в качестве свидетелей или совершенно посторонних.

В этих «свидетелях» и заключался весь скандальный интерес. Публика с изумлением видела, что ничтожное дело о мошенничестве расплывается вширь, захватывая, по-видимому, совершенно непричастных делу лиц. На место ничтожных Михайлы Лунина и Василья Лукова постепенно появлялись городские мясники, какие-то четыре купца, три ветеринара, полиция. Так накопилось много дряни в обществе, что достаточно было ничтожного случая, чтобы она потекла... Обыкновенно во всех новейших делах этого рода всего больше одно удивляет: не знаешь, кто жаднее и подлее — обвиняемые или свидетели. На суде выяснилось, что все промышленники скотом сбывают чумной скот в лавки. Это разболтал Луков, разболтал откровенно, с обычной сонливостью и тупоумием. Началось с того, что его спросили, зачем он доставил Мартынову полудохлый скот? Он отвечал: «У Мартынова завсегда мясо дохлое». — «А у других мясников?» — спросили его. «И у других», — отвечал он. Потом он с длиннейшими подробностями рассказал обо всех мясниках в городе. Вышло гадко ужасно. «А что же скототорговцы смотрят?» — спросили Лукова. «И скототорговцы своей пользы не упущают». Снова подробности. Дело коснулось ветеринаров. «Что же смотрят ветеринары?» — спросили Лукова. «Их благодарят...» — отвечал он и развил эту мысль. «А полиция?» — «В этом разе с полицией жить хорошо», — сказал Луков и распространился подробно, причем перед глазами публики моментально прошло несколько невероятно наглых лиц.

Граница между обвиняемыми и свидетелями окончательно терялась. Их связывало кровное родство. Разница была лишь в положении: одни попались, а другие нет. Но как обвиняемые, так и свидетели одинаково изумляли тупой, безрасчетной жадностью, не рассуждающею дальше настоящей минуты. Если бы суд захотел, перед глазами публики прошла бы еще масса хищного народа, и все они были бы связаны родством. У всех отпала охота правильно работать, правильно жить и наживаться; даже взяточников нет больше. Взятка была вроде как бы постоянного

налога, между тем нынешние обвиняемые и свидетели делают дела «сразу», думая только о текущей минуте. Все они как будто живут временною жизнью, среди временной стоянки, причем всякий как будто рассуждает, подобно Лукову: «Свое получил?»— «Получил!» — «Положил в карман?» — «Положил!» — «Больше чего же тебе?»

Из-за этого ряда свидетелей подсудимых Лукова и Михайлы не было видно. Никто не интересовался, чем кончится их дело. Луков показался всем жалким, что и было верно, ибо он снова сделался тем же несчастливцем, которого выперли из деревни. Когда процесс приблизился к концу, он съежился, как пойманная кошка, а когда присяжным вручили вопросы, он заплакал, как-то по-бабьи всхлипывая.

Совершенно иначе держался Михайло. Во все время суда он сидел с широко раскрытыми глазами, как человек, который ничего не понимает. Он не болтал, подобно Лукову, и не плакал. На него, кажется, просто напало бесчувствие. В душе его зияла положительная пустота. Когда его спросили, зачем он присвоил деньги Мартынова, то он отвечал:

— Денег у меня не было.

— Но разве ты не знал, что чужие деньги берешь?

Молчание.

— Зачем ты ушел из деревни?

— Ничего у меня не было там...

— А зачем в город пришел?

— Чтобы денег получить.

Деньги — с начала до конца.

На предложение сказать что-нибудь в свое оправдание он повторил, что «ничего не имеет в своей жизни, оттого и получил с Мартынова...»

И замолчал.

Лукова осудили, но Михайло был оправдан. Присяжные сжалились над ним. Их поразили его слова, что «он ничего не имеет в своей жизни». Они увидали перед собою голого человека. Но Михайло был гол и внутри. Правда, совесть, руководящие чувства и мысли, ничего он не взял из деревни, где живут же чем-нибудь люди... У него вместо всего были деньги. В них заключалось для него все — цель, причина, побуждение жить. Для того он и пришел в город.

Это чувство жизненной пустоты владело им во все время процесса; оно же нахлынуло на него и тогда, когда после суда его выпустили из тюрьмы на улицу. Он остановился посреди городской улицы и пощупал свой карман. В нем, разумеется, не было ни гроша. Осязательно убедившись в том, он сразу упал духом, потому что на самом деле вместо души у него висел карман, и этот карман теперь был пуст.



РАБ

Каждый раз в известное время из деревень идет в большие города народ с целью получить денег как можно больше. Одни идут на заводы, другие — в трактиры, третьи — в чернорабочие, кто куда успеет. Половина этого народа, однако, всегда пропадает зря. Никто из них, идя в город за деньгами, не знает, каким образом он возьмет их; знает только, что взять непременно надо, не столько для себя, сколько для той самой деревни, откуда он вышел и где у отца одного вот-вот уж корову хотят отнять, уж ухватились за рога и за хвост, тянут в разные стороны за долги, надо спасать, и для этого надо взять в городе денег, иначе корова пропадет; у другого дома остался брат, и этому брату плохо; если не взять денег, то брата поминай как звали! У третьего, у четвертого, у пятого и у всех вообще идущих в город осталась в деревне какая-нибудь пропасть, которую надо пополнить деньгами. Наконец, и сами эти идущие в город так наголодались, что нет больше сил терпеть... И вот где пропадает много народа! Все мысли его так сосредоточены на получке во что бы то ни стало денег, что он не разбирает уже способов; оттого и в острог попадают, сидят там, судятся, возбуждая недоумение и в судьях и в публике. Из разбиратель-

ства дела по большей части оказывается, что никакой злой воли вот в этом лохматом парне нет и не было, когда он учинил мошенничество или кражу, или другое какое незаконное деяние; у него, напротив, было самое мирное намерение: купить что следует, а оставшиеся деньги послать в деревню для спасения отца, брата, деда. А мошенничество он совершил потому, собственно, что, кроме этого намерения, у него никаких побочных соображений во время мошеннической получки денег не было.

Приблизительно такое же приключение испытал Михайло Лунин. Пришел он в город за деньгами. Но деньги зря не валяются. Наконец он наткнулся на предприятие, обещавшее большую получку денег, и, ни о чем не думая, выполнил его... А после этого попал в острог и сидел там. Потом судился, но на суде обнаружил полную свою душевную наготу, был понят, оправдан и пущен на волю... Все это произошло с ним так, как с тысячами других деревенских юношей. Но только дальнейшая судьба его была не похожа на судьбу других. Те, другие, погибали, а он продолжал расти; острог, где он сидел, не развратил его, а только ужаснул и перевернул все его мысли. От всех, кто потом знал его и любил, он долго скрывал эту мрачную тайну своей жизни; и долго ужас и стыд нападали на него, лишь только ему приходил на память этот темный эпизод его жизни.

Такой же ужас овладел им и тотчас после того, как он, очутившись на улице, среди толпы людей, изумленно оглядывался по сторонам, не решаясь сделать шагу от здания суда. Неведомый раньше его дикой натуре страх всецело завладел им. Он стоял, прижавшись к стене, и испуганно смотрел на проходящих. Ему казалось, что некоторые из них презрительно оглядывали его, а на их устах, казалось ему, было написано: мошенник! Он упал духом. Неужели он — мошенник и таким останется навсегда?

Но все-таки через некоторое время он пошел, сам не зная куда. У него ничего определенного не было в виду, кроме какого-то смутного желания вырваться откуда-то... Нет ощущения более странного, нежели эта внутренняя пустота, в особенности когда она поселяется в здоровом, молодом теле; Михайло чувствовал, что тело его хочет распасться, развалиться на куски, лишенные внутреннего содержания и поддержки; оно казалось ему страшно тяжелым, и он с усилием тащил его вдоль улиц.

Но все-таки он шел, тихо, тяжело и без цели. Так он прошел площадь, множество улиц, весь город, вышел за пределы его и сел на берегу реки, не зная сам, зачем он это сделал. Он смотрел на воду, на противоположный берег реки, на баржи, на пароход, который тянул их, на людей, видневшихся из-за бортов судна, но едва ли видел все это. Его внутреннее состояние можно бы выразить так:

— Господи! да что мне нужно?

Ибо он действительно не знал, что надо ему. Из деревни он убежал затем, чтобы нажить много денег, по крайней мере сам думал, что за этим... Теперь же он не понимал, зачем ему деньги? Деньги? но за них, пожалуй, влопаешься в какую-нибудь подлость. Хлеб? но хлеба везде можно достать. Что же надо ему, деревенскому юноше, рабочему человеку, одаренному какой-то необычайной жаждой борьбы с чем-то, гонимому какой-то силой, нигде не дававшей ему покоя? И вот все существо Михайлы проникнуто было вопросом: чего же ему надо? Он для чего-то убежал из деревни, ищет что-то, ловит какую-то вещь — и сам не знает, что это такое?.. Но только не деньги.

Городской шум не доходил до него; город был скрыт от его глаз, только на небе стоял дым с пылью, обозначавший место, где он раскинулся. Место было пустынное, песчаный берег реки, песчаные бугры далеко по всему берегу, кирпичные сараи, едва поднимавшиеся над землею, — вот все, что окружало Михайлу. Справа от него спускалась вниз к реке дорога, проторенная лошадьми, ходившими на водопой, и водовозами; но и на этой дороге долгое время никто не показывался. Михайле стало жутко. Одиночество смутило его наконец. А прежде он жаждал везде быть один, и все люди были для него чужими, подозрительными!.. В эту минуту он рад был бы всякому существу.



Существо это, к радости Михайлы, показалось в образе водовоза, сидевшего на бочке. Так как водовоз весь был вымазан глиной, вплоть до ушей, то Михайло заключил из этого, что он работает на кирпичных сараях, что сейчас же подтвердилось. Водовоз между тем заехал в воду, слез с бочки, сел на песок и неторопливо стал вертеть из газеты сигарку, после чего закурил ее и стал плевать в воду, наблюдая, куда течение уносит его слюни. Михайлу он заметил, но, занятый своим делом, долго не поворачивал к нему головы.

Наконец, выкурив сигарку до корня и не вставая с места, он спросил юношу ленивейшим тоном:

— Без работы, должно, находишься?

— А ты почем знаешь? — возразил Михайло угрюмо.

— Да уж видно гуся сразу... небось из деревни?

— Из деревни. А что?

— Да так... Знаю сам — денег нет, жрать нечего, отец с матерью да с ребятами воют, ну и побежал в город за счастьем. А между прочим, в городе-то сразу счастья не дают, особливо который ежели не понимает, где его искать... Знаю все! Я сам, брат, из деревни. Только уж я давно. Сначала уходил в город по зимам, а на лето домой — убираться. Бегал, бегал я так из деревни в город, из города в деревню и порешил, потому зря только ноги обиваешь. Прибежишь зимой в город — тут нет ничего! Прибежишь летом в деревню — там нет ничего! Взял, да и прекратил с хозяйством, привез сюда жену, ребят, рассовал их всех кого куды: девчонку в трактир в судомойки, мальчишку в трактир на побегушки, жена при мне, я сам у Пузырева, который что прикажет, то и делаю... Идол, однако, хороший!

— Это какой идол? — спросил Михайло.

— Да хозяин наш, Пузырев. Я у него все одно как домашний. Теперь он на меня озлился, и я вот воду таскаю.

— Сколько же получаешь?

— Всяко. У нас с ним без ряды, — говорю тебе, я у него как домашний... Оно бы ничего и в водовозах, да кормит, жид, по-свиному, чисто как мы животные какие бесчестные... Оно и это ничего бы, да беспокоит.

Говоря это, водовоз лениво повернулся на другой бок лицом к Михайле и стал ковырять пальцем песок. О воде он, по-видимому, забыл и рад был случаю высказать свои размышления.

— А было счастье и у меня, — продолжал он, не дожидаясь возражений со стороны Михайлы: — само пришло, и держал я его вот этими самыми руками, да дурак я, не умел определить его в дело... Случились раз у меня деньги... как я их получил — незачем это рассказывать, а только верно — получил и в карман положил, да толку-то не вышло! Кабы тогда путем рассудил, так был бы человек, а то теперь свинья свиньей, все равно как осел какой живешь беспокойно. Если бы тогда я не зашел от глупости в трактир да не стал бы по головам бутылками ездить, то уж теперь бы я вон куды поднялся, теперь у меня, может, дом каменный был — вот бы куды я хватил! Ныне же вот как свинья, без жалованья, ем грязь, сплю в грязи, отдыху мало. А потому, что дурак...

— Как же это ты выпустил деньги? — равнодушно спросил Михайло.

— Как выпустил? Выпустил даже очень просто, все одно как пух из перины, сам даже почесть не помню, как, куда, зачем... Как только, видишь ли, получил я эдакую кучу денег и стал, братец ты мой, сам не свой! Заместо того чтобы радоваться тихим манером, а я сам не свой сделался, робость на меня напала или как бы затмение... Сижу я у себя на квартире, щупаю карман

и не знаю, куда мне деваться с ними! Денег сразу много пришло, а я не знаю, дурак, что с ними делать, куда девать, с чего начать... Хоть убей — не понимаю! Сижу я эдак дома и, например, не понимаю. И потом вышел на двор — тож ничего не понимаю! Пошел ходить по улицам, а сам чую, что я как оглашенный какой. Прежде, бывало, получишь копейку и наперед знаешь, куда ее определить. А тут в кармане лежит куча, а девать ее некуда! Понимаешь? некуда мне ее девать, ни к чему мне она, ничего не знаю я, в какой оборот ее пустить... Ходил, ходил я по улицам в эдаком непонимании и зашел в лавку. Не то чтобы требовалось вещь какую купить, а так, чтобы купить хоть для первоначалу что-нибудь. Увидел в лавке шапки и купил... даже две целых — одну бобровую, другую баранью, а зачем — не знаю! Почему двадцать целковых у меня вылетело — не понимаю!.. Вышел я опять на улицу, старую шапчонку засунул в карман, бобровую надел на голову, а баранью держу в руках и опять думаю, куды бы мне еще деньги определить? Увидал я тут трактир и обрадовался; дай, думаю, во всю свою жизнь в первый раз попью, покушаю, как прочие хорошие люди. Зашел. Трактир чистый, половые как господа, а я сел за стол и смотрю твердо, потому что с деньгами с какой хошь рожей поглянешься. Приказал я принести порцию котлетов, а пока чай. Попил чаю, сахар весь съел, и принесли мне порцию. Съел я ее мигом — мало! подавай еще. Подали еще — мало! Принесли третью порцию, и тогда я насытился. После того велел принести пива целую дюжину бутылок и пью. Сижу я за бутылками, словно за забором каким, и посматриваю на всех хладнокровно... Но один половой, вижу, все что-то хихикает про себя; как взглянет на меня, так и захихикает! А в голове у меня уж шум пошел. Осердился я гневно на этого подлеца и кричу ему: «Ты что, противная образина, насмехаешься надо мной!» Он смеется, а я давай его честить... Поднял такой шум, что и — боже упаси! Все посетители оборотились ко мне. А я все ругаюсь. Половой подходит ко мне и так вежливо говорит: «Вы, говорит, господин, пришли в хорошее место, так не извольте вести себя как свинья, а не то я пошлю за полицией...» Ну, тут я уж совсем пошел врукопашную, схватил бутылку с пивом и пустил ему в голову... Шум, свист, полиция!.. Стали меня приступом брать, а я стою, держу в руках по бутылке да пивом-то их по всем частям... Однако положили меня, и тут уж я не помню, что мне говорили, а должно быть, ничего не говорили, а били только. Опамятовался я уж только на другое утро в кутузке. Первым делом — хвать в карман, а денег уж нет! Вот когда я в себя пришел и вот тут только понял, как глупо все набезобразил... Мне хоть бы деньги-то жене отдать, а я вон куда!.. Жалко мне стало денег. Голова болит, лежу весь больной, в горле пересохло, пить так хочется, а тут меня скоро вытолкали

на улицу, и стал я опять такая же бедная свинья, как словно у меня и денег никогда не было! Я заплакал...

— Все деньги дочиста пропали? — спросил Михайло.

— Все. Должно быть, половой-то этот и вытащил, как меня повалили... Да, конечно, сам виноват!

— Видно, мысли-то у тебя никакой не было, — задумчиво заметил Михайло.

— Это ты верно. Окромя разве вот этих шапок... а то больше и мыслей у меня не было... да и шапок-то не отыскалось!

— И шапки пропали?

— Пропали. Кабы знатье, так хоть бы шапки-то отнести домой... А то вот теперь вози воду... Эх, ты, вислоухий! что пригорюнился? — закричал вдруг деловым тоном водовоз, обращаясь к покорно стоявшей в воде лошади, и принялся наливать бочку.

— Как же теперь... живешь? — полюбопытствовал Михайло.

— Плохо... Пузырев, идол-то мой, разжаловал, вишь, меня. Я у него кучером был, чуть даже в прикащики к нему не попал, да он вот взял да и свергнул меня в водовозы...

— За что же?

— За все. Он что хочет, то и делает со мной. Да, надо как ни то упросить его, чтобы получше местечко дал... скучно воду-то возить.

— Ты что же сидишь... разве не побранит хозяин? — спросил Михайло.

— Ничего, леший с ним! нельзя уж и отдохнуть! наплевать, — говорил лениво водовоз.

Он налил бочку и выехал из воды. Михайло вспомнил, что сейчас он останется один, без приюта, без цели, с отшибленными руками, опустившийся. Но водовоз как будто угадал его состояние.

— А ты, парень, иди к нам на работу, — сказал он.

— Ты же говоришь, что у вас плохо?

— Где же лучше-то... По крайности кусок хлеба.

— Да ведь ты сам говоришь, что хозяин ваш — идол?!

— Конешно, идол... притесняет... Но он ничего. Ежели ему хорошенько услужить, он помнит...

Михайло с каким-то недоумением замолчал, встал с места и отправился вслед за водовозом по направлению к кирпичным сараям. Ему было все равно, лишь бы не остаться наедине с собой. Дорогой они ближе познакомились. Михайло, во-первых, узнал, что водовоза зовут Исаем; во-вторых, этот Исай живет теперь под открытым небом, находясь день и ночь подле сараев, а по окончании кирпичного сезона переберется с женой на двор хозяина, который помилует его и даст ему более радостное местечко.

Скоро они пришли к сараям. Произошла сцена, чрезвычайно

удивившая Михайлу. Исай, вероятно, думал, что хозяин в этот день не явится на место работ, и без опасения провел на берегу целый час в разговорах. Но случилось иначе. Едва он остановился с бочкой, как наткнулся на хозяина. Последний набросился на него с ругательствами: «Где ты был? Тебя тут ждут, подлеца, а ты и ухом не ведешь! Куды ты провалился, бессовестный!» Долго бушевал хозяин и привел в такое замешательство Исая, что последний, как взял в руку черпак, так и застыл с ним. «Что же встал истуканом! Выливай, дурак, воду да пошел опять скорей!» — закричал хозяин. Это вывело Исая из столбняка. Он живо вычерпал воду в яму, бормоча что-то под нос себе, вроде того, что, мол, не птица же он с крыльями, чтобы так скоро летать; сел поспешно на бочку и что есть духу поскакал за новой водой, — только бочка загремела... куда и равнодушие девалось.

У Михайлы этот день пропал даром. Без хозяина, который сейчас же уехал после острастки, он не мог подрядиться на работу, а пока ходил в город, в дом Пузырева, пока ждал его, а потом торговался, наступил уже вечер. Но ночь он провел уже на месте. Исай обязательно указал ему голую землю, где он может лечь, и пучок соломы, который он может употребить в качестве подушки. Михайло так и сделал: подложил соломы под голову и лег на землю, прикрывшись кулем. Он вскочил чуть свет, не попадая зуб на зуб от утреннего холода, проникшего его до мозга костей. В следующие ночи он, впрочем, лучше приспособился, хотя и продолжал спать на чистом воздухе.

На другой день он вместе с другими принялся за делание кирпичей. Способы были такие первобытные, что он в два дня постиг все, относящееся к кирпичам. Сперва месят глину ногами, руками и лопатами — это он выучил; потом делят на меньшие кучи глину и еще раз месят; потом берут руками комок липкой глины, шлепают его в станок, притаптывают ногами и приглаживают с помощью лопат и воды — и кирпич готов.

Следующие уже дни Михайло вел такую несложную жизнь, что потом никак не в состоянии был припомнить ни одного события, которое разделяло бы один день от другого. Рано поутру он работал. В восемь или девять часов — завтрак из хлеба и квасу. Потом опять работа. В час дня — обед из хлеба, из каши с рыбой или с солониной, или с салом. Потом опять работа. В девять часов — ужин из хлеба и из каши, на этот раз без рыбы, без сала и без солонины.

Через неделю, в день расчета, Михайлу обсчитали на двадцать копеек. В эту первую неделю он протестовал, сверкая глазами. Но в следующую неделю он только удивился, что его обсчитали на двадцать пять копеек. А на третью неделю он уже молчал, равнодушно смотря на ладонь, где лежали деньги. Среда, куда он попал, неумолимо действовала. Между работниками были мещане

из города, крестьяне из деревень и бабы обоих сословий, но вся эта огромная куча людей молчала, равнодушная, холодная, потерявшая даже охоту выражать свои нужды. Обед был тухлый — ели. В субботу обсчитывали — острили. «У тебя сколько нынче уперли?» — лениво спрашивает один. «Тридцать...» — равнодушно отвечал другой. «А у меня даже с карманом... вот посмотри, кармана-то нету, оторвали, черти!» — Смех...

Михайло делал так, как делали другие. Он, не сознавая этого, незаметно опускался куда-то глубоко вниз. Никакой своей мысли в это время у него не появлялось: он думал настолько, насколько это нужно было, чтобы не принять кирпичи за дерево или чтобы не прикрыться вместо рогожи кирпичами. Он месил глину, ел рыбу «с духом», спал среди природы, как все прочие товарищи; в конце недели шел за расчетом, подставлял ладонь, получал, как прочие; молчал и имел угрюмый вид, как все, и опустился на самое дно равнодушия, как все окружающие.

Он быстро осовел и обессмыслел. Во время работы он старался поменьше делать кирпичей, ждал с нетерпением времени еды; но в особенности ждал, когда наступит ночь и можно лечь спать, прикрывшись рогожей; но сна ему было мало; он мечтал о воскресенье, когда он вправе лечь с вечера субботы и проспать до вечера воскресенья; все другие его мечты за это страшное время носили тот же характер. Ему стало лень думать, надеяться, желать — и ослабление всего его существа было такое полное, что он не чувствовал, что существует.

Рано утром его обыкновенно расталкивал ногой один из распорядителей работ, после чего он вскакивал с наивным видом и бессмысленно принимался соваться, пока новый крикливый приказ из непечатных слов не приводил его в себя... и ему тогда не стыдно было этого! Он принимался за работу, показывая всеми движениями, что он изо всех сил старается; но чуть отвернется десятник, Михайло преспокойно садится возле кучи глины и лениво глазеет на окрестности по сторонам... и этого тогда не стыдно было ему! Впоследствии он с негодованием вспоминал все это, но в это время он не чувствовал ничего, кроме страшной тяжести жизни; вспоминая это время, он впоследствии говорил, что он потерял даже ощущение жизни, а когда к нему приходило смутное ощущение бытия, то он старался как можно больше спать.

Наружный его вид так изменился, что видевшие его раньше не узнали бы его; штаны его просвечивали, обнажая многие места, в волосах, всегда всклокоченных, торчала солома (остатки ложа), лицо черт знает чем было вымазано! Ему вообще ничего не было стыдно тогда и ничего не хотелось делать для себя и по своей воле.

Не удивляло Михайлу и оскорбительное отношение безалаберного Пузырева к рабочим. Приезжая на завод, этот хозяин, человек вообще пустой, оставался там на каких-нибудь полчаса,

но за это время успевал выругать чуть не всех работающих. Не потому, чтобы в этом была какая-нибудь надобность, а так, по привычке хозяина, который, по его глупейшему соображению, всегда должен держать себя строго. Иногда же, не находя предлога к брани в действительности, Пузырев выдумывал его. Подойдет к станку, потычет тростью в мокрые еще кирпичи, швырнет ногой кучу высыхающих кирпичей и отыщет-таки виновника.

— Это кто делал? — спрашивает он, якобы разгневанный.

— Это я...

— Ты!! Лучше бы тебе не родиться на свет, нечем такое безобразие делать! Это разве кирпич? — спрашивает Пузырев, якобы взволнованный.

— Кирпич, кажись... — тупо возражает виновник.

— Да ты сам посмотри... тут ямы, тут дыры, исковырен весь. Да чем же ты делал-то его? Иль у тебя руки отсохли? — продолжает гневаться Пузырев, насильно раздражая себя.

Виновник молчит. Это лишает хозяйский гнев всякой пищи.

— А по-моему, так если руки-то у тебя отсохли, так ты хоть бы носом обчистил кирпич, и тогда получай жалованье. А теперь ты заместо кирпича наделаешь кизяков или позьму, в котором ты родился, а жалованье небось просишь... «Пожалуйте, Митрий Иваныч!..» — передразнил Пузырев с гримасой, от которой толпа захохотала.

Хозяин, высказав еще множество таких же пустых соображений, уезжал; а товарищи оплеванного поднимали его же на смех...

— А ну-ко, попробуй носом-то?.. — И никто не выражал никакой злобы. Не обижался и сам оплеванный. Но зато при случае он в свою очередь сделает что-нибудь, так себе, ни с того ни с сего, попусту; изломает станок и забросит его в овраг или пустит в хозяйскую легавую собаку кирпичом и перешибет ей ногу. Да и сделает это без всякой охоты и с страшной ленью. «Никак перешиб ногу евойному легашу... ну, пущай, шут с ним, ты только молчи...» — говорит он скучно товарищу, который видел, как он пустил кирпич в собаку.

Первообразом этих людей был Исай. Михайло близко с ним познакомился; ночь они иногда вместе спали; по праздникам Михайло сидел у него на квартире в гостях и изредка заходил с ним в портерную. Портерную Исай, кажется, любил больше всего на свете. Практиковать любовь к ней он мог, конечно, только по праздникам. Едва дождавшись окончания обедни, он уже сидел там, скрыв от жены часть заработков. Это ему удавалось всегда, и для этого он пускал в обращение тысячу хитростей: запрячет деньги в голенище или затыкает их в щель стены или в одну из дыр картуза. Жена, конечно, знала, что Исай спрятал часть, но куда — это редко ей удавалось открыть. Так или иначе, прикопив несколько денег, он садился в потерной

и прохлаждался до вечера. Вечером же он был обыкновенно без головы или без ног; лез ко всем драться, старался побить жену, которая вела его под руку из пивной. Разозлившись, жена по приходе домой клала его на пол и шлепала веником... Но Исай не обижался поутру. Утром он жалел, что нечем опохмелиться.

Дрался он не потому, что таким способом желал выразить какую-нибудь внутреннюю боль, а просто потому, что ему скучно становилось. Нередко он дебоширил в самой портерной. Тогда его вели в кутузку, причем провожатые размалевывали его лицо пурпуровыми красками; но Исай поутру не обижался, признавая очевидную неизбежность мордобоя. Когда его выталкивали из кутузки, он еще удивлялся, что так снисходительно его помиловали. За вину его, за безобразие его надо бы почище отвалять... Очень просто: порядок, закон, не безобразничай! А его милостиво только вытолкали из полиции, дав ему на прощанье здоровенную затрещину.

Михайло удивлялся, как мало у Исая потребностей и как мало ему надо было вещей, чтобы удовлетворить его вполне. Он страдал только тогда, когда у него нечего было есть, когда он не мог выпить пива или когда ему не давали заснуть. В этих случаях он не только страдал, но делался яростным, злым, неукротимым. Хозяин Пузырев, больше чем над кем-нибудь другим, тяготел над ним, безусловно распоряжаясь его жизнью (кажется, Исай был по уши должен ему). Никогда он не возражал хозяину, что такое-то поручение несподручно ему. Если бы Пузырев приказал ему лезть в воду, — Исай сделал бы это; если бы ему сказали, что вот этого человека надо бить, — Исай стал бы бить, только потребовал бы перед началом дела выпить для храбрости. Иногда ему не удавалось побывать в портерной, — тогда он шел к Пузыреву и отчаянно грубил ему. Пузырев понимал, к чему клонится вся эта грубость, и выдавал ему на выпивку, давая слово при первом случае оштрафовать его урезкой жалованья.

— Вот за это благодарим, Митрий Иваныч! — говорил с сияющим от радости лицом Исай, получив удовлетворение.

— То-то благодарим! Я тебя, подлеца, жалею, кормлю, пою, а ты же еще по-собачьи лаешь!

— Простите, Митрий Иванович! конечно, это я по глупости, как человек необразованный... Да разве я не знаю вашей доброты! Сделайте одолжение, это я вполне чувствую, потому что совесть имею... За вашу доброту я отплачу... Скажите только — Исай! Больше ничего-с. Я готов от души, чего изволите...

— Как же, жди от вас благодарности! вам бы только хозяина обмануть... Я тебя, негодяя, содержу, питаю, а ты, как с цепи сорвался!.. право негодяй!

— Простите, Христа ради... Ругайте, заслужил. А теперь позвольте, я пойду выпью за ваше здоровье...

Исай, высказав это, лукаво улыбнулся, а на лице его отражалось довольство.

Несмотря на отношения, часто явно враждебные, между ним и хозяином, Исай питал к Пузыреву некоторый род любви... По крайней мере все пузыревское он считал «нашим»... «Наши лошади супротив других прочих куда же!..», «У нас карман-то, чай, потолще будет...» — хвастался Исай перед посторонними. Это хвастовство и гордость воображаемым «нашим» было у него искренно. Когда при нем нехорошо отзывались о Пузыреве, который в самом деле был неумен, непрактичен, бесхарактерен как человек и ротозей как купец, то Исай выходил из себя. Михайло раз присутствовал при одном разговоре.

— Дурак он! Отцовские капиталы только проедает, а чтобы самому — где же эдакому глупышу... Одно слово — рохля! — говорил один рабочий, когда дело как-то коснулось Пузырева.

— Кто? — закричал Исай с негодованием.

— А вот Пузырев-то твой. Земли больше у помещиков не снимает; который каменный дом отец ему оставил недостроенный, и тот он продал!.. Дурак и есть!

— Да ты у него был в кармане-то? — спросил Исай, пожирая противника злобными взорами.

— В кармане я не был, а так вижу человека, какой он есть... Проест он скоро и остальные-то... потому сопляк!

— Сам ты сопляк! Да он купит и перекупит сто... какое сто! тыщу таких как ты подобных жуликов!

— Что ты ругаешься, Исайка?

— А то и ругаюсь, что весьма глупо! Кабы ты мне наврал это под пьяную руку, так узнал бы, какие есть московские калачи!..

Действительно, из-за Пузырева Исай нередко дрался, в пьяном, конечно, виде, как ни была нелепа подобная ссора.

Прожил он у Пузырева лет двенадцать с перерывами и за это время переработал множество работ. Одно время, за несомненную честность, Пузырев назначил Исая даже в приказчики, предварительно нарядив в приличный костюм. Но Исай не вовремя стал пьянствовать, жестоко дрался с рабочими, которые в свою очередь, потеряв терпение, драли его и избивали до крови, содержался по два дня в неделю в кутузке при полиции за дебоши, — словом, оказался неудачным приказчиком, хотя не перестал быть честным. Хозяин прямо из приказчиков свергнул его в сторожа — караулить кирпичи, хранившиеся круглый год за городом. Там ему было так скучно, что он по сорока часов подряд спал. Из сторожей он был уволен за то, что чуть было не убил колом какого-то проходившего мимо человека, приняв его спросонья за вора. Это дело доходило до полиции, и хозяин только благодарностью избавил его от тюрьмы. Исай после этого долго был в опале и прогнан был в среду обыкновенных работников на

кирпичных сараях, то есть месить глину, лепить кирпичи и пр. Потом Пузырев взял его в свой городской дом в дворники, из дворников он сделал его кучером. Когда его одели кучером, он выглядел очень красиво, смотрел сурово, руки держал прямо, как палки, и залихватски кричал «гись!», за лошадьми также хорошо ухаживал. Но однажды, когда Пузырев торопился куда-то и приказал быстрее ехать, Исай так пересолил, что задавил девочку-нищую. Опять в полицию! Дело было потушено, но Пузырев свергнул Исая в водовозы.

На все способный, Исай, кроме того, исполнял еще другие домашние работы, даже не свойственные мужскому полу. Нередко хозяйка просила его, за отсутствием няньки, поводиться с ее грудным ребенком. Исай с величайшим удовольствием брался за это поручение — носил ребенка на руках с нежностью кормилицы, возил его в колясочке, забавлял его разными штуками. Он так увлекся своей ролью, что совершенно забывал себя, весь отдавшись маленькому крошке. Когда тот собирался заплакать, Исай пускал в ход всевозможные успокоительные средства: мяукал, как кошка, щелкал, как сорока, мычал, как корова, высовывал язык, дергая себя за нос, или прятался вдруг под колясочку, ложась плашмя на землю. Ребенок, наконец, забывал свое намерение кричать, пораженный прыжками и метаморфозами огромного мужичищи. Когда же ему хотелось спать, Исай брал его на руки и убаюкивал его песней, которую тянул хриплым голосом, но тихо, как будто шептал, при этом раскачивался всем телом монотонно и сам закрывал глаза, как соловей во время трелей.

Так поступал он на глазах, искренно и из всех сил исполняя всякое поручение. Искренность его не подлежала ни малейшему сомнению. Пузырев однажды застрял в весенней зажоре — Исай вытащил его на своих плечах, а сам пролежал два месяца в горячке. В другой раз он бросился, с риском быть разбитым на куски, на лошадь, которая трепала Пузырева. Но едва его спускали с хозяйских глаз, как он делался сам не свой и не знал, куда деть свои руки, свою голову, свое тело. Когда для него выходил в будни свободный день, то он убивал его бессмысленно; он тогда или валялся на соломе, или бродил по городу с шальным лицом, заглядывал во все трактиры, и если ему удавалось встретить приятеля, соглашавшегося вывести его из такого тягостного настроения, то он сейчас напивался, немедленно же вступал в драку с этим же самым приятелем и сейчас же ему раскрашивал физиономию. Так он наполнял день. Потому внутри у него было пусто. Сам он никогда не мог придумать порядка для своей жизни и наполнял внутреннюю пустоту свою тогда только, когда ему приказывали сделать это, бежать туда, работать там, умереть вот здесь... И делал, бежал, работал, умирал. Получив приказание, наполнившее его пустоту смыслом, хотя и чужим, он моментально

делался из апатичного и тупого существа человеком, способным на все руки, старательным, умницей.

И он легко принимал все чужое, — все, что ему приказывали, всякий порядок, не им выдуманный, всякое дело, не им начатое. Легко он сносил и обиды в жизни, — обиды, неминуемо сопряженные с приказаниями, с чужой волей, с чужими капризами, лишь бы эти приказания исходили от какой-нибудь силы. А силой для него был всякий, кто держал в руках палку, из чего бы эта палка ни состояла. Когда эта палка била его, ему было больно, но законность существования палки не вызывала в нем сомнения.

В глубине души, под самой последней подкладкой его мыслей, он не признавал за собой «правов», по той причине, что не знал их, не знал ничего истинно человеческого, справедливого, идеального; вся жизнь его, с нежного детства, протекла в принятии собственными ребрами всего бесчеловечного, несправедливого, грязного. С этими явлениями грязи и бесчеловечия он так сжился, что считал за чистое для себя снисхождение, когда его тем или иным путем не драли, и все, что выходило из пределов насилия и неправды, он в глубине души считал хорошим, но неестественным.

Михайло, изучивший его до мельчайших подробностей, с изумлением спрашивал себя, как и для чего такой человек существует! Сам он понемногу стал выходить из того душевного оцепенения, которое овладело им здесь. А один, довольно незначительный случай окончательно привел его в чувство. Однажды приказчик во время работы разговаривал с господином, которого рабочие называли Фомичом, произнося это имя с величайшим уважением, хотя это имя носил простой слесарь... Михайло и раньше много слышал об этом замечательном человеке, имевшем на него впоследствии такое огромное влияние, и теперь, увидав его, бросил работу, облокотился на груду кирпичей и пристально вглядывался в барина (иначе нельзя было, судя по наружности, назвать Фомича); какое-то глубокое раздумье и вместе жгучая тоска охватила его, когда он так стоял.

Но вдруг приказчик набросился на него.

— Ты что стоишь? Дела нет у тебя? Пошел работать, негодяй!.. — закричал приказчик, не подозревая, с кем имеет дело.

Михайло вздрогнул всем телом, побледнел и моментально очутился подле самого носа приказчика.

— Ты что сказал? — спросил он тихо.

Приказчик растерялся.

— Иди на работу, сказал я...

Приказчику показалось, что Михайло сейчас схватит его и бросит в яму, подле которой они стояли; он в замешательстве попятился, испуганный зловещим лицом Михайлы.

— Ну, смотри... впредь язык держи за зубами!.. — прого-

ворил тихо последний и пошел на свое место, провожаемый взглядом Фомича, которым Фомич как бы спрашивал: кто такой этот гордый оборванец?

Вот этот случай и вывел Михайлу из оцепенения. В первую минуту им овладел страх. «Боже мой! да где же я? куда попал?»— спрашивал он себя. Затем он быстро составил решение — убежать отсюда, дождавшись субботнего расчета. На своих товарищей он вдруг взглянул со страшной злобой, а Исая видеть не мог. В этот же день он нашел предлог выпустить целый заряд злобы.

Это было уже в то время, когда они лежали, приготовляясь уснуть. Исай по какому-то поводу стал ругать Пузырева и жаловался, что ему плохо жить тут.

— Ну, я этого не замечаю что-то... тебе везде отлично! — возразил Михайло из-под рогожи.

— Однако же... есть же места лучше и есть хуже... какое же сравнение! — продолжал Исай, громко зевая из-под рогожи. Он не подозревал, какая злоба бьется под соседней рогожей...

— Да ты зачем ушел из деревни-то? — вдруг отрывисто спросил Михайло.

— Ушел-то? Ушел, потому что — ну ее к ляду!

— Да отчего же все-таки? Любопытно ведь послушать!..

Исай не мог ответить на такой простой вопрос. Говорил он о какой-то лошади, о каком-то мешке с отрубями, но все-таки не в состоянии был прямо ответить, отчего он ушел.

— Часто тебе там рубаху-то заворачивали? — спросил с презрением Михайло.

— Да, случалось... как всем прочим...

— Так, может, от этого ушел?

— Конешно, от этого! — обрадовался Исай.

Но Михайло сейчас же уличил его.

— Да разве здесь тебе лучше, ежели каждую неделю у тебя морда разбита, бока переломаны?

Исай не мог возразить, хотя что-то бормотал под рогожей.

— Жрать-то было ли чего? — презрительно спросил опять Михайло.

— Как обыкновенно, по обычаю — от Миколы уж не было своего хлеба. Бегал к этому же Пузыреву, Митрию Иванычу, — он в ту пору хлеба́ у барина снимал в ренду... Иной раз давал, иной раз прогонял — ну, тогда, точно, кушать нечего было.

— Так, может, от этого ушел?

— Вот, вот! От этого самого, от недостатка! — обрадовался было Исай, но Михайло снова припер его к стене.

— Ну, а здесь-то какое для тебя удовольствие! Денег у тебя нет, в пище ты на собачьем положении, утром тебя десятник пнет ногой, как подлеца какого, ругает тебя Пузырев, как свою лошадь. Жену ты не кормишь, детей раскидал, значит ты и сам

не знаешь, зачем ты сюда пришел и чего ты ищешь? Эх ты, Исай, Исай! — сказал со злобным смехом Михайло и далеко отбросил от себя куль, которым был прикрыт.

— По-моему, тебе везде плохо. Ты сам лучшего-то не желаешь... Когда тебя обидит Пузырев, ты хоть бы к мировому пошел! — продолжал Михайло.

— Больно ты ловок! Да он такого тебе страху напустит, Пузырев-то, что и глаз некуда будет спрятать! Жаловаться... это мы сами понимаем, да нельзя! хуже себе сделаешь! — возразил горячо Исай, высовывая голову из-под рогожи.

— Чем же хуже?

— А тем и хуже, что он тебя, смутьяна, в один момент прогонит!

— Ну и прогонит, а ты ищи лучшего.

— Чего!! Куда!! — горячо возразил Исай, потом жалобно проговорил: — Нет, Мишенька, нашего-то брата нежно нигде по спине не гладят — сделай одолжение! Он тебе такого мирового подпустит, что по гроб жизни...

Михайло окончательно вышел из себя. В нем проснулась прежняя дикость...

— Эх вы, крепостные! — вскричал он. — От вас, от чертей, и всем-то жить худо, потому что вы сами не желаете хорошего себе... Набьет, идол, брюхо свое соломой — и доволен, больше не требуется, сыт! Дерут его, как мерина, а у него хоть бы стыд был — ничего!.. Что ему, идолу, когда он с измалетства привык, чтобы драли его по заду! Вот Пузырев уж на что, и тот покрикивает. Жаловаться на него — как же можно! Господин! Осерчает! А этот самый господин еще и лицо-то не успел умыть, еще пахнет от него мужиком, а он уж ломается, кричит, обсчитывает, пхает ногой в бок... Да и как же ему не ломаться, коли он видит крепостных истуканов?! Эх ты, раб! А тоже жалуешься, что плохо!.. Да что же тебе плохо, когда ты не имеешь понятия, что хорошо, что плохо, что радость, что пиво, что счастье, что битье по заду!.. когда ты не различаешь хлеба от соломы, — чего же тебе нужно? Нет, если бы ты сам хотел хорошее, понимал бы, что есть хорошее, стыдился бы худого, так никто бы не смел ломаться над тобой. Кто же меня приневолит делать, когда я скажу: не хочу!

Исай, слушая эту пальбу по нем, даже сел, выкарабкавшись из-под рогожи. Но он не столько осердился, сколько был оглушен, пораженный взрывом злобы, с которой говорил Михайло.

— Больно ты прыток!.. — заметил Исай нерешительно.

— Только от вас и услышишь: «больно прыток, больно ловок!» Вас по ушам бьют, а для вас ничего... У вас нет понятия, что вы — животные, а не то что люди, которые, например, не позволят ломаться, не станут жрать солому... От вас, от подоб-

ных истуканов, и всем-то на свете больно жить, не глядел бы ни на что!..

— Да ты мне что проповедь-то читаешь, Мишка? Что ты меня учишь? — сказал удивленно Исай, не зная, сердиться ему или плюнуть.

— Очень мне надо учить! Вас, дураков, и так учат! А мне все равно. Я вот взял да и пошел, а вы оставайтесь тут, черт с вами!

Исай, наконец, осердился.

— Я тебе вот как дам по боку! — сказал он вдруг с угрожающим видом, но довольно лениво.

Михайло в ответ на это с презрением плюнул, встал с места и лег на другое, далеко от Исая. Он так был озлоблен (злобой у него всегда начинался какой-нибудь переворот в душе), что ему, конечно, и в голову не могло прийти, что в эту же ночь он раскается в словах своих и ему будет жалко Исая...

Это было уже далеко за полночь. Отойдя от Исая, Михайло лег на землю и надеялся проспать до утра. Но ночь выпала холодная — истекал август. К утру готовился мороз. Воздух похолодел; сырость проникла во все щели ветхой одежды Михайлы. Он прозяб. Ноги, руки, все тело его дрожало. Не будучи в состоянии больше лежать на земле, он вскочил на ноги и принялся топать, чтобы отогреться. Ночь была темная. Ни одной звездочки на небе. По земле стлался туман, а когда на востоке забрезжил свет, туман сделался еще гуще; он, казалось, выходил из всех пор земли и носился над полями, тихо передвигаясь; в одном месте он скучивался густыми клубами, в другом разрывался на клочья. В двух шагах ничего не было видно. Михайло несколько раз спотыкался о груду кирпичей или о тела спавших своих товарищей. Но весь продрогший, он все-таки ходил, стараясь только не наступить кому-нибудь на голову, и вглядывался в лица рабочих. Все они спали, и тишина стояла мертвая. Позы были самые разнообразные. Один лежал на спине, раскинув руки и ноги в разные стороны, как будто распятый; другой лежал ничком, уткнув лицо в землю, как будто убитый нанесенным сзади ударом; третий спрятал половину тела под кучу какого-то хлама, выставив наружу только ноги; многие свернулись клубком, но многие были совершенно раскрыты. Их, по-видимому, не мог пробудить ни холод, ни сырость, покрывавшая в виде серебристой росы их волосы и рубахи; они спали непробудно; устали, бедняки, за день, умаялись. Под ними была холодная глина, над ними носился густой туман, окутывавший их, как один огромный общий саван, а они лежали, как мертвые, убитые...

Это именно пришло в голову Михайле, когда он смотрел на тела товарищей, казавшиеся ему трупами, беспорядочно валявшимися на пространстве полсотни сажен... Ему стало неприятно,

не по себе посреди этой мертвой площади, где не раздавалось ни одного человеческого звука. Он поспешно выбрался со спальной площади и вошел в один из сараев. К его удивлению, там ярко горела обжигальная печь, а перед печью сидел и грелся Исай. Михайло подсел к нему и тоже стал отогреваться. Они молчали. Исай сидел и глядел во все глаза на пылающее пламя. На лице его играли свет и тени. Он, по-видимому, глубоко задумался, по крайней мере не обращал внимания на то, что с его плеч свалился полушубок, под которым днем скрывалась необыкновенно дырявая рубаха, как решето. Смотря на это решето, Михайло пожалел Исая.

— А ты, брат, Михайло, обидел меня давеча... больно обидел! — сказал вдруг Исай.

— Я что же... Я жалеючи... — возразил печально Михайло, смущенный.

— Жалеючи — это ничего... за это спасибо. А все же неправильно ты обижал меня. А потому неправильно, что я — человек кроткий, от самого от роду боюсь, то есть беда как боюсь всего...

— Кого же ты боишься? — с удивлением спросил Михайло.

— Всех. Только своего брата мужика не опасаюсь, а то всех...

— И Пузырева, стало быть?

— И Пузырева...

Михайло не знал, что сказать.

— Всех вообще... Бывало, становой проскачет по деревне — я боюсь, заноет так сердце... а вины, знаю, нет. Или, бывало, пойдешь к старику Пузыреву, отцу-то вот этого... войдешь в сени, а сам боишься, даже ноги подкашиваются... А знаешь, что вины нет перед ним... Или опять, бывало, в волость позовет писарь — боишься! даже внутри что-то трясется. Всего боюсь, робко мне так. Встретишь вот человека незнакомого, барина ли, купца ли, и робеешь, а чего бы, кажись... Иной раз стыдно станет за эту робость, нарочно так смотришь, как будто сердишься, а на самом деле у тебя трясется все... Иной раз слова не можешь сказать путного, а все от робости. Только ежели пива напьешься, ну, тут уж море по колено, нарочно еще безобразничаешь...

Михайло удивлялся.

— Веришь ли, ночью, ежели темно... ведь уж почти старик я... но ежели ночью придется выдти в незнакомом месте — не выйду ни за что!

— Отчего? — спросил Михайло.

— Боюсь! Выйдешь какой раз, необходимо уж выдти... а пойдешь назад, словно кто за ноги хватает!.. Должно быть, это уж сызмальства идет...

— Неужели?

— Должно быть, напуган сызмалетства.

— Так чего же теперь-то боишься?

— Э-эх! брат Михайло! много ли надо нашему брату, чтобы напугать!.. А я — человек кроткий...

Михайло отрицательно покачал головой, как бы говоря, что это неправда, что нельзя напугать пустяками! Но он не высказал этого. Замолчал и Исай. Они не понимали друг друга, говоря на разных языках. Так долго они молчали. За дверью сарая было уже совсем светло.

— А что ежели насчет Пузырева, так уж ты оставь попечение... — сказал вдруг Исай. — Уж я ему такую штуку впущу, что по гроб жизни!.. — прибавил Исай гневно.

Михайло равнодушно спросил, что он намерен сделать, но Исай говорил какими-то догадками.

— Я такого ему перцу подсыплю, что не забудет меня! — повторил Исай с величайшим и неожиданным озлоблением.

Михайло не стал больше спрашивать. До работ осталось немного времени, а ему хотелось спать, глаза его слипались. Он лег и сейчас же заснул, пригретый теплотой горячей печки.

На другой день Исай был совсем не тот. Вид у него был мрачный и таинственный. Вел он себя непонятно. Утром он привез только две бочки воды и больше не хотел. Лошадь бросил, а сам сел на кучу соломы и мрачно озирался по сторонам. Когда рабочие требовали воды, он еще больше насупился, но когда те стали над ним шутить, он улыбался... но не шевелился с места. Всем стало забавно. Исай гневался! Разве может Исай гневаться!

Когда вода вся вышла, многие бросили работу и стали разговоры разговаривать, больше всего насчет Исая. Ни одного из приказчиков на месте не было; но вдруг показался на тележке сам хозяин. Все повскакали с мест и усердно засуетились. Пузырев, по обыкновению, начал брюзжать... «Тихо делали...», «мало сделали...» Рабочие единогласно заявили, что воды нет. «Отчего нет?» — «Исай не везет». — «Где он, мошенник?» — «Да вон сидит на соломе...» Пузырев накинулся на Исая, обозвал его всеми ругательными именами и приказал ему сейчас ехать. «Ишь, лентяй! Катается на соломе и хлопает глазами. Очумел ты, что ли?» Исай медленно поднялся с места и двинулся к лошади исполнить приказание, сердито почесывая спину.

Пузырев тотчас же уехал в полной уверенности, что водворил порядок. Но Исай, лишь только тележка хозяина скрылась из виду, опять присел на солому и мрачно обводил глазами присутствующих. Поднялся хохот. «Что с тобой, Исай? — спрашивали у него некоторые: — не желаешь больше воду возить?»

— Н-да! не желаю!.. Будет! повозил! Теперь хочу рассчитаться... такой дам расчет ему, что и капиталов его мало будет...

— Все у него возьмешь? — хохотали рабочие.

— Все. — Исай говорил с мрачной серьезностью. Некоторые из рабочих подсели к нему и стали спрашивать, что все это значит? Но он бормотал что-то непонятное. А наконец, ни слова не говоря, встал с соломы и отправился по направлению к городу.

Для всех рабочих было так забавно и чудно́ все это, что работы сами собой прекратились. Пошли разговоры, смех, расспросы, что сделалось с Исаем, что он задумал? Расспросы сперва были шуточные, потом серьезные... Стали догадываться, припоминать слова Исая... и вдруг один с чрезвычайным волнением прошептал:

— А ведь это, ребята, он хочет подпалить Пузырева!

Все остолбенели.

— Как подпалить?

— Да так... одно слово — поджечь...

— Ты как знаешь?

— Да уж верно. Беспременно подпалит.

Неизвестно, откуда узнал это рабочий, — может быть, сам Исай сболтнул, — но ему поверили и умолкли. Большинство чувствовало какую-то панику; боялись слово сказать. Потом, как бы по знаку, бросились по местам и принялись за работу. Когда пришел к ямам один из приказчиков, то заметил только, что каждый деятельно занимается своим делом. Но все-таки воды не было. Рабочие один по одному стали требовать воды, жалуясь на то, что Исай бросил лошадь, бочку и сам ушел неизвестно куда. Приказчик только хлопал глазами от удивления. Вместо того чтобы послать одного из рабочих за водой, он стал расспрашивать, куда девался Исай, куда он пошел, что сказал. Ему со всех сторон стали дуть в уши невероятные вещи. Тот же догадливый малый, который за полчаса перед тем рассказал о намерениях Исая, теперь несколькими намеками объяснил, что Исай хочет подпустить красного петуха... Вслед за тем приказчику со всех сторон враз говорили. Один ругал Исая, другой хвалил Пузырева, третий подавал совет, что делать, где поймать Исая; большинство же рабочих на разные манеры старались показать, что они во всем этом нисколько не виноваты, а даже, напротив, очень уважают Митрия Иваныча... Приказчик до того поглупел за несколько минут, что молча хлопал глазами, слушая то того, то другого. Наконец кто-то посоветовал ему дать знать хозяину. Приказчик побежал.

В доме Пузырева также поднялось смятение. Пузырев сам бросился в полицию. Полиция немедленно отрядила двух городовых отыскать Исая. Приметы следующие: волосы темно-русые, глаза темно-серые, нос обыкновенный, подбородок правильный, платье фабричного покроя, особых примет не имеется. Из участка Пузырев поскакал домой, но так растерялся, что не знал, что дальше делать.

Только один Михайло не участвовал ни в одной из этих сцен. Ему казалось, что он видит какой-то глупейший сон. Он стоял поодаль ото всех. У него сжалось вдруг сердце от того одиночества, которое внезапно охватило его. Он подошел к одной из кучек рабочих.

— А ведь это, братцы, нехорошо... — сказал он. — Может, все это неправда! Может, вот этот дурак наврал! — Говоря это, Михайло указал на парня, проникшего в намерения Исая.

Рабочий горячо оправдывался, тем более что его со всех сторон обступили плотной стеной и расспрашивали, как, откуда и когда он узнал... Рабочий принялся рассказывать, божился, что не врет, и хотел было ругать Исая, но его остановили. Всем сразу стало совестно и тяжело. «И зачем только я болтал языком!» — говорил каждый про себя. Между тем первый сболтнувший в конце концов запутался и жалко замолчал, как виноватый. Пожимая плечами и отплевываясь, большинство отошло от него прочь. Хотели приняться за работу, но работа не клеилась. Всем было не по себе, и все чувствовали потребность разойтись. Городские мещане ушли первые, а за ними кучками пошли в город деревенские, и по дороге, застревая по кабачкам с попутным, сильно ругали первого болтуна. Остались бабы да подростки, да и те скоро ушли. Ушел и Михайло, в полнейшем недоумении, что такое случилось?

Исай тем временем был уже далеко. Он прибежал домой, но незаметно от жены ушел и пропал.

Подпалить решился он твердо. На душе у него было спокойно. Подпалить — это такая легкая штука, что и соображать об этом нечего. Он представлял себе только картину, как Пузырев будет метаться, — это забавно и занятно было Исаю, который за все таким способом хотел отомстить. Но вдруг его поразил вопрос: за что он хочет жечь на огне Митрия Иваныча? Исай не знал, за что. Он шел по улицам, глупо смотрел по сторонам и не мог сообразить! Ненависти к хозяину у него нисколько не было. Все поступки, все слова, вся жизнь Пузырева были правильны, по мнению Исая, — за что же он его подпалит спичками? У Исая не было злобы. Иногда он сердился на Пузырева, отвечал ему грубо, но это была не злоба собственно против Пузырева, а вообще какое-то недовольство, которое быстро проходило, когда Исай, бывало, отпорет кнутом пузыревскую лошадь или изорвет пузыревский хомут, или выпьет на пузыревский пятак. А злоба у него не держалась в душе.

Но Исай стал припоминать, усиленно вызывая из памяти, из глубины прошедшего пузыревские обиды. Припомнил он, как однажды Пузырев, пообещав полтинник на чай, посмеялся над ним и не дал! А раз, подарив ему сапоги, отнял их обратно и еще сказал, что такой пьянчуга не стоит сапогов, хотя он, Исай,

серьезно и не думал их пропить... А раз Пузырев хватил его аршином по спине, и когда он стал вежливо возражать, то Пузырёв приказал ему замолчать и пойти в конюшню проспаться... Исаю почему-то не припоминалось ничего более дорогою; но и этого хлама, вынимаемого из забытых углов Исаевой памяти, достаточно было, чтобы он серьезно озлился.

Шатаясь так по улицам, Исай стал соображать, с какого угла лучше запалить. Надо, чтобы было аккуратно во всех отношениях. План скоро был составлен. Нынче ночью... Зайти с другой улицы и перелезть через забор на задний двор. Ежели собаки залают, то бросить им хлебца, а хозяйские собаки и лаять не будут. Зажечь лучше длинный сарай, на верху которого сено, а внизу дрова. Сено вспыхнет как порох, а от сарая дело перейдет во двор. Пузырев проснется и будет чихать.

Когда у Исая окончательно сложился план и способ пустить петуха, он решил до вечера прежде всего выпить, — не для удовольствия, а для храбрости, потому что Исаю вдруг скучно стало, а в груди у него что-то сосало, как будто червь какой... С этой целью он и зашел в кабачок, — не в портерную, а в кабачок, потому что здоровее. Действительно, выпил он один стакан — храбрости сразу много прибавилось! Выпил другой — еще больше смелости взялось! Но чтобы еще тверже быть, он купил бутылку пива, смешал ее с водкой и выпил; после чего ему показалось, что он плывет среди огненного моря и хохочет при виде Пузырева, который мечется в каком-то радужном дыме и чихает.

— А ты, братец, уж не очень хохочи... а то у меня тут больная женщина лежит, — сказал сурово сиделец.

— Наплевать мне на женщину! Я вас всех подпалю! — закричал Исай.

— Не кричи, дурак, а не то пошел вон!

Но Исай еще больше стал орать, и сиделец должен был вытолкать его на улицу.

Исай хотел воротиться в кабак, чтобы побить сидельца, но ноги не слушались его, самовольно бросая его в противоположную сторону.

Когда Исай очутился таким образом на улице, то злоба его против Пузырева еще больше усилилась, так что ему даже плакать хотелось. Он шел по улице и бессвязно ругался.

«Я тебе дам как аршином! Посулил сапоги, так и давай, а то аршином, сволочь эдакая!» — но силы Исая изнемогали: он не понимал уже, куда идет. Наконец он споткнулся обо что-то и хлопнулся на землю вниз лицом, — больно ушибся. Он хотел уже выругать Пузырева, вполне уверенный, что это он толкнул его сзади, но моментально заснул...

Только утром на другой день он проснулся. Солнце жарило

ему в спину, во рту были у него земля, песок, щепки, а внутри жгла жажда. Едва поднявшись на ноги, он увидал, что лежит недалеко от кирпичных сараев, на пустыре; он не мог припомнить, как сюда попал, да и не до того ему было. Измученный, он тихо поплелся к городу. По дороге ему казалось, что он вот сию минуту упадет и умрет, — так он обессилел и страдал. Но все-таки он безостановочно двигался, желая во что бы ни стало дойти до Митрия Иваныча. И кое-как дошел. Еле-еле взобрался по ступенькам крыльца, отворил дверь в коридор и наткнулся на «самого». Исай упал на колени и умолял дать ему испить.

— Бога ради, Митрий Иваныч!.. Дай мне на похмелье! Горит все нутро...

Хозяин был так поражен неожиданной встречей, что лишился языка. Во мгновение ока сбежались все домашние, не спавшие целую ночь, прибежали некоторые работники, и все с удивлением смотрели на Исая.

— Дай, пожалуйста, Митрий Иванович, стакашик... Чистая смерть!

— Хозяйка, поднеси ему... — приказал Пузырев, еще не оправившийся от изумления. Жена принесла графин с водкой. Исай выпил и попросил еще стакашик. Ему еще дали, дали также закусить, и нет-нет Исай оправился.

Хозяин даже не ругал его. Он пошел в участок и упросил пристава прекратить дело, потому что «Исайка, подлец, в пьяном виде на себя наболтал»; только просил посадить его суток на двое в кутузку, чтобы вытрезвился.

Исая отвели в кутузку.

Михайло больше не видал его. В тот день — это была суббота, — когда Исай пребывал благополучно в кутузке, Михайло рассчитался с кирпичными сараями, зашел на квартиру Исая за узелком с вещами и очутился опять на том берегу, где встретился с водовозом несколько месяцев назад. Что ему делать? Куда идти? Этого он пока не знал; но настроение его было радостное. Бросив кирпичные сараи, он физически ощущал, что вылез из какой-то темной и душной ямы... Перед ним была река. Недолго думая, он разделся и бросился в воду. Купанье на него еще сильнее подействовало. Он почувствовал в себе силу, энергию, желание борьбы, жажду счастья и находился в том состоянии переполнения, когда хочется кричать, прыгать, хохотать. Деревенский бедняк, не имевший в громадном городе ни приюта, ни средств, он был в эту минуту проникнут жизнерадостным чувством освобождения. Он смотрел на небо, на реку, на город. Недавно он еще не знал, чего ему нужно. Теперь знал — воли! И он думал, что на земле нет ничего лучшего. И верил, что он более не продаст ее.

Уходя с берега в город, он сосредоточенно улыбался.



ИГРУШКА

День был великолепный, солнечный, теплый, как часто перед наступлением осени; небо глубокое, воздух чистый и не удушливый. Все это придало взволнованному юноше необычайную бодрость. Михайле никуда не хотелось идти искать работы в такой необыкновенный для него день. Ощущение жизни было так сильно, мысль для него была такая поразительная, что он в величайшем возбуждении шагал по направлению к городу и, придя быстро в средину его, ходил по улицам, площадям и базарам, нигде не останавливаясь.

Ему казалось, что он открыл глубочайший секрет жизни. Воля! Как это он прежде не догадался, что ему надо! И как люди не знают, что лучше всего на белом свете. Смотря на идущих и едущих людей по улицам, он радовался до глубины души, что он держит секрет, который вот тут, под ситцевой рубашкой, лежит у него, а они не нашли и не знают его. Ах, дураки!

Михайло таскался по базару, наполненному всяким бедным людом. Зайдя в мелочную лавочку, чтобы купить трехкопеечный поясок, он пожалел толстого, одутлого лавочника, который сидит вот в этой норе всю жизнь, сидит вечно и вечно думает только

о том, как бы нажить еще пять копеек барыша, но не догадывается, жирный дурак, что есть кое-что лучше, нежели пятак! В лавчонке все вещи старые, дрянные, грязные, засиженные мухами, но лавочник вечно смотрит на них... и как ему, должно быть, скучно среди этой норы, набитой старой ерундой! Михайле после этого сейчас же пришло в голову, как скучно вообще всем людям, которых он видит; они никогда не делают того, что хотят, и живут всегда так, как им не хочется, — потому что они не знают секрета.

На кого ни взглядывал Михайло, всем, казалось, было скучно до смерти и никто не знал тайны, бывшей у него в груди. «Но если бы люди знали эту тайну, могли ли бы они воспользоваться ею для своей радости?» — спросил себя Михайло и ответа не нашел. Но он сам может! Решив это, он принялся благоразумно обдумывать, что делать. Если в одном месте ему покажется подло, если тут вздумают на него надеть веревку, он оторвется и уйдет. Никто не в силах его остановить, обратать и взять, если он сам не захочет влопаться куда-нибудь в рабство из-за хлеба или из-за денег... Чтобы не сделаться рабом, он будет ходить из одного места в другое, из губернии в губернию, побывает везде, посмотрит на все... Для житья ему немного надо, а богатство не обольщает больше его...

Михайло не подозревал, что через несколько дней он забудет свой секрет и сам, душой и телом, отдастся в руки...

Пробродил он в этих счастливых мечтах до вечера. У него на ночь не было угла. Наружный вид его носил на себе следы кирпичных сараев. Одежда его сильно обносилась и выглядела беспорядочно; разодранное в нескольких местах пальто, некогда табачного цвета, но теперь лоснящееся, как кожа, рыжие и донельзя стоптанные сапоги, в которые вложены были панталоны с зияющими отверстиями, — все это еще недавно тяжело отразилось бы на его спокойствии. Но в эти минуты счастия он гордо шагал по тротуарам, не обращая внимания на свою отрепанную внешность. Лицо его ярко светилось, взгляд самоуверенно устремлен был вперед, и он чувствовал, что как будто вырос. Счастливый день! Когда он вырвался из деревни и летел в город, он, в сущности, также радовался воле, но тогда эта радость была птичья. Теперь же он сознательно понимал, чего ему искать, куда идти и как жить на свете. И в первый раз в жизни он был доволен собой, в первый раз также любил все, что видел, — солнце, небо, город, людей.

Только под вечер он собрался к Фомичу... Почему к Фомичу? На этот вопрос он едва ли мог бы ответить ясно. Видел этого человека он только раз, знаком с ним вовсе не был и теперь, вероятно, потому собрался к нему, что много слышал замечательного об этом человеке... Быть известным в большом городе

множеству черного люда — это много значит для простого слесаря, каким был Фомич. Говоря о нем, рабочие делались серьезными и знали его; знали его такие люди, которых он в глаза не видал; даже недавно пришедшие на заработки через некоторое время уже слышали о нем. Точно в таком же роде слышал о нем и Михайло, и когда рассчитывался на кирпичных сараях, то как-то сразу решил: «Пойду к Фомичу».

Найти его было легко. Через короткое время, сделав справки лишь на одной фабрике, Михайло отыскал дом и квартиру Фомича. Было уже темно, когда он вошел в двери... Свет ярко горевшей лампы его ослепил, а четверо сидевших за столом и пивших чай одним своим видом так поразили его, что он стал как вкопанный у порога. Он уже не сомневался, что дал промах и попал в другую квартиру, к каким-то господам, а вовсе не к слесарю Фомичу; но все-таки он спросил прерывающимся голосом:

— Тут живет Алексей Фомич, слесарь?

— Здесь, — ответил один из сидевших, не поднимаясь из-за стола.

Михайло взглянул на говорившего и признал Фомича — он самый! Широкое, добродушное лицо, большие серые глаза, широкая улыбка, не сходившая с его полных губ, маленький носик с пуговку — он! Но одет он был так хорошо, что трудно было принять его за рабочего. Другие трое произвели то же впечатление; перед самоваром сидела несомненно барыня; возле нее сидел несомненно барин; только третий одет был в синюю блузу, грязную и закапанную маслом, но он так свирепо смотрел, что Михайло сильно струсил и боялся поднять глаза на этого, по-видимому чем-то разгневанного, человека. Самовар, стол, мебель, комната — все это было так чисто и приятно, что совсем довершило чувство изумления Михайлы. «Вот тебе раз!.. а слесарь...» — подумал Михайло с быстротой молнии.

Но ему не было времени долго размышлять. Фомич спросил, что ему надо? И он должен был волей-неволей объяснить цель своего прихода. Выслушав желание его найти какое-нибудь место, Фомич пожал плечами и задумался. В комнате воцарилась тишина, которую Михайло истолковал не в свою пользу. Он сразу сделался опять дикий и угрюмо осматривал компанию.

Наконец Фомич стал расспрашивать, какую ему надобно работу, что он, откуда? Михайло рассказал, отрывисто и угрюмо, причем нисколько не смягчил своих диких выражений.

Слушая все это, Фомич и его товарищи улыбались. Фомич вспомнил лицо Михайлы — гордого оборванца, спросил об его имени и предложил ему сесть.

— Отчего же нехорошо там? — спросил Фомич с улыбкой.

— Срамота! — резко возразил Михайло и выразил на лице величайшее презрение.

— Хозяин, что ли, нехорош?

— Нет, хозяин что же, как обыкновенно... А так, вся жизнь — чистый страм, свинская.

— Грязная, ты хочешь сказать?

— И грязная, и свинская, и подлая — все есть! Думаешь только о том, как бы лечь спать, ходишь скот скотом! В башке целый день ничего! Свинство — больше ничего.

Сидящие переглянулись. По большей части рабочий жалуется на чисто физические невзгоды — мало пищи, непосильная работа, нет времени выспаться, плохое жалованье... Но в словах Михайлы было что-то совсем другое.

— Ты говоришь — в башке ничего? — спросил Фомич.

— Да, ничего. Пустая башка цельный день. То есть лень подумать почистить лицо. Встаешь утром — как бы поскорей обед пришел с тухлой кашей! Пообедаешь — как бы поскорей под рогожу спать! Прожил я там месяца эдак три и сам на себя стал смотреть, как на скота, который, например, не понимает! Такая лень на меня напала!.. Дай мне в ту пору кто-нибудь по морде — я бы только почесался. Делай из меня что хочешь — ничего не скажу! Как дерево какое! Прожил там три месяца — и боже мой! образа нет, чисто скот! даже спокойно, все равно как свинья залезет в теплую грязь, лежит, и довольно спокойно ей!..

— И ты ушел? — спросил удивленно Фомич.

— Да, ушел.

Все смотрели на Михайлу и молчали. Опять воцарилась тишина, явившаяся как следствие того впечатления, которое произвел Михайло своим диким рассказом.

— Кстати, скажи, пожалуйста, какое это там происшествие вышло у вас в сараях? Не то кто-то хотел поджечь сараи... не то поджег уже... или дом Пузырева подожгли... вообще не знаю хорошенько, что это за оказия? — спросил Фомич.

— Это Исай... — ответил Михайло и вдруг улыбнулся при одном этом имени.

— Одного Исая я там знавал. Фамилии у него нет настоящей, — пишут его и Сизов по названию деревни, и Петров... но он сам говорил, что у него нет, собственно, фамилии, а только одна кличка Исай... Это тот самый?.. — и Фомич описал наружность товарища Михайлы.

— Тот самый.

— Что же это ему пришло в голову?..

— Да, знать, спьяну или по глупости!.. Может быть, через меня и дело все вышло!

— Как через тебя? — воскликнули почти все сидящие.

— Я обозвал его рабом. Он, должно быть, и рассердился и выдумал такое умное дело!

— За что же ты обозвал его так?

— Кто же он? Раб. Из него что хочешь делай. Сам он ничего... ничего не может, а что прикажут. Ей-богу, если ему приказали бы рубить головы, он рубил бы по ком ни попало! Разве уж опосля увидит, как все это глупо!.. Всякого человека, который посильней, он страсть как боится! А своего у него ничего нет, и заместо головы у него шишка какая-то неизвестно к чему торчит... А желания его такие, что, например, ведро пива или четверть водки — доволен! Я и обозвал его рабом... Потом жалко стало...

— Сильно он огорчился?

— Кто его знает, а жалко стало... ведь не он один такой!.. Потому что лень нападает сопротивляться свиному образу, лень смотреть за собой — это я хорошо попробовал сам на себе... Слава богу, что удрал!

— Так все-таки что же... поджег Исай?

— Нет. Только водки надулся, а на другой день пошел прощения просить у хозяина. Хозяин — ничего, простил... Да и всякий бы простил, жалко такого дурака!.. В кутузке сидит!

Каждое слово Михайлы производило впечатление. Он и сам видел, что на него обратили сильное внимание. Это придало ему бодрости и одушевления. Но вдруг послышался незнакомый голос.

— А позвольте спросить у вас, молодой человек, почему вы так даже низко сравниваете простого рабочего человека?

Это говорил тот человек в блузе, страшных взглядов которого струсил Михайло в первую минуту прихода.

Но теперь, пристальнее взглянув, Михайло заметил, что в этом странном человеке есть что-то глубоко забавное.

— Ну, пошел городить!.. — заметил презрительно другой господин.

— Нет, мне-таки интересно полюбопытствовать, почему молодой человек, который есть сам рабочий, вполне низко сравнивает своего брата, бедного рабочего, а капиталиста хвалит, а?

— Воронов, молчи, — сказал Фомич просто, и Воронов (так звали человека в блузе) действительно замолчал, но долго еще поводил своими страшными глазами, по-видимому довольный своими мудреными словами.

Это замешательство заняло всего одну минуту. Но откровенность Михайлы была уже спугнута. Все опять обратились к нему. Фомич предложил еще неловкий вопрос, который окончательно заставил замкнуться Михайлу.

— Ты сам придумал все эти мысли? — осведомился наивно Фомич.

Михайло удивленно посмотрел на всех, не понимая, о чем его спрашивают. Фомич и сам сию же минуту понял всю нелепость своего вопроса и поправился.

— Ты грамотен?

— Нет... — тихо прошептал Михайло. Отчего-то ему вдруг стало стыдно. Между тем прежде ему никогда и в голову не приходила мысль о грамоте. Но разозлившись на себя за что-то, он угрюмо замолчал и уже крайне неохотно отвечал на вопросы.

Это, однако, не ослабило внимания к нему. Видимо, он всем понравился. Дикость же, вместе с его темными глазами, подозрительно смотревшими, как у плохо прирученного зверька, только возбуждала любопытство к нему. Фомичу же он, кажется, еще более понравился. Это решило его судьбу.

— Вот что, Михайло... не знаю, как тебя звать по батюшке...— сказал Фомич, — мне надо самому помощника. Я — постоянным слесарем в одном большом доме да заказы часто имею — иногда хоть разорвись! На службу не пойти нельзя, а сделай не вовремя заказ — обижаются заказчики... Помощника-то я давно искал и перепробовал разных людей, да все как-то попадали не туда... Так вот, ежели желаешь, поступай ко мне. Пока я тебе положу немного, а выучишься слесарить, тогда мы поровну... ну, да об этом еще поговорим... У меня будешь обедать и жить.

Барыня, сидевшая около стола перед самоваром, вдруг спохватилась, что до сих пор не догадалась предложить юноше чаю; она живо налила стакан и пригласила Михайлу присесть к столу. Михайло сконфузился и принялся обжигать губы, язык, все нутро, что окончательно привело его в смущение, показавшее, как много было в нем еще юношеской наивности, несмотря на холодную злость, которою он, по-видимому, жил до сих пор. Фомич, сидевший рядом с ним, добродушно подкладывал ему белого хлеба и наклал, кажется, фунта три, большую гору перед ним, полагая, что Михайло все это съест мигом. Михайло опалил себе внутренности только одним стаканом и больше ни к чему не прикасался.

С этой минуты он то и дело конфузился. В тот же вечер, когда гости разошлись, Фомич предложил ему поместиться на ночь в мастерской, находящейся в квартире. Квартира была маленькая, из трех комнат и кухни. В двух комнатах помещался Фомич с женой, а третья была мастерская. Половина ее занята была токарным станком, инструментами, поделками и кусками стали; но другая половина комнаты держалась чисто, нося на себе следы чьей-то заботливой руки... Сюда и привел Фомич Михайлу, а затем пришла и барыня (которая, к удивлению Михайлы, и была женой Фомича); она принесла одеяло и подушку и сама приладила в одном углу комнаты постель.

Оставшись один, Михайло почувствовал, что с ним совершается что-то необычайное. Он был сам не свой, не знал, что ему и подумать о чужих людях, которые в первый раз его видят и которые, однако, обошлись с ним, как с близким, с родным,

с товарищем. Со стороны всех попадавшихся ему до этого дня людей он встречал злобу, глупость, подозрение и привык видеть за подкладкой их поступков только грош, гривенник, целковый... Он облокотился на станок и застыл в этой позе. Новое, незнакомое и непонятное для него чувство симпатии таким могучим порывом налетело на него, что он не выдержал и заплакал. Слезы катились по его щекам и капали на станок. Когда Михайло заметил это, он стер мокрое пятно рукавом насухо и торопливо лег в постель, потушив лампу.

Следующий день был воскресенье. Фомич предложил Михайле воспользоваться этим днем, как он хочет, идти, куда ему надо, и делать, что только вздумается ему, но Михайло отказался. Он встал рано, надел чистое белье, вычистился, привел в возможный порядок свое платье и желал сейчас же приняться за работу, но делать было пока нечего. А скоро его позвали пить чай. На этот раз он уже менее конфузился, когда Надежда Николаевна, как звали жену Фомича, налила и подала стакан ему; он сразу привязался к ней и уже не боялся ее. Фомич за чаем читал газеты и от времени до времени обменивался замечаниями с Надеждой Николаевной. Михайло, однако, уже ничему более не удивлялся, даже этим газетам и книгам, которые лежали в разных местах комнаты и которые Фомич, конечно, знает... Он только внутренно разозлился, мысленно обругал себя чистым дураком. Чтобы заглушить это недовольство собой, он просил с волнением дать ему нынче же какую-нибудь работу. Фомич дал, но все-таки свободных часов у Михайлы осталось много.

Весь день он находился в странном состоянии. Он не верил, что он сидит вот в этой комнате, не верил очевидной действительности. Еще вчера он был на кирпичных сараях, а нынче... Кирпичные сараи казались ему страшно далеко. «И как я сюда попал?» — спрашивал он себя, любопытно изучая всю обстановку, лица Фомича и Надежды Николаевны, их разговоры, их малейшие движения. «Что бы со мной было, ежели бы я не пришел сюда?» — спрашивал он далее. Как ни нелеп этот вопрос, но он был реален и неизбежен, и, только решив его, он мог поверить, что переживает действительный случай, а не сон.

«Быть бы мне теперь под рогожей! Удивление... Вчера еще сидел под кулем, ничего не понимая, и вдруг — хлоп! прямо из-под куля перелетел за тридевять земель!..»

Новая обстановка, люди, порядки, разговоры подавляли его своей неожиданностью; он сначала испытал страшную робость, недоверие к себе, слабость... Новая обстановка, в которую он таким неожиданным образом перелетел, просто потрясла его до глубины души. В мыслях его совершился полный переворот. Он перестал сверкать глазами, как волк, и злился на одного себя; боялся своего невежества и напряженно следил за каждым

своим шагом, вполне убеждённый, что он ежеминутно может бессознательно сделать какое-нибудь свинство по отношению к Надежде Николаевне и Фомичу. К первой он питал робкое почтение и привязанность, явившуюся почти внезапно, второго он так поставил высоко, что забыл совсем себя, и если вспоминал себя, только затем, чтобы выругать.

Вставая рано утром, Михайло спрашивал, что делать, и слушал каждое слово Фомича, безусловно точно выполняя каждое его приказание. Работал он, не вставая, учился слесарным приемам, забывая об усталости; и прикажи ему Фомич работать по двадцати часов в сутки, он покорно выполнил бы это требование.

Секрет свой он забыл. Им овладела другая мысль, осуществить которую он считал себя бессильным. Самоунижение у него доходило до крайности. Иногда, будучи не в состоянии овладеть каким-нибудь приемом так быстро, как бы он того желал, он с бешенством вскрикивал:

— Да где же такому дереву понять!

А раньше его отношение к себе было как раз обратное. Встречаясь с людьми, в деревне или в городе, он относился к ним со злобным пренебрежением и пользовался ими только затем, чтобы сказать себе: «Вот так я не буду жить, как этот дурак!» Но каждый шаг Фомича вызывал в нем чувство безусловного уважения, и он желал только одного: походить на Фомича.

Чувство это сначала было мучительно, потому что Михайло не надеялся добиться того, что добыл в жизни Фомич. Но с течением времени Михайло оправился. Понемногу он ближе узнавал Фомича, поспешал слушать отрывки из его богатой жизни, им самим рассказываемые при удобных случаях. Эти отрывки убедили Михайлу, что и ему можно еще пробиться к свету. А когда перед ним вставала вся жизнь Фомича, то он сильно воодушевлялся, имея перед глазами пример беспрерывной борьбы и победы.

Одно качество Фомича было действительно необыкновенно — это редкая способность все переносить добродушно или, пожалуй, бесчувственно... и из всего на свете извлекать для себя пользу, чтобы поучиться чему-нибудь. Жизнь Фомича началась не лучше, не хуже жизни других рабочих, но он умел извлекать пользу из самых вредных обстоятельств.

Отец его жил в этом же городе. Это был один из тех мещан, которые почему-то обитают на конце города, непременно около оврага, в домишке, задняя часть которого обыкновенно висит над этим оврагом, готовая ежеминутно оторваться и полететь в самую глубину его. Кроме того, этот сорт людей обыкновенно пропитывается более или менее неожиданными промыслами, вроде ловли и обучения чижей, собирания бутылок и пр. Чаще же

всего этот овражный народ занимается враз всеми ремеслами, какие только по обстоятельствам возможны; в одно время ловят чижей, в другое собирают щавель (по копейке пучок), а то починивают сапоги, от которых одни носки остались. И носят эти околоовражные углы всегда более или менее замысловатые названия: «Антошкина слободка», «Козлиха», «Прыщи».

Здесь разговор идет именно о Прыщах, где обитал отец Фомича, старик Торопов, занимаясь ловлей раков, плетением лукошек и другими ремеслами, принуждавшими его надолго иногда покидать свой домишко и своего Алешку. Последний так и вырос на улице, вырос как-то сам, как единственный стебель овса среди крапивы. Кажется, мудрено было извлечь пользу из такого житья. Но Фомич уже и в этот ранний возраст инстинктивно продирался сквозь чащу к свету. Решительно предоставленный самому себе, он в этот период выучился грамоте, беря шутовские уроки у своих уличных товарищей, ходивших в школу. Кроме того, он в совершенстве познал все виды промыслов, которыми пробавлялся отец. Отец умер, когда Алешке было лет двенадцать, окончательно предоставил сына на волю божию. Фомич остался круглым сиротой. Имущество отца и его самого общество взяло под опеку, но опекать было буквально некого и нечего: домишко уже наполовину висел над оврагом, а двенадцатилетний Фомич сам о себе позаботился.

Жил он по разным людям, переходя от одного хозяина к другому; побывал у сапожников, у булочников, у портных, у кузнецов и слесарей, и везде его основательно учили (били); когда его сильно учили в одном месте, так что делалось невтерпеж, он переходил на другое. Это было самое тошное время в жизни Фомича. Даже он сам с негодованием отзывался об этом периоде. «Бывало, хозяин возьмет меня за ноги, да и спустит из окна вниз головой... конечно, невежество одно!» Учили его на разные лады, сообразно ремеслу учителя: сапожник учил его колодкой, булочник — скалкой, портной — ножницами, а кузнец — шкворнем, но Фомич оставался жив. Мало того, он все-таки воспользовался и этой эпохой, хотя и не так, как бы желал; он быстро выучивался всем тем ремеслам, на которые его учили; выучивался тайно, урывками и неожиданно для учителя; и теперь едва ли есть ремесло, перед которым Фомич стал бы в тупик. Он может состряпать себе обед, починить сапоги, сколотить стул, сшить панталоны. Но всего лучше он выучился слесарному мастерству, потому что прожил у слесаря больше году. Этот слесарь бил его по большей части ладонью и только изредка клещами, а главное — добросовестно показывал тайны ремесла, изумляясь понятливости ученика, и в хорошую минуту предсказывал, что он далеко пойдет, шельма! Постигнув в совершенстве слесарное ремесло, Фомич уже на шестнадцатом

году в состоянии был поступить в мастерскую при железной дороге.

С этого времени начинается его известность между мастеровым людом города. Всегда веселый и радушный, он уже двадцати лет пользовался авторитетом среди товарищей. Водки он в рот не брал, а каждую свободную минуту употреблял на то, чтобы поучиться. Он писал письма, подавал советы, объяснялся с начальством в качестве представителя, и и́мя Фомича рабочие произносили с уважением. Он уж и в это время был довольно начитан, но все-таки ему невозможно было употреблять в день более получаса на чтение, так что в конце концов от постоянного урезывания отдыха он ослабел; здоровье его пропадало, улыбка исчезала с его добродушного лица...

К счастию, он в это время попал в острог. Разные же бывают понятия о счастии! Фомич сам говорил, что это для него было на руку, этот острог-то, и ему нельзя не верить. Посадили его вот за что. На заводе, где он в это время работал, случилась стачка, продолжавшаяся целую неделю. Стачку прекратили, рабочих согнали на работу, а зачинщиков взяли. В числе их взяли и Фомича, не сомневаясь в его зловредном влиянии на рабочих. Он мог бы уничтожить это недоразумение, потому что весь его вред заключался в стремлении поучиться, но он этого не сделал, довольно равнодушный ко всяким страданиям; ему во время сидения лень было даже спросить, за что его держат? Эта нелепость объяснялась просто тем, что он весь ушел в одно желание — учиться.

С этой стороны острог привел его в восхищение. «Товарищи предлагали мне разные дела... ну, нет, говорю, братцы, мне надо пользоваться свободным временем и учиться. Что же мне, в самом деле... квартира готовая, стол, одежда — все казенное, — вот я и давай читать, рад был. Потому что такой свободы у меня не было и не будет, как в остроге... много я тут сделал хорошего!» Фомич приятно вспоминал это время. Сидел он в этом радостном месте около года, кончил арифметику, геометрию, прочитал множество книг, выучился понимать толк в литературе, с каким-то инстинктом дикаря чуя, что хорошо. Прошел он и грамматику, хотел даже попробовать немецкий язык, но всякий язык почему-то плохо давался ему. Даже по-русски вполне правильно писать не выучился, — эта хитрость, к его удивлению, не давалась, да и шабаш. Разговорный язык также навсегда у него остался простонародным, и теперь во время жаркого спора он иногда загнет такую корягу, что сам сконфузится и забудет спор...

Когда Фомич вышел из приятного места на улицу, он был немного бледен, немного обрюзг, но здоров и весел. Он поступил опять на завод, но случился новый неожиданный переворот в его жизни. Одно недоразумение влечет за собою другое. Раз побывав

в счастливом месте, Фомич навсегда уже остался в подозрении, и, прожив два месяца на заводе, он на основании только одного того, что сидел в счастливом месте, был взят и отвезен на край света, в северный городишко, черт знает куда! Вышло это неожиданно и произвело на товарищей Фомича сильное впечатление.

— Ну, теперь Фомичу капут!

— Теперь Фомич — шабаш.

— Пр-ропал!

— Теперь Фомич, прямо можно сказать, был человек — и нету его!

Это мрачное заключение должно бы было, по-видимому, вполне оправдаться. На полсотни мещан в этом невероятном городишке, где не было ни заводов, ни промыслов, приходилось всего-навсего два умирающих мерина, пять коров, несколько кур, один петух и, должно быть, один целковый. Таким образом, самое вероятное предположение о попавшем сюда человеке — именно то самое, которое сделали товарищи Фомича. Но Фомич не потерялся. «Спервоначалу было мне, конечно, дурно, а после хорошо... Починивал я ружья охотникам в окрестностях, зарабатывал этим рублей шесть в месяц, да товарищи иной раз немного пришлют — ничего, жил...» — рассказывал об этом времени Фомич. Здесь он прошел географию и принялся за алгебру и физику, пользуясь свободным временем.

Но Фомич с полным правом, даже с обыкновенной человеческой точки зрения, мог вспоминать хорошо этот мифический городишко: здесь он познакомился с Надеждой Николаевной. Фомич никогда ни одним словом не проговорился, как сошлись они — рабочий и барышня. С инстинктом уже развитого человека, он не прикасался к счастию, боялся опошлить его словами, которыми, к тому же, он плохо владел.

Приехала Надежда Николаевна позже Фомича в городишко и поразила его своим отчаянным видом. Полная апатии, совершенно больная во всех отношениях — вот то состояние, из которого она не выходила. Целый день она сидела в комнате у себя, курила папиросы и кашляла; шагала из одного угла до другого и курила папиросы. Никакого дела. В прошедшем что-то смутное и мучительное; в будущем какая-то неопределенная пропасть и ни одной надежды. Одним словом, барышня была разбита вдребезги и представляла собою тень.

Для Фомича такое состояние было просто непонятно; он не знал никогда ни отчаяния, ни скуки, ни апатии, ни даже физической болезни. В первое время он робко наблюдал за ней. Ее молчание отбивало у него охоту бывать у ней часто. Но когда она стала сильнее кашлять, он стал ухаживать за ней в качестве сиделки. Иногда он приготовлял ей сам обед, каждый день почти насильно уводил ее гулять и нашел ей дело — учить его.

Алгебру-то он сам проходил успешно, пс географии много читал, но физика подавалась вперед плохо. Сперва Фомич спрашивал разъяснения только тех мест, которые ускользали от него, а потом стал брать регулярно уроки у барышни. Сперва уроки шли вяло, Надежда Николаевна сидела апатично, так что Фомич приходил в смущение. Но потом дело пошло успешнее, и Надежда Николаевна уже сама стала интересоваться успехами Фомича, который с увлечением слушал ее. Она почувствовала, что ей холодно оставаться одной, наедине с своей мучительной думой, и с нетерпением ожидала, когда придет на урок Фомич; и ее лицо озарялось радостной улыбкой при взгляде на Фомича, который упорно слушал, смеялся и радовался. Однажды вечером, когда они молча сидели за столом и боялись взглянуть друг на друга, потрясенные одним чувством, Надежда Николаевна, наконец, не выдержала напряженной тишины, наставшей в комнате, и судорожно зарыдала; Фомич, глядя на нее, также тихо плакал. Потом он убедился, что рыдать больше не о чем, и через несколько дней обвенчался в единственной церкви фантастического города, дав священнику неслыханный гонорар, на который тот сейчас же купил муки, а то до сих пор, несколько месяцев, ел соленую рыбу. Физику они кончили уж долго спустя, когда им обоим вышло позволение воротиться на родину и когда Фомич испугался, что у него не будет больше свободного времени для учения.

Прожив у них месяц, Михайло ежеминутно убеждался, какие глубокие связи существуют между ними, хотя, по-видимому, между ними мало общего. Фомич — вечно спокойный, без задатков какой бы то ни было тоски и немного толстый; Надежда Николаевна — бледная, беспокойная и разбитая. Но, вероятно, это-то противоречие и связало их; может быть, Надежда Николаевна согрелась душевно подле здоровой натуры Фомича, который невольно умиротворял ее исстрадавшееся сердце; может быть также, чувство жизни возвратилось к ней, когда она очутилась подле этой работящей силы, простой, но широкой... Когда они возвратились в родной город Фомича, им на первых порах пришлось очень туго. Фомича отказывались принять в мастерские и заводы города, и куда он ни приходил, его отовсюду выпроваживали. Тогда Надежда Николаевна стала давать уроки, и этим они кормились некоторое время.

Но это приводило в расстройство Фомича, он так берег свою Надю, что желал бы снять с ее плеч всякую работу. Видел он также, что всякая работа, кроме физической, убийственна для нее. С нечеловеческими усилиями он доставал работу. Скоро, однако, удалось ему устроиться: его взяли постоянным слесарем в один огромный дом, где он должен был следить за водопроводами, ремонтировать всю механическую и слесарную часть зда-

ния. А потом, как известный половине города, он стал получать много заказов, так что потребовался даже помощник. Фомич опять повеселел. Прислугу Надежда Николаевна отказалась держать, не желая сидеть сложа руки; она готовила обед, чай, мыла белье, убирала с изысканной чистотой комнаты, чистила инструменты. По вечерам они читали по очереди. Это шло изо дня в день, и им не было скучно, да едва ли оставалось время скучать, когда каждый праздно проведенный день мог отозваться на них ощутительной нуждой.

«Колотятся же все-таки, бедняги, не богато...» — подумал Михайло, ближе познакомившись с своими друзьями.

Окруженный такой, совершенно новой для него атмосферой, Михайло сам чувствовал, как вся его жизнь перевернулась.

Ремесло он усвоивал быстро, доставляя Фомичу ежедневное удовольствие своей ловкостью и трудолюбием. Но эти успехи только в первое время занимали Михайлу, и дальше он стал уже мучиться совсем другими вещами. Он был теперь в вечно напряженном состоянии, следил за каждым своим движением, подмечая также каждый шаг своих друзей. В противность прежнему, он так низко упал в своем мнении, что весь огромный запас презрения и недовольства обрушил на одного себя. Он копался в себе и беспощадно унижал себя. Это, впрочем, принесло ему косвенную пользу: он привык отдавать себе отчет во всем, что происходило у него внутри, в каждой своей мысли. Но это же и несказанно мучило его. Фомич не понимал состояния ученика.

— Ты что, Миша, как будто нездоров все?.. Вид у тебя какой-то больной! — несколько раз спрашивал Фомич. Надежда Николаевна также спрашивала тревожно. Михайло видел, что его любили и уважали, но от этого, кажется, он еще больше мучился.

При вечерних чтениях он присутствовал, многое понимал, уверенный, что не понимает; многое действительно не понимал, но во всяком случае сидел все время как на иголках, пожираемый самобичеванием. «Вот Фомич все понимает, а я нет... Осел!» Оставаясь один на один с собой, он готов был прибить себя, если бы это было возможно, — так тяжело ему было.

Но такие припадки самоунижения не могли долго продолжаться в Михайле, одаренном от природы силой расти и подниматься. Однажды ночью, оставшись один в мастерской, он вдруг сообразил, что ведь он также может учиться! Ведь Фомич... откуда же он взял!.. Пораженный такой простой мыслью, он от радости вскочил с постели, не зная еще сам, зачем это сделал. На станке лежала книжка — «Руководство к слесарному, кузнечному, плавильному, лудильному (шел еще длинный перечень) производствам» — тощая, дрянная, барышническая книжонка. Михайло взял ее в руки со страхом, боясь убедиться,

что он забыл все буквы. У него потемнело в глазах, и рука, державшая книжонку, сильно дрожала. Но, овладев собой, он разглядел и вспомнил одну букву — страшно обрадовался! Посмотрел дальше — еще одна буква объявилась. Михайло присел на кровать и просидел до рассвета. В следующие ночи он уже правильно занимался. Сначала он читал одну строку полчаса, но затем дело пошло скорее. И писать его когда-то, перед воинской повинностью, учили в деревне, но здесь ему пришлось испытать сильное огорчение. Он однажды поднял на полу клочок бумаги, исписанный широкими и круглыми буквами, из которых каждая походила на Фомича. Михайло принялся разбирать, но ничего не вспомнил! За исключением одной буквы — «мыслете»... Почему именно «мыслете», а не другая какая буква врезалась в его памяти — неизвестно. Михайло по крайней мере хотя эту-то букву нарисовал, рисунок вышел похожим на распростертую пятерню, но это все равно. Написав ее, Михайло с отчаянными усилиями принялся узнавать другие буквы, сравнивая прописные с печатными. После нескольких приступов, что заняло несколько ночей, он одолел и этот клочок бумаги. С этой минуты он каждый вечер упражнялся...

Проще бы было обратиться за помощью к Фомичу или Надежде Николаевне; но Михайло чего-то стыдился. Впрочем, всякие секреты были врожденным его качеством. Свое дикое учение он ото всех скрывал. Застигнутый раз Фомичом за упражнением в рисовании букв, он так был взволнован, как будто его уличили в каком-то мошенничестве; Фомич, впрочем, ничего не подозревал.

Вскоре он, впрочем, сам убедился, как глупо делать секрет из таких обыкновенных вещей... Мало того, ему пришлось раскрыть такие затеи, которые он и от себя-то прятал, старался не помнить их. Впрочем, у таких людей, как Михайло, секреты-то всего меньше и держатся, как они ни стараются держать их при себе.

Однажды он сидел в мастерской и опиливал какую-то вещь. Кроме его, дома никого не было; Фомич и Надежда Николаевна куда-то ушли. В это время явился Воронов, тот слесарь в блузе, которого так испугался Михайло в день поступления к Фомичу. Воронов был в той же самой дырявой блузе, до того замасленной, что она, казалось, прилипала к его телу, как его собственная естественная шкура; штаны были не менее засуслены; руки его также были чем-то выпачканы. Но всего неприятнее выглядело его лицо, дряблое и сморщенное, как высушенная подошва; его лоб так съежился, что совсем исчез. Видно было, что не хорошо живется этому человеку.

Михайло не уважал его... Было в этом Воронове нечто такое, что давало Михайле повод питать к нему пренебрежение, хотя он с ним всего раза два виделся и ни одним словом не обменялся.

Усевшись возле станка, Воронов презрительно посмотрел на работу, пожал плечами и сплюнул, сплюнул как-то особенно, тем особенным плевком, в котором слышится: «Что ты, мол, как обо мне думаешь?..»

— А ты, братец, погляжу я, не так делаешь эту штуку-то! — сказал Воронов, пренебрежительно ткнув выпачканным пальцем в то место, где копошился Михайло.

Михайло встрепенулся, задетый за живое.

— Мне так Алексей Фомич показывал... — ответил он довольно спокойно, но уже разозленный внутри.

— Фомич ли, кто ли другой — не в этом дело: Фомич, он, конечно, человек умный, но в эфтим разе, что касается специально слесарного искусства, то я прямо тебе могу сказать, что Фомич ничего... Я тут побольше понимаю, что по техническому отделу и что невежественно...

Михайло с изумлением слушал это непонятное сочетание слов. Но злоба сильнее разбирала его. Между тем странный собеседник увлекся.

— Ты продолжаешь все-таки свое делать? Я тебе говорю, не так! Ты теперь делаешь вещь из стали, и надо разбирать, который кусок — железо и который — сталь... А понимаешь ли ты, что такое железо и что сталь? Вот то-то же и есть! А говоришь Фомич... Сталь — это есть вот какое дело: ежли железо (Воронов отчеканивал слова) пропущено через химию, с прибавлением то есть потребного количества угля, то и выйдет сталь! Так вот она, эта штука-то, откуда берется! А железо — это вещь без химии, оттого оно и дешевле. Это я сам читал. Потому что я — специалист. Может, я в Петербурге бывал, как ты думаешь? На петербургских заводах!.. А Фомич не был. Само собой, он — рабочий образованный и много изучен, но в эфтим разе... я специалист!

— Алексей Фомич велел так делать, и я делаю, — возразил Михайло.

— Брось! Давай я тебе покажу, как надо, — сказал гордо Воронов и совсем уже протянул руку.

— Это не ваше дело! — вскрикнул Михайло, быстро спрятал поделку и вскочил с места.

— Какой ты, погляжу я, невежа! — пренебрежительно сказал Воронов.

— Вы лучше или молчите, или уйдите, ежели не хотите неприятности...

— Чистый деревенский невежа! — дразнил Воронов.

Михайло засверкал глазами. Еще минута — и Михайло выбросил бы несчастного Воронова за дверь, но в это время дверь отворилась и явился сам Фомич.

— Что такое? Что вы кричите? — спрашивал он торопливо, смотря то на Воронова, то на Михайлу. Но прежде всего он угомонил Воронова, наперед зная, что виновник шума — он.

— Ты что, Петруша, тут куролесишь?

— Я только хотел показать, как следует по-настоящему... вот этому невеже!.. Потому что я — специалист, а он... — говорил Воронов торопливо.

Но Фомич живо прервал его.

— Какой ты черт специалист! Дурак ты, а не специалист! Глупость твоя специальность! Ты, пожалуйста, в другой раз не учи, где тебя не просят; Миша и без тебя знает, что надо...

Фомич говорил раздраженно.

— Вы очень нехорошо выражаетесь... Я лучше уйду... — сказал в замешательстве Воронов, но старался придать себе твердый вид, когда выходил в двери.

Фомич тогда обратился к Михайле, но сейчас же расхохотался. Глаза Михайлы сверкали, сам он весь дрожал от негодования и стоял уже в углу комнаты, как в боевой позиции.

— Эка как тебя Петруша глупый взволновал! — хохотал Фомич.

— Я его, Алексей Фомич, побью, ежели он еще... — зловеще произнес Михайло.

— Ну вот... выдумал чего еще! За что его бить?

Фомич перестал смеяться.

— Нет, ты этого не сделаешь, Михаил Григорьевич, — возразил он серьезно, — а если сделаешь, самому будет стыдно. Петрушка и без тебя бит... Ты, пожалуйста, не обращай внимания на него — пусть его мелет... Теперь лучше пойдем обедать, я тебе расскажу кое-что про этого несчастного.

Михайло послушался и мало-помалу успокоился, хотя еще и за столом нижняя губа у него дрожала... Но когда, узнав, в чем дело, засмеялась и Надежда Николаевна, то Михайле сделалось стыдно. Он попробовал улыбнуться и внимательно стал слушать Фомича.

— Ты сам заметил, Миша, как этот Воронов завирается. Он, может быть, тебе рассказывал, что бывал на петербургских заводах? Врет он! Вообще он то и дело врет... Ты сам слышал, как он постоянно употребляет иностранные слова? Но он их не понимает, и ежели говорит вообще, то смысла нет — такую чушь порет, что хоть уши затыкай... Да вот недавно приходит он ко мне и говорит, что у него меланхолическая шея... Ну, что ты тут сделаешь с ним?.. «Да дурак, говорю, ты, отчего ты никогда попросту не скажешь, что у меня, мол, худая, длинная шея, как у журавля! Ведь это слово-то, говорю, и не идет сюда, дурак!» Иногда вот так обрежешь его, а иногда плюнешь только, — ну тебя совсем... Вранье его особенное. Он действительно много

слышал, но настоящего-то ничего нет у него, что-то смутное осталось у него от всего слышанного, и вот этим он и козыряет! Одним словом, заметь себе, что никакой своей мысли и ничего *своего* у него нет. И, во-вторых, заметь, всю жизнь он был игрушкой... Ну теперь уж я по порядку расскажу, откуда вышел такой человечище... Жил он сначала в деревне с матерью, с сиротой, — мать-то его и теперь жива... Деревни я не знаю, как и что там, но думаю, что бывали у них такие времена, что пищей их был больше ничего, как лук. Одним словом, горько! Прожил он таким манером с помощью лука до одиннадцати лет, и по одиннадцатому году мать отвезла его вот сюда, в город, и отдала в ученье к слесарю. Какое нашему брату ученье — ты сам знаешь... Но битье ведь глядя по человеку. Ежели человек имеет что-нибудь в себе, внутри, какую-нибудь мысль, надежду, то битье ему нипочем, он его хорошо переносит. Лупи его сколько хочешь, а уж он добьется своего. А вот ежели которого человека бьют, и в то же время у него нечем подпереть извнутри это битье-то, ну тогда одна мука. Вот так и Петруша. Его били, а он только плакал и чувствовал боль. А били его слесаря здорово, хотя не больше прочих... Петрушка два раза пробовал бегать домой, но один раз поймал его сам хозяин, а другой раз сама мать привезла его обратно. Раз он также хотел утопиться, но его вытащили за волосы живого. Однако через некоторое время кончил он свое ученье... Да и то плохо же! Он может работать на заводах, с машинами, со всеми инструментами, по чертежу, когда ткнут ему в нос, что надо, но самостоятельно ничего не может. Вот теперь он перессорился со всеми заводами — и голодает; а голодает потому, что сам от себя ничего не может, замка не починит...

— Ты забегаешь вперед... — заметила Надежда Николаевна.

— Ну да, точно, вперед... Так вот о битье-то. Вдруг из эдакого ада он попал, лучше сказать, перелетел в самый рай! Нежданно-негаданно дали ему в руки счастье... Познакомился он случайно с одними молодыми господами, и те взяли его на руки, то есть прямо на руки. И носились с ним. Кормили его, поили, давали ему папиросы, одежду хорошую надавали ему, стали учить его грамоте... Но так как у Петрушки ничего своего не было, то он ничем и не воспользовался, даже хуже... Бывало, придешь в эту квартиру, а Петрушка развалился на диване и курит папиросу, плюет презрительно, спрашивает, скоро ли чай? Господа ухаживали за ним: рабочий, мол, из народу... всю жизнь, мол, был бит... Нечем бы заставить его учиться, а его носили только на руках, как куклу, хохотали каждому его слову, которое он выворотит. Заместо того чтобы заставить его работать над собой, ему говорят, что он — несчастный, обсчитываемый, мучающийся для других. Петрушка намотал это себе на ус,

как ни глуп! Даже этим господам стал говорить, что вы, мол, бары! вам бы только ездить по шее нас, несчастных рабочих!.. Вот только что́ понял Петрушка! Бывало, так и хочется дать ему хорошую затрещину! Главное, он стал жалеть себя, а это нет ничего хуже для нашего брата, сейчас же ослабеет. Так и Петрушка. Стал себя жалеть, винил во всем других, считал себя самым несчастным человеком на всем свете и ничего не делал. Грамоте он, правда, выучился... да плохо же! Бывало, только и делает, что валяется на диване и плюет на ковер. Стал он страсть как нахален. Бывало, придет и прямо требует денег или велит вести его пообедать в кухмистерскую. Господа сначала поблажали, а потом стали избегать его. Впрочем, скоро они как-то и разъехались все, и остался вдруг Петрушка безо всего, с одной азбукой да со словами, которых не понимал. Ты заметь это, был он в раю и вдруг опять слетел вниз! Когда разъехались господа, Петрушка должен был опять голодать, пошел на завод, принялся работать и, одним словом, из рая, где его носили на руках, вдруг опять в самую глубь, вон куда сверзился. Потому что он попал опять к битью. Били его теперь вот по какому случаю. Когда он тут очутился среди товарищей рабочих, то смотрел на них уже свысока, презрительно, считая себя ученым! С первого же дня начал палить в них иностранными словами, укорял их невежеством, учил их, перевирая все, что слыхал. Рабочие, конечно, смеются. А Воронов обижался, ругал дураков, которые глупы и не обращают на него внимания! Так вот иной рабочий слушает, слушает, да и давай его лупить, а драке Петрушка по слабости здоровья всегда уступал, потому что, как колотили его всю жизнь, то он весь насквозь пробит и продырявлен. У него и теперь на голове некоторые рубцы — это еще от его старого хозяина, от слесаря. Спина у него также попорчена. Постоянно жалуется на головную боль... Ему только тридцать лет, а он, сам видишь, как старик...

— Ты забыл еще один случай... — вставила Надежда Николаевна, хорошо знавшая все обстоятельства Воронова.

— Да, точно, забыл... С ним еще произошел один случай. Попал он в руки к одному барину, к тому самому, который часто бывает у меня, ты его видал не один раз, — Колосов. Человек суровый, серьезный. Петруша однажды сам попросил его заняться с ним... должно быть, находят же на него такие минуты, когда он сам видит, как пуст внутри. Попросил он Колосова, и тот согласился заняться. Но, вместо того чтобы исподволь, полегоньку забирать его в руку, он сразу, с первых же уроков, огорошил... «Вы ничего не знаете!..», «Вы говорите глупости!..», «Вам нужно работать, чтобы чему-нибудь выучиться!..», «Это неправда! Не говорите слов, которых не понимаете!..», «У вас нет никаких мыслей, кроме животных!..» Вот как принялся сразу

за него Колосов. Это все при мне было... Ну, думаю, ничего хорошего для Петруши не будет... его надо бы прежде погладить, тихохонько подкрасться к нему, тихохонько взять его в руки да уже тогда и насесть на него, чтобы ему дохнуть нельзя было зря. А Колосов сразу стал резать его на каждом шагу, кромсать его на куски, бил его сверху, снизу, с боков, и Петрушка мой окончательно поглупел и потерял всякий смысл. Я сразу увидал, что для Петрушки пользы от этого не будет: очень уж круто. И действительно, Колосов скоро отказался заниматься... «Этот Воронов, говорит, глуп, как пятьсот свиней». Да и сам Петрушка рад был оставить эти занятия, которые мучили его — не знаю как! Так и остался он тупой... Да и нельзя иначе, — то его бьют, то носят на руках, то опять он унижен, раздавлен. Так и остался он ни с чем. Надо тебе сказать, живет он тут в городе беда как скверно. Со всеми товарищами рабочими он нигде не может ужиться, не уважают его за его глупое самохвальство, смеются; хозяева также избегают его неуживчивости; он то и дело сидит без дела. Но и у него бывают минуты, когда он всей душой понимает, как подшутила над ним судьба, как его искромсали, какая он игрушка... Я тебе прочитаю его одно письмо к матери. Это письмо осталось у меня по такому случаю, что раз он пришел ко мне попросить денег на марку, а Надя дала ему больше, чем на марку... и письмо оказалось ненужным, потому что он написал сейчас же новое письмо, уже «со вложением»...

Фомич порылся между книгами и газетами, достал грязный лист бумаги с несколькими строками и прочитал его:

«Милая маменька, видно, я несчастный на всю жизнь останусь, оттого мне нет нигде счастия, а я уж болен сильно... Часто мне вам даже копейки взять неоткуда, а сам знаю, как вы бедуете там... У меня работы нет, голодаю, рубашка всего одна осталась, и ежели очень грязная, я сам возьму ее да мою, сушу и опять надеваю, а пока хожу в пальте... Подштанников у меня двое, да чуть живут! Однако я надеюсь вскорости вам послать два рубля. Очень мне чижело, маменька!»

— Вот видишь, как у него все тут хорошо, просто, — продолжал Фомич. — Он мучится, что не может достать два рубля старухе, которая ест лук. Куда все и слова иностранные девались! Ему тут и в голову не придет сказать, что у него, например, меланхолические подштанники! Вместо этого он прямо плачет слезами: «мне, маменька, чижело!..» А ты его хотел, Миша, побить. Заметь, он очень честный. Раз он у меня пропил тиски, так на другой день, как только очухался, снял с себя все дочиста и выкупил... Может быть, из него и вышло бы что-нибудь, ежели бы попал в руки. И не глупый он, а только вымотан, заигран.

Фомич увлекся и рассеянно ходил по комнате (обед давно кончился), не замечая, какое странное действие произвел его

рассказ на Михайлу. Надежда Николаевна заметила, но не понимала причины необычайного волнения Михайлы.

— Главная беда, несчастие, горе нашего брата в том, что мысли нет... именно той главной мысли, которая бы показала нам, что делать, куда идти, как жить. Нельзя требовать, чтобы простой человек был ученый, но он должен жить по-своему, а не по приказу, и знать, в какую точку бить для поправления бедовой своей жизни. Нечего рассчитывать на чужие головы, потому что от этого только будет игрушкой, куклой. А с куклой известно как поступают: как она бессмысленна, молчит, то иногда ее сажают на почетное место, кладут перед ней пирог и конфеты, иногда же бросают ее в темный угол и забывают о ней надолго; а иногда секут!

Фомич, кажется, еще хотел продолжать говорить, но в это время он обратил внимание на Михайлу. Последний мучительно волновался; он то вставал с места, то садился. Побледневший до губ, он вдруг вскричал:

— А ведь вы не знаете, кто я такой!

Фомич и Надежда Николаевна с удивлением переглянулись.

— Кто же ты? — спросил Фомич.

— Ведь я сидел в остроге! Чуть бы еще — негодяй бы вышел!..

Михайло судорожно выговорил это, как будто плакал навзрыд; но на лице его отражалось только негодование.

— За что ты сидел?

— Сжульничал!..

Надежда Николаевна с испугом смотрела на Михайлу, а Фомич нахмурил брови, и оба так растерялись, что не могли произнести ни слова.

Но Михайло не дал им опамятоваться и рассказал тот мелкий, хотя темный случай из своей жизни, который чуть было не погубил его. Рассказал он резко, коротко и с обычными дикими выражениями, как бы намеренно усиливая бичующими словами смысл дела.

— Вот какой я подлый был! — кончил свой рассказ Михайло и перевел дух.

Фомич и Надежда Николаевна молчали.

Михайло смотрел уже твердо, но подозрительно.

— Но вы не думайте ничего... Я был... а теперь подлость прошла. И я сказал оттого, чтобы вы не думали, что... ежели бы скрыл от вас ту пакость... Когда вы заговорили об игрушке, то я и решился...

— Да... много темного бывает с нашим братом... — возразил Фомич растерянно и задумчиво.

— Но вы не думайте обо мне худого... Я не тот теперь.

Выговорив это сквозь зубы, Михайло уже гордо посмотрел на Фомича, и во взгляде виднелась явная угроза: «Берегись

заподозрить меня в чем-нибудь!..» Но согласие было уже расстроено на этот день. Все чувствовали какую-то натянутость и поторопились разойтись в разные углы.

Михайло решился было работать за станком насильно, но, видно, взрыв раскаяния и самобичевания дорого ему стоил; он бессильно выпустил из рук работу.

Впрочем, через несколько дней Михайло восстановил дружеские отношения. Вышло так, что Фомич в этот день в первый раз за два месяца предложил ему деньги, как стоимость его труда, тем более что Михайло уже многое делал самостоятельно. Но, выслушав предложение, Михайло бросил презрительный взгляд на деньги, лежавшие на ладони Фомича.

— Нет, это вы покуда оставьте! — сказал он резко.

— Да ты что, чудак!.. — воскликнул Фомич.

— Рано еще... надо поучиться.

— Вот чудак! Значит не рано, если я тебе предлагаю!

— Это ваше дело. Но только вы, пожалуйста, подальше отойдите с вашими деньгами.

— Но ты по крайней мере дерзостей не говори!

Фомич обиделся и разгорячился; а Михайло прямо озлился и с пламенной ненавистью глядел на деньги, лежавшие уже на станке. На доводы Фомича он отвечал дерзостями и дикими словами, ни в чем не умеренный. В конце концов они оба начали буквально ругаться. Поднялся страшный шум в мастерской. Фомич растерянно брал в руки и опять швырял разные вещи, вовсе ему не нужные, и в страшном возбуждении ходил по мастерской, как будто что-то отыскивая; а Михайло ушел в дальний угол комнаты и оттуда сверкал глазами. Наконец приотворилась дверь, и Надежда Николаевна вопросительно посмотрела на обоих. Это сразу привело в память Фомича; он внезапно сел на стул, хлопнул себя по ногам и расхохотался.

— Чуть в драку не вступили!.. Ну, однако, ты, Миша, настоящий еж! Тебе — слово, а ты сейчас уж колючки свои растопыришь!.. Эдак, брат, невозможно!..

Фомич рассказал Надежде Николаевне из-за чего, собственно, они начали шуметь.

Но Михайло продолжал стоять в углу, по-прежнему вооруженный злобными взглядами. Только Надежда Николаевна успокоила его, сказав несколько ласковых слов.

С той поры натянутость между ними прекратилась.

С этого же времени начинается его открытое учение. Он понял, что ему надо много учиться. Это решение его сейчас перешло в неудержимое желание, как всегда. Ночные свои упражнения он до сих пор скрывал, но теперь как-то сразу решил, как это глупо, и сказал своим друзьям, что ему непременно надо учиться, для чего просил Фомича свести его к тому суровому барину, Коло-

сову. Фомич изъявил полнейшее удовольствие, только удивился, почему непременно к Колосову... не испугается ли Михайло его суровости? «Если он даже бить меня будет, я все-таки буду слушаться его!» — пояснил Михайло энергично.

На другой день после этого разговора Фомич свел его к Колосову, который согласился. Кроме того, Надежда Николаевна предложила еще свои услуги.

Михайло начал заниматься, не отлагая времени. День он работал в мастерской, а вечером бежал к Колосову и слушал его урок. Занимался он не то что с энтузиазмом, а с каким-то остервенением, и уж не учителю пришлось погонять его, а наоборот. В этом он, впрочем, обнаружил общедеревенскую алчность, направив ее только в другую сторону. Лично ему принадлежало неудержимое желание расти.

Это желание было до того исключительное, что из-за него он все забыл. У него оставались в деревне родня, друзья, невеста, — он их всех забыл, как будто был безродный. Он жил в большом городе, кругом него жили тысячи людей, — он их не видел, слепой ко всему, что не касалось образования его. Как прежде он убежал из деревни, все бросил, всю деревню забыл, думая лишь о том, чтобы обогатиться, так теперь он не думал ни о чем, кроме лишь уроков.

Ему хотелось как можно больше узнать, и он боялся, что не успеет всего сделать. Ему и теперь приходил в голову вопрос: «А что бы со мной было, если бы я не попал сюда?» Он не сомневался, что было бы скверно. Иногда ему приходили также в голову разные вопросы: «А что, если Колосов умрет!.. Или Фомич куда-нибудь уедет!.. Что тогда с ним будет?» Он боялся этого, потому что отлично понял, что ихнему брату образование достается совершенно случайно, и кому выпадет такой случай, тот должен ухватиться за него руками и ногами.



ЧЕГО НЕ ОЖИДАЛ

Паша шла в город под влиянием смутного ожидания какого-то счастья. Она прожила всю жизнь свою (более двадцати лет) в деревне, а в последние годы побывала во многих местах, исполняя обязанности горничной и кухарки у писарей, у деревенских купцов, у священников, но ей ни разу не приходилось бывать в городе. Отправилась она наудачу, с инстинктом перелетной птицы. Когда везший ее мужик, нанятый по пути за семь гривен, спустил ее с телеги при въезде в город, она пошла, сама не зная куда. Ни одной души знакомой не было у нее здесь, на этих широких, людных улицах, в этих больших каменных домах, если не считать жениха, о котором она несколько лет не слыхала, хотя, по ее предположению, он здесь живет. Тем не менее шла она довольно спокойно и довольно глупо, как будто у ней здесь был дом, куда она войдет, разденется и сядет. Ходила, ходила она таким образом с узлом и вдруг решилась зайти в первый попавшийся дом...

Судьба иногда сжаливается над такою простотой. Часто местные жители сбиваются с ног, ища «местов», и не находят, а придет ротозей, попадет в самое настоящее место и сядет, не подо-

зревая, что из-за этого места десятки людей вступили бы в драку. Когда по приходе на двор неизвестного дома она спросила неизвестного человека о месте, ей сейчас же указали дверь, куда надо войти и где требуется прислуга. И едва Паша вошла в квартиру, сказала несколько слов, обнаружив свой наивный вид, как уже нанялась. Ей сейчас же показали кухню, где она преспокойно разделась, пригладила волосы, смахнула ладонью пыль с лица, положила узел на собственную кровать и просто спросила, что делать теперь?

Барыня, обрадованная такою глупостью, велела пока отдохнуть, а сама пошла к мужу и с нескрываемым удовольствием объявила, что наняла девушку... «вероятно, откуда-нибудь прямо из густого леса». Барин также выразил удовольствие и заметил, что «эдакие-то, из лесу прямо, лучше, по крайней мере честнее».

Но уже с следующего дня Паша узнала, что если глупость и нравится господам, то ненадолго. С следующего же дня девушка, не знавшая городских обычаев, начала получать внезапные острастки: «не так! не то! не туда!..» Сначала барыня говорила это мягко, с улыбкой, но потом строже; потом с некоторым повышением в голосе; наконец гневно: «Как ты глупа, Прасковья!» Потом уже начались окрики: «Куда ты!..», «Да разве это?..», «Да что ты делаешь!..» Сообразно с этим и Паша сначала выслушивала замечания спокойно, потом с некоторым вниманием, но все еще не прибавляя шагу, потом ускорила свою походку, наконец принялась бегать, то есть соваться, как угорелая. Бедная девушка до сих пор привыкла только к тяжелой, но грубой работе — перенести с заднего двора в избу теленка, вынести из избы на двор лохань с помоями пуда в три и пр.

К ее несчастию, она попала к таким господам, которые получали мало, а жить хотели широко. Больше одной прислуги они не могли держать, но требовали, чтобы в одной ее особе совмещалось сразу несколько человек: во-первых — кухарка, а во-вторых — горничная, в-третьих — нянька, в-четвертых — лакей. Девушка все должна была делать, у нее не было ни одной минуты, когда бы она оставалась спокойною. Едва она приставит на плиту кастрюлю, как должна набивать папиросы, а не успеет кончить с папиросами, как барыне нужно вычистить ботинки и т. д. Ежеминутно обремененная десятком поручений и требований, она ни одного из них хорошо не исполняла, за что ей говорили, что она глупа как осел; сразу заваленная несколькими делами, она по необходимости каждое из них выполняла медленно, почему ей то и дело говорили, что она движется, как слон. Но на самом деле Паша бегала со всех ног, натыкалась на двери, летала с лестниц, во весь дух мчалась по улице или кружилась около плиты с раскаленным лицом. Даже и вечером не было

покоя. Господа уходили в гости, а детей оставляли на ее руки, причем она должна была вести их гулять. А на прогулке они не давали ей вздохнуть; не успеет она отвернуться, как один из них уже схватил навозную щепку и взял в рот, чтобы съесть, и не успеет она вынуть изо рта этого ребенка щепки, как другой уже засматривает в канаву, наполненную водой, с очевидным намерением нырнуть туда; а пока она оттаскивает от канавы этого сорвиголову, как позади ее раздается раздирающий душу крик!

Но Паша не жаловалась. Ей казалось невозможной жизнь без работы. Она ругала, напротив, себя, что ничего не умеет в городе.

Однажды Паша побежала в библиотеку за книгами, которые были записаны на записке; библиотека отстояла в двух шагах от ее дома, но ей никак нельзя было пройти обыкновенной походкой, потому что в то же самое время барыня велела ей выбить ковер, и в то же самое время у ней на плите все бурлило, убегало, горело. Она бегом пробежала по улице, вскочила на подъезд и без памяти бросилась вверх по лестнице. Ко всему глухая и слепая, она вдруг наткнулась на какого-то барина, чуть не сбила его с ног и хотела уже броситься выше, как вдруг вскрикнула слабо, остановилась и широко раскрыла глаза. У нее подкосились ноги, когда она взглянула в лицо господина.

— Господи!.. да никак это Миша! — прошептала она тихо, но ясно.

Михайло также был поражен и остановился неподвижно; его бледное лицо вспыхнуло, руки, державшие книги, задрожали. Но через минуту он оправился и поздоровался с девушкой, когда-то близкой ему.

Он закидал ее вопросами, но большая часть их были нелепы, как и всякие вопросы первого свидания. Впрочем, Паша была так взволнована встречей и так поражена его наружностью, что чувствовала вместо радости что-то вроде ужаса; она только слабо восклицала от времени до времени да смотрела широко раскрытыми глазами; Михайло был не менее взволнован встречей, которая сразу воскресила его прошлое, и это прошлое вдруг всего заполонило его.

Так они стояли на лестнице несколько минут, пока Михайло не кончил. Он расспросил Пашу, где она живет, попросил ее собраться завтра и ждать его; он придет за нею и возьмет ее. Он не знал еще, что намерен делать, но чувствовал, что должен взять девушку. Последняя безмолвно согласилась выполнить все, что он хочет. Михайло быстро спустился с лестницы, вышел на улицу и здесь подождал, пока Паша вернется с книгами. Она скоро вернулась и бежала к двери; но, спускаясь, она инстинктивно оглянула себя, поправила передник, пригладила

волосы и, очутившись опять возле Михайлы, боялась поднять глаза.

— Господи!.. какой вы сделались, Михайло Григорьич... — заметила она.

— Какой?

— Такой, что и узнать нельзя... Господи! да кто же вы теперь будете?..

Михайло в ответ на это торопливо простился, поцеловав девушку побледневшими губами, и они разошлись, взволнованные и потрясенные.

Когда Михайло остался один, то растерялся среди тысячи мыслей, которые закружились у него в голове и из которых каждая приносила с собой какой-то ужас, непреодолимый ужас. Паша вдруг восстановила его прошлое: он вдруг вспомнил отца, мать, сестер, друзей, товарищей игр, всех мужиков, всю деревню!.. И все это лезло к нему с укором, с нищетой, с такой грустью. И он видел, что до сих пор все это забыл, помня лишь одного себя. И Пашу забыл. А теперь она явилась, напомнила себя, напомнила все, а между прочим указала ему, что он стал барин, добился счастия, а она... Полный ужаса и чувствуя, что его как будто застали на месте преступления, он проходил одну улицу за другой и не мог овладеть собой. Ему казалось, что в образе Паши пришла за ним жалкая деревня, из которой он вырвался, ухватила его за полу и тянет туда к себе, на мрачное дно. И ему кажется, что у него нет сил сопротивляться, и он пойдет туда потому, что подло изменил, ушел, забыл!.. Он сам достиг счастья, добыл его для одного себя, а там... нищета, недоимки, скверный хлеб, грязь!.. Он должен идти туда... За ним прислали!..

Михайло шел, как приговоренный преступник, в полном смятении, убитый, раздавленный и потерявший всякую силу... Но вдруг его озарила молния; он почти подпрыгнул, неподвижно остановился на тротуаре и вперил неподвижный взгляд на идущего человека, загородив ему дорогу...

— Вы что-нибудь хотите спросить у меня, милостивый государь? — тревожно осведомился барин, так внезапно остановленный неизвестным...

Михайло захохотал, бросился в сторону, чтобы дать дорогу барину, и пустился бежать по улице, оставив барина в жертву полного недоумения. Миша бежал, и лицо его теперь уже не отражало ужаса; оно было спокойно и твердо, и глаза светились радостно. Он нашел выход: жениться. Боже мой! как же это такая пустая мысль не могла ему прийти в голову и он испугался бедной, робкой девушки? И Миша сейчас же припомнил, какая это была простая, честная, работящая девушка. Ему будет хорошо с ней. И он загладит свою вину перед ней.



В свою квартиру Миша пришел уже спокойно. Радость не переставала светиться на его лице. Любит ли он? Нет, у него не было любви к Паше, но он чувствовал что-то такое, что не хуже любви... Озаренный этим внезапным чувством, он присел к столу в своей комнате, и тихая грусть овладела им; он припомнил выражение лиц отца, матери, сестер, их слова, поступки, дом их, хозяйство, тысячу мелочей...

Немного погодя, он придвинул к себе чернильницу, бумагу, взял перо и принялся писать письмо к забытым:

«Милые, родные мои!..»

Когда он оканчивал, по бледному лицу его катилась слеза, а когда он окончил, он обыскал все свои карманы, вынул из бумажника все деньги, бережно завернул их и вложил в конверт. Это он в первый раз платил дань своим деревенским близким.

Затем мысли его перешли к Паше, и он решил окончательно пригреть бедную, бездомную и безродную девушку. Она когда-то в деревне (как давно это было, хотя прошло не более четырех лет!) говорила, что, скажи он слово, — она пойдет с ним в церковь, пойдет всюду, куда он хочет. Но он тогда все откладывал, а потом забыл ее, когда пришел в город. Теперь пришло время успокоить бедную...

На другой день рано утром Миша уже был возле дома, где служила Паша, которая была готова. Он посадил ее на извозчика, взял из рук ее узел и привез к себе на квартиру. Смотрел он спокойно, но задумчиво. Паша робко взглядывала на него. Она говорила ему «вы», всему, кажется, удивлялась, что он говорил, и молчала. Ему это, видимо, не нравилось, но он с улыбкой просил звать себя по-прежнему. Паша, однако, отрицательно покачала головой, как бы говоря: как же это возможно!

Когда они вошли в его комнату, Паша остановилась около порога, не решаясь двинуться дальше. Михайло нахмурился, и она инстинктивно догадалась, что надо делать: отошла от порога и села на первый стул. Комната была чистая и бедная. Но Паша любопытно осматривала незнакомую, невиданную обстановку. Ее, видимо, поразила висевшая на вешалке одежда. Это была слабость Михайлы; он тратил много денег на одежду. По приходе со службы, он немедленно умывался и переодевался, всегда чистый и опрятный. Паша боязливо спросила:

— Это все ваши пальты?

— Одежда? Моя... — отвечал Миша.

— Чай, дорого!!

— Не знаю, Паша... забыл.

Паша увидала лампу с абажуром молочного стекла.

— И лампа эта ваша? — спросила она.

— Конечно...

Михайло хотел что-то сказать, но в это время его перебила Паша, внимание которой было привлечено другими предметами.

— Ух, сколько ведомостей у вас!.. Читаете?

— Читаю.

Паша с испугом смотрела на груду печатной бумаги.

— А что, можно прочитать одну такую штуку в день? — спросила она.

— Какую штуку?

— А вот одну ведомость...

— Можно несколько номеров в день прочитать, кому охота, — возразил Михайло.

— Как вы выучились хорошо! — как бы про себя заметила Паша, но с непонятной грустью в голосе.

— А эти книги, должно, оттуда? — удивленно спросила она и показала рукой в ту сторону, где, по ее предположению, была библиотека, памятная теперь для нее на всю жизнь.

— Из библиотеки, думаешь? — Нет, здесь почти все мои...

— И вы все их умеете читать?

Михайло не позволил себе улыбнуться и спокойно объяснил, что достаточно научиться читать одну книгу, чтобы читать потом все на этом языке... Другое дело — понимать; можно читать и в то же время ничего не смыслить... Паша недоверчиво взглянула в лицо Миши, — так были нелепы, по ее мнению, его слова. Процесс чтения она не разделяла от процесса понимания; читать — значит узнавать, что написано... Михайло прекратил разговор об этом.

Паша была грустна и, видимо, волновалась.

— Вы где же служите? — наконец спросила она с глубоким волнением, ожидая услышать что-то страшное. Ей казалось, она была убеждена, что Михайло Григорьич сделался таким барином, что ей, глупой, лучше уйти.

— Я помощником машиниста на одном заводе, — сказал Михайло.

Паша с напряженным испугом выслушала это, долго боясь спросить. Наконец осмелилась.

— Это что же такое... машинист?

Михайло затруднялся.

— Как тебе сказать... Это который управляет какой-нибудь машиной, поправляет ее, дает ход... Так я вот помощник, а скоро буду главным...

— А много доходу получает он?

— Жалованья? Смотря как... Для семейного человека немного. Но нам с тобой хватит... Вот что, Паша... мы через несколько дней обвенчаемся, а покуда я отведу тебя к одним моим друзьям. Надо подыскать другую квартиру, купить кое-что, вообще приготовиться...

И Михайло ласково смотрел на Пашу.

Последняя вспыхнула до корней волос, и на глазах ее навернулись слезы. Но она ответила практически:

— Не обманите меня, Михайло Григорьич!.. Вы вон какой теперь барин, а я деревенская... где же мне угодить вам?

Михайло в свою очередь взглянул, потом побледнел, но обвинил себя за такую недоверчивость девушки... Через минуту он был уже спокоен, хотя горячо заговорил:

— Разве я обманывал когда-нибудь тебя, Паша? А я такой же все... — он поспешно и коротко рассказал свою жизнь в городе, как он перебегал от одной работы к другой, отыскивая чего-то лучшего, как голодал и шлялся оборванным и злым, как сделал подлость и поплатился за то, как одно время ослаб, потеряв всякую надежду на счастье, как случайно попал к людям, которые обласкали его, и как он стал учиться... Прошло почти три года с тех пор...

— Какой же я барин! Вон, посмотри, висит моя блуза, — она прожжена вся и запачкана... Вот мои руки — на них мозоли, а в порах их уголь, железо, масло... Но я многому научился... Но это не помешает нам с тобой жить! — кончил Михайло.

Паша хотела обнять его, но только закрыла лицо руками.

Потом они пошли к Фомичу и Надежде Николаевне. По улицам на них смотрели прохожие, потому что они представляли довольно странную пару. Это, однако, не могло смутить Михайлы. Не смутился он и у Фомича, когда по приходе с Пашей отрекомендовал ее своей невестой и просил приютить ее на несколько дней. Он только подозрительно оглянул друзей, чтобы убедиться, не смеются ли они?

Фомич и Надежда Николаевна не смеялись, но словно удивились, — Миша никогда во время житья у них и после ухода с их квартиры (полгода тому назад) не говорил им не только о невесте, но и вообще о чем бы то ни было, касавшемся женщин. Но они приняли сейчас живейшее участие в Паше, которая, по обыкновению, остановилась около порога и держала в руках узел свой с имуществом. Надежда Николаевна усадила ее, взяла из рук ее узел, положила на место, стала ее расспрашивать; а когда Миша ушел, предложила ей позавтракать.

После завтрака Паша села на краешек стула, сложив руки на коленях, и тоскливо слушала, что говорили между собой хозяева. Посидев так с час, она вдруг спросила Надежду Николаевну:

— Нет ли чего поработать у вас?

Надежда Николаевна улыбнулась, но недоумевала, что бы ей сказать. Паша увидала, что в комнате пол грязный, потому что во дворе было грязно. Это было обрадовало ее.

— Я бы пол вымыла... — предложила она.

— Зачем? — возразила Надежда Николаевна.

— Да он, вишь, черный...

— Ничего, завтра вымоют.

Паша опечалилась этим отказом и скучно обвела глазами комнату. Ее внимание теперь обратил на себя завязанный чулок, лежавший на одном окне.

— А чулок можно повязать?

Надежда Николаевна опять рассмеялась и уже хотела убеждать, что чулок в свое время будет окончен, но в это время вмешался Фомич. Он скорее понял состояние Паши.

— Ты, Паша, пожалуйста, делай все, что тебе хочется. Хочешь чулок — вяжи. Вымой пол, если тебе нравится, делай еще что-нибудь, вообще что угодно, не спрашивая позволения.

Паша взяла чулок и с видимым удовольствием принялась вязать его, в то же время внимательно прислушиваясь к разговору. Впрочем, долго она и не скучала. Миша взял отпуск на несколько дней и быстро окончил приготовления; купил кое-какую утварь, нанял квартиру, справился у попа и т. д. Фомич не успел одуматься, как уже все было готово к свадьбе; поэтому он поспешил высказать свой взгляд на все это странное дело.

Он нарочно раз вечерком зашел к Михайле, но долго не знал, как начать. Он барабанил пальцами по столу, некстати вынимал из кармана платок и без нужды сморкался, выразительно посматривал на товарища, но чувствовал, что язык у него пристал к нёбу.

— Послушай, Миша... — наконец решился он. — Я тебе хочу кое-что сказать... Ты, пожалуйста, не обижайся... Я от всего сердца это говорю...

Фомич, говоря это, шумно высморкался и чувствовал, что в комнате довольно жарко.

— Ну? — спросил Михайло, давно ожидая этого разговора и наперед зная, о чем будет речь. Как бы удивился Фомич, если бы догадался об этом!

— Видишь ли, Миша... Я удивляюсь твоей женитьбе... Нехорошо вмешиваться, конечно... мне бы не следовало путаться в это дело... но я боюсь за тебя! Паша даже неграмотная... как вы будете жить? Что у вас общего?.. Вот что я хотел сказать... И ты не прими дурно.

Фомич, высказав это, еще раз высморкался, ожидая от товарища одного из тех взрывов, которых Фомич побаивался. Но Миша спокойно выслушал, только нахмурился.

— Она простая, добрая... — возразил он.

— Я не сомневаюсь, но как ты будешь жить с чужой...

— Она мне не чужая! — вспыхнул Михайло сначала, но вдруг замолчал и задумался. Фомич наблюдал его.

— Мне скучно одному, Фомич! — вдруг сказал Миша.

— Поэтому и женишься?

— Отчасти... Но ты лучше оставь об этом, — она мне своя, родная... Но мне от чего-то другого невесело, Фомич!

Фомич взглянул в лицо товарища, худое, бледное и скучное.

— Ты несчастлив, Миша? — спросил он.

— Не знаю. Но мне что-то дурно живется...

Михайло редко был так откровенен, и Фомич понял, что если он так говорит, то, значит, есть что-то.

— Что же тебе еще нужно? Ты получил то, чего нет у миллионов, — развитие и хлеб...

— А что же дальше? — спросил пытливо Михайло.

— Как что? Да чего же тебе... какой ты странный! — возразил Фомич удивленно.

Михайло вдруг с злостью рассмеялся и перевел разговор на другое. Тем эта неожиданная откровенность и кончилась. Миша, может быть, и сам плохо верил в свои слова, убежденный, что все это — глупая блажь, да в это время ему и некогда было заниматься собой.

Занят он был в это время Пашей. Через несколько дней они обвенчались. Надежда Николаевна была посаженой матерью у Паши. Приглашены были: товарищ Миши, машинист, несколько простых рабочих с завода и, кроме того, Воронов Петруша и Исай. Воронов добыл откуда-то черную пару; правда, у сюртука большая часть пуговиц отсутствовала, но Воронов гордо поглядывал на себя и презрительно на кроткого Исая. Последний был с самого начала так испуган его взглядом, что сидел в дальнем углу комнаты, почтительно вскакивал, когда Воронов бросал на него взгляд, и ежеминутно ожидал, что этот строгий барин непременно ему даст хорошую затрещину, — ты куда, мол, затесался, свинья! За исключением этих двух гостей, все остальные провели свадебный день весело, хотя вина не было.

Молодые поселились в своей квартире. Потянулись спокойные дни для них. Михайло уходил с утра на работу, приходя только на полчаса пообедать, и возвращался домой вечером. Паша готовила обед, мыла, чистила, гладила и завела в доме такую чистоту, что боязно было даже шаг сделать. Паша была счастлива, требуя только того, чтобы Миша побольше давал ей дела, чтобы она не сидела сложа руки. Последнее сильно беспокоило ее. Хозяйство их, в сущности, было скудное. Встанет она чуть свет, сделает обед, вымоет четыре тарелки (больше нет), два ножа, две вилки, несколько разных посудин и с удивлением спрашивает себя, что же еще делать? Ничего! Тогда она почти собирает пылинки с пола, вымоет без всякой надобности чистые окна, вычистит всю одежду мужа — и опять делать нечего.

Одно открытие сильно поразило ее.

— А я думала, ты богатый!.. — сказала раз грустно Паша.

— Почему же ты так думала? — спросил с интересом Миша.

— А как же? Кто умный, у того и всего много.

— Ну, это не всегда... — засмеялся Миша.

Затем Паша обратила внимание на самого Михайлу Григорьевича. Отчего он такой нездоровый? Иногда скучный? Пожаловаться на него она не могла, — он всегда был с ней ласков. Но она его жалела. Она была убеждена, что это он на работе убивается.

— Какой ты худо-ой! — раз заметила Паша с любовью и жалостью.

— Я здоров, Паша... — возразил Михайло, ничего не подозревая.

— Какое уж... Погляжу я, сколько дураков на свете шляется, которые богатые, а ты вот, умный человек, сиди!..

— Разве ум и деньги одно и то же, Паша? — спросил Михайло.

— Я про то и говорю, сколько дураков на свете шляется богатых, а ты вот...

— Тебе недостает чего-нибудь, Паша? — спросил Михайло, еще не понимая.

Паша обиделась на этот вопрос и горячо возразила:

— Разве я о себе! Мне тебя жалко! Сколько работаешь, а все не поправляешься. Ты бы на другую должность перешел...

— Зачем? — спросил Михайло.

— А чтобы разбогатеть, — ответила с волнением Паша.

— Да зачем разбогатеть! — возразил Михайло пораженный, потом засмеялся.

Паша готова была заплакать, убежденная, что муж смеется над ней. Михайло с тех пор перестал смеяться в таких случаях. А таких разговоров было много, и надо было серьезно подумать, как прекратить недоразумение...

— Я нынче с хозяином разговаривала, — раз сказала Паша грустно.

— С каким хозяином? — спросил Михайло, отрываясь от книги.

— С нашим, с домовым.

— Ну так что же?

— Дурак он! А вот тоже имеет две лавки да дом вон какой страшенный... а неграмотен даже! Посмотрела я, как он подписывает свою фамилию: возьмет перо в руку, а эту руку держит другой да еще ногами упрется и до-олго возит!.. а потом встанет и вытирает пот с лица — устал, горемычный! А дом-то вон какой!..

— Ну и черт с ним, с его домом! — говорит уже с некоторым раздражением Миша, наперед зная, о чем речь.

— Да ведь у него еще две лавки?!

— Ну так что же?

— Вот бы и ты... торговал бы... А то все на хозяина убиваешься.

— Это невозможно, Паша, — просто сказал Михайло. Он не осердился, но твердо сказал, что богатства ему не надо.

Паша этого не понимала. Для нее богатство составляло высочайшую вершину существования, первое и последнее желание людей. Но она желала денег вовсе не для того, чтобы сложить руки, разжиреть и смотреть заплывшими оловянными глазами на мир божий, как большинство женщин в ее положении. Ей хотелось только, чтобы ее милый Миша перестал убиваться и поправился здоровьем; ей хотелось бы еще, чтобы ей было над чем работать. Ее идеал был дом, битком набитый благодатью. Она желала, чтобы у них был свой хороший дом, чтобы в этом дому было накладено, напущено, набито всего вволю, чтобы она с утра до ночи ходила, смотрела, носила, укладывала, хранила... Ей не нужно было богатства для того, чтобы есть, пить, лежать на перине или сидеть, сложа руки на животе, и хлопать оловянными глазами, — она довольствовалась бы солеными огурцами, накрошенными в квас, и хлебом. Она была бы счастлива работой среди обилия и думала бы только о том, чтобы копить, набивать вещей и напускать всякой живности еще больше.

Это Михайло знал, потому что некогда верил в большую часть такого идеала; голодная деревня физически не могла дать ему мыслей. Теперь все это прошло, и он смутно помнил, как тогда думал, но мысли Паши понимал и не сердился на нее.

А Паша пробовала несколько раз заводить разговор об этом предмете, — разговор, начинавшийся и оканчивавшийся однообразно.

— А я нынче встретила лукьяновского писаря, у которого жила... — говорила Паша.

— Ну так что же?

— Хорошо живет! У них сколько птицы, четыре коровы, пара лошадей... Жалованье у него небольшое, да доходу много...

Начинается убедительное перечисление того, что есть у лукьяновского писаря с женой, — перечисление, оканчивающееся всегда так:

— Вот бы и ты перешел в писаря! — кротко говорила Паша и с жалостью смотрела на бедного Мишу.

Чтобы раз навсегда покончить с такими разговорами, Михайло однажды спокойно сказал, что это невозможно, горячо пояснив в то же время, что одна нажива, без всякой другой мысли, много честности убивает, а если кто сразу наживается, то это почти верный признак, что человек тот — негодяй. Наконец он твердо попросил Пашу не говорить больше об этом. Паша напряженно выслушала; она всем сердцем поверила словам мужа

и больше ни одним намеком не говорила о «богатстве», хотя не понимала...

Михайло отдавал себе отчет во всем, что испытывала Паша. Раньше ему как-то в голову не приходило, что будет делать его жена, на которую у него остался деревенский взгляд... «Около печки... квартиру убирать... шить будет...» — смутно думал он, когда до женитьбы представлял свою жизнь с Пашей. Теперь ему пришлось ломать голову, потому что он отлично видел, что Паша сильно скучает от безделья. Работы по дому ей хватает на каких-нибудь два-три часа, а что же еще?.. Чтобы занять ее, он одно время принялся обучать ее грамоте. Но дело кончилось несколькими уроками. Паша сначала радостно принялась, но после первого же урока сделалась мрачною. На другой день она слушала с мучительным напряжением. В следующие дни во время урока на нее нападал непреодолимый страх. Михайло, как всегда, ласково толковал ей смысл букв, но она молчала как могила. Когда он заставлял повторять что-нибудь, она только с ужасом глядела в одну точку и молчала как мертвая. Раз, не дождавшись ответа от нее, он с досадой проговорил:

— Что же ты молчишь?

Паша с ужасом смотрела на одну точку.

— Скажи хоть что-нибудь!

Гробовое молчание.

Михайло принялся толковать снова. Но вдруг в комнате раздался плач, сперва тихо, в виде всхлипывания, потом громко, раздирающим душу образом. Это Паша разревелась навзрыд.

— Ты о чем плачешь? — спросил муж, перепугавшись.

— Да не понимаю!.. — судорожно выговорила Паша и обливалась потоками слез.

— Так о чем же плакать-то! Ты бы лучше выругала меня дураком да шлепнула об пол вот эту книжонку!.. — и Михайло, расхохотавшись, зашвырнул книжку в отдаленный угол и ласками успокоил Пашу. Этим и кончились уроки грамоты. Михайло понял, что Паша — это честная рабочая сила, и только. И ему это нравилось.

Он купил ей швейную машину; она брала работу со стороны и не скучала больше по целым дням. Михайло с удовольствием следил за ней по нескольку часов сряду, — следил, как она весело работает, как уверенны все ее движения, какое безмятежное довольство лежит на всем ее лице. Иногда он брал ее к Фомичу и Надежде Николаевне. Паша, однако, там сильно скучала. Фомич, Надежда Николаевна, Миша, иногда Колосов беспрерывно говорили, а она сидела, сложив руки на колени, и едва удерживалась от зевоты. Иногда сидит, сидит так и незаметно выйдет из комнаты в кухню. Там представлялось ей сейчас же обширное поле деятельности. Она сперва так, от скуки,

вычистит, например, самовар, но потом увлечется и давай все прибирать, чистить, мести; раскраснеется вся и воодушевится, пытливо осматривая каждый угол, не скрылось ли что-нибудь недоделанное. За кухней она перейдет в переднюю, — тут все вычистит вплоть до калош включительно, а из прихожей выйдет в сени, откуда уже по пути зайдет в кладовую и там приберет все, да, кроме того, по пути же спустится на двор, чтобы вымести крыльцо, а крыльцо лучше бы и не мести, если двор около него засрамлен. И Паша с волнением схватывает веник и метет двор около крыльца Фомича. После этой маленькой, веселой прогулки она возвращается в комнату уже довольною, с румянцем на щеках и с разгоревшимся лицом, на некоторых частях которого блестят капли пота, как утренняя роса. Лицо ее воодушевленное и умное.

— Где ты была? — спрашивают ее, все вдруг обращая на нее внимание.

— А я там в кухне... немного прибралась... все же Надежде Николаевне меньше будет хлопот завтра.

Надежда Николаевна смеялась, Фомич искоса взглядывал на Мишу, надеясь подметить в лице последнего досаду или что-нибудь вроде этого. Но Михайло ласково смотрел на жену... Он любил всего больше именно эту голую рабочую силу, которая сама себя удовлетворяет. Он завидовал Паше. Душа ее всегда спокойна, думал он. Она ни о чем не думает, кроме работы, которую сейчас делает; кончив одну работу, она придумывает другую, и в сердце ее — вечный покой... А у него нет! И мог ли он думать, что результатом всех его отчаянных усилий — вырваться к свету из рабочей темноты — будет неотлучное беспокойство, наполняющее его душу холодом? Странно сказать, Михайло иногда желал пожить так, как живет Паша! Но к такой жизни он уже не был способен; у него было уже слишком много мыслей, чтобы удовлетвориться растительным покоем. И чем сильнее болели в нем какие-то внутренние раны, тем больше он привязывался к Паше, находя в ней то, чего в нем не было или что пропало навеки.

Вопреки опасениям Фомича, нашлось между ними и кое-что общее. По вечерам у себя дома у них с Пашей происходили длинные разговоры о деревне, о его отце, о телятах, о хомуте... Он с величайшим интересом расспрашивал, жив ли отцовский мерин, походивший на шкуру, набитую соломой, все ли он так худ, как прежде, или уже умер, а на его место купили другую шкуру? Цел ли плетень, выходящий на улицу, или его пробили свиньи головами, а ветер докончил разрушение, или он сожжен в печке в холодный зимний день, когда не было дров?.. Иногда он хохотал над собой за эти расспросы и все-таки спрашивал, желая знать мельчайшие подробности жизни родных, друзей, знакомых...

Ему не скучно было слушать эти, по-видимому, ничтожные, пустяки. Но он и не был весел. Слушая Пашу, которая обо всем рассказывала толково и сочувственно, он иногда смеялся, но это не был веселый смех.

Он всегда садился за стол и клал голову на руки, или вдруг задумывался и ходил по комнате, повесив голову; или вдруг ускорял шаг и быстро ходил, сверкая глазами, как будто его что-то обожгло. Но чаще всего он неподвижно сидел возле лампы за столом и расспрашивал, слушал, смеялся, грустил. По-видимому, эти разговоры доставляли ему наслаждение и вместе с тем муку. Когда Паша умолкала, он снова расспрашивал, иногда по нескольку раз одно и то же.

— Ну, а как отец?

— Да что же... батюшка ничего... живет, — отвечает Паша.

— Старик?

— Конечно, уж стар становится.

— А работает же?

— Как же, везде сам.

— А если по праздникам... шапку в кабак?

— Бывает... пья-аненький придет домой и все больше упрашивает матушку не гневаться. А матушка налетит на него, ударит рукой или пхнет с гневом, а он упадет и упрашивает не обижать его...

— Упрашивает?

— Да. Потом заснет.

— А кроме шапки еще что?

— Бывает, шапки-то мало, так и сапоги спустит.

— Без сапог?

— В старых валенках ходит.

Михайло смеется, представляя себе картину, как отец ходит в валенках по дождю; потом задумывается...

— Ну, а мать?

— Матушка ничего... ходит все.

— Плачет?

— Случается. О тебе очень тосковала...

— Старая уж, чай? Скрючилась?

— Конечно, уж не молодая. Осторожно ступает, а все-таки ходит же.

— Так они голодали, когда я ушел?

— Нуждались, должно быть, сильно.

— А огород с капустой как?

— Что-то я не помню... Должно быть, нет. Какая уж тут капуста!..

Эти бесконечные разговоры тянулись иногда за полночь. Иногда, впрочем, случалось, что Миша ни о чем не спрашивал по целой неделе. По приходе с завода он тогда ходил из угла в угол,

скучный и рассеянный. Паша не мешала ему, не приставала с расспросами, но только себя спрашивала: и о чем он все думает? Едва ли и сам Михайло мог ответить на этот вопрос. Беспокойство его было неопределенное, как тот гнет, который является в мрачный день, когда на небе тучи, когда тяжело давит что-то. Он регулярно ходил на работу, где со всеми был ровен, спокоен и, по-видимому, доволен, но приходили дни, когда он места себе не находил. На него вдруг иногда нахлынут силы, и он готов подпрыгнуть и чувствует, что он должен куда-то идти, бежать и что-то делать; но это мгновение проходило, и он оставался с неопределенною тоской, недовольный и обессиленный, как будто кто его обманул. Эта тоска сделалась, наконец, неразлучной с ним, хотя лицо его оставалось спокойным и самоуверенным. Чего было ему надо?

Быть может, в самом процессе отчаянной борьбы, начатой им с малых лет за свое «я», в то время, когда он из всех сил лез наверх и тратил энергию на подъем, который был крут и тяжел, — быть может, в этом самом процессе он захватил душевную немощь, истощил и развеял силы и стал неспособным на довольство и на счастье? Грудь разбита и изранена злобой, мысль обострилась, всякое простое ощущение отравлено каким-нибудь воспоминанием прошлого... А быть может, Миша принадлежал к числу тех русских людей, которые, дойдя до предположенной цели, не могут остановиться и отдохнуть, неумолимо движимые какой-то страшной силой все дальше, дальше вперед, к неизвестному концу? Но верно одно: беспричинная тоска!

Он, наконец, сам сознал это, — понял, убедился, что ему нет нигде покоя — и не будет! Когда он с дикой энергией пробивался сквозь тьму к солнцу, он постоянно думал: вот получу — и довольно... Он получил теперь то, что хотел, но вместе получил и то, чего не ожидал, о чем не думал и чего физически не мог представить себе, — беспричинную, постоянно грызущую тоску. Он сначала испытывал ее, не сознавая, а теперь понял, почти физически убедился в ее существовании. Это было открытие! У него была не та тоска, которая приходит к человеку, когда ему есть нечего, когда у него нет одежды, когда он лишен приюта, когда его бьют и оскорбляют, когда ему, словом, холодно, больно и страшно за свою жизнь. Нет, он нажил другую тоску, не ограниченную временем и местом, — тоску безграничную, во все проникающую, вечную!..

Михайло дошел до этой высочайшей точки, до которой люди дорастают; он дошел до этой беспричинной тоски, до этого смутного беспокойства за все, чем живут люди. Он уже не думал о себе, его не пугала больше своя участь, в нем уже не было того эгоизма, который до сих пор двигал его вперед и под влиянием которого он забыл всех родных, близких, друзей; но беспокоился уже за

все, по-видимому чужое и не касавшееся его. Мало того, все свое он стал считать чем-то недорогим, неважным или вовсе ненужным. Даже его умственное развитие, добытое с такими усилиями, стало казаться ему сомнительным. Он спрашивал себя: «Да кому какая польза от этого?», «И что же дальше?»

Что же дальше? Он носит хорошую одежду, он не сидит на мякине и не ест отрубей; он пишет, читает, мыслит... Читает книги, журналы, газеты. Он знает, что земля стоит не на трех китах, и киты не на слоне, а слон вовсе не на черепахе; знает, кроме этого, в миллион раз больше. Но зачем все это? Он читает ежедневно, что в Уржуме — худо, что в Белебее — очень худо! а в Казанской губернии татары пришли к окончательному капуту; он читает все это и в миллион раз больше этого, потому что каждый день ездит по России, облетая в то же время весь земной шар... Но какая же польза от всего этого? Он читает, мыслит, знает... но что же, что же дальше?

Скучно, скучно!

Где бы ни был Михайло, эти вопросы преследовали его. Он проводил часто время у Фомича, у Колосова и других своих знакомых, но все по временам вызывали в нем острое беспокойство, душевную тревогу. К Фомичу он уже не питал того благоговения, как прежде. Роли их переменились. Фомич удивлялся многому в своем молодом друге. Но последний относился отрицательно ко многому, что было в Фомиче. Фомич всегда был ровен, спокоен, немного толст и много доволен своей жизнью; его широкое, добродушное лицо не омрачалось грустью; глаза его никогда не сверкали злобой, и едва ли он чем-нибудь сильно беспокоился, что выходило из круга его обстановки. Вот этого Михайло не понимал. «Почему он спокойно счастлив?» — иногда спрашивал себя Михайло. Имея дело с Фомичом, Мише казалось, что он, Миша, один.

Мрачно и холодно ему было иногда. Надежды Николаевны он испугался. Пытливо наблюдая за ней, он говорил: она одна! Новое открытие! На кого бы Михайло ни взглядывал из знакомых, ему казалось, что каждый из них чувствует себя одиноким, как в пустыне или в лесу; они разговаривают друг с другом, взаимно радуются, как будто ведут друг с другом дела, но между ними пропасть, и каждый из них есть *один* в целом мире.

Михайло отогревался только в те часы, когда у них шли бесконечные разговоры с Пашей. Битый час иногда они говорили о каком-то Ваське, который посеял просо, а у него уродился овес! Или о каком-то Карасеве, которого всегда, лишь только он немного выпьет, нечистый ведет к колодцу и приказывает ему прыгнуть; при этом Карасеву кажется, что он сидит на печке и намеревается соскочить оттуда, чтобы поесть пирога, который будто бы лежит на столе; но Карасев, прежде чем прыгнуть,

всегда перекрестится; а как только он перекрестится, нечистая сила проваливается, и Карасев вдруг, к ужасу своему, видит, что он вовсе не на печке, а около бездонного колодца, и перед ним лежит не пирог, а лошадиный помет! После чего Карасев мгновенно вытрезвляется и бежит, смертельно бледный, домой... Михайло хохотал...

Но наставали дни, когда Михайло и с Пашей был один. Он тогда чувствовал, что лишний, ничто, нуль. И в то же время он чувствовал, как холодно ему, как больно и скучно...

Однажды (это было год спустя после женитьбы) Михайло вдруг явился в квартиру Фомича утром рано. Фомич спросонья испугался.

— Не случилось ли чего, Миша?

— Ничего не случилось. Я зашел за тобой, чтобы идти гулять. Пойдешь?

Миша говорил угрюмо.

— Вот чудак! Придет с петухами — и пойдем гулять!!. Ну да ладно, пойду. День, кажется, чудесный... Куда же мы пойдем?

— За город, в поле... куда-нибудь...

Миша нетерпеливо смотрел, как Фомич одевался, чесал голову, мылся, и с раздражением то ходил по комнате, то садился, сейчас же вставая. На него напал злой дух. Он имел такой вид, как будто пришел выругать Фомича.

— Да скоро ли, наконец, ты?.. — спросил он с раздражением.

— Сейчас, сейчас!.. Вот чудак... Придет с петухами и... Ну, пойдем.

Выйдя на улицу, Фомич глубоко потянул в себя чистый воздух раннего утра, с улыбкою взглянул на белесоватое небо и улыбнулся солнышку, лучи которого уже играли на крышах домов. Он хотел бы идти лениво, чуть шагая, но Миша не дал ему опомниться; он быстро зашагал, а за ним спешил и Фомич. Они в десять минут прошли весь город, миновали слободку и вошли в середину садов, окаймляющих эту часть города. Фомич здесь хотел пойти потише, но Михайло шел вперед, с каждой минутой ускоряя свой шаг, — по крайней мере так казалось Фомичу.

— Да куда ты спешишь! — говорил он, чувствуя уже некоторую усталость, но все-таки старался поспевать за товарищем.

— Вот чудак!.. — говорил затем Фомич, снимая фуражку и вытирая пот со лба. Говорил он это еще добродушно. Но Михайло не думал останавливаться. Фомич стал сердито поглядывать по сторонам. Они шли теперь по дороге, по обе стороны которой стояли стеной хлеба́, еще зеленые, но уже начавшие колоситься. Фомич мечтал посидеть под тенью густой ржи, пожевать зеленой травы и отдохнуть. Он предложил Мише посидеть, но тот отказался, заявив, что если Фомич желает, то пусть садится

и спит, а он уйдет один. Фомич с недовольным видом последовал за ним.

— Это называется прогулкой!.. — ворчал он вслух.

Наконец он сильно озлился.

— Вот черт! Да куда же ты бежишь?! — крикнул он.

— Куда-нибудь подальше...

Фомич ругался. Он страшно устал. Пот с его широкого лица катился градом, белье вымокло. Его мучила жажда. Он уже собирался остановиться и бросить Мишу... Черт с ним! пусть его бежит один! Но в это время, к его счастью, они наткнулись на крестьянина, косившего траву недалеко от дороги, так как полосу хлебов они давно уже прошли и спустились в луга; версты за две, впрочем, опять начинались высокие пригорки, покрытые кустарниками.

Фомич бросился к мужику и попросил у него испить. С жадностью напившись воды из лагуна, хотя вода отзывалась разложившейся и протухлой древесиной, он упал на скошенную траву, повернулся лицом к небу и обмахивал фуражкой свое пылающее лицо. Михайло, по-видимому, не устал; на его лице не было краски. Он угрюмо вступил в разговор с мужиком, который, казалось, рад был сам случаю облокотиться на косу и отдохнуть.

— Ты отчего это в праздник работаешь? — спросил Михайло.

— Да уж так вышло, барин... нельзя! — ответил спокойно мужик.

— Почему же так вышло?

— Да ежели сказать правду, то она, причина-то, вот какого сорту. Который сейчас кошу луг, то принадлежит все господину Плешакову... Может, слыхали, есть такой купец Плешаков... И не только луга, а все это, что перед глазами, и этот хлеб, и там, и тут, и даже верст на пять вон туды, — все это его, господина Плешакова...

Мужик обвел рукой все окружающее пространство и еще раз повторил, что все это — евойное...

— Может быть, и ты евойный? — спросил злобно Михайло.

Крестьянин, однако, не понял и продолжал объяснять причину.

— Вот оттого я и кошу в праздник. За зиму-то я у него койчего понабрал под работу... и даже таки довольно понабрал, эстолько понабрал, что, пожалуй, вот по это самое место (мужик провел рукой повыше своей маковки)... Вот теперь и сижу здесь в праздник. Люди спят или на завалинке греются, а либо в церкви, а я вот... Завтра-то свой луг надо убирать... Вот она причина-то моя какая.

— Отчего же ты один косишь, без семьи? У тебя большое семейство? — спросил Михайло.

— Мы только с бабой... А она увильнула, подлая! не хочет, вишь, в праздник работать... Еще вчерась уговорились идти

сюды, а встал я — глядь! ее уж нет, ушла за грибами! Ведь вот эти бабы какие подлые!.. Ну, да я с нее за это вычту...

— Вздуешь?

— Да уж там как придется... — с угрожающей улыбкой пояснил мужик. — Ну, только я ей дам грибы! Покормлю всякими — и сухими, и сырыми, и настоящими! Она уж меня знает!..

Фомич возмутился. До сих пор молча лежавший, он поднялся и стал стыдить мужика, чтобы он этого не делал... Михайло в это самое время взял косу и попросил у хозяина ее позволения покосить. Последний с снисходительной улыбкой смотрел на барина, которому вздумалось побаловаться. Косу, оказалось, надо было выточить. Михайло спросил лопатку, намазанную песком. Мужик еще шире улыбнулся. Но Михайло быстро и как следует выточил косу и принялся рядами укладывать траву. Пройдя один ряд, он немного постоял и пошел обратно, делая косой широкие взмахи.

Мужик смотрел на все это с удивлением. Когда Михайло передал ему косу, пригласив Фомича идти дальше, мужик любопытно спросил, обращаясь к нему:

— Да вы, собственно, кто же будете?

Михайло пожал плечами.

— Как тебе сказать... с головы господин, снизу мужик, а посередине пусто!.. Да ты что вытаращил глаза? Коси, брат, а то господин Плешаков скорее накормит тебя грибами!

Михайло проговорил это презрительно. Не взглянув больше на мужика, он пошел, а за ним Фомич. Фомич только теперь заметил взбудораженный вид своего друга.

— Тебе нездоровится, что ли, Миша? — спросил он ласково.

Они скоро поднялись на пригорки и добрались до горы, покрытой кустарниками с боков и голой на вершине. Михайло сейчас же здесь опустился на землю и лег вниз лицом, даже не взглянув на великолепный вид, открывавшийся отсюда: зеленые луга с маленькими озерками, которые по краям поросли камышом, городские сады, поверх которых виднелись куполы церквей, а вправо лес, а за лесом широкая река, по которой вдали плыл пароход с баржами... И хлебные поля, зеленые и густые, и белесоватое, не утомлявшее глаз небо, — все было хорошо, все ласкало взор, успокоивало душу. Фомич, любивший природу, с глубоким удовольствием оглядывал широкий горизонт, но думал про себя: «А вот лежит человек, внутри которого рыдает...»

Фомич это видел, хотя и не понимал. Ему сделалось как-то даже досадно на человека, который способен своим видом все отравить... Он не допрашивал Мишу, зная, что последний ничего не скажет, и оба молчали. Фомич благодарным взглядом обводил широкое пространство под ним, а Миша лежал вниз лицом.

Но вдруг он приподнял голову.

— А ведь они, Фомич, там, на дне, — проговорил он мрачно.

— Кто они? — Фомич удивился, не подозревая, о ком говорит его товарищ.

— Все. Я вот здесь на свободе лежу, а они там на дне, где темно и холодно. Боже мой! какая скука! Там темно и холодно, но и мне, хотя и светло, но также холодно. И вдобавок скучно до смерти! Неужели все образованные люди чувствуют себя так, как я!.. Ведь это ад, Фомич!.. А я чувствую вот что: стою я будто на высокой скале, залитой солнечными лучами, а рядом со мной зияет глубокая, бездонная пропасть... И со дна этой пропасти я слышу гул голосов. Я не могу разобрать, что голоса говорят, и самих людей не вижу, потому что эти люди на самом дне пропасти, а пропасть бездонная, и над ней носится мгла, сквозь которую мой взгляд не может пробиться. Но я слышу ясно голоса, иногда стоны, иногда грубый хохот и вечный, невнятный гул... И я думаю: неужели там, на дне пропасти, закрытой мглой, можно жить! и как я сам мог оттуда попасть на вершину? Сначала, впрочем, я чувствую в себе полное удовлетворение; я радуюсь и горжусь, что я стою на скале, а не там, на дне пропасти, закрытой мглой. Но вслед за тем я чувствую не то стыд, не то досаду... почему же я один стою на этой скале, и за мной не идут из черной пропасти другие люди? Неужели я, взобравшись на скалу, добился только отчаянной скуки! Неужели из-за этого стоило карабкаться вверх? Пусть меня обливает солнце, а глаза мои могут видеть бесконечную даль, пусть чистый воздух врывается в мою грудь, но зачем мне все это, когда я не могу всем этим поделиться с теми, которые там, в пропасти!.. А ведь только то нам дорого, чем мы можем по своему произволу поделиться. Если нам не с кем разделить хлеб, который мы едим, он опротивеет нам и встанет поперек горла; если нам некому высказать нашу мысль—она отравит нас, убьет самозаражением. И я перестал ценить то, чего добился: солнце, сначала такое лучезарное, теперь только неприятно режет мне глаза, а бесконечную даль я совсем перестаю видеть. Напротив, мои глаза обращены вниз, в темную пропасть, откуда слышатся родные голоса. Я протягиваю туда руки, я зову оттуда людей, но они меня не слышат... И я остался один, вечно один!.. Зачем мне стоять на этой скале, зачем мне свет, теплота, чистый воздух, далекий вид, если я один! Люди все там, в пропасти, и мне некому сказать слова, не с кем поделиться мыслью, некому чего-нибудь дать... Я один, без людей, на пустой вершине, и никто моих протянутых рук не увидит, и мой голос никто не услышит. Я навсегда один. Так вот зачем я лез на гору, вот чего я добился — одиночества, пустыни и скуки? Боже, какая страшная скука! Я теперь понимаю, почему господа с таким бешенством отыскивают наслаждений! — надо же в чем-нибудь утопить скуку!

Фомич не знал, что на это сказать, а Миша совсем приподнялся, сел и пристально глядел на товарища. Потом вдруг сказал:

— Послушай, Фомич... ведь у меня в деревне и теперь живут отец, мать, сестры... А я вот здесь! И совсем забыл их! — Михайло говорил тихо, как бы боялся, что изнутри его вырвется крик.

— Посылай им побольше... — возразил Фомич нерешительно.

— Да что деньги! — крикнул Михайло, — разве деньгами поможешь? У них темно, а деньги не дадут света!

Фомич чувствовал, что надо что-нибудь сказать, но не мог. Оба некоторое время молчали, но Миша вдруг опять сказал:

— Знаешь, Фомич... их ведь и теперь секут!!

— Что же поделаешь, Миша... — возразил Фомич, вполне понимая, как глупо говорит. Он замолчал. Потом, видя, что Михайло не намерен больше говорить, ибо опять лег на траву вниз лицом, он ласково дотронулся до его головы, лежавшей возле него.

— Пойдем, Миша, домой... — проговорил он.

Михайло без возражения поднялся с земли. К удивлению Фомича, лицо его было совершенно спокойно, только апатично.

Тою же дорогой они пошли обратно. На этот раз спешил Фомич, сильно проголодавшийся, а Михайло отставал, еле двигаясь, как раненый. Но когда они дошли, наконец, до первых городских строений, Михайло поднял голову и смотрел по сторонам, что-то отыскивая глазами. Поравнявшись с кабаком, двери которого были открыты, он вдруг остановился.

— Войдем! — сказал он, страшно бледный.

Фомич не понял.

— Куда? — спросил он.

— В кабак! — резко выговорил Михайло.

— Зачем?

— Пить...

Фомич счел это за шутку.

— Что еще придумаешь...

— Не слушаешь? Ну, так я пойду один. Я хочу пить.

Сказав это, Михайло Григорьич ступил на первую ступеньку грязного крыльца.

Фомич стоял как пораженный громом.

— Чего ты, Миша! Бог с тобой! Стыдись!—тихо прошептал он.

Миша вздрогнул, посмотрел на дверь кабака, посмотрел на Фомича, и вдруг лицо его облилось кровью. Он медленно спустил ногу со ступеньки, потом рванулся вперед к Фомичу и пошел рядом с ним. Фомич был взволнован до глубины души.

А Михайло Григорьич немного погодя громко и во всю улицу расхохотался... но слишком принужденно.

— А ты подумал, что и вправду я!..

Но Фомич пытливо оглядел его.

Домой Михайло Григорьич пришел нездоровый. Паша весь день ухаживала за ним, пока он не уснул нездоровым, беспокойным сном.

С этого дня Михайло Григорьич стал испытывать хронический недуг, борьба с которым иногда уже не по силам была ему. Обыкновенно он был здоров, работал на заводе, где скоро для него очистилось место механика. Но вдруг на него находило что-то непонятное — он испытывал беспокойство, терял аппетит, волю, самообладание. Тогда, в чем есть, в рабочей блузе, в выпачканной машинами фуражке, неумытый, он уходил на окраины города и направлялся в первый кабак. Его влекло напиться. Но, подходя к кабаку, он колебался, медлил, боролся, пока страшным усилием воли не одолевал рокового желания. Иногда случалось, он совсем войдет уже в кабак, велит уже подать себе стакан водки, но вдруг скажет первому попавшемуся кабацкому завсегдатаю: «Пей!» — а сам быстро выбежит за дверь. Иногда эта непосильная борьба повторялась несколько раз в роковой день, и домой он приходил измученный, еле живой. Паша узнала все и нежно ухаживала за ним. Через несколько дней он поправлялся, работал и по-прежнему гордо смотрел. Недуг возобновлялся через месяц, через два.

ГРЯЗЕВ

Очерки нравов



ГОЛОВА

Виды города, открывавшиеся взорам Конона Петровича Покрышкина, когда он по вечерам выходил на свой балкон «для воздуху», как он выражался, не представляли ничего выдающегося, помимо того, что они были знакомы ему с самого детства. Вдали виднелся лес, поле, несколько деревень с церквами и дороги в разных направлениях, а вблизи, тотчас возле города, зиял овраг, из которого при благоприятном ветре несло запахом падали, потому что граждане сваливали в него дохлых лошадей, собак, кошек, протухлые остатки скотобойни и прочие вещи, сделавшиеся во внутренности города ненужными. Виднелась еще речка Соня, на которой стоял Грязев, чрезвычайно мелководная и с лениво текущей водой, отличавшейся некоторыми особенными, только ей одной свойственными качествами, например громадным содержанием микроскопических животных. Далее вокруг всего города, подобно пирамидальным монументам, цепью возвышались сорные кучи, показывавшие, с одной стороны, желание жителей держать себя чисто, а с другой — склонность их к консервативным чувствам; но при благоприятном ветре они также издавали нехороший запах.

Это виды природы.

Самый город, с площадью посередине, с переулками по бокам вместо улиц и с необъятными пустырями по окраинам, не имел никаких достопримечательностей; даже каменных домов в нем было всего шесть, из которых один принадлежал Конону Петровичу Покрышкину, другой был занят исправником Яковом Кузьмичом Кулаковым, четыре остальные находились под присутственными местами. Одним словом, Конону Петровичу нечего было осматривать, так что действительно он выходил «для одного воздуху», которого ему требовалось очень много по причине его тучности и одышки, постоянно грозившей ему удушением. Местный доктор так прямо и говорил ему, нисколько не скрывая опасности, но что же ему делать? Еще когда он сам управлял мучным лабазом, страдания его не доходили до такой степени, чтобы грозить ему преждевременной смертью, потому что тогда он все-таки занимался делами, придававшими ему более худощавости; а когда его выбрали в головы и он всю торговлю сдал сыновьям, сохранив за собой одно главенство, жизненная деятельность его дошла до нуля, страдания же возросли до последней крайности. В думу он ходил аккуратно и старался во все сам вникать, без помощи секретаря, но несчастие его состояло в том, что вникать-то ему было не во что, и потому во время заседаний он только храпел, вытирая платком пот, беспрерывно струившийся по его лицу, воздуху же для него нигде недоставало.

Страданиям Конона Петровича Покрышкина много способствовали еще некоторые привычки, бывшие полезными во время его энергичной деятельности, когда он неутомимо занимался своими делами, и сделавшиеся убийственными после его избрания на должность головы, когда для него всякая тень деятельности прекратилась; так, например, имея наклонность к плотной и основательной пище, он ел и продолжал есть белужину, икру, сомовину, балык, блины и пр., и пристрастие к этим вещам дошло в нем до степени мучительной потребности, отстать от которой у него не было силы. Бросил он только те привычки прежней жизни, которые не касались внутренних убеждений, отказавшись носить пестрый жилет, картуз и длиннополое платье. Выбранный в головы, он призвал к себе известного всему городу портного Якимова и осведомился у него насчет того, какое в нынешнее время носят платье.

Но изменение этой старой привычки на новую нисколько не облегчило его одышки, ибо костюм, сшитый портным Якимовым, оказался вредным во всех отношениях. Портной шил его два месяца, переделывал пять раз, бесчисленное число раз примеривая к корпусу Конона Петровича, пуская в ход и мерки, и глазомер, и собственные пальцы, которыми он ощупывал неровности тела Конона Петровича, и умственные соображения,

но тем не менее, когда он, в пятый раз, принес платье и с отчаянием принялся натягивать его, то оно снова оказалось ни к чему не годным. Конон Петрович разразился тогда упреками и укорял Якимова в бесстыдном самохвальстве, говоря сердито, что он только считается портным столичным, а на самом деле может шить одни портки и поддевки. Портной также разозлился, несмотря на кроткий характер.

— Конон Петрович! — воскликнул он дрожащим голосом:— я не виноват! Главнейшее дело, цивилизация к вам не подходит, а вовсе не я причина тут!

Платье так и осталось плохо сделанным; оно и стесняло грудь, и давило на живот, и стягивало шею, вследствие чего удушение и скоропостижная смерть стали с этой поры представляться Конону Петровичу еще более близкими. Тогда-то он и начал выходить каждый вечер на свой балкон «для воздуху», оставался здесь по целым часам, вплоть до того времени, когда над площадью, находящеюся перед его глазами, и над всем городом распространялся непроницаемый мрак. Обыкновенно ему никто не мешал в этом занятии; в городе стояла вечная сонная тишина; если кто и проходил по площади, то нисколько не удивлялся, видя Покрышкина сидящим на балконе, отдувающимся от духоты и вытиравшим платком пот с лица, — до того все привыкли видеть голову в таком положении.

Но Конон Петрович не всегда оставался без дела на своем балконе. Часто на свой балкон, находящийся наискось дома Покрышкина, выходил и Яков Кузьмич, появлявшийся на балконе не для воздуху, а для наблюдений за порядками в городе. По крайней мере сам он так хвастался, говоря всем, что у него образцовый порядок, и если бы, говорил он, во вверенном ему уезде пропал грош, то, наверное, он был бы возвращен своему хозяину. Заметив Якова Кузьмича, Конон Петрович раскланивался с ним. Некогда он поздравлял его с добрым вечером во всеуслышание, через площадь, но исправник раз строго заметил ему, что это неприлично, и Покрышкин перестал здороваться таким способом. Однако не проходило вечера, чтобы два начальника города не обменялись знакомыми им знаками, показывавшими их дружелюбные отношения. Обмен приветствий всегда был одинаков. Обыкновенно Покрышкин делал руками и головой такие движения, которые между всеми людьми сопровождают выпивку и закусывание; это означало, что Покрышкин просит исправника Кулакова зайти к нему и закусить. Яков Кузьмич отвечал на это различно; если он был почему-либо не расположен принять приглашение Покрышкина, то снимал свою белую фуражку, и тогда Покрышкин заключал, что Кулаков закусить не желает; всего же чаще Кулаков, сняв фуражку, мгновенно надевал ее, что означало: иду! — и приходил.

Скоро появлялась в комнатах Покрышкина длинная, с крючковатым носом и с загорелым лицом фигура исправника Кулакова, а вслед за ним на стол становились разные угощения. У головы Покрышкина всегда про запас содержалась какая-нибудь новинка, выписанная из губернского города: бочонок икры, свежий балык, добрая водка; но он скромно хвалился всеми этими вещами.

— Попробуй-ка, Яков Кузьмич, вон этого, — говорил он. — На днях предоставлена из губернии. Сам-то еще не пробовал, какова на вкус, не привелось. Отведай-ка, хороша ли?

Исправник Кулаков отведывал, и всегда на лице его отражалось одобрение, выражаемое им тем, что он похлопывал ладонью по животу Покрышкина и весело говорил:

— Хорошо, хорошо! У тебя, Конон Петрович, ничего худого не бывает, откровенно тебе скажу, друг мой. Что правда, то правда; ты у меня молодец!

Это говорилось покровительственным тоном, но голова Покрышкин с удовольствием гладил себе бороду, в то время как его маленькие, заплывшие глазки хитро смеялись.

Вслед за закуской часто появлялся столик с шашками, за которым бражники просиживали до полуночи, причем голова Покрышкин неизменно загонял исправника Кулакова в ретирадник, а исправник Кулаков бесился, ругался непечатною бранью и делал новые ошибки. Но это был единственный случай, где голова Покрышкин брал верх над исправником Кулаковым; во всем остальном он подчинялся последнему, наставлявшему его в делах думы, в делах управы и вообще во всех общественных делах.

Несмотря на приятельские отношения, существовавшие между ними, исправник Кулаков держался с головой Покрышкиным покровительственного тона, говорил с ним иногда строго и нередко давал понять, что хотя он и находится в зависимости от думы, но, в сущности, это самая пустая зависимость, нимало не связывающая его, и что между исправником и головой есть большая разница, которую не следует забывать. Как умный человек, голова Покрышкин пропускал это мимо ушей. Он замечал, с каким почтением относятся к нему все городские власти, большая часть которых даже ухаживает за ним, — и довольствовался этим; был доволен он и дружбой исправника Кулакова, считая ее большим снисхождением к себе, и не обижался покровительственным тоном. Исправник был его начальник.

Голова Покрышкин сначала даже удивлялся, что с ним обращаются хорошо, не вытирая об него ноги, как бывало раньше. Знавал он много печальных случаев с грязевскими головами, бывшими до него. Ему было известно, что его предшественника Корчагина одна проезжающая особа оскорбила действием публично,

во время базарного дня, и не получила за это ничего, кроме совета поступать в таких случаях осторожнее; ему также рассказывали, что предшественнику Корчагина, не имевшему счастия пользоваться самоуправлением, исправник Свистунов выдернул половину бороды, развеяв шерсть по ветру, так что борода отросла только через год. Вообще голова Покрышкин знал очень печальные происшествия, бывшие до самоуправления и объяснявшие, каким несчастиям мог бы он подвергнуться, если бы жил в те времена. Теперь же с ним ничего подобного быть не могло, в чем он положительно был уверен, и дорожил своим положением, гордился своей безопасностью. За ним, как он видел, даже ухаживают, забегают вперед, обращаются с просьбами, а вместо приказаний советуют. Всем этим он вполне удовлетворялся; глядя же на строгие манеры Кулакова и слушая его покровительственный тон, он только хитро улыбался про себя.

— Пущай! — говорил он. — Пущай подымает голову и возвышается! А вот как перестану шальные-то деньги выдавать, тогда мы поглядим, как он запоет! Пущай его!

Живя мирно с Яковом Кузьмичом и довольствуясь оказываемым ему почетом, голова Покрышкин беспрекословно исполнял все требования исправника, который для его предшественников был бы грозой, а для него оказался неизменным другом. Сам голова Покрышкин ничего не предпринимал и ничего не делал, исполняя лишь строгие предписания, заказываемые для него и для думы начальством, и выдавая требуемые деньги. Исправник Кулаков брал деньги двумя способами: он или посылал прямо голове Покрышкину бумагу за номером таким-то, или объяснял дело во время закуски; но и в этом случае он не унижался до просьбы и просто заявлял шутливо:

— Ну, Конон Петрович, тебе, видно, придется раскошеливаться, — начинал исправник, наливая рюмку водки и приготовляя кусок осетрины, причем он глубоко погружался в свое занятие и не поднимал глаз на хозяина.

— Ужели еще расход, Яков Кузьмич? Ежели так-то я буду расходовать суммы, так, пожалуй, всю кассу скоро раскассирую, — отвечал голова Покрышкин и поглаживал себе бороду. Он отлично понимал, куда клонит разговор Яков Кузьмич, но скромно ждал, что будет дальше.

— Что делать, брат, нужда! Казенная необходимость! — возражал исправник и объяснял казенную необходимость, на которую требуется крупная сумма. Увеличение штата пожарных, покупка под пожарные машины колес, которые, разумеется, рассохлись, покупка новых лошадей для пожарных машин или выписка пожарной «кишки» — все это требовало много денег. Кишка особенно часто выписывалась, потому что, как известно, она делается из весьма непрочного материала; раз пять в год она

портилась, и каждый раз, как исправник сообщал о ее порче, он оставался спокойным, не моргая даже глазами от стыда, как ожидал иногда голова Покрышкин. У Якова Кузьмича дело выходило просто.

— Да! Тебе уж придется раскошеливаться. Ты, пожалуйста, поговори там в думе, чтобы мне выдали необходимые средства для выписки; а то случись пожар — мы с тобой целый город спалим.

— Что ж кишка? Не годится? — спрашивал голова Покрышкин, и его маленькие глазки, устремленные на Якова Кузьмича, безмолвно смеялись.

— Говорю — не годится, новую надо выписывать.

— Тссс! Стало быть, ро́зорвало ее, кишку-то?

— Лопнула... Ты уж, пожалуйста, поговори там... на выписку, мол, кишки. Однако балык у тебя нынче превосходный, просто пальчики оближешь.

Яков Кузьмич весь был погружен в созерцание балыка.

— Зачем пальцы облизывать, кушай на здоровье...

Конон Петрович насквозь видел Якова Кузьмича, но молчал и выдавал деньги на кишку. Между тем исправник в кругу своих близких друзей, между которыми самым интимным был квартальный Чертыхаев, объяснял податливость головы глупостью, уверяя, что он как был мужик сиволапый, так и остался им.

— В своих собственных делах его не проведешь; он тут сам тебя сто раз надует; но вот в делах думы его постоянно надо учить; тут он ничего не смыслит, чистый дурак, уверяю вас!

Так говорил исправник Кулаков и ошибался, выдавая свою безнаказанность за чужую глупость. Голова Покрышкин многое понимал и во все старался вникать, не говоря уже о делах денежных, среди которых он был человеком, насквозь прокаленным; если же он мало вникал в общественные дела, то справедливость требует сказать, что не один он был виноват, толстый бедняга! Во-первых, городской сундук был вечно опустошаем на выписку кишек, на устройство и умножение клоповников и на другие потребности, столько же обязательные, сколько и чудны́е; во-вторых, тишина, царствовавшая постоянно в городе, где жители никогда и ни о чем не заявляли, считая думу только более или менее остроумным орудием для взимания с них денег, была такого рода, что ежеминутно внушала мысль об их блаженном счастии и отбивала всякую охоту нарушить их спокойствие. Непонимание головой Покрышкиным своих обязанностей зависело от того, что и понимать было нечего. Никто ничего не просит — значит, довольны всем. Главная забота головы Покрышкина состояла в раскассировании — и он раскассировывал. Ему приказывали — он слушался; у него просили — он давал и рад был, что мог давать на устройство клоповников, потому что исправник хвалил его

за такую готовность, несколько раз обещая выхлопотать ему награду, медаль за ревность.

Но один раз голове Покрышкину досталось за эту дружбу с Яковом Кузьмичом и было нанесено оскорбление. Правда, неприятность эта избавила его на некоторое время от страха удушения или скоропостижного конца, подняв его дух и силы, подавленные бездельем; но обида была велика и невыносима. Нанес ее тот же портной Якимов. Портной Якимов «Измосквы», как значилось на его вывеске, будучи робкого характера в продолжение пяти дней недели, когда он прилежно работал, вдруг в воскресенье и понедельник превращался в буйного и пьяного человека, крошил стекла и своим неприятелям делал словесные оскорбления. Голова же Покрышкин сделался для него ненавистным, особенно с той поры, как не дал ему свидетельства на открытие лавочки с готовым платьем, а так как Якимов был старожил, принявший звание столичного портного только по необдуманности, и знал всю подноготную каждого жителя города, то его оскорбление вышло острым, ударив прямо в нос.

Сидел однажды в понедельник вечером Конон Петрович на своем балконе и тяжело дышал, отирая время от времени пот с лица клетчатым фуляром, и, конечно, не ждал для себя ничего худого; сыновья его всю неделю торговали порядочно и сами не безобразничали; другие домашние дела также шли недурно; в думе все было благополучно, а на площади в эту минуту не было не только какого-нибудь человека, но даже и собаки, которая брехнула бы на него, ибо нельзя же считать живым человеком старушку у соседнего домишка, вязавшую чулок и о чем-то рассуждавшую с собой. Вдруг на конце площади появился портной Якимов и направился к дому головы Покрышкина, делая отклонения от намеченного пути только ради уступки неповинующимся ногам; исколесив большую часть площади, он очутился, наконец, прямо против балкона, шагах в двадцати от Конона Петровича, и, покачиваясь на все четыре стороны, обратился с вопросом к последнему:

— Ты кто? — спросил он глухим голосом.

Конон Петрович не считал нужным входить в разговоры с пьяницей и молчал. Долгое время хранил молчание и портной Якимов, забыв свой вопрос, но через некоторое время поднял голову снова.

— Ты кто? — спросил он и тяжело вздохнул.

— Ступай домой, пьянчуга! Я тебе покажу, как со мной разговоры вести! — закричал с балкона Конон Петрович, но этими словами только разозлил Якимова.

— Кто ты, говорю, голова или нет? — закричал в свою очередь Якимов.

— Пошел домой! — закричал Конон Петрович и побагровел.

— А я тебе скажу — ты не голова! — начал насмешливо Якимов. — Я тебе прямо скажу — ты не голова! Что ты делаешь с исправником? Шашни у вас? И я тебе говорю — ты не голова, а больше ничего, как хвост! Может, ты лабазом своим похваляешься? Так это, брат, оставь. Лабаз дело не стоящее, то есть камень, глупость... И я на него плюю — вот гляди! — Якимов действительно харкнул по направлению к лабазу, и слюна длинной нитью потекла по его бороде, после чего он продолжал. — Ты не голова! Кабы ты пользу городу сделал — ну, так; тогда бы ты мог похваляться, а то у тебя один лабаз, то есть камень, глупость. Ты думаешь, тебя кто добром помянет? Ни боже мой! Умрешь ты, и никто тебя не вспомнит, потому что как есть ты лабаз и как для города никакой пользы нет от тебя, то и вышла одна глупость. Что́ есть Покрышкин? Неизвестно. В каком смысле Покрышкин? Неизвестно. По какой причине голова? Никто не знает. И вышел ты сам ничего больше, как лабаз, то есть камень, глупость, а я на него плюю, вот гляди!

Якимов снова плюнул, и на этот раз брызги разлетелись в разные стороны. Но, вследствие напряжения сил, он понагнулся и начал колесить вокруг, ища точки опоры и отчаянно размахивая руками, в то время как Конон Петрович хотел подняться — и не мог; он побагровел до того, что, казалось, жилы на его лице сейчас лопнут; даже старушка, всматривавшаяся в эту сцену, сказала себе: «У, осерчал голова!» Портной Якимов между тем совсем обессилел, готовый ежеминутно растянуться на земле, но нашел возможность сказать еще несколько слов:

— Ах, ты, голова!! Не голова ты, а башка пустая — больше я тебе ничего не скажу.

Больше он действительно ничего не сказал, потому что совсем потерял силы сохранять равновесие, отяжелел и повалился на землю, а через некоторое время уже храпел на всю площадь. Никто этого не видал; только одна старушка с чулком, качая старой головой, сказала: «Ах, грехи, грехи!» — зевнула и перекрестилась.

Что касается Конона Петровича, то он долго не в состоянии был подняться с места, как бы пригвожденный к стулу; багровое лицо его было ужасно, руки дрожали, дыхание было прерывисто. Отдышавшись, он, однако, сошел вниз и отправился отыскивать какого-нибудь полицейского, которого нигде не было видно; но Конон Петрович не поленился зайти даже в часть, где у ворот нашел спящего будочника, растолкал после предварительной брани и велел взять в темную портного Якимова, валявшегося на площади, причем наказывал стражу хорошенько накласть в загорбок мошеннику, а утром прислать его к нему, голове, и внушить, чтобы он чувствовал.

— Оскорбил он меня, паршивик! Ужо я с ним поговорю... сволочь эдакая! — говорил голова Покрышкин, уходя из части и еще не оправившись от гнева.

Гнев его, однако, скоро прошел, а обида чувствовалась только в той мере, в какой он раньше питал почтение к себе, надеясь, что то же самое почтение должны были оказывать ему и все граждане, как их законному голове и представителю. Теперь он пал в своих собственных глазах, осрамленный портным, и с этого дня заскучал, страдая не только физически — от одышки, от мускульной бездеятельности, но и душевно — от душевной пустоты, что он сам понял. Была еще в этих страданиях небольшая доля страха перед пустой смертью, которую никто не оплачет, которой будут даже радоваться и после которой от него не останется ничего, кроме лабаза, ни одного дела, стоящего воспоминания и благодарности со стороны сограждан.

В сущности, Конон Петрович Покрышкин всегда страдал от безделья, сделавшегося постоянным после его избрания в думу, и страдания его были неизбежны. Он не принадлежал к родовитому купечеству, которое испокон веков страдает одышкой, и не был настоящим купцом, получившим от своего деда лисью шубу, от тятеньки — лабаз, от жены — сундук; нет, все это Конон Петрович сам должен был заработать своими руками и умом. Портной Якимов помнит, как Конон Петрович в былое время торговал тряпьем, как он потом завел мелочную лавочку, как после этого ездил по всей губернии скупать всякую дрянь, помнит вообще то время, когда Конон Петрович назывался просто торговцем Покрышкой. Это была деятельная жизнь, полная приключений и ужасов, а иногда жалкая и унизительная. Тогда, понятно, Конону Петровичу засыпать было некогда; в погоне за рублями он не смыкал глаз и в ловле рублей не останавливался ни перед какими трудами, всему подвергаясь. Он буквально прошел огонь, воду и медные трубы; часто ночевал в поле, мок под дождем, несколько раз тонул в реках, не один раз замерзал среди бурана, привозя домой отмороженные уши; вечно унижался, получал нередко подзатыльники, был просто бит и, одним словом, жил в безустанном труде и беспрерывном страхе, получая каждый рубль только после остервенелого боя. Даже и женился на сундуке Алены Митриевны сам, а не посредством тятеньки, которого с ранних лет детства у него не существовало; даже грамоте выучился сам, наняв учить себя, уже в зрелом возрасте, соборного дьячка, которому он платил натурой и деньгами. До сорока лет он не знал никого, не покладал рук и не бросал трудолюбивых привычек, занимаясь увеличением своего благосостояния.

И вдруг после такой адской жизни — полное успокоение! Меньше чем через год Конон Петрович страдал уже одышкой, угнетаемый всяческим бездельем и неизменной пустотой, мучи-



мый неумением пользоваться нажитым состоянием. Привычка к труду в нем осталась, но практиковать ее было не над чем, а лабаз больше его не занимал, отданный двум сыновьям, которые и орудовали всем делом. Привычка к белужине также не могла быть оставлена, но белужина не превращалась больше в работу рук и головы, переходила в мясо, кровь и жир, которые бесцельно накоплялись, так что Конон Петрович не мог даже долго говорить, и потому портной Якимов безнаказанно мог срамить его, не встречая себе возражения.

Между тем силы Конона Петровича не пропадали совсем даром; они только делались невидимыми; прежняя деятельная энергия его сделалась скрытою энергией, превратившись в мясо и жир, как первобытная теплота солнца скрылась в залежах каменного угля. Голова Покрышкин начал страдать от неуменья наполнить свою пустую жизнь; общественные же дела города так мало обращали на себя внимание всех вообще жителей, что и он не занимался ими, долгое время даже не зная, что существуют такого рода дела. Однако, если бы он взялся за исполнение миссии городского представителя, то, может быть, из этого что-нибудь и произошло, и могло случиться, что он перестал бы задыхаться от безделья. Скрытая энергия, которой он обладал в значительной степени, добиваясь мучного лабаза, и которая не совсем потонула в пустоте существования, скрытая энергия, направленная на общественные дела города Грязева, превратилась бы в деятельную, как связка дров, брошенная в печь паровоза, превращается в движение, тем более что голова Покрышкин наделен был опытностью и достаточным умом. Кровь, мясо и жир могли сделаться тогда полезными для человечества.

Нечто подобное и совершилось.

— Хочу поставить бассейн городу! — сказал голова Покрышкин, занимая обычное место посредине стола, в то время как другие члены управы сели по бокам.

Заявление это было в такой же мере неожиданно, как гром среди безоблачного неба, и произвело на всех действие необычайно сильное. А сам Конон Петрович, высказав свое желание, отер клетчатым фуляром лицо и сердито посматривал на всех своих товарищей.

— Хочу поработать на пользу города! — еще сказал он.

Все хранили долгое время глубокое молчание, переглядываясь и не зная, что говорить и думать. Это были всё короткошейные люди, туземцы города, для которых требовалось продолжительное время, чтобы сообразить какое-нибудь предложение, выходящее из ряда обыкновенного. Они молчали; притом они привыкли во всем слушаться своего головы, принимая каждое его хотение без рассуждения. Только один трактирщик, бывший здесь, с бойко и подозрительно глядевшими глазами, сделал несколько замечаний.

— Как бы из этого бассейна, шут его возьми, что не произошло? — заметил он.

Конон Петрович не обратил на это внимания.

— А на какой грех, Кон Петрович, бассейн городу? — спросил еще раз трактирщик и выразил мысль, что воды у города довольно.

— Довольно? Значит, не довольно, коли я говорю, — сказал рассерженный Покрышкин. — Уж если я что говорю, то верно. Есть у нас речка, а водой ее нельзя назвать, вши там много. Доколе же город будет есть вошь? Воду из Крестовского родника провести не хитро, была бы охота.

Крестовский родник действительно был недалеко от города, находясь притом на возвышении, с которого легко было провести воду, не прибегая к искусственному поднятию уровня. До сих пор воду из родника брали только богатые граждане, имеющие лошадей и кучеров, все же остальные жители брали воду из Сони. Это в коротких словах и разъяснил Конон Петрович. Но трактирщик сделал еще возражение:

— Оно, конечно, Конон Петрович, вам лучше знать эти дела. Но, по своему глупому рассуждению, я думаю так: большие тут нужны суммы! А где мы возьмем суммы?

Конон Петрович побагровел; он вообще не терпел возражений, а теперь и не думал, что ему поставит кто-нибудь препятствие. Он еще раз утерся платком и, возбужденный до последней степени, заговорил прерывающимся голосом:

— Хочу я послужить честно городу, а вы мне препятствуете. Куда идут наши суммы? По нынешний день, несколько годов сряду, с самого первоначалу, пока дали нам положение, испокон веков куда идут суммы? Чай, знаете. Ничего у нас не было и ничего не будет; слава только, что в думе сидим, а какой из нас прок городу — неизвестно. Хочу я послужить с этого дня на

общую пользу, а вы мне препятствуете, и никакой причины этому нет. Есть у нас под боком река, а там вошь. На улицах чистая смерть, иной раз домой к себе не пролезешь через эти самые улицы. На площади в нынешнюю весну свинья утонула, чай знаете. Ничего у нас нет, и хочу я честно послужить на пользу, а вы мне препятствуете...

Конон Петрович так взволновался, что не мог продолжать эту непривычно длинную речь. Он тяжело перевел дух.

— Конон Петрович! Мы не препятствуем! Тебе ближе знать, как и что... Мы не препятствуем! — заговорили все бывшие налицо представители города, не менее головы взволнованные до глубины души. Только после этого Конон Петрович был в состоянии продолжать.

— Ежели вы мне будете препятствовать — уйду; так прямо и говорю — не буду служить... Суммы!.. Какие нам еще суммы, коли ежели мы не будем их раскассировывать? Недостанет общественных — откажусь от жалованья... Да и сейчас отказываюсь! не хочу жалованья! Хочу из чести служить, на пользу общую! Берите мое жалованье! Недостанет общественных — своих приложу. Нате, берите мои, чтобы на пользу общую! У меня, слава богу, есть чем жить. Только чтобы была польза городу, а мне почет, и не препятствуйте мне, честью вам говорю!

Нельзя выразить волнения, какое овладело Покрыщкиным, когда он говорил эту речь задыхающимся голосом; можно только отметить внешние признаки, выразившие въявь его необыкновенно возбужденное состояние: он вынул два платка и в один из них высморкался, а другим утер пот, после чего положил их на стол и начал осматривать всех присутствующих, желая, по-видимому, удостовериться, не найдется ли и после этого в их числе такой, который будет препятствовать? Нашелся. Это был все тот же трактирщик, боявшийся с устройством водопровода потерять значительную долю посетителей своих, предпочитавших его чай вшивой воде из Сони. Он опять возразил, что это дело большое, на которое нужны суммы и хлопоты; а кто захочет взять на себя эти хлопоты? Но он был прерван.

— А я хочу! — гневно сказал голова Покрышкин.

Все остальные присутствующие, взволнованные в такой же степени, как и сам голова Покрышкин, заставили замолчать трактирщика, а Конону Петровичу выразили свое почтение, уверяя, что они ему не препятствуют служить на общую пользу и даже, совсем напротив, очень рады его предложению. Конон Петрович сказал еще раз, что оставит службу, если ему будут препятствовать. За этим последовала общая суматоха, среди которой один с негодованием накинулся на трактирщика, обвиняя его в оскорблении головы, другой упрашивал Конона Петровича остаться на общую пользу, третий с секретарем предложил зака-

зать Конону Петровичу бюст, четвертый, видя, как расчувствовался Конон Петрович после изъявления ему доверия, сам прослезился. Конон Петрович получил вдруг такие полномочия и был награжден такой слепой верой, какою пользуются только передовые бараны в стаде овец, и, будь он человеком дурным, расчувствуйся он по заказу, а не от волнения души, касса думы мигом была бы раскассирована, а в самой думе остался бы один грош.

Этого, разумеется, не могло случиться, потому что у Конона Петровича и в мыслях ничего подобного не было; он искренно желал оказать пользу городу и заслужить прочное почтение со стороны жителей. Назначив сам для себя дело и расходы на него, он больше не думал о сопротивлении управы и думы; первая пришла в умиление, вторая, если говорить по чистой совести и без обиняков, никогда не существовала, редко собираясь в узаконенном числе и идя на самоуправление весьма неохотно, лишь под влиянием увещаний своего головы. Таким образом, Конон Петрович был со всех сторон свободен и мог беспрепятственно оказать городу пользу, осуществление которой он решил начать почему-то с чистки улиц и проведения водопровода.

Решение Конона Петровича отдать свои последние годы на пользу города и для него самого было поразительно по беспримерности, потому что прежнее естество его заключалось в том, чтобы убиваться за себя и за свой лабаз, в полном неведении общественных дел, занятие которыми и не для него одного казалось чем-то необыкновенным, чрезвычайным, граничащим с глупостью. Понятно, как был он возбужден, когда в этот день явился в свое семейство и объявил ему о своем решении. Собрав вокруг себя всех домочадцев, состоявших из жены Алены Митриевны, двух сыновей, из которых один был женат, и тещи, он уселся на стуле и строго заговорил, видя лица сыновей недостаточно серьезными. Впрочем, он всегда говорил в своем доме строго:

— Смирно! Слушайте, что я вам расскажу, — начал Конон Петрович. — Не лезьте вы, господа ради, ко мне теперь с вашими делами и не препятствуйте. Хочу я послужить на пользу городу, и вы не препятствуйте. Довольно я послужил для себя, хочу для ради пользы города послужить и приказываю вам не лезть ко мне с вашей дурью.

Далее Конон Петрович объяснил, что он будет строить водопровод для города, а потом примется и за другие дела. Что касается домашних дел, то он от них совершенно отстраняется, оставляя для себя одно право давать от времени до времени подзатыльники и приказы своим сыновьям, если последние начнут баловаться. Эта оговорка была сделана Кононом Петровичем не без основания, так как сыновья его, здоровенные малые, с подуш-

ками вместо щек, с заплывшими глазами, загоравшимися по временам чисто животною радостью, хотя и называли своего отца тятенькой, выказывая перед ним глубочайшее раболепство, но за глазами отца пользовались всяким удобным случаем, чтобы прокутить и развеять уйму отцовских денег. Отец с трудом управлялся с ними с помощью угроз, брани и внушений страха. Теперь, глядя на них, Конон Петрович чувствовал отвращение к своей прежней жизни и к стоявшим перед ним животным, для которых он почему-то всю жизнь работал и которые ждали только смерти его, чтобы пустить по ветру все его состояние и погрузиться в прежнюю бедность.

— Ну, смотрите! — прибавил Конон Петрович. — У меня гляди в оба, веди дело чисто, а не то я... Вот куда я вас зажму, ежели вы вздумаете безобразничать! —воскликнул Конон Петрович и показал сжатые кулаки. После этого он обратился к жене и теще:

— А ты, Алена Митревна, своих-то монашенок укроти малость, чтобы не очень часто шлялись и пороги обивали своими хвостами, — сказал он жене, которая любила принимать монашенок и иерусалимских странниц, беспрестанно заходивших к ней. — Не то я смотрю, смотрю, да и разгневаюсь, тогда держись, черные хвосты... сволочь эдакая! Только в утробу живут, а не то чтобы для божественного... паскудницы!

Конон Петрович опять почувствовал отвращение к прежней жизни, в которой было так много дури, и увидел также непролазную темноту, среди которой жили он и его домочадцы.

Конон Петрович продолжал:

— Чтобы этого безобразия не было, и лучше не мешайте мне. Хочу послужить на общую пользу! довольно жил для своей утробы! Слава богу, некуда больше жадничать, будет! Не препятствуйте мне. Теперь пойдут у нас реформы, спервоначалу водопровод, а после и все... Спросит губернатор: есть у вас бассейн? Вот гляди, ваше превосходительство, вот он самый бассейн! И воздвигнул его голова Покрышкин. А улицы вымощены? Сколько угодно, вот он чистый булыжник! Богадельня? Извольте. Больница? Не угодно ль посмотреть, вот она! Школа? С моим почтением, извольте. У нас все есть, все будет. И все это понаделал голова Покрышкин. Не препятствуйте! Будет жадничать, довольно!

Конон Петрович перевел дух, отер пот с пылающего лица и, сделав еще несколько приказаний, отпустил домочадцев. Он наказал, чтобы не лезли к нему с делами, и оставил для себя только наблюдение за порядком. Это решение облегчило Конона Петровича, хотя он знал, что без его глазу сыновья, наверно, станут безобразничать и рады, что тятенька отказался вмешиваться в их дела; это он увидал тут же.

— Тятенька наш теперь закуролесил! Господь с ним! Нам же лучше, пусть куролесит! — говорил, выходя, старший сын. Младший захохотал.

— Смирно! Чему обрадовались, безобразники! — закричал Конон Петрович на прощанье.

Он догадался об этой радости и знал, что со временем он совсем может потерять власть над домом, но отвращение к дури прежней жизни и к безделью настоящей было в нем так сильно и болезненно в эту минуту, а желание «послужить на пользу» было так неожиданно и поразительно, что он не поколебался в своем решении. До этого времени он точно и строго выполнил программу жизни настоящего русского человека, доставил себе состояние и обзавелся домашним омутом; на это у него ушла, как и у всякого коренного русского человека, большая половина жизни, а дальше он по программе должен был наслаждаться жизнью созданного им самим ада. Очевидно, что по программе ему просто некогда было заниматься общественными делами, ибо у него, как у всякого, остальная половина жизни должна была пройти в возне с омутом; он должен был управлять им, вносить в него хотя наружный порядок, заботиться хотя о внешней благопристойности, приводить самим им нарожденных, но невоспитанных животных хотя к временному повиновению, наказывать их, укрощать, тушить ненависть и злобу, снедающую их, кипеть и бесноваться, отравляясь и отравляя других, — одним словом, проделывать все, к чему обязывает программа жизни. Какие тут общественные дела? Некогда! Но Конон Петрович, строго выполнив первую половину житейской программы, от второй половины по чистой случайности отказался и разгорелся желанием послужить на общую пользу, хотя, как умный человек, и сознавал опасность покинуть омут без призора, опасность столь же сильную, как напоминание о неприятеле, оставленном в тылу.

Его решению способствовало еще то обстоятельство, что отовсюду он встречал соглашение с ним, одобрение и даже похвалу. Один исправник держал себя странно. Через несколько дней после достопамятного заседания управы у Конона Петровича был исправник и похвалил его икру, а когда немного закусил, то похвалил и его самого. Но на этот раз голова Покрышкин был менее гостеприимен, отказался бражничать до полуночи и не захотел играть в шашки, чему немало удивился исправник Кулаков, не воображая, что этот вечер будет последним вечером их дружбы, как не воображал и голова Покрышкин. Вражда открылась упорством головы Покрышкина, который не пожелал выдать деньги на выписку обоев и некоторой мебели для квартиры исправника.

— Кстати, Конон Петрович, похлопочи насчет мебели, — сказал между прочим исправник, подставляя рюмку на свет,

чтобы удостовериться, насколько чиста водка. — Я давно хотел поговорить тебе, да все забывал; пожалуйста, не забудь хоть ты. Мебель и в канцелярии развалилась, просто стыд! Необходимо приобресть новую. Я бы послал вам бумажку, да ведь у вас там завелась канцелярщина! А я люблю по-военному: раз, два, бац — готово!.. Икра у тебя, друг мой, отличная, откуда ты выписываешь?

— Икра как следует, скус настоящий... Только небель, ты говоришь, не годится? — спросил Конон Петрович, но без обычной насмешливости, а тревожно и печально.

— Сгнила! Того и гляди разобьешь голову!

Но Конон Петрович задумчиво гладил себе бороду.

— Ты теперь погоди, Яков Кузьмич. Мне в нынешнее время заниматься недосуг этой самой небелью. Ты уж погоди.

— Как погоди? — строго сказал Яков Кузьмич. — Говорят тебе, крайняя нужда! Нет, ты, пожалуйста, выдай.

— Нельзя, Яков Кузьмич, невозможно! Сделай милость, погоди! Дела общественные, сам знаешь. Мне тоже ведь надо давать ответ, а ты как думаешь! Сделай милость, погоди!

Исправник перестал есть икру, поставил обратно на стол невыпитую рюмку водки и во все глаза смотрел на Покрышкина, очевидно не веря ни глазам, ни ушам, потому что до этого дня голова Покрышкин никогда не отказывался раскассировывать суммы...

— Ты говоришь, нельзя? Та́к ты говоришь, а? — спросил Яков Кузьмич.

— Погоди, Яков Кузьмич! Христом богом умоляю! Дела городские, чай, знаешь. Ежели я все раскассирую, какой ответ я дам? Куда дел? какая такая небель? Чай, знаешь.

— Так я, как истинный начальник твой, приказываю — слышишь? приказываю, ежели уж ты дружбы не понимаешь! — закричал, вне себя от гнева, Яков Кузьмич.

— Невозможно, прямо тебе говорю... — сказал Покрышкин твердо, хотя и печально.

Исправник Кулаков оцепенел на время, но потом вдруг надвинул на голову фуражку, тут же в столовой, и направился к двери. У порога он еще раз спросил:

— Так не дашь?

— Нельзя, Яков Кузьмич!.. Ах, грех какой! Христом богом прошу... Так ты говоришь развалилась? Чудеса!

Яков Кузьмич вышел в дверь, не слушая. У него чесались руки, и он едва удержался от нанесения оскорбления действием, но зато дал себе слово не оставлять этого дела. Действительно, с этой минуты он стал питать к голове Покрышкину такую неприязнь, что последний был очень огорчен. На другой же день, когда голова Покрышкин вышел вечером на балкон подышать и,

увидев исправника Кулакова, раскланялся с ним, исправник Кулаков не кивнул даже головой и не сделал ни малейшего знака одобрения, а только проговорил: «Я тебе, толстый, покажу Кузькину мать!» — и затем отвернулся в сторону, медленно и оскорбительно. Сам Конон Петрович не дослышал этих слов — иначе он примирился бы с Яковом Кузьмичом, — но их слышала у соседнего домика старушка, сидевшая, по обыкновению, с чулком. Она сказала себе: «У, осерчал исправник!»

Начиная с этого дня, когда упорство головы Покрышкина и его желание быть самостоятельным обнаружились явным образом, Яков Кузьмич не переставал обдумывать способ обуздать своего неприятеля, так жестоко оскорбившего его. Это продолжалось около двух месяцев, и во все это время желанного для Кулакова случая не представлялось. Он видел часто из окна Покрышкина, который сделался очень деятельным, видел, как он сам осматривает навоз на улицах, тычет палкой в помойные ямы, заходит во дворы обывателей, говорит и убеждает, преет и задыхается, создавая, очевидно, в своей голове план будущей чистки, видел все это и не мог представить себе возможности привязаться к Покрышкину, но все-таки говорил: «Я тебе покажу!»

Наконец настал и тот день, который голова Покрышкин назначил для осмотра места, где должно было поставить водоем, потому что в этот день все было готово: нанят подрядчик, привезено на площадь несколько серых камней и собраны были гласные, сколько было возможно. Этот день был воскресенье. Яков Кузьмич встал возле своего окна и наблюдал за всем, что происходит на площади. А происходило там движение, необычное для города. Прежде всего, конечно, Якову Кузьмичу попался на глаза сам голова Покрышкин, шедший впереди десятка гласных думы, а за ними толпилось много праздного народа, заинтересованного необыкновенной деятельностью головы. Во все время, пока голова осматривал и показывал место, где всего лучше поставить каменный чан, громко именуемый им фонтаном, праздный люд держал себя смирно и негромко рассуждал о выдумке головы, причем большинство хвалило голову; только мальчишки шумели, шмыгая между взрослыми или вступая в драку друг с другом. Пьяных было, по обыкновению, много, но они вели себя кротко и держались с большим достоинством на ногах; а их широко раскрытые и полоумные глаза с недоумением останавливались на голове Покрышкине, на серых камнях и на гласных думы; по-видимому, они не могли дать себе отчета в том, что перед ними происходит.

За все полчаса, в продолжение которых голова Покрышкин с товарищами осматривал место и говорил с подрядчиком, был только один случай, возбудивший всеобщее внимание и хохот.

Мещанин Селиванов, известный в городе за человека веселого нрава, будучи немного навеселе, ходил по толпе и возбуждал дружный хохот своими прибаутками, из которых одна попала и городовому Шишкину. Шишкин сделал вид, что оскорбился, и чтобы выразить свое негодование на словах, изъявил ленивым тоном желание посадить насмешника в клоповник. «Посажу вот в клоповник и погляжу, как ты тогда будешь зубы-то скалить»,— сказал Шишкин. «На-ко вот тебе, съешь!» — возразил мещанин Селиванов с гримасой, помуслил себе кукиш и подставил его под нос Шишкину, возбудив вокруг много веселья. Шишкин тогда осердился. Он отошел к сторонке, схватил зачем-то ком земли и бросил его по неизвестной причине в собаку, лежавшую на другом конце площади и, конечно, не ожидавшую столь неожиданного нападения.

Потом Яков Кузьмич увидал дальнейшее шествие головы Покрышкина к Крестовскому роднику, который должен был послужить источником всех благ, проектированных головой Покрышкиным; но скоро взгляд Якова Кузьмича перестал следить за толпой, ушедшей далеко. Он удивился только, как такому толстяку не лень делать подобные прогулки пешком. Но скоро Яков Кузьмич увидал, что голова Покрышкин, слава богу, дошел до ручья благополучно и возвращался назад весело. Правда, он был, видимо, утомлен; то и дело вытирал пот с красного лица; снял даже шляпу, и седые кудри его развевались ветром; но он был возбужден, горячо о чем-то рассуждал и размахивал руками. Все эти действия были, однако, менее оскорбительны для Якова Кузьмича, нежели обед, который Конон Петрович устроил прямо после прихода с родника для всех своих спутников и на который он забыл пригласить главного начальника города... Мера терпения Якова Кузьмича переполнилась, и он сказал, отходя от окна: «Я тебе покажу!»

В тот же вечер Кулаков призвал к себе Чертыхаева, человека воинственного и решительного, и между ними произошло совещание относительно головы Покрышкина. В конце концов было решено сочинить донесение губернатору, но при этом от посылки бумаги воздержаться, а показать ее одному Покрышкину для устрашения. Решено было еще, что отнесет сочинение к Покрышкину Чертыхаев, приняв образ друга его, желающего если не выручить из беды, то по крайней мере предуведомить о ней. Бумага была сочинена; тогда Кулаков спросил Чертыхаева, бросится ли она в нос? Еще раз прочли сочинение, озаглавленное так: «О революционных умыслах головы города Грязева, Конона сына Петрова Покрышкина купца». Доказательства же существования умыслов заключались в том, что оный Покрышкин неоднократно отказывался исполнять законные требования нижеозначенного исправника, приглашая к таковому неповиновению и

всех гласных думы, мысли коих до него были религиозными и доброжелательными, а после вступления его, вышеупомянутого Покрышкина, в должность сделались буйными и безнравственными. А в последнее время вышеназванный голова Конон сын Петров Покрышкин, собрав на площади города многочисленную толпу, весьма враждебно настроенную против местных представителей власти, обратился к ней с возбудительной речью, приглашая ее к бунту и неповиновению, чем явно обнаружил свои преступные умыслы, до сего дня скрываемые им от начальства, боясь заслуженной им кары; а по этой причине буйная толпа, подстрекаемая к насильственным действиям вышеописанным головой Покрышкиным, начала представителям местной власти наносить дерзкие оскорбления, понося их наглыми словами, а одному городовому, увещевавшему возмутителей и зачинщиков разойтись по домам и утихнуть, оная толпа яростно грозила растерзанием.

— Хорошо? — спросил Кулаков после прочтения бумаги. Чертыхаев задумчиво рассматривал бумагу и только после продолжительного молчания отвечал, что больше ничего и не надо. Он переписал сочинение своим почерком и изъявил готовность хоть сейчас ее отнести к голове Покрышкину, но Кулаков решил, что лучше вручить ее завтра в заседании, выбрав время, когда Покрышкин останется с одним секретарем. Чертыхаев и на это согласился.

На следующий день Чертыхаев отправился в думу и предстал пред Кононом Петровичем с таинственным видом, предварительно заперев дверь и озираясь по сторонам; на глазах его были слезы, и он некоторое время жалобно смотрел на Покрышкина. Когда эти предварительные приготовления кончились, он вручил Конону Петровичу бумагу, отошел к двери и оттуда смотрел, выражая на своем лице печаль.

— Господи! что же это такое? — прошептал Конон Петрович, когда прочитал бумагу.

— Вы уж, Конон Петрович, не выдавайте меня! Никому, бога ради, не говорите, что я вас предуведомил! — сказал с ужасом Чертыхаев.

Конон Петрович, прямо по прочтении, еще не понял всего и переводил глаза с секретаря на Чертыхаева и с Чертыхаева на секретаря, но и в эту минуту его уже прошиб холодный пот. Между тем Чертыхаев с тем же таинственным видом взял назад бумагу, спрятал в рукав и поспешно удалился к двери, умоляя Конона Петровича не выдавать его.

— Вы знаете, чем это пахнет! — сказал он шепотом и окончательно удалился.

Конон Петрович обратился за советом к секретарю, взволнованный до глубины души. Секретарь был заранее уведомлен

Кулаковым и теперь пояснил, что это действительно нехорошим пахнет. Сибири не будет, но срам на всю жизнь, осрамят ужасно! потому что станут исследовать, нарядят следствие, пожалуй!

— Я бы вам советовал помириться. А впрочем, как знаете,— кончил секретарь и весь погрузился в бумаги.

Покрышкин был оглушен. Не медля долго, он отправился к Кулакову. Но каково было его удивление, когда в доме исправника ему сказали, что хозяин уехал по весьма важным делам. «Уехал?» — спросил ослабевшим голосом Конон Петрович; у него помутилось в глазах, и он готов был пасть на землю, пораженный ударом. На некоторое время он остолбенел. Потом, постояв около дома Якова Кузьмича и потоптавшись под его окнами, он пустился бежать домой, насколько это позволяла его тучность. Дома он хлопнулся на стул и крикнул Алену Митриевну. Когда та предстала, он грозно сказал:

— Жена! Молись! Несчастие. Молись богу!

Алена Митриевна обомлела.

— Завтра же, слышишь, закажи молебен с водосвятием. А теперь уходи. Ступай, больше моего приказу тебе нет! — сказал Конон Петрович и пошел в спальню. Там он также хлопнулся на стул, пыхтя и задыхаясь, и безумно озирался кругом, недоумевая, что с ним случилось.

Целую неделю после этого он оставался в спальне, боясь выглянуть на улицу. Только по вечерам выходил на балкон, если на площади никого не было. Фонтан вылетел из его головы. С балкона он осматривал весь город, реку, серые камни, валявшиеся на площади, нюхал запахи, несущиеся к нему со стороны оврага и сорных куч, думал о жителях и говорил про себя: «Пущай их, пущай!» Требования Якова Кузьмича он с тех пор по первому мгновению исполнял, невзирая на кажущуюся их странность, а когда Яков Кузьмич выходил на свой балкон, он кланялся ему и говорил про себя: «Пущай его, пущай!» Дома он потерял с этой же поры всякое значение. Когда он вздумал было снова взять в свои руки дела, то сыновья твердо отстранили его, говоря, что они и без него могут управляться, а ежели тятенька мешаться будет, то от этого только ущерб один произойдет, и попросили его жить тихо-смирно, уверяя, что он может куролесить в думе. Конон Петрович сначала бесновался, бушевал, один раз побил много посуды в доме, грозил даже разнести весь дом, но вдруг как-то стих и, смотря на распорядки своих сыновей, на их кутежи и на их наглость, говорил про себя: «Пущай их, пущай!» И тогда его чудовищное тело дрожало, готовое ежеминутно быть расшибленным паралитическим ударом.



НЕУТОМИМЫЙ ДЕЯТЕЛЬ

— Мы тоже не все хлеб жуем даром, а ты думаешь как? Неба коптители... заборы бы только подпирать... так вы думаете, а не знаете, что и мы кровь свою проливаем за убеждения, грудью лезем вперед, делаем весьма опасные дела. То-то вот оно и есть. Ты бы спросил хоть, чему только я ни подвергался; честное слово, где только я ни страдал? Стало быть, сто́им же мы внимания, так сказать, страха? Ведь за мною надзирают, следят... а ты как думаешь? Мы и страдаем, и надзирают за нами, и непокорный дух из нас выбивают — все есть. Но есть с нашей стороны и упорство, живет в нас душа, и мы сами живем... Потому что мы принадлежим к поколению, которое научилось жить при самых смертельных опасностях... Ведь иной раз уж совсем в гроб заколотят, честное слово, а глядишь — жив! даже самому удивительно, ей-богу!

Запевалов размахивал в сильном возбуждении своими тощими ручищами и от времени до времени горячим взглядом обдавал племянника. Потом продолжал:

— Наш город не то чтобы уж очень плох, такой же, можно сказать, как и все... И тут есть люди со смыслом, только скры-

ваются они... Он, город-то наш, конечно, не тово... И вони есть много, как и вообще, но люди есть, со смыслом люди, которые не покоряются. Стало быть, надеяться можно на них; теперь они только ждут и скрываются, а придет новое время, крикнут: эй, честные люди! где вы там прячетесь, выходите! Они и выйдут, скрываться не станут, потому что опасности не будет. Ты что это смеешься, дуралей? Сс! мелюзга! Вытри прежде молоко с губ-то, а уж потом и дразнись.

Сидор Васильич Запевалов переставал распространяться насчет своей силы, потому что племянник его легкомысленно прыскал ему смехом в лицо, очевидно еще неспособный слушать внимательно серьезные разговоры дяди. А Сидор Васильич был человек обидчивый; он обижался насмешками молокососа и умолкал, надув губы.

Этот разговор происходил в то время, когда у Сидора Васильича был еще племянник, который ездил к нему на каникулы... Но замечательно, что Сидор Васильич говорил в таком одушевленном тоне и после того, как не стало племянника, несмотря на многие несчастия, составлявшие неотъемлемую принадлежность его собственной жизни, несмотря на то, что под давлением этих несчастий он хронически падал духом. Да и стар он был. Тело его давным-давно отощало и съежилось, лицо сморщилось в кулачок, в голове росла проседь, в ногах замечалось трясение; но дух его был бодр, а глаза беспокойно бегали и жили. Он в особенности был хорош в те минуты, когда писал и отсылал корреспонденции; здесь его одушевление доходило до восторга, радость до злорадства, а самая корреспонденция возрастала до степени героического подвига.

Дело в том, что Сидор Васильич не мог быть удовлетворен занятиями учителя уездного училища, где он преподавал грамматику и чистописание. Пробовал он углубиться в свои чисто ученые занятия и раз даже сочинял в продолжение нескольких месяцев, на новых принципах, учебник чистописания, долженствовавший доставить ему полное материальное довольство и славу; пробовал он во времена трусливых припадков иметь дело только со школьниками, пробовал также смирно сидеть дома, предаваясь мирным домашним занятиям, но не мог, физически не мог. Дух крамолы сидел в нем неотлучно, постоянно подталкивая его на предприятия общественной важности. Иначе ему было нельзя. Как он ни старался усмирить свой неугомонный нрав, но нет-нет да и сунется, куда обыкновенно не просят. Поэтому-то в городе он и заслужил опасную репутацию «корреспондента», возбуждая в восхваляемых им людях радость, а в изобличаемых — злобу и презрение. Писать письма ему было запрещено, выезжать из города также; над ним учрежден был негласный надзор, и вообще над его головой беспрестанно висела туча, готовая разра-

зиться громом и молнией. Однако он не переставал вести опасные разговоры и иногда, поправляя ученикам палки, рогульки и нули, с большим воодушевлением декламировал: «Надо мною буря выла; гром на небе грохотал...» И потом: «но не пал я от страданья, гордо выдержал удар...» В нем сидел крамольник.

Когда в доме, находящемся возле уездного училища, закрывались по вечерам ставни, это означало, что Сидор Васильич составляет корреспонденцию. Действительно, чуть только в городе совершилось какое-нибудь происшествие, рябившее гладь грязевской жизни, как уже Сидор Васильич был готов к описанию его со многими подробностями; руки у него уж зудели. Он садился и писал, скрываясь от взоров посторонних и домашних людей; так делал он потому, что считал описание происшествий священнодействием, и еще потому, что подвергался за них жестоким преследованиям в тех случаях, когда его признавали за автора. А признавали его всегда; больше было некому; он один имел столь неспокойный характер. Но хотя его признавали, он все-таки принимал соответствующие меры для избежания истязания: заметал след, оправдывался, отрицал свои дела, отрекался от себя — вообще делал все для избежания наказания.

Только это и делал Сидор Васильич. В день священнодействия он выглядывал сперва на улицу с целью поглядеть, не надзирает ли кто за ним, и когда делалось совершенно темно, он закрывал ставни и принимался за сочинение. Казалось бы, самое сочинение должно было более мучить его, нежели вышеупомянутые приспособления, но, к удивлению, этого не было. Труды свои он не считал, а обращал все внимание на самый способ отправки их, и тут-то проявлялась вся его хитрость. На следующий день он отправлялся на почту с письмом в кармане, предварительно написав адрес «другой рукой»; шел и озирался. Сморщенное лицо его еще более делалось морщинистым; тощее тело окончательно съеживалось. Пугался.

Почтовой конторы он избегал, всегда имея в виду почтовый ящик, прибитый на улице. Почтмейстер был человек, заслуживающий во всех отношениях уважения, но сплетник, почему Сидор Васильич никогда не показывался ему на глаза, опасаясь, что старый салопник по глупости разболтает о его новой корреспонденции; это дойдет до исправника или до его помощника — и он пропал. Во избежание подобной случайности он подкрадывался к ящику, бросал письмо и шел дальше, как ни в чем не бывало.

Судьба, однако, не всегда покровительствовала ему. В сущности, она даже никогда не покровительствовала ему, и редкое его предприятие обходилось без истории. Через некоторое время о нем узнавали, а творцом его признавали Сидора Васильича, который и страдал, становясь на обычное свое место козла отпущения.

— Сидор Васильич! — ошеломлял его Чертыхаев, глядя на него с свирепой проницательностью и останавливая на улице.

Сидор Васильич в это мгновение был в самом счастливом настроении. Он только что послал корреспонденцию о замечательной деятельности грязевского земства и уже думал, что никакой истории из этого не произойдет. Можно себе вообразить, как он был поражен неожиданностью появления Чертыхаева; он вдруг скорчился, съежился и заговорил, что попало на язык.

— Мое почтение, Алексей Викентьевич! Прогулку вздумали сделать? И я тоже... Вижу — погода хорошая, дай пойду прогуляться...

Но Чертыхаев без разговоров приступал к делу.

— Чем это пахнет? — спрашивал он, вынимая из кармана газету и показывая пальцем одно место в ней.

— Что такое?

— Нечего, нечего отлынивать-то; вы это написали, говорите правду?

Сидор Васильич бледнел и начинал отрицать свои поступки.

— Я?! Господи... и не думал! Да разве это можно... Что вы, что вы!

— Ну, смотрите! — отвечал Чертыхаев и бросал еще один взгляд, проникнутый свирепой проницательностью.

— Ей-богу, не писал, честное, благородное слово!

После этого Сидор Васильич шел домой и во всю дорогу чувствовал, что в его голове мутится. Застигнутый врасплох, он не мог сообразить, что ему следует теперь предпринять; он терялся, а думать не мог. Только и оставались в нем трусливость и бессильное озлобление; идя к дому, он все бормотал про себя рассеянно: «Ну, погоди... ну, погоди... Придет наше время, я тебе дам... сволочь!» В конце концов трусливость брала верх над всеми другими чувствами, и Сидор Васильич переставал на время злоумышлять и даже старался загладить свое преступление соответствующим поведением.

Впрочем, особенно многого Сидор Васильич и не мог выдумать в этом направлении, кроме усиленного ухаживания за Чертыхаевым и Кулаковым. Сидор Васильич нарочно встречался с ними и все похаживал около них, кротостью убеждая их в своей невинности. Иногда ему приходилось, по настоянию Кулакова, снова писать корреспонденцию под другим именем, опровергать себя и выражать пламенное негодование на клевету, возведенную на уважаемых в городе лиц... Бывали в жизни Сидора Васильича такие опасные случаи, когда плюнуть на себя было для него единственным средством спасения; только таким первобытным раскаянием он и держался на месте. Ничего не поделаешь.

Жил еще в городе человек, которым пользовался Сидор Васильич в крайних случаях. Это был поднадзорный, сосланный

в Грязев за неизвестное преступление. Никто не знал, откуда и за что он привезен и есть ли у него где-нибудь родные. По-видимому, родных у него не было. Брошенный в чужой город, всеми забытый, внушающий всем опасения, он жил где-то в мазанке, на заднем дворе, совершенно один. Никто не знал также, чем он кормился и как жил. Видели только его регулярные хождения в полицию, которая выдавала деньги на его пропитание, видели отрепья, которые болтались на его теле, и могильный цвет лица, который дал повод местному доктору осмотреть его и найти у него безнадежную чахотку.

Трудно и предположить, чтобы у этого человека была слабость строчить корреспонденции. Но Сидор Васильич рассуждал так: «Хуже ему не будет, а мне облегчение», и когда его приспичивали, грозя погибелью, он сваливал вину на этого человека.

— Честное слово, не я... Разве я могу? Это вон Жилин. Ему терять нечего... Наверное, это Жилин...

В таком роде вертелся Сидор Васильич. Правда, что на Жилина в городе валили все: пожар, буйство рабочих в мастерской, вздорожание съестных припасов, неистовства Чертыхаева — все валили на Жилина, который был поджигателем во всех смыслах. Но Сидору Васильичу не было необходимости подстрекать против него. Делал это он, то есть подстрекал, ради своего спасения и вследствие крайней растерянности. Попадется и уж не умеет сообразить ничего...

Просто обидно было наблюдать за Сидором Васильичем в такие дни — до такой степени он способен был растерять свое достоинство ради спасения. Перед смотрителем училища он, например, окончательно терялся, когда тот уличал его. Толстый смотритель негодовал на всякого человека, который смущал его покой; а тут вечная история с учителем... На Сидора Васильича ежемесячно сыпались к нему советы и доносы, устные и письменные. Первые шли со стороны Кулакова и Чертыхаева, советовавших смотрителю заблаговременно удалить неугомонного учителя грамматики и чистописания, последние направлялись со стороны партикулярных добровольцев. А раз из губернского города пришла бумага следующего содержания: не считает ли смотритель необходимым отстранить учителя грамматики и чистописания Сидора Запевалова от занимаемой им должности? Смотритель пришел в ужас.

— Вы опять скрамольничали? — с волнением говорил смотритель.

— Что такое?.. — дрожащим голосом возразил Сидор Васильич, чувствуя, что он проваливается сквозь землю.

— Да что вы дурака-то представляете! Опять писали в газету?

— Я?! Господи... и не думал! Честное слово...

— Да что вы врете, ведь писали? Ведь вы дня не проживете без того, чтобы не покрамольничать...

— Я? И не думал, честное слово, Афанасий Егорыч! Господи, да неужели я не чувствую!.. Ей-богу, не писал. И некогда мне. Всю неделю у меня ноги болели... сильно страдаю я... Ей-богу, не писал.

Смотритель даже беситься перестал, слушая этот нелепый набор оправданий Сидора Васильича; он качал головой и в нерешительности стоял перед учителем. А последний жалобно заглядывал ему в глаза, отпирался от своих действий, лгал и, наконец, так запутался в своих словах, что умолк. Что тут с ним делать?

— Слушайте, Сидор Васильич, уймитесь вы, ради бога, перестаньте, а не то вы лишитесь места; жалко, от души говорю вам это! Ну, скажите, что с вами делать начальству, коли вы крамолы устраиваете? И что вы станете делать, ежели кусок-то хлеба у вас отымут? ну, подумайте...

Смотритель говорил уже тоном горьких упреков.

Сидор Васильич стоял бледный и потерянный, беспокойно мигал глазами; руки у него тряслись. Он все что-то пытался сказать и не мог. А все-таки отрицал свои действия.

Вслед за такими неприятными происшествиями для Сидора Васильича наставало время полного затишья. Им овладевал тогда такой страх, что он действительно начинал чувствовать трясение в ногах, боясь, вот-вот к нему нагрянут, обнюхают и потом съедят. Сидел он в таких случаях дома и читал в десятый раз пожелтевшую книгу «Путешествие в Китай Иакинфа», сидел и пугался всякого шороха в комнате, а по ночам его мучили страшные сновидения. Приснилось раз ему, что он сидит в уездном училище за партой, а урока не знает... Вдруг его спрашивают, велят отвечать урок, а у него язык не ворочается.

— А, ты не знаешь! Бей его! — кричит какой-то голос. И Сидора Васильича схватывают и начинают бить по пяткам бамбуковыми палками; он хочет закричать от боли, а голосу у него нет... Тут он и проснулся.

За все хватался Сидор Васильич, когда находился в таком положении. Когда на границах войсками одерживалась победа, он показывал вид, что необычайно рад этому, и сам перед своими окнами вывешивал флаг, чтобы показать, каков он... Кто его знает, откуда он набирал столько разноцветных материй для этого флага, но только флаг долго болтался перед окнами его дома, даже после того как надобности в нем уже не было. Вообще Сидор Васильич с перепугу совершал множество совершенно ненужных и нелепых поступков. Да и нельзя было иначе. Ибо если он и доводил свой страх до чрезмерности, то это происходило оттого, что ожидать для себя несчастий он имел право по закону, так

как вся жизнь его всей своей совокупностью наводила на него чувство подавленности, бессилия, боязни.

Эта жизнь, неподвижная, незаметная и проникнутая ненарушимой тишиной, должна была бы, по-видимому, казаться благополучною и безопасною. Но тишина бывает всякого рода. Грязевская тишина подавляла и возбуждала суеверие. Сказать, что если люди живут среди абсолютного покоя, то каждое ничтожное происшествие принимает в их глазах вид необыкновенно сильного движения, значит сказать довольно плоскую истину. Но по этой именно причине ничтожнейшее по существу явление в Грязеве было всегда неожиданно и поразительно. По городу то и дело носились достоверные рассказы о непредвиденной кончине здоровых людей: тот умер во время обеда, не дав родственникам времени вынуть из его рта пельмень; другой подавился рыбьей костью; третий после небольшой выпивки шел-шел по улице, вдруг шлеп лицом в лужу и утонул; чертвертый жил-жил, сидел-сидел и вдруг был схвачен неизвестно за что, посажен на неизвестное время и увезен неизвестно куда. И так далее. Суеверие при такой тихой жизни было неизбежно.

Что Сидор Васильич принадлежал к той части жителей, которая зовется интеллигенцией, это было таким же несомненным фактом, как и то, что он преподавал грамматику и чистописание. Если же признаком интеллигентности считать вмешательство в дела, которые не лежат под ногами, и способность заботиться о явлениях, собственно не относящихся к домашнему устройству, то Сидор Васильич явится еще более интеллигентным. Но развитие не спасало его от суеверий. Как и все жители, он жил в щемящей душу тишине и так же, как они, был боязлив и верил в беспричинные несчастия. Домашняя обстановка его только способствовала такому настроению. Дома, перед сестрой, Сидор Васильич не отдыхал, а еще более мучился, не успокаивался, а пугался.

До чего иногда вырастала его пугливость, это видно из того, что он и в дом-то свой являлся тайно, старался пробраться в свою комнату как-нибудь бочком. Вдова сестра, жившая с ним вместе и принявшая на себя все его домашнее устройство, возбуждала в нем панику даже в те времена, когда начальство и без того грозило ему изгнанием, ссылкою. Сидор Васильич в такие времена прокрадывался бочком в свою комнату и там ни гугу. Сидел и молчал. Он боялся вставить свое слово, не заявлял о желании поесть или попить чайку, малейшее приказание сестры исполнял мигом и стремительно, в то же время пугливо заглядывая ей в глаза... совсем как виноватый и наказанный! Ничего не поделаешь.

Александра Васильевна сама догадывалась, в чем дело.

— Ешь. Что скрываешься-то? — говорила она и пытливо оглядывала брата.

— Ничего, ничего, сестрица... Я только чуть-чуть... самые пустяки... — пугался Сидор Васильич.

— Или опять скрамольничал? — спрашивала Александра Васильевна.

Сидор Васильич старался отвязаться от вопроса молчком, но это ему не удавалось.

— Скрамольничал, что ли? говори уж прямо, ну?

— Ничего, ничего, сестрица...

— Врешь! Вижу по глазам, врешь. Говори, писал в газету?

— Я? что ты, что ты... Вот уж напрасно, честное слово!

— Врешь, врешь, не поверю! Как тебе, Сидор Васильич, не совестно перед сестрой-то? сестру-то как тебе не совестно губить? Тебе уж ведь сказали раз — образумься, а ты все не уймешься! Чешется, что ли, у тебя, прости господи... Да еще и врешь!

Дверь с шумом захлопывалась, Александра Васильевна исчезала, а Сидор Васильич долго стоял в столбняке, шевеля губами, и все о чем-то шептал. Стыдно ему было, что он проврался, стыдно было сестры; боялся он, что когда-нибудь он действительно ее погубит, и в то же время он осязательно верил в свою собственную погибель. По всем этим причинам он садился в угол и молчал там, съежившись и притаив дыхание. В доме наставала таинственная, загадочная тишина, способная запугать какое угодно воображение.

Это было удивительно, но совершенно верно, что он под влиянием всех угроз, застращиваний и увещаний сам начинал считать себя виноватым. Тогда он весь погружался в свои занятия, по целым дням шурша школьными тетрадками. Таким же испуганным и растерянным он появлялся и в классе; ученики его, подметив это мучительное состояние, проделывали с ним разные штуки; то налепят на его платье разноцветных бумажек, то накладут в шляпу сору; и Сидор Васильич не обижался, вернее — не смел обижаться, считая себя кругом и перед всеми виноватым. Начальства он всегда боялся и стыдился, но в такие времена оно представлялось ему особенно страшным. Всегда было достаточно сказать — цыц! чтобы Сидор Васильич угомонился, а в эту пору одного серьезного взгляда было довольно, чтобы он изъявил готовность пропасть в мгновение ока.

Сидор Васильич замирал; в такие дни ему и на мысль не приходило сделать что-нибудь преступное. Он желал только одного: чтобы его оставили в покое, не трогали, потому что ему было и самому тошно...

Стоял ноябрь. Надвинулись сумерки. Сальная свеча чуть светилась в комнате, где сидели брат и сестра. На дворе и на улице еще трепетал слабый свет; не было мрака, но на все пред-

меты легло уже покрывало теней. Это — время, когда мысли ползут бессвязной вереницей, переплетаясь и взаимно подавляя одна другую, а в домашнем быту это — время, когда люди от нечего делать начинают тянуть водку или грызут друг друга.

Сидор Васильич и Александра Васильевна не способны были мрачно тянуть водку. Брат не способен был и грызть свою сестрицу. Но зато сестра искала только повода, чтобы чем-нибудь разрешить свое подавляющее чувство. И вот в то мгновение, когда брат уже несколько успокоился, Александра Васильевна напала на него. В ее голосе обнаружилось тотчас же озлобление и застарелая ненависть к зудливости брата, который только что вчера должен был отрицать свои действия, божиться, лгать и пр.

— Ну что, дожил? — спросила она. — Боишься теперь выглянуть из дому... дожил? Скажи ты мне по совести, когда тебя сгонят с места? Очень я желала бы это знать!

Сидор Васильич обомлел и беспокойно завозился на своем месте.

— Что ты, что ты! Вот уж, ей-богу!..

— Нет, я серьезно спрашиваю, скоро тебя протурят? Ведь надо сундуки к отъезду припасти.

Держа руки на животе, сестра сурово смотрела в лицо брата. Но Сидор Васильич не счел возможным отвечать на ее вопрос, вследствие чего в мрачной комнате на несколько минут водворилось тоскливое молчание, которое, наконец, раздражительно подействовало на Александру Васильевну.

— И все из-за чего! Хоть бы ты дело сделал, ну надебоширил, что ли... а то и этого нет. Письмишко в газету послал, и из-за этой пустяковины сам же мучишься. Ты бы хоть о себе-то подумал: слыханное ли дело, чтобы сам на себя человек накликал начальство?

— Ты бы помолчала, сестрица... как бы у соседей не услыхали... Ей-богу, ничего нет, напрасно только ты...

Сестрица долгое время мерила глазами брата и соображала, чем бы его поразить. Все держа руки на животе, она покачивала головой, как бы говоря про себя: «Ах ты врун, врун!» Потом, когда это убийственное покачивание головой не подействовало, она вдруг выпалила:

— Корреспондент!

Сидор Васильич только еще более съежился.

— Либерал! — выпалила Александра Васильевна насмешливо.

Сидор Васильич встал с места и умоляюще смотрел на сестру. Но та продолжала палить страшными, по ее мнению, словами и зло смеялась. Сидор Васильич окончательно растерялся и испуганно бормотал: «Ничего, ничего... Ах, сестрица!»

И снова настала тоскливая тишина. Свеча едва мерцала; на ней нарос длинный нагар, коптивший комнату и разливавший в воздухе едкий смрад. Тоска двух собеседников сменилась подавляющей тяжестью, и они замолчали. Говорить было не о чем. Только после долгого молчания сестра предложила выпить чайку. Сидор Васильич монотонно шагал по комнате и после молчания изливался признаниями, видимо упав духом. Он сознавался, что и рад бы жить спокойно, да только сил не хватает... Очень иногда тоска разбирает... Все сидишь, сидишь, и вдруг иногда в голову лезет мысль... Но теперь конец всему, к шуту все эти дела! Он человек слабый; его всякий может обидеть, кому не лень... И ведь действительно все это сованье плевка не стоит, шут его возьми! да и вообще есть ли еще общественные дела? Ничего этого нет. Каждый за себя, а бог за всех... И все это теперь он бросит, честное слово!

— Я вот лучше опять примусь за руководство к каллиграфии, — продолжал Сидор Васильич: — вот это так, вернее это. С завтрашнего же дня примусь, это лучше... И деньгу зашибу. Ты как об этом думаешь? — вдруг спросил веселым тоном Сидор Васильич, остановившись перед сестрой.

Сестра отозвалась одобрительно, после чего Сидор Васильич стал высчитывать, сколько барышей ему перепадет от этого остроумного предприятия.

— Если я хоть по пятачку за штуку пущу, так и то получится... Ну, например, пущу я в десяти тысячах экземпляров, так ведь это, если по пятачку, какой барыш получится! А если в ста тысячах, то уж тут вон какая сумма... Удивительно, как я об этом раньше не подумал!

Александра Васильевна окончательно помирилась с братом, который отрекся от себя и отказался от крамол.

В ней осталось много доброты и снисхождения, вопреки тяжелым жизненным испытаниям, которые нежданно-негаданно выпали на ее долю. После смерти мужа, судебного пристава при мировом съезде в Грязеве, она всю свою надежду возложила на сына, краснощекого гимназиста, который во время вакаций постоянно дразнил своего дядю. Но надежда ее разлетелась прахом. Сын, уехавший держать экзамен в высшее учебное заведение, внезапно пропал и лишь по истечении полугода обнаружил свое местопребывание, с беззаботностью и небрежностью, свойственною его возрасту. «Я жив и совершенно здоров, и вы, мамаша, не бойтесь за меня, а также и дядя пусть не трусит. Все это пустяки. Только в дороге я отморозил один палец и кончик носа, который облупился, больше ничего. А теперь я привык. Если озябнет какая-нибудь часть тела, сейчас ее потрешь — и пройдет. Одежды у меня достаточно, деньги также есть. Конечно, если у вас с дядей найдутся лишние, так пришлите. Скажите, чтобы

дядя перестал хныкать и потом приходить в необузданный восторг, что у него идет без перерыва, одно за другим. А я здоров. Прощайте!»

Как ни было весело письмо сына, но мать с этого момента была убита.

Поползла жизнь. Лицо Александры Васильевны в несколько месяцев покрылось морщинами, исказившими ее добродушие. Глаза потухли. Волос поседел. Ненависть ее ко всякого рода крамолам, которые она стала видеть во всех, самых обыденных действиях Сидора Васильича, обратилась в хроническую болезнь, проявления которой знал один только Сидор Васильич. Она подозрительно следила за ним и, заметив, что он куда-то собирается и кладет что-то в карман, нарочно попадалась на его пути и оглушала: «Куда?» Сидор Васильич даже вздрагивал. «Я так... прогуляться, честное слово», — бормотал он с поспешностью виноватого.

Следовательно, положение Сидора Васильича было весьма печальное, и отовсюду на него воздвигались гонения; следовательно, если он опять задумал сочинять руководство к правильному и быстрому чистописанию, то имел на это весьма основательные причины, из которых главная состояла в том, что он желал получить одобрение и санкцию со стороны сестры. Сама Александра Васильевна занималась одними домашними делами и не понимала, почему некоторые люди отыскивают несвойственные занятия и почему Сидор Васильич с такой удивительной жадностью хватается за дела, за которые наказывают. Она понимала, что на Сидора Васильича нападает иногда тоска, но зачем же лезть под наказание ради забавы? Ну уж если скучно ему, так взял бы да и пошел к приятелям, выпил бы — и кончилась скука.

Александра Васильевна была целый день при доме и постоянно занята; даже после исчезновения сына руки ее не опустились, и она не опускала хозяйство, которое в Грязеве считается священнодействием. Там люди едят медленно и с чувством, вследствие чего самый процесс пищеварения, вместе с побочными явлениями его: икотой, сновидениями, составляет единственную цель всякого честного существования. Александра Васильевна не оставалась ни минуты в покое: она советовалась или перекорялась с кухаркой, торговалась или переругивалась на базаре, обдумывала обед, который должен появиться в следующее воскресенье. Только в свободное от этих беспрестанных занятий время она позволяла себе непродолжительный отдых: вязала чулок, читала календарь...

Вслед за тем долго Сидор Васильич сидел спокойно за ученическими тетрадками и за своим учебником чистописания. Прямо после школьных занятий он облачался в древний халат, закапанный чернилами, надевал туфли и шлепал по своей комнате из

угла в угол. Когда шуршание бумаги надоедало ему, он вел продолжительные разговоры с Александрой Васильевной, советовался с ней о провизии, держал моток ниток, если она разматывала их на клубок, или просто сидел и наблюдал, как она шьет, и вдевал от времени до времени нитку в ушко иголки. Это были мирные занятия. Но Сидор Васильич не умел усидеть спокойно. Неугомонный, зудливый дух его скоро нарушал домашнюю тишину. Сидору Васильичу необходимо было суетиться и гореть.

Это обыкновенно совершалось внезапно. Сидит-сидит Сидор Васильич за тетрадками и вдруг прорвется, что-нибудь сочинит, натворит, выскажет порицание начальству в кругу своих приятелей. И все это сделает с шумом и треском, разболтав все, что натворил или наболтал...

— Вы опять скрамольничали? — спрашивал его Кулаков.

— Я? Что вы, что вы? Вот уж напрасно, честное слово!

— Ну, смотрите, это в последний раз.

Жил на свете Чертыхаев, производил бесчинства и подавал Сидору Васильичу бесчисленные поводы волноваться, порицать и обличать. Сидор Васильич и сам иногда удивлялся, почему начальство, и одно только начальство занимает его мысли, заставляя его то дрожать и спасаться, то суетиться вне себя от радости. Но сам же он и объяснил свое недоумение, рассудив, что, кроме начальства, собственно говоря, ничего и нет. Чертыхаев свил гнездо в сердце Сидора Васильича.

Походив с неделю в халате, Сидор Васильич снова вышел «на арену общественной жизни», как он выражался. Ничего не поделаешь. Чертыхаев вывел его из терпения.

Чертыхаев был бичом для города. Взбалмошный, легкомысленный и свирепый, он с самого своего поступления под начальство Кулакова, сначала в качестве квартального, потом в должности помощника исправника, принялся наводить на жителей ужас. До поступления на должность это был «добрый малый» и отрепанный бедняк. Жил он в то время в губернском городе и делал долги, чиня рукопашные расправы с лавочниками, имевшими несчастие кормить его даром. Мелкие заимодавцы уступали ему, переставая появляться в его квартире, а крупные жаловались на него батальонному командиру за оскорбление действием. Но Чертыхаев оправдывался тем, что все это он совершал в пьяном виде.

Сама истина говорила его устами. Пьянствовал он до того, что дома бывал только по утрам или в те ночи, когда его привозили на квартиру в лежачем положении. Настоящим домом его был трактир, где он ел, пил, воспитывался, колотил зеркала на стенах и вышибал глаза половым, все это в нетрезвом виде. Нередко также оставался ночевать.

Когда чин и жалованье прапорщика надоели ему, он стал задумываться. К этому времени он так проелся, пропился, обносился и отощал, что самое название прапорщика пехотного полка сделалось ему ненавистным. Как раз в такую минуту его жизни подвернулось место квартального в Грязеве, и он взял его, ухватившись за Грязев обеими руками.

Этакое-то дитя и появилось в городе.

Приехав на службу ободранным и проголодавшимся, Чертыхаев сразу освоился с своим положением и начал поедом есть жителей. Исправник Кулаков сначала сдерживал его, но потом, ближе ознакомившись с его способностями, спустил... Они даже подружились, потому что с рук исправника сразу свалилось множество черновой работы, упавшей на Чертыхаева, который ничем не брезговал, взяв на свою ответственность запугивание, установление благочиния, сажание в клоповники и наблюдение за паспортной системой. В конце концов Чертыхаев пошел в гору.

Жители сначала оборонялись, и к прокурору поступала масса прошений и жалоб, но когда они увидали, до какой степени они еще глупы, то поступление прошений к прокурору прекратилось. Чертыхаев поправился, остепенился. Кулаков советовал ему положить нажитые деньги в банк, а прежние привычки бросить, и Чертыхаев с благодарностью принял его отеческие советы. Однако от многих привычек он отстать не мог; так, например, причинять вред людям, мучить их без всякой цели, играть во власть — это уж вкоренилось в него.

— Попадешь ты, Чертыхаев, под суд! — говорили добродушно его приятели.

А Чертыхаев хохотал. Вытаращенные глаза его смотрели нагло и бессовестно, а отчаянная голова держалась прямо, никогда не опускаясь от задумчивости.

— Вот еще! мне что... где мне граница?

— Брось лучше, влопаешься.

— Плевать! Хочу бить по мордасам — и буду! — отвечал на все предостережения Чертыхаев с легкомыслием савраса, на которого не успели надеть недоуздка.

По многим причинам Чертыхаев не боялся обнаружения своих деяний. Два человека только могли повредить ему: Жилин и Сидор Васильич. Но первый молчал. Сидор Васильич пугался. В своих газетных письмах он благоразумно ограничивался обличением земства, городской управы, съезда мировых судей, потому что и эта дерзость не всегда проходила для него даром. Чтобы следить за Сидором Васильичем, Чертыхаев на всякий случай дал одному из специалистов, Карфагенскому, приказ разузнать, что́ Сидор Васильич делает, как молится богу, куда ходит гулять и не ведет ли с кем разговоров, а также какие книги читает и что пишет.

Карфагенский, отставной титулярный советник, известный в городе за аблаката, которого всегда можно было отыскать за прилавком кабачка, где он писал прошения, однажды принес подробные сведения о поведении Сидора Васильича. Он рассказал Чертыхаеву, что Сидор Васильич в эту неделю то веселится от неизвестной причины, то жалуется на трясение в ногах и головную боль. Сидит он все дома и читает календарь, а других книг не показывает. Должно быть, с сестрицей своей он в большом неудовольствии, и она все на него сердится, а он весьма боится... Никакого другого поведения нельзя было заметить. Сестрица Александра Васильевна, должно думать, уж очень донимает его. Она все говорит: «Брось крамольничать! сгонят, говорит, тебя, помрешь с голоду!» А он говорит: «Ничего, ничего...» Но вчерась, когда настали сумерки, он вдруг вышел на крыльцо и озирается, нет ли кого. Сперва показалось, будто он хочет скрытно от сестрицы своей в трактир юркнуть и пропустить малую толику. Но, немного погодя, опять юркнул домой. И тут как раз попалась ему сестрица. «Куда! — гневно закричала она. — Опять в газету хочешь?» Из всего вышеизложенного видно, что Сидор Запевалов пишет корреспонденцию, а о чем — того узнать было нельзя.

Сидор Васильич действительно не выдержал и на самом деле послал в газету корреспонденцию. Им овладела такая тоска, что все свои домашние занятия он бросил, сел за стол, взволновался и написал замысловатое обличение на Кулакова и Чертыхаева. Когда он оставил стол, лицо его, обрамленное седыми косичками волос и сморщенное в кулачок, теперь распрямилось и сделалось мужественно. Руки его дрожали, когда он вкладывал его в конверт, но взгляд был тверд, даже трагичен. Для него это письмо представлялось гражданским подвигом.

— Совершилось! — проговорил он. — Пусть что будет, а я обличу подлость.

И с этими словами Сидор Васильич опустил в карман свое детище. Нужно заметить, что Сидор Васильич выражался о своих общественных делах таким языком, как будто он и в самом деле натворил чудес... Затем, крадучись, он спустился с своей лестницы, прошмыгнул к почтамту и бросил письмо в ящик. На этот раз, на возвратном пути домой, его не поймала Александра Васильевна и не выпалила в него гневным — «куда?», вследствие чего он предался необузданной радости, когда прокрался в свою комнату незамеченным. Там он взволнованно ходил от стены до стены и злорадствовал. Тихонько хихикая про себя, он подошел к окну и погрозил своим изможденным кулачком на тот дом, где жили его неприятели. Совершив эту нелепость, он несколько угомонился и стал задумчиво укладываться в постель.

Но и в постели он долго еще злорадствовал, вероломно радуясь ярости неприятелей, которые, ничего не подозревая, вдруг получат удар, направленный неизвестной рукой. Почти целую ночь он не мог заснуть. Он переживал все яркие места своего обличительного письма, и воображение его ужасно разыгралось. Он уже вообразил, лежа в ночной темноте, какая ярость овладеет неприятелями, когда они прочитают... как вслед за этим начнут печататься другие обличения... и пойдут *их* щелкать, голубчиков, со всех сторон, повсеместно... И тогда настанет новая эра...

Написал свою корреспонденцию Сидор Васильич иносказательно, в виде приключений *одной* свиньи, принадлежащей *одному* власть имеющему в городе. Таким своеобразным приемом он запутывал свои следы, а в конце письма для пояснения его прибавил: «Под одним власть имеющим в городе должно разуметь Кулакова — исправника, а под свиньей — Чертыхаева». Должно быть, и сам Сидор Васильич сознавал, что тут есть что-то неладное, потому что свое обличение он начал, как всегда, сказочным изречением: «Этому, пожалуй, никто не поверит, но это факт...» Но затем, запутав свои следы, он уже все забыл и имел в виду одну только свинью, о которой и выражался с страшным негодованием.

В следующие за тем дни Сидор Васильич радовался; отправляясь куда-нибудь по улице, он уже не корчился от сознания своей виновности, но держал себя прямо, как будто вырос за это время. Свой подвиг, то есть обличение Кулакова и Чертыхаева, он считал подвигом великим, смелым до дерзости и чреватым историческими последствиями. Ему казалось уже, что он сила, перед которой Кулаков и Чертыхаев ничто; грозная эта сила может стереть их с лица земли или оставить жить. Сидор Васильич желал, чтобы они жили, потому что кровожадности в нем не было нисколько. Только бы они перестали считать себя несменяемыми и согласились бы бояться суда. И тогда настанет новая эра, вызванная совокупными усилиями многих, столь же честных людей, как он, Сидор Васильич.

Благодаря этой радости, основанной на недоумении, Сидор Васильич через несколько дней совсем перестал питать ненависть к неприятелям и даже великодушно прощал их за все обиды, которые они чинили ему. Еще недавно, вспоминая и переживая обличения своего письма, он злорадствовал, воображая, как его неприятели будут по прочтении рвать волосы; но теперь уже не желал их погибели. Встретив однажды Чертыхаева в лавке, Сидор Васильич не скорчился, как обыкновенно, и не испугался, а с достоинством пожал ему руку, раскланялся и вышел, держась прямо. Даже Чертыхаев заметил это и сказал со смехом: «Каков гусь!»

Сидор Васильич так вдруг поднялся в своих глазах, что не только не избегал встреч с своими неприятелями, а искал их. Встретится с кем-нибудь из них, многозначительно посмотрит, раскланяется и молча идет дальше. Собственно говоря, он признавал себя в глубине души виноватым, которого не наказывают только по счастливой случайности; но эта безнаказанность была новым ощущением для него, так как раньше, что бы он ни делал, его ловили и стращали.

В таком-то праздничном настроении застал его портной Якимов, который принес Сидору Васильичу выворoченное пальто, а вчера был побит Чертыхаевым. Сидор Васильич не мог и перед ним удержаться. Он осмотрел вывороченное пальто, не одобрил его и стал укорять Якимова; последний, хотя и подновил пальто, но не сумел скрыть следы его прежнего вида; однако он не оправдывался, как делал раньше, а мрачно стоял посреди комнаты, вперив неподвижный взор на одну точку в стене. Лицо его отекло, глаза заплыли, на одной щеке был прилеплен пластырь, голова была повязана тряпицей. Сидор Васильич думал, что такая наружность Якимова есть следствие того, что он имел склонность пить по воскресеньям водку и затем спать на улице, в канаве, под воротами.

— Под забором ты валялся или у тебя сражение было? — спросил Сидор Васильич насмешливо.

— Стражение не стражение, а бой мне был, — возразил портной, не сводя мрачного взгляда с одной точки.

— С кем же это ты бился?

— С кем... да почитай что ни с кем. Буташи — главная причина.

— Как буташи? В кутузку тебя тащили? — Сидор Васильич озабоченно слушал и понукал Якимова, который после каждого слова делал остановки.

— Третьего дни это случилось, — вяло тянул свой рассказ Якимов. — Шел я из трактира и лег на улице ночью... Известное дело, был навеселе — и лег... Ну, ладно. Лег и лежу. А в ту пору проходил по улице Чертыхаев... глядь, а я лежу. И сейчас: «Эй, городовые! сюда!» А я лежу и думаю: «Ну, накладут мне теперь в загорбок...» Подцепили меня буташи, поволокли и давай... Бой мне был настоящий.

Кончив это, Якимов крякнул от неприятного воспоминания.

— Что «давай»? — уже взволнованно спросил Сидор Васильич.

— Обыкновенно что. Взяли за ноги и плашмя тащили до самой кутузки...

— И били?!

— А то что же! обыкновенно... Бой мне был настоящий.

Сидор Васильич пришел в негодование от равнодушного тона, каким Якимов рассказывал, как его везли за ноги.

— Что же ты молчишь, дурак, не жалуешься?

Портной опять уставил глаза в одну точку.

— Как же можно оставлять такое безобразие! Подавай прошение мировому! — с негодованием говорил Сидор Васильич.

Но Якимов только пожевал губами и остался глух к словам его.

— Ай-ай-ай! как с вами обращаются! Да если бы этот Чертыхаев мне хоть слово, так ему бы... Дурно с вами обращаются. А ты молчишь. Бьют, а ты только икаешь! Нет, ты подавай жалобу.

Якимов еще долго не мог взять в толк, чего, собственно, от него требуют; а Сидор Васильич между тем все настаивал.

— Нет, ты подавай жалобу... Хочешь, я тебе и прошение напишу? — вдруг сказал Сидор Васильич, почувствовав зуд.

— Да, надо бы, — отвечал, наконец, портной, — потому что бой мне был не по закону. Я уж и вчера говорил с буташами, стыдил их: сволочь, говорю, вы эдакая! И самому Чертыхаеву показывал побои, потому что бой мне был не по справедливости. Главное дело, в голову меня лупили. Разве, говорю, можно так, ежели, например, в голову? по закону это выходит, а? Ну, Чертыхаев поглядел-поглядел, засмеялся и велел меня вытурить из части.

Сидор Васильич покровительственно выслушал Якимова и настоял, чтобы тот подал жалобу на незаконные действия Чертыхаева и его подчиненных, все приговаривая: «Ай-ай-ай! как с вашим братом обращаются! вот уж действительно!»

Сидор Васильич просто забыл, что и под его ногами земля, как у всех жителей города; забыл, что поднимать голову в Грязеве не полагается.

Было узнано, кто писал прошение мировому, кто поджигал портного против полиции. Правда, Якимов вел себя на суде рассудительно, все доказывая положение, что «в брюхо — ничего, а ежели, например, в голову» и пр. Но Чертыхаеву этого было мало. Он прямо явился в квартиру Сидора Васильича и стращал его... Сидор Васильич до того растерялся, что слова не мог выговорить в свое оправдание и только шептал побелевшими губами.

Это было начало. А конец совсем погубил Сидора Васильича.

Вышло так, что к этому же времени пришла и газета, в которой, к несчастию Сидора Васильича, помещено было его обличение. И еще что случилось: редакция, вместо того чтобы говорить читателям о свинье, сократила до нескольких строк письмо и поставила просто инициалы К. и Ч. Когда Сидор Васильич узнал об этом, то так и присел. Он надеялся, что на этот раз

никто не откроет сочинителя, совсем был убежден, что скрамольничал потихоньку, а инициалы погубили его. Замечательно, что не Кулаков и Чертыхаев поражены были письмом, а сам Сидор Васильич. Он первый констатировал свою погибель, первый признал, что виноват, кругом виноват, заслуживает усмирения и наказания. И, прочитав свое собственное сочинение, он почувствовал трясение в ногах. Он было уже решил немедленно же побежать к Кулакову, заранее раскаяться и попросить помилования, но почему-то отложил... Может быть, потому, что ужасно упал духом, окоченел и ослаб. Так весь этот день он и сидел дома, не будучи в состоянии принять никакого решения, и осовело смотрел на газетный лист, который был недавно его радостью и гордостью, а теперь казнью.

Не успел Сидор Васильич одуматься, как ему до точности пояснили его положение. После классных занятий, на другой же день, его остановил смотритель и со стоном накинулся на него:

— Вы опять скрамольничали, Сидор Васильич?

Сидор Васильич пошептал что-то, но из этого ничего определенного не вышло.

— Что вы делаете? Ведь вы меня в гроб вгоните!

— Я! Конечно, я немного писал, но это ничего... — проговорил ослабевшим голосом Сидор Васильич. Отпираться, как он прежде делал, было невозможно.

— И прошение какому-то пьянице написали! подстрекательством занимаетесь! — застонал смотритель.

— Господи... и не думал! Я только убеждал одного портного не пить, потому что это вредно... Только и было.

— Да ведь вы все обманываете?

— Честное слово! Так именно и было...

— Нет, уж больше я не могу... Сил моих нет!

Далее смотритель объяснил Сидору Васильичу, что ему лучше подать прошение об отставке от должности уездного учителя. Так будет лучше для всех. Смотритель говорил все это с сожалением: он от души жалел Сидора Васильича. Чтобы смягчить удар, он обещал хлопотать о переводе его в другой город, лишь бы он сам добровольно согласился удалиться.

— Так по прошению? — спросил дрожащим голосом Сидор Васильич.

— По прошению, Сидор Васильич.

Сидор Васильич пошел домой. Обыкновенно Александра Васильевна узнавала обо всех приключениях брата, счастливых и бедственных, раньше, чем он успевал рассказать ей. Сидор Васильич знал из прежних опытов, что, как только он появится домой, так будет ошеломлен вопросом: ну, что? Знал он и теперь это, только ослабел и заболел он так, что уже не пугался этого вопроса.

Александра Васильевна действительно узнала обо всем, и когда брат тяжело сел за обеденный стол, она смерила его взглядом. Сидор Васильич сидел безжизненно, разбитый и опустившийся. Молчание долго не нарушалось. Но первая прервала Александра Васильевна.

— Ну, что? — спросила она, рассмеявшись недобрым смехом. — В отставку? Собирать пожитки и ехать куда глаза глядят?

— Ах, сестра! — только и сказал Сидор Васильич. Голос его был слабый и печальный.

— На старости лет — и в отставку, срамота! Дожил, докрамольничался!.. Ведь тебе что надо? Ведь уж ты только и способен, что ходить да песок сыпать от старости-то, а ты еще обличениями занимаешься...

— Правда, правда, сестра! — тихо выговорил Сидор Васильич. Он сидел, облокотившись на стол и положив голову на руки.

Сестра удивилась. Она заметила необыкновенное ослабление неугомонности брата и заговорила мягче, с состраданием взглянув на него.

— Да, верно говорю! — сказала она.

— Правда, правда, сестра! Целую жизнь рассеял — и за что! Какая кому польза, что я мешался в дела?.. Что я такое? Что могу сделать? Корреспонденции писал... обличениями занимался... книжки давал дуракам... мешался. И знаешь ли, что из этого выходило, сестра? Писал корреспонденции — меня били, обличал — били, книжки давал — били. И знаешь ли, сестра... опомниться было некогда. И в таком роде вся жизнь измыкана, вспомнить нечего, потому что в прошлом только одни посрамления. Ах, сестра!

Голос Сидора Васильича звучал необычайной искренностью. Для него настал период, когда он отбрасывал ходули, стоя на которых он считал себя деятелем; теперь он самобичевал себя и в этом периоде был искренен смертельно...

Он продолжал уже совсем ослабевшим голосом:

— Правда, правда, все правда! И побои и посрамление — все было. Спросишь теперь себя, что́ ты, Сидор Запевалов, делал, какими занятиями занимался — и никакого ответа! Борьбой с Чертыхаевым — вот! Да хоть бы и здесь-то до чего-нибудь дошел, хоть бы Чертыхаева-то малость усмирил, а то ведь и этого нет; вздумается Чертыхаеву дать тебе по носу — и даст. Господи! Я ведь и в жизни-то уж перестал видеть что-нибудь, кроме Чертыхаева! ведь только одно начальство и мелькает в глазах, только о нем и думаешь... И еще хуже, сестра, самое начальство-то понимаешь только в смысле Чертыхаева, вот до чего дело дошло! Иной раз сидишь и думаешь: какую бы это сделать

пакость начальству, чтобы оно чувствовало силу твою... вот она, вся жизнь на ладони!.. Сохрани бог в таких занятиях проводить время!

Александра Васильевна молча слушала признания брата, угрюмо потупившись к столу, а Сидор Васильич продолжал говорить:

— Думаешь-думаешь иногда — и все у тебя завертится в голове, и сам себе становишься противен... удивительно! Кажись, без дела не сидишь, все куда-то тычешься, а спросишь себя — и ничего... Ведь это как происходит? Сидишь-сидишь, и вдруг тебе на ум приходит Чертыхаев, которому нужно выдумать пакость... ну, и пошел. Начинаешь критиковать, обличать... на самом-то деле только ведь комедию устраиваешь! Ах, сестра...

Сидор Васильич поднял голову и осовело осмотрелся вокруг.

— Ну и будет! Усмирили и сиди! — мягко проговорила Александра Васильевна.

— Будет, будет, сестра! ну их!..

Так пал Сидор Васильич.

От неугомонности его не осталось и следа. Теперь что-то тяжелое легло на его сердце и придавило его. Он совершенно ослаб и в продолжение долгого времени о нем не было ни слуху ни духу. Правда, он и прежде в таких случаях скрывался, пугаясь своей либеральной тени, но на этот раз он должен был поплатиться жестоко за свое сованье не в свои дела и потому не мог уже питать надежд на лучшее будущее. В прошедшем Сидору Васильичу виднелись одни побои, а в грядущем: «будет, будет!» Все надежды его рухнули; ни одной мысли еще раз сунуться не осталось в нем. Всю свою жизнь он вдруг похерил, как бесполезную и ничтожную; все дела свои мгновенно счел чепухой, о которой стыдно даже вспомнить; все сованья в общественные дела показались ему глубоко противными, потому что все они направлялись в сторону Чертыхаева, лживыми, потому что они давали ему возможность надувать себя и других, и мелкими до комизма, потому что он изображал из себя моську, лающую на слона... Чертыхаев превратился в его глазах уже в слона, неуязвимого и величественного, и все попытки укусить его останутся жалкими. Лучше сидеть смирно и не играть постыдной роли. Решая это, Сидор Васильич самобичевал себя, и необходимо еще раз заметить, что самобичевал себя искренно, хотя и пересаливал... Не щадя себя, он сделался ниже травы, тише воды, притих, угомонился. Нехорошо было смотреть на него в такие времена.

Дома Сидор Васильич все жаловался, что у него болит голова, тихонько стонал и лишился аппетита. Жаловался также на головную боль. Поэтому ходил по квартире в валенках, беззвучно и тихо шурша по полу войлочными подошвами. А на

голову часто надевал компресс и все молчал, так что в доме делался невидим и нем. На Александру Васильевну он и глаз не поднимал, боясь встретить в ее взгляде осуждение себе. Он замер и перестал существовать, так что и знакомые перестали его видеть. Если кто из них заходил к нему, то он вел себя необыкновенно странно: или решительно молчал, не находя слов для разговора, или испуганно просил не говорить о предметах, казавшихся ему почему-то опасными... Но, оставаясь дома, Сидор Васильич ничего не мог делать, все вываливалось у него из рук, даже детские тетрадки, в которых необходимо было поправить грамматические ошибки, и он просил сестру исправить их. А когда та брала тетрадки и принималась марать, он стыдился, оправдывался, ссылался на измождение, жаловался, что у него опускаются руки... Спасайся и будь жив! — шептал Сидору Васильичу внутренний голос.

Сидор Васильич принялся спасаться. Страх поборол отчаяние, тот самый страх, который выражает собой первое проявление привязанности к жизни. Почувствовав страх за свою участь, Сидор Васильич деятельно принялся шнырять по своим знакомым, чтобы как-нибудь выцарапаться из скверного положения. Откуда и прыть взялась. Хвори как не бывало, а больные ноги судорожно носили своего хозяина к квартире исправника, смотрителя и прочих. Компрессы с головы Сидор Васильич сбросил, перестал шлепать дома в валенках; черты его лица, недавно еще застывшие и окоченелые, опять стали живыми.

Ходил он после уроков к смотрителю, заглядывал ему в глаза и безмолвно умолял. Срамоту этого моленья он, разумеется, чувствовал, но... ничего не поделаешь! Сидор Васильич в это время удивлял ближайшее начальство свое терпением и покорностью и никогда не упоминал о своей отставке, надеясь, что эту отставку авось забудут. Уверившись, что смотритель сам сомневается в справедливости изгнания старого учителя и лишения его куска хлеба, Сидор Васильич суетливо подговаривал своих товарищей-учителей устроить чествование смотрителя, юбилейный обед, подписку на стипендию имени... или что-нибудь в этом роде. И подговорил. Бегал по товарищам, умолял их не оставлять его, заклинал честью спасти его от погибели и устроил-таки обед в честь толстого смотрителя, вся заслуга которого в педагогии состояла в том, что ему лень было вмешиваться в училищные дела, лень распекать, лень вредить. Обед удался. Сам Сидор Васильич во время его произнес речь о смотрителе, в которой удивлялся его педагогическим талантам и уверял, что потомство оценит его скромную, но плодотворную деятельность. Кончая свою речь, Сидор Васильич был весь бледный и взволнованный.

— Небось взволнуешься, как станут вынимать кусок изо рта! — говорили после товарищи Сидора Васильича.

Потом Сидор Васильич побежал к исправнику Кулакову. Срамота этого поступка ужасно его мучила, а потому он совершил его тайно. Несколько раз он ходил к Кулакову и помаленьку оправлял себя. Пришел раз — хозяин спит. «Спит?» — спросил с улыбкой Сидор Васильич и, пошептавшись с дежурным солдатом, торопливо удалился. Пришел в другой раз — Яков Кузьмич обедает. «Обедают?» — с улыбкой спросил Сидор Васильич и опять ушел, уверив дежурного солдата, что его дело не спешное, погодит. И долго так продолжал похаживать Сидор Васильич. Придет, пошепчется с солдатом, который все настаивал доложить о нем, и удалится торопливо. Это он делал для того, чтобы примелькаться в глазах исправника и изумить его терпением. Наконец Сидор Васильич лично увиделся с Яковом Кузьмичом и после многочисленных извинений умолял его не напускать более на него Карфагенского, который приводил его в ужас.

— Я не люблю беспокойных людей, — сказал Кулаков.

— Господи! да разве я...

— У меня все в городе тихо, а вы возмущаете.

— Честное слово, больше не буду! Верите ли слову... вот уж ей-богу!

После такого разговора Сидор Васильич в продолжение целого месяца чувствовал необычную срамоту к себе. Но ему надо было спасаться, и он спасался.

Вспомнил он и еще способ, чтобы выставить наружу свою благонамеренность. В Петербурге праздновали в этот день одно событие, и Сидор Васильич, по примеру других, вывесил флаг перед окнами. Он сам его сшил, сам повесил на древко и сам наблюдал весь день, чтобы развевался; и когда флаг переставал развеваться, обвиваясь вокруг древка, Сидор Васильич брал длинную жердь и ширял ею, распутывая обмотавшееся вокруг палки полотно...

Чертыхаев один остался неумолим. Жестокий и необузданный, он принадлежал к тому сорту людей, которых можно убедить и заставить уважать себя только по боязни, а Сидор Васильич лишь заглядывал ему в глаза. Раз встретились они на базаре и обменялись поклонами. Сидор Васильич пожал своему неприятелю руку и заглядывал в его глаза. Чертыхаев нагло захохотал.

— Знаю, чего вам хочется! Но на эту удочку я не пойду! Погодите, я вас так напугаю, что родную мать забудете! — и, говоря это, Чертыхаев еще раз бесстыже захохотал, оставив Сидора Васильича пораженным до глубины души.

— Это уж такой зудливый человек. Хоть ты его бей, хоть пугай, он все свое продолжает; неймется ему, — сказала Александра Васильевна.

Сидор Васильич совсем, кажись, был мертвец, однако ж оправился. Почитывал он свою возлюбленную газету и мало-помалу начал злорадствовать; то тихонько хихикает, то взволнованно потрет руки, и все по поводу либеральных выходок газеты; или вдруг придет в благоговейное удивление, читая фельетон и поражаясь его дерзостью. На основании этой дерзости он судил о том, продолжает ли свое шествие прогресс или остановился. А за этим вновь последовал возврат к неугомонности. Вместо самобичевания самообольщение. Мучение позабылось, отчаяние прошло, изможденние превратилось в бодрость, раскаяние в восхваление себя. Прочитав несколько дерзких выходок, Сидор Васильич с прежней верой и таинственностью убеждал своего приятеля, мирового судью, что в новом году что-то ожидается... удивительное! Это видно по всему.

— Вот прочитайте-ка, — сказал он, показывая в газете место, поразившее его тонкое чутье запахом наступающего либерализма. Он беззвучно смеялся и потирал свои тощие руки.

Пораженный этим запахом, Сидор Васильич быстро оправился и деятельно распространял слух, что к январю что-то готовится важное, неслыханное...

Так встрепенулся Сидор Васильич. Особенно удивительны были его надежды на январь и февраль каждого года. Надо заметить, что Сидор Васильич прожил довольно порядочное количество лет, и потому его каждогодние январские и февральские надежды были еще более поразительны: ведь нужно ухитриться так, чтобы вечно надеяться! В ноябре и декабре он уже рассказывал всем своим приятелям, что «вверху что-то готовится, какое-то событие первостепенной важности, нечто необыкновенное...» Рассказывается все это таинственно. Когда Сидор Васильич говорил это, у него захватывало дух, голос его дрожал и выражение его лица делалось загадочным...

По странной случайности, вера Сидора Васильича на этот раз, по-видимому, оправдывалась фактами, так что самые упрямые маловеры прислушивались и волновались. Исправник Кулаков и помощник его Чертыхаев попали под суд или, лучше сказать, под следствие, возбужденное по поводу какой-то грандиозной порки мужиков. Но радоваться этому обстоятельству, очевидно, было позволительно только человеку, лишенному всяких основательных надежд в жизни, потому что следствие производилось, а Кулаков и Чертыхаев оставались нетронутыми и немного только присмирели.

Сидор Васильич ходил петухом. Каждую неделю он носил корреспонденции, обличал, злорадствовал, волновался. Дома он

не сидел, бегая по знакомым и рассказывая, какое настало удивительное время и какие дерзкие письма печатают. Своих неприятелей он больше не боялся; встречаясь с кем-нибудь из них, он глядел вызывающе, дерзко; тощая фигура его, изможденная постоянными треволнениями, теперь как будто выросла. Это даже Кулакова пугало.

Пошумев ради подписки в пользу выпоротых мужиков, Сидор Васильич бросился устраивать подписку в пользу Жилина. Жилин, так долго молчавший, показывавшийся лишь по дороге от своей мазанки к полиции, вдруг заставил вспомнить о себе: умер. Как и чем он болел, была ли какая помощь ему во время болезни — никто этого не знал. Никто не ходил к нему, кроме хозяина двора, навещавшего изредка своего жильца. За неделю перед смертью Жилин совсем перестал выходить. Не видя его, хозяин отправился однажды в мазанку и увидал его в постели. По его просьбе, он принес ему напиться и с состраданием глядел на него. Жилин обратился к хозяину еще с одной просьбой, высказать которую ему, должно быть, было очень трудно.

— Спасибо, добрый человек, — сказал он, когда напился. — А все-таки будет лучше, если отвезете меня в больницу!

В больнице и умер Жилин.

Когда Сидор Васильич узнал об этом, то пришел в сильное негодование и побежал устраивать похороны. Он в особенности возмутился казенными похоронами, которые в этой больнице состояли в том, что в дроги запрягали старого и худого мерина, клали на дроги гроб, привязывали его веревками, садили на гроб старика сторожа и выводили эту колесницу за больничные ворота. Худой мерин сам шел по направлению к кладбищу; а старый сторож дребезжащим голосом пел: «Святый боже», от времени до времени вступая с мерином в разговоры или укоряя его за лень.

Сидор Васильич собрал по подписке необходимую сумму для похорон и сам проводил гроб до кладбища. Он не любил Жилина, не понимал этого молчаливого человека, боялся его, но рад был его похоронами ткнуть в нос своим неприятелям и показать им, что больше их не пугается. Правда, Жилин был истинный козел отпущения и хоронить его — значило хоронить человека, на которого все преступления валили, но Сидор Васильич забыл это, подавленный охватившим его волнением, и безбоязненно шел за гробом вместе с несколькими приятелями, с несколькими нищими и с Карфагенским.

Когда Сидор Васильич возвращался домой, он прозяб. День был морозный и ясный. Вдали, над лесом, стояла темная мгла, отливавшая свинцовым цветом и сливавшаяся с землею в одну сплошную тучу. Но над городом было синее небо; солнце весело играло лучами на крышах домов, занесенных снегом, на снеж-

ной площади и в снежных пылинках, которые порошились в воздухе. Однако ж мороз только подзадоривал его изможденное тело; он шел и подпрыгивал, похлопывая руками.

Придя домой, он погрел около печки закоченевшие ноги и руки и, еще с посиневшими губами, побежал рассказывать знакомым о демонстрации, которую он устроил.

— Совсем старичишко измотался! — со злобой проговорила Александра Васильевна, провожая его за дверь.

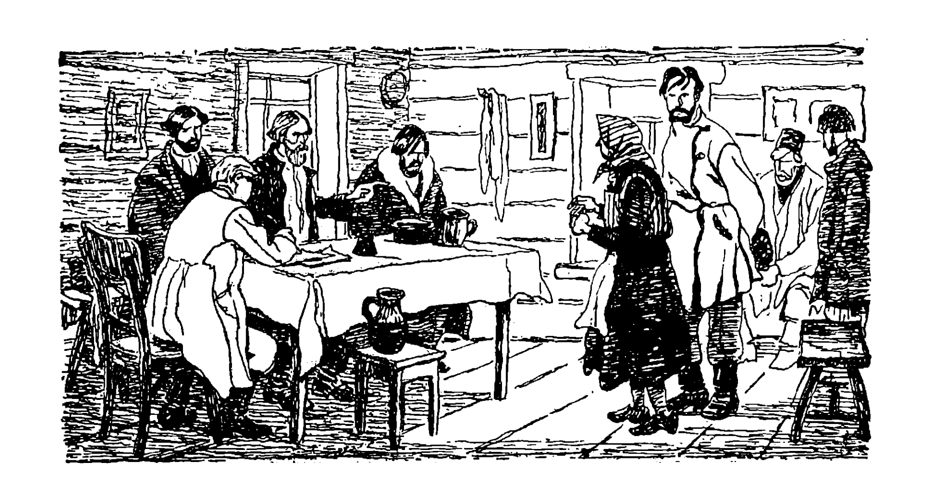
Домой в этот день Сидор Васильич возвратился поздно. В комнате ждал его сюрприз, письмо от племянника, которое Сидор Васильич немедленно развернул и прочитал:

«Здорово, любезный дядюшка! Из вашего письма я узнал, что вы живете хорошо и веселы, потому что опять полны надежд. Еще говорите вы, что у вас там, в Европе, настало веселое время и новая эра, чреватая величайшими последствиями. Это хорошо. Я только сомневаюсь насчет людей, которые распространяют слухи о прогрессе и о новой эре. Эти люди, милый дядюшка, чрезвычайно загадочный народец. Вся их жизнь проходит в том, что они то замирают от страха, когда на них зыкают, то беспутно шумят, когда их устают колотить. Дела они никогда и никакого не сделали, производя один шум. То они ноют о невозможности дела, ссылаясь на «независящие обстоятельства», то хвалятся делами, которых не совершали. А на самом-то деле, дядюшка, они только ждут — в этом вся их суть — ждут кары или милостей. И я думаю, что новое время, о котором вы пишете и которое потребует для себя более сильных и смелых людей, сплошь сметет этот странный народец; а если они еще не сметены, так это верный признак, что никакого нового времени и нет. Так-то, дядюшка. А меня, дядюшка, переводят в другое место, поэтому я третьего дня купил себе баранью шкуру и сегодня делаю из нее треух. Поцелуйте маму и скажите, что я здоров. Прощайте, дядюшка!»

Прочитав это письмо, Сидор Васильич был ошеломлен и что-то припоминал... Но как только вспомнил он, что его неприятели отданы под суд, так вновь забылся и ночью, лежа на боку, долго еще злорадствовал и хихикал, твердо веря в «новую эру».

Тяжело и обидно было наблюдать его в такие минуты.

РАССКАЗЫ



СУДЬЯ ИЛЬЯ САВЕЛЬЕВ

(Рассказ)

Общеизвестность обычаев, сообразно которым жители села Березовки выбирают свое ближайшее начальство, избавляет меня от необходимости подробно описывать то, как он «влопался» в число судей. Когда они хотели наказать человека, то выбирали его в старосты; когда человек их пригнетал, ездя на них верхом, они возводили его в старшины; а чтобы выразить человеку пренебрежение, они садили его в судьи. Все это известно. Но при всяких выборах жителей села Березовки довольно значительную роль играло еще вдохновение, жертвой которого пал между многими другими также и Илья Савельев. По этому поводу рассказывают, что застигнут врасплох он был в то время, когда шагом проезжал мимо волости, где волостному сходу в эту самую минуту надоело искать для выбора недостающего судьи. Он ехал в пустом рыдване и лежал на животе, держа во рту соломинку, показывавшую, что он возвращался с поля. С беззаботностью лежал он и напевал песенку, длинную, как степь, где он родился и жил, однообразную, как скрип его рыдвана, который он забыл подмазать.

Он, конечно, не думал о каком бы то ни было несчастии; пригретый в спину солнцем, он почти дремал, позволив лошади

идти как ей угодно... Как вдруг на сходке его заметили и сейчас же решили избрать.. «Вон он лежит... вишь, старый кот!» — заговорило несколько голосов. Тотчас же нашлись и доказательства в пользу его избрания: во-первых, он имел двух сынов, снимавших с него бо́льшую долю трудов и дозволявших ему изредка валяться на печи без дела и бражничать; во-вторых, в прошлую весну он «завладал» полосой земли в четыре лаптя шириной, что требовало наказания. И не успел еще Илья Савельев отъехать от волости, как его догнал десятник и объявил ему, что он судья. Рассказывают, что Илья после этого быстро сел, надвинул шапку до ушей и до самого дома разъяренно жарил свою лошадку вожжами.

Понятно, что он очень рассердился, очутившись в числе волостных судей, но из этого нельзя вывести заключения, что к своим новым и непонятным обязанностям он отнесся с дурными намерениями или небрежно. К исполнению их он приступил добросовестно и с немалой долей страха, как к занятию религиозному. Вот факты. В то воскресенье, когда ему в первый раз пришлось судить деревенских нарушителей спокойствия и порядка, он оделся с такой старательностью, на какую раньше был неспособен; он надел ситцевую рубаху, подпоясался пояском, вместо драного и зловонного полушубка натянул кафтан и помазал сапоги конопляным маслом, вытерев руки об волоса. Вообще сделался чист. Все это утро он был глубоко задумчив. Занятый исключительно предстоящим ему делом, он был так рассеян, что по дороге ничего не ответил своей соседке Василисе, когда та поздоровалась с ним, и упорно смотрел в землю.

Объяснение глубокого волнения, каким он охвачен был в этот день, когда в первый раз *судил*, лежит в области той же причины. Обычная беззаботность его пропала в этот день; он смотрел и слушал совершающееся с таким вниманием, что, казалось, готов был проникнуть в самую душу подсудимых и овладеть самой сутью разбиравшихся дел. Рассматривалось два дела. По одному из них истицей была баба, жаловавшаяся на мужа, который стоял тут же и отрицал все обвинения. Она умоляла судей запретить ее хозяину бить ее веревкой, а муж утверждал, что «точно, чуточку он ее поучил, но веревкой и не думал!» Судьи дали подсудимым время обозвать друг друга кличками, какие только могли им прийти в голову в пылу спора, потом остановили их и стали совещаться относительно решения; при этом Илья Савельев обнаружил неожиданную проницательность и присутствие духа, возбудивши общее веселье всех присутствующих. Так как муж упрямо отрицал двусмысленное употребление хозяйственных орудий, то Илья Савельев, с согласия своих товарищей, с негодованием объявил ему, что «с эстой поры жена у его отымается, и ей дается вольная идти куда хошь».

Муж был ошеломлен этим решением, торопливо сознался во всем и взволнованным голосом, невзирая на едкие остроты присутствующих, просил судей — «жену ему оставить, а он веревкой учить ее больше не будет». Воцарившееся вслед за тем веселье в волостном правлении показало Илье Савельеву, что быть судьей он может.

Во все продолжение первых заседаний суда он слушал дела с неиссякаемым вниманием, забывая ради новой обязанности все дела, совершаемые им обыкновенно каждое воскресенье, и те удовольствия, которые он позволял себе в этот день и между которыми первое место занимало препровождение времени в кабачке. Можно с уверенностью предположить, что для него тяжело было сидеть в этот день за судейским столом, как тяжело было воздерживаться от обычной выпивки. Кроме того, в нем были заметны склонности гастронома, как это часто бывает у деревенских стариков. Обыкновенный крестьянин, беря в руки зеленый стакан, желал только прийти поскорее в беспамятство, опалить рот и увидать «небо с овчинку». А Илья пил медленно и понемногу; отдав деньги кабатчику, он внимательно, с выжидательным интересом следил, как наливалась сивуха, как она булькала и пр. А поднося зеленый стакан ко рту, он зажмуривал глаза от удовольствия.

— Ишь,старый кот! — говорил ему обыкновенно кабатчик:— имеет за хребтом-то сынов, так и живет в свое удовольствие... Погляжу я, Савельич, не житье тебе, а масленица. Истинный ты кот!

— Мне можно, — отвечал всегда Илья. — Я на своем веку поработал достаточно. А и теперь, ты думаешь, я только бражничаю? Водочки вот выпьешь нынче, а уж завтра зарок — будет! иди, Илья, на работу, знай, старичок божий, свое дело... А ты говоришь — кот!

Но после своего избрания Илья перестал заглядывать в кабачок, может быть даже забыл о нем. Все воскресенье у него было занято в волостном правлении, где он сидел, не вставая, кроме тех случаев, когда ему вдруг делалось жутко решать дело без постороннего, сведущего лица. Он не ограничивался одними внешними обязанностями, а желал понять самую суть дела, ради чего жестоко надоедал писарю, беспрестанно предлагая ему мучившие его вопросы. Каждое дело вызывало в нем сомнение насчет того, правильно он решил его со своими товарищами или нет. Ему хотелось решать дела по закону, а никакого закона он не знал и вследствие этого тревожился и с своими тревогами лез к писарю. «Ну? как?» — беспрестанно спрашивал он писаря, для чего покидал должное место и подходил к нему. Эти неотвязчивые приставания, наконец, надоели писарю, и он стал гонять его от себя.

— Уходи! Эдакой пустяковиной надоедает! Уходи, сядь на свое место.

— Как же, Афанасьич, ведь надо... Ты мне скажи — по закону, ай нет? — растерянно спрашивал Илья.

Писарь, оборачиваясь, несколько минут разъяренно осматривал Илью.

— Да черт ты эдакий! ведь сказано раз, что закона тебе не надо; понимаешь, не надо тебе, дубовая голова, никакого закона, а решай по совести! Сказано это иль нет?

— Значит, по совести? — задумчиво говорил Илья, не смотря на писаря.

— Сколько раз я тебе долбил это в голову? не вникнул еще? Отойди, сядь на место.

Илья Савельев вздыхал и отходил на место, снова принимаясь за прерванное разбирательство.

Должно быть, внутренно тревожился он очень много, и вопросы о том, как ему судить, вероятно, колотились в его голове очень сильно, потому что однажды он явился внезапно к мировому судье и принялся в продолжение битого часа надоедать ему загадочными запросами, доведя его до состояния раздражения. Для этого Илье Савельеву надо было превозмочь испытываемую им робость в разговоре с мировым судьей, с которым он был знаком потому только, что однажды продал ему курицу, а в другой раз утку. Подавленный этою робостью, он сел на кончик стула в зале, сложил руки на колени и стал расспрашивать мирового, от времени до времени вынимая из-за пазухи какой-то вонючий комок, называемый им почему-то платком, вероятно потому, что им он вытирал свое красное, вспотевшее и взволнованное лицо.

Судить по закону или по совести, без закона? Вот чего добивался Илья Савельев; добивался того же ответа, за который его гонял писарь. Мировой сперва слушал терпеливо, старательно отвечая на все выпытывания странного гостя; но мало-помалу, когда Илья Савельев продолжал показывать вид, что ничего не понимает и вообще не удовлетворен, мировой вышел из себя. Он принадлежал к числу тех интеллигентных людей, которые смотрят на мужика только с точки зрения курицы, допустить же существование в нем стремления и запросов высшего порядка не могут. Можно, по их мнению, купить у мужика курицу и съесть ее, можно поговорить с ним обо всем съедобном, не выходя из круга его понимания, но чтобы этот темный человек способен был говорить и расспрашивать о вещах тонких — это не может им и в голову прийти. И когда темный человек пристает к ним с расспросами не съедобного порядка, они недоумевают или раздражаются, не умея ему ответить. При взгляде на такого неестественного черного человека им в глубине души

кажется, что он перед ними виноват тем, что их не понимает, и тем, что он — мужик, бедное, невежественное существо. Ничтожное доброе дело, сделанное ими мужику, является в их глазах подвигом; ничтожнейшая справедливость, оказанная ему, кажется им одолжением; пустое разъяснение, пустой совет, мимолетное слово, брошенное ему, представляется им милостыней, за которую он должен быть благодарным.

Мировой судья недоумевал и раздражался. Он ходил большими шагами по комнате и едва сдерживался, не зная, чего, собственно, хочет от него старик. И старик не знал, что ему говорить. В комнате то и дело наставало молчание, потому что они попеременно ошеломляли друг друга, приводя один другого в тупик.

— Значит, по закону нельзя? — в десятый раз спросил Илья Савельев, прилепившись неподвижно к кончику стула. Задав этот вопрос, он, также в десятый раз, отер лоб платком.

— Конечно, нельзя; я уже сказал, потому что законов ты не знаешь, — глухо возразил в десятый раз мировой.

Мировой шагал, Илья Савельев молчал и смотрел в пол.

— А по совести? Желательно бы... как в этом разе? — спросил загадочно Илья Савельев, и эта загадочность возмутила мирового.

— Ведь я сказал, что по совести можно... Я не понимаю, о чем ты спрашиваешь? — раздражался мировой.

— Как же решать... ты уж, ради господа, прости глупому старику; вишь, головы-то у нас дубовые, не продолбишь... Так как же насчет решениев этих, или как их, леший возьми... А ну, как она, совесть-то, попутает тебя?

— Да ведь ты считаешь себя честным человеком? — чуть сдерживаясь, спросил в свою очередь мировой.

Илья Савельев на это только опустил снова глаза в землю и долго молчал, опечаленный тем, что барин сердится, а он ничего не может объяснить. Однако он собрал последние свои силы, чтобы объяснить барину свои недоумения.

— Ты говоришь — по закону ни-ни... Ладно. И говоришь — надо по совести. Пущай. А я тебе говорю, что отсюдова выходит одна химия!

Илья Савельев на минуту остановился и снова продолжал, в то время как мировой смотрел на него изумленно.

— По-моему, совесть и закон в одной линии, соопча, а ты говоришь — закон... Вишь, дело-то и не сходится, друг дружку они не покрывают. По закону решать сподручно, потому там все на бумажке, по писанию. А если по одной совести, так путаница выйдет не приведи бог какая! Дело это тонкое, совесть-то, ты не ухватишь ее, а, между прочим, закона — ни-ни, не касайся...

Вот и говори, в каком смысле! — кончил Илья Савельев и печально глядел на хозяина.

— Хоть убей, ничего не понимаю! — вскричал последний. — Человек ты честный и решай дела честно. О чем же тут спрашивать? Если сам не решишь, тогда справься с обычаями своей деревни.

— Так, так. Известно, с обычаями... уж на что лучше, как эти обычаи... Оно дело-то вернее... — торопливо заговорил Илья Савельев, но заговорил затем только, чтобы раздраженный барин перестал гневаться.

Он поспешно встал с кончика стула и распрощался с хозяином. У порога, держа в руках шапку, он, однако, не преминул еще раз обратиться с вопросом к судье.

— Так, значит, по совести? — спросил он, стоя возле двери.

Мировой сказал «да».

— Покорно благодарим! — отвечал Илья.

Во все время обратного пути домой он оставался мрачен. Было ясно, что на свои вопросы он не получил ни одного ответа. Он решил, что такого ответа никто ему и не даст. Между тем по дороге к дому находился знакомый кабачок, стоявший на пустыре, и Илья зашел в него. Но на этот раз он выпил без удовольствия, мрачно и торопливо; выпил и досадно крякнул.

Было бы несправедливо думать, что это тревожное состояние душевного мира Ильи продолжалось короткое время; он долго задавал себе вопросы, не получая на них ответа, и делалось это им не для одной очистки совести. Один раз, в свободное от присутствия воскресенье, лежа на дворе в колоде и держа в зубах щепку, он неожиданно перевел разговор с приятелем-соседом на тревоживший его вопрос, сказав задумчиво:

— Диковинное это дело судейское, брат ты мой! Кажись, все просто, так я мекал спервоначалу, а покою тебе нет.

Приятель-сосед, держа в зубах также щепку и сидя на краю же колоды, не в состоянии был быстро понять слов Ильи — предыдущий разговор шел о купленном недавно Ильей решете — и отвечал совершенно темным соображением, с глупой физиономией заметив, что «совесть, надо полагать, штука тонкая, а нечистый, между прочим, силен...» Потом, заскучав на таком отвлеченном разговоре, к которому был решительно не приготовлен, он спросил у Ильи, за сколько тот купил это самое решето? и прибавил: «Превосходное решето!» Все это только опечалило Илью; он задумчиво жевал щепку и перестал разговаривать с приятелем о житейских делах. И все свободное время он задавал себе вопросы, не получая на них ответов.

Свободных же минут у него было больше, чем у другого мужика, не имеющего за своей спиной двух сынов, одной дочери, одной снохи, которые исполняли все функции крестьянского

хозяйства. Самому Илье Савельеву оставался только труд экстренного свойства и главное управление. Младший сын, подросток Ванюшка, ходил лето в пастухах, а зимой в доме заменял старшего брата Василья, который обыкновенно отправлялся в извоз. Дом Ильи был зажиточен; хозяйство велось аккуратно, хлеба хватало до нови, недоимок не числилось. Так что Илье Савельеву действительно, как говорили на селе, оставалось достаточно времени, чтобы иногда валяться и бражничать.

На селе еще говорили, будто Илья подумывал жениться, несмотря на неудобство, представляемое для выполнения такого легкомысленного предприятия пятьюдесятью годами, которые числились за ним; уверяли, будто от нечего делать он возьмет в качестве жены Василису-вдову, которой он нередко помогал в бедственных случаях ее жизни. Может быть, эта молва и заключала в себе долю правды. Василиса была скромная, безобидная женщина, которая могла своим характером подходить к намерениям соседа; она владела избушкой на куриных лапках, огородом и одной овцой, жила то в батрачках, то поденщицей, добывая каждый кусок хлеба только после упорной работы, и могла давать Илье много случаев оказывать ей услуги: брать ее в страдное время на работу, даром починивать ей избушку, давать ей взаймы хлеба, ссужать от времени до времени лошадью. Но все это нисколько не обязывало Василису считать себя будущей хозяйкой соседнего дома, потому что сам Илья на этот счет никогда не высказывался, так что деревенские слухи могли не заключать в себе и упомянутой выше доли истины. Был, правда, один случай, когда Илья разыгрался однажды в поле не по возрасту и хлопнул по спине соседки снопом, высказав при этом, что она была бы чудесная хозяйка, случай, по-видимому, оправдывавший деревенский говор; но он мог это сделать и просто от безделья, сделавшись «старым котом», потому что этим именно названием он и был обозван Василисой, когда ей пришлось почесать свою спину. Да, наконец, Илья и права не имел распоряжаться в этом деле по своему усмотрению; он жил не одиночкой. Старший сын Василий прямо и резко объявил раз, что не стариковское это дело связываться с бабой и вносить в дом смуту.

Но если это семейное положение давало ему много времени для задавания себе вопросов насчет того, как ему судить, то положение судьи во сто раз больше подносило ему случаев, нарушавших его спокойствие, то возбуждая в нем горечь, то совершенно подавляя его уверенность в правоту своей деятельности и веру в свою справедливость. Большинство его подсудимых, осужденные им в тяжбе на волостном суде, редко подавали жалобы на неправильность его разбирательства, бросая в него

вместо этого жгучими укорами, в которых слышался гнев и насмешка, что в высшей степени огорчало Илью.

— Ты меня как разобрал? — спрашивал один из этих подсудимых, держа на плечах жердь, которая, впрочем, не предназначалась для исправления неправедного судьи.

— Как я тебя разобрал... — поспешно возразил Илья, хлопая глазами, потому что больше ничего не оставалось делать, ввиду неожиданности нападения.

— Да! Как ты меня разобрал, скажи-ка мне!

— Разобрал? Разобрал я тебя по совести...

— По совести? Так? Ах ты, старый бесстыдник! Ну-ка, скажи мне, во-первых, была ли у тебя когда такая диковина, как эта самая совесть? Между прочим, полагаю, ты ее продал за косушку? Скажи-ка мне.

— Да ты что, пес тебя возьми, лаешься?

— Я не лаюсь. Мне с тобой разговоры разговаривать не занятно. А пришел я сказать тебе в таком роде, что человек ты выходишь бессовестный. — Бывший подсудимый, высказав это, переложил жердь на другое плечо.

После этого Илья плюнул на то место, где стоял, и поспешно отправился своей дорогой, чтобы ничего больше не слышать. Но не мог же он заткнуть свои уши.

— Судья! — слышалось ему вдогонку.

Потом на брань подсудимого вышел кто-то из соседей, и тогда по всему селу в воздухе разносились брань, насмешки, хохот, явственно доносившиеся до ушей Ильи. «С кем это ты бранишься, Петруха?» — доносилось до Ильи Савельева. «Да вон тут судья... ах уж и судья же, братец ты мой!» — «Это Илья-то?» — «Он самый. Ты ему только дайся, и он тебя сейчас заложит в кабак и пропьет... по совести!» — «Илья, нечего говорить, бедовый старик!» — «Он-то? да ты ему только покажь стакан, дай ему только нюхнуть, сейчас... лакомый кот!» — разговор шел все на ту же тему, пока Илья не скрылся.

Нужно заметить, что слухи о бессовестности Ильи Савельева и об употреблении им своей должности для посторонних целей, выражавшихся в косушке, были преждевременны и начали ходить раньше того факта, который их оправдал. Илья Савельев вел себя честно, безукоризненно и добросовестно, решая дела так, как ему подсказывал бог.

Падение же его совершилось гораздо позже, именно в полыни, которою сплошь была покрыта церковная площадь, находящаяся между волостью и церковью; это обстоятельство важно тем, что воочию показывает непредумышленность падения, совершенного Ильей без заранее обдуманного плана. Однажды в воскресенье, после обедни, он шел с остальными своими товарищами в волость для обыкновенного заседания.

День был жаркий. Росшая по всей дороге полынь наполняла горячий воздух горечью. Во рту у судей пересохло. Они проголодались и не прочь были закусить. На беду, на пути их поджидал вышеупомянутый Петруха, беспокойный, жадный мужик, пересудившийся со всеми соседями. Несмотря на то, что он ругал Илью всякими нехорошими словами, но подмазаться к нему был не прочь, чтобы выиграть дело, которое у него разбиралось в это воскресенье на волостном суде. О трех судьях он был самого низкого мнения, по отношению к выпивке, и потому нагло предложил им зайти выпить, уверяя, что он уже припас капустки, огурчиков, рыбки, все как следует... дайте ему только забежать домой... он все приготовит мигом, потому он именинник.

Петруха был действительно именинник, и двое товарищей Ильи без возражения сдались на постыдное предложение, имея в виде примера всех березовских мужиков, которые пили по всяким поводам. Но Илья Савельев смущенно поглядел на всех, как бы спрашивая: хорошо ли это, братцы? И потом опустил глаза в землю; потом сорвал машинально верхушку полыни и взял ее в рот, чтобы, по обыкновению, пожевать. Колебания его кончились только после того, как Петруха, сняв шапку и кланяясь, просил господ судей уважить его просьбу, а товарищи стали сердито торопить его, представляя на вид, между прочим, тот довод, что попить и перекусить и судье, не получающему жалованья, желательно... Но даже в кабачке Илья Савельев испытывал тоже смущение, хотя бесполезное; и вышел он из кабачка с такою поспешностью, что забыл привести себя в чистый, приличный вид: на бороде его осталась рыбья чешуя, засвидетельствовавшая, что Илья Савельев пал.

Кто виноват, Петруха или Илья Савельев?

С течением времени вошло в обычай не удивляться выпивкам судей на чужой счет, и когда после суда они шли во главе подсудимого в кабачок, чтобы поздравить его с оправданием, никто не волновался: каждый житель села Петровки смотрел на эту сцену с полнейшим равнодушием. «Вон пошли судьи!» — скажет иной и не считает уже нужным договаривать, куда они пошли. Угощенье судьям вошло в обычай, как и прочие общественные выпивки; практика этого обычая выработала, чтобы угощение происходило до разбирательства или после него, смотря по характеру подсудимого. Никто из березовцев не уважал своего туземного суда, но никто не уклонялся от вещественной благодарности ему.

Кто виноват, жители Березовки, взятые вместе, или Илья Савельев в отдельности?

Глубокое недоверие, питаемое к своему суду березовцами, в значительной степени отбивало охоту у Ильи вести свои судей-

ские дела с незапятнанной совестью и чисто. Но и сами березовцы должны быть избавлены от упрека в том, что ввергли Илью Савельева в пропасть своим недоверием и насмешливым отношением к его правосудию. Это недоверие неизбежно там, где совесть воплощается в сходе, право — в собрании целой деревни и где бесповоротно признается слабость отдельной личности в материальном и нравственном отношении. А такое положение вещей и было в Березовке. Судьи не уважаются там потому, что мужики не привыкли подчиняться решению одного человека, и кто бы он ни был, односельчанин или чужой пришелец, он вызывал подозрение. Они подчинялись сходу. Сход и был тем верховным судилищем, сила и справедливость которого не подлежала ничьему сомнению; самые непокорные мужики Березовки покорялись ему. Если бы судей представлял весь сход, то никто не отказал бы ему в уважении, хотя не обходилось ни одной сходки березовцев без обмена взаимными упреками в бессовестности; никто не отказался бы подчиниться его решению. За всеми березовцами признавалась власть над Ильей; но чтобы Илья судил всю деревню, наполненную березовцами, — этого последние не в состоянии были взять в толк; за совестью схода, состоящего из всех березовцев, признавалось право обязательности для каждого Ильи в отдельности, но каждый Илья не имел права и возможности навязывать свою совесть всем березовцам, и если раз он это сделал, то сам виноват, вызвав против себя негодование, насмешки, пренебрежение всех сообща березовцев, изумленных такою наглостью.

К этому присоединилась еще одна путаница, хранимая головами березовских мужиков, путаница, вследствие которой деревенские судьи считались в некотором смысле начальством. А начальство вызывало вековечное недоверие к себе березовских мужиков, потому что заявляло себя также испокон веков одними взиманиями и захватываниями, выколачиванием недоимок и вколачиванием деревенских реформ; а такого рода деревенские реформы, возбуждая упрямство и пренебрежение ко всяким благодеяниям, вели за собою затыкание ушей березовцев и их открещивание от всего, что носило печать начальства, которое и не старалось разогнать такого рода кромешную темноту. А благодаря этой кромешной темноте, березовцы признали в своих же собственных судьях власть, от которой надо было, по их разумению, во всяком случае отплевываться. Таким образом, березовский мужик, выбранный в судьи, неминуемо делался для всей Березовки врагом, тем более горьким, что был свой же враг, как вот этот Илья. Как от нетуземного начальства березовцы всегда были готовы откупиться, так и судей своих они опаивали, в то же время относясь к ним с явным пренебрежением.

Илья Савельев долго боролся с всеобщим пренебрежением, но силы изменили ему. Положение его после выбора в судьи было нехорошо. Прежде всего он был поражен самым *правом судить*. Никакого такого права он раньше не знавал и не чувствовал. *Его* судили — это так, это было ему известно, понятно, потому что он был, как и всякий честный мужичок, вечно подсудимым. Над ним было много начальства, которое считало его числящимся за своим ведомством, и сам он считал себя подлежащим всякому начальству, какое только предъявляло на это право. Не имел он никакой власти и в кругу своего села. В своих и чужих глазах он был вечно в чем-нибудь виноват; сознание своей правоты и правоспособности в жизни смутно присутствовало в нем; к чувству же подсудности и виновности он так привык, что в другом положении и не мог вообразить себя; не имел он, например, силы вообразить, что когда-нибудь он станет судить, решать споры, распоряжаться людьми. И когда ему пришлось вообразить, что он действительно призван на то, чтобы судить и распоряжаться, в нем вдруг появилось недоверие к себе, боязнь греха и сомнение в существовании своей справедливости. Правду свою он, конечно, имел и носил в себе совесть, несколько загнанную, запрещенную и растрепанную, да все же собственную совесть. Но целую жизнь покоряясь чужой правде, выражавшейся в предписаниях, он стал смутно сознавать свою... Его выбрали в судьи и приказали сообразоваться с местными обычаями и собственной правдой. Илья недоумевал; он даже усумнился, действительно ли в нем живет какая-нибудь правда, а не нечистый. Может, и нечистый.

Долго Илья допытывался у разных лиц ответа на вопрос, как ему судить; он искал критерия, руководства, которое прекратило бы его колебания. Но над ним только посмеялись и предали его в жертву его собственных сомнений. И сам Илья, без помощи посторонних лиц, размышлял о занимающем его вопросе, но, ничего не найдя, перестал. Пренебрежение, насмешливое отношение и прямое презрение своих односельцев окончательно подорвали его веру в свою справедливость; он стал разбирать дела так, как придется. После этого к нему возвратился обычный добродушный взгляд на людей и их дела; на каждого виноватого, имевшего глупость попасть на распоряжение волостного суда, он смотрел как на человека, на счет которого можно выпить. Своих подсудимых он очень жалел и подавал им часто ценные советы, но в то же время думал, что косушка — дело не лишнее. Да и сами подсудимые никогда не отказывали ему в угощении и с таким же добродушием подносили ему благодарность. Иногда подсудимый возмущался только чрезмерностью требования.

— Насчет угощения как? честно? — спрашивал Илья вместе с товарищами у одного из подсудимых.

— Мы с удовольствием; честно, — отвечал тот.

— По полштофу на нос?

— Эка хватил! — удивлялся подсудимый, — куда эстолько? Небось нальешь глаза-то и косушкой.

— А ты не скупись. Оно, дело-то твое, мудреное.

— Да уж ладно, идолы, поставлю. Дивлюсь я только этой самой жадности вашей; трескаете, трескаете вы, а все вам мало.

Мало или нет, но Илья Савельев больше уже никогда не возвращался к мукам своей совести и не тревожил себя вопросами, казавшимися для него неразрешимыми. По вечерам каждое воскресенье он с товарищами шел по улице и горланил песни, а на конце улицы судьи, угощенные полчаса назад, делали привал на лужке, где обыкновенно один из них вынимал из-за пазухи посудину с сивухой, купленной уже на свой счет. Были ли виноваты в этом сами судьи или жители Березовки вообще, но Илья Савельев с течением времени все менее и менее стал различать, что хорошо и что дурно, в каких случаях выпить можно и в каких зазорно.

Впрочем, соседка его, вдова Василиса, нисколько не была виновата в том, что березовцы неразумно относились к своим судьям, а судьи были слабы насчет вина, хотя для тех и для других есть много смягчающих вину обстоятельств. Она была беззащитная и безответная баба, ожидавшая правосудия. Когда умер ее муж, она думала, что избушка, оставшаяся после него, и место, занятое этой избушкой, будут принадлежать ей одной, а не мужнему брату, который был крестьянин состоятельный. Этот брат, Павел Жохов, только за год перед смертью брата, мужа Василисы, ушел из их общего дома, ушел, не делившись, самовольно и внезапно, и начал устраиваться в одиночку. Дела его пошли хорошо. Он маклачил тряпками, сальными свечками, веревками и прочей дрянью, которая, однако, быстро поправила его. В короткое время он обстроился и разжился. Но ему неожиданно пришла в голову скверная мысль, что от наследства брата он ничего не получил, между тем изба наполовину столько же его, сколько и Василисы. С этой поры он не переставал напоминать ей об этом открытии, срамил ее при всяком удобном случае и упрекал везде за то, что она незаконно пользовалась имуществом. Для него покосившаяся и треснувшая посередине избушка ничего не стоила бы, если бы ему не вздумалось завести в селе мелочную лавочку, которая для этой степной, дикой стороны долженствовала явиться новостью, изумить и привлечь березовцев к своим товарам и увеличить его средства, превратив его из коштана в мироеда.

Тем не менее едва ли можно было предположить, что он решится когда-нибудь оттягать единственную собственность Василисы законным путем, посредством судебного разбирательства в волостном правлении. Он надеялся обойтись домашними средствами, то срамя Василису, то соблазняя ее перейти жить к нему. Все равно Василиса не жила домом, шляясь по чужим людям и едва добывая необходимое пропитание; так что Жохову казалось несомненным ее согласие перейти к нему или совсем пропасть из деревни. Но решив, что дело кончится скорее, если он соединит свою настойчивость с судейским похмельем, он подал иск в волостной суд. Неизвестно, что говорилось между ним и судьями, которые накануне судбища, в субботу, сидели за его столом и угощались; может быть, и ничего не говорилось, потому что судьи так «наклюкались», что едва ли в состоянии были выражать свои мысли и чувства обыкновенным способом. По крайней мере один из них, именно Илья Савельев, все время сидел совершенно без языка и только ко всем лез целоваться.

На другой день, в воскресенье, происходило судбище. Все находились налицо, тяжущиеся и судьи. Так как накануне и утром этого дня лил проливной дождь, то волостное правление мгновенно заразилось испарениями, исходившими из высыхающих бараньих полушубков, зипунов, чуек и онуч. Выглянуло солнце, и духота сделалась невыносимою. Со всех присутствующих лил пот. Павел Жохов уверенно посматривал на собравшихся и с видом жалости на Василису. Последняя стояла подле него растерянно; когда ей приходилось отвечать, она робко и отрывисто говорила. В первый еще раз она была в волости — никогда прежде не случалось, и потому пугливо держалась во все продолжение разбирательства ее дела, с надеждой взглядывая только на Илью Савельева. Голова ее была скверно подвязана платком, из-под которого выбивались волосы; лицо едва ли в этот день чистилось; юбка была подоткнута слишком высоко, чтобы скрыть ее босые, грязные ноги... Вообще Павел Жохов мог основательно смотреть на нее как на соперницу жалкую.

Разбирательство длилось недолго. Задыхаясь от духоты, судьи мрачно пыхтели и торопились. Вчерашнее похмелье еще шумело в их отуманенных головах; они вяло расспрашивали тяжущихся и, наконец, просто не выдержали: просили сторожа принести им водицы испить, и когда сторож принес полуведерную деревянную чашку, они всю ее роспили. Затем утерлись, осовели и, икая, стали совещаться о том, какое решение должно быть в этом деле. Чрез минуту решение было готово: «жить Василисе с родственником Павлом, а ейная изба пущай идет ему».

— Пиши! — сказал писарю Илья Савельев: — ейная изба пущай ему. Эх, кваску бы теперь испить! — мрачно и неожиданно прибавил он.

Кончилось разбирательство. Но Василиса долго еще стояла в волостном правлении. Оглядывая судей и всех присутствующих, она все повторяла ослабшим голосом:

— Дом мой, господа судьи... кровный он мой!

Поняв, наконец, решение, которым она выгонялась из своего кровного дома, потому что идти жить к «сродственнику Павлу Жохову» значило добровольно осудить себя на вечную каторгу, она оторопела.

— Куда ж мне деваться? Был у меня дом, а теперь нету... — И она с широко раскрытыми глазами смотрела на присутствующих.

Как-то незаметно она вышла из волостного правления, и к вечеру этого дня все видели, что она ходила по селу и продавала овцу. Ее с участием расспрашивали, почему она вздумала продать овцу, но она вместо этого только пугливо сморкалась в угол платка, принявшего в себя много слез на своем веку. У одного Ильи она не была с предложением купить ее овцу.



Только на другой день «очухался» Илья Савельев. После суда он, конечно, получил угощение со своими товарищами и теперь охал от головной боли. Вспомнил он также и то, как он вчера судил... Совестно ему сделалось, и не мог он взглянуть ни на кого от стыда, опуская глаза даже перед домашними. Почти никуда он не заглядывал в этот день. Встретился ему у ворот один из его товарищей, и думал он спросить его, как они вчера судили, но стыдно было, ничего не сказал, опустил глаза в землю и рассеянно поглаживал свою седую бороду.

К вечеру он пошел в амбар, насыпал там мешочек муки и пошел на улицу с намерением отнести его Василисе. Совестно ему было взглянуть на нее, но он решил положить мешок тайно

и бежать, незаметно для нее... Все это оказалось ненужным. Выйдя на улицу, он увидал Василису, выходившую прочь из деревни. Она была повязана тем же платком, из-под которого выбивались волосы на ее замаранное, загорелое лицо, и ноги ее также были голые, обутые в кожаные коты; только походная палка, на которую она опиралась, да узел за спиной были новостью. Илья положил смущенно мешок у ворот и пошел догонять ее.

— Василиса, а Василиса... Куды это ты? — окликнул он бабу.

Та оглянулась, пугливо посмотрела на судью и озадачила его.

— Отойди! — резко бросила она ему назад.

Илья Савельев оторопел и остановился.

Вечером того дня в кабачке собралось много народа. Шел шумный разговор, раздавался хохот. Только один молча стоял возле стойки, покачивался во все стороны и продолжал пить без конца. Это был Илья Савельев. Никогда еще он так не напивался и никогда не был так мрачен, когда пил.

— Братцы! Бейте вы меня Христа ради! — вдруг сказал он пьяным и раздирающим голосом; при этом он обводил глазами все собрание.

Между присутствующими водворилось юмористическое недоумение. Одни изъявили даже готовность исполнить просьбу чудака, только спрашивали, куда и как следует бить.

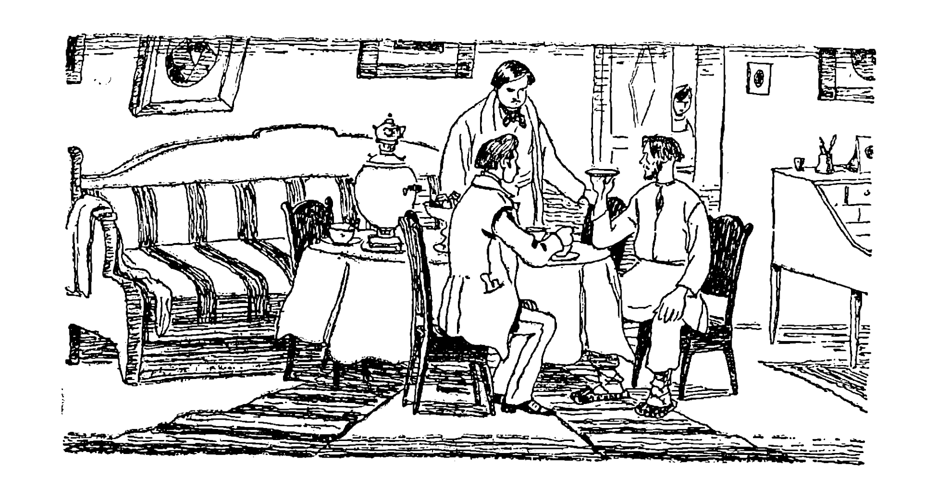
— Бейте... мученически бейте меня, братцы! Заслужил, стóю... — повторил возбужденно Илья.

И вдруг начал бессвязно рассказывать вчерашнее дело. Он беспрестанно останавливался, качался из стороны в сторону, но довел свой рассказ до конца, и когда кончил, обвел еще глазами присутствующих и проговорил: «Судите меня, братцы, бейте!» Юмористическое недоумение прекратилось. Самые пьяные из собравшихся перестали смеяться; все смотрели на Илью с сожалением, как на несчастного, за то, что он сам осудил себя. Это высказывалось молчаливо, пока не нашлось подходящее слово.

— Грех опутал мужика! — сказал кто-то, а за ним эти слова были повторены всеми, и на мгновение по всей подвыпившей толпе пробежала тяжелая дума.

Потом Илья Савельев выбрался из кабачка и сел на его завалинке. Прямо перед носом его лежала огромная лужа, оставленная вчерашним дождем; она была гладка, как река или озеро, и отражала в себе все окрестные предметы: кабачок, несколько тощих ветелок, противоположные избы... Не будучи в состоянии поднять своей отяжелевшей головы, Илья Савельев

напряженно всматривался в широкую лужу, откуда на него глядела какая-то пьяная образина с непокрытой головой, с повисшими руками и с лицом, по которому катились слезы. Илья Савельев долго не шевелился и все смотрел; потом тяжело поднял руку и тихо погрозил образине своим корявым пальцем.



БРАТЬЯ

I

В один из степных вечеров, когда жгучий жар немного ослабел, когда дышавшая зноем березовская степь сбросила с себя полдневную дымку, придававшую ей вид бесконечного синего моря, которое зажгли на всех точках горизонта, и когда мировой судья счел возможным надеть халат, чтобы с бóльшим удобством начать чаепитие, трое его гостей уселись за стол и принялись за чашки. Один из них — его городской приятель; другие два — березовские мужики, два брата Сизовы, только что сработавшие судье новое крыльцо. Их судья усадил за свой стол, как образчики степных жителей вообще и березовцев в частности: на, мол, вот, смотри и спрашивай. Статистик действительно предлагал им сотни вопросов о местной жизни, но за них должен был отвечать сам хозяин, потому что они были молчаливы, как глубокие колодцы, из которых статистику трудно было что-нибудь выудить; говорили о них, спрашивали их об их же житье, но они не могли угоняться в своих ответах за вопросами. Статистик, между прочим, интересовался вопросом: находятся ли местные жители в кабале? Еще бы! У кого? У кулаков. Это пришлые люди? Кровные и доморощенные. Значит, березовцы в собственной жизни

заключают причины зарождения, развития и питания своих врагов? Здесь мировой судья дал ответ простой и откровенный, в том смысле, что каналий всюду много, а в темной мужицкой среде больше, чем где-нибудь; при этом мужицкую среду он сравнил с мутной водой, в которой плавают добрые караси и злые щуки, сравнил и захохотал. На дальнейшие вопросы он отвечал пространно.

Один из братьев, Петр, слушал, по-видимому, с почтительным вниманием, но ничего не слыхал. У него в печке в это самое мгновение сушилась ось, перед значением которой все разглагольствия хозяина были пустыми. Он не выдержал долго. «Домой бы мне надо», — сказал он; на вопросы, куда он торопится, он отвечал: «Древо у меня в печке сушится — оно и беспокойно, как бы не пропало; чуточку перегорит и конец делу, сейчас треснет, хоть ревом реви...» Петр был мрачно серьезен, говоря это и собираясь уходить; все время, пока мировой судья говорил о народной жизни, он думал именно об этом «древе», которое в его глазах уже представлялось курящимся и треснувшим. Как ни упрашивал его судья посидеть, он ушел. Другой брат, Иван, казалось, исполнял все действия, считаемые им неизбежными при всяком чаепитии; он наливал чай на блюдечко, дул на него и клал на пятерню; допив чашку, он опрокидывал ее вверх дном, клал на ее верхушку огрызок сахара и пытался благодарить за угощение. Но в эту минуту хозяин кидал огрызок, наливал нового чаю и приказывал дуть снова. И Иван дул. Это повторялось несколько раз. Судья так увлекся своими разговорами, что не обращал внимания ни на самого Ивана, обливавшегося пóтом, ни на его слова. И тяжело же было Сизову! Пропуская большинство мудреных слов хозяина, он понимал, что тот много говорил несправедливого, неверного, но как бы надо было говорить — не знал. Лицо его было весьма плачевно; он конфузился, стыдливо посматривал на обоих господ, как будто сидел на скамье подсудимых. Он даже забыл вытирать свое лицо, так что с кончика его носа свешивалась капля воды.

— Миколай Иваныч! Ты погоди... так нельзя, — говорил он, пытаясь собраться с мыслями и возразить судье.

Последний останавливался, чтобы выслушать его.

— Что? Ну, говори.

— Ты малость не тово, не так... Ты говори пó порядку, чтобы выходило точка в точку... А эдак нельзя. Ты говоришь, я мироед...

— Ты слушай ушами, Иван, — рассердился хозяин: — я не говорю, что каждый из ваших мужиков кулак, но я утверждаю, что в каждом из них сидит будущий кулак. Дайте только каждому из вас силу, так вы живьем съедите друг друга.

— Рази так можно? Ты суди по справедливости... — повторял Иван. Он, видимо, огорчался.

— Так откуда же, по-твоему, мироеды-то ваши?

— Откуда!

— Да, откуда? С неба, что ли, они к вам валятся?

— Зачем с неба! Ты погоди, Миколай Иваныч, дай мне срок... я тебе предоставлю... надо обсудить все как следует, по-настоящему... — сказал Иван, во все глаза смотря попеременно то на того, то на другого барина и, по-видимому, роясь в своей голове в поисках за настоящими мыслями.

Но вдруг он, почувствовав всю горечь обвинения, воскликнул:

— Ах ты господи боже мой! эдакая притча!

И замолчал.

— Вот вы и слушайте его! — продолжал Николай Иваныч, обращаясь уже к статистику. — Никогда вы не добьетесь от него лучшего ответа... не может... Я с ним много говорил, да и со многими из них говорил... никто не может! Они даже удивляются при этом вопросе, как будто мироеды живут где-то на островах Фиджи, а не в Березовке... Откуда кулаки? на это, конечно, много ответов, в числе которых я выскажу и свой взгляд. Я сказал: в каждом мужике сидит кулак. Но пусть это неверно; бросаю на время свое мнение. Что же из этого? Вы скажете, что кулаки — посторонняя сила, наплывшая в деревню извне? Но я могу по пальцам перечесть всех здешних мироедов и рассказать их родословную, из которой вы увидите, что все они происхождения домашнего. Заметьте, что в эту глушь ни одна каналья не пойдет, не зная местных обычаев и условий, потому что без этих условий его подлости не принесут ни малейшей выгоды. Это ясно, как день: мужикоед должен родиться в той же местности, где ему предстоит совершить свой провиденциальный труд поедания темного народа. Но даже и это слабо выражено. Мироеды и кулаки прямо-таки родятся на месте, так что посторонним кулакам и приезжать незачем: своих довольно. Вы хотя вот у него спросите (судья указал на Ивана), какими березовцы пришли сюда, какими стали теперь. Я расскажу. Пришли они из внутренней губернии и поселились в нашей степи при самых благоприятных условиях и на месте, лучше которого они и найти не могли. Кругом безбрежные степи, неистощимый чернозем; отрезали им земли столько, что ее просто девать было некуда; кроме того, под боком у них были башкирские степи и казенные земли. Башкиры обыкновенно соглашались отдавать неизмеримые пространства за щепоть спитого чаю или за полпирога! По реке Зыби росли густые чащи дубняку, осины, березы — дрова. Рожью они кормили свиней, в просе тонули мужики и умирали... Вы спросите только, чтó

было тут! Нынче же этого ничего нет. Лес весь вырублен, и топят навозом. Землю всю выпотрошили и теперь хнычут на малоземелье, собираясь идти дальше отыскивать кисельные берега. Башкирские земли прозевали. Но это к слову... Я говорю это только затем, чтобы показать всю невозможность кабалы. Зачем кабала? Зачем они запакостили землю? Зачем им понадобились кулаки, на которых теперь у них большее плодородие, чем на хлеб насущный?

— Миколай Иваныч, а Миколай Иваныч! Ей-ей, неверно! — вставил Иван. Потом он накрыл чашку, положил на нее огрызок сахара и благодарил за угощение хозяина.

Последний остановился, сам отпил глоток чаю, налил молча новую чашку Ивану и приказал:

— Пей!

После чего продолжал:

— Забыл еще об одном: когда они появились на нынешние места, они были одинаково слабы, немощны и голы... Вот он вам скажет, в каких землянках они прожили два года; иные прямо обитали в ямах, образовавшихся естественно. Дикий народ был, милостивый государь! Понимаете, зачем я это припомнил? Равенство нищеты — вот, к удивлению, необходимое условие, без которого они не могут жить дружно. Дай им только оправиться немножко, они уже начинают есть друг друга. Так это и происходило на самом деле. Пока они были голы, они работали дружно, без зависти, не заглядывали друг другу в карманы и не делились на мироедов и просто мужиков; а как только оправились, поползло все врозь... Я могу уступить только в одном: отказавшись от мнения, что каждый мужик есть будущий кулак, я никогда не откажусь делить их на мироедов и ротозеев. Судите сами. Мало того, что они вырубили леса, вытоптали луга, занавозили речку, где теперь, как вы сами видели, плавает зелень, от которой болят дёсна и глаза, мало того, что они прозевали башкирские участки, захваченные ныне мещанами, второй гильдии купцами, отставными чиновниками и прочими проходимцами, самые общинные-то права свои они проротозеяли. Вы знаете сами, что значат мироеды на их сходах!

— За угощение, Миколай Иваныч! — перебил добродушно Иван, в пятнадцатый раз изъявляя намерение кончить чаепитие.

Николай Иваныч как будто не слыхал и налил нового чаю.

— Пей, — сказал он и продолжал. — В настоящее время у них много «богатеев», бóльшая часть которых претендует на шеи березовцев, и кулаков, которые обзывают своих же односельчан «чернядью». Сходом управляют именно эти высокопоставленные люди, а «чернядь» только приспособляет свою шею для сдачи в аренду... Это именно последняя степень ротозейства. Все у них ускользает из рук, даже право распоряжаться собой.

Вот именно это-то слюняйство и играет решающую роль в появлении и развитии среди них разного вида кулаков, и здесь оказывается, — я давно живу в этих палестинах и могу похвастаться знанием местных мужиков, — оказывается ясно до очевидности, что березовцы, как самые коренные слюняи, никогда не мешают зарождению кулака, даже не замечают его как кулака. Он просто для них «богатей». Они ему верят, как своему брату, и уважают его, как умного человека. Да он и на самом деле их брат, «плоть от плоти», иначе бы от него сторонились, пугались. А они уважают его. Я уверен, что их идеал именно этот «богатей», который в своем семействе изверг, а на миру — нахал и прохвост, который вертит миром без стыда. Только собственное слюняйство мешает каждому из них осуществить такой милый идеал... Впрочем, я отвлекся от предмета. Я сказал, что они не замечают кулака. Именно. Хватаются же за бока они только тогда, как «богатей» заедет в область кровных прав и выкинет какую-нибудь отчаянную гадость, а до той поры им и в голову не приходит сократить человека, вредного для целого общества.

Иван Сизов не понял и десятой доли в речах хозяина; еще вначале он пытался возразить, но далее, подавленный массой мудреных слов, опешил окончательно и сидел с раскрытым ртом как оглашенный. «Эк честит!» — только и думал он.

— Так вы думаете, что небрежность и поклонение силе — главные причины развития кулачества в этой местности? — спросил статистик.

— Пожалуй, — отвечал судья.

— И вы не находите внешних причин этого развития?

— Никаких. Я потому-то и говорил почти об одной Березовке, что жизнь в ней была обставлена так хорошо, как только можно желать. Следовательно, березовцы сами виноваты.

Иван Сизов изобразил на своем лице виновность. На его почерневшем от солнца, а теперь лоснящемся от пота лице отражалось стыдливое смущение. Он в последний раз опрокинул вверх дном свою чашку, положил на нее крошку сахару с самою внимательною осторожностью и попробовал утереть лицо, в то же время поглядывая со страхом на господ в ожидании минуты, когда они снова начнут «честить». Но его честные, прямодушно мигавшие глаза ни одного раза не сверкнули злобою; достаточно было одного ласкового и милостивого одобрения его со стороны судьи, который сказал статистику, что разговор не относится к Ивану Тимофеичу и что он — душа-человек («люблю таких!»), достаточно было судье высказать это и прекратить разговор о кулачестве, чтобы замешательство и стыдливость его моментально прошли. Он весь как-то распустился от этой ласки, глаза засветились благодарностью, и он вдруг стал шумно разговорчи-

вым. Впрочем, всякий разговор скоро смолк, потому что статистик ушел побродить с ружьем, а мировой судья сел к окну и принялся насвистывать марш.

Иван долго сидел в молчании, не желая прерывать художественного занятия хозяина.

— Миколай Иваныч! — сказал он наконец.

— Что? — бессознательно откликнулся судья.

— Я все насчет давишнего. Ты говоришь — сами виноваты, что даем волю богатеям. Так. А как же не дать им воли? Надо судить по человечеству... Не знаешь ты наших делов, ей-ей, Миколай Иваныч!

— А какие ваши дела? — спросил так же механически судья.

— У нас-то? Первое наше дело — мир, стало быть, грех завсегда. Раз.

Судья засвистал, улыбаясь.

— Второе наше дело — науки нет. Два.

Судья захохотал.

— Все? — спросил он.

Иван Сизов оторопел. Он думал, что воочию доказал несправедливость слов судьи, и вдруг над ним смеются! Он постоял-постоял около косяка двери и собрался уходить, для чего стал прощаться с хозяином. Последний выдал ему деньги за работу и отпустил с приглашением заходить почаще. «Я люблю таких», — еще раз повторил он, а на разговор просил не обижаться.

Идя от дома судьи к деревне, Иван замечтался. Ночь была хорошая. Угостили его хорошо. И похвалили. «Душа...» — припоминал он в сотый раз, и блаженнейшая улыбка играла на его лице во всю дорогу, пока он не столкнулся с братом. Петр его сразу огорошил. «Получил?» — спросил он. Иван достал кошель и высыпал на ладонь все медяки. Двух копеек не оказалось. «Где ж они?» — спросил подозрительно Петр. Оказалось, что судья по ошибке недодал двух копеек. Петр презрительно осмотрел брата и пошел тотчас же к судье за получением двух копеек, которые в скорости и получил, за что бросил еще один презрительный взгляд на Ивана.

II

Два года, протекшие со дня постройки двумя братьями крыльца у судьи, показали им невозможность не только совместных построек крыльца, но просто сожительства в одной избе. Им стало тесно.

Началась разноголосица пустяками, кончилась полным сознанием бестолковщины в общем хозяйстве. «Главная причина —

бабы», — говорили потом оба брата. Действительно, их бабы довольно наделали бед. Смирные, сносливые и рассудительные врозь, они делались невыносимыми и оглашенными, когда обе враз торчали перед печкой. Здесь они кололи друг друга словами, толкались локтями и подставляли друг другу ухваты и кочерги. Все это мелочи, но они заключали в себе яд, разлагавший сложную семью. Опрокинутые горшки, уроненные кочерги и прочая дрянь ничего не значили сами по себе, но как орудия подкапывания и мести они служили превосходно. Уронит и разобьет Авдотья глиняный черепок — и Алена доймет этим черепком свою противницу так, что осколки его глубоко врезываются в тело той и остаются памятными ей на всю жизнь. Та и другая взаимно наблюдали за собой, выслеживая каждая свой шаг. Сунет потихоньку Алена своей девочке кусок — Авдотья запомнит это и хоть задним числом, но отравит съеденную пищу. Каждая из баб колотила своих ребят так, как только «лупят» в деревнях, где то и дело раздается отчаянный рев отшлепанных человечков. Но стоило только Алене щипнуть сынишку Авдотьи, как эта последняя поднимала в избе целый содом.

Мелочи, дрянь, домашний сор служили горючим материалом, разжигая враждебные чувства женской половины избы. Братья от времени до времени вмешивались в распрю, стараясь потушить ее, но делали это так, что только увеличивали сумятицу взаимных отношений. На самом деле они сами были причиной вражды и разногласия; если бабы раздували ненависть, то потому, что в их руках всегда оказывается больше горючего материала — сору. Если бы Иван и Петр сами действовали во всем согласно, то их бабы никогда не решились бы употреблять сор; но оба брата решительно во всем расходились.

Иван был старшим, Петр ему должен был подчиняться. Иван был большак, заправитель всей хозяйственной машины; однако соседи выражали очень часто недоумение, почему главенствует Иван, а не Петр, отличавшийся, по мнению всех, бóльшими правами на главенство; у него каждая щепа шла в дело, находя под его руками целесообразное место. Но так распорядился перед смертью их родитель. Отсюда и произошла вся безалаберщина. Петр сначала послушался родительского слова, покорился Ивану, но мало-помалу пришел к заключению, что Иван — баба, худой хозяин, разгильдяй, которого не стоит слушать. Вышли наружу мелочи, дрянь, сор, которые все пошли в дело разъединения двух хозяйств. Петр, как и бабы, принялся в каждый миг следить за Иваном, который вечно чувствовал на своей спине подозрительный взгляд брата, не понимая, за что он серчает. Сам он не способен был выглядывать, наблюдать; он никогда не подозревал в брате черных мыслей, просто потому, что, судя по себе, не мог их допустить. Он думал: «Чай, мы братья,

родительская-то кровь у нас вопче». Ссориться он также не любил», но тем не менее был ежедневно оскорбляем «родительскою кровью». Он спрашивал: какая причина? И не было ответа. Ему иногда казалось, что, должно быть, он дурно поступает, и давал себе слово поступать по-настоящему, как следует, чтобы не испытывать на себе этого тяжелого взгляда, который проникал в его душу, возмущая его совестливость.

— Чтой это ты, Петруха, глядишь?.. на мне ничего не написано. Ежели на что серчаешь, так ты, брат, выложи все наружу, чтобы без подковырок было...

— Ничего, — отвечал Петр.

Или молчал. Иван принужден был ограничиться одним вздохом, совестясь, что сболтнул нехорошее слово.

Впрочем, он так верил в «родительскую кровь», что забывал ее оскорбления. Видя, как брат обдает его холодом, он говорил хитро: «Пущай!», а смотря на баб, которые подчас рвали и метали, он добродушно думал: «ничего, перемелется — мука́ будет». Он верил, что достаточно не бередить гнев — он сам пройдет: «Потому, например, дерьмо... не трожь его — оно не будет и вонять». Ссоры баб даже часто доставляли ему удовольствие, он дразнил их, отпуская на их счет простодушные шуточки; сядет на лавку и смеется. Забывая оскорбления, он забывал свое намерение поступать по-настоящему, как следует. Эта неисправимость и бесила Петра. Но это был только предлог — Петр везде видел предлоги уколоть Ивана... Бросил Иван на дворе телегу, оставив ее мокнуть на дожде; Петр это непременно замечал, он нарочно с треском завозил в сарай телегу, а возвратившись в избу, колол: «Что рот-то разинул?»

Петр во всех поступках Ивана стал видеть одну сплошную глупость. Правда, Иван любил пошутить, но без этого он не мог обойтись, без этого жизнь не казалась бы ему красною. Любил он, например, своих детей и всех ребят брата без исключения и никогда не в силах был отказать себе в удовольствии купить им пряников. «Эй, ребята! Иди ко мне, кто хочет гостинцев... лиса пришла!» — кричал он, вылезая из телеги, бросал лошадь, забывал дело и возился с ребятами. Поднимался шум. Вся гурьба маленьких сорванцов, которые любили его, лезла ему на спину, крутилась около ног, дергала за бороду, ревела от восторга. Иван и сам был в восторге, так что большую часть шума, производимого дележом пряников, Петр приписывал ему. «Вон куда денежки-то уходят!» — говорил он, непременно появляясь на месте дележа пряников. Одни эти слова приводили в смущение Ивана, отравляя его удовольствие. А все-таки без шуточки он не мог обойтись. Из-за тех же ребят выходили постоянно неприятности, выражавшиеся со стороны Петра колючими взглядами и словами, а со стороны Ивана горечью и недо-

умением: «За что брат серчает?» Иван нередко целиком входил в интересы ребят; рассуждал с ними, начинал препирательства, ссорился или вызывал нарочно борьбу между ними, когда всем делалось скучно. Между мальчишками происходил бой; они тузили друг друга, оглашая двор ревом и тумаками. Иван горячо вмешивался в дело: подсмеивался, если один из противников валился на землю, или стыдил, поощряя, когда боец слабел... «Ай-ай, Микитка! Плох, плох, брат! — говорил он, принимая на себя стыдящее выражение: — оченно плох, Микитка! уж этого не скроешь... Вон он как тебя двинул, Сенька-то!.. А ты его сам... ты его в пузо дерни, садани его снизу... во как! Молодчина! ловко! Валяй его хорошенько... буц, буц!» Иван сам приходил в восторг, принимая живейшее участие в драке ребят; он принимал все выражения и позы дерущихся, всем существом отдаваясь игре... Появлялся Петр. Одним своим появлением прекращал шум. Один его взгляд исподлобья, одни его тонкие, плотно сжатые губы могли отравить всякое удовольствие. Он это и сам знал, но, не довольствуясь этим, радикально отравлял шутливое настроение Ивана какими-нибудь едкими замечаниями.

— Работать бы надо... нечем дразнить ребят... пустяковинный человек!

Петр и на самом деле думал, что он работает один, а брат только выезжает на нем. Эта мысль самого его отравляла, не давая ему покою; ему вечно казалось, что он переделал, а Иван не доделал. Он не переставал, кажется, ни минуты беспокоиться о хозяйстве, в те же минуты думая, что с Иваном хозяйства не соберешь, потому — пустяковинный человек! Сам он не сидел ни минуты без дела, не шлялся без пути; притом каждое его дело имело всегда осязательную цель, обдумано было и приноровлено. Увидит без дела валявшийся гвоздь — приберет его к месту, так что, когда придет надобность в гвозде, он его употребит. У него ничего не пропадало даром, ни вещи, ни время. Целые дни он проводил в том, что собирал и копил всякую чепуху, которая, однако, в его руках всегда находила надлежащее место. Иван поступал вопреки ему и как будто даже назло: на́, мол, вот тебе, выжига! Так казалось Петру, потому что тот заржавленный гвоздь, которому он нашел место, Иван вынимал и терял. Петр зеленел, когда видел это, а видел он все, что творил Иван.

— Пустяковый человек! разорит он меня, идол! — говорил, в упор смотря на Ивана, Петр. Иван готов был плакать от горя. А Петр думал про себя: «Ах, кабы я был один хозяином, кабы не было этой пустой башки!»

Раз такая мысль появилась в семье, — последняя наполовину разрушена. К несчастию, Иван ничего этого не замечал, и когда

Петр бросал в его сторону одно из своих колючих слов, Иван бывал огорчен, но думал, что он поступает как следует, тем более что самая жадность Петра, его алчное желание копить вызывали в нем одно уважение. Лично сам он не был одарен этими хозяйственными свойствами и не считал всякую «погань», валявшуюся на дворе, годною к какому-нибудь употреблению; но проявление этой алчности он приветствовал, как хозяйственность, как уменье наживать деньгу, как показатель ума Петра. «У-у, башка!» — говорил он при удобном случае. И эта высокая нравственная оценка алчности, это смешение алчности с умом прямо противоречили тем поступкам, на которые он сам был способен.

Очень любил он сидеть вечерком на бревне; это всегда приходилось на праздник. Сидел он на бревне перед своей избой и калякал с приятелями, ведя нескончаемые разговоры о разнообразных предметах, занимавших его ум. Это было одно из тех удовольствий, в которых он не мог себе отказать. Он часто засиживался на своем любимом месте до темной ночи, когда шум деревенский стихал и издалека, из степи, слышалась перекличка перепелов, а в соседнем озере квакали лягушки, когда на небе светился уже месяц, и шумный разговор сам собою замирал. Понятно, что от таких сидений на бревне по вечерам нельзя ждать какого-нибудь проку для хозяйства, так говорил ему Петр; но он любил их, как средство отвести душу; любил он сам что-нибудь рассказать, например о том, как в позапрошлый год чуть-чуть не поймал волка у себя в сенях, или какой у него умный мерин, «сейчас это увидит у тебя хлеб в руке, подкрадется и цап! даже на удивление!»; любил он и слушать рассказы других, то веселые и смешные, то тихие и тоскливые; любил он и ту минуту, когда после шумного разговора вдруг все смолкнут, по очереди вздохнув, а где-нибудь в степи раздается ржание лошади, скрип запоздавшей телеги или степная песенка, заставляющая вдруг заныть сердце, задуматься...

Иван не пропускал ни одного сборища и везде принимал на себя роль хозяина. Никто так не умел делить и подносить чарки общественной водки, когда миру удавалось содрать с кого-нибудь «штрах». Иван в таких случаях был наверху блаженства, достижимого в той точке земли, где стояла Березовка. Целая деревня тогда обращала на него взоры и доверяла его ловкости, испытанной в самых затруднительных обстоятельствах, когда, например, лакомок собиралось много, а вина было только полведра. Иван в совершенстве знал, сколько из данного количества выйдет чарок, сколько «останется в залишке» и куда девать этот залишек, выражавшийся часто такою дробью, которую можно было только лизать. Сам Иван почти не пил: до того он был погружен в свою выдающуюся роль, довольствуясь общественным доверием к его способностям. Для него самый процесс

распределения чарок, во время которого он снимал шапку, кланялся, прося выкушать, казался праздником. Впрочем, у него и дома иногда собирались гости на пирушку; но тогда он совсем не мог усидеть на месте от пожиравшей его радости; он суетился, упрашивал выкушать, и с лица его не сходила блаженнейшая улыбка.

Если бы кто назвал имя Ивана Сизова и спросил у любого из жителей Березовки: «Знаете ли вы его?» — то непременно получил бы такой ответ: «Эва! как же его не знать!» Дело в том, что Иван был самым искусным распределителем лугов, земли, огородов и прочей мирской собственности. Когда березовцы, около Петровок, собирались на лугу и ссорились из-за кусточков, яминок и других предметов общественной вражды, Иван являлся примирителем добросовестным и искусным, и, если угодно, единственным. Он знал лучше всякого, сколько всех спорных кусточков, сколько дает сена каждая яминка и через какой пень надо провести грань, чтобы один из спорящих не получил на две горсти больше корма. У него был превосходный глазомер. Достаточно было для него лечь на брюхо в траву, сделать из рук подзорную трубу, посмотреть и объявить: «в аккурате!», чтобы брехавшие друг на друга спорщики умолкли, веря в его подавляющий авторитет. В такие дни он, высунув язык, бегал от одного конца луга в другой, потому что все в него верили и звали... «Тимофеич!» — раздавалось на одном конце. «Ива-а-ан!» — кричали его с другого боку. Он и жеребья носил; когда наставала минута вынимать их, он становился в центре, развертывал свою шапку, в которой положены были жеребья, и трагически произносил: «Н-но, господи благослови, вынимай!» Его лицо, в обыкновенных случаях сердечное, делалось суровым. Так он служил миру.

Пользуясь широким доверием общества, он поддерживал его всеми своими способностями и служил своей деревне всею наличностью своей готовности. А готовность его лежать на брюхе в траве или делить на чарки вёдра вина была только сотою долею тех услуг, которые он оказывал своему миру. Он, например, знал, сколько копеек в прошлое лето переплачено коровьему пастуху, сколько недоплачено свиному и сколько еще надо уплатить сала башкирцу, пасшему лошадей. Все это миру надо было держать в уме, помнить, и все это сохранялось, как в кладовой, в голове Ивана Сизова. Какая важность в этих пустяках для мира — об этом Иван никогда не думал и не спрашивал себя. Взгляды его на свой мир были лишены, так сказать, всякого основания и покоились на предании, которое от давности просто заскорузло. «Так мир желает», — это единственный ответ, которого можно было от него добиться на вопрос: зачем ему надо было ползать на брюхе, ради какой пользы он помнил

сало и семь копеек серебром? Он верил, что мир всегда справедлив и умен; но мир в его представлении, что особенно замечательно, не совпадал с наличностью всех березовцев, а был нечто отвлеченное, невидимое и неосязаемое, существо, в одно и то же время справедливое и могущественное, совестливое и незыблемое. Мир идет испокон веку; все «хрестьяне» также испокон веку жили на миру; представление о нем дошло до Ивана по преданию, жизнь в нем отдельных единиц давным-давно отлилась в определенную рамку, которая застыла и заплесневела; никто не сомневается ни в его существовании, ни в справедливости его приемов. Иван не был исключением. Он верил, что надо уважать его и оказывать ему услуги, верил, что он сила; но он чувствовал все это и никогда не подвергал критической мысли явления в этом миру, просто даже не думал о нем. Он был для него так же несомненен, как окружающий его воздух, и так же бессознателен. Никогда ему и в голову не приходило спросить себя хоть раз: что такое мир? Зачем он существует? Точно ли он умен и справедлив? О своих делах Иван еще думал, о мирских — никогда.

Наоборот, Петр Сизов обо всем соображал. Кажется, не было минуты, когда бы он о чем-нибудь не соображал. Правда, все его думы клонились к приобретению какой-нибудь новой чепухи для хозяйства, и если существование шишки приобретательности когда-нибудь подвергалось сомнению, то Петр Сизов мог бы представить себя в качестве несомненного обладателя ею. Но он думал и о мире, только с собственной точки зрения. В нем не было ни одного намека на ту сердечность, которую носил в себе его брат. В то время как этот последний откликался на всякий зов и бегал, высунув язык, по лугам, Петр молча добивался лучшего куска земли для себя, держась в стороне от споров за ямки, кустики и другие сущие пустяки; добивался он лучшего куска как-то без шума, просто и быстро. С тою же деловитостью он присутствовал и на других мирских сборищах или просто молчал, если дело не касалось лично его; иногда, выслушивая на сходе кучу перебранок, болтливых ссор и пустых рассуждений о грошовых делах, он презрительно оглядывал всех, брал шапку и уходил; с его уст срывалось не менее презрительное слово: «Дубье!» Это молчаливое презрение ко всему, по его мнению, бездельному дало ему со стороны березовцев уважение и боязнь, так что когда Иван Сизов говорил: «у-у, башка!», то все соглашались.

Петр Сизов не бездельным считал скорее приобретение в свою пользу ржавого гвоздя, чем возню с миром, который действительно заржавел. Шишка приобретательности зудела в нем так сильно, что он, наконец, затеял куплю и продажу хлеба, собранного довольно замысловато; затеял помимо согласия

большака своего и минуя все приемы обыкновенного крестьянина, главной обязанности которого — обливать пóтом землю — Петр не сочувствовал. Ивана он считал дуралеем, «почитай что никуда не годным», кроме бездельного препровождения праздничных вечеров на бревне, а потому куплю и распродажу хлеба взял на себя. Он ездил в свободное время по деревням, обменивал хлеб на медные кресты, кольца, пояски, гребенки, удочки и взял, таким образом, самую замысловатую часть предприятия на себя. Дело же Ивана состояло только в том, что он ездил по свежим следам брата и собирал его обильную добычу, наваливая ее в телегу в виде мешков, мешочков и узлов. Он старательно исполнял выдумку брата, без всякой тени неохоты, хотя считался большаком. Сам он ничего подобного не мог бы придумать и потому искренно называл брата «башкой». Мало того, он приходил в восторг от своей промышленности, пораженный ее необыкновенной выгодой. Он не утерпел, чтобы не разболтать об этом на бревне своим приятелям, что было прямо противно всем правилам торговли. «Ловкую штуку затеял Петр! — говорил он на бревне приятелям, слушавшим его с разинутыми ртами. — Не гляди, что пояски, уды, ленты... тут, братцы мои, дело пахнет тыщами. Большую кучу деньжищ можно заработать в эдаком промысле! И работы никакой. Ты дашь поясок, а тебе насыпают хлебца. Так надо прямо говорить — умную башку надо носить на шее, чтобы задумать такую прокламацию. Подставляй только пригоршни — деньги сами посыпятся, озолотишь себя...» Иван болтал и дальше все в таком же духе, но его приятели с недоверием посматривали на него.



Но Иван Сизов не мог долго выдержать. Несогласие с братом сразу усилилось по одному пустому поводу. Раз он поехал по окрестным деревням, по свежим следам брата, чтобы собрать всю его недавнюю кулацкую добычу. Между прочим, он должен был взять несколько фунтов льняного семени от одной

старухи в соседней деревне. Приехал, остановился возле ее избы и стал привязывать лошадь к воротнему столбу. Но в это время в избе шел разговор, часть которого Ивану невольно пришлось, к его изумлению, выслушать, потому что окошко было открыто.

— Кто это там приперся к нам? — спрашивал мужичий голос.

— Кажись, Иван Сизов; должно, он, — отвечал старушечий, дребезжащий и шепелявый голос, не регулируемый зубами, которых старуха не досчитывалась.

— Это который маклачит?

— Маклачит. Двое братьев... из Березовки.

— За каким же делом?

— Да я променяла семячка на три пояска, да на хрест... Только, каторжные, они, должно думать, облапошили старую дуру; семячка-то ровнехонько девять фунтиков, а пояска-то только три, да хрестик... Мошенники, должно думать!

Иван дрогнул. Никогда он не думал, что удивительное предприятие, выдуманное братом, есть мошенничество; он, напротив, восхищался им.

Неровными и несмелыми шагами отправился он в ворота, задел плечом за калитку, нерешительно остановился перед сенною дверью, но все-таки согнулся в три погибели, чтобы пролезть в косую дыру, называвшуюся дверью, и с смущением остановился у порога. Ему стыдно было даже вспомнить о семячке, и он долго стоял растерянно-молчаливым, усиленно приглаживая волосы... А раньше он всегда начинал длинное балагурное калякание. «Маклак... мошенник, должно думать!» — это поразило его. Вместо того чтобы спросить долг, он попросил огоньку. Старуха подала ему горячий уголь, и он заткнул его в трубку, долго не попадая в отверстие; руки его дрожали. Если бы сама старуха не вынесла ему мешка с семячками, он долго бы еще простоял у порога и все шлепал бы губами о чубук, показывая вид, что он никак не может раскурить... Взяв мешок под мышку, он через мгновение сидел уже в телеге, направляясь домой. Больше ему никуда не хотелось заглянуть. Он пустил лошадь на произвол; та и шла всю дорогу лениво, то задевая телегой за кусты, то совсем сворачивая в сторону от дороги, чтобы сорвать и съесть верхушку травы. Иван не трогал ее. Он задумался. Шапка его сдвинулась на затылок. В голове переваривались слова: «должно думать, мошенник».

С тем же задумчивым видом Иван рассказывал о своей неудаче в промышленности и после, сидя на бревне с приятелями и соседями. Удивительную промышленность он бросил с той поры совсем, но ни за что не мог объяснить, почему бросил. «Незадача! — говорил он загадочно, кивая головой: — верно говорю — тыщи! Только я сплоховал, бросил».

— Отчего бросил? — спрашивали у него приятели.

Иван качал головой, конфузился. Разговор ему был неприятен. Каждое слово надо было вытягивать из него силой. Он делался упрям.

— Неспособно, — возражал он.

— Эдакое-то дело! Как неспособно?

— Так. Неподходяще.

— Да отчего? Барыша нет?

— Как барыша нет! барыш прямо руками загребай. Верно.

— Так что же ты?

Иван задумывался.

— Проторговался?

— Карахтеру нету, — проговорил он загадочно. — Так ничего и не добились от него.

Петр скоро увидал, что его брату наскучила выдуманная им промышленность; он еще больше стал злобиться на него, перестал его совсем слушаться и старался ускорить раздел. «Пустая башка» — единственное название, которое с той поры он стал давать Ивану, прямо в глаза высказывая, что он не хочет больше работать на дураков, — а этим именем Петр называл всех своих односельцев, исключая людей, за которыми он признавал ум, потому что они, подобно ему, обладали шишкой приобретательности. Ни малейшей привязанности к своей деревне, из которой он готов был в каждую данную минуту выйти, у него не существовало; мирскому одобрению он не придавал никакой цены; день, когда он пустил срам на свой прародительский ум, настал очень скоро, и раздел произошел быстрее, чем даже он ожидал.

В этот день двор братьев Сизовых представлял зрелище разрушения и вражды; валялись неприбранными телеги, сани, кадушки, корыта, но все эти предметы делились на две кучи, из которых одна оставалась за братом Иваном, другая отходила к брату Петру. Над двором то и дело поднималась пыль, слышался треск. Самый раздел происходил молча. Петр ходил по всем закоулкам и каждую вещь осматривал подозрительно. Иван ходил за ним, как потерянный, ходил и соглашался на все, что предлагал брат. Он, видимо, с трудом переносил зрелище разорения и торопился покончить дело. Все хозяйство, нажитое с таким трудом, сразу ему опостылело. Ему уже ясно представлялась картина, как приходят к воротам соседи и бесчисленное число раз расспрашивают его о дележке. Поэтому в это утро он не казал глаз никому, чувствуя весь срам отвечать на соболезнующие или насмешливые вопросы. Действительно, срам ему испытать пришлось. Сначала прошел мимо и заглянул во двор безногий солдат Лапин. Осведомился:

— Делитесь?

— А тебе какое дело? — оборвал Петр.

— Я так... Мне чуднó. Жили до сей поры в согласии, как подобает единоутробным...

— Да-а, единоутробные! А ты из какой утробы вышел, что пришел расспросы делать? Проваливай, безногая кочерыжка! — еще раз оборвал Петр любопытного Лапина, который поскреб ладонью спину и удалился.

За ним появились другие любопытные.

Петр воспользовался потерянностью брата. Он отбирал себе все, что попадалось на глаза. Попалась скворечница — взял. Отдавая ее Микитке, он приказал ему спрятать ее в пазуху. «Может, пригодится», — пояснил он. Но все-таки, несмотря на потерянную уступчивость Ивана, дело не обошлось без суда. Петр возымел притязание на лишнюю корову и свинью, — на первую потому, что он сам купил, между тем как второй он своими руками обрезал на всякий случай уши, положив свою метку. Ивану было все равно, только бы не видеть срамоты; но баба его возмутилась до глубины души и заявила, что она лучше даст выцарапать себе глаза, чем уступит корову и свинью. «Грабители! — кричала она: — ишь, что захотели! облопаетесь...» И она ревела, плевала в сторону Петра и жены его, бегала по двору и без толку гоняла спорных животных из одного конца в другой.

— Слышь, брат... — сказал Иван, обращаясь к Петру с ужасным лицом: — Петр! слышь, что я скажу тебе!

— Слушаю, — возразил Петр.

— Не срами нас, уходи!

Петр презрительно молчал.

— Родительский дом...

— Слыхали мы это!

— Помнишь, что родитель-то сказал? «Чтобы жить вам без сраму...» Чай, не забыл? И уходи. Не пущай на весь мир худой славы...

— Отдай корову и свинью, — перебил Петр.

— Не дам, не дам, лучше и не суйся! — кричала Иванова баба, подступая к Петру.

Нечего делать, пошли в суд, где Илья Савельев еще три дня тому назад выпил две косушки на счет Петра и съел при этом чашку капусты. Петр был решительно во всем предусмотрительный человек.

Перед двором братьев скоро собралось множество любопытных, из которых одни просто глазели, другие смеялись над Ивановой бабой, поощряя ее, все же вообще сулили Петру хорошую будущность, жалея Ивана, которому пришел, по всеобщему мнению, «теперича чистый капут». Все интересовались также вопросом, кому достанется корова и свинья, которых в качестве вещественных доказательств повели в суд баба Ивана, державшая на

веревке свинью, и Петр, ведший корову. Он сверкал глазами на толпу, окидывая ее презрительными взглядами...

Свинья ревела, влекомая Ивановой бабой; Иванова баба плакала и ругалась; толпа отпускала на счет действующих лиц шуточки. На улице поднялся гвалт.

Иван не мог вынести этого позора. Он поспешно взял заступ и ушел в огород, чтобы скрыться от взглядов соседей, чтобы не видеть самому собственного посрамления. Обработка огорода могла бы подождать — была еще ранняя весна, — но Иван принялся рыться в земле. Глубоко вонзая заступ, он выворачивал огромные глыбы, но не чувствовал их тяжести, не сознавая даже, что у него трещит спина, что он страшно работает. Мысленно он был там, на улице, откуда слышался гвалт, смех и визг свиньи. «Повели...» — думал он; тогда лопата его с силой вонзалась в землю, резала прутья, корни, глину... Сделав одну гряду, он принялся за другую, не чувствуя утомления. Он представлял в воображении свой двор, откуда доносился треск, где видел он беспорядок, разорение, и новая гряда была кончена. «Осрамили... покойный родитель...» — думал Иван; ему казалось, что теперь нельзя будет показать глаза на миру — осмеют. И он продолжал вонзать заступ в землю, выворачивая пудовые глыбы, резал щепы; и глыба за глыбой ложились на гряде, гряда за грядой равнялись в ряд... раз, два, три, четыре... Шапка его слезла на затылок. Ситцевая рубаха прилипала к мокрому телу. Руки его тряслись от усталости. Звенело в ушах. Но он кончил весь огород и только тогда почувствовал, как мозжила его спина, ныли ноги, стучало в висках. Работа его успокоила. Он разогнул спину, сел на гряду и оперся на заступ, прислушиваясь: не слышно ли?.. Но была уже ночь.

III

Большая часть изб в этой безлесной стороне строилась из особого рода кирпичей, состряпанных доморощенным путем из глины и соломы, материала, который летом впитывал в себя весь дождь, а зимой весь холод, так что летом деревенские дома походили на губки, зимой на ледяные пещеры. Заборы выкладывались из тех же кирпичей, только более низшего разряда, отчего через год после их постановки они представляли развалины, оставленные после нашествия иноплеменников; впрочем, ребятишки сверлили в них норы для своих игр, где потом обитали воробьи и стрижи. Крыши изб редко покрывались соломой, — что, разумеется, не надо приписывать благоразумной предусмотрительности против пожаров, — почти никогда не крылись тесом, очень дорогим в этих местах, а просто пластами земли, которая давала

через некоторое время произрастения, в виде богородской травы и ковыля, в совокупности придававших деревне очень приятный вид, если смотреть издалека. Но вкус многих жителей возмущался против висячих лугов; такие покрывали свои обиталища камышом и кугой, в видах двойной цели: для прикрытия жилищ от непогоды и ради обладания своеобразными водосточными трубами.

Последняя особенность относится и к избе Петра Сизова, не успевшего еще купить деревянную крышу, вопреки сильному желанию обладать ею. Зато все остальные части хозяйственных строений, по прошествии с небольшим года после раздела, уже получили от рук хозяина тип, резко отличавшийся от прочих беззаботных построек в Березовке: они были прочны и плотны. Изба поставлена была из толстых сосновых бревен, забор сделан из досок; такого же материала ворота с жестяными звездами и с массивным засовом. Задние постройки носили на себе тот же характер прочности и плотности, не имея ни одной дыры, которая могла бы соблазнить вора, чего Петр Сизов вообще сильно боялся, или дать простор для любопытных глаз, соглядатайство которых он, по-видимому, терпеть не мог. Вероятно, по тем же чувствам хозяина и ворота редко отпирались, придавленные массивным засовом, не вошедшим в обыкновение других березовских мужиков. Желание Петра исполнилось: он на просторе, для себя и ради одних своих целей хозяйничал.

Деятельность его, конечно, не приняла еще тех размеров, когда ему было бы можно жить скромно, вдали от любопытного нахальства односельцев, привыкших ходить нараспашку. Еще долго оставалась в нем привычка копить всякую чепуху, на другой взгляд никуда не годную. Большой двор его содержал целые кучи этой дряни, которую он подбирал в выброшенном позади соре. В одной куче лежали обломки оглоблей, сгнившие чурки, отвалившиеся, по-видимому, от колес, худое корыто, бочки с выбитым дном; в другой куче сложены были ремни от шлей, старые подошвы, несколько клочков от голенищ, лохмотья от шуб и пр. и пр. Все это, очевидно, было уложено и навалено систематически, с разделением по царствам природы.

Иногда Петр Сизов откапывал в сору какую-нибудь вонючую вещь и, глядя на нее, задумывался, почесываясь и недоумевая, какое бы дать ей употребление, чтобы она принесла доход. Выходя со двора на задворки, он не пропускал ни одной вещи, чтобы не осмотреть ее и не подумать — годна ли она на пользу человеку или нет, и никогда не ускользала от его внимания ни одна щепа, которой бы он не поднял; возвращаясь, таким образом, домой, он всегда нес у себя под мышкой нечто: связку прутьев, горсть щепок, обрывки бечевок — все ему годилось; да и дорогой он старался присовокупить еще что-нибудь.



— Бог помочь, Петр! Что ты тут делаешь? — спрашивал его кто-нибудь, заметив, что он копается в сору.

— А вот прутья, — отвечал Петр Сизов и не обращал внимания на проходившего, продолжая накладывать себе под мышку замаранные щепочки.

— Ишь ты! — возражал прохожий задумчиво и шел дальше, и только через некоторое время, собравшись с мыслями, принимался хохотать.

Но мелочи и занятие ими были только привычкой; с этого можно начать, но кончить Петр Сизов желал более крупным. Все внимание его, все помыслы поместились пока в амбаре, сверху донизу набитом разного вида хлебом, который лежал в закромах, в кулях, мешках и мешочках. Петр дни и ночи копался в своей житнице, то молчаливо обдумывая что-то, то сортируя мешки и узелки, то считая на счетах какие-то барыши. Тут же в ящиках спрятаны были у него те пустяки, которыми барышничал он: крестики, кольца, удочки. Периодически Петр складывал мешки и мешочки в воза и отвозил их в город.

Область его предприятий все более и более расширялась. То и дело к нему приходили старухи и молодые бабы, принося с собой узлы, а унося вещи, стоившие буквально плевка, потому что Петр при покупке их умел «нажечь» самого опытного торговца. Потом стали похаживать мужики. У каждого из них была нужда, и они лезли за помощью к Петру Сизову. Петр начал заметно обособляться. Он не был кулаком; он выражал собой личность, понявшую свои права, особу, решившуюся существовать единственно ради себя, человека, желавшего жить помимо и даже вопреки миру, который Петр презирал. Ни в ком он более не знал нужды, но к нему, напротив, обращались. Мир для него почти что не существовал. У него были вместо него медные кольца и «аглицкие удочки». Чего еще надо?

Петр Сизов редко заходил на сход, хотя встречал там большую склонность в собравшихся снимать перед ним шапки. Он говорил мало, пользуясь услугами некоторых своих товарищей по «башке», между которыми был и Павел Жохов. Последний был красноречив, как все мироеды, и нахален, как все кулаки; не было меры бесстыдства, которой он побоялся бы и не предложил бы на сходе. Широкая пасть, помощью которой он ревел на сходах, способность мигать обыкновенным манером, когда в лицо его бросали обвинения, уменье пропускать мимо ушей обильную брань, нередко сыпавшуюся на него, — таким являлся Жохов. Он помогал Петру, Петр помогал ему, и они жилили от мира лучшие поля и все, что требовалось им, вместе с некоторыми другими заправителями всеми мирскими делами. Это была плотная кучка людей, которых нельзя было прошибить никакою совестливостью. Общественные тяготы давили только бедняков,

а не эту плотную кучку, которая спокойно стряхивала с себя всякую тяжесть.

Березовский сход подчинялся этой кучке почти безусловно, отстаивая свое верховное владычество только по форме, по отношению к пустякам. Петр Сизов и Павел Жохов делали что хотели. Мало того, им подчинялись не по бессилию; разве целая деревня не могла с ними совладать? Им покорялись, уважая их. Их боялись, признавая в них силу; им верили, воображая, что они такие же миряне православные, как и все, только «башки»; про них думали, что они стоят за мир — это мифическое существо, сделавшееся орудием в руках ловких людей. Кроме того, что Петр Сизов и другие были умные головы, их уважали за уменье наживать копейку. Поклонению этой копейке не было бы места, если бы совесть всех березовцев находилась в более благоприятных условиях.

Когда березовцы жили в одной из внутренних губерний, у них «была одна душа», — так говорят старики; «потом пошла эта самая воля и пришел разврат», — прибавляют они, качая сивыми головами. Если в это время вблизи находились молодые мужики, то принимались насмехаться над сивыми головами, «скалили зубы» или окидывали их колючими взорами, как делал Петр Сизов. Удивительно то, что вслед за насмеханием над сивыми головами молодые мужики серьезно говорили: «верно, разврат», но не признавали, что «допрежь лучше было».

Действительно, многое изменилось с той давней поры, которую сивые головы обозначали словом «допрежь».

Все еще в деревне помнят то время, когда они селились на этих местах, и тот день, когда они дружно принялись работать.

Был вечер. Тени ложились уже на просеку, которую березовцы нашли подле реки. Вокруг плотно облегал их густой лес, где стояли столетние березы и ольха, а снизу, из-под ног, несло на них запахом гнилой листвы, обратившейся в перегной. Переселенцы были одни на пятьдесят верст кругом. Стан их тесно сбился на тесной лесной прогалине; в одном углу пасся скот, в другом скучились телеги и люди... Варился ужин. Рассуждали о трудности завести в такой глуши селение. Вырубить лес? Это каждого пугало. Недалеко расстилалась степь, но там не было воды. И сотни раз переселенцы стремились в лесной мрак и мысленно боролись с ним... А время шло. Пошли еще раз посмотреть с пригорка на степь, которая восторгала их своей бесконечностью. Несколько раз уже они ходили на этот пригорок и думали, что делать. И теперь собрались все на холме, с бабами и ребятами, и обсуждали свое положение, то громко, вслух, то молчаливо, каждый про себя, смотря в степь, меряя глазами «несметную силу леса» или ощупывая землю. Постояли и пошли к ужину, ничего не решив. Потемнело небо, настала ночь; переселенцы

подбросили хворосту в костры и думали, думали молча... под треск и в дыме огня, под глухой шум леса, под вой волков, раздававшийся на той стороне реки. Прошла так ночь. Ранним утром на следующий день кто-то молча взял топор, его примеру последовал другой и поплевал на руки, поднялся третий и сказал: «Господи, благослови!», все взяли топоры и принялись рубить. Не было сказано ни одного слова, но никто не отказался от работы. И пошел треск по всему лесу, застонали березы и ольха, падая под ударами топоров, запылало зарево пожара, пущенного переселенцами, и через неделю место для поселения было расчищено. Началось копание землянок, которые рылись также общими средствами.

Около двадцати лет прошло с тех пор. Много перемен совершилось, много мыслей проползло по головам березовцев. Переселенцы, например, привыкли мало-помалу считать себя вольными людьми, независимыми от барина, привыкли и к некоторому материальному довольству, какого они не знали на старых местах. Но самая поразительная из этих перемен произошла в темной области совести и мысли. Глухая работа здесь шла незаметно, но неумолимо вперед. Происходила невидимая борьба между особью и миром. Мало-помалу каждый сельский житель стал сознавать, что он ведь человек, как все! и создан для себя, и больше ни для кого, как именно для себя! И каждый ведь сам может жить, устраиваясь без помощи бурмистра, кокарды и «опчисва». Все прежние тяготы слились в нераздельную кучу. В доказательство этого открытия в соседних с Березовкой местах поселились примеры. Первый пример приехал из соседнего города, купил у казны небольшой участок степи и стал жить на нем, под видом мещанина Ермолаева, и зажил, по уверению всех березовцев, «дюже шибко». Другой пример носил кокарду; самого его никто не видал, но вместо него сел на степь второй гильдии купец Пролетаев — «превосходная шельма». Третий пример проявился в этих местах вроде непомнящего родства, потому что ни один из березовцев не знал его происхождения и звания: «кажись, мужичок по обличью, но уж очень сурьезности в ём много». Затем масса других обладателей степи, которых березовцы и в глаза не видали, возбуждала к себе сильный интерес: «болтают, быдто они шельмовством зацапали земли, а кто их знает». А прочие-то люди, жившие в пределах деревни, люди, ни к какому обществу не приписанные и ни с чем не связанные, разве они не были вескими доводами в пользу новой жизни? Каждый из сельских жителей очень часто *думал* об этих явлениях; и решительно не было ни одного человека, который в свободные минуты не думал бы купить себе участочек, завести «лавочку, что ли, ин кабак». Никто из мужиков не осуждал нравственно людей, живших подобными предприятиями; напро-

тив — «любезное это дело!» Людей такого сорта уважали за ум, считали «шельмовство» одною из способностей человеческого разума. И в то же самое мгновение каждый из березовцев уважал мир, покоряясь ему и продолжая жить в нем.

Совесть мужика раскололась тогда пополам; к одной половине отлетели «примеры», на другой остался мир. Явились две совести, две нравственности. Мужик уважал мир, но уважал и человека, который жил без всякого мира; он думал, что надо жить в мире, но было бы, пожалуй, лучше выехать из него; он был общинник, признавая в то же время право на полную особность; он держался равенства (ползание на брюхе по траве), признавая превосходство; он жил в деревне «соопча», не считая дурным делом бросить ее и зажить в лавочке; он растерялся в этих мыслях, не решив, как лучше — пахать мирскую землю или попробовать другое «рукомесло», остаться на миру, «ин кабак» завести, считать мир храмом или обворовать его и не считать такого дела постыдным.

Этот раскол совести сделал возможными такие явления, в возможность которых никто раньше не поверил бы... Это произошло публично, на сходе, при свете белого дня.

Петр Сизов вдруг заговорил. Он не просил, но прямо требовал от схода уступки ему земли возле церкви, где стояла избушка безногого солдата Лапина, который летом пугал на огородах воробьев, зимой нянчил ребят, за что пользовался иногда горячими лепешками или кашей, добывая остальную часть пропитания не менее полезными занятиями.

Но Петру надо было построить новый амбар. По обыкновению, он выглядел исподлобья и, когда кончил, отошел в сторону, молча ожидая решения схода. Березовцы подняли вой. На Петра Сизова с ожесточением набросились. Но через некоторое время набросились, по обычаю, друг на друга, обвиняя друг дружку в нахальстве. «Стало быть, теперича кто вздумает слимонить какую хошь уйму земли, тот, например, слимонит? Как зовется такое бесстыжество?» — кричал один. А ему возражал другой: «Ты бы, Митрий, помолчал малость. Помнишь прошлогодний осьминник-то? То-то. А как зенки у тебя бесстыжие, то ты и кричишь». И пошли чесать друг друга, приискивая за каждым такие случаи, которые подтверждали несомненным образом бесстыжество всех вместе и каждого порознь. Петр слушал, слушал, сдвинул шапку на глаза и объявил, что ежели так, то он кланяться миру уже не станет, не-ет!

— Не рад, что и связался с дурачьем! — сказал он и пошел домой.

На другой день опять происходил сход. Березовцы чего-то испугались. Павел Жохов такого тумана напустил, что все признали просьбу Петра Сизова справедливою. Притом каждый

боялся за себя, не желая вооружаться открыто против Сизова, к которому при случае, пожалуй, придется прибегнуть. Послали за Петром. Пришел. Возвысил голос староста. На минуту все смолкло.

— Тимофеич! — сказал староста.

— Что? — возразил Сизов.

— Тимофеич... мир решил уважить тебя: не замай, говорит, пользуется... человек он заслуженный. Но и ты уважь мир, сделай внос.

— Внос? А не жирно ли будет?

— Тимофеич! Не обижай нас. Вынимай красную и довольно. Уважь мир.

— Покудова не за что! — хладнокровно сказал Сизов.

— Как! мир-то? Ты кто, откуда взялся? Православные! Спить с него за эдакие слова пять ведер! — закричало несколько голосов с негодованием. Началась опять перепалка. Ругали Петра. Но скоро его оставили, разделившись на две партии. Одна, более благоразумная, старалась на Петра подействовать убеждением и просьбою, другая хотела взять силой.

— Господа православные! Гнать его или пущай поклонится миру? — спрашивала одна сторона.

— Пущай тащит пять ведер! — кричала разъяренная другая сторона. Вышла полная разногласица.

Петр постоял-постоял и, видя полнейший хаос, собрался уходить.

— Куда ты спешишь? Погоди. Ишь какой обидчивый! — говорил староста.

Но Петр не обращал внимания на эти просьбы. Он говорил, что «ежели так, то и наплевать»; староста говорил: «пущай пользуется землей, только бы уважил мир»; третья сторона желала, чтобы престиж мира был восстановлен пятью ведрами. Унижение схода и безалаберщина на сходе были полные. Сбавили цену, только просили, чтобы оказано было уважение. Петр не согласился. Тогда дошли до забвения себя. Староста, в лице большинства, взволнованно сказал:

— Да ты хошь испить-то нам дай!

— Смерть как не люблю, ежели клянчут. Сам знаю.

— Так дашь водочки-то? Одно ведро бы...

— На́, два ведра! Лопайте! — сказал Петр Сизов.

Обрадовались. Ругань прекратилась на время. Веселое оживление, смех, шуточки балагурные. Солдата забыли. Мир представлял себя в образе пьянчуги; его интересы понимались в смысле двух ведер. Лопайте! И все были удовлетворены.

Жестокая разногласица возобновилась только после того, как уже были принесены два ведра. Стали пить. Петр только обмочил губы и с презрительными взглядами, относившимися ко всем

присутствующим, вышел. Продолжали пить. Но когда между шутками решено было снести избу безногого солдата Лапина на другое место, многие взбесились. Они инстинктивно защищали мир. «Ах вы, пьяная сволочь!» — закричало несколько голосов. Их ругали, но слушали. «Зачем вы мир-то продаете?» — сказал кто-то, стуча стаканом об стол. Таким отвечали бранью, попрекая их глупостью. Даже пирушка не кончилась благополучно. Когда одно ведро было выпито, один мужичок взял его и полез на пирующих с намерением стукнуть кому-нибудь в голову. Ведро у него отняли, он полез на кулаки. Вышло побоище между двумя напившимися. Срам произошел ужасный. Разошлись, остервенев друг на друга.

Петр был не менее озлоблен. На другой день часть схода пришла к нему, к дому, и потребовала еще вина перед началом перенесения избы солдата Лапина. Не умея «совладать» с ним и удержать его, они думали наверстать водкой. Он принужден был дать. Поняв, что у него ушло пропасть денег, он озлился на весь мир.

Сколько ни делали ему уступок, ему все было мало. С деревней у него не было почти ничего общего. Интересы его клонились к другому. Он был сам по себе. Всякие жертвы чужим людям — а мир стал ему чужд, как враг — казались ему страшными.

Во имя чего сход пожертвовал ему безногого солдата? Лапин не был в тягость никому; у него была одна нога, к другой приделана была деревяшка; но это ничего не значит. Кроме пугания воробьев с огородов и нянченья грудных ребят летом, он являлся для деревни человеком во многих отношениях полезным. Он еще занимался наукой. Правда, его обучение грамотности носило своеобразный характер; собрав ребят, он выстругивал из лучины палочки, раздавал их ученикам и, задавая урок, говорил грозным голосом: смирно! Остальная часть его методы состояла в том, что он держал на показе ремень, постоянно жалея, что по слабости не может употреблять его в дело, отчего, по его мнению, и происходили худые успехи его обучения: ученики только успевали протыкать насквозь книжки деревянными указками... Все это правда; но все-таки Лапин старался горячо заработать пропитание и не даром получал горячие лепешки, кашу и другой хлеб насущный.

Наконец, простое чувство справедливости должно бы было спасти его избу от перенесения на другое место, если бы продолжали существовать иные времена. Но березовцы жили уже по другому складу.

После вторичного угощения они пришли к солдату и объявили ему решение. Лапин сперва разгневался до безумия. Простодушное лицо его побагровело. Он топал в бешенстве одной

ногой, ругался. Он пустил в ход все средства устрашения. Одно из них было оригинально. Он прицепил на грудь свою старую медаль и обвел нахалов убийственным, по его мнению, взглядом.

— Это что ж такое?

— Кавалер, — пояснил Лапин.

Нахалы недоумевали.

— Я вас, сиволапые! Налево кругом марш! — крикнул он.

К удивлению его, это не подействовало. Мужики захохотали. Один шутник спросил даже: есть ли у него крупа, чтобы стрелять?

Тогда Лапин вдруг пал духом. Он беспомощно присел на порог избы своей и просил не трогать его. Он человек бедный, всякий его может обидеть; у него деревянная нога — куда ему таскаться с места на место?.. Лапин заплакал. Это подействовало. Явилась жалость. Мужики обласкали солдата, тут же постановив, что они будут кормить его вечно.

А все-таки избу его снесли, убеждая хозяина ее, что на новом месте ему будет лучше.

Ни один из березовцев не подумал в этот день, зачем у них существовал мир. Чтобы притеснять беспомощных? Но в то же время никто не сомневался в его действительном существовании. О нем и его порядках не думали, но чувствовали его. Не подвергая его критике, в него верили. Каким он был раньше, этот пресловутый мир, таким и остался. Служили ему и жили в нем без рассуждения, только эта служба походила на ту, которую исполняют бонзы. Об обновлении и перестройке этого древнего храма никому и в голову не приходило. Не придет ли день, когда его снесут так же, как снесли избу солдата с деревянной ногой, Лапина?

IV

В доме Ивана Сизова шли сборы в дорогу. Хозяйка его приготовляла для мужа котомку. Сам Иван сидел за столом и рассказывал, как, наконец, деревня решила снять участок казенной земли на вечные времена.

Из его рассказа оказывалось, что этот несчастный участок давно возбуждал всеобщее внимание и перебранки. Десятки раз вся деревня в полном составе ходила высматривать его, причем одни являлись туда пешими, другие конными. Первые осматривали кустики, ложбинки, яминки, чтобы не промахнуться. Вторые взирали его во всем его целом, объезжая вокруг, как бы невзначай не врюхаться. Денег за него просят много, а проку выйдет мало; на каждую душу приходится по самой малости. Из-за этого и спорили... сколько тут было брани — не приведи бог! Беднота

желала купить, богачи говорили: «Пес с ним! На какого он шута? Это по осьминнику-то на душу? Так эдакой пустяковиной ни одна душа не будет довольна». И ругались. Должно быть, десять раз приходили на участок, притоптали его весь, запомнили все кочки. Слава богу, что кончилась эта канитель.

— Порешили? — спросила жена.

— Разом. Сболтнул какой-то шут, что на этот участок уже многие зарятся... и зараз надумали. Лупи, говорят, Ванюха, в город, оправь нам все как следует, чтобы только участок-то наш был... Чуть свет завтра надо выезжать.

Иван сидел веселый. Ребята лезли ему на колени, на загорбок, прося его купить гостинцев. Иван разыгрался. Одному он показал пальцами рога коровы и, в подражание ей, вдруг заревел: «бу-у!» — отчего мальчонка опрометью бросился к порогу; другого взял поперек живота, положил его на колени и принялся щекотать бородой. Поднялся детский хохот, в котором принимал участие и сам Иван; лицо его светилось, глаза искрились от смешных слез. Тут же он обещал, что из города привезет золотых и красных баранов и пряников... Потом вдруг он нахмурился, перестав играть. Он задумчиво достал из-за пазухи кожаный кошель, с каким-то страхом осматривая его.

— На-ко вот, зашей, — сказал он, подавая хозяйке кошель, — мирская казна. Сохрани бог от греха. Только разинь рот — сейчас цап у тебя! И реви тогда... Глыбже засунь.

Хозяйка зашила «мирскую казну» в онучу. Никакой жулик не догадался бы, какие дорогие онучи носил Иван.

— Так-то вот вернее. На-ка теперь, понюхай... много ли увидишь! — сказал Иван, и лицо его снова заплыло широкой улыбкой.

Однако еще раз в этот день ему пришлось смутиться до глубины души.

— Не слыхать, когда брат-то едет? — спросила жена, воткнув этим вопросом нож в сердце Ивана.

Он насупился и замолк.

— Я почем знаю! — только огрызнулся он.

Петр Сизов был также выбран в покупатели участка. Он даже раньше был выбран, потому что березовцы прежде всего к нему обратились: «Петр! лупи в город. И чтобы все чисто было. Ты у нас башка, знаешь куда и как. Чтобы только земля была наша». Затем уже был указан Иван Сизов. Между тем оба брата давно не видались. Встречаясь друг с другом, они не снимали шапок, не кланялись, причем Иван терялся и с недоумением чесал голову, а Петр отворачивался, смотрел в землю, как будто заметил какую-то брошенную вещь и намеревался поднять ее для хозяйства.

Легок на помине!

Петр встал около порога и крестился на образа. Потом внимательно и неторопливо осмотрел всех находящихся в избе. Зато находящиеся в избе были поражены. Иванова баба стояла посредине избы со сложенными на животе руками и не могла произнести ни слова. Иван также безмолвствовал; он сидел неподвижно и держал в руках онучу, которая за минуту перед тем приводила его в радостное настроение. Один парнишка засунул в рот палец, не сводя глаз с дяди; другой, поменьше, при его входе стремглав бросился на печку, с быстротой молнии зарылся там в лохмотья, оставив одну только маленькую щелочку, из которой скоро показался испуганный серый глаз.

— Здравствуйте, — сказал Петр. — Пришел проведать. Не знаю, угодил ли в добрый час. Но теперича ссориться нам не из-за чего.

— Не из-за чего... — повторил Иван, не зная, что говорить.

— Потому делить нечего.

— Нечего...

— Пришел проведать...

— Верно!

— Братнино-то сердце отходчиво. Иль все сердит? — пытливо спросил Петр.

Иван был взволнован; он, видимо, не знал, что делать. Но вдруг он встал, подошел к брату, взял его за руку и потащил к столу. «Добро пожаловать! Гость будешь. Хозяйка, мир! Пришел с повинной... кланяйся!» — говорил Иван и крутился по избе, пока, наконец, не успокоился, усвоив факт примирения с братом.

Через час оба брата сидели уже за столом. Происходил пир. Иван был подвыпивши. Петр имел менее колючий вид. Иван ежеминутно угощал своего гостя, называя его «дорогим». На глазах его то и дело появлялась влага. Блаженнейшая улыбка разлилась по всему его лицу. Иногда он хлопал брата ладонью по ноге и в сотый раз спрашивал его: брат он ему или нет?

— А как же! Самый настоящий, — в сотый раз отвечал Петр.

— Единоутробный? — шутливо осведомлялся Иван.

— Единоутробный.

До полуночи в избе Ивана светился огонь, и все это время Петр не мог вырваться из-за стола.

На другой день братья вместе, на одной лошади, поехали в город. Они сидели рядом. Иван много говорил, Петр много слушал. Старший добродушно оглядывал младшего. Младший внимательно смотрел на старшего. Впрочем, случай дал и последнему возможность заговорить, только говорил он всегда о деле, пропуская пустяки мимо ушей.

Они подъезжали уже к городу. Вдали виднелись колокольни, зеленые куполы, белые дома. Но очертания города были еще не

ясны; над всем городом висела мгла, а когда солнце стало клониться к западу, и лучи его пали отвесно, от города был виден только ослепительный блеск. Жар спадал. Но пыль по дороге сделалась еще более удушливою. Она густыми клубами поднималась от лошадиных ног, колес и набивалась в телегу, садясь на одежду братьев. Братья сидели в ней, как в пятой стихии; облака ее часто были так густы, что они не видали друг друга, молча глотая ее. Поэтому, должно быть, старшину соседней волости, ехавшего им навстречу из города, они заметили только тогда, когда он поравнялся с ними. Иван и Петр сняли шапки и поздоровались. Старшина величественно проехал мимо, что-то пробормотав.

Петр несколько раз оглядывался назад, стараясь хорошенько разглядеть новую сбрую с бляхами, жирного мерина, прочную и щегольскую тележку богатого старшины. На мгновение оба брата покрылись пылью, скрывшею от их глаз отъезжающего. Но Петр сказал:

— Подлинно, голова!

— А что? — откликнулся Иван.

— Разбогател. Теперича куда — и шапку не ломает! Умен, шельма.

— Старшина. Обыкновенно...

— Ничего не «старшина». Старшина одна причина, а ум — другая.

— Должно быть, на руку нечист... — заметил наивно Иван, удивляясь, отчего его брат нахмурился. Петр говорил твердо, но задумчиво, смотря на дно телеги.

— Допрежь голь мужичонко был, — заметил он. — Значит, башка-то не дерьмом набита, есть же, значит, рассудительность. Слыхал, как он пошел в ход? Семеновцы, вот так же, как, к примеру, мы, задумали прикупить луг. Хорошо. Выбрали. А старшину послали за купчей. А он, не будь прост, денежки-то да лужок-то в карман спустил. Туда-сюда, а купчая-то уж в кармашке. Смеется! Конечно, как над дураками не смеяться? Так и бросили.

— Бессовестный и есть! — с негодованием воскликнул Иван.

— Не без того. А между прочим, как судить. Судить надо попросту. Оно и выйдет, что ловко вывернулся, уме-ен! Умеет жить.

— Разбойством-то...

— Для чего разбойством? Все по закону. Нынче, брат мой, все закон, бумага.

— А грех? — спросил Иван, смотря на брата сквозь слои пыли.

— Все мы грешны.

Иван помолчал.

— А бог? — потом спросил он.
— Бог милостив. Он разберет, что кому. А жить надо.
— Разбойством! ведь он, стало быть, выходит, вор?
— Ну-у! — протянул глухо Петр.

В продолжение нескольких минут длилось молчание. Лошадь шла шагом. Кругом было тихо. Солнце село, и по степи разлился полусвет, в котором все предметы приняли иные формы и цвета.

— Совесть, брат, темное дело, — прервал молчание брат Петр.
— А мир? — спросил Иван.
— Какой такой мир? — презрительно заметил Иван.
— Да как же, а семеновцы-то!
— Каждый свою пользу наблюдает, хотя бы и в миру. Рази мир тебя произродил?
— Что ж...
— Мир тебя поит-кормит?
— Ты не туда...
— Нет, я туда. Каждый гонит свою линию. Как есть ты человек и больше ничего. А мира нет... Ну, будет по-пустому болтать, слышь?
— Ась? — откликнулся задумавшийся Иван.
— Подбери вожжи! — резко сказал Петр.

Лошадь, пущенная во время разговора на произвол судьбы, завезла телегу в сторону. Правые колеса катились по самому краю рва. Прямо перед глазами был город. Иван поспешно задергал вожжами, направляя лошадь на настоящую дорогу. Он еще что-то хотел спросить у брата и уже обернулся к нему лицом, но телега въехала на камни мостовой, загремела, затряслась и отбила у Ивана охоту вести разговоры.

V

Странно, что мужичок, заехавший в чужое место по делам, сразу делается беспомощным. Все ему ново и непонятно, словно он переселился в некоторое царство, в некоторое государство, за горы и моря... Буквально он подвергается самым удивительным несчастиям, испытывая баснословные приключения; то его помоями обольют, то заденут метлой по физиономии.

Иван не подвергся, к счастию, бедам. Он только залез на первых порах в какую-то кухню вместо присутствия, а оттуда повар его живо выпроводил, в то же время указав, куда следует идти. Притом у него был брат, больше его знающий и опытный.

Оба они пришли очень рано, и когда повар указал Ивану надлежащее место, они сели возле парадной двери на улице и стали ждать. В ожидании часа, когда можно было видеть «начальника»,

Иван разулся, распорол онучу и вынул из нее деньги. Это потребовало много времени, так что когда от онучи было отнято ее привилегированное положение, а сапоги очутились на должном месте, ожидаемое время настало. Петр сначала держался в стороне; он не мог дать ни одного совета брату, молчал и неподвижно сидел на тротуаре, задумчиво вперив глаза в землю. Идти с Иваном он на первых порах также отказался. «Допрежь ты иди», — возразил он на просьбу идти вместе. Иван повиновался, но отсутствие брата вселило в него еще больше робости, с которой он и пошел.

Половину дня Иван торчал в прихожей, у всех спрашивая и ожидая какого-то «главного начальника». К нему подходило несколько чиновников, предлагавших ему сделать все, что надо, но он со страхом отказывался от предложения, в то же время думая: «Хитер народ, погляжу! И нас тоже не проведешь!» И он все ждал главного начальника. Впрочем, на вопросы присутствующих, какого именно главного начальника ему надо, он ничего не мог ответить. Пробило три. Иван терпеливо ждал. Наконец его выпроваживать стали. Уперся. Потом прибег к последнему средству; он знал, что в каждом присутствии есть секретарь, «большой также начальник!», но только с ним дела не сделаешь, а посоветоваться можно. Вызвали секретаря.

— Какое дело?

— Земли хотел купить, ваше благородие. Это самое.

— Где земли, какой земли, кто?

— Мы, березовские хрестьяне...

— Да тебя-то как звать? Кто это «мы»?

— Иван Тимофеев, а прозываюсь Сизов. С братом мы приехали купить...

Ответив это, Иван посмотрел на секретаря, и ему показалось, что тот окончательно рассердился. Сердце его ёкнуло. Он стал объяснять, какой такой участок...

— Хорошо, хорошо. Завтра, — сказал секретарь и отделался от просителя.

Но это завтра растянулось на целую неделю.

В следующие дни Иван взял на себя только наблюдательную роль. В то время как Петр говорил с «начальниками», подавал им просьбы, документы, Иван стоял в прихожей, не произнося ни слова. Он сознавал, что Петр ловчее его. Он только не знал, отчего Петр ловчее... Иван простаивал часы и дни в прихожей, без слов и неподвижно, глубоко веря, что эти бессловесные и неподвижные стояния необходимы, чтобы свято выполнить мирское поручение. Он боялся вымолвить слово, чтобы как-нибудь не промахнуться. Та же боязнь заставляла его постоянно ощупывать карман, где были спрятаны деньги. Петр один раз мрачно потребовал этих денег, в видах скорой уплаты, но он не дал.

«Я сам...» — проговорил он недоверчиво, как ребенок, у которого просили игрушку.

Кроме стояния в присутствии, однажды вечером отыскал барина, с которым некогда у мирового судьи пил чай; он пришел посоветоваться с ним. Статистик принял его хорошо, только просил прийти в другое время покалякать на досуге. Когда Иван рассказал ему свое дело, он одобрил березовцев.

— Хорошее дело вы задумали.

— Да, дело любезное. Как бы его только оправить в настоящем виде... — сказал весело Иван.

— Ничего, оправишь... А помнишь, как вас ругал Николай Иваныч?

Иван кое-что помнил.

— Он говорил, что вы перед мироедами кланяетесь и что у вас никакого порядку нет... кажется, так? Я думаю, что оттого у вас никакого порядку нет, что вы ничего сами не умеете. Налетит на вас нахал, а вы не знаете, как с ним справиться... а? Учиться надо.

— Худых людей всюду много, — отвечал Иван.

— Да не в этом дело. Защищаться-то вы не умеете. Пожалуй, и защищаетесь, да только боками своими.

Барин засмеялся.

— Учиться надо, — повторил он.

— Учить, известно, нас надо... — подтвердил Иван.

Этим нравоучением и кончилось все... Барин заторопился куда-то.

Иван после этого еще несколько дней провел в торчании, терпеливо, мученически ожидая развязки. Утром рано его видели сидящим на тротуаре возле казенного дома; там же иногда замечали часа в четыре, потому что он выходил на воздух подышать и размять ноги. Это было чистое страдание. Нет хуже состояния, когда человек ждет, ничего не зная... Он томился до замирания сердца, стоял до мозжания в ногах и ожидал до того, что голова его кружилась, а мысли вертелись колесом. Он просто дурел. По выходе из присутствия Петра он только спрашивал:

— Скоро?

— Да, должно быть, скоро, — возражал Петр.

Дело кончилось. Ивана позвали в настоящее присутствие и потребовали денег. Иван оглянул всех недоверчиво, подозрительно: «Хитер тоже народ!» — думал он. Он медлил. Петр резко велел ему выкладывать деньги, и он полез в карман. Четверть часа он вынимал, другую четверть часа считал, для чего он нарочно ушел в самый дальний угол комнаты и по временам оглядывался подозрительно, не примечает ли кто его денег. Его ругали. Ругался Петр. Ругался чиновник, перелистывавший бумаги. Но Иван думал: «Дело мирское... долго ли промах-

нуться?» С тем же намерением («чтобы все было чисто»), подав деньги, он в то же мгновение протянул руку за бумагой. Но Петр резким движением отстранил его, сам взял документ, а в сторону чиновника пояснил:

— Братан мой.

Все кончилось. Документ в руках. Когда Иван вышел из присутствия, он глубоко вздохнул и широко перекрестился на церковь. Петр был возбужденно весел, хотя смертельная бледность искажала его лицо; казалось, что он за минуту перед тем избег опасности и еще не может от всей души радоваться, оправившись от страха. Он также перекрестился на церковь. Но к Ивану возвратилась обычная разговорчивость; камень с души его свалился. По выходе совсем из той части города, где стоял казенный дом, он с шумом сказал: «баста!» — снял шапку, надел ее опять, сдвинул на затылок... Главное — получена была бумага.

Но кому бумага, какая бумага?

Зловещие вести разносятся в деревне раньше, чем они оправдываются. Не успели братья Сизовы приехать из города, как уже вся деревня была взволнована подозрительными мыслями. Живо собрался сход; мужики массой двинулись к избе Ивана Сизова. «Подавай бумагу!» — кричали десятки голосов в его окно. Иван вышел из ворот, раскланялся и сказал, что бумага у Петра. Двинулись к Петру. Подозрительность и волнение доросли уже до такой степени, что Ивана взяли под руки и повели силой, как пойманного вора.

Петр только что возвратился домой, но не мог утерпеть, чтобы не обойти своего хозяйства. До отъезда он не успел покрыть избу тростниковыми снопами. Теперь, едва поел, залез на верх избы и принялся укладывать крышу как ни в чем не бывало. Он был весь охвачен волнением и злобой, а когда увидел приближение схода, руки его затряслись; но он не бросил работы и чисто укладывал тростник, пригоняя снопы друг к другу.

— Петр, слезай! — послышался крик.

— Для какой надобности? — хладнокровно спросил Петр.

— Подавай бумагу! Где она?

— Не для вас она прописана.

Петр, высказав это, продолжал возиться на крыше.

Сход на минуту замер. Значит, правда, что бумага-то ушла из рук? Правда, что деньги-то пропали? Правда, что участка-то нет? Несколько голосов еще раз машинально повторили: «Петр, слезай!» Но Петр не слез. Он сказал, что деньги скоро отдаст, и... и больше ничего не сказал, подарив лишь мужиков взглядом полнейшего пренебрежения. Его бледное лицо, казалось, говорило: «Ах вы, шуты! шуты соломенные!» Только руки его дрожали, и снопы не укладывались с тою аккуратностью, какую он желал.

Внимание схода было отвлечено в другую сторону. Вдруг все вспомнили об Иване. Оглянулись и увидали его. Полетела брань. Иван перед тем был оставлен на свободе; но он не пытался уйти из толпы. Он только сам теперь сообразил все. Вид его был убитый. Он едва ли слыхал раздавшуюся в эту минуту страшную брань и не видал разъяренных лиц. Он сам так обомлел, что не пытался выговорить слово оправдания. Только чуть слышно произнес, обращаясь к брату:

— Брат! Что ты со мной сделал?..

Эти слова еще больше разъярили толпу. «А! ты ссылаешься на брата?!» Ивана несколько рук схватили и тянули в разные стороны. За первыми потянулись другие, потом потянулись все... Каждый хотел схватить и встряхнуть... Он все это видел; видел также зловеще горевшие глаза, но не думал оправдываться. «Пусть лучше прибьют», — думал он. Его действительно начали бить... Он ничего не видал.

В это время несколько опытных стариков бегали по сходу и уговаривали бросить... Они знали, чем это может кончиться. Случай им помог вырвать Ивана. Чей-то мальчонка, заинтересованный всем происходящим, полез через забор, который суживал его поле зрения, и подверг себя неожиданной опасности, зацепившись рубахой за кол. Он повис и заревел от ужаса. Отчаянный рев его возбудил всеобщее внимание. Оглянулись, увидали... и сперва появились улыбки, потом веселый смех, превратившийся моментально в хохот и шутки. Хохотали все собравшиеся. А староста незаметно увел Ивана.

Когда мужики через минуту вспомнили о нем, его уже не было. Поднялся невообразимый гвалт. Некоторые предлагали идти искать Ивана и бить его. Другие советовали надеть на него хомут, обсыпать куриными перьями и в таком виде водить его по улице. Но староста объявил, что Ивашка сидит уже в темной. Это, по-видимому, сразу успокоило сход. Он перекинулся на другого брата. Но никто не требовал от него бумаги; его просили... «Отдай, Тимофеич!» Петр слез с крыши и повторил, что деньги отдаст, прибавив, что если к нему станут приставать, то не даст... ни копейки! Сказав это, он захлопнул калитку, где стоял. Березовцы принуждены были еще раз остолбенеть.

Несколько дней вслед за тем в деревне продолжались смятения и сходы. Березовцы послали в город ходоков разузнать, как и почему? Оба ходока, один за другим, летали в город, из города в другой. Ничего не вышло. Ответы были убийственные. Один приехал и объявил: «Сами мы, братцы, глупый народ». Ответ другого был таков: «Рохли!»

Кончилось это происшествие очень скоро, неожиданно и почти незаметно. Собрали березовцы последний сход по своему нелепому делу. Но обсуждения шли вяло. Никто ничего не знал, и все пред-

ложения были так же нелепы, как и самое дело. Скажут слово и помолчат. Каждый понял всю безнадежность мирского предприятия... Скажет слово и помолчит. Это надоело. Случилось вот что. Вдруг все враз и каждый по очереди поняли, что у каждого есть дома свое собственное дело; всякий желал наверстать потерянное время; мысль, что мирское дело потерпело крушение, придала жгучесть другой мысли, что дома есть настоящее дело, упустивши которое останешься без ничего. Настало смущение. Собравшиеся перестали глядеть друг на друга. Было чего-то совестно. Мужики незаметно разбрелись по домам. Один встал, взял шапку и сказал, ни к кому не обращаясь, что пора бы по домам. За ним встал другой, за ним третий, у всех нашлись причины. Одному надо было пойти дегтю купить; у другого провалился сарай; третьему явилась настоятельная необходимость шишку срезать на ноге мерина. Каждый брал шапку и уходил в смущении. И скоро в сборной избе никого не осталось. На лужке сидели одни сивые старики, которые принялись было рассуждать о допотопных временах, да и те скоро умолкли, увидав, что говорить нечего.

Иван все эти дни провел в темной. Но на него также деревня махнула рукой.

— Ну его, шалава проклятая!

Это все, чем ему мстили. Он вышел из темной на восьмой день, глухою ночью, которая помогла ему украдкой прийти домой. Там он залез в сени, никому не объявившись из домашних, и забился в угол. Общественное негодование придавило его; он уже думал, что никогда ему не оправиться во мнении людей.

VI

Сизовский участок затихал. Вокруг главного хутора, еще не отстроенного, с раскрытою крышею, без окон и без дверей, навалены были груды земли, соломы, прутьев; валялись горы щеп и кирпичей и бревна с воткнутыми в них топорами. Рабочие пошабашили и готовились к еде. Между ними большинство было из Березовки. Сизов позвал, и они... почему же и не помочь ему построить хутор? Деньги он дает хорошие. Большинство лежало на земле; одни навзничь, другие на брюхе. Целый день работавшие теперь сделали ночной привал, отдыхая. Кое-кто, впрочем, починивал одежду; иные точили пилы. Кое-где обменивались ленивым разговором; кто-то запел. Но ленивые разговоры обрывались, а песня совсем смолкла, потушенная темнотой и сном. Торопились привалиться поскорее и заснуть. Ужинали одним хлебом, поленившись сварить что-нибудь.

Иван сидел поодаль от других. Он также стоял на работе у брата наравне с другими. В его доме в это короткое время

случилось много несчастий: волк зарезал пять овец, опилась лошадь, захворала хозяйка. Чтобы оправиться, он нанялся на хутор. Теперь он безмолвно осматривал топор. В целый день никто еще не слыхал от него слова. Он боялся, что его осадят: «вор!!» Но ему дали название «шалавы» — и больше ничего. Знали, что сам он от брата ничего не получил. Большинство работавших относилось к нему с сожалением: «Ах, глупый!»

Осмотрев топор, он открыл мешок, вытащил оттуда хлеб и принялся закусывать. Вдруг ему пришла в голову мысль.

Он пересилил себя, подошел к лежавшим и сделал предложение.

— Братцы, как бы нам артелью... — сказал он.

— Что артелью? — спросило несколько голосов.

— Кашу бы варить.

— Ничего, давайте артелью. Ребята, слышь?

Заговорили. Предложение вызвало всеобщее одобрение и было принято. Самому Ивану поручено привести его в исполнение.

— Что ж, пущай варит. Слышишь, Иван? Вари.

Иван бросился хлопотать. Он сразу поднялся в собственных своих глазах. Забыв усталость, он принялся бегать, один поднял огромный котел и, надев его для удобства на голову, принес на место действия, задыхаясь и радуясь. Он развел костер, который сначала все не разгорался, во избежание чего ему несколько раз приходилось распластаться по земле и дуть в огонь до слез. Но он забыл усталость и старался.

Громадный костер пылал, рассыпая вокруг себя искры, выбрасывая клубами дым. Вокруг костра уселись рабочие. Один Иван был на ногах. Тень прежней блаженной улыбки играла на его лице. В руках он держал ложку, которой от времени до времени помешивал артельную кашу.



ДЕРЕВЕНСКИЕ НЕРВЫ

(Рассказ)

Воздух, небо и земля остались в деревне те же, какими были сотни лет назад. И так же росла по улице трава, по огородам полынь, по полям хлеба, какие только производила деревня, проливая пот на землю. И та же речка, зеленая летом, омывала навозные берега, теряясь вдали, посреди старинного барского леса, из-за которого виднелись небольшие горы. Время не изменило ничего в природе, окружающей с испокон веков деревню. И жизнь последней, кажется, идет своим предопределенным тысячу лет назад чередом; как тогда от деревни требовался хлеб и трава, которые она производила, так и теперь она добывает хлеб и траву, для чего предварительно копит пот, навоз и здоровье. Все по-старому. Только люди, видимо, не те уже; изменились их отношения друг к другу и к окружающим — воздуху, солнцу, земле. Не проходило месяца, чтобы жители не были взволнованы какой-нибудь переменой или каким-нибудь событием, совершенно идущим вразрез со всем тем, что помнили древнейшие в деревне старики. «Не бывало этого!..», «Старики не помнят!..» — говорили чуть не ежемесячно про такое происшествие. Да и нельзя помнить того, чего на самом деле никогда не было. Не видала, например, деревня

такого случая: приехал из учения, прямо из Москвы, сын батюшки-священника, чтобы погостить лето на родине, взял да и застрелился по неизвестной причине. Или вот такой случай: жил один крестьянин, Гаврило Налимов, скромно и честно, никому не мешал, но вдруг ни с того ни с сего взял да и озлился на всю деревню, запылал к ней ненавистью и закуролесил без всякой причины...

Совершившаяся с Гаврилой перемена произошла не вдруг, хотя все последовательные степени ее остались до последнего момента совершенно необъяснимыми для соседей. Не только никто не знал, когда и отчего он вздумал безобразничать, но не знали и того, в чем именно состоит его беда. Соседи ограничивались тем, что каждую степень его ошалелости отмечали с величайшею аккуратностью и необыкновенно верно. Сперва Гаврило обратил на себя внимание явной задумчивостью.

— Что-то будто Гаврило задумался... — сейчас заметили соседи, заметили потому, что в деревне задуматься по нынешним временам не безопасно; задуматься в деревне — значит предчувствовать беду.

— Чувствует, что ни на есть... — тонко догадывались другие соседи.

Далее соседи констатировали, что Гаврило стал лаять на всякого без разбору.

— Почему бы это?

— Пес его разберет; так надо сказать: осатанел. Ему доброе слово, а он лается.

В деревне скоро все, от мала до велика, убедились, что с Гаврилой нет никакой возможности разговаривать: брехает, как чистый пес.

После этого вскоре передавали, что Гаврило, встретив священника, облаял его на чем свет стоит.

Факт действительно передавался верно, и священник пожаловался волостному начальству.

Не успело это дело забыться, как соседи, ближайшие и отдаленные, подметили в Гавриле новую перемену.

— Гаврило, слышь, плачет. То есть вот как плачет! уткнул бороду в траву подле реки и ревет.

Было и это. Несколько человек из соседей своими глазами видели и обратились с успокоительно-ласковыми словами к рыдавшему, но, не дождавшись ответа, пошли прочь, пораженные.

Но вслед за тем вдруг все услыхали, что Гаврило за облаянье старшины попал в волостной чулан.

— Гаврило-то уж в чулане сидит, — передавали соседи, глубоко изумленные, узнав, что Гаврило не только словесно оскорбил начальника, но и полез было в драку. Все поняли, что Гавриле плохо придется, и действительно, вслед за тем, в самом

непродолжительном времени, по деревне прошла уже молва, что Гаврилу увезли.

— Гаврилу-то, сказывают, увезли! Судить, вишь, будут.

На несколько месяцев Гаврило канул как в воду, но вдруг в деревне снова увидали его.

— Гаврило-то уже дома сидит... худо-ой! — передавали соседи и моментально собрались вокруг избы Налимова, взволнованные внезапным окончанием его небывалых приключений. Наконец все убедились, что Гаврило ослаб и сделался окончательно хворым человеком. Тут только все стали догадываться, что он и всегда был хворым, по крайней мере с того начала, когда он только еще «задумался», и затем позднее, когда он стал выкидывать разные непонятные штуки.

Но тем не менее никто не знал, отчего на него напала такая хворь, что за причина? Какой случай подвел его под такую неслыханную болезнь, наружные признаки которой выражались тем, что он сперва задумался, потом начал лаять без разбору на кого попало, после чего плакал навзрыд и, наконец, полез в драку и набезобразничал, за что влопался в острог без всякой настоящей вины? Видимого случая не произошло никакого; несчастия с ним не случилось — вот что удивительно. До того времени никто и не думал интересоваться им, как никто не станет интересоваться вообще человеком, который живет тихо, никого не тревожа и ничем особенным не отличаясь; про такого человека говорят, что он живет и хлеб жует, а что касается других проявлений его, то их никто не замечает. Он был именно средний человек. Что такое средний человек? Это прежде всего существо, которое всю жизнь из всех сил копошится и не любит, чтобы ему мешали. Для того он старается всеми мерами, чтобы не замечали его существования, чтобы не трогали его и чтобы ему в свою очередь не пришлось кого-нибудь задеть. Средний человек поэтому отличается крайней живучестью. Он трудолюбив, терпелив, неуязвим. Настоящей жизни в нем нет, а та, которою он обладает, наделена необыкновенной цепкостью. Он живет или, вернее сказать, существует и тогда, когда для других пришел уже конец. Выше его, над ним, стоят люди, которые, не удовлетворяясь полужизнью, рвутся на простор и по большей части разбивают свои головы о каменную стену; ниже его, под ним, находятся люди, которые от непосильного напряжения падают и умирают. А он — ничего, существует, хотя мучения его иногда невыносимы. Довольствуется он всегда тем, что́ по обстоятельствам дозволяется и что́ дает случай, а если случай ему во всем отказывает, то и тогда ничего, существует, прилаживаясь к чему-нибудь неизмеримо малому. Если у него отнимут кусок хлеба, он съест вместо него камень. Если его лишат света, он закроет глаза, обходясь без него. Если его лишат воздуха, он сократит дыхание и сделается холодно-

кровным земноводным. Слепой и холодный, он все-таки будет считать счастием существовать. Когда его, среднего человека, бьют, он залечивает раны. Когда на него наденут цепи, он сделает их удобными для ношения. Он выходит из себя только в том случае, если покушаются на ту крошку бытия, которая пребывает в нем, но выражает свое негодование тем, что теряется и мечется, но не борется. Он скромен, общежителен и в своем роде страшно энергичен, ибо гонит свою линию до конца, и честен. Впрочем, обстоятельства делают из его честности скверные штуки.

За некоторыми исключениями, таков был и Гаврило Налимов. Коренной земледелец, он жил бы и копался в земле, если бы последней у него было достаточно и если бы ему не мешали; копался бы неутомимо, вечно, до той поры, когда предстанет естественный конец. Тогда он ляжет на лавку или на траву, если его застигнет в поле, скажет: «Господи, прости!» — икнет и перестанет дышать. Так умер и его покойный родитель, проживший восемьдесят пять лет и в последний, смертный час, садивший репу и огурцы. Такого конца Гаврила тоже желал. Но ему в этом мешали сильно расстроенные дела деревни, ежедневно напоминая ему, что и он может пропасть, как пропадали поочередно на его глазах здоровенные мужики.

Тем не менее он цепко держится за свою линию. Вообще в деревне не было более прочного мужика. По отношению к несчастиям он вел себя чрезвычайно дельно, быстро оправлялся от самых тяжелых оплеух. Его страстью, его ремеслом, его задачей была земля, и он добывал ее всякими средствами у ближайших к селу владельцев, получая свое во что бы ни стало. Никто его не замечал, и он мало обращал внимания на что-нибудь, помимо своей задачи. Словом, жизнь его проходила в том, что он сперва обработывал землю, потом ел хлеб, вслед за тем снова обработывал землю и опять ел хлеб и т. д. От него убежал сын Ивашка, поступив в трактир половым. Но Гаврило, собственно, не этим обстоятельством был огорчен, а лишь тем, что с исчезновением сына для него труднее стало добывать землю и есть хлеб. Он гораздо больше страдал из-за бычка, которого он должен был потерять, употребив его как взятку для приобретения земли. Зять, к которому перешел этот бычок, впоследствии заплатил за него Гавриле ничтожные пустяки, и Гаврило долго не мог забыть этого несчастия. Сын же в его мыслях был только рабочей силой, о пропаже которой он сильно жалел, как истый землерой. И ни разу ему не приходилось сильно страдать в те годы, когда у него рожались, но умирали дети. На своем веку он родил человек двенадцать, из которых только двое уцелели: Ивашка да дочь. Все остальные взяты были многочисленными деревенскими болезнями. Такая смертность не убила Гаврилу. Воля божья!

Он как ни в чем не бывало после каждого смертного случая копошился и хлопотал, занятый текущими делами.

Погруженный изо дня в день в хлопоты, он был доволен. Что такое счастье? Или, лучше спросить, что для Гаврилы составляло счастье? Земля, мерин, телка и бычок, три овцы, хлеб с капустой и многие другие вещи; потому что, если чего-нибудь из перечисленного недоставало, он был бы несчастлив. В тот год, когда у него околела телка, он несколько ночей стонал, как в бреду, а отдавая зятю бычка, выглядел вроде как полоумный. Но такие катастрофы бывали редко; он их избегал, предупреждая или поправляя их. Хлеб? Хлеб у него не переводился. В самые голодные годы у него сохранялся мешок-другой муки, хотя он это обстоятельство скрывал от жадных соседей, чтобы который из них не попросил у него одолжения. Мерин? Мерин верно служил ему пятнадцать лет и никогда не умирал; в последнее время только заметно стал сопеть и недостаточно ловко владел задними ногами; но, ввиду его смерти, у Гаврилы был двухгодовалый подросток.

В тяжелые времена деревни на Гаврилу нападал страх; соседи его вели жалкую борьбу, и целые семьи пропадали. А он ничего, жив оставался. Заглянет в амбарушку, видит собственными глазами хлеб. Заглянет в хлев — там стоит неумирающий мерин, чавкая солому. Войдет в избу — чисто везде, прибрано, пахнет жилым духом. После этого он успокоивался, довольный своей долей. Старуха его была славная женщина, веселая, горластая и живая. В избе всегда был порядок. Сама она не ходила неряхой, растрепанной и неумытой, подобно большинству соседок. Потеря детей и другие невзгоды не потрясли ее; она оставалась бодрой и светлой. Гаврило уважал ее. Она его вовремя накормит, поможет в работе, подаст хороший совет, а в праздник наденет на него чистые панталоны и ситцевую рубаху, после чего Гаврило сидит на завалинке и хлопает глазами. Чего еще больше? Его душевная и телесная крепость зависела от уменья сжиматься во время деревенских невзгод, от уменья сокращать себя до последних пределов. Иной на его месте, вроде Чилигина или Савоси Быкова, добыв с божьей помощью десять фунтов муки, мигом ее съест, а после того впадет в отчаяние; но Гаврило те же десять фунтов разделит на пригоршни и так их распределит, что не будет сыт, но и не помрет от недостатка пищи. Или если у Савоси остается в кармане капитала всего-навсего три копейки, то он бросит их куда-нибудь невпопад; а Гаврило те же самые три копейки прижмет и употребит их именно в то мгновение, когда уже подходит смертный час — еще один миг, и нет человека! А три копейки спасли! Мудреная жизнь, но жизнь! Гаврило именно умел вести такую жизнь.

Самый плохой момент в его году — весна. Денег нет, земли не дают. Оттого он в первый месяц после Святой вел себя беспокойно; ходил по соседним владельцам, просил Христом богом у Шипикина, назойливо надоедал таракановскому управителю, подвергая себя всяческим унижениям. Затем, заполучив сколько успел земли, он должен был отдыхать, для чего валялся несколько дней, как больной, утомившийся борьбой с жестокой хворью. Потом уже выезжал в поле. Неизвестно, верил ли он в более радостную, светлую жизнь? Верно одно: никогда он не тяготился отсутствием широты и простора. Ему было ладно и так. Он устал и видимо делался хворым; а кругом, «по суседству», утопали.

Когда хворь его началась — с точностью нельзя определить. Ближайший человек — жена долго ничего особенного не замечала, а когда вгляделась в мужа, то последний уже «задумался». Добрая женщина сильно удивилась, увидав, что Гавриле «чтой-то не можется». Часто он скреб себе без всякой причины поясницу и имел сердитый вид. Работая, он кряхтел и делал продолжительные отдыхи. Иной раз и примется за дело, горячо примется, но быстро осядет. Идя куда-нибудь, он понуро опускал голову, никого, по-видимому, не замечая. Сердобольная жена раз предложила ему полечиться, думая, что он как-нибудь сорвал с пупа, для чего советовала в жаркой бане, которую она истопит, поставить на живот горшки. Тому, кто не знаком с медицинским употреблением горшков, следует пояснить, что это нечто вроде банок для вытягивания крови, только несравненно действительнее; человек, которому поставили горшки, кричит как под ножом. Средство, кажется, убийственное. Но Гаврило не воспользовался им. Мало того, он вдруг осердился, вышел из себя и выругал свою старуху, как самый последний солдат.

Когда вскоре после этого пришло время выезжать в поле, Гаврило по привычке отправился копать землю. Весна стояла теплая, влажная. День-два светило солнце; следующий день лил дождь; потом опять стало светло и радостно. Бывало, Гаврило в такие дни оживал и весело ходил за сохой, веря, что на земле тепло жить... Лес зеленел молодыми, яркими листьями. По полю поднималась свежая трава; на озимых пашнях проглядывала уж рожь. Гаврило принялся за работу как следует; съел кусок хлеба, выпил бурак квасу, покормил мерина, и еще солнце хорошо не засветило, как он уже медленно шагал по бурьяну. Сначала работа шла успешно, но чем дальше, тем все тише, тише лошадь с хозяином подвигались вперед. Не слышалось понуканья и хлопанья кнута, не выходило слова из уст Гаврилы. И в поле царствовала тишина, как среди спокойного моря. Слышался лишь неопределенный шум, производимый шепотом листьев ближайшего леса и колебанием травы. И все тише, тише тянулись лошадь с хозяином. Мерин оглядывался по сторонам, улучал ми-

нуту сорвать верхушку прошлогодней травы и с удовольствием жевал ее; еще немного, и лукавое животное остановилось бы совсем, чтобы немного соснуть, пока очнется от дремоты сам хозяин. Но хозяин не спал. Он опустил голову и бессознательно шел за лошадью. Он имел вид человека, который глубоко задумался. Гаврило что-то соображал.

«Кар-р! кар-р!» — вдруг закричала хрипло ворона. Гаврило вздрогнул. На лице отразилось раздражение. «Я тебе дам, подлая!» — крикнул он, махая кнутом. Он не верил разным сказкам насчет ворон, но карканье и вид вороны теперь почему-то моментально вывели его из себя. Он заторопился, задергал мерина, а когда тот с первого разу не послушался, заорал на него что есть мочи, отчего тот дернул и соха выскочила из борозды. «Кар-р! кар-р!» — вдруг опять над самым ухом, но с другой стороны, хрипло заболтала ворона, отлетела подальше и потыкала носом в ком земли. Гаврило пришел в ярость. «Кар-р! кар-р!» — хрипела подлая птица, не унимаясь. Бог знает, что сделалось с Гаврилой; он схватил с слепой яростью ком земли и пустил его в птицу. Он принялся ругать птицу, потом мерина, потом неизвестно кого бессмысленным набором слов и долго не мог прийти в себя. Только хворый человек мог прийти в такой необузданный гнев от пустяков и вспыхнуть злобой к глупому животному. Но как бы то ни было, а Гаврило в этот день больше уже не мог работать. После странного раздражения он ослабел и еле-еле тащился по пашне, пока эта немощь в свою очередь не раздражила его. Тогда он поспешно собрался и явился, к удивлению старухи, домой. Несколько дней он маялся с этой полосой. На другой день, например, он попытался поехать, но также отчего-то взбесился и с шумом двинулся домой, где лег на дворе, закрылся шубой и так пролежал до вечера. На третий день также вернулся. На четвертый совсем не поехал. На следующий день жена боязливо посылала его в поле, но он ответил:

— Ну ее к ляду!

— Да ты очумел, что ли! разве уж пашни совсем не надо? — удивленно возразила жена.

— А зачем ее... пашню-то? Наплевать! — с невероятным легкомыслием сказал Гаврило.

Жена была поражена. Да и сам Гаврило как будто испугался своего голоса и застыдился своих слов; не говоря больше ничего, он с шумом собрался и поспешно бросился на поле. На этот раз, сам не зная как, кончил.

По утвердившейся косности, работы шли своим порядком; но ничтожнейшие случаи приводили Гаврилу в отчаяние или в необузданный гнев. Вспомнив какую-нибудь работу, он порол горячку, волновался от каждой неудачи, но быстро ослабевал, делаясь мрачнее ночи, и вслед за тем лаялся со старухой или

с мерином. Если бы кто посмотрел на него в это время, то счел бы его самым лядащим хозяином, подобно Савосе Быкову. Разъярившись, он стегал мерина, гонял по двору телушку, разбрасывал куда ни попало вещи. Иногда от его бушевания стон стоял над двором. Телушка ревела, куры кудахтали, собака лаяла, старуха с недоумением ругалась, а на дворе, как после пожара, разбросаны были: там хомут, там кадушка на боку, а посреди всего этого расхаживал сам Гаврило и куролесил, вымещая на бездушных предметах какую-то боль своей души. Вокруг жилища его завелся страшный беспорядок; кучи сору и навозу нагромождены были против самых ворот; ворота стояли открытыми; хлев провонял от нечистоты; телега мокла под дождем на улице; мерина забывали, и он жрал с голода прутья березовые.

Но иногда Гаврило внезапно затихал. Выражение его было тогда мучительное. Он пытался заговаривать со старухой, желая высказать ей, что́ у него болит; ему хотелось поговорить с кем-нибудь, чтобы облегчить себя от непосильной тяжести, ни с того ни с сего обрушившейся на него, но высказаться толково он не умел, особенно с близким человеком, с которым приучаются говорить полусловами и намеками. Именно старухе-то своей он и не мог путно рассказать свою хворь. А между тем сам сознавал, что хворь напала на него и гнетет немилосердно.

В это время он ходил к батюшке поговорить по душе. Простояв в воскресенье обедню, он прямо пошел к поповскому дому. Батюшка принял его сухо, но не прогнал, а велел обождать. Он считал деньги, собранные сейчас за крестины и молебны. Сидя за столом, он с глубокомысленным видом раскладывал медные монеты; скоро на столе в порядке разложены были кучки; в одном месте возвышались толстые пятаки, в другом — гривны, подле гривен рядом тянулись двухкопеечные, а позади всех поместились тощие копейки. Пересчитав все это тленное богатство, батюшка нахмурил брови и сурово взглянул на Гаврилу.

— Ну, говори, зачем ты? — строго спросил батюшка.

Гаврило не мог сразу найти ответ. Он тревожно кидал глаза на пол, по стенам и на свои сапоги и в нерешительности перекидывал с одного места на другое свою шапку, положив ее сначала на колени, потом на лавку подле себя, и засунул ее, наконец, за пазуху кафтана. Лицо его к этому времени уже сильно изменилось; оно осунулось, а в глазах была неотвязная тревога.

— Что же ты мнешься? Говори.

— Я будто нездоров. Мне бы по душе с тобой покалякать... Можно? — заговорил Гаврило слабо, но быстро оправился. Батюшка поморщился в ответ на это, однако приготовился выслушать.

— Я бы перед тобой все одно, как перед богом. Мне уж таить нечего, деваться некуда, одно слово, хоша бы руки на себя наложить, так в пору. Значит, приперло же меня здо́рово!

— Что ты говоришь? Разве можно иметь такие греховные мысли? — недовольным тоном сказал батюшка, который еще не мог до сих пор забыть самоубийства сына.

— Грешно — это справедливо. Потому, против бога. Вот я и пришел насчет души поговорить... Болит у меня, прямо надо сказать, душа, тоскую, а об чем, об каких случаях, того не знаю... Дивное дело! Жил, жил, все ничего, а тут вдруг вон куда пошло!. И хотел бы дознаться, отчего это бывает?

— Как же она у тебя болит, душа-то?

— Да так, сам не знаю, в каком роде... А вижу, что главная сила в душе. Отчего это бывает?

— Тоска, говоришь?

— Не одна тоска, а все. Иной раз ску-учно станет! и до того уж дойду, что сам как есть не в своем виде...

— Трудись хорошенько. Скука происходит от праздности, — посоветовал батюшка.

— Так ведь я допрежь этой пакости не отлынивал от работы и сейчас бы рад работать, да не могу! Скучно!.. Тошно мне смотреть на все... И рад бы приспособить себя к делу, а, между прочим, скучно... Отчего это бывает?

— От различных причин бывает... — многозначительно отвечал батюшка, но в полной мере недоумевая.

— А то случается, что я все думаю разные мысли, — продолжал Гаврило.

— Какие же мысли?

— Да мысли-то, по правде сказать, не настоящие, а все больше предсмертное мне приходит в голову...

— То есть как это предсмертное? — спросил батюшка, побледнев и с сердцем.

— Да так, о смертях, вишь, я все думаю, — пояснил Гаврило.

— Дуришь, я вижу, ты!.. Что же ты думаешь?

— Разное. Живет, например, около меня Василий Чилигин, колотится кое-как со дня на день, по зимам мерзнет, а то так по два дня без пищи ходит... Я и думаю: скоро ли же Чилигин кончится?

Батюшка неодобрительно покачал головой.

— Или, например, Тимофей Луков. Дом бросил, жена убегла от него, а он безобразничает... И думаю я: лучше бы Тимошке помереть!

— Это, брат, грешно, зла желать ближнему, — возразил батюшка строго.

— Сам вижу, грех, а не могу... Вижу которого, например, человека и думаю: «Зачем ты живешь?» И про себя у меня такие же мысли. Делал бы, работал бы с удовольствием, а не знаю, что к чему... Потому я и спрашиваю, как бы хворь эту вывести... очень она меня убивает!

— Да я не понимаю, какая хворь! По-моему, дурь одна... какая это хворь! — нетерпеливо сказал батюшка, которому стал надоедать этот разговор.

— Жизни не рад — вот какая моя хворь! Не знаю, что к чему, зачем... и к каким правилам... — упорно настаивал Гаврило.

— Ты ведь землепашец? — строго спросил батюшка.

— Землепашец, верно.

— Чего же тебе еще! Добывай хлеб в поте лица твоего и благо ти будет, как сказано в писании...

— А зачем мне хлеб? — пытливо спросил Гаврило.

— Как зачем! Ты уж, брат, кажется, замололся... Хлеб потребен человеку.

Батюшка проговорил это лениво, не зная, как отвязаться от странного мужичонки.

— Хлеб, точно, ничего... хлеб — оно хорошее дело. Да для чего он? вот какая штука-то! Нынче я ем, а завтра опять буду есть его... Весь век сваливаешь в себя хлеб, как в прорву какую, как в мешок пустой, а для чего? Вот оно и скучно... Так и во всяком деле, примешься хорошо, начнешь работать да вдруг спросишь себя: зачем? для чего? И скучно...

— Так ведь тебе, дурак, жить надо! Затем ты и работаешь, — сказал гневно батюшка.

— А зачем мне надо жить? — спросил Гаврило.

Батюшка плюнул.

— Тьфу! ты, дурак эдакий!

— Ты уж, отец, не изволь гневаться. Ведь я тебе рассказываю, какие мои предсмертные мысли... Я и сам ведь не рад; уж до той меры дойдет, что тошно, болит душа... Отчего это бывает?

— Будет тебе молоть! — сказал строго батюшка, собираясь покончить странный разговор.

— Главное — деваться мне некуда! — возразил грустно Гаврило.

— Молись богу, трудись, работай... Это все от лени и пьянства... Больше мне нечего тебе присоветовать. А теперь ступай с богом, — и батюшка при этом решительно встал.

Гаврило не ожидал, что беседа так круто прервется, и несколько времени топтался на месте. Но, оставленный батюшкой, он вышел вон, не говоря ни слова. А хотелось бы ему до многого допытаться; например, спросить: от какой причины сын батюшки наложил на себя руки?

Весь этот день Гаврило находился в смирном настроении. Но не то случилось на другой день. Нужно же было нелегкой столкнуть его снова с батюшкой. Последний шел к себе домой и нес лукошко с яйцами. Должно быть, какой-нибудь благочестивый мирянин пожертвовал. Гаврило, как только увидал батюшку, моментально очутился не в своем виде. Он взбеленился, вспых-

нул и давай ругать батюшку отборными словами. Батюшка сначала не верил своим ушам и остановился как вкопанный.

— Что ты, что ты! Бог с тобой! разве ты не узнаешь меня?

— Как не узнать! — кричал Гаврило.

— Ведь я твой отец духовный, сумасшедший ты человек!

— Вижу. Ишь какое лукошко-то прешь... Разве священному человеку нужно яйцо? Какой же ты после этого священник, коли у тебя лукошко на уме!.. — бешено кричал Гаврило и принялся постыдно ругаться, вне себя и, по-видимому, не сознавая, где и что он говорит. Батюшка поспешил отойти прочь и, отнеся лукошко домой, сейчас же отправился в волость с жалобой.

Скоро вся деревня узнала, что с Гаврилой не только дела, но и самого пустого разговора вести невозможно. Без всякого повода он вдруг ошалеет, облает что ни на есть отборнейшими ругательствами и осрамит на всю улицу. Его опасались и сторонились, боязливо поглядывая на него. Мальчишки, и те стали прятаться при виде его, хотя он никогда их не задевал. Стоило ему показаться на улице, чтобы куча ребят бросалась врассыпную. «Вон Гаврило идет!» — кричал кто-нибудь, и это означало: спасайся кто может! и ребята спасались — один под плетень, другой в подворотню, кто куда успел.

А сам Гаврило все больше и больше принимал не свой вид. Летние работы он продолжал совершать, но так неровно, так неумело, что только маялся. Он метался. Как будто он потерял что-то огромное, глубоко важное и напрасно в страхе отыскивал свою пропажу. Не находя искомого, он еще сильнее волновался. Однажды он засел в кабак, где его до этого времени никогда не видали. Однако сивуха не залила его смертельного беспокойства, а подействовала на него удручающим образом. Напившись, он пошел к себе на зады, лег в траву и стал плакать. Плач его так долго продолжался, что услыхали несколько соседей и, подойдя к нему, робко уговаривали, вместе с его старухой, прийти в себя, успокоиться.

В другой раз на двое суток он совсем бесследно пропал. Думали — утонул, потому что в последний раз видели его возле воды, и он мочил себе голову; но это подозрение оказалось напрасным. Через два дня он тихо явился домой и спокойно уснул. Уходил же он в имение Шипикина к известному фельдшеру.

Явление его к фельдшеру в имение Шипикина было так же поспешно, как и все, что он за это время делал. Было утро. Солнце еще не поднялось из-за леса. По земле тянулись клочья тумана; только из двух труб выходил дым. В избах еще спали. А лицевая сторона дома фельдшера оставалась еще в тени и тогда, когда над лесом уж показался огромный шар летнего солнца. Но фельдшер рано должен был проснуться. Он уже давно прислушивался, что кто-то под его окнами копошится. Он думал, что



какое-нибудь животное трется об стену, и чтобы прогнать его и опять заснуть, встал с кровати, отворил окно и увидал Гаврилу, который сидел, скорчившись и прижавшись к стене.

— Ты что тут трешься? — спросил он с обычною своею грубостью, на этот раз особенно усиленной.

— Не ты ли будешь фершал?

— Ну, я.

— Я к тебе по моей болезни пришел, — отвечал Гаврило.

— Ты бы еще ночью приперся! Уснуть не дают, черти... Сейчас!

После этого фельдшер с недовольным видом залез в какие-то бараньи калоши, надел длиннополую хламиду прямо на белье и пошел на улицу. Недовольство никогда не мешало его лечению; никогда он подолгу не задерживал больного, хотя бы тот действительно не вовремя явился к нему. Обругает, как последнюю свинью, своего пациента, но отнесется к нему добросовестнейшим образом.

— Ну, что? — спросил он, оглядывая пытливо крестьянина и стараясь по внешнему виду его определить болезнь. Словам мужика обыкновенно он ни капли не верил и в грош не ставил его часто действительно нелепый рассказ о болезни. Он постигал болезнь какими-то окольными путями и так наловчился в этом, что редко ошибался. К удивлению его, однако, на этот раз он ничего не мог сообразить. Гаврило сперва жаловался на головную боль, но вслед за тем понес такую околесную, что фельдшер только пожимал плечами.

— Давно у тебя голова-то болит? — спросил он, осматривая с ног до головы взбудораженную фигуру Гаврилы.

— Да как тебе сказать... давно уж... — возразил Гаврило.

— Здо́рово болит?

— Болит вот как! Сожмет, сожмет — свету не видишь. Прямо тебе сказать, голова моя вроде как кадушка, а на кадушку будто набивают обручи... мочи нет!

— Может быть, это с перепою, а то не треснулся ли башкой об угол? Вообще не припомнишь ли ты случая, с которого началась у тебя эта боль?

— Кто его знает... такого случая в памяти у меня нет...

— Так ведь с чего-нибудь взялось же?

— Да с чего взялось?.. я полагаю не иначе, как от думы это все идет; от думы и голова, видно, болит... Иной раз думаешь, думаешь, и так тебе сожмет голову!..

— О чем же ты думаешь? — с изумлением спросил фельдшер.

— Разное. Что случится в деревне, об том и думаю. Что увижу или услышу — и давай сейчас разбирать... Значит, болит у меня душа, оттого и голову ломит... В душе самая сила-то, язва-то самая...

Фельдшер осердился.

— Да, по-твоему, что это такое — душа? — спросил он.

Но Гаврило молчал, не понимая.

— Ты думаешь, может быть, что это особливый кусок какой, который можно схватить? Ведь душа твоя — это ты сам и есть. Стало быть, ты хочешь сказать, что у тебя все болит? весь ты расстроен?

— Все, все! это ты верно! истинно, все сплошь у меня болит. Очень худо мне. Не дашь ли лекарствия какого от думы, чтобы то есть не маяться мыслями? — спросил радостно и с надеждой Гаврило.

Фельдшер между тем пристально оглядывал больного. Видно было, что он стал в тупик.

— Вот еще какие бывают... — сказал он как бы про себя, но смотря на Гаврилу.

— Что изволишь говорить? — спросил с надеждой последний.

— Я говорю, что еще ни разу мне не приходилось лечить не думать. Гм! Так лекарствия тебе? Ладно.

И еще раз оглянув с ног до головы больного, он вошел к себе в дом, порылся там в шкапе и возвратился назад на улицу с каким-то пузырьком в руках. Гаврило без слова отдал деньги за лекарство, но фельдшер, прежде чем вручить его, принялся, по обыкновению, вдалбливать, как надо употреблять лекарство.

— Это от головной боли и от нервов, которые, впрочем, едва ли у тебя есть... Так вот, нá! По десяти капель в день; принимать в воде. Понял? Я потому так спрашиваю, что ты, может быть, вздумаешь сразу сожрать этот пузырек. А если ты сожрешь сразу, так голова твоя обратится не то что в кадушку, а будет турецкий барабан, по которому бьют два солдата... да еще сердцебиение наживешь... Понял?

— Понял, — отвечал Гаврило.

— Повтори.

— Налить в воду десять капель и выпить...

— Ладно. Теперь ступай. Повторяю: это тебе пока от головной боли. Ты понаведайся через несколько дней: приедет доктор,

ты услышишь об его приезде и приди. Мы тогда и придумаем какое-нибудь лекарствие, чтобы у тебя мыслей не было! — говорил фельдшер, задумчиво провожая глазами удалявшегося Гаврилу. Он был изумлен.

Искренно изумлен. В своей деревенской практике он все более встречал первобытные болезни: надорвался живот; жилы налились водой; лягнула лошадь; раскроил щеку; приятель откусил своему приятелю в нетрезвом и возбужденном состоянии часть губы; простудился в реке, доставая коноплю, когда уже на реке образовался лед, и прочее в том же роде. Лечил он все это с ловкостью хорошего врача. Имел он также дело с лихорадками, горячками и со всеми эпидемиями, какие только существуют на земле и особенно любят деревни, но такой болезни, какую он сейчас встретил, он не знавал, не признавал ее. Расстроенная бездельем пустая барыня — это было для него понятно; но чтобы мужик расстроился в том же роде — это было в его глазах крайне глупо. Но человек он был добродушный, искренний. У него только язык был взбалмошный, а сердце доброе. Он сильно заинтересовался Гаврилой и, не полагаясь на себя, решился представить его доктору, которого ждал на днях.

Через шесть дней доктор действительно приехал на сутки. Скоро в квартире фельдшера собралась огромная толпа чающих исцеления; весь этот немощный люд облепил завалинки, плетни, ворота и крыльцо фельдшерского дома. В сени, где происходил прием, впускались поодиночке, по очереди. Главное участие в приеме принимал фельдшер же; доктор только руководил, мало вмешиваясь в курьезные объяснения с пациентами. Он полулежал на лавке за столом и бесцеремонно громко зевал. Глядел он сонно; движения его были апатичны, разговор вялый, безжизненный, потому что он был земским врачом от земства, где убийственная скука столь же неизбежна, как худосочие у человека, которому невежественный коновал периодически пускал кровь. Этот доктор был еще молодой человек, а уже дряхлое старчество проглядывало во всех его движениях. Говорят, в первое время своей службы он без отдыха скакал по вверенной ему палестине, устраивал приемные покои, ругался из-за пузырьков для лекарств, из-за корпии, вел медицинскую статистику и т. д. Потом понемногу все затихал, умолкал, робел, пока не дошел до того состояния, когда, как говорится, плюнуть лень.

К полудню прием кончился. Больная толпа разошлась. Но фельдшер долго еще после этого поджидал Гаврилу. Наконец не выдержал и обругался.

— Ведь вот, дубина бесчувственная, не пришел!

— Кого это вы браните? — спросил доктор.

Фельдшер был настроен на торжественный тон, и доктор, отлично зная его, заранее улыбнулся.

— Приходил ко мне на днях один больной крестьянин, то есть прямо сказать, черт его разберет, больной или полоумный. Сколько я ни исследовал его словесно, ни к какому понятию не мог прийти; по обыкновению, путал он, путал языком и ни единого слова не выразил... Сперва, изволите видеть, заявился с головною болью, сравнив голову с кадушкой, на которую, например, набивают обручи, — именно этим сравнением он хотел пояснить наглядно, как у него болит голова. Но из дальнейшего расспроса оказалось, что у него, извольте вообразить, болит душа! А когда я объяснил ему, что особливого эдакого куска мяса, который бы был именно душой, нет, не существует в природе, так он сейчас же согласился со мной и, к удивлению моему, можете себе представить, объявил, что именно у него все болит, все сплошь!.. Больше, извините, не помню, что он путал, но, кажется, уверял, будто бы головная боль его происходит от думы, и просил у меня такого лекарства, от которого бы сразу все мысли его прекратились... Вот теперь я приказывал ему прийти, а он, видите, и глаз не кажет...

Доктор все время улыбался.

— Случай, извольте видеть, интересный, то есть у меня никогда не было таких больных... Я уже было подумал — совестно даже сказать! — не нервное ли это расстройство?

— Это вполне вероятно, — заметил доктор.

— Как! у деревни-то нервы?! — воскликнул фельдшер.

— Я не раз уже встречал между крестьянами нервнобольных, со всеми признаками глубоких умственных страданий...

Фельдшер пристально посмотрел на доктора, подозревая, что тот хочет над ним подшутить, а он терпеть не мог этого.

— Ну уж это едва ли!.. По-моему, они бесчувственны к болям; это уж я отлично знаю... К физическим страданиям тупы, нравственные оскорбления выносят равнодушно — в этом и беда вся!

— Говорю вам, у меня уже перебывало много таких... Мало того, было несколько случаев, где я замечал явные следы нервного odium vitae ... Отвращение к жизни!

Фельдшер недоверчиво взглянул на доктора.

— А отчего же это, позвольте вас спросить, происходит?

— Да, вероятно, от того же, от чего и с каждым из нас может быть... Упадок сил... потеря царя головы... тоска... отвращение ко всему... Что касается вашего больного, то, быть может, его поразил ряд неудач; быть может, у него было одно, но огромное несчастие; быть может, наконец, сочувствие к окружающим...

— Это у него-то сочувствие к людям, у остолопа-то эдакого?!

— У простого человека сочувствие больше развито, чем

у кого другого. У крестьянина связь со всем окружающим и с обществом буквально кровная, неразрывная... И если это общество страдает, и он хиреет, и хворает, и падает духом... вянет, как лист срезанного растения... Это я и называю сочувствием, невольным, бессознательным, но тем более неумолимым...

Фельдшер задумался.

— Позвольте, доктор, я приведу к вам этого чурбана, посмотрите его... — сердито сказал он.

— Едва ли я сделаю ему что-нибудь нужное.

— Неужели ничего?

— Да что же... Единственное средство — это совершенная перемена образа жизни и обстановки; но подумайте, как же это мужик переменит образ жизни! бесполезно и лечить... Пожалуй, приведите, — уныло сказал доктор.

И, сказав это, он потянулся, зевнул и совсем прилег на лавку.

Фельдшеру между тем надо было ехать по делу в деревню Гаврилы; да если бы, кажется, и предлога никакого не нашлось, он выдумал бы его, только бы притащить Гаврилу. Непонятная болезнь последнего подмывала его. Ему от души хотелось помочь ему, в крайнем случае подробно рассмотреть и расспросить, чтобы на будущее время не срамить себя так перед доктором. По счастливой случайности, ему удалось встретить Гаврилу, не доезжая еще до места. Тот шел посмотреть полосу, посеянную на шипикинской земле. Фельдшер обрадовался ему, как давнишнему знакомому, и уже хотел хлопнуть его по плечу, для чего соскочил с телеги, на которой трясся, но взглянул на лицо мужика и оставил это намерение. Гаврило злобно и мрачно смотрел на него, как на врага. Тем не менее фельдшер вскричал:

— Эй, ты, Иван!..

— Я не Иван, а Гаврило!

— Ну, черт с тобой, Гаврило так Гаврило, как будто мне не все равно... Я только хочу сказать — поедем со мной к доктору. Он тебя осмотрит и найдет, может быть, средствие... — сказал фельдшер.

— Проваливай своей дорогой!

Фельдшер с недоумением посмотрел на говорившего.

— Будет тут болтать... садись, я тебя довезу.

— Нечего мне садиться. Знаю я вас!.. Ишь, гусь какой!

— Ты что же это, бревно? — сказал фельдшер сдержанно. — Я же тебе хочу пользы, а ты лаешься! ведь пропадешь ни за понюх!

— Много вас тут шляется... проваливай! — мрачно сказал Гаврило.

Фельдшер даже позабыл выругаться. Он подождал, пока Гаврило удалялся, постоял в нерешительности, сел в телегу и

поехал в противоположную сторону, крайне недовольный собой и опечаленный.

Однако впоследствии вмешательство фельдшера положительно спасло Гаврилу. Без этого случая Гавриле не миновать бы Сибири или по меньшей мере арестантских рот. Никому из окружающих в голову не приходило, что это просто больной. Все видели, что человек одурел, и не знали отчего. К этому времени Гаврило действительно сделался невыносимым. Все лето он провел в каком-то странном возбуждении, отчего поступки его приняли беспокойный характер. Потеряв, так сказать, свою точку, свою веру, он взамен ее не нашел ничего. Он уже совершенно потерял спокойствие, и если иногда казался тихо настроенным, то это было просто окаменение. Он все куда-то порывался, что-то подмывало его. Например, он измучился с сеном, которое накосил в Петровки. Сперва, как и все люди, сложил сено на гумне; но вдруг его это смутило, и с сумасшедшей торопливостью в половину дня он перетаскал сено на двор к себе и сметал его на сарай. Но тут его опять встревожило, и он то же самое сено побросал опять на двор и засовал его под сарай. Может быть, он еще куда-нибудь стащил бы его, но помешали другие хлопоты, столь же нелепые.

Гаврило уже плохо владел собой и делал необдуманные дела. Таков был его краткий разговор со старшиной, чуть было не погубивший его. Обстоятельства этого дела крайне нелепы. Волостное правление вызывало Гаврилу для каких-то справок насчет его сына Ивана. Справки были пустые. Гаврило долго не являлся на зов, может быть позабыл его. Вспомнив, он без всякого раздражения отправился удовлетворить законное требование своего начальства. Перед отходом из дома он даже несколько оправился: приоделся, пригладился и вообще вел себя безупречно. Вид он имел смирный. Явился в волость совершенно равнодушно.

— Ты что там ломаешься? — обратился к нему старшина. — Я тебя сколько раз требовал, а ты и ухом не ведешь. Ждать мне, что ли, тебя, остолоп?

— Сам ты остолоп, — равнодушнейшим тоном возразил Гаврило.

Старшина посмотрел на присутствующих, как бы спрашивая: что это такое?!

— Что ты сказал? — спросил он.

— А ты должен слушать, уши-то есть у тебя, — равнодушно отвечал Гаврило.

— Да ты как смеешь грубить, негодяй! — взбешенно вскричал старшина.

— Сам ты негодяй, — вспыхнул Гаврило и сразу потерял свой вид и принялся кричать. — Негодяй! именно негодяй! вот тебе и сказ! А окромя того, обдирало! всю волость ободрал!

Староста вон влопался уж, а ты еще сидишь... Как ты смеешь ругаться? Я тебе дам, как срамить хорошего человека!

Старшина бросился было к нему, готовый, по-видимому, разодрать его, но овладел собой и только затрясся.

— Ребята... вали его! — слабым голосом выговорил он, обращаясь к присутствующим двум-трем крестьянам. Те принялись исполнять приказ. Гаврило, уж не помня себя, схватил какую-то вещь в руки и давай ей размахивать, обороняясь от нападающих. Впоследствии уж оказалось, что мотал он огромным сапогом, принадлежащим волостному старшине. Конечно, отчаянная оборона только замедлила его взятие да еще, пожалуй, посадила две-три шишки на головах нападающих, но не могла принести пользы. И тут никто не подумал, что взяли, избили, скрутили и посадили в чулан нездорового человека.

Дело, напротив, явилось серьезным: «оскорбление словами и намерение оскорбить действием волостного старшину при исполнении обязанностей службы». Старшина, впрочем, решился сперва не давать хода этому происшествию и предложил, в смысле мировой, высечь его; но Гаврило ничего не отвечал из чулана, и дело пошло дальше. Гаврилу увезли в тюрьму, где следователь деятельно принялся разыскивать в хвором человеке преступную волю. А тем временем Гаврило все сидел, до той поры, пока не вмешалась его старуха.

Наперед ошеломленная, она, однако, не упала духом, бодро кончила летние работы, начатые мужем, и тогда решилась все лишнее распродать или отдать на сбережение соседям, двор припереть, избу заколотить, кое-какую живность порезать, чтобы свезти в город для продажи. Только телку да бессмертного мерина оставить. Так и сделала. Запрягла мерина и поехала по свету добывать Гаврилу. Буквально по свету, потому что она не знала, где он спрятан, у кого о нем спросить и кому надоедать просьбами; знала только, что надо ехать в тот город, где при трактире живет Ивашка-сын. Старуха с мерином избороздила в два месяца осени тысячи две верст. Нашла в городе при помощи Ивашки того следователя, в руках которого находилось дело Гаврилы, но следователь прогнал ее. Ей посоветовали обратиться к самому губернатору, и она поехала на мерине искать губернатора, объезжавшего губернию. Но губернатора не увидала, и, чтобы она больше не надоедала, ее прогнали. Посоветовали ей еще обратиться к прокурору, и она тем же путем обратно поехала в город, но и прокурор ее не выслушал. Тогда она двинулась на неутомимом мерине назад в деревню, чтобы попросить у общества одобрительного свидетельства о Гавриле, но мир по ее делу не собрался; отдельные мужики хотя и жалели ее, но ничего сделать не могли. Много она с мерином изъездила лишнего. Но она верила, что мужа по нездоровью отпустят.

Случайно лишь встретил ее фельдшер и сильно заинтересовался рассказом старухи. Выслушав ее до конца, он дал ей письмо к своему доктору, с приказанием умно и толково рассказать ему все. Доктор жил в городе в это время, и старуха снова туда поехала. На этот раз она попала в точку. Через месяц Гаврилу освободили, вследствие признания его умственно расстроенным. Много лишнего изъездила старуха с мерином!

Когда Гаврило вышел из тюрьмы, он имел действительно вид худой. Все семейство пожило вместе дня два, во время которых Ивашка деятельно убеждал отца бросить деревню и поступить к его хозяину дворником.

— Здесь, прямо сказать, спокойно. У нас думать нечего. Бери свое, что тебе следует, — и шабаш! Думать не об чем! Живи, получай деньги, сколько должно, — и шабаш! — говорил Ивашка, раскрашивая трактирную службу.

Гаврило сначала слушал невнимательно, но, приходя в себя, одобрительно кивал головой. Потом вдруг обрадовался. Он заговорил, оживел, засуетился. В какой-нибудь час решение его созрело: ехать немедленно в деревню и отпроситься у общества в отпуск, после чего возвратиться в город к Ивашке. По-видимому, в его голове моментально обрисовалась картина: взял метлу и вымел, что следует; а недостаточно метлы, так взял лопату и вычистил; а после того никакого больше беспокойства.

— И больше не об чем беспокоиться? — радостно спросил Гаврило.

— Да о чем же еще?.. Свое дело исполнил — и шабаш! — еще раз подтвердил Ивашка.

Гаврило запряг мерина в сани (была уже зима), посадил старуху и поехал в деревню для разделки с ней. Но история мерина кончилась. По приезде домой он понуро свесил уши. Когда Гаврило отвел его в сарай, он не обрадовался и не стал кататься по назьму. Когда ему подложили соломы, чтобы он поел, он отворотился, наотрез отказавшись пить и есть. Видимо, он умирал. К ночи он лег на землю, вытянул шею, ноги и хвост — и сдох. Только старуха поплакала над ним.

Но Гавриле ничего не было жалко. Напротив. Несколько соседей пришли проведать его, посмотреть; они уже слышали, что вся история с Гаврилой случилась от хвори, и теперь быстро собрались выразить Гавриле сочувствие. Но Гаврило их принял нерадушно. Его беспокойство снова стало возрождаться от вида родины. И воздух, и солнце, и поле, и людей, и свою избу, и двор с назьмом, и сарай с телушкой и курами — все это он прежде любил, но теперь чувствовал одно беспокойство, припоминая те мучения, которые он здесь претерпел. Дела он живо покончил, кое-что продал, припер ворота, заколотил избу и пошел со старухой прочь.

Чтобы не оборвать этой истории на полуслове, следует рассказать в нескольких словах, как Гаврило устроился на новом месте. Устроился он спокойно. Из него вышел образцовый дворник. Свои обязанности он исполнял точно: подметал двор, таскал жильцам дрова, а от них сор. Он был рад, что попал на такое хорошее место. В теле он поправился. Беспокойства, лихорадочности уже не было заметно в его взоре. Да разве и можно что-нибудь думать о метле или по поводу ее? А у него в жизни метла одна только и осталась. Вследствие этого мыслей у него больше не появлялось. Он делал то, что ему приказывали. Если бы ему приказали этой же его метлой бить по спинам жильцов, он не отказался бы. Жильцы его не любили, как бы понимая, что этот человек совсем не думает. За его позу перед воротами они называли его «идолом». А между тем он виноват был только потому, что оборванные деревней нервы сделали его бесчувственным.



КАРЬЕРА СЕЛЬСКОГО АДМИНИСТРАТОРА

(Сибирские легенды)

В ВОЛОСТИ

I

Отец Николушки, уездный учитель, умер неожиданно, когда ему было четырнадцать лет и когда он находился только еще во втором классе уездного училища. На руках матери остался он, Николушка, и две его молоденькие сестры. Кормиться было нечем. Вдова Розанова осталась без всяких средств, и это решило судьбу Николушки, принужденного оставить уездное училище на втором классе, наука которого и стала единственным орудием пропитания всего семейства.

Мать сначала думала пристроить его в писуны где-нибудь в городе же, но один родственник ее, деревенский дьякон, посоветовал ей лучше похлопотать о месте в волости, — во-первых, потому, что жизнь в деревне «некупленная», а во-вторых, и самая-то должность в волостном правлении будет потеплее, как выразился дьякон, хотя на большое жалованье сначала Николушка не может рассчитывать и получит на первых порах место не помощника писаря, а простого писца. Вдова приняла близко к сердцу этот разумный совет и решилась перебраться в деревню,

мечтая о том, как ее Николушка со временем сделается сначала помощником, а потом и «волостным» — этим сибирским падишахом, внушающим страх и трепет.

А что Николушка может достигнуть до такой вершины сибирского могущества и богатства — в этом вдова Розанова не сомневалась, потому что Николушка еще в уездном училище зарекомендовал себя хорошим прилежанием и отличным поведением. Но главное его качество было все-таки любовь к порядку. Другие школьники рвали книги, мазались чернилами, ставили друг другу фонари под глазами, а Николушка книжки свои берег в чистоте, заворачивая их в сахарную бумагу, чернила не проливал, затыкая свой пузырек пробкой, а дрался только тогда, когда какой-нибудь товарищ ломал его заржавленное перо. Точно так же и дома Николушка вел себя благопристойно и не дозволял сестрам прикасаться к своим вещам; сундучок его всегда был заперт; а в сундучке у него всегда был отличный порядок: в одном месте у него лежали бабки, в другом тетрадки, в третьем леденцы, в разное время подаренные ему; тут же тщательно уложены были разные картинки, по большей части от табаку, а на крышке сундука приклеены были билетики и опять разные картинки от грошовых конфет. Словом, Николушка уже с раннего детства приучил себя к порядку, что впоследствии очень пригодилось ему на службе, и хотя любовь к порядку мало распространена в описываемой стране, хотя здесь на службе находятся больше всего сельские башибузуки, тем не менее любовь к порядку, благопристойности и здесь довольно высоко ценится, а жадность сверх меры и другие пороки сильно не одобряются.

Когда мать окончательно решила, что устроит Николушку при волости, и объявила об этом ему, то, к ее удивлению, он не выказал никакой радости по этому поводу. Напротив, с рассудительностью, удивительной для его возраста, он сказал матери, что желал бы лучше поступить на коронную службу, потому что ему не хочется весь век жить с мужиками... И чина никогда не получишь!

— Глупый ты, а разве лучше быть судейским писцом да получать пять целковых в месяц! А в волости-то получишь скоро «помощника»! — говорила мать.

— Помощника! — передразнил Николушка, — что мне помощник, а все-таки он мужик.

— Так зато доходно! Лишь бы дал бог в помощники-то, а то уж там горя мало. Сыто, тепло, хорошо! — расхваливала и в то же время мечтала мать.

— Необразованность одна... пьяницы они все! — угрюмо возразил сын.

— А ты не будешь пьяницей... Погляжу я, какой ты еще дурак! Да, если попадешь в помощники, так умирать не надо.

Он, помощник-то живет как помещик, даром что чинов у него нет. А там бог даст и в писаря угодишь.

— Что ж, в писаря...

— Как что же? обеими руками деньги загребает — вот что ж! Ну, да с тобой еще нечего говорить, поедем завтра к Ивану Иванычу — больше ничего.

Иван Иваныч, упомянутый вдовой Розановой, был волостной писарь ближайшей к городу волости, к нему-то и собиралась на другой день после приведенного разговора везти своего сына вдова; при этом вдова руководилась своими собственными соображениями насчет житья в сельских писарях, о котором она давно мечтала. Она мечтала, что у них будет *свой* дом, свое хозяйство и ничего покупного — все дадут, принесут, подарят мужички: и куры, и коровы, и лошадка, и гуси, и масло, и мука, и капуста, все, все в деревне будет даром, от мужиков; а что мужики должны все это доставлять в виде благодарности за службу Николушки — в этом она была уверена. Она представляла себе тип наивного, простодушного куроцапа. И это хорошо. Потому что куроцапы наивные и простодушные и у нас уж выводятся, уступая место сельским администраторам, которые смотрят на мужика как на опекаемого ребенка и не считают невозможной никакую ревирту по отношению к нему. Старый, простодушный куроцап требовал только, чтобы ему мужик не смел отказывать ни в каком продовольствии, и за удовлетворением этого требования оставлял мужика в покое, а новый сельский администратор, кроме этого, старается вмешиваться во все детали жизни мужика, мешать ему, путать его, учить и с презрением относиться к его невежеству. При старых наивных куроцапах мужик откупался от всего, что было ему неприятно, а новый, нарождающийся сельский администратор внушает ему смертельный страх.

II

Это было в конце лета, когда Розанова с сыном отправились в волостное село Каракульское, отстоявшее от города на пятьдесят верст. Потянулись бесконечные березовые перелески, характеризующие страну, степи с жидкой, но высокой травой; то и дело между перелесками светились крупные степные озера, поросшие по краям высокими камышами, над которыми поднимались стаи уток всевозможных пород.

Проехав первую станцию от города, Розанова с сыном въехали в пределы волости. Русскому читателю трудно представить себе сибирскую волость, заключающую в себе десятки больших деревень, тысячи жителей и обнимающую пространство величи-

ной с добрый уезд. Трудно также представить себе, не видя собственными глазами, самое волостное правление, около которого в праздничные дни толпятся сотни народу, а за столами скрипит перьями с десяток писцов, а по комнатам суетятся многочисленные сельские чины: десятские, сотские, старосты, сельские писаря; гул, гам, суетня, брань, разговоры... Кажется, что попал в уездное полицейское управление в базарный день. Еще одна особенность: в целом доме волостного правления нет тех березовых сучков, которые порой исполняют такую важную роль: исправляют нравственность, наказывают пороки. И никогда в здешней волости не раздается позорного ребяческого крика взрослых, и не снимаются всенародно панталоны. Не допускает ли этого сибирский мужик, или вообще люди здесь утратили веру в березовую кашу, как целесообразную пищу, почему бы то ни было, но нет здесь березовой каши.

Когда Розанова с сыном приехали, наконец, в Каракульское, то заметили около волости кучу народа, собравшегося, как потом оказалось, для счета мертвых душ, возбудивших своею многочисленностью сомнение и перекоры при уплате повинностей. Писаря в это время составляли списки мертвецов, распределяли их по отдельным обществам и выдавали эти списки старостам.

Но мать с сыном ошиблись, полагая, что Ивана Иваныча надо искать в правлении; он, как настоящий директор департамента, приходил в волость на полчаса, чтобы подписать бумаги, распечь писарей или просто выкурить несколько папирос; все делали его помощник и писцы. Впрочем, в важных случаях он просиживал в правлении на председательском кресле по целым суткам, умея работать как вол, в особенности во время какого-нибудь кляузного дела.

На вопрос вдовы Розановой, где ей увидать Ивана Иваныча, дежурные десятские в один голос отвечали: «*Они у себя дома*».

Мать и сын пошли на дом. Дом, занимаемый Иваном Иванычем, был деревянный, но большой, в несколько комнат, с чистым, полным всякого добра двором, окруженным конюшнями, погребами, амбарами и каретниками; на этом дворе виднелись тарантас щегольской, легонькая плетенка на железном ходу (коробок, по местному названию), обитая внутри сукном, а снаружи железом, с медными втулками на колесах. В то время как наши просители входили на двор, намереваясь пройти с черного хода, из одной конюшни кучер выводил породистого жеребца, который плясал по гладкому двору. Розанова, оглянув все это благополучие, с гордостью прошептала сыну: «Вот как, Николушка, *он* живет...» Этим она хотела сказать: «А ты, дурак, спорил со мной; постараешься, и ты так будешь жить».

В кухне они принуждены были оставаться так долго, что Николушке, которого поразило все виденное и который находился в напряженном ожидании лицезрения «самого», стало даже скучно. Но мать его нисколько не смущалась, — она завела разговор с кухаркой и горничной, суетившихся около столовой посуды, потому что господа с гостями обедали, расспрашивала о самом Иване Иваныче, о волости, о мужиках, о дешевой квартире, которую ей нужно на первых порах отыскать в деревне, — и терпеливо ожидала, когда *они* (Иван Иваныч) покушают и когда можно будет увидать *их*. Кухарка также резонно советовала пообождать, когда разъедутся гости.

Через два часа гости в самом деле разбрелись, и вдову с сыном позвали «в горницу». Николушка, проходя по комнатам, устланным тюменскими коврами, уставленным венскою мебелью, мягкими диванами и креслами, сильно перепугался и едва переводил дух от волнения, какого не испытывал даже тогда, когда однажды смотритель уездного училища схватил его за ухо и начал дергать по голове справа налево; а когда, войдя в залу, он увидал какую-то фигуру на противоположном конце комнаты, то совершенно обробел и попятился назад, хотя сейчас же оправился, поняв, что он себя, отраженного в огромном зеркале, принял за какого-то страшного человека. Иван Иваныч, напротив, был совсем не страшный старичок, с багрово-красным лицом, толстый, с выпятившимся вперед животом, на котором болталась толстая золотая цепь от часов. Впрочем, когда он встал перед вдовой, заложив руки в карманы панталон, то фигура его была довольно внушительная.

— С чем, матушка, пришла? — строго спросил он, смотря с ног до головы на вдовий костюм Розановой и, по-видимому, не обращая ни малейшего внимания на приютившегося около двери юношу.

— К вам, отец родной, с поклоном, — начала вдова и низко поклонилась писарю, — к вам прибегаю... Не оставьте в бедности сироту, примите участие...—И Розанова отрекомендовала себя, сына и рассказала о смерти мужа.

— В чем же суть? — спросил писарь торжественно.

— Будьте благодетелем, батюшка, примите сына на службу к себе в волость. Век буду бога молить за вас и благодарить от всех моих сил. — При этих словах вдова торопливо вынула из кармана красненькую и положила ее в пухлую руку писаря, который опустил ее в широкий карман, не мигнув и едва ли даже сознавая это, до такой степени этот жест был для него обычным рефлексом. Так же внушительно он смотрел и слушал и так же далеко выпятил свой живот, только расспросы его сделались более внимательны и часты.

— Да не мал ли он? — спросил он, указывая на Николушку.

— Был бы, Иван Иваныч, разумен, а рост что же... — возразила уверенно вдова.

— Да не про рост и говорю, а про... хорошо ли писать-то он умеет?.. Ну-ка, братец, сядь здесь да попиши, — неожиданно обратился писарь к Николушке, усаживая его за письменный стол. Вдова также приблизилась к столу, но не близко, а в почтительном расстоянии, и в то время как писарь диктовал, а Николушка писал, она напряженно следила за пером сына, вытянув далеко свою худую шею.

Писарь диктовал:

«Его Высокоблагородию, Господину Заседателю...»

— Написал?

— Написал-с...

— Пиши:«Честь имею довести до сведения вашего высокоблагородия, по случаю убиения неизвестного числа неизвестного человека, который, будучи найден в камышах озера Чернядь, имеет многие побои на всем туловище, а также и на голове, причем оный неизвестный человек найден был головой вниз, а ногами кверху, под камышами».

— Написал?

— Написал-с...

Писарь взял лист и внимательно осмотрел его. Его интересовал не смысл, конечно, тем более что диктовал он слово в слово бумагу, написанную и отосланную на этих днях по назначению; но он интересовался каллиграфией.

— Почерк хорош. Надо принять тебя, молодец, нечего делать; оно, положим, кстати. Я прогоняю одного писца, так ты будешь на его место... Ну, только смотри у меня, ухо держи востро... И вам, матушка, скажу — поучить сына уму-разума, чтобы каверз из-за него не было у меня с начальством, — обратился Иван Иваныч к вдове.

— От моего Николушки никакой каверзы не будет... — начала было говорить вдова, но писарь перебил ее.

— Знаете, за что я прогоняю этого писца? Дурак он — вот за что. Намедни взял он с одних мужиков и дела не сделал... Приехал на этот случай исправник. Мужик к нему: так и так, ваше превосходительство, писарь взял с нас десять целковых, а решения нашему делу нету. Исправник на меня, это что же ты, Иван Иваныч, допускаешь какие, говорит, беспорядки у себя, — ведь это, говорит, соблазн... Я, конечно, замял дело, пугнул мужиков, обделал их дело за этого дурака, но не прощу ему. Главное, взялся не за свое дело — и вышла каверза.

— Это уж на что хуже! — испуганно прибавила вдова, думая, что писарь проник ее мечты о курах. Писарь, впрочем, сейчас же обрадовал ее.



— Умей брать — вот за что я его прогоняю! Мое правило: бери, но дело делай. Просителю не жалко благодарности, ежели ты все для него сделаешь. Пить-есть всякому надо, но ежели ты будешь обманывать просителя, то ты жулик! Мое правило: бери сколько возможно, но чтобы проситель не остался в претензии. А он взять-то взял, а дело оборудовать для мужиков не умеет, мерзавец! Кто богу не грешен, но надо все делать по совести и рассудительно. А особливо с мужиками. Он по грубости, право, много неприятностей может наделать, ежели ты не умеешь с ним обращаться; а ты его обласкай, да помоги ему, да наставь, тогда он тебя с удовольствием поблагодарит!

«Какой рассудительный человек», — думала про себя Розанова и с искренним умилением слушала писаря.

— А особливо с нашим мужиком, — продолжал Иван Иваныч наставительно, учительным тоном, — особливо с нашим мужиком надо держать ухо востро. Ты ему пальца в рот не клади, а то он, каналья, так типнет тебя, что и жизни не рад будешь. Мое правило: ежели человек в беде и просит на коленях выручить его, то бери, требуй, но выручай, чтобы он был доволен тобой. Так-то, Розанов! Ты еще мал, глуп, но вникай хорошенько, чтобы каверзы не было, и начальство уважай и подчиненных ласкай — и все тебя будут любить... Ну, теперь с богом, други мои, мне поспать хочется. А вас там на кухне покормят. Ежели квартиры не нашли еще, поживите у меня, это ничего.

Обласканные, ушли мать с сыном на кухню, где их сытно накормили и напоили. Мать с умилением говорила о писаре, восхищалась его добротой, рассудительностью и богатством; но сын вынес впечатление какого-то могущества. И это впечатление на всю жизнь осталось в нем; даже и долго спустя, когда он был уже сам на недосягаемой высоте, даже и тогда он без уважения не мог смотреть на писаря, хотя этот последний и был под его начальством.

На следующий день после этого Николушка уже занимался в волостном правлении, красиво выводя буквы, для чего он сгибал голову на правую сторону, а язык на левую.

Так началась его служба.

III

Не прошло и года со дня поступления Николушки Розанова на должность, как его положение сделалось уже прочно и возбуждало зависть в товарищах, писцах Каракульской волости.

Во-первых, несмотря на свое малолетство, он благодаря своим благопристойным качествам, а также при помощи пронырливости своей матери успел устроиться своим домом, в котором было

все то, о чем сладко мечтала его мать, — куры, гуси, утки, коровы и прочая живность. Все его семейство жило уже в деревне и благоденствовало. Сестры были сыты и одеты; мать была сыта и одета и вдобавок счастлива; а он сам завел себе приличный костюм и выглядел порядочным молодым человеком.

Во-вторых, в волости он стоял уже высоко, ценимый за свою прилежность и аккуратность помощником писаря, но в особенности самим писарем. Последний сделал его в некотором роде своим письмоводителем, ему одному поручая переписку важных бумаг, брал его в разъезды по волости и представлял ему, таким образом, всевозможные случаи зарабатывать хорошие деньги. Мужики и всякого рода просители, замечая любовь писаря к этому молоденькому писарьку, обращались со своими просьбами именно к этому любимцу, а всякие просьбы обыкновенно сопровождаются благодарностью, которую Николушка скромно принимал.

Всем было уже ясно, что он пойдет далеко. Главное, он успел поставить себя в то счастливое положение, когда человек без всякого нахальства и насилия мог брать все, что ему надо, потому что просители сами, без всякого требования с его стороны, давали ему. Николушка писал мужикам письма, прошения, делал справки для них и готов был на всякую услугу, а так как он еще был любим писарем и от него менее, таким образом, зависел, то все считали своей обязанностью благодарить его обильно и без всякого неудовольствия. И вот почему у него был свой домик, а в домике виднелось обилие и благополучие.

Ходил он всегда чистеньким и свеженьким, височки его были всегда приглажены, рубашка свежая, без пятен, сапожки блестели ваксой, сморкался он в платок, а не двумя пальцами, как делали его неумытые товарищи. Даже в правлении, где вонь и грязь были неизбежным делом, около него, по-видимому, было чисто. Писал он черными, а не рыжими чернилами, и перо его обыкновенно не было заржавлено, как у других писарей, которые непостижимым образом строчили перьями, втыкающимися в бумагу.

— Очень хороший писарек! — говорили про него все мужики.

Но Николушка во всем своем поведении не полагался на себя, а брал пример со своего патрона, старого Ивана Иваныча. Его прежде всего в волостном падишахе удивляло явное равнодушие к деньгам, получаемым с просителей, деньгам, которые Иван Иваныч спускал в свои широкие штаны с тою же бессознательностью, с какою гоголевская свинья на дворе Коробочки ела цыплят! Постоянно находясь при Иване Иваныче, Николушка знал уже многое из того, что делали писаря. Приходя к нему, мужик обыкновенно низко кланялся, доставал «благодарность», которая моментально исчезала в штанах писаря.

и только после этого начинались разговоры о деле. Если мужик был несмышленый и начинал просить раньше благодарности, то Иван Иваныч прямо говорил ему:

— Сухая ложка рот дерет, братан.

И мужик молча заворачивал полу кафтана и доставал все, что раньше припас.

Иван Иваныч, хотя и спускал в штаны «благодарность» бессознательно, но каким-то непонятным чутьем угадывал, если благодарность была мала; тогда он просто говорил:

— А ты, братан, не скупись на дело.

И мужик вторично заворачивал полу кафтана. Но если мужик начинал торговаться, то Иван Иваныч строго говорил ему:

— Мы, братан, с тобой ведь не кобылу торгуем! Хочешь дело делать — не жмись, а не хочешь, как хочешь.

Все в волости знали эти прибаутки старого писаря и не возражали на них. Мужики, как не раз слышал Николушка, ругали писаря: «Дерет, мошенник!» — говорили про него, но в то же время сознавались, что раз он взялся за дело, самое кляузное, то непременно доведет его до конца. Николушке даже казалось, что все мужики его любили, в особенности за его добродушие и гостеприимство: каждого мужика он угостит водкой, чаем, обедом на кухне и даже велит дать сена лошади мужика, если этот из дальней деревни. А в своих разъездах по волости мужики наперерыв зазывали его к себе в гости... Впоследствии только выяснилось, какого сорта была эта любовь.

Но более всего Николушка удивлялся тому панибратству, с которым Иван Иваныч обращался с чинами земской полиции, то есть с заседателем и исправником, его непосредственным начальством. Заседатель по целым неделям гостил у него в доме, и вместе они бражничали за бутылками коньяку и хереса. Во время службы Николушки заседателем был некто Поворотов, которого по деревням чаще всего видели в пьяном виде; кроме того, он имел скверную привычку со всеми драться, когда был особенно пьян. Пытался он драться всякий раз и с Иваном Иванычем, но последний просто приказывал его связать и в таком виде держал его в чулане до вытрезвления. И заседатель не возмущался этим.

Что касается исправника, то Иван Иваныч лебезил перед ним, но с такой тонкой усмешкой, что о боязни начальства и речи не могло быть. Исправник также подолгу гостил у каракульского писаря и также пил коньяк и херес.

Однажды Иван Иваныч откровенно разговорился с Николушкой, хвастаясь своим значением.

— Меня уважают... а почему? — говорил самодовольно Иван Иваныч. — А потому, что я всем нужен. Кажется, писарь... а по званию мещанин... А попробуй-ка меня задеть, хотя бы исправ-

ник, так я ему так насолю, что и век не забудет. Потому и уважают меня, что во мне сила. Ну, да и не скупой я. Заседателю я плачу тысячу, а исправнику две, каждый год... Так вот мной и дорожат. А мужики... ну, эти и рады бы в иную пору столкнуть, так ведь я не дурак, чтобы живым даться в руки. Я сам столкну — кого надо, а с места не сойду. Да и дураки они! Другой на моем месте, хапун, драл бы с них не на живот, а на смерть, а все-таки из беды не выручал бы их... Это они понимают! Потому и любят меня за доброту и за ум. Зря я не возьму, а в беде выручу. В прошлом году один мужик с пьяных глаз заколотил в кабаке товарища... Ты думаешь, этот негодяй в остроге сидит? Ан нет. А если бы не я, то он по сю пору гнил бы в каталажке. Потому и любят за ум, за силу, за все. Раз уж я возьмусь за дело, так оно у меня кипит в руках, и сделаю его я чисто, чтобы комар не подточил носу...

Долго говорил Иван Иваныч в том же роде, и Николушка понемногу проникался сознанием величия своего патрона, понимая источник этого величия — плотное товарищество начальства во всех делах; друг за друга и все за всех — вот где сила каждого, а в том числе и Ивана Иваныча. Здесь нет начальников, а только товарищи, и самый последний писарь, если только он умен, может добродушно хлопать ладонью по ляжке исправника. У них в деловых случаях полное равенство высших с низшими; оттого и можно самому последнему человеку достигнуть благополучия, любви и могущества наравне с высшими.

IV

Как ловко умел Иван Иваныч употреблять свою власть — в этом убедился Николушка из способа собирания статистических сведений.

Однажды из города была прислана строжайшая бумага, в которой приказывалось в месячный срок сделать опись количества крестьянского скота. Это нужно было для одного ученого сибирского учреждения, которое, конечно, не предполагало, чтобы научная любознательность могла послужить делу куроцапов и превратиться в орудие «корыстолюбия и лихоимства».

Когда пришла эта бумага, Иван Иваныч подумал немного и приказал собрать крестьян в волостное правление. Из дальних деревень не приехали, но ближайшие общества собрались поголовно. Тогда Иван Иваныч с торжественным лицом прочитал им бумагу, и в интонации его голоса было столько таинственности...

— Поняли, братцы? — печально сказал Иван Иваныч, окончив чтение.

Мужики испуганно молчали.

— Строжайше приказывается переписать весь ваш домашний скот! — пояснил писарь грозно.

— Это зачем же, Иван Иваныч? — спросил кто-то из толпы.

— А уж это не наше дело рассуждать. Приказано — и кончено!

— Да какой же скот?!

— Обыкновенно — какой бывает скот... ну там — коров, лошадей... ну там — овец, свиней... Чтобы все было переписано! Довольно вам обманывать! — грозно прибавил писарь.

Испуг толпы увеличивался, распространяясь с быстротой электрической искры до самых задних рядов мужиков; но дойдя туда, этот испуг превратился в нечто такое нелепое, чему и названия нет; там, в задних рядах, уже говорили, что велено переписать всю скотину и лишнюю отобрать... И по всей толпе прошел гул нелепых разговоров.

Впрочем, в первых рядах «бумага» еще не приняла фантастического смысла. Передние крестьяне спрашивали еще довольно осмысленно.

— Да, может, это так — зря написано... кому понадобилось заглядывать в загоны... — сказал один крестьянин, переглядываясь со своими товарищами.

— Как «зря»! Кто это сказал? Как ты смеешь обсуждать начальство!

— Я ничего, Иван Иваныч...

— То-то ничего!.. Ну, давайте переписывать.

Мужики мялись.

— Да ты уж, Иван Иваныч, скажи по совести, что это такое, куда это едет?.. — спросил печально один старик.

— Въедет это вам, должно быть, взашею... — загадочно возразил писарь.

— Ревизия, что ли, это или что иное?

— Ну да, ревизия!

— Скотская, значит. Ну-ну! Ждали людскую, а тут вдруг совсем другая! Ну и — господи боже мой! — зачем же это?! Насчет податей, что ли?

— Должно быть, насчет податей. Чтобы налоги увеличить, а то вы очень зазнались...

А в это время в задних рядах какой-то взволнованный голос уже рассказывал: «Сперва ревизия будет лошадиная, потом коровья, потом овечья, потом свиная, а уж опосля — тогда держись!..»

Писарь между тем ушел в присутствие и долго не показывался, чтобы дать время испугу дойти до последних размеров нелепости. И когда он увидал, что в толпе разводят руками с величайшей тоской, качают пропащими головами, а энергичнее бросают оземь шапки, когда эта «скотская ревизия» превратилась в уме

толпы в фантастический приказ, писарь вдруг вышел из присутствия и заговорил ласково и жалостным тоном:

— Вот что, ребята... Жалко мне вас стало, хочу выручить вас как-нибудь. Ступайте теперь по домам, а вечерком пусть зайдут ко мне старосты, да старичков пошлите, которые поумнее, я с ними по душе и поговорю. А вы ступайте с богом.

Вечером старосты и «старички, которые поумнее» собрались в доме писаря, напились чаю, выпили по рюмке водки и изъявили полное согласие с требованием писаря: собрать для него по полтиннику с души, а он в свою очередь обязуется скотской ревизии не делать и страшную «бумагу» не исполнять во всей точности. Поздно ночью делегаты сельских обществ расходились по домам в веселом настроении и радовались, что несут мужикам радостную новость: «ревизии скотской не будет».

Что касается статистики, то и она была быстро и просто обделана. Завидя вечером возвращающееся из поля стадо, Иван Иваныч спрашивал:

— Будет тут штук триста, Розанов? А? Как ты думаешь, а? Пиши триста... нет, лучше пиши триста шестьдесят три! А лошадей запиши... ну, хоть пятьсот тридцать девять!.. А вон идут свиньи... эка какая прорва их! не меньше как четыреста голов, а? Ну, пиши их четыреста пятьдесят семь — совершенно достаточно!.. А овец больше тысячи... да черт их сосчитает! Пиши тысяча двести семьдесят одна!.. Эдакий осел ты! разве ровно семьдесят? Поправь — тысяча двести семьдесят... одна! Болван ты эдакий! кто же поверит круглым цифрам?

Таким способом в полчаса была составлена опись скота в Каракульском обществе.

При составлении описи для остальных сельских обществ волости Иван Иваныч придумал еще более простой метод. Он решил, что в его волости по всем деревням на каждую душу надо класть по две лошади, по две коровы, по семи овец и по одной свинье. Это формула. А по ней уже было вычислено, сколько чего приходится на все данное общество, после чего получились красивые таблицы с разнообразными цифрами, на основании которых ученый мог ломать сколько угодно голову и не заподозрить, что все это сплошная ложь.

Всей волости перепало кое-что от этой статистики, потому что Иван Иваныч всегда делился со своими служащими. Между прочим, Николушке Розанову он подарил двадцать рублей, на которые последний завел себе серебряные часы.

Дважды два — стеариновая свечка, а статистика наша еще более удивительна, потому что у нас стадо коров равняется полтине с души, а каждая свинья может родить серебряные часы, и хотя все это фантастично, но на свете бывают еще более поразительные чудеса,

V

Сибирские мужики редко влезают в долги, в особенности казне, так что недоимки составляют явление исключительное. Но бывают годы, когда все поголовно беднеют и до такой степени нуждаются, что едва кормятся. Это в годы неурожайные. Тогда сразу истощается платежная сила крестьян, и копятся недоимки. Но сбор податей в эти годы зависит от чистой случайности, смотря по тому, какой отзыв дадут волостные, то есть старшины и писаря.

Кстати о старшине. В Каракульской волости он играл своеобразную роль; можно сказать, что он был, но в то же время надо сознаться, что его и не было! Это чудо произошло таким образом. При выборе старшины могущественный Иван Иваныч говорил ему: «Получай жалованье и в дела не путайся; что ты хочешь — торговать щуками или завести кабак? На все это у нас с тобой деньги будут... Попроси — и дам. Но в дела не суйся, потому ты напутаешь».

И старшина наматывал себе это на ус. Сидел он по временам в волости, ездил по начальству, но везде только хлопал глазами; иногда он покрикивал на мужиков, но не своим голосом. Он действительно был начальством, но в том роде, как пугало, состоящее из палки с намотанными тряпками и выставляемое на огородах для пугания воробьев. Ему оказывали знаки почтения по деревням, но, когда нужно было сделать что-нибудь в волости, обращались к Ивану Иванычу, решительно игнорируя палку с тряпками. А волостные писцы даже и наружного почтения не оказывали старшине, выражая ему полное пренебрежение... Впрочем, бывали и исключения, когда птичье пугало показывало себя настолько грозным, что и писаря плясали перед ним.

Но исключения такие бывали редко. Обыкновенно же старшина выбирался как будто затем, чтобы торговать щуками, водкой и гуртами, на что при известной ловкости всегда мог достать от писаря капиталы.

Последний старшина, при котором служил Розанов, был отъявленный пройдоха; торгуя всем, чем попало, он умел так объезжать могущественного Ивана Иваныча, что последний принужден был постоянно задаривать его и снабжать деньгами на обороты.

Так точно было и в том случае, которому свидетелем был Розанов. Случилось в волости так, что было сразу два неурожайных года. Из города пришла бумага, запрашивавшая волость, в каком положении находятся крестьяне и не находит ли волостное правление нужным отложить сбор податей до будущего года. Старшина сейчас же пронюхал об этой бумаге, и между ним и писарем возникла распря. Писарь подумал немного и решил ответить, что собирать подати следует. А старшина возразил.

— Побойся бога, Иван Иваныч! Как же можно... ведь совсем отощают наши мужички! — сказал старшина горячо.

Писарь внимательно посмотрел на него, но только сказал:

— Иуда!

— Да помилуй, Иван Иваныч! Мы по фунтикам покупаем хлеб, а тут еще подати!.. — горячо продолжал убеждать старшина.

Писарь внимательно посмотрел на него и просто сказал:

— Ты сколько, Иуда, хочешь получить?

Старшина как будто не слышал этого и продолжал умолять писаря «ослобонить мужиков» от податей в этом году, доказывая, что на будущий год, ежели бог даст «урожаю», общество все уплатит.

Но писарь перебил его.

— Я спрашиваю тебя, искариот-предатель, сколько ты хочешь?

Старшина вдруг осклабился.

— Да сотенку пожертвуйте... немного ведь!

— Ну, сотенку — жирно будет... А пятьдесят дам. На, подписывай!

И старшина намарал свое имя на бумаге, в которой волость находила возможным собирать подати и в этом году.

А через некоторое время писарь на сходке говорил:

— Вот что братцы! Из города пришел строжайший приказ собирать подати. Но я знаю, что вы не можете, и хочу похлопотать за вас, чтобы отложили сбор до будущего раза. Как вы полагаете?

— Похлопочи, похлопочи! Сделай одолжение нам. Уж мы тебя не оставим! Не можно платить.

— Очень мне трудно будет, ну, да уж как-нибудь расстараюсь...

— Расстарайся, Иван Иваныч, — кричали голоса.

Вечерком этого дня старики, напившись чаю у писаря, решились дать ему по полтиннику с души на хлопоты, и писарь выхлопотал для своей волости освобождение от податей в этом году.

VI

Николушка Розанов сделался со временем солидным молодым человеком... Двор его деревенского домика был полон всякой живности, которой командовала его мать. Была у него и лошадь, но, впрочем, больше ради потехи, потому что во всякое время он мог кататься «на земских» с колокольчиками. Сообразно с этим и ранг его в волостном правлении повысился настолько, что его все считали правой рукой деревенского Жюль Фавра — Ивана Иваныча. Даже более, Иван Иваныч раз прямо сказал

ему, что через годик он сделает его главным помощником, а еще через годик определит его волостным писарем в другую волость с жалованьем в тысячу рублей...

Как ни свыкся Николушка Розанов с величием Ивана Иваныча, который казался ему воплощением силы и безнаказанности, но на этот раз он позволил себе усумниться в правдивости слов Жюль Фавра, и потому, собственно, усумнился, что слишком неправдоподобно хорошо было обещание. Впрочем, у него были и практические основания недоверия.

Дело в том, что писаря у нас фактически назначаются исправниками, хотя выбор их по закону принадлежит сельским обществам, входящим в данную волость. Исправник прямо приказывает взять такого-то в писаря. Иногда общество приходит в невыразимый ужас от одного имени назначенного писаря; нередко мужики, рыдая, умоляют убрать от них слишком неумеренного куроцапа, но едва ли можно сказать, что эти мольбы часто исполняются. Куроцап сидит себе в облюбованном улусе и бесчинствует. Между прочим, то же самое было в первые годы правления Ивана Иваныча, когда он еще был молод, на тело худ, по карману тощ и в нутре жаден и когда мужики несколько раз теряли терпение по отношению к нему. Просили они и устно и письменно, ради бога, взять его от них, но их жалобы разносил ветер степей их, и писарь как ни в чем не бывало сидел на своем месте и смеялся. Впрочем, достаточно разбогатев, он стал ласковым, добродушным и милостивым писарем, нередко *безвозмездно* оказывая своим подвластным разные услуги.

Но возвратимся к Николушке Розанову. Пораженный словами принципала, он с нескрываемым недоверием спросил:

— А исправник-то?

— Что же исправник!.. — презрительно выговорил Иван Иваныч.

— Да если он не захочет меня?

— Как же он не захочет, ежели я тебя назначу?

Николушка Розанов смотрел во все глаза на писаря.

А писарь, заметив его смущение, засмеялся, потрепал его по голове и добродушно проговорил:

— Глуп ты еще, Николашка! На моем веку десятки исправников сменились, штук сорок заседателей полетели к чертям на кулички, а я все один, и все сижу на своем месте, и все посматриваю!..

Затем писарь дал несколько ценных советов своему ученику, как в будущем обращаться с исправниками и заседателями, когда он будет сам писарем.

Николушка был обрадован, но смущение его не прошло; в душе он думал, что Иван Иваныч больно уж зазнался и как бы его гордость не была наказана.

Совершенно случайно эти мысли глупого Николушки вскоре после этого разговора оправдались; Иван Иваныч потерпел крушение, как Наполеон на вершине своего могущества, и не оттого, что силы изменили ему, а оттого, что слишком зарвался и слишком презрительно третировал силы противника. Но даже и в своем поражении он (то есть Иван Иваныч, а не Наполеон) выказал свою силу; можно даже сказать, что борьба эта с исправником каракульского писаря особенно и обнаружила неизмеримое могущество волостного писаря.

Вскоре после описанного выше разговора в городе был назначен новый исправник из губернии. Это был молодой человек из чиновников особых поручений, которые у нас летают, как мотыльки среди кустов шиповника; до времени они весело порхают, наслаждаются бытием, а дунул ветер, и они разлетаются. Но одни чиновники особых поручений вовремя пристраиваются в исправники, выбирая таким образом наиболее самостоятельный, прочный, хотя и тревожный род жизни; сначала такой молоденький исправник держит себя заносчиво (по неопытности), душит голову келлерской водой и выставляет напоказ свои чистые воротнички, но затем, становясь более зрелым, начинает уже пахнуть семгой и другими продуктами щедрых обывателей.

Так вот и наш вновь присланный исправник был еще молод, неопытен и горд на первых порах. Быть может, старый Иван Иваныч просто ему не понравился, быть может, они не сошлись в некоторых взглядах на некоторые финансовые дела, как бы то ни было, но с первого же приезда исправника в Каракульскую волость между ним и писарем возникла вражда. Николушка Розанов, бывший свидетелем этой борьбы двух сил, уверял впоследствии, что исправник был обижен нахальной встречей Ивана Иваныча, который будто бы, засунув руки в брюки, выпятил далеко вперед свое брюхо, давал объяснения в такой позе все время, пока исправник присутствовал в волости; и хотя Николушку нельзя считать беспристрастным свидетелем, потому что он потом перебежал на сторону исправника, изменив во время самого сражения своему покровителю, но, должно быть, общий факт выпяченного живота, раздувшегося на обывательский счет, был передан Николушкой верно. Исправник, сделав строгий выговор всему волостному правлению в целом его составе, ускакал, не подав руки Ивану Иванычу, в другую волость, здесь же, вероятно, поклявшись хлопнуть по слишком нагло выпяченному брюху зазнавшегося «писаришки».

Действительно, тотчас же по приезде обратно в город исправник нашел случай придраться к Ивану Иванычу, написал грозный призыв его на явку себе, и когда Иван Иваныч явился неторопливо, то он распек его, пригрозив выгнать его с места. Но Иван Иваныч молча выслушал град ругани и совершенно просто спро-

сил: «Здоровы ли их высокородие?» Это был прямой вызов на борьбу.

Но Иван Иваныч сделал еще другой вызов. В тот же вечер он отправился в гости к казначею, куда был приглашен и исправник, и как ни в чем не бывало попивал ром за одним столом с последним. Исправник, вне себя от гнева, побыл десять минут, отказался от карт и ускакал от удивленного казначея.

На другой день исправник послал в Каракульскую волость бумагу, в которой он приказывал писарю сдать дела помощнику и ждать дальнейших его приказаний. Но каково же было его удивление, когда он через неделю узнал, что писарь и не думает сдавать должности!

Исправник шлет прямое приказание об оставлении должности, но каково же было его удивление, когда он узнал, что писарь решительно отказался исполнить это повеление!

Исправник, в гневе, вызывает Ивана Иваныча к себе.

— Я тебя под суд отдам! — кричал исправник, когда Иван Иваныч явился к нему.

— Было бы за что, ваше высокоблагородие! — рапортовал Иван Иваныч.

— Я сейчас посылаю телеграмму губернатору!

— И я...

После этого они разошлись.

Исправник послал в губернский город донесение на Ивана Иваныча. А Иван Иваныч с той же почтой послал туда на адрес одного человека толстый пакет со вложением.

Исправнику на донесение не ответили.

А Иван Иваныч продолжал управлять Каракульской волостью.

Исправник послал новое донесение с просьбой отдать под суд каракульского писаря.

А Иван Иваныч послал пакет еще толще.

Это была борьба слона с носорогом или тигра со львом, борьба, какую изображают путешественники-фантазеры.

Но по мере продолжения борьбы заметно все-таки было, что Иван Иваныч ослабевал; правда, в губернии за него стояли опытные дельцы, но средства его все-таки были не безграничны. Он отослал на поле битвы все, что имел, но там продолжали еще просить. Тогда он продал все серебро, ковры, меха, но и этого было мало.

У него была любимая серая кобыла с яблоками, стоящая девятьсот рублей, и ему жалко было расставаться с ней, но в конце концов он должен был продать и ее, чтобы отослать все вырученное на театр войны. Мало того, он два раза съездил и сам в губернский город, чтобы своим присутствием воодушевить сражающихся... но силы его изнемогали.

Вот он уже продал дом, тарантас, хлеб в амбаре, вот уже с жилета его исчезли часы, вот уже в костюме его стала замечаться небрежность и в глазах уже виднелась смертельная тревога, а битве еще и конца не предвиделось. Он уже теперь бился не затем, чтобы удержать позицию, но затем только, чтобы пасть со славой, доконав врага.

И доконал.

Исправник сделал ложную диверсию — и проиграл сражение.

Однажды, получив из губернии известие, что там медленно и неохотно приходят к решению отдать под суд каракульского писаря, он решился ускорить исход дела вмешательством мужиков.

Он отправился в Каракульскую волость, собрал сход и стал спрашивать мужиков насчет поведения писаря.

— Довольны вы, ребята, своим писарем? — спрашивал он собравшихся крестьян.

— Премного довольны, ваше высокоблагородие! — отвечали в один голос мужики заученным тоном.

— Вы не бойтесь, ребята, говорите... Так, довольны?

— Препятствия нам к нему нет! — отвечали передние старики.

Исправник грозно обвел глазами толпу, и мужики видели этот гнев и решились еще более стараться...

— Хорошо он исполняет свое дело? — гремел исправник.

— Покорно благодарим, ваше высокоблагородие! — гремела в свою очередь сходка.

Исправник был вне себя и, уже не помня, что он говорит, бросился напролом и выставил своему противнику один из фланов.

— Не вымогает он с вас? — закричал он.

— Нет, не слыхать быдто... — отвечали испуганные мужики, в полной уверенности, что исправник хочет поймать их в ловушку.

— Взяток не берет? — отчаянно ревел исправник.

— Сохрани бог! Очень он нам нравится! — кричали мужики.

Исправник погиб.

Иван Иваныч, доподлинно расспросив о том, что происходило и говорилось на сходке, немедленно послал в губернию донос, в котором говорил, что исправник вооружал население против начальства, говоря о взяточничестве последнего и лихоимстве, и внушал мужикам противоправительственные мысли, что всех мздоимателей следует отдавать под суд... Донос был до такой степени ядовит и смертелен, что Иван Иваныч заранее потирал руки.

Действительно, исправник слетел с места и надолго был причислен к составу чиновников особых поручений.

Иван Иваныч также прогнан был, но он об этом и не жалел, радуясь, что пал со славой.

Силы его после всей этой кампании быстро упали. Он совершенно обнищал, снискивая себе пропитание писанием прошений на тротуарных тумбах в базарные дни, а также сочинением «писем к родителям». В городе, впрочем, все, знавшие его величие, до конца жизни относились к нему ласково: когда он приходил без сапогов в какой-нибудь дом, ему давали старые резиновые калоши, кто давал рубаху, кто панталоны, а кто кусок сахару со щепоткой чая; жена его умерла вскоре после отрешения от должности, но он сам упрямо жил несколько лет после этого, а когда умер, то в вонючей куртке его была найдена истрепанная бумага, на которой разобрали его донос на исправника-неприятеля.

Что касается Николушки, то о нем речь еще впереди, а сейчас мы только скажем, что он успел вовремя выйти из волости, в которой слишком опасно стало; а так как в это время умерла его мать, то он мог уже без всякой помехи отдаться своим мечтам и потому перебрался на городскую службу, предварительно изменив своему патрону.

В СУДЕ

I

Когда разбита была Каракульская волость, Николушка также должен бы был пострадать, но еще во время знаменитой в наших летописях борьбы исправника с писарем Николушка Розанов перебежал на сторону врагов своего принципала, а потому после окончательного разбития всего волостного правления он оказался в числе, так сказать, военнопленников; в то время как все остальные писаря разбежались, Николушке Розанову обещано было место в городе, именно в суде. Николушка тогда продал дом, лошадь и отправился на поклон к судье, которому было уже заранее замолвлено словечко о нем.

Это было в один прекрасный, как говорится, а на самом деле прескверный день, в октябре, когда в городишке по улицам и площадям обыватели плавают по морям грязи и атмосферических осадков. Николушка, по обыкновению, чистенько оделся, примазал височки, вымыл калоши, но по дороге к дому судьи, к ужасу своему, понял, что перед судьей он предстанет в образе смелого, но ободранного путешественника, который переплывал бурные моря, терпел кораблекрушения и тонул: вопреки всем его стараниям, он в продолжение своей дороги терял несколько раз калоши, утопал по колено в лужах, а раз, перед самым домом судьи,

поскользнулся и упал растопыренными руками в бездонную пропасть липкой грязи, после чего на крыльцо он вошел уже прямо не в своем виде! Это его так огорчило, что он уже намеревался отложить свой визит, но, к несчастию, его заметили и пригласили войти. Он вошел в кухню вне себя от волнения и со слезами на глазах стал обтирать себя платком, хотя только размазал грязь. В кухне толклись какая-то баба, должно быть кухарка, потом старушка, похожая на отставную чиновницу, и еще какой-то старичок с большой лысиной, одетый в замасленный тулупчик. Все трое возились с солеными рыжиками, причем баба перемывала рыжики, старушка укладывала их в кадушку, а старичок посыпал их укропом, от времени до времени выражая неподдельный восторг при виде какого-нибудь крошечного, но толстого рыжика, — взяв двумя пальцами такой рыжик, старичок радостно восклицал: «Вот какой, подлец, славный!» Но если попадался огромный и крепкий рыжик, он называл его «старым дураком».

— Тебе чего, молодец, нужно? — спросил старичок Розанова, не покидая, впрочем, своих размышлений насчет рыжиков.

— Я пришел к господину судье, — отвечал Николушка.

— По какому делу? — спросил старичок.

— По своему я делу, — возразил Розанов, не считая нужным рассказывать какому-то старику о цели своего прихода.

— Не хочешь отвечать, так не больно и нужно, — сказал с усмешкой старичок.

— Да мне бы очень нужно повидать господина судью...

Старичок при этих словах с удивлением посмотрел на Розанова и сказал:

— Да ты, парень, откуда? с неба, что ли, свалился? Эка! судью-то своего не узнал!

Николушка испугался и отвесил низкий поклон господину судье, а судья опять принялся наблюдать за рыжиками и посыпать укропом. Впрочем, как бы догадываясь о положении юноши, он заставил его рассказать о своем деле здесь же, не выходя из кухни; и когда Николушка назвал себя, высказав также свою просьбу, судья вспомнил его и велел приходить ему завтра, прямо в суд, где он и даст свой ответ на его просьбу.

Возвращаясь к себе домой по тем же морям грязи, Николушка соображал, где он мог видеть господина судью, наружность которого чем-то памятна ему была. Ба! вспомнил он: на базаре ругающимся с бабами деревенскими — вот где!

В самом деле, судья сам ездил на базар по субботам на известной всему городу пегой кобылке, которая была немного с ленцой, но круглая и здоровая, так как обыватели очень любили своевременно доставлять ей овес и сено, подавая прошения

в «окружный суд»,* и хотя это не было обязательно, в особенности для богатых, имеющих возможность заменить овес чем-либо другим, но тем не менее кобылка Фемиды благоденствовала. Господин судья, впрочем, только приезжал на базар, но по базару ходил пешком, с корзинкой в руках, и покупал на целую неделю всякого припаса у деревенских приезжих: картофель, огурцы, репу, сметану и пр., причем он любил торговаться до последней крайности; а если баба попадалась упорная и непременно требовала, например, за лук три копейки, не желая взять полторы, то господин судья убедительно стыдил: «У, какая ты бессовестная! как тебе не грех драть такую цену, а?» Кроме того, старый судья любил еще ошибаться при расплатах с бабами, из которых множество не умели отличить одной монеты от другой, но когда баба, недоверчиво посмотрев на монету, подозрительно возражала: «А ты, господин, ведь обсчитал меня!», то старичок нисколько не обижался на это, хотя неохотно отдавал удержанную копейку: «Будет с тебя, ишь какая жадная!» — говорил старичок. Но случалось так, что баба какая-нибудь сама принималась стыдить старика.

— Как тебе не стыдно копейку-то у бедной бабы зажиливать! — говорила баба громко.

— Кто у тебя зажиливает! Ишь раскричалась! — урезонивал и судья.

— Мне копейка-то дорога!

— А мне, думаешь, сладко копейка-то достается? Дура эдакая!

— Не ругайся, что лаешься? — стыдила в свою очередь баба.

— Молчи. Вы все думаете, что у нас денег куры не клюют!

— А то у кого же и деньги-то, как не у вас? — возражала баба.

— А ты знаешь, кто я?

— Почем я знаю! Много вон тут вас ходит!

— Окружный судья я.

Баба при этом заявлении растерянно смотрела, в страхе думая, что пропала ее теперь головушка за копейку. Но судья и не думал ее пугать.

— А знаешь ли, сколько я жалованья получаю? — спрашивал судья.

— Где же нам знать... — отвечала баба в ужасе.

— То-то же и есть! а тоже кричишь — копейка! А копейка-то мне достается горько!

И судья после такого разговора шел дальше, пробуя сметану, подозрительно осматривая яйца и торгуясь до последней край-

---

* Окружный суд в Сибири по своему устройству то же, что «уездный суд» дореформенного времени, и так он называется потому, что здесь уезды называются округами. (*Прим. автора.*)

ности. Затем, когда кучер нагружал тележку сверху донизу съестными припасами, судья садился на самый верх этого воза и, окруженный капустой, яйцами, мясом и прочим, ехал домой шагом, чтобы не расплескать и не рассыпать ничего.

Вот что вспомнил Розанов, и на него вдруг напала страшная тоска; теперь с ним происходило обратное тому, что он чувствовал, когда поступал на службу в волость. Тогда он вынес впечатление какой-то силы и могущества, а теперь господин судья казался ему олицетворением слабости, старчества и жалости. Ему даже плохо верилось, чтобы судья, разговаривающий с ним на кухне, был именно судья, а не какой-нибудь старичишка.

Но делать было нечего; места он лишился и готов был служить у кого и где угодно.

II

На следующий день он действительно отправился в суд очень рано.

Здание суда было наемное. Но трудно было уже назвать его зданием; дом просто представлял собою сгнившую деревянную развалину; одна сторона дома вросла в землю, другая сторона перекосилась, а середина выпятилась наружу; крыша поросла мхом и лишаями, которые, впрочем, явились затем, кажется, чтобы доказать, что и суд может производить плоды; окна изображали собою все геометрические фигуры, а стекла в них были почти везде побиты, как будто этот дом был из веселых. На дворе ничего, кроме отхожего места, откуда постоянно пробивался дым папирос. Крыльцо с провалившимися ступеньками.

Что касается внутренности дома, то свежего посетителя сразу поражало в голову всем видом; воздух пропах махоркой, картузным табаком и еще чем-то, чего нельзя определить. В прихожей стоял сундук, на котором помещался сторож с небритой физиономией, тут же были вешалки, где висело платье служащих. Сами служащие судейские соответствовали этой обстановке. Вид их поразил Розанова; громкое слово «суд» внушало прежде, когда он еще учился в уездном училище, священный страх, но когда он теперь воочию увидал это сборище «крючков», то на него напал совершенно обратный страх: «Неужели я тут буду служить?» — спросил он себя, словно попал в ночлежный приют, — до такой степени вид этих судейских был непрезентабельный. Плохая одежда, с протертыми локтями, чумазые рубахи, неумытые, невыспавшиеся лица, перья за ушами, — смотрел, смотрел чистенький Николушка и не знал, к кому ему обратиться. В особенности один судейский напугал его своим видом, тот самый детина, к которому, наконец, решился обратиться с вопросом,

где можно видеть секретаря; это был огромный малый в желтом сюртуке, на котором было всего две пуговицы, с огромными ручищами, на пальцах которых виднелся табак; казалось, что эти толстые, по концам желтые пальцы не умеют не только писать, но не в состоянии и перо держать.

— Кого вам нужно? — спросил детина, видя подошедшего к себе Розанова.

— Мне господина секретаря бы... — ответил Николушка.

Молчание. Все взоры обратились на последнего, спрашивая, казалось: «А по какому делу ты пришел?», но никто не ответил на просьбу Розанова. Огромный писец также хранил глубокое молчание, воображая, что перед ним проситель, а всякому просителю надо понять, что здесь ничего поспешно и даром не делают. Писец, впрочем, посмотрел тусклым взглядом на Розанова, но этот взгляд только говорил: «А, попался, голубчик!» Однако на настойчивые вопросы Розанова он ответил, что секретаря нет еще. Розанов в благодарность за это открыл портсигар и предложил судейскому папиросу. Но тот взял своими толстыми пальцами две. Николушка робко предложил папирос и всем остальным присутствующим; никто не отказался, и через мгновение портсигар был очищен и еще недостало одному служащему, который угрюмо заглянул в пустую папиросницу и, кажется, думал предложить Розанову выворотить ее, чтобы посмотреть, не завалилась ли где лишняя папироска. Но в это время уже начался общий разговор, вследствие которого обделенный должен был оставить свое мрачное намерение; дело в том, что Розанов в это время сообщил, зачем он пришел, и все присутствующие окружили его, предлагая ему вопрос: где он раньше служил, кто такой, на какое место поступает, сколько обещано жалованья ему и пр. В присутствии еще никого не было, и служащие побросали свои серые бумаги. Не успел Николушка оглянуться, как он уже был в центре судейских лодырей, которые наперерыв предлагали ему вопросы и давали советы. Только один столоначальник сидел за своим местом, считая недостойным своей высокой должности разговаривать запанибрата с каким-то мальчишкой, но и этот изменил себе, когда судейские товарищи потребовали от Розанова, чтобы этот последний сегодня вечером устроил пирушку в честь поступления на коронную службу.

Напрасно Розанов отговаривался тем, что он еще не поступил на службу, и тем, что у него ничего нет для пирушки, — судейские настаивали на своем, заранее радуясь случаю даром попить и поесть; на первую отговорку они возражали, что уж если сам судья принимает участие, то назначение верное, а на вторую, собственно, ответил гордый до этой минуты столоначальник.

— Водки и селедки! больше ничего не надо, господин Розанов, — сказал он, и все присутствующие согласились с ним.

Розанов должен был уступить.

— Да побольше водки-то... — прибавил еще кто-то.

В это время один за другим показались секретарь и старичок судья. Служащие быстро разбежались по местам и, сделав постные физиономии, принялись строчить.

Назначение Розанова в самом деле совершилось легко. Судья только приказал секретарю назначить для него стол и обещал жалованья десять рублей.

— А на сегодня ты от занятий свободен, — кончил свои распоряжения старик и сел в присутствии на свое место перед зерцалом.

Что касается формальностей приема, то они совершились потом.

Когда Розанов опять очутился посреди судейских, то все поздравляли его, напирая в особенности на то, что ему сразу назначено десять рублей; для всех было ясно, что Розанов пойдет далеко. В самом деле, большинство судейских получали невозможное вознаграждение, начиная с полутора рубля и кончая высшим окладом в пятнадцать рублей. Только столоначальники получали девятнадцать с копейками. Так что удивление их перед десятью рублями, назначенными сразу Розанову, было совершенно основательно; и как эти голодные люди существовали — известно одному богу да просителю.

Уходившему Розанову все подмигивали, напоминая ему, что вечером все они явятся к нему.

Розанов купил два окорока ветчины и ведро водки и надеялся, что это количество, вместе с чаем и хлебом, будет достаточно, чтобы удовлетворить несомненно ужасный аппетит судейских крючков.

Но потом эти расчеты скуповатого Розанова оказались неверными; потому что едва гости собрались в маленькой комнатке Розанова, как последний убедился, что его расчеты с невероятной быстротой, вместе с водкой и ветчиной, исчезают. Собравшиеся сначала пили и ели сосредоточенно, храня неприличное молчание, причем в час выпили весь чай и водку, съели всю ветчину и весь хлеб, съели даже шкуру от окороков, и только после новой посылки, по распоряжению Розанова, за водкой и закуской гости развеселились, шумно начав разговаривать.

Новую водку также, конечно, выпили и снова принесенную ветчину также съели, только шкуры немного осталось к десяти часам, когда все понемногу начали расходиться, покачиваясь и икая.

Розанов в качестве товарища поплатился, впрочем, еще немного, а бывает так, что на место окороков на стол судейских попадается обыватель. Оставшись один, Розанов чувствовал себя так, как чувствует человек, проводивший шайку неприятелей.

И он не был рад поступлению в суд в качестве чиновника. Судейские лодыри произвели на него такое подавляющее впечатление, что он уже с этой поры начал подумывать, как бы ему бежать от этого суда.

III

Нехорошее впечатление, полученное от суда Розановым с самого первого шага его знакомства с судейскими, усилилось еще более, когда он непосредственно стал жить жизнью этого суда. Прежде всего страшнейшая скука. Он должен был в целый день переписать одну-две какие-нибудь желтые, никому не нужные бумаги, которые, как он уже знал, будут валяться лет десять в одном из судейских шкапов без всякого употребления. Переписав эти бумаги, он начинал во все остальное время думать, как бы ему убить время, болтал ногами, курил несметное число папирос или зевал во весь рот.

Но скука еще была бы не так убийственна, если бы она выкупалась хорошим материальным обеспечением; но на это, как он убедился, от суда он не мог рассчитывать; напротив, он с ужасом ждал того времени, когда у него выйдут все средства, прикопленные в деревне, и он обратится в обыкновенного судейского крючка, голодного, грязного и оборванного лодыря, с одутлым от скуки и выпивки лицом, вечно выражающим только требование гривенника. Просители бывали, конечно, каждый день, но редкий из них попадался в руки Розанова, да если и попадался, то последний за написание какой-нибудь справки по скромности выпрашивал с просителя буквально гривенник, а между тем каждый судейский только и мог жить благодаря выпрашиванию у обывателя. Старые крючки действовали в этом случае с азиатской назойливостью и с нахальством нищего, уцепляясь за каждый повод, чтобы вытянуть у просителя лишний рубль, но Розанов не мог даже и в будущем мечтать сделаться таким бесстыдным; по простоте своей он думал, что плату и всяческое вознаграждение следует получать только за труд.

Между тем просителей, которым нужно было бы действительно сделать что-нибудь полезное, вовсе не существовало в суде для Николушки Розанова; для малограмотного обывателя самая нужная вещь в суде — узнать соответствующие его делу статьи закона и написать на основании их законное по форме прошение, и Розанов мог бы все это сделать, но к нему никогда не обращались с такими просьбами, да и другие судейские редко имели случай составлять прошения. Функцию эту исполняет здесь, в сибирском окружном суде, посторонний суду крючок, обыкновенно выгнанный из всех ведомств служака; это не адвокат, и

не «аблокат», и не ходатай, да и вообще величина без имени, так сказать, без официального паспорта; но тем не менее этот человек составляет неотъемлемую принадлежность здешнего суда, хотя последний официально его не признает. Крючок этот, или как хотите его назвать, подает совет по судебным делам, составляет просьбы и апелляционные жалобы, хлопочет, ходатайствует, защищает, но по большей части негласно, из-за угла; он в одно и то же время адвокат, юрисконсульт, писец, кляузник, смутьян; он редко напишет дельное прошение, и всегда безграмотное, но составить бумагу, где дело переплетается с ябедой, устроить для противника подвох, затянуть на бесконечное время тяжбу, перепутав ее с какими-нибудь побочными обстоятельствами, намутить, налгать, затянуть мертвую петлю над попавшимся ротозеем и вообще внести в дело целую пропасть смут— это истинное его назначение. Пользуясь тем, что старый здешний суд негласный и бумажный, крючок вносит в каждое дело столько смут, что действительный юрист ничего не поймет, а на простого человека нападет только панический ужас.

Есть несколько степеней в положении этих крючков нашего суда. Одни пользуются общепризнательной репутацией ума и богатства, практикуя между богатыми обывателями, —такие берут за консультацию десятки и сотни рублей, а написание просьбы или кляузы обходится для обывателя не меньше трех рублей, если он обратится к одному из этих крючков.

Но самый распространенный и всем известный вид кляузника — это тот оборванец (по большей части из ссыльного элемента), который подает совет и пишет просьбы на улице, в кабаке, на крыльце или просто около тумбы тротуарной. Практикует он между крестьянами, всего чаще в базарные дни. Никто не знает, где он живет; но деловым кабинетом служит базарная площадь, покрытая назьмом, а письменные принадлежности он носит с собою в кармане. Никто к нему не обращается, он сам предлагает свои услуги, для чего по субботам толпится около почтовой конторы или возле полиции, и как только какой-нибудь мужик вздохнет о безграмотности, уличный адвокат уже стоит перед ним и обязательно предлагает свои услуги; если надо сочинить просьбу, он готов за полтинник; если мужику требуется написать письмо — двадцать копеек.

Сию минуту уличный адвокат вынимает из кармана чернильницу, перо и прочее и прилаживается где-нибудь на крыльце, а иногда просто на спине своего клиента, если последнему очень спешно надо что-нибудь написать и если он не сочтет недостойным себя на время обратиться в стол.

Так вот этого сорта людей так много здесь, что для судейских и других ведомств служащих решительно нечего делать,

Подумал Николушка пристроиться при ком-нибудь из судейской знати, наподобие того, как он пристроился при волостном писаре, но вся эта знать была такая голодная, приниженная, несчастная, что нечего было и думать рассчитывать на нее.

Вот стряпчий. Это прокурор, по крайней мере обязанности его те же, что и у прокурора нового суда. В то время как Розанов служил в суде, стряпчим был молодой человек, только что кончивший курс в Казанском университете. Как потом догадались обыватели — это был необыкновенно честный человек; но он спился отчего-то... Жалкая, приниженная роль стряпчего убила его. Быть может, когда он поступил на эту должность, он мечтал об обязанностях прокурора — наблюдать над исполнением закона, открывать преступления, прекращать злоупотребления, но с первого же дня он не выдержал и запил горькую, а так как жалованье его было сорок рублей, то простая сивуха сделалась единственным его лекарством. Но нередко у него и сивухи не на что было приобрести, и он должал по кабакам.

Однажды шел Розанов по улице на вечерние занятия в суд и вдруг в стороне от дороги, в глубоком сугробе он заметил какого-то валяющегося человека, который бился по колено в рыхлой массе и никак не мог вылезти из нее на дорогу. Он был пьян, и ноги плохо повиновались ему. В нерешительности Розанов остановился подле стряпчего и не знал, что ему было делать,— помочь ли ему выпутаться из снега или незаметно удалиться, благо стряпчий плохо владел сознанием в эту минуту. Но добрые чувства доброго Розанова взяли верх — он взял под руку несчастного стряпчего, крикнул извозчика, усадил и повез на квартиру к нему.

— Ты, кажется, служишь в суде? — спросил с трудом стряпчий дорогой.

— Да-с.

— Ну, так вот что, брат. Нет ли у тебя двугривенного?

— Есть-с. — И Розанов, говоря это, подал стряпчему двугривенный.

Когда они приехали домой к стряпчему, последний поблагодарил Розанова и просил его идти, куда тот шел, а извозчика послал за водкой на занятый у судейского писца двугривенный.

IV

Одно время Розанову улыбнулось было счастье в лице секретаря суда, который почему-то нашел выгодным для себя приблизить Розанова; но счастье именно только улыбнулось бедному юноше — и попрано вследствие перевода секретаря на другое место.

А между тем с помощью этого человека Розанов уже совсем приготовился выдвинуться на хорошее место, и надежды его не были неосновательными. Потому что секретарь — человек влиятельный. Опытный служака, делец из того сорта людей, которые пролезают сквозь игольные уши, единственный воротила суда, способный на бумаге представить каждое дело в каком угодно виде, совершенно не брезгливый и ничего не боявшийся, кроме промаха, после которого говорят: «сорвалось!», но большой ценитель нужных ему людей, он действительно мог помочь Розанову выбраться на торную дорогу. Единственным недостатком его была неосторожность, презрение к опасностям, нахальство в деловых отношениях. Это была настоящая судейская акула; заходя в лавку к торговцу, у которого еще не было никаких дел с судом, он без всякой стыдливости просил отмерить или отрезать себе за половинную цену, спокойно созерцая, как торговец корчился, морщился и, видимо, проклинал его; а заходя к купцу, который имел несчастие влопаться в тяжебное дело, он приказывал отмерить или отвесить себе просто так, ни за понюх табаку.

Говорили, что он был человек богатый. Но если бы кто вздумал судить о его богатстве и влиянии по его наружности и внешнему виду, то горько бы тот ошибся. Кажется, он никогда не умывался — до такой степени лицо его было запачкано черт знает чем. Он всегда носил летом — рыжий картуз без кокарды, давно отвалившейся, зимой — рыжую с ушами малахайку, быть может даром купленную у торговца обдорскими мехами. В суде он всегда носил старый вицмундир с протертыми локтями и с засаленным воротником, из-за которого всегда виднелась грязная рубашка, а вне суда показывался в желтом пиджаке, обе полы которого были сплошь залиты чернилами благодаря его привычке вытирать перья об себя. Весь остальной костюм был еще хуже этого, и если есть судейские санкюлоты, то секретарь наш несомненно принадлежал к ним. А между тем он был необыкновенно для судейского чиновника богат.

Странность эта объяснялась тем обстоятельством, что секретарь так был занят делами, так увлечен своим акульим промыслом, что уже не обращал внимания ни на что более. Быть может, к этому надо прибавить нахальство дельца, который преднамеренно надевал рабочий костюм, как бы говоря им: «Вот я оборванец, а между тем могу тебя съесть с кашей».

Так вот этот-то делец и обласкал Розанова, который благодаря короткому времени, в продолжение которого он был знаком с ним, и спустя долго потом не мог понять, какие виды, собственно, имел на него секретарь и что намеревался сделать с ним. Ласка же секретаря к молодому Розанову выразилась тем, что он стал часто давать ему переписку, разговаривал с ним, расспрашивал его и, наконец, каждый вечер после занятий стал пригла-

шать его к себе на дом, где также поручал переписку разных бумаг, от времени до времени награждая его за это полтинником.

Но в этих занятиях на дому у секретаря Розанов успел познакомиться только с одним делом, или, лучше сказать, с одним способом ведения дел, с помощью которого секретарь водил за нос уже целый год двух тяжущихся.

Оба были обыватели. Соседи. Не то купцы, не то мещане. Один торговал бакалейным товаром, другой кожаным. Вероятно, они жили спокойно, пока не тягались. Но между их домами находилось четыре аршина пустопорожней земли, на которую долго не изъявлял притязаний ни один из соседей. Но вот одному из них пришла в голову несчастная мысль завладеть землей, и эта мысль была обнаружена другим соседом, который вдруг загорелся желанием также в свою очередь воспользоваться землей. Один думал построить на пустом переулке лавку с урюком и прочим, другой решился здесь поставить лавку с сыромятиной и прочим, и когда торговец урюком первый попытался завладеть местом, то обладатель сыромятины жестоко прогнал его. После этого они оба взглянули на свои «планты», надеясь каждый найти «по планту» права свои, но там ничего не было, и пустое место никому не принадлежало.

И началось между ними дело. По мере продолжения тяжбы каждый из соседей приходил в больший азарт, раздувая дело до чудовищных размеров. А секретарь только удивлялся глупости людей, но также в свою очередь раздувал пламя вражды между двумя дураками.

Первый к секретарю прибежал торговец урюком, первый поблагодарил секретаря и уже заранее торжествовал погибель сыромятника. Последний в свою очередь также побежал благодарить секретаря и, воображая, что он прибежал первый, также радовался погибели своего врага. Торговец урюком думал уже радостно про себя: «Нет, уже сыромятине здесь не бывать». А сыромятник думал про себя: «Нет, не допущу я в это место урюка!» А секретарь радовался тоже обоим тяжущимся, обещая выигрыш.

Проходит месяц, другой, третий, полгода — нет решения.

— Ну, что, каково мое дельцо? — спрашивает торговец урюком.

— Плохо, — отвечал спокойно секретарь.

Торговец снова поблагодарил.

— Ну, что, как мое дельце? — спрашивал сыромятник.

— Нехорошо твое дело.

И сыромятник снова благодарил секретаря.

А дело их все валялось.

И чем дольше оно валялось, тем сутяги приходили все в больший азарт. Они уже заботились о том только, кто первый при-

бежит и кто больше даст. Прибежит сыромятник и с волнением спрашивает у Розанова:

— А *энтот* уже был?

Потом прибежит бакалейщик и также взволнованно спрашивает:

— А *тот* жулик уже был?

Розанов так и не дождался окончания дела.

Впрочем, бывали дела, которые тянулись по сорока лет.

В ПОЛИЦИИ

I

Надоело Розанову коптить стены суда, до того надоело, что он каждую минуту занят был мыслью вырваться из этого скверного места. Прошел уже год, а он с ужасом замечал, что он быстро опускается на то дно, где копошатся сутяжные свиньи — эти жалкие, неумытые, нечесаные и оголтевшие существа, к которым последний обыватель питает явное пренебрежение. Розанов за этот год обносился, погрубел, пропах насквозь сутяжной вонью и прожил все, что он прикопил в бытность свою волостным писцом.

От прежнего благополучия у него осталась одна беленькая двадцатипятирублевка, которую он не трогал, решив пустить ее в обращение в крайнем случае. Наконец этот крайний случай настал.

Он вспомнил, что в губернском городе у него есть покровитель, бывший исправник, по ходатайству которого он влетел в среду судейских чиновников. Теперь Розанов ухватился за мысль обратиться с просьбой к этому барину похлопотать за него, чтобы перевестись из суда в полицию. Дома он сочинял письмо, испортил целую десть бумаги и все-таки не мог составить письма. Измучившись, он уже отчаялся написать чувствительное послание и ронял слезы на бумагу, как вдруг ему пришла мысль, что самое чувствительное письмо будет то, в которое он вложит двадцать пять рублей! Так он и сделал: кое-как намарал просительное послание к губернскому чиновнику и вложил в середину его последнюю свою бумажку; а на другой день снес пакет на почту, радуясь, что мучения его кончились.

Месяца через два Розанов получил конфиденциальное сообщение, что просьба его будет исполнена. А по прошествии еще месяца он был формально приглашен исправником, который объявил ему приятную новость о возможности для него поступить на службу в полицию, причем сначала он поступит в штат полиции с неопределенным положением, а затем ему будет дано место квар-

тального надзирателя, после подачи им соответствующего ходатайства в высшую губернскую инстанцию.

Таким образом, Розанов оставил, наконец, ненавистное ему сутяжничество и через некоторое время шел уже в полицейское управление.

Но прежде всего, прежде всякого описания местных полицейских нравов надо сказать, что все на свете, а в особенности у нас, прекрасно.

Если вы спросите: а какой у нас исправник? Хороший человек? И мы ответим: очень хороший человек.

— А помощник как ваш понравился?

— Очень у нас прекрасный помощник.

— А секретарь как на ваш взгляд?

— Тоже отличный молодой человек.

— А надзиратели у вас какие?

— Надзиратели у нас очень хорошие люди.

— И стражники вам понравились?

— Хорошие у нас стражники, вежливые, водки не пьют, никого не бьют, а порядок наблюдают.

Вот как мы должны отвечать. Так мы и отвечаем.

И только в те дни, когда переменяется исправник, мы посылаем в спину отъезжающего более или менее увесистые словечки, свойственные русскому человеку «в сердцах».

Еще одно предварительное замечание: полицейские чины переменяются у нас так часто и мгновенно, что обыкновенно мы не сознаем, кого мы ругаем и кого хвалим. Это наша особенность — не успеем привыкнуть к чину, как смотришь — его уже нет!.. Поэтому в полиции у нас всегда стоит пыль столбом, — одного провожают, другого встречают. Перетасовка наших чинов идет так постоянно и спешно, что как будто в этой-то перетасовке и заключается все дело. Надо еще заметить, что чем выше чин стоит, тем он менее устойчив, так что каждый стражник переживет на своем, тоже коротком веку человек пятнадцать исправников.

От чего зависит и происходит такое странное явление — доподлинно мы объяснить не можем.

II

Со дня получения приятного известия для Розанова настала такая странная жизнь, в которой он ничего понять не мог. Во-первых, его не известили, когда и к кому ему явиться в полицию для поступления на службу, а потому он должен был сам соображать день, в который ему будет удобнее явиться. Во-вторых, никто, даже сам исправник, не мог объяснить ему, на какое место

он, собственно, поступает, сколько будет получать жалованья и скоро ли можно хлопотать о месте квартального. Очевидно, ему не говорили просто потому, что никто ничего не знал. Впоследствии это объяснилось общим хаосом, который господствовал в этом учреждении.

Предоставленный, таким образом, самому себе, ничего не понимая, Розанов выбрал сам себе день, оделся и с утра отправился в полицию. Бывал он и раньше в полиции и тогда еще заметил вечную суету, господствовавшую в этом белом каменном доме, выбеленном снаружи, но необычайно грязном внутри. Впрочем, эта грязь совсем не похожа на ту, которая была в суде; там грязь ветхая, ровная, постоянно одинаковой толщины; там самая пыль, копившаяся десятками лет, не бьет в нос, редко поднимается со шкапов; словом, там грязь похожа на ту, которая облегает гробницу тысячелетней мумии и которая ясно говорит, что стоит только ткнуть пальцем в это дряхлое обиталище, чтобы оно бесследно исчезло. А грязь в полиции вечно изменяется, пыль и вонь бьют в нос, и вся атмосфера энергичная и хаотическая. Иногда придешь в полицию — грязь на вершок, а иногда на целую четверть; идешь по улице без калош — и ничего, а полезешь по полицейской лестнице, пройдешь несколько комнат и должен надевать калоши; при этом в атмосфере полицейского дома носится пыль столбом, а энергичная вонь проникает так густо в дыхательные пути, что невозможно не чихать. Кроме того, запах этот вечно переменяется; в один день кажется, что тут пахнет водкой и результатами тошноты, в другой раз кожами и ворванью, в третий раз цикорием и махоркой; можно сказать, что здесь на каждый день есть свой запах.

Вошел Розанов на крыльцо, протискался на лестницу между какими-то бабами и мужиками, которые расположились на всех ступеньках, попал с лестницы в прихожую и сразу очутился среди невообразимого хаоса. Его кто-то толкнул в плечо, другой кто-то споткнулся о его калоши, а сам он попал в какую-то темную конуру, сообразив, что это одна из благородных каталажек, куда сажают привилегированных безобразников, в то время как для простого люда каталажки устроены в подвальном этаже. Розанов вылетел с испугом из конуры и бросился в первую комнату, какая ему попалась на глаза, но попал к архивариусу, который сидел перед грудой книг и закусывал. Розанов бросился в другую комнату, потом в третью и, наконец, попал к писцам. Шум, говор, пыль, беготня и здесь. Один писец хлопает какими-то толстыми книгами, в поисках за каким-то пропавшим делом, другой растерянно ходит от одного стола к другому, тщетно спрашивая о чем-то товарищей; столоначальник ругается с каким-то мещанином, который размахивает руками, а по коридору, ведущему из присутствия в эту комнату, тащат под руки какую-то

старуху, которая ругает кого-то на чем свет стоит. Содом, беспорядок, ад кромешный. Пробивающиеся сквозь окна солнечные лучи февральского солнца окрашиваются в густой синий цвет табачного дыма, а запах, господствующий в этот день здесь, напоминает паленую шерсть.

Растерявшийся Розанов уже несколько раз пытался обратиться к кому-нибудь за справками, но беспорядочность и волнение каждого лица, которое он намечал, озадачивали его. В полном недоумении перед всем происходящим, он наравне с другими пришел в ажитацию, толкался всюду по всем комнатам, толкая встречных, и не мог сообразить, что ему делать. Наконец он обратился к дежурному стражнику, стоявшему перед запертыми дверями присутствия и обязанному докладывать о просителях, а в случае чего — спускать их с лестницы; стражник в эту минуту был свободен и вытирал пот с покрасневшего лица (он только что тянул за шею здоровенного мужика из присутствия к выходу), чем и воспользовался Розанов, попросив доложить о себе.

— Вы к кому?

— К исправнику.

— Не велели пущать больше, устамши.

— Он сам мне велел прийти.

— Вы по какому, собственно, делу?

— Я поступаю в надзиратели скоро, — выпалил Розанов.

Стражник доложил. Но Розанов, не входя в присутствие, услышал уже через полуотворенную дверь результат доклада.

— Вот еще черт навязался на меня! Велено пристроить его здесь, а куда я его дену? Мало у меня дураков! И черт его знает — выбрал время, когда прийти! Голова идет кругом, а он тут лезет. Иван Иваныч, посадите пока где-нибудь там этого осла и воткните его носом в какое-нибудь дело!

Вслед за этой энергичной резолюцией к Розанову вышел секретарь, он же Иван Иванович, отвел Розанова к ближайшему столоначальнику и передал ему распоряжение исправника. Столоначальник раздражился.

— Чего же я вам дам! Отстаньте от меня, устал, как дьявол, а вы тут... Садитесь и делайте что угодно вам.

— Да что же я буду делать? — беспомощно проговорил Розанов.

— Что хотите... да наплевать мне на всех! Я и сам не знаю, что тут творится, чистый ад... эй, ты, ротозей! куда ты лезешь! — вдруг закричал столоначальник, заметив, что какой-то мужик лезет мимо них в другую комнату.

Пока названный стражник управлялся с оторопевшим мужиком, очевидно забравшимся не туда, куда ему было нужно; пока его прогоняли, убеждали, выводили, прошло много времени, и столоначальник совсем забыл о существовании Розанова, который

был предоставлен самому себе. Сам он себе выбрал место, поговорил с соседним писцом и сам взял себе от него работу наугад, не зная, следует ее делать или нет.

То же самое было и в следующие дни, с тою только разницей, что иногда он по целому дню сидел без малейшего дела, а иногда вдруг ему давали целую прорву бумаг и строжайше, в кратчайший срок приказывали приготовить их, а когда он, весь взволнованный, хотел перевести дух, на него кричали, и посланец за посланцем бежал к нему из присутствия, как можно скорее кончить работу.

Через некоторое время он сам вошел целиком в эту хаотическую жизнь, по временам от чего-то волновался, почему-то приходил в азарт, ругался и производил беспорядок. Вечная толкотня, постоянный гам, содом, взволнованные лица — все это действовало заразительно.

Особенность наших городов состоит, между прочим, в том, что по меньшей мере третья часть жителей состоит из ссыльных — элемента беспокойного, не признающего никакого порядка над собой. Это вносит в полицейский нрав еще больше хаоса. Никто в полиции не знает, что делать с этой породой людей. Ловить их за каждое преступление и сажать в каталажку — немыслимо, хотя бы потому, что нужно выстроить тысячу новых каталажек. Высылать их по волостям, где они приписаны, — придут назад. Ничего не поделаешь. Остается одно — предоставить воровать сколько угодно.

Но иногда в городе делалось уж слишком неспокойно. Там убили, там ограбили, там днем залезли в дом, там просто в полдень разъезжают в кошевах, ловят по улице людей, как зайцев, обдирают их за городом и пускают голыми; часто также пускают поджоги. Начинают раздаваться жалобы и стоны повсюду; хулят, обвиняя открыто в бездействии. Тогда в полиции начинается невообразимая возня. Бродяг облавами ловят, набивают ими сверху донизу все каталажки, потом рассылают их по деревням с строжайшим наказом сельскому начальству не пускать их. Но бродяги опять являются в город, снова их ловят, справляются по волостям и т. д.; до бесконечности продолжалась бы эта возня, если бы не было другого дела. Разве от нечего делать, просто от скуки, схватит изредка стражник жулика, попавшегося по пути, и представит в каталажку, в которой этот последний и сидит день-два, неделю, словом пока не надоест.

— Выгоните его к чертям! Что мне с ним делать? — прикажет помощник, после чего бродягу пускают.

Розанов долго бы проторчал в ненужных писцах, если бы понадеялся на других. Но он энергично стал напоминать о себе и, наконец таки, добился желанного назначения в квартальные. Это произошло как раз ко дню его совершеннолетия, которое он

и отпраздновал на славу, угостив своих сослуживцев попойкой, где все перепились, а часть гостей была забрана в каталажку за буйство ночью в веселом доме. Правда, на другое утро, когда полиция узнала, буяны были выпущены, но обыватели дома помнили этот странный случай.

III

Безусый квартальный, каким был Розанов, сначала ведет себя настолько скромно и робко, что не только пугать обывателей, но сам всех боится; дани не берет, а предписания, по наивности души, исполняет стремительно и с азартом. Это можно сказать относительно всякого квартального, только привесившего к боку шашку. Что касается Розанова, то уже и раньше было заметно, что из него выйдет скромный и нежадный квартальный; прирожденные ему качества — аккуратность и чистоплотность — не покидали его до самой смерти, а эти качества несказанная редкость у нас, видавших виды всякие, в том числе и Москву, которую нам показывали, приподнявши нас за уши на более или менее значительное расстояние от земли. Никогда этого Розанов не практиковал, показав, к удивлению всех обывателей, что можно быть квартальным и в то же время смирным человеком.

С первой же поры он завел у себя образцовые порядки. Другие товарищи держали свои канцелярии (по громадности дел, у нас каждый квартальный имеет собственную канцелярию вне полицейского управления) крайне нечисто, где-нибудь в подвальном этаже или в чулане, а Розанов обзавелся чистенькими комнатками, из которых только одну оставил собственно за собой, а остальные отдал, так сказать, в общее пользование. Потом в этих комнатках, занимаемых канцелярией, у него всегда была образцовая чистота, не существовавшая для других его собратов. Наконец ему удалось завести у себя чистенькую мебель, в то время как в других кварталах приходящие должны были стоять дыбом, за неимением сидений, а если и заводилось нечто вроде пары стульев для почетных просителей, то они были или без спинок, или с недостаточным количеством ног, так что каждый приходящий мог смотреть на них, как на засаду.

Кроме всего этого, Розанов отыскал и писца подходящего себе, заранее условившись с этим последним, чтобы от него не пахло луком и водкой. Таким образом, обстановка Розанова была необыкновенно приятная, и всякий приходящий в его канцелярию не мог скрыть своего удивления. Стены чистенькие; на окнах занавески; один стол покрыт белой скатертью, другие клеенкой; этажерка; свежие горшки с цветами; пол тщательно вымытый; стулья, диван, — словом, все равно как у всякого честного человека.

Каждого приходящего Розанов ласково посадит, вежливо поговорит и расспросит о деле, а самое дело выполнит с такой скоростью, какая только зависела от него. И его все полюбили, видя же скромность и аккуратность его, сами давали ему за услуги и труды; а так как он никогда не брался за какое-нибудь рискованное дело, вроде сокрытия следов или открытия слишком опасного дела, в которые замешаны слишком опасные люди, то репутация справедливого квартального быстро утвердилась за ним. Сам исправник, однажды случайно заехавший к нему в канцелярию, был удивлен чистотой и снял калоши у порога.

— А у тебя, братец, чисто здесь, — сказал он, нюхая воздух.

И начальство стало дорожить Розановым, заметив его исполнительность и работящие наклонности.

Снова он зажил приличной и довольной жизнью. Завелась опять у него лошадь и хорошая тележка. Впрочем, лошадь была не куплена. Здесь при полиции ведь можно найти две-три лошади «прибеглых», без хозяев; их так много перебывает за целый год, что пользуются ими все, кто только хочет; их выдают на прокорм и под расписку всякому обывателю; а в случае, если отыщется хозяин, то берет ее у временного владельца, но часто с значительной приплатой за прокорм. Простые обыватели берут плохих лошадей, а квартальный может выбрать, конечно, какую угодно лошадь, часто даже со всей сбруей и с тележкой. У Розанова и была именно такая беглая лошадь со всем — с тележкой.

Со всеми сослуживцами Розанов также всегда был в дружбе; даже простого стражника, в значительной мере зависящего от него, он никогда не ругал нехорошими словами. Самое большее, если скажет: «Я тебе покажу, как ловить пьяных мужиков по дорогам!» — да и то потом обласкает.

Большая часть стражников вели себя не как следует, употребляя свою власть, но Розанов показывал вид, что ему ничего неизвестно. Поколотит стражник бабу — Розанов не видит; пожалуется эта баба на несправедливые побои — Розанов не слышит. Это была самая лучшая политика, потому что полиции нашей столько дел, что их никогда не переделаешь, и если бы каждый квартальный исполнял каждое дело, то ему не удалось бы ни спать, ни есть, а беспорядок от этого еще больше бы увеличился.

Розанову, например, пришлось иметь дело с закоренелыми привычками в каждом стражнике. Привычки эти следующие. Во-первых, каждый стражник имел обыкновение завертывать в первый попавшийся кабак и там просить даровой выпивки. Во-вторых, каждый стражник привык, поймав пьяного на улице, бить его от самого места поимки вплоть до дверей каталажки. В-третьих, каждый стражник склонен был за гривенник пустить на все четыре стороны какого угодно разбойника. Кроме того, очень распространен был обычай между стражниками ловить

лошадей, принадлежащих известным обывателям, и отводить их, якобы беглых, в полицию с намерением через час получить на полштоф от хозяина за труд. И никакому квартальному, будь он великий реформатор, не удалось бы искоренить эти древние предрассудки низшей полиции.

Находясь в ладу со всеми, Розанов брал перевес над большинством своих сослуживцев скромностью и настойчивостью в достижении служебных целей.

Он выдавался резко из среды своих товарищей квартальных в особенности тем, что не лез никому на глаза, не становился поперек чьей-нибудь дороги, словом не держал себя нахально, уживаясь мирно с самыми неуживчивыми товарищами.

А товарищи эти часто попадались действительно невозможные. Нравы у нас дикие, а потому и мелкое начальство наше, набирающееся из туземной среды, также дикое и азиатского покроя. В особенности один из товарищей квартальных остался в памяти у Розанова. Звали его Иван Семеныч Безухих; происхождения он был неизвестного, а по наружности он напоминал обитателя ночлежного приюта, потому что вечно был какой-то всклокоченный, словно его ежеминутно били.

Даже и в бытность свою в должности квартального он уже столько совершил чудесного, что обыватели слагали про него легенды, хотя легенды, как известно, составляются уже после смерти героя. Одним из обычных его геройских поступков была страсть по ночам разбивать веселые заведения, но обыватели так привыкли к этим подвигам, что перестали в конце концов интересоваться вопросами вроде того: в каком кабаке сегодня ночью Безухих бил бутылки и стаканы о головы гостей. После некоторых, особенно громких подвигов Безухих составлялись акты, но бесстрашный квартальный все держался на своем посту.

Гораздо более сказочными подвигами Безухих были те, с помощью которых он добывал средства для своей бурной жизни. Мало того, что «брал» (к этому обыватели относятся равнодушно), но чаще всего он занимался реквизициями и набегами на мирные племена, жившие в подгородных деревнях; для этого он находил, например, вымышленного убитого подле деревни и затем пугал деревенских жителей строжайшим следствием, от которого последние, конечно, немедленно откупались.

Иногда он занимался мародерством, которое состояло в том, что он крал мертвое тело с найденного пустынного места и подкидывал его в околицу какой-нибудь деревни, после чего делал набег на эту деревню, подвергал ее оккупации и налагал на нее контрибуцию.

Как ни смелы были эти подвиги, но они сходили ему с рук, несказанно удивляя такого смирного человека, как Розанов. Между тем Безухих не ограничивался войной с одними город-

скими и подгородными «народами», но совершал и более дальние экспедиции — в глуби киргизских степей, распространяя страх и славу свою по многим аулам...

Происходило это таким путем. Не находя предлога к объявлению войны какому-нибудь ближайшему племени, обитающему под городом, он отправлялся в степь, выбирал самый населенный и богатый аул и внезапно делал на него нападение, характер которого всегда был следующий: он объявлял испугавшимся «дикарям», что явился к ним по случаю ограбления обоза с чаем, а так как, по донесению, двадцать цибиков находятся спрятанными здесь, то он и должен произвести строгий обыск во всем ауле, причем укрывателей взять в плен, а прочих пособников обязать подпиской о невыезде. Киргизы, некогда храбрые и воинственные, потом усмиренные и теперь необычайно жалкие, приходили в ужас от предстоящей им оккупации и готовы были отдать все, лишь бы только выпроводить из своих пределов ужасного «уруса». Пользуясь этим паническим страхом «дикарей», Безухих творил с ними все, что ему было угодно, налагая на них по пятидесяти копеек или по рублю с каждой души для уплаты ему расходов.

Целый год Безухих выжил в наших пределах и, наконец, был прогнан со службы за какой-то подлог, в который был замешан один строптивый купец; прогнан он был без права поступления на какую бы ни было службу в пределах губернии. Розанов и после этого знавал его.

Но, к изумлению всех, Безухих вдруг стал совсем другим человеком, после того как его прогнали со службы; он вдруг сделался смирным, робким и жалким во всех отношениях, и в голову никому не могло прийти, что еще вчера он был гражданином большой дороги. Служил он в разных частных местах писцом, ходил часто без сапог, в грязной ситцевой рубахе и ободранном сюртуке; даже в пьяном виде он ни с кем не дрался, ожидая, напротив, что его каждый поколотит. И тут каждый обыватель понял, как он был глуп, боясь такого жалкого человека. Очевидно, что Безухих воевал только потому, что никто не хотел дать ему отпора, и целый год сидел на месте оттого только, что никто не желал столкнуть.

Надо еще заметить, что, когда человек в силе (которую мы же и придаем ему), мы ему поклоняемся, а когда он захиреет, мы его лягаем. Таким образом, когда Безухих был бесстрашным квартальным, Розанов сносил все его драчливые наклонности, зная в то же время и про все его похождения, а когда Безухих пропал, то Розанов считал крайне для себя оскорбительным поклониться ему на улице, в то же время рассказывая в приятельской беседе про все чудеса, которые творил квартальный Безухих. Вообще Розанов с врожденным подобострастием относился ко всем, кто был выше его. Перед помощником он вытягивался

в струнку, исправнику иногда подавал шинель. За это все его ласкали, хотя ценили и его служебную исполнительность и трезвость. Ему то и дело поручали серьезные следствия по уголовным делам, предоставляя время от времени и доходные дела. Но самое ценимое качество его — это всегдашняя готовность исполнить все, что прикажут, и безропотность в отношении его непосредственных начальников. Он удивлялся, как можно не любить такого хорошего человека, как помощник, и что можно сказать худого про такого человека, как исправник.

Помощников и исправников на его глазах переменилось много, а ему казалось, что он служит все одним и тем же помощнику и исправнику. Впрочем, в его время исправники и помощники ничем не выдавались. Обыкновенно помощники у нас рабочие волы, на которых свалена вся хаотическая работа полиции; поэтому, если не удастся вовремя выкарабкаться в исправники, то он может быть уверенным, что через некоторое время наживет верблюжий горб.

Самое видное место не только в полиции, но и во всем городе занимает у нас исправник, который не иначе ездит по улицам, как с дежурным конвойным. Что касается тех исправников, при которых служил Розанов, то большинство из них были господа милостивые. А последнему исправнику обыватели устроили даже торжественные проводы, причем во время банкета поднесли отъезжающему шкатулку с несколькими радужными, а под конец вечера качали его на руках и не уронили на пол, как того ожидали некоторые.

По отъезде этого исправника Розанов перешагнул еще на одну ступеньку выше, но об этом в следующей главе.

IV

Одно время в городе, где служил Розанов, появилась необычайная масса фальшивых ассигнаций мелкого достоинства; сделаны они были грубо, но все-таки сильно распространялись между неграмотным людом, а в особенности между киргизами, в степях которых вообще много чудесного творится... Кстати, о киргизах и фальшивых ассигнациях. Я знавал одного хозяйственного сибирского крестьянина, имевшего совершенно простой взгляд на отношения к киргизам; вид он имел благообразный такой, борода с лопату, волосы на лбу выстрижены, нос великолепный, — словом, трудно было ожидать услышать такие простые речи от такого основательного мужика... Никак он не мог понять, что я за человек и зачем попал в эти холодные места, но в конце концов он, вероятно, решил, что я сюда попал за какие-нибудь художества и владею разными секретами, как делать деньги. Выбрав удоб-

ную минуту, он окольными путями стал объяснять мне, что ему от меня нужно, выражаясь с осторожностью опытного дипломата.

— Большие бы деньги можно заработать этим способом, — убеждал он меня.

— Разве были случаи здесь? — спросил я.

— Вона! да здесь какой же человек не занимался эфтим!

— И сходило с рук?

— Отлично! Разбогатели теперь. Большую бы пользу можно получить, — заметил мужик, прямо уже давая понять, что и он не отказался бы.

— Да ведь это преступление!

— Вот тебе раз! какое же преступление! — удивился мужик.

— Да ведь тот, кто делает и распространяет фальшивые бумажки, ворует у частных людей и у казны!

— Эка! Ничего не ворует. Можно наделать и спровадить их к киргизам, накупить у них гурты и заплатить...

— Да киргиз разве не человек?

— Киргиз? Черт его взял! Стоит думать об этих дьяволах! Много они понимают, что настоящая, что фальшивая бумажка...

— Все-таки же обманешь его, если заплатишь ему за гурты никуда не годными бумажками.

— Ничего не обману! Я дам этому киргизу, а он передаст другому, а другой третьему, и все дальше и дальше в степь, и попадет эта фальшивая бумажка к таким чертям, которые ничего не понимают, то есть в самые дикие, языческие места, к поганым народишкам попадет сделанная бумажка, а уж там кто будет разбирать.

Этот нелепый разговор наш долго продолжался, пока, наконец, благообразный мужичок прямо не предложил мне заняться «этим ремеслом», то есть деланием фальшивых денег.

— Очень бы хорошо мы с тобой зажили, а? — прямо сказал он.

И когда я вслед за этим прогнал его с крыльца, на котором мы так мирно беседовали, и не велел ему больше никогда приносить мне для продажи масла, то он был настолько поражен, что только руками развел, очевидно не понимая, за что на него гневаться; да, наверное, и до сих пор не понимает, убежденный, что дело его не выгорело потому, что он начал разговор со мной не с того конца...

Надо полагать, таких взглядов многие здесь держатся, и потому стоит только появиться какому-нибудь «художнику», как бумажки массами начинают гулять по нашим диким местам. Для полиции борьба с ними часто непосильна. Бумажки появляются на базарах, у киргиз, между крестьянами, заглядывая и в казначейство. Хватают подозрительных лиц, но мудрено выбрать из сотен сбытчиков таких, которые сознательно участвуют в «художестве», вследствие чего всякий след теряется.

Так было и на этот раз. Полиция, как говорится, сбилась с ног, но попасть на источник фальшивых бумажек не могла. В это-то время Розанова и озаряет счастливая мысль. Решившись осуществить ее, он однажды является на дом к исправнику и просит у него позволения специально заняться ловлей производителей бумажек. Для этого он тут же изложил свой план: он преобразится в жулика, вотрется в среду нищенствующей и ворующей братии, будет ночевать в ночлежном приюте, одеваться в лохмотья, есть всякий сор, выбрасываемый из домов в виде милостыни, при случае даже немного воровать и таким способом через своих чумазых товарищей, которые все знают, познакомится с кем нужно и т. д. Исправник подумал и через несколько дней дал разрешение.

Вслед за тем в городе узнали, что квартальный Розанов уехал надолго в губернский город, а между жуликами появился новый член, привезенный вместе с этапом из России. Звали его Мишкой Коровиным. Сначала, выпущенный из острога, он поискал себе работы, но не найдя ее, начал воровать калоши из прихожих и вообще все, что плохо лежало; но сам он эти вещи не пропивал, а отдавал для пропития товарищам, из которых большинство были горькие пьяницы, смотревшие на небо потому только, что у всякого человека голова устроена наверху туловища, а на земле видевшие единственно хорошую вещь — винную бочку; все это был народ легкомысленный, измельчавший, оглупевший от однообразного существования, которое вечно делилось на пьянство и похмелье, как будто других состояний человека и не бывает на земле; быть пьяным одно время и думать о пьянстве во все остальное время — ужасно однообразно, однообразнее, чем жизнь животного. Мишка Коровин, он же и Розанов, скоро увидал, что нечего искать между этими людьми фальшивого монетчика, ибо большинство из них даже и о деньгах думало только в форме водки, а о хлебе никогда. Непроходимая глупость (хотя глупость приобретенная, а не природная) была свойственна всем им в одинаковой мере. Даже украсть с предосторожностями такой человек не может, решительно не способный на какое бы то ни было соображение; схватит прямо на глазах у всех, во время базара какую-нибудь вещь и побежит, а его поймают и лупят, пока есть время.

Но эти пьяницы помогли Розанову познакомиться с сортом людей, которые являлись аристократами среди ворующей братии; в ночлежном доме они не бывали, водки не пили, мелкие вещи не воровали, а жили как порядочные люди; носили рубашки, без панталон не ходили, а что касается шапок, обуви и верхнего платья, то эти вещи по зимам бывали у них, хотя в теплое время они считали бесцельным носить такие, собственно говоря, ненужные вещи. Многие из них жили по местам или работали поденно,

а вообще все — промышляли пропитание себе разными случайными ремеслами: угоняли лошадей (при невозможности угона, обрезывали только хвосты), срезывали с обоза ящики с товаром, чистили площади весной, когда навоз надоедал даже городской управе, исправляли плотины мельниц и пр. Вообще это был народ, на все готовый, решительный и веселый. Сойдясь с ними, Розанов многому научился и близко подвинулся вперед к своей цели. Лохмотья с себя он снял и стал одеваться более чисто, потому что здесь он выдавал себя уже за искусника, умеющего при случае сочинить подложный вид и пр. Это сразу в глазах темного люда придало ему цену.

Ничего не пропуская мимо ушей, он скоро попал на след и уже пошел твердыми шагами вперед. Он находился в величайшей дружбе с своими новыми знакомыми, и, выбрав из них одного, более ловкого и смышленого, он по секрету сообщил ему, что он желает делать фальшивые бумажки, но не имеет средств начать дело; потом он убедительно просил этого приятеля указать ему человечка, который бы согласился принять его в компанию, и обещал за это озолотить всякого помощника, который даст ему возможность начать работу. Товарищ, ничего не подозревая, с радостью ухватился за дело и обещал свести его к такому человечку, который, по слухам, занимается этим.

Затем Розанов обделал все остальное в несколько дней. Впрочем, когда он услыхал фамилию и местожительство фальшивого монетчика, то был сначала так поражен, что не хотел верить своим ушам, — потому что тот оказался его хорошим знакомым! Он подавал ему руку, бывал у него в гостях, приглашая и его несколько раз к себе.

V

Это был некто Квашнин, из ссыльных, москвич, из богатой семьи, молодой человек, попавший в Сибирь за подделку банковых купонов. Едва он успел выйти с этапа, как уже знал весь город, со многими познакомился, всюду восхищая своей практичностью, ловкостью и хорошим тоном. Сейчас же ему дали место с хорошим жалованьем и называли его честнейшим малым, а тот барин, у которого он служил письмоводителем, просто был от него в восторге, потому что не было дела, которого бы не знал Квашнин. Надо барину составить бумагу поскорей — Квашнин в одну минуту настрочит ее; у барина нет портфеля — Квашнин просит только купить ему материала и делает хороший портфель; захотелось барину иметь карту округа — Квашнин в два дня сделал ее, скопировав ее с полицейского экземпляра, единственного во всем городе; барину потребовался обойщик с хорошим вкусом — Квашнин предложил свои услуги и великолепно убрал

комнаты своего патрона, который всюду хвастался, что ему попался золотой человек. Квашнин все знал и все умел; переплетал книги, шил туфли, вырезывал печати, гравировал на дереве, меди и стали, делал английские седла, сочинял прошения, писал в газете; был юрист, медик, лесовод, ботаник, бухгалтер, певец и величайший негодяй, хвастун и меднолобый нахал... Это слабость сибиряков: в так называемом ими российском человеке они видят высшее существо, считая себя в глубине души невежами, тайно подсматривают за заезжим человеком, подражают ему, виляют перед ним; опыт должен бы был показать им, что к ним присылают решительно никуда не годных людишек, профессиональных мошенников и в самом лучшем случае цивилизаторов, сеющих по Сибири трактирную цивилизацию; но на самом деле российский человек и до сих пор окружен в глазах наших обывателей ореолом образованности; даже заезжие чиновники российские здесь играют печальную роль; большая часть их едет в Сибирь ради двойного оклада жалованья и других льгот, едут буквально только нажиться по возможности в короткий срок и относятся с презрением к местным жителям, развязно третируя их; еще недавно один такой барин, тотчас же по приезде в «дикую страну», ввел мордобитие, выбрасывание за шиворот и спускание с лестницы просителей, а другой, также недавно, старался ввести в дикую сибирскую деревню культуру розог, крайне удивленный отсутствием этого орудия цивилизации; но даже и в этих случаях, когда российский человек явно покушается на целость морды сибиряка или когда убеждает нашего обывателя в благодетельности березовых прутьев, — даже и в этих убедительных случаях сибиряк виляет перед заезжим человеком, сомневаясь в правильности своих «необразованных понятиев».

Так точно и относительно Квашнина. Никто не мог открыть в нем ординарного хвастуна и необыкновенного наглеца, а все с удовольствием ласкали его. Даже и после того, как патрон внезапно прогнал Квашнина от себя (Квашнин, втеревшись к нему в доверие и разузнав разные служебные тайны, чуть не подвел его под уголовщину), так что ловкий мошенник очутился без места, даже и после этого большинство считали его необычайно умным малым и порядочным человеком. Квашнин открыл переплетную мастерскую, и хотя книг в городе не было, но зажил он отлично, по-видимому говоря, что он, переплетчик, и без книг обойдется. Никто не спрашивал, как он в самом деле устраивает такую хитрую штуку, как это переплетная мастерская без книг; Розанов также никогда не спрашивал, чем он, собственно, живет, — просто в голову не приходил такой вопрос.

И вот теперь этот вопрос пришел ему, и он решил идти к Квашнину; для этого он совсем переделал свою наружность, так хо-

рошо, что трудно было узнать в нем квартального Розанова. И Квашнин не узнал его, принять в компанию он не согласился его, но в качестве сбытчика принял его с готовностью. Затем все остальное для Розанова пошло как по маслу; не прошло и недели со дня знакомства его с Квашниным, как последний был взят на месте преступления и посажен в острог, а Мишка Коровин снова сделался квартальным Розановым, но на этот раз уже знаменитым своими подвигами. Его представили к награде. Мало того, он вызван был в губернский город и был представлен губернатору, который с интересом расспрашивал о его похождениях в образе жулика. И когда Розанов, пользуясь удобной минутой, попросил у начальника места заседателя, тот с охотой исполнил его просьбу, так что в свой город Розанов воротился уже заседателем.

Деревня опять ему улыбнулась; но на этот раз он уже жил в городе, а по деревням только ездил. И на этом месте он заслужил хорошую репутацию, в особенности от мужиков. Эти последние довольны были им потому главным образом, что не так часто щупал их, как другие заседатели, и вообще гораздо меньше трогал их, чем прочие его сослуживцы. Проломят ли кому голову в его участке, вынут ли ребра у пьяного или найдут возле деревни мертвое тело — во всех этих и других случаях Розанов не держал себя жадным формалистом; свое возьмет, что следует по обычаю, а волокиты не делает и жилы из попавшихся в беду не вытягивает; дела всякие у него прекращались быстро и ко всеобщему удовольствию.

Между тем другие его товарищи яростно неистовствовали по своим деревням, — вели бесконечные следствия, брали неумеренные выкупы, морили по двадцати лет в остроге виновных, устрашая тою же участью и невинных; вообще вносили огнь и меч в мирную страну. Лучшие из них — это те, которые небрежно исполняли свои обязанности, редко показывались в подведомственных себе участках, давали, таким образом, своим подведомственным время и отдых. В бытность Розанова заседателем был другой заседатель веселого нрава, который терпеть не мог деревню и показывался в своем участке только в крайнем случае, когда средства его истощались и ему надо было собрать дань; все остальное время он играл на фисгармонии, с которой он не расставался и во время своих объездов участка; скачет на тройке и играет музыку. Заседатель с музыкой все же лучше нравился тех, которые жилы вытягивали. Надо, впрочем, заметить, что процент последнего сорта заседателей сравнительно не велик; большинство же принадлежало к разряду веселых людей. Мы упомянули о заседателе с музыкой; другой товарищ Розанова был донжуан, который щелкал языком при виде всякой деревенской девицы; третий товарищ любил пить коньяк с лимонадом, вслед-

ствие чего по округу его возили всегда спящим, а для разбирательства дел будили холодной водой.

Многие на этой должности погибают; одни от неумеренности в наложении даней, другие от излишества в удовольствиях. Но многие и в люди выходят.

В числе последних был и Розанов.

На должности заседателя он поправил свое здоровье, но в особенности карман, обзавелся хорошим домом и многими очень выгодными знакомствами. К этому же времени относится и его женитьба, принесшая ему порядочную сумму денег и новые протекции. Говорят, что он женился на объедках одного высокопоставленного лица, но едва ли это справедливо, хотя такие случаи частенько бывают; относительно Розанова верен только тот факт, что вскоре после женитьбы он был переведен в другой город помощником исправника.

ЭКЗАМЕН

Все с этой поры пошло для Розанова как по маслу. Правда, работы у помощника было много, но он был человек работящий и трудов не боялся. Расплодилось скоро у него много детей, и все чистенькие, здоровые ребята. У него у самого понемногу росло брюшко, и здоровье его всегда было цветущее. Он уже начал мечтать. Мечтал о том, что когда-нибудь будет исправником и станет скакать на рысаке с казаком впереди; мечтал о том, что получит ордена и доходное место; мечтал и о том, что тогда ему не нужно будет ходить на цыпочках перед всеми и торчать в прихожей у некоторых особ.

Одно его угнетало, обрывая его мечты, — это неимение им никакого ученого диплома; было у него свидетельство второго класса уездного училища, но, насколько он знал, такой диплом его будет оставлен без внимания. Хорошо бы было, если бы он кончил уездное училище! А без этого ведь ему не дадут ни чина, ни места исправника. Раз попала эта мысль в его голову — отвязаться от нее он уже не мог. Постоянно думая об этом, он, наконец, задумал готовиться к экзамену на кончившего курс уездного училища.

Но на первых порах на него напал ужас; взял он программу уездного училища, и у него потемнело в глазах... География, краткая всеобщая и русская история, геометрия, арифметика, минералогия — боже мой! чего там только не было. Ему казалось, что одну грамматику надо зубрить сто лет, а правильно писать могут выучиться только отъявленные щелкоперы, которым больше делать нечего. Думал он учителя пригласить, но стыдно было; а что если, думал он, занятия его будут мало-

успешны и учитель назовет его, помощника исправника, березовой дубиной!

Но мысль получить диплом уездного училища он не мог оставить и решился готовиться собственными силами, как бы ни было трудно. С этих пор все свободное от службы время он посвящал науке. Брал даже учебники в полицейское присутствие и в свободное от занятий время, тайно от секретаря (имевшего диплом трехклассной прогимназии), зубрил грамматику, арифметику и пр. Кроме того, у него старший сын учился во втором классе прогимназии, и отец пользовался его знаниями, заставляя готовить уроки при себе и сосредоточенно внимая чтению ничего не подозревавшего мальчугана.

Иногда помощник сидел за учебником до глубокой ночи; иногда на него нападало отчаяние, когда он заглядывал в ту бездну премудрости, в которую ему предстояло погрузиться; он заранее испытывал ужас при одной мысли, как придет в училище и будет сдавать экзамен. Но, несмотря на все это, он продолжал готовиться, и прошло целых полтора года, прежде нежели он решился предстать на испытание перед учеными светилами города, преподававшими мещанам в уездном училище науку.

Однако предварительно он заручился снисходительностью смотрителя училища, для чего пригласил последнего к себе на обед и, собравшись с духом, высказал ему свое желание. Странное дело, с этим смотрителем они были приятели, пили вместе, хлопали друг друга по животам, но когда дело дошло до экзамена, помощник превратился в школьника, бледнел и краснел, заикался и дрожал, точь-в-точь, как в былое время, когда другой смотритель бил его по ушам и представлялся ему в образе ученого громовержца. Теперь смотритель подсмеивался, пугая помощника строгим экзаменом и двойками. Помощник стыдился, опять заикался и сознавался, что всей премудрости уездного училища он не мог осилить; наконец просил, чтобы его не мучили много и не задавали ему непосильных тем. Смотритель хихикал и уверял, что все пройдет хорошо. Между ними условлено было еще, чтобы никто в городе не знал об этом экзамене. Потом они оба выпили, закусили и расстались до следующего дня, когда назначено было испытание.

Помощник аккуратно наутро оделся, причесался и отправился в училище. По дороге он перечувствовал все страхи школьника и весь стыд взрослого; у него ноги подкашивались, и он ослаб до такой степени, что попросил воды, когда вошел в квартиру смотрителя. Он ничего не мог ни говорить, ни соображать, а только трепетал от холода. Жалко было на него смотреть. Чтобы успокоить приятеля, смотритель предложил ему выпить, но Розанов отказался. Тогда смотритель вручил ему записку и проводил

его в класс учителя арифметики и геометрии. Это был первый экзамен.

Прошел он быстро, в несколько минут, и без всяких приключений. Помощник знал арифметику только до десятичных дробей и геометрию только до кривых линий и боялся, что учитель вдруг спросит его неведомые для него вещи. Но ничего этого не произошло; почеркал он что-то на доске, не сознавая того, что, собственно, он делает, и получил балл четыре.

Прошел час, и помощник отправился к другому учителю — русского языка, который он знал плоховато: в особенности он боялся, что его спросят из синтаксиса — черт знает, что он наговорит тогда! И зачем только будущему исправнику знать, положим, придаточные предложения! Ему нужно уметь выражаться кратко, междометиями. Вот это настоящий язык, и некогда тут выражаться придаточными предложениями! Тем не менее Розанов понимал, что такие мысли не годятся теперь, и бледнел и ужасался. Экзамен, однако, прошел так же быстро и неожиданно хорошо, как и первый. Заставили его написать что-то на доске, причем он сделал штук пять грамматических ошибок, и поставили балл три. Хорошо.

К третьему уроку помощник уже оправился и без постыдного страха сдал экзамен по закону божию, перепутав, впрочем, пророка Иезекииля с пророком Иеремией, приписав первому деяния, которых он не совершал, и речи, которые тот не говорил. Добрый батюшка поставил ему пять. Отлично!

Помощник так уже оправился, что выпил несколько рюмок у смотрителя и храбро думал об остальных экзаменах, проникшись сознанием своей учености.

Навеселе он отправился к учителю истории и географии и развязно ожидал с его стороны вопросов.

— А расскажите мне о Кире, — спросил учитель, снисходительно выбирая эту немудреную тему.

— Кир был знаменитый царь... — развязно начал помощник. — Он прославился войнами с римлянами... В битвах он побеждал, потому что употреблял слонов...

Учитель пожал плечами, ничего не понимая.

— Вы, кажется, не то говорите... — заметил он мягко.

— Нет, это верно-с, — возразил помощник краснея, но твердо.

— Кир употреблял слонов?

— Слонов-с.

— Да еще с римлянами воевал?

— Да, с римлянами. И побеждал их. Слоны давили людей, и те бежали... Кони пугались... Но потом римляне придумали хитрости, зажигали пучки с соломой и шли с этим огнем на слонов, которые не выдержали натиска... и начали давить слонов Кира...

— Бог знает, то такое! — возразил смущенно учитель. — Вы, кажется, смешали Кира с Пирром?

Помощник остолбенел... Кир, Пирр... эти проклятые имена вертелись в голове несчастного и отняли у него моментально всякую способность что-нибудь понимать; он только чувствовал, что внезапно вспотел, а по спине у него ползают мурашки. «Кир, Пирр...» — вертелось у него в голове, и он замолчал. Из русской истории ничего не мог припомнить, географию всю мгновенно забыл, и когда учитель спросил его что-то на карте, то он чувствовал только, что он стоит одиноко среди песков Сахары, мучимый жаждой, а вдали на него бегут слоны и хотят раздавить его...

Учитель сам был взволнован до глубины души, боялся еще о чем-нибудь спросить его и поторопился, поставивши ему из всех предметов по тройке, отпустить его поскорее.

Придя в квартиру смотрителя, взволнованный помощник упал на первый попавшийся стул и слабо, но с отчаянием проговорил:

— Смешал Кира с Пирром!..

Смотритель ничего сначала не понял и стал успокаивать приятеля и поздравил его с окончанием экзамена. Но помощник ничего не слыхал и ушел тотчас домой.

На другой день ему прислали свидетельство, которого он так ждал, но он никогда не мог без ужаса вспомнить своего постыдного экзамена, в особенности с негодованием вспоминал всю жизнь Кира и Пирра, думая, что это, наверное, были какие-нибудь отчаянные шалопаи.

Здесь мы должны окончить наш рассказ.

Через полгода помощник исправника Розанов получил первый чин, а в скором времени ему дали место исправника. И с этих пор в его жизни ничего легендарного уже не происходило, хотя

многие другие его товарищи и до сих пор продолжают подвизаться. Розанов вполне выделялся из среды своих товарищей тем, что никаких необыкновенных качеств за ним не замечалось. Он жил и служил спокойно и тихо, без особенных приключений.

Начальство им было довольно. Он был исполнительный, опытный и разумный исправник; никогда никаких смут в вверенном ему округе не производил, ни на кого не жаловался и полицейское управление не красил вновь и не ремонтировал, что всегда сопряжено с большими расходами и реформами. Вследствие этого, часто, как других исправников, с места на место его не гоняли, так что ему решительно незачем было зубрить географию.

Обыватели всякого города, где он служил, любили его. Потому что большой дани он не брал, в полицейском управлении не кричал, с просителями не буянил, а в своих объездах по деревням перед сходами не ржал, как это делали некоторые его коллеги. За это и ценили его подчиненные.

В семье также он был добрым, заботливым отцом. Всех детей своих воспитал хорошо и вывел в люди; один сын его был доктором, другой заседателем, третий оканчивал курс в кадетском корпусе, а четвертый учился в гимназии; даже дочерям он дал хорошее образование, не говоря о приданом, и любил говорить, что необразованный человек ничего не получит в жизни хорошего, а если и добьется успеха, то после многих испытаний (при этом он вспоминал слонов), которые ускорят его старость. Дети все также любили его, уважая в нем опытного человека. И никому из них, да и вообще никому, в голову не приходило, что начал он свою карьеру волостным писцом, с образованием второго класса уездного училища.



В ЛЕСУ

(Из записок лесничего)

I

Однажды мне сказали, что меня хотят убить.

Признаюсь, это сообщение подействовало на меня скверно. Не потому, чтобы я поверил буквально нелепой сказке и перепугался; мне тяжело было оттого, что мужики на меня озлобились, — факт, отрицать которого я не мог. Из многих случаев я убедился, что все крестьяне поголовно питали ненависть ко мне с первых же дней назначения меня лесничим в N-ский округ.

До моего приезда в этом округе не существовало правильного лесного управления. Наблюдение за землями и лесами находилось в ведении общих сибирских учреждений, то есть, говоря прямо, вовсе не было никакого наблюдения. Благодаря этому участки расхищались с легкостью, которая была соблазном даже для Сибири. Огромные дачи строевого леса отдавались за пирог или за полдюжины шампанского; огромные участки дровяного леса пылали от пожаров, нарочно устраиваемых винокуренными заводчиками. Если до моего приезда не все леса были истреблены и выжжены, то только благодаря обилию их.

Всех более, однако, пострадали крестьянские участки. Известна беспечность русского мужика; но сибирский мужик в этом

отношении еще легкомысленнее; без жалости и мысли о будущем он губит бесценные богатства. Я не мог без злобы ездить по этим мирским лесам. Поваленные и гниющие стволы столетних великанов, вороха брошенных сучьев, торчащие пни, растоптанные молодые побеги красноречиво говорили, как здесь грубо, безбожно человек издевается над природой. Здешних крестьян еще недавно окружала могучая первобытная природа, а теперь во многих местах уже пустыня. Огнем и топором они «очистили» землю, повалили дремучие леса, разграбили плодородные степи, завалили навозом изумрудные берега рек, отравили воздух грязью и, кажется, самое небо закоптили смрадом.

При назначении меня лесничим в N-ский округ предписано было обратить особенное внимание на крестьянские лесные наделы и ввести в пользование ими строгий порядок. Я так и сделал. Крестьянам моего обширного района было объявлено, что без моего разрешения они не имеют больше права рубить свои леса; за самовольную порубку назначен был штраф; в продажу дров был введен контроль; по дорогам, при въезде в город я расставлял стражников, которые в базарные дни ловили всех крестьян, не имеющих лесопорубочного билета.

Крестьяне были возмущены таким вмешательством в их собственные дела и решительно не понимали, по какому праву я запрещаю рубить их собственный лес; в первый раз отроду они услыхали, что нельзя губить бесцельно достояние будущих поколений. Едва ли, впрочем, это они поняли. На первых порах мои распоряжения имели неожиданный результат; по деревням пронесся слух, что все мирские леса отбираются в казну, а потому их надо поскорее вырубить. Началось беспощадное истребление; под ударами топора леса валились, как созревшие нивы; по дороге тянулись обозы с свежими дровами. Мне с трудом удалось убедить в нелепости этого слуха; чтобы прекратить бездушное уничтожение, я на время даже отменил свои распоряжения.

Это только подлило масла в огонь; узнав об отмене строгих распоряжений, крестьяне уже окончательно решили, что плату за билеты и штрафы я клал себе в карман, обозы с дровами конфисковал в свою пользу и все свои правила придумал только ради вымогательства... Знакомые со всеми видами чиновного шантажа, они и меня причислили к сонму собирающих дани. В чужом пиру похмелье! Обвинения тяжело переживались мною.

Теперь, в довершение всего, мне говорят: вас хотят убить! Как сказано выше, я этому не поверил. Но все-таки стал принимать некоторые предосторожности: при объездах я избегал темных ночей, держал постоянно при себе револьвер, по деревням долго не засиживался.

Так прошло несколько месяцев. Мои отношения к служебным обязанностям не изменились, по-прежнему безбилетные дрова

конфисковались, по-прежнему на казенных дачах ловили за самовольные порубки и по-прежнему крестьяне обязаны были брать от меня разрешение на вырубку их собственного леса. По-видимому, мужики примирились; я видел, что они без ропота идут ко мне и без возражений выправляют билеты; я надеялся, что со временем они поймут, зачем я все это делаю.

Что меня беспокоило — это мои собственные служащие, лесники, полесчики, стражники и пр. Стыдно сказать, но я должен откровенно признаться, что все «мои» были отчаянные плуты, и я потерял всякую веру в их честность. Каждый из них мог продать (и продавал) закон буквально за двугривенный. Пропустить целый десяток возов дров без билета, продать тайно десятину казенного леса, употребить в дело шантаж — это ни для кого из них не составляло труда. И все это за малое вознаграждение. Действительно ли служащие в этой стране — все плуты или я сам не умел напасть на честных людей, но только откровенно говорю, что весь мой персонал состоял из воров. Никакие мои жестокие меры не помогали смягчению лесных нравов. Ревизия не помогала; суда они не боялись; увольнения не действовали. Пробовал я увольнять и поодиночке и всем составом — не помогало: уволишь враз сорок плутов, а на их место берешь других сорок плутов. А иногда так случалось, что заместо одного являлось сразу два плута. Борьба здесь была не по силам мне. Жестокая расправа, которою я надеялся устрашить своих подчиненных, делала только то, что они собирали дани более утонченно и неуловимо. Мне пришлось кончить тем, что я стал преследовать только крупные хищения, а мелкие не замечал.

Раз один из моих объездчиков сильно проворовался. Желая быстро захватить концы, я бросил дела в городе и отправился на место соблазнительного происшествия, отстоявшее верстах в тридцати. Дело было наглое и вопиющее: из казенной дачи тайно были вырублены лучших три десятины. Дознание длилось всего полчаса после моего приезда. Объездчик и тот купец, который вырубил лес, немедленно были уличены, и против обоих я возбудил следствие, причем первому велел подать в отставку.

После этого мне нечего было делать в деревне, и я решил немедленно же ехать обратно домой. Но, к сожалению, почтовых лошадей не оказалось, и я должен был нанять простую телегу, запряженную одной лошадью. Трястись на протяжении тридцати верст в телеге не представляло ничего заманчивого; но я не хотел ни одного часа оставаться среди населения, которое относится враждебно ко мне.

Я поехал.

Лошадь у мужика оказалась добрая; телега не особенно высоко подпрыгивала, а брошенная в нее охапка сена предохраняла меня от увечья. Чтобы скоротать время, я старался разговориться



с мужиком, сидевшим боком ко мне, но, к моему удивлению, он неохотно отвечал мне. Это было тем удивительнее, что он казался мне смирным, добродушным человеком. Между тем на мои вопросы он отвечал бессвязно, не то чем-то напуганный, не то раздраженный, а иногда вовсе не отвечал, отворачивая от меня свое лицо, причем некстати надвигал шапку до ушей. Не отвечая мне, он в то же время усиленно бил кнутом лошадь, которая после каждого взмаха бросалась в сторону, причем я болтался в телеге, как полено. В ту пору я не обратил внимания на странное поведение ямщика; потеряв всякую надежду разговориться с ним, я не старался объяснить себе, почему он находится в таком смятении.

От нечего делать я стал осматривать окрестности. Мы ехали сначала по сосновому, хорошо сохранившемуся лесу; беспечная рука человека здесь еще не коснулась могучих великанов; по обеим сторонам дороги высокой стеной возвышались столетние сосны, образуя над нами густую крышу из сплетающихся хвоев. Мы ехали в тени; только изредка сквозь зеленую крышу проскользал луч солнца, еще более оттеняя полумрак. Стук колес, громыханье телеги звучным эхом отдавались в лесу.

Я люблю лес. Он живет в моих глазах. Стоит ли он неподвижно в застывшем воздухе, когда каждая ветка дремлет, тихо играя листвой, или шумит он под напором ветра, я всегда слышу его дыхание. Меня радовало, когда я встречал целое поселение молодых и здоровых дерев; а когда при мне рубили живой ствол и он, как бы в смертельном испуге, дрожал от верха до низа своим крепким телом и, подрубленный в своем основании, тяжело падал с треском и скрипом, — в этих звуках мне слышался стон погибающего существа и последний вздох умирающего. Часто, ломая невзначай молодое деревцо, я от всего сердца тужил об этом, как будто я погубил начинающуюся жизнь ребенка. Мне жаль было сломать ветку какого-нибудь дерева, и без боли я не мог видеть, как мальчишки весной сверлят отверстия в деревьях, и оттуда медленно течет белая кровь. В детстве я вел длинные монологи с кустами бузины, ссорился с бояркой, которая часто злобно ко-

лола меня проклятыми иглами, и подолгу наблюдал осину, следя за трепетом ее листьев; в моих глазах это были живые существа, и я вел себя с ними так, как будто они наделены были разумом. В юношестве я забыл эти детские грезы, но теперь, в зрелом возрасте, по призванию выбрав карьеру лесничего, я неравнодушно относился к обязанностям защитника своих любимцев.

Скоро живые стены сосен раздвинулись, и картина вдруг изменилась. Местность была дикая. Глубокие овраги и рытвины, беспорядочные кучи поваленных ветром и топором деревьев, длинные ряды уложенных в сажени дров, ворох брошенного хвороста — все показывало, что еще недавно здесь был дремучий лес. Я с негодованием оглядывался по сторонам. Место для меня было незнакомое. Дорога почти пропала. Телега то и дело подпрыгивала, наезжая на пни и гниющие стволы; по лицу меня начали хлестать спутанные ветви кустарников. Мне стало что-то не по себе...

— Куда ты завез меня? — спросил я извозчика.

Но не успел я выслушать от него ответа, как из-за ближайшего куста вышел какой-то мужик с топором в руке. Обменявшись с моим возницей приветствием, он преспокойно прыгнул на передок телеги, сел на ее край, свесил ноги, а топор положил на колени к себе. Моментально у меня явилось подозрение, но я сохранил наружное спокойствие.

— Что это значит? Кто ты и зачем ты влез ко мне? — спросил я.

— Больно уж ты, господин, сердит, как погляжу я, — возразил мне мужик насмешливо, и холодный взгляд его остановился недружелюбно на мне.

Предчувствия не обманули меня. Я приготовился к самому худшему. Но все-таки еще раз попытался проверить себя.

— Зачем же ты сел без спросу? Нанимая этого крестьянина, я не знал, что у меня в лесу найдутся попутчики!..

— Ничего, доедем, — грубо прервал меня крестьянин. — Ступай, Петрович! — обратился он с приказом к моему кучеру, а на меня бросил насмешливый взгляд.

Я кусал губы. Но мне оставалось только замолчать. Я обдумывал свое положение. Нечего было и думать предупредить нападение силой; револьвер мой лежал глубоко в боковом кармане, и прежде чем я успею выхватить его и развязать, — он был завязан шнуром, — мужик ударом кулака вышибет его у меня, а затем начнет тузить... Я и теперь не верил, что покушаются убить меня, хотя было очевидно, что я попал в ловушку. Всего вернее, у моих крестьян было в намерении «поучить» меня; это, конечно, плохое утешение, потому что поучить на деревенском языке значит — перебить несколько ребер, перело-

мить позвоночный столб, превратить голову в сплошной пузырь— вообще что-нибудь в этом роде. Но у меня было время...

Мы наблюдали друг за другом. Непрошеный попутчик посматривал на меня искоса; я глядел на него в упор. Наружность его не обещала мне ничего хорошего: на широком щетинистом лице его отражалось что-то жесткое и злое; из-под густых бровей его глядели серые, холодные глаза. Это был тип сибирского мужика, соединяющего в себе постоянное добродушие с крайней подчас жестокостью. Мне делалось жутко под косым взглядом этого человека, но я, не сводя глаз, наблюдал за ним и обдумывал способ сделать противника безвредным.

Я говорю: «противника». Дело в том, что крестьянин, мой возница, был сам по себе не опасен, перепуганный предстоящим делом. Он боялся повернуть ко мне свое лицо, боялся взглянуть на меня и видимо мучился страхом; должно быть, он принял участие в деле против воли и теперь был сам не свой. Беспокойно ерзая на своем сиденье, он без нужды прокашливался, тянул шапку глубже на уши и немилосердно дергал лошадь.

Лошадь то и дело бросалась в сторону, телега подпрыгивала, кусты били меня по лицу, хотя ехали мы шагом благодаря отсутствию дороги. Я переживал сквернейшие минуты в своей жизни. Страх сжимал мне сердце; но всего более угнетала меня мысль, что хотят меня убить без всякой с моей стороны вины. Что мне оставалось делать? Я продолжал упорно следить за всеми движениями мужиков и ломал голову, как мне вырваться из их рук.

Вдруг мы подъехали к крутому спуску, и лошадь почти остановилась. Место было совсем дикое и глухое. Справа лежал глубокий обрыв, на дне которого протекала маленькая речушка; слева была непроницаемая заросль из боярышника; а впереди крутой спуск вел в какую-то темную яму. Проклятое место как бы назначено было для темных дел; мы были по крайней мере на пятнадцать верст от жилых мест. Для мужика ничего не стоило схватить меня и бросить в обрыв...

Не успела эта мысль ясно выразиться во мне, как во мне явилась решимость покончить с глупым положением; я моментально выпрыгнул из телеги и выхватил из кармана игрушечный «лефоше́». Лошадь остановилась. Мой противник также соскочил с телеги и мрачно смотрел на револьвер. Мы стояли друг перед другом. Но теперь уже превосходство было на моей стороне, и мне стало смешно.

— Послушайте... я знаю, что вы недоброе затеяли против меня. Но я не боюсь вас. Что я действительно не боюсь вас — смотрите вот!.. — И с этими словами я швырнул в кусты револьвер. — А теперь скажите, за что вы ненавидите меня? Я знаю, зачем вы завезли меня сюда... не отказывайтесь, но чем я провинился?

Крестьянин был сильно взволнован; он не сводил с меня мрачного взгляда, но я заметил, какая нерешительность вдруг овладела им; видимо, он недоумевал, что делать и что сказать. За другим крестьянином, моим извозчиком, мне некогда было наблюдать, но, как казалось, он был в сильнейшем перепуге и все старался, насколько я помню, напялить шапку до самых плеч. Бедняга с минуты на минуту ожидал, что вот мы бросимся друг на друга!

— За что вы ненавидите меня? — повторил я.

— Уходи от нас... Нечего тебе делать здесь! — проговорил, наконец, мрачно крестьянин.

— Я не сам приехал к вам, а послан охранять ваш лес. Как же я уйду?

— А если не можешь уйти, так не мути нас! — с еще большей злобой возразил мужик.

— Как же я могу мутить вас?

— Запрещаешь рубить дрова!.. хватаешь по базарам!.. отымаешь топоры!.. берешь деньги за наши же дрова!.. Смутьянишь!.. Штрахи взыскиваешь!.. — говорил мужик и, высчитывая мои преступления, отчеканивал каждое слово.

Мне вдруг сделалось так обидно, больно, что я забыл и об опасности. Недоразумение было столь подло, что кого угодно могло привести в отчаяние. Как мне убедить этого и других крестьян, что запрещаю я портить леса не из-за своих выгод, что преследую порубки не ради вымогательства, что плату за билеты и штрафы кладу не в свой карман. Я смотрел на этого по недоразумению озлобленного человека и несколько минут не мог слова выговорить.

А он продолжал:

— Вот мы и задумали... чтобы ты уехал. Ей-ей! худо тебе будет, ежели не уедешь! Больно озлившись наши мужики супротив тебя!

Крестьянин говорил грубо и не считал нужным церемониться, но меня возмутил не тон его, а смысл.

— Если бы я имел дело с умными людьми, а не с дураками, меня бы тогда поняли... Разве, запрещая вам безобразничать в ваших лесах, я для своей пользы стараюсь? Разве вы подумали когда-нибудь, что нужно беречь этот божий дар, а не топтать его ногами? Пойдем со мной! — вскричал я, схватил за руку изумленного мужика и потащил его к тому месту, откуда были видны обезображенные леса.

Я тащил за руку сопротивляющегося мужика и запальчиво объяснял ему, почему я преследую порубки и какие последствия можно ожидать от истребления леса. Через несколько минут мы очутились на опушке заросли, и перед нами развернулась картина опустошения во всем своем безобразии. На обширном про-

странстве, куда только хватал взор, виднелись груды валежника и гниющих дерев; откосы оврагов были изрыты весенними водами и, лишенные растительности, обнаженные, выглядели подобно бокам падшей и ободранной скотины. Чахлые березы, низкорослый осинник, толстые и кривые сосенки заживо были обречены на валежник. Только кое-где, на огромных расстояниях друг от друга, возвышались отдельные стволы берез, как одинокие свидетели безумного истребления, которое недавно здесь совершилось. Только огонь мог очистить это безобразное место.

— Бога вы не боитесь, если творите такие дела! — сказал я.— Лучше бы вам зажечь с четырех концов свои леса и спалить их дочиста.

— Это куштумский лес... куштумские мужики тут нагадили!.. — с замешательством возразил крестьянин.

— Да разве вы все не то же делаете!

— Мало ли есть, которые гадят... — возразил слабо крестьянин.

Я видел, что мои слова произвели впечатление. Роли наши переменились; вместо того чтобы нападать, крестьянин теперь защищался.

Торопясь воспользоваться победой, я продолжал объяснять все невежество человека, уничтожающего лес... При этом мы незаметно возвратились к телеге, где возница мой, несколько приподняв шапку, робко прислушивался к нашему спору.

Я, между прочим, говорил:

— Я знаю, что вы меня хотели убить... не отказывайтесь — я все знаю! Но не боюсь вас, потому что ничего худого не сделал вам. Вы озлобились на меня за штрафы и взыскания, но этим я только и могу защитить ваши леса от вас же самих. Сами своего добра вы не жалеете; не жалеете детей, у которых после вашего хозяйства ничего не останется, не боитесь бога, над даром которого вы надругаетесь, не жалеете и себя. Здесь прежде было приволье, а теперь здесь будто неприятель прошел с огнем и мечом. Ничему вы не учитесь и ничего не бережете! Если бы пустить сюда немца, он это место превратил бы в сад, а вы сделали из него пустыню! Где еще недавно были дремучие леса, там теперь вонючие болота; где были луга, там теперь выжженные солнцем плешины... Вы не хозяева, а разбойники!

— Эка что сказал! Постой, погоди, господин! — перебил меня с волненим крестьянин, но я, не слушая его, продолжал:

— Лет через пятнадцать вы все разграбите. Земля ваша перестанет кормить вас. Реки обмелеют, луга засохнут. Ободранные кусты, если вы и их не успеете срубить, не будут доставлять вам дров. Разгневанное солнце будет сжигать ваши посевы, и земля потрескается от жгучих лучей его, ничем не прикрытая.

Тучи будут ходить по небу, но они пройдут мимо вас... Среди лета у вас будет идти снег, посреди зимы вдруг польет дождь. Озера и реки ваши, берега которых вы разграбили, наполовину пересохнут, а вешние воды смоют последний остаток чернозема, и земля ваша обратится в пустыню. Вот ваше хозяйство. Вы ничему не учились среди богатства, а только грабили его, и детям вы не оставите ничего, кроме голого скелета. Проклинать будут они вас. Потому что вы не хозяева, а наемники, не крестьяне, а разбойники. Вы грабите землю, на которой живете... А теперь затеяли убить меня за то, что я не позволяю вам издеваться над природой!

Я был сильно возбужден, когда говорил это; но мой противник положительно не находил места от волнения. Он был в сильнейшем замешательстве, и, по мере того как я говорил, жестокое лицо его смягчалось, в глазах показалась грусть, и вся фигура его выражала воплощенную растерянность.

— Постой, господин! подожди! — несколько раз перебивал он меня.

Когда я замолчал, он начал также с этих слов:

— Постой, господин, подожди!.. Дай мне сказать! Больно ты меня за сердце схватал!.. Позволь мне слово выговорить!

— Ну, говори.

— Не одни мы грешны в грабительстве, а все, можно сказать, мы в этом повинны. Разбойники... ничему не учитесь, а гадите только, говоришь ты? Правильно — много нашего брата есть, которые изгадили места; иной не успел получить лесную душу, как уже срубил ее, свез лес в город и продал, а сам — глядь! уже на стороне дрова покупает. Правильно — все мы, мужики, не берегли божьего добра. Правильно сказано — ничему мы не научились... Но от кого же нам учиться-то? От господ, которые нас обчищают? Писари, заседатель и прочие только и норовят, как бы в карман заглянуть. Ей-ей! от тебя первого услышал я справедливые слова! А прочие, которые ученые начальники и господа, ничего нам доброго не говорили, ничему не учили нас, а только норовили обчищать мужиков. Теперь смотри, что выходит (мужик при этих словах развел в изумлении руками). Мы грабим божье произволение, а господа нас обчищают! Мы естество грабим, а господа нас! Так и идет этот коловерт! Мы божье произволение изгадили, а господа нас, и что к чему тут — я даже не понимаю!

При этих словах крестьянин обвел нас недоумевающим взором и еще раз развел руками; по-видимому, он сам был поражен смыслом своих слов; на его лице в эту минуту отражалось множество чувств: восторг, смущение, ирония, удивление. Удивления больше всего; его лицо как бы говорило: вот так штуку я нашел!

Признаюсь, я был сам поражен и молчал. Нужно быть в Сибири, чтобы понять яркую реальность его слов, — мне нечего было возразить на открытый мужиком «коловерт» жизни.

Некоторое время длилось нерешительное молчание всех нас.

Вдруг крестьянин посмотрел на меня, и лицо его внезапно приняло детское выражение. Широкая, добродушная и детская улыбка разлилась по его лицу.

— Ну, слава богу, что греха не случилось... Ты уж не гневайся, — больно мужики-то озлившись на тебя!.. А ты вон как правильно судишь... Ну, прости, Христа ради! Бог даст, еще дружки будем...

Крестьянин, говоря это, протянул мне широкую руку, и я пожал ее. Извозчик мой сиял от удовольствия и что-то несвязно болтал; смирное лицо его выражало полное довольство, и он неизвестно для чего снял шапку.

— А все-таки лес не надо зря уничтожать, дети за это не скажут вам спасибо, — прибавил я настойчиво.

— Но ты не суди нас. Кто тут виноват — не можем мы рассудить!

Крестьянин сконфуженно выговорил это, как будто боясь теперь нечаянно оскорбить меня. Да, мы оба были сконфужены, как это часто бывает, когда два человека внезапно переходят от вражды к взаимному уважению. Воцарилось долгое молчание.

Вокруг нас стало вдруг тихо. Солнце садилось, и в воздухе уже чувствовалась близость теплого летнего вечера. Над нашими головами пели комары; недалеко от нас, в кустах, фыркала и топала копытами лошадь. Где-то куковала кукушка. Мягкий вечерний свет ложился на все предметы, и даже оголенные от растительности овраги, покрытые нежной пеленой вечерних теней, не зияли своей безобразной наготой.

— Ну, прощай, господин!.. не обессудь уж! — сказал вдруг крестьянин и поднялся с травы, на которой он сидел. Потом он поднял из-под куста мой «пистолетик» (при этом лицо его залилось густой краской), рассказал извозчику, как лучше выбраться на дорогу, и сконфуженно исчез в зарослях.

Через полчаса мы уже ехали по торной дороге.

С той поры крестьяне больше не грозились убить меня, без ропота подчинившись моим порядкам. Мой лесной знакомый впоследствии часто бывал у меня в гостях и всякий раз, как мы случайно вспоминали о своей встрече, он конфузился сильно.

Но мои отношения к службе сильно изменились. Я не преследовал больше так круто порубки, неохотно конфисковал лес, вообще сделался плохим, недобросовестным лесничим. Так, апатия какая-то напала на меня. Почему? Не знаю.

II

Однажды мне пришлось взять верховую лошадь, чтобы проехать в болотистую местность, про которую в народе ходили таинственные рассказы. Мочажина эта начиналась в семнадцати верстах от города и тянулась на добрый десяток верст, занимая обширную площадь. Я хотел лично проверить странные рассказы старожилов. Говорили, что там совершенно крепкие деревья от неизвестной причины сами собой падают; уверяли, что в середине там есть пропасти, прикрытые густым лесом, но похожие на омута, куда безвозвратно погружается всякий, кто решится ступить на обманчивую почву, — он проваливается куда-то в глубину; наконец, не один раз при мне говорили, что в мрачном лесу по ночам, а иногда и днем раздаются стон и вопли. В довершение всего лес этот занимал самый высокий увал среди окружающей страны, что-то вроде болота на горе.

Из дома я выехал не рано, да и не особенно торопился прибыть на место, так что лошадь моя половину дороги шла шагом. Но наконец я добрался до широкого луга, на дальнем конце которого, наверху увала, начиналась таинственная болотина. Луг с трех сторон обрамлялся перелесками, а с четвертой — его ограничивала большая река. Я ехал посередине... Припоминаю теперь все эти подробности, потому что происшествие, через минуту ожидавшее меня, глубоко и навсегда запечатлелось во мне. Я помню, что стал закуривать папироску.

В это мгновение позади меня раздался резкий крик, от которого я вздрогнул. Я обернулся и на оставленном позади конце луга увидал бегущим какого-то человека. Бежал он так, как бегут, только спасаясь от преследования. Он действительно спасался. Не успел я хорошенько рассмотреть его, как из лесу, вдогонку ему, вырвался верхом на лошади мужик, без шапки, в одной рубахе, распоясанный. За мужиком из лесу показался еще какой-то парень, также верхом на лошади, причем в поводу он держал другую лошадь. Мужик что-то кричал, размахивая над головой недоуздком, и гнался за беглецом; мальчик ревел во весь голос; только спасавшийся беглец не издавал никакого звука: он молча, с ужасом улепетывал от преследования, направляясь к реке. Насколько я мог понять, река для него составляла единственное спасение; он, очевидно, намеревался броситься в воду и переплыть на другой берег.

Быть долго немым свидетелем я не мог. Еще ничего не понимая, я видел, что ожидается кровавое дело. С минуту я колебался, но чувствовал, что должен вмешаться. Пришпорив лошадь, я пустил ее вскачь, наперерез беглецу. «Держи! держи его!» — закричал радостно крестьянин. До берега оставалось уже недалеко, но я успел отрезать жулику путь к воде. Нужно было видеть

ужас этого человека, когда он понял, что деться ему больше некуда! Он вдруг остановился, как-то по-заячьи присел и бросал вокруг себя испуганные взоры.

Каково же было мое удивление, когда я узнал в нем всем известного в городе нищего жулика, старого и безвредного бродягу! Никогда, ни в какое крупное происшествие он не был замешан, никто на него не жаловался. Звали его Колотушкин.

— Колотушкин! Это ты? — вскричал я.

Но он так тяжело дышал от усталости и с перепугу, что не мог слова выговорить. В это время к месту подскакал крестьянин, и Колотушкин с ужасом спрятался от него за мою лошадь.

— Ваше благородие! убьет он меня! — жалобно сказал он.

— Пусти, господин... Нечего жалеть этих негодяев! — Охальники! — возразил гневно крестьянин.

— Братан ты эдакий дурацкий! Разве я тебе хвосты-то обрезал? На кой мне ляд хвосты-то твои?.. Ишь зенки-то налил кровью!.. Ваше благородие! убьет он меня, — так же жалобно проговорил Колотушкин.

— Да в чем дело? — обратился я к крестьянину, глаза которого действительно сверкали ненавистью. Без шапки, с распоясанной рубахой, с растрепанными волосами, он мог внушить страх и не такому зайцу, каков был Колотушкин. Суровое лицо его выражало одну кровавую месть.

— Гляди, вишь, хвосты-то обрезал? — сказал он, указывая на лошадей.

Я посмотрел и вздрогнул от омерзения: у всех трех лошадей хвосты были обрезаны, — у одной по самый корень, у двух остальных с мясом; вырезанные места сочились кровью, которая капля по капле скатывалась по ногам несчастных животных; тучи мошек кружились над ранами.

Я раньше слышал про эти проделки жуликов и часто смеялся над рассказами о вырезанных хвостах, но только теперь понял, какое негодование может вызвать это подлое издевательство. Нужно быть бесцельно жестоким, подло распутным, чтобы так изуродовать беззащитных животных. Только взаимная ненависть между этими двумя классами, — крестьянами и жуликами, — способна была вызвать такое омерзительное воровство. За все три хвоста жулику дадут в кабаке не больше двугривенного, и трудно предположить, чтобы ради одного этого он обрезал хвосты; нет, сделал это он из чистой мести, из желания насмеяться над мужиком, ради удовлетворения своей злобы против всех крестьян.

— Неужели это ты, Колотушкин, сделал! — вскричал я с негодованием.

— Ей-богу, врет он, ваше благородие! На какой мне ляд хвосты?

— Ты почему же думаешь, что это он? — обратился я к крестьянину.

— Да кому же больше? Кони в том леску были. А я дрова рубил вон там. Послал парня обратать их. Вдруг, слышу, кричит он в истошный голос. Прибежал и вижу — хвостов уж нет! А тут из-под кустов и этот штукарь выскочил. Я за ним, а он от меня, да к реке!.. А тут и ты, спасибо, дорогу ему прекратил... Нечего его слушать!

Крестьянин говорил уже без волнения, с сдержанным негодованием. Бросая на Колотушкина взоры, полные непримиримой ненависти, он в то же время спокойно говорил. Уменье владеть собой было поразительно в нем, как у многих здешних мужиков. Я предложил ему обыскать Колотушкина; он недоверчиво пожал плечами, но на словах согласился.

Легко было сказать «обыскать», но что обыскивать-то? Колотушкин был одет в какую-то тряпицу вместо рубашки, истлевшей до такой степени, что она походила на пепел от сожженной бумаги; панталоны, разумеется, были на нем, но издали казалось, что их не было, — так мало оправдывали они свое назначение. А больше никаких принадлежностей костюма у него не имелось — ни шапки, ни обуви, ни верхнего платья. Но в руках он держал мешок, — на него мы и обратили внимание.

— Вытряхай кошель! — приказали мы ему.

Колотушкин безропотно вытряхнул на землю все содержимое несчастного кошеля. Мы увидали тогда краюшку черного хлеба, десятка три картофеля, котелок и тряпичку с солью. Все это было понятно мне: хлеб ему подали, картошку он стащил на базаре с воза, а котелок был его частной собственностью; шел он сюда затем, чтобы на берегу реки, среди кустов черемухи, прислушиваясь к пению птиц, развести огонь, сварить картофель, пообедать и уснуть, глядя сквозь ветви черемухи на безоблачное небо. Хвостов не оказалось.

Крестьянин сурово молчал. Колотушкин уже злорадно посматривал на него.

— Ну, что, много нашел хвостов-то? Эх ты, братан! — презрительно выговорил Колотушкин.

— Должно быть, в самом деле не он, — сказал я, опять обращаясь к крестьянину.

— Кому же больше? Знаю я его, — спрятал где нито! Штукари-то они все ловкие!..

Не зная, что́ делать, я предложил, по возвращении своем в город, заявить в полиции, но сию же минуту увидал, как бестактно было это предложение. Крестьянин с лукавой, единственной в своем роде улыбкой поглядел на меня и твердо отклонил мое предложение.

— В полицию? Нет, к чему же... Лучше уж я без хвостов останусь. Не ходи, господин, в полицию-то, потому не смею я утруждать начальников из-за хвостов!..

Сказав это, он молча погладил стоявшую подле него лошадь и велел сынишке садиться на нее. Потом он сам прыгнул на другую лошадь и, не прощаясь, поехал через луг к ближайшему перелеску. Но долго еще между деревьями мелькала его могучая фигура; мне даже показалось, что из-за ствола одного дерева на мгновение выглянуло его лицо, обращенное к нам, гневное и угрожающее...

Колотушкин провожал его взглядом и только тогда оправился от испуга, когда тот совсем скрылся в тесной зелени. Жалкое заячье лицо его сейчас же приняло веселое выражение, как стал благодарить меня, болтливо выражая свое злорадство.

— Спасибо вам, ваше благородие, а то бы мне тут и смерть... И злые же эти братаны!.. Так он ничего, но ежели осерчает — убьет! Человечья душа для него нипочем, дешевле лошадиного хвоста... Человек евойной лошади хвост обрежет, а он в овраге загубит ни в чем не повинного — чистый зверь! Утку, либо зайца, и то жалко, а бродягу для него убить все одно, что муху задавить... А ловко же окорнали хвосты-то его!.. Спасибо вам, а то бы убил меня... Шут ли мне в хвостах-то его толку? Я вот сварю тут на бережку картошки да раков наловлю, — страсть тут какие крупные раки водятся, — мне и хвоста не нужно. Этими делами я не занимаюсь, мне кто что даст — я и доволен... Спасибо вам, ваше благородие, дай бог здоровья, а то бы убил он меня...

Я последние слова слушал уже издалека, потому что мне не хотелось оставаться хотя некоторое время со старым бродягой. Колотушкин также отправился своею дорогой, и я еще мог заметить издали, как он полез в воду — ловить раков на обед. Никакой ловушки у него не было; ему, очевидно, ловить раков предстояло первобытным способом, то есть попросту ползать по крутым берегам и руками шарить в норах, где обитают раки. Таким образом, при счастии он мог часа в два нацапать голыми руками с полсотни, измерзнуть, нахлебаться воды во время ырянья и порезать свои лапы...

Оставшись один, я задумался над всем виденным. Передо мной сию минуту стояли представители двух пород, по существу ненавистных друг для друга. Сибирский крестьянин — это олицетворение здоровья и силы — должен волей-неволей преследовать до смерти нездоровое, распутное, хотя и жалкое существо, покушающееся жить паразитом на его теле... Кто это первый пустил слух, что сибиряк смотрит на посельщика, как на «несчастненького», и жалеет его душевно, выставляя по дорогам возле домов шаньги для него? Я не знал мысли, более вредной,

лжи, более фальшивой, сентиментальности, более слюнявой, чем этот слух о нежных отношениях между русскими выходцами и сибирскими старожилами; и, быть может, благодаря этой лжи ссылка до сих пор осталась в самых культурных округах.

Действительно отношения двух классов не представляют ничего нежного. Ежегодно по лесным трущобам находят сотни трупов, неизвестно кому принадлежащих, неизвестно кем положенных. Это — бродяги, посельщики, жулики. Каждый овраг здесь имеет свою тайну, и нет лесной глуши, которая не была бы могилой, а лесные обитатели, птицы и звери, не один раз слышали щелканье замка́, гром выстрела и последний стон умирающего. Одинаково избегая «закона», оба класса ведут борьбу глухо и молча, с хладнокровием и без пощады; часто враги наносят друг другу удары безлично, не зная друг друга и ничего друг против друга не имея. Посельщики уничтожают без всякой нужды имущество всех крестьян; крестьяне в свою очередь убивают всякого бродягу, какой подвернется в удобном месте, убивают бесстрастно, холодно и без всякого повода. И много неповинных людей сложили свои головы в лесных зарослях. Легче всех пропадают те субъекты с пугливыми физиономиями, которые беспрерывной цепью бредут по всем дорогам весной, идя на свидание с родиной. Напуганные, беззащитные бродяги для холодной мести представляют самую легкую добычу. Между тем кладут они свои легкомысленные головы по оврагам безвинно.

Не случись меня на лугу, и этот вот Колотушкин поплатился бы за свою любовь отдыхать в кустах если не ценою жизни, то ценою легких. И никто бы не знал, за что этот человек погиб и кому понадобилась его заячья жизнь. Несомненно, что хвосты обрезал не он.

Давно уж он живет в городе. Я его увидал чуть не в тот же день, в какой я приехал на службу сюда. Все знали, что это — старый бродяга, но никто не трогал его, потому что ни в какое громкое происшествие он не был замешан. Никому в голову не приходило справляться, кто он, откуда и чем живет.

Скорее это был бродяга, медленно угасающий. Бродить по лицу всей России у него уже не было сил, а потому он навсегда устроился здесь. Жил он милостыней, воровством, а летом ловлей рыбы и раков. Нехорошо ему было зимой! Наружность его тогда представляла палку, на которую навернены в беспорядке разные тряпки. В самые лютые морозы он вовсе не показывался, но когда делалось потеплее, сейчас же выходил за милостыней, дрожа всем телом, потому что даже в теплые зимние дни холод жестоко скрючивал его. Одет он был всегда так, как будто жил под тропиками, — в коротеньком зипунишке (его частная собственность), в холщовых панталонах и часто без рубашки, если ему долго не удавалось стащить оную с веревки, на которой она сушилась и про-

ветривалась после стирки. Шапка не всегда покрывала его голову, а в случае полнейшего отсутствия ее, он повязывал уши тряпкой, оторванной, например, от неизвестно чьего женского подола. Обуви он ни в каком случае не имел, заменяя ее разнообразными предметами, имевшими у других людей совсем не то назначение, какое он им давал; так, для него ничего не составляло завернуть ноги в рукава, случайно откуда-то оторванные. Впрочем, иногда во время ярмарки ему удавалось добыть с воза плохо лежащие пимы, и он несколько дней щеголял в них, но благодаря его легкомыслию пимы эти скоро пропадали в кабаке.

Работать нельзя было принудить его никакими обещаниями. Заставить Колотушкина работать — это все равно, что заставить свинью исполнять арию из оперы или птицу запрячь в телегу! Он даже удивлялся, как можно делать ему такие предложения.

У меня из прихожей он однажды утащил старые перчатки, пристыжен был, когда я стал укорять в неблагодарности, но когда я его спросил, отчего он не работает, то он спокойно осведомился у меня: «А для чего работать?» Благодаря такому взгляду на вещи ему прощали всё, считая совершенно естественным для него брать не принадлежащие ему предметы. Взять мимоходом шаньгу у бабы или снять у мужика с возу пару карасей для него было в самом деле так же натурально, как зайцу обглодать кору с дерева, — это все признавали. Я раз видел, как он случайно взял у торговки с ларя жестяной ковш и спокойно отправился дальше по своим делам, причем торговка, взяв у него ковш, ударила его раза два по щеке этим же самым ковшом, но никто из них по этому поводу не сказал ни слова, так что и он пошел дальше по своим делам и торговка продолжала разговаривать с покупателями.

Весной он совсем преображался; всегда легкомысленный, он делался в эту пору веселым и деятельным, оживая вместе с воскресающей природой. В городе его почти не видели тогда; он шлялся по окрестностям, питался добычей от охоты, дышал лесным воздухом, ночевал в кустах. Не имея никаких орудий, он все-таки в половодье ловил рыбу, в июне цапал раков из нор, а с июля собирал грибы и ягоды. Разве иногда немного воровал — картошки и хлеба. Босой, с непокрытой головой, в истлевшей, как пепел рубашке, он выглядел в высшей степени счастливым. В свободное от охоты время он или валялся под кустом где-нибудь, или бесцельно бродил по лесным дорогам, напевая своим разбитым голосом какие-то странные песни.

Нельзя вытравить из человеческого сердца чувство свободы; уничтоженное в одной форме, оно проявляется в другой, пробивая себе новые, неведомые пути. У русского человека подавленное чувство проявилось в форме неутомимой жажды передвигаться по бесконечным русским расстояниям; это можно наблю-

дать на переселенцах, отыскивающих приволье, но в особенности на бродягах, бесцельно двигающихся по дорогам без определенной цели, а также и на этом Колотушкине. Повинуясь неумолимому инстинкту, уже разбитый и усталый, он все-таки целое лето блуждал по округу, придумывая часто самые пустые предлоги, иногда без всяких предлогов, при этом он голодал, мок под холодным дождем, жарил на горячем солнце свою непокрытую голову, и все-таки был счастлив, потому что свободно шлялся.

Раздумывая все это, я не заметил, как подъехал к месту. Лошадь моя поднялась на увал, и передо мной внезапно выросла болотная заросль: здесь и было начало обширной топи. Я направил лошадь в самую середину. Дорожек не было; приходилось пробираться целиком, по кочкам и кустам. Страшная тишина царила в лесу. Не слышно было ни пения птиц, ни другого какого звука; все живое, вероятно, избегало этого мрачного места. Но зато слышалось беспрерывное гуденье от пения мошек и комаров, которые тучами носились в спертом воздухе.

Я проехал с полверсты от опушки вглубь и остановился; дальше безумно было ехать. Лошадь то и дело стала проваливаться по брюхо в жидкую грязь, и я с трудом держался на седле. Принужденный спуститься на землю, я привязал лошадь к дереву и принялся пешком исследовать странное явление, поражавшее воображение местных жителей. Под моими ногами действительно была бездонная топь, прикрытая тонкой корой земли. Эта-то кора и поддерживала еще растущий здесь лес. Но уже повсюду видны были следы того, какая судьба ожидает все эти толстые стволы берез; было даже ясно, как они погибнут. Некоторые, самые тяжелые деревья на сажень уже погружены были в жидкую почву, удерживаясь на поверхности только своими ветвями, цеплявшимися за ветви соседних деревьев; медленно утопая, они, казалось, хватались за своих соседей. Другие деревья были уже наполовину повалены, лишенные корней, сгнивших в жидкой массе. Третьи, наконец, совсем уже лежали мертвыми на земле и быстро разлагались, смешиваясь с болотною массой. Недалеко время, когда весь этот зеленый угол сгниет и потонет в вонючей грязи.

Как произошло это странное болото на верху увала и почему до сих пор здесь стоят еще густые ряды молодых побегов, я почти объяснил себе. Вся местность представляет громадную котловину, в которой застаивается вода. Раньше котловина имела стоки для вод, и почва оставалась только сырою. Но со временем стенки котловины от неизвестной причины перестали пропускать наружу лишнюю влагу, произошла закупорка всех путей, сквозь которые вода просачивалась, и котловина быстро стала превращаться в топь. Лес продолжал стоять на своем месте, но почва под ним делалась все тоньше и тоньше, и тяжелые деревья по одному стали

тонуть в грязное озеро. И немного уже осталось крупных пород. Только некоторые великаны еще стоят твердо, удерживаясь своими далеко протянувшимися корнями, да молодые поколения, не требующие много почвы, продолжают беспечно расти густыми рядами.

Простой дренаж мог бы спасти эту местность, но кто возьмет на себя такую заботу?

Едва ли час я пробыл здесь. Дальше оставаться не было сил. Облака мошек и комаров облепили мне лицо, залезли в уши, в нос, в рот, и я стал выбиваться из сил. У меня звенело в ушах, и немудрено, если здесь слышат стоны и вопли. Смрадный воздух душил меня. Под моими ногами кочки погружались вглубь, а на поверхность при каждом шаге всплывали с бурчанием радужные пузыри, наполненные затхлыми газами. Я еле добрался до лошади, которая также обезумела в борьбе с облепившими ее насекомыми. Когда я выехал на чистый воздух и снова на опушке увидал яркий солнечный свет, мне показалось, что я вылез из подземелья.

Ветерок, дувший на открытом месте, разогнал последние остатки проклятых мучителей, и мы с конем успокоились.

Но этот памятный день не кончился так благополучно; худшее и неожиданное ожидало меня еще впереди.

Спустившись с увала на луга, я шагом пустил лошадь и отыскивал глазами на берегу реки, извивавшейся впереди, удобное место для купанья. Скоро я проехал весь луг и очутился опять на том месте, где меня оставил Колотушкин и с которого я видел, как он полез за раками в воду. Бросив взгляд на берег, я заметил дымок, поднимавшийся из костра, над ним котелок, повешенный на таловом пруте, а возле — спавшего Колотушкина. Но меня удивила неестественная поза бродяги. Он лежал так, как лежат молящиеся в церкви: поджав под себя ноги, с расставленными руками, он уткнулся лбом в землю по направлению к костру.

Я крикнул его по имени, но он не слыхал так далеко.

Тогда я свернул с дороги и направился к берегу. Подъезжая к костру, я еще раз крикнул:

— Колотушкин! Ты спишь?

Бродяга молчал.

Я совсем близко подъехал, слез с лошади, подошел к нему, притронулся рукой до его спины и хотел разбудить его, но тело его уже застыло. С правой стороны его затылка запеклась кровь, окрасившая и всю шею черною массой. Несколько минут я не мог двинуться с места и тупо осматривался по сторонам.

Костер слабо курился. Над ним на пруте висел котелок с вареным картофелем. Тут же неподалеку на траве кучкой лежали красные, сварившиеся раки, а подле них лежала развер-

нутая тряпочка с солью. Совсем бедняга приготовился пообедать. Но в это мгновение из-за дальнего куста, сквозь ветки, протянулась чья-то твердая рука с винтовкой, прицелилась и прекратила все желания старого бродяги. Как жил он по-заячьи, так и умер по-заячьи, неожиданно и бесследно.

Еще не зная, что я буду делать, я вскочил на лошадь и поскакал в ближайшую деревню. Там я поднял на ноги всех, кто только ни был в поле. Но бо́льшая часть мужиков равнодушно и подозрительно выслушала мой рассказ, и никто из них не пожелал пойти на место. Отыскали только сотского. В толпе, собравшейся возле меня, раздавались вялые вопросы и ответы: «Какой Колотушкин? Бродяга!.. Нищий!.. Вишь, раков ловил... Не нашел больше места-то!.. Мало ли ихнего брата, жулябия, таскается тут!.. Картошку, слышь, варил!.. Сотский! Ступай, ставь караул! Держи, ребята, теперь карманы... Сотни три вылетит! Это уж как есть!.. Эк его окаянный дернул в эко место раков-то ловить...»

Я слушал все это, и волнение, вызванное кровавым происшествием, понемногу улеглось во мне. Равнодушие толпы было так полно, что перешло и на меня. «А в самом деле, — думал я, — зачем я-то кипячусь?» Когда караул был наряжен, я отправился домой в город, донельзя утомленный впечатлениями дня.

По приезде в город, в первые минуты негодования я хотел донести на того крестьянина, у которого обрезали жулики хвосты лошадям; я был уверен, что он застрелил Колотушкина; но день ото дня я откладывал дело, пока от моей решимости не осталось и следа.

И хорошо, что я не сделал этого. Зачем бы я погубил мужика? Если даже и действительно он застрелил Колотушкина, то сделал это с такою слепой и неумолимой необходимостью, как он убил бы встретившегося волка. Это поступок неразумного существа, слепое дело. Темно здесь кругом. Посторонняя сила толкнула два враждебные класса в одно место, и они слепо истребляют друг друга, как ненавистные друг другу звери, посаженные в одну клетку.

III

До этого времени мне ни разу еще не приходилось жить в деревне подолгу; но однажды обстоятельства сложились так, что я целое лето провел в деревне.

Лето было удушливое, горячее, сухое; в городе мне стало нестерпимо от зноя; и вот я надумал переселиться в ближайшее село, как на дачу. Место для этой цели я выбрал отличное; окруженное сосновым бором, оно омывалось поблизости рекой и занимало возвышенность правого ее берега. Поиски и наем квар-

тиры обошлись без обычных неприятностей. Я нашел себе комнату почти у первого попавшегося мне на глаза крестьянина, причем дело обошлось без всяких недоразумений, как я боялся; мужик не заломил с меня за квартиру невозможную цену, не посмотрел на меня, как на барина, с которого обыкновенно полагается содрать как можно больше, не сказал даже лишнего слова, как человек практичный и умелый. Эту выдающуюся черту сибирского мужика я и раньше знал; теперь же только собственным опытом убедился, как легко с ним иметь дело. Он толковый и разумный; с ним чувствуешь себя, как с равным, и не делаешь усилий, подладиться под его тон. Свободный и гордый, он знает себе цену и также в свою очередь не подделывается под барский тон. Одним словом — обоюдное понимание в обыденных вещах.

Моего хозяина звали Петром Иванычем Теплых. По-сибирски он был мужик средней зажиточности. Дом его состоял из двух половин — горницы и задней избы. В передней половине, где я поселился, стояло несколько стульев, деревянный диван и выбеленная колчедановым блеском печь. На окнах зеленели цветы; устланный половиками пол выглядел безукоризненно чистым. Хозяйство земледельческое казалось также полным и порядочным. Но семья его состояла из пяти душ подростков и жены, благодаря чему он держал наемного работника из посельщиков. Все это я узнал тотчас, в тот же день, как переселился к Петру Иванычу Теплых, который посвятил меня во все свои дела и намерения, в особенности денежные...

Я был рад этому переселению. Помимо неограниченного пользования деревенскими благами — водой, сосновым воздухом, лесной прохладой и охотой, я мог еще свободно заниматься болтовней с крестьянами, о которых я ничего не знал. Кроме того, меня уже давно интересовал один вопрос, решить который можно только после пристального внимания к сибирской жизни. Я спрашивал себя: мужику Сибири даны простор, здоровье, досуг, богатая природа — как он воспользовался этими дарами? Что́ он сделал в продолжение тех сотен лет, которые он прожил в относительном довольстве, среди безграничных степей и дремучих лесов, под небом ярким и чистым, хотя и холодным, вдали от волокиты воевод, избавленный от рабства старой родины? Быть может, он обогатил свой ум за это время знаниями и способностями, быть может, он развил человечность, незнакомую на его старой родине; вообще, что́ он сделал для себя, для людей, для своего ума и сердца, для развития всех своих сил, гибнувших на старой родине от крепостного ярма, мрака и голода?

К сожалению, от моего хозяина трудно было чем-нибудь поживиться в этом смысле. В первое время я мало обращал внимания на него; я шатался по лесам, делал экскурсии на лодке,

охотился с ружьем и только по вечерам болтал с Петром Иванычем. Но Петр Иваныч был такой открытый человек, что узнать всю его подноготную не представляло ни малейшего труда. Обратив на него внимание, я почувствовал довольно неприятные чувства к нему; а вскоре он уже мне страшно надоел. Истый сибиряк, он, в сущности, был чрезвычайно скучен и однообразен.

В нем была одна возмутительная черта, приводившая меня уже через неделю в полнейшее отчаяние: о чем бы мы с ним ни говорили, дело непременно оканчивалось вопросом о деньгах. В этом случае он был так разнообразен, что подсовывал деньги всюду, где даже трудно и представить их; казалось, глаза его были занавешаны рублевою бумажкой, из-за которой он уже ничего не видал: ни неба, ни земли, ни людей, ни себя.

Сначала он жаловался, что ему не с чего начать какое-нибудь выгодное предприятие; потом он ежедневно стал приглашать меня войти с ним в компанию, обольщая меня выгодами торговли; несколько раз он просил у меня денег на проценты, иногда же просто просил взаймы.

В конце концов мне стала неприятна самая его фигура, рослая и великая, как у настоящего богатыря, — фигура, оканчивающаяся, однако, небольшою головкой с черными щетинистыми волосами; маленькие серые глаза его блестели, как пятиалтынные... Честное слово, так он мне надоел бесконечными разговорами о деньгах, что при воспоминании о нем я теряю беспристрастие.

— Как это тебе, Петр Иваныч, не стыдно не учить ребят своих... Отдал бы в училище в город, — сказал я однажды, думая такою диверсией уклониться от разговора о рублях.

— В училище? Ишь ты какую штуку выдумал! Для чего оно нашему брату?

— Как для чего? Поучиться. Вы вон жили двести лет и не могли придумать такой хитрости, как школа. Сами-то ничего не понимаете, так хоть ребят чему-нибудь поучили бы.

— Чему поучить-то? Кабы я знал, что мой парень в писаря выйдет, ну, тогда так, потому писарь страсть сколько загребает. А то ежели так-то, без толку... да нет, ни к чему оно, училище-то.

Увидав, что моя диверсия не принесла мне плодов, я угрюмо замолчал.

— Училище... чудно́! Теперь вот у меня не на что хомут купить, а я, по-твоему, об училище должен стараться?.. Право, хомута не на что купить. Вот ты бы дал ежели рублика два, а? Перевернусь — отдам, сделай милость, а?

— У меня нет сейчас, — угрюмо возразил я.

— Ну как, чай, нет! Сумлеваешься — вот отчего и не даешь. А ты не сумлевайся, отдам! Больно уж деньги-то мне надобны!

— Да говорю тебе, нет! Прошу, оставь этот разговор.

— Осердился? Ну, я не стану, чего сердиться-то! Потому я верно говорю — отдам!

Петр Иваныч равнодушно улыбался, с неохотой оставляя приятную для него беседу. На следующий день он опять находил случай цыганить у меня; я ему опять отказывал — и это каждый день. Мысли его постоянно так были заняты пейзажами наживы, что он, видимо, нисколько не находил странным занимать меня такими разговорами. Раз я так был раздражен, что выразил Петру Иванычу желание никогда не вести с ним разговоров. Это его сильно обескуражило, и он прямо перестал приставать ко мне с разговорами о милых рублишках, но я видел по его лицу, что не понял причины моего раздражения. Нажива — это было его миросозерцание, и не говорить о нем он не был в состоянии.

Если ему не удавалось прямо поговорить о том, отчего у него болел живот, то он все-таки находил тысячи случаев высказать свои мечты. Иногда на него находило меланхолическое настроение, и он уныло жаловался на судьбу, отнимающую часто у него последние гроши.

— Кабы мне только первые-то копейки раздобыть, а уж там пошло бы... Да где добудешь-то? С неба не падет копейка-то... Нашему брату только бы начать, а уж там пойдет как по маслу. До начать-то с чего, с какого боку?

Заинтересованный этим меланхолическим настроением, я спросил у него раз, что бы он стал делать, если бы вдруг ему дали сотенную бумажку.

— Что делать? Ежели бы сотельную-то? — повторял он несколько минут в волнении.

— Ну, да, что бы стал делать?

Петр Иваныч уставил на меня свои пятиалтынные и соображал, как наилучшим способом употребить деньги.

— Я бы наперво гуртов у кыргыз накупил, — сказал он наконец. — С кыргызами у нас первое дело для началу, ежели кто желает поправиться. Потому это народ — сволочь, ничего не понимает, и с ихним братом большие выгоды можно получить. Тут есть у нас один купец, так тот, бывало, наделает фальшивой бумаги и скупает на нее баранов, то есть прямо даром...

— Да ведь это грабеж? — перебил я.

— Да, оно неладно...

— Ведь этот купец просто грабил киргизов?

— Да оно, говорю, неладно... да ведь и кыргыз... чего на него смотреть-то — сволочь, больше ничего. А притом же и вреда ему от фальшивой бумаги нет, потому он получит фальшивую бумагу и сбывает ее дальше в степь, к дальним кыргызам, а те уж настоящие безбожники, ничего не понимают, и для них все одно — что фальшивая, что настоящая... А то, конешно, неладно,

да и лучше на чистые денежки-то... Только где их взять-то, ухватить-то как их?

Я вскоре заметил, что Петр Иваныч смутно различал некоторые вещи, которые должны быть строго отделяемы... Что касается «кыргыз», то он искренно верил, что это — сволочь, ничего не понимающая, и потому у них можно выменивать баранов на фальшивые бумажки. Почти с такой же простотой он относился и к бродягам, недостаточно понимая разницу между убийством волка и бродяги. Несомненно также, что и многие другие лесные порядки он ошибочно считал правильными.

Так, он однажды искренно жаловался на неудачу сражения с горюновцами, происходившего на театре военных действий — на сенокосе. Сенокос этот был спорным между жителями, к которым принадлежал Петр Иваныч, и соседними горюновцами. Божеская и человеческая правда была на стороне последних; но Петр Иваныч и его соотечественники в патриотическом ослеплении отбивали клочок сенокоса себе и вели ради него с заклятыми врагами ожесточенную борьбу каждую весну. Вооружение той и другой стороны состояло из литовок, оглоблей и сырых дубин, выдернутых из земли в момент боя; но военное счастье клонилось то в одну, то в другую сторону. Нынешнею весной победа бесспорно осталась за горюновцами, которые наголову разбили моих хозяев, принудив их к беспорядочному бегству с поля сражения. Именно на это дело Петр Иваныч и жаловался, выражая, впрочем, уверенность, что на будущий год горюновцы ребрами поплатятся за свою временную удачу. Петра Иваныча бесполезно было уверять в несправедливости всего этого.

Насчет справедливости он имел несколько твердых мыслей, но, признаться, их было крайне мало, благодаря чему в большей части жизненных обстоятельств он руководился довольно рискованными соображениями. Убить в овраге бродягу, надуть хитрым образом чиновника, подкупить землемера при разделе между двумя деревнями, продать себя во время ярмарки на какое-нибудь темное дело — это едва ли считалось с его стороны принципиально двусмысленным.

Бо́льшую долю вины за этот нравственный мрак должны взять на себя мы, высшие сибирские классы. Официальные представители цивилизации, культуры и правды, мы в продолжение нескольких веков вели себя так, как в чуждой нам стране. Мы не завели в это время ни одной школы, не научили население ни одной полезной вещи, не подвинули на полвершка его умственный кругозор. Мы брали с деревенского жителя дани, проявив себя во всех случаях продажными, устраивали то и дело засады для него и опутывали его целой сетью лжи, спутывая все его понятия о справедливости. Единственная наша заслуга — вве-

дение внешнего порядка, но и тот постоянно расползался, как плохо, большими штыками сшитое платье.

Тем не менее я не мог не поражаться и косностью самой природы Петра Иваныча. Было в нем что-то такое стихийное, первобытное и роковое, что я часто не мог выносить его возле себя. Я удивлялся, как может человек жить одними мыслями о наживе, одними экономическими соображениями и рублевыми идеалами! Неужели в его душе никогда не возникает порывов, фантазий, увлечений, не переводимых на деньги? Этот здоровый, сильный человек никогда не увлекался и был, по-видимому, совершенно безучастен ко всему на свете, за исключением ничтожной частички явлений, составлявших всю его растительную жизнь.

Мне иногда хотелось его чем-нибудь поразить или взволновать, но это мне ни разу не удавалось; прошибить его можно было только деньгами. Приходя ко мне пить чай или так посидеть, он обыкновенно сейчас же принимался развивать план какого-нибудь предприятия, с которого можно получить хорошую выгоду.

С ним делалось как-то холодно, тоскливо, пусто. Я по целым часам не мог придумать, что с ним говорить.

Ездили мы с ним несколько раз на ночевую, спали под открытым небом, около пылающего костра, в свете которого трепетали тени соседних берез, но ни разу он не вышел из себя, всегда одинаково рассудительный и расчетливый. Однажды мне пришло в голову спросить его, слышал ли он когда-нибудь хоть одну сказку. Мы сидели на берегу реки с удочками; возле нас горел костер; вдали виднелся крутой берег противоположной стороны, поросший густым кустарником. Вода около нас казалась багровой; таинственная тишина окружала нас в этом пустынном месте. Казалось, более подходящего места для рассказов о темной старине нельзя было и придумать.

— Ишь чего придумал! Сказку... Да я ни одной и не слыхал — как же я тебе расскажу?

— Неужели ни одной не знаешь? — спросил я.

— Да на кой пес знать-то мне эти глупости? — проговорил задумчиво он.

— И в детстве никогда не слыхал?

— Черта ли толку в сказках-то. Слыхал от одного рассейского посельщика, который по зимам у нас живал, да забыл уж. Бывало, врет, врет он, даже смешно станет.

Спрашивал я у него, не знает ли он какого-нибудь рассказа про старину, какого-нибудь преданья, даже суеверья, но он с неудовольствием выслушал меня и подозрительно насупился.

— Говорят же что-нибудь про вашу деревню... Давно она основалась?

— А я почем знаю?.. Стало быть, с древних времен. Дедушка говаривал, что как теперь есть, так и было все допрежь...

— Не слыхал ли каких преданий, воспоминаний о ваших местах? Ведь остались же какие-нибудь следы от ваших дедов?

— Да чему остаться-то? Жили и померли, и нету их...

Петр Иваныч принял положительно недовольный вид.

— Может, песни какие сложили в вашей стороне? — приставал я.

— Никаких песней у нас не складывали. Девки вон поют — пес с ними! Баловался и я в те поры, когда меня еще за виски драли, а теперь нет уж, будет!

— Ни одной не знаешь?

— Да, может, и знаю, да запамятовал.

— А ну, вспомни и спой, — попросил я. Но Петр Иваныч окончательно обиделся, думая, что я смеюсь над ним.

Он действительно не пел. Только раз мне удалось слышать нечто, напоминавшее песню. Помню, Петр Иваныч куда-то ехал верхом и от времени до времени стегал лошадь недоуздком; очевидно, он куда-то торопился, и душа не говорила в его песне. Какие были слова — я не разобрал, но зато мотив я не забуду. Это речитатив, доведенный до утилитарной простоты. Кто слышал этот сибирский речитатив, тот никогда не забудет его; он похож на ворчанье человека, которому недосуг выводить голосом зигзаги, на стук тяпки, которою рубят капусту, на чтение дьячком псалтыря перед телом покойника. Я потом часто слышал эти прямые, как палки, звуки, — ими пелись искаженные русские песни, потому что своих песен сибиряк не сложил. На меня они действовали особенным образом: не вызывая ни тоски, ни радости, ни печали, ни хохота, они только изумляли меня, словно я слушал какой-то новый звук в природе.

Скоро в деревне завелось у меня много знакомых, приятелей и «дружков», и я понял, что Петр Иваныч был только крайнее выражение всех их. Свои общие впечатления я скажу в другом месте, а пока только замечу, что в деревне я не нашел того, что искал. Прошли века с тех пор, как поселился здесь русский человек, но в новой стране лучи знания не озарили его темный ум. Он ничего не создал, но лишь многое утратил. Мысли его спали непробудно. Поколения сменялись поколениями, подобно листьям, но жизнь неизменно шла по одному шаблону. Быть может, это и лучше. Быть может, со временем не тронутые ничем силы мужика сделаются неиссякаемым источником мысли и энергии, а пока пусть он спит, ничего не зная, ни о чем не спрашивая. Жаль только веков, бесполезно пропавших в темноте прошлого...

Что́ в особенности поражало меня в Петре Иваныче — это полное отсутствие любознательности, даже любопытства. Никогда, болтая со мной, он не спрашивал о чем-нибудь новом для

него, ничем не интересовался. Когда я пробовал рассказывать ему что-нибудь незнакомое, он только зевал. При этом выражение его делалось равнодушным.

Раз мы разговаривали с ним о брате его, который служил в солдатах. Петр Иваныч боялся его прихода и откровенно придумывал, как бы отделаться от него, если он притащится и потребует выдела имущества...

— А должно, не скоро он придет, потому он у самого Черного моря, — говорил мне Петр Иваныч.

— В каком же он городе? — спросил я.

— Город-то я не помню уж, а только знаю, что у самого Черного моря, под Ташкентом.

— Разве Ташкент у Черного моря?

— А то где же? У самого моря и стоит, — упрямо возразил Петр Иваныч.

— Уверяю тебя, что от Ташкента до Черного моря несколько тысяч верст.

— Чай, Черное-то море сполитично к Ташкенту! — возразил Петр Иваныч, причем лицо его приняло бессмысленное выражение, как у человека, который сболтнул нечто для самого себя непонятное.

— То есть, как это «сполитично»? — осведомился я.

— Да что ты пристал со своим с Ташкентом! Больно мне нужно разбирать Ташкенты-то эти!..

Я ждал, что Петр Иваныч что-нибудь спросит у меня, но он встал и ушел от меня, раздосадованный.

Всего жил я у него месяца два, а потом перешел к другому крестьянину. Но Петр Иваныч заходил нередко и туда ко мне; когда же я совсем перебрался в город, то на некоторое время потерял его из виду.

Только уже в середине зимы про него прошел слух. Знакомые крестьяне из той деревни рассказывали мне, что к Петру Иванычу пришел-таки солдат, которого он так боялся. Между ними тотчас же возникли ссоры, перемежающиеся более или менее сильными драками; солдат требовал части имущества, а Петр Иваныч оттягивал раздел. Еще раз я и самого его увидал.

Пришел он ко мне, как к старому приятелю, затем, чтобы я написал ему на брата прошение в губернское правление о лишении его наследства; этим способом он надеялся совсем искоренить брата.

— Ты мне напиши просьбу в губернское правление, чтобы солдата прекратить, — говорил мне Петр Иваныч, решительно диктуя текст прошения. — Покойный наш родитель, царство ему небесное, при смертном часе проклял этого солдата и ничего из имущества ему не благословил... У меня свидетели есть, все знают, что родитель лишил солдата доли, потому и в те поры он

был супротивником и пьяницей, — больно обижал родителя! Вот ты так и напиши: мол, пьяница, которого родитель проклял и приказал ничего ему не давать, потому много он нашего добра распустил... Пиши: мол, свидетели есть, как родитель лишил его благословения, а духовное завещание не успел сделать.

— Извини, я прошения не стану писать, — сказал я сухо.

— Отчего? — удивился Петр Иваныч.

— Да, признаюсь, ты поступаешь нехорошо. Как же тебе не стыдно родного брата гнать?

— Солдата-то? Да ведь он в разор меня разорит! Ну, и притом же проклял родитель...

— Как хочешь, но писать просьбы я тебе не стану. Да и бесполезно. Никто не поверит тому, что ты рассказываешь.

— Неужли никто? — живо спросил Петр Иваныч.

— Конечно, никто не поверит. Лучше брось все и выдели брата.

Петр Иваныч задумался.

С той же задумчивостью он уехал от меня. А вскоре я услышал уже финал. В один праздничный день между солдатом и Петром Иванычем произошла драка, во время которой Петр Иваныч проломил солдату голову насквозь. Солдата еле живого привезли в городскую больницу, где он несколько месяцев хворал. Тем временем Петра Иваныча посадили в тюрьму, но он от суда откупился, продав чуть не весь дом свой на подарки. С тех пор я совсем потерял его из виду.

ПРИМЕЧАНИЯ

Первое собрание сочинений С. Каронина (Каронин (Петропавловский). Рассказы, тт. I, II, III, М., 1890—1891) было подготовлено автором. С. Каронин отредактировал свои произведения и в ряде случаев произвел значительную правку. Одновременно были составлены циклы: «Рассказы о парашкинцах», «Рассказы о пустяках», «Снизу вверх». Второе двухтомное собрание сочинений С. Каронина, выпущенное в 1899 г. Солдатенковым, было более широким по своему составу. Кроме произведений, включенных С. Карониным в издание 1890—1891 гг., сюда вошел ряд произведений, известных до этого лишь по журнальным и газетным публикациям. Отдельные изменения, которые внесены в тексты произведений в этом издании, принадлежат, видимо, редактору двухтомника А. Л. Попову.

В годы советской власти вышло два издания сочинений С. Каронина: Сочинения. Редакция, вступительная статья и примечания В. Г. Цейтлина, «Academia», 1932, и Избранные произведения, Саратов, 1936. Каждый из этих однотомников включает избранные рассказы С. Каронина о русской деревне.

В настоящее двухтомное издание сочинений С. Каронина вошли основные художественные произведения писателя, а также избранные публицистические и литературно-критические статьи. Некоторые произведения, включенные в двухтомник, были известны до настоящего времени лишь по первым публикациям («Судья Илья Савельев», «Карьера сельского администратора» — т. 1; «Дикарь», «Первая непогода», «Общественный человек», «Бумажные мужики», «По поводу текущей литературы» — т. 2). В первый том входят три цикла рассказов, которые открывали и издание 1890—1891 гг., а также отдельные рассказы, написанные и опубликованные С. Карониным с 1881 по 1887 г. Во втором томе публикуются повести и рассказы 1887—1891 гг. В конце второго тома выделен раздел «Очерки и статьи». Произведения внутри этого раздела расположены хронологически. В целом данное издание дает весьма полную картину творческого наследия писателя, хотя и не включает всех его произведений (см. во втором томе библиографию сочинений С. Каронина).

Тексты в настоящем издании печатаются по трехтомному собранию сочинений 1890—1891 гг. Все они сверены с первыми газетными и журнальными публикациями. Выявленные при этом наиболее существенные разночтения указываются в примечаниях к соответствующим произведениям, явные же опечатки и искажения текста исправляются. Произведения, не включенные С. Карониным в трехтомник 1890—1891 гг., воспроизводятся по текстам первых публикаций.

РАССКАЗЫ О ПАРАШКИНЦАХ

Произведения этого цикла, за исключением рассказа «Светлый праздник», были написаны и опубликованы в «Отечественных записках» с 1879 по 1880 г., то есть в то время, когда писатель находился под арестом в Петербурге, в доме предварительного заключения. Тогда же у жены писателя, а возможно и у его друзей, возникла мысль об отдельном издании рассказов. Однако Петропавловский не поддержал эту затею. «Милая Варя! — писал он Линьковой в конце октября 1880 г. — Ты вчера говорила об изданиях; пока не надо. Лучше погодить и издать книжку после». Здесь же содержится фраза, которая разъясняет причину такой осторожности автора. «Не вздумай также, — замечает он, — где-нибудь в «высших сферах»... намекнуть на характер моих писаний; тогда меня живьем съедят» («Научные записки Харьковского государственного педагогического института», т. VII, Харьков, 1941, стр. 221).

С. Каронин предпринял попытку издать рассказы этого цикла в 1887 г. Издание брал на себя один из редакторов «Казанского биржевого листка» Н. А. Ильяшенко. 28 октября 1887 г. он обратился в С.-Петербургский цензурный комитет с прошением о разрешении издания в Казани сборника из семи рассказов С. Каронина. В сборник должны были войти: «Ученый», «Фантастические замыслы Миная», «Союз», «Вольный человек», «Последний приход Демы», «Безгласный» и «Как и куда они переселились».

4 ноября 1887 г. последовал доклад цензора Лебедева «о представлении для дозволения к печати рассказов Каронина». В докладе говорилось: «Представленные на цензурное рассмотрение семь рассказов Каронина печатались в нескольких книжках «Отечественных записок». Цензору не известно, желает ли автор издать их вместе, в одной книжке, или отдельными рассказами; по мнению цензора, ни в том, ни в другом виде они допущены быть не могут, так как все они отличаются крайней тенденциозностью и вообще написаны в том тоне, в котором издавались «Отечественные записки». Далее следует подробный пересказ этих произведений и заключение цензора: «Из содержания этого оказывается, что все рассказы отличаются враждебным направлением против образованных сословий, крестьянство же представляется жертвою его эгоизма и алчности людей денежных. В «Отечественных записках» такие рассказы могли пройти незаметно, но изданные отдельно, они, конечно, подействуют самым вредным образом на низшее сословие, почему цензор и считал означенные сочинения Каронина подвергнуть запре-

щению». Цензурный комитет принял следующее определение: «Комитет, соглашаясь с мнением цензора, что все рассказы Каронина имеют пессимистический и тенденциозный характер, вследствие чего являются неблагонадежными и не соответствующими требованиям подцензурной печати, *определил:* к напечатанию их не дозволять» (ЦГИАЛ. Дело С.-Петербургского цензурного комитета, 1887 г., о недозволенных семи рассказах Каронина (из «Отечественных записок»). Впервые приведено в диссертации А. П. Поморцева «Н. Е. Каронин-Петропавловский», Л., 1951).

Видимо опасаясь нового цензурного запрещения, С. Каронин в трехтомном собрании сочинений 1890—1891 гг. поместил не все рассказы цикла. Не были включены два политически наиболее острых произведения — «Союз» и еще один рассказ, написанный и опубликованный к этому времени, — «Светлый праздник».

Группируя «Рассказы о парашкинцах» в один цикл, С. Каронин дополнительно работал над произведениями. Однако изменения были произведены незначительные.

СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК

Впервые опубликован в «Русских ведомостях», 1887, № 221. В издание 1890—1891 гг. включен не был. В парашкинский цикл включается впервые.

Принадлежность к циклу «Рассказов о парашкинцах» подтверждается содержанием произведения. В рассказе те же герои. Упоминающиеся здесь персонажи — старик Тит и солдат Ершов — выведены также в последнем рассказе цикла — «Как и куда они переселились». В «Рассказах о парашкинцах» неоднократно идет речь и о Чекменском барине (см., например, «Безгласный»). Более подробная характеристика парашкинского барина, упоминаемого в «Светлом празднике», дается в рассказе «Союз».

В целом по своему содержанию рассказ является как бы прологом, своеобразным художественным введением в цикл.

Стр. 6. ... *был под Севастополем* — то есть участвовал в обороне Севастополя во время войны России с Англией, Францией, Турцией и Сардинией 1853—1856 гг.

БЕЗГЛАСНЫЙ

Первый рассказ писателя, опубликованный в печати («Отечественные записки», 1879, № 12). Рассказ был включен в цикл без исправлений.

Одновременно в том же 1879 году Н. Е. Петропавловский написал в тюрьме другое свое произведение — повесть «Подрезанные крылья». «Безгласный» был направлен в редакцию журнала «Отечественные записки», «Подрезанные крылья» — в редакцию журнала «Слово». Об этом эпизоде рассказывает в своих воспоминаниях И. Ясинский: «Первая повесть Каронина «Подрезанные крылья», — пишет И. Ясинский, — была написана им в Петро-

павловской крепости (у Ясинского неточность — в доме предварительного заключения. — *Г. Б.*), и мне доставила ее на дом молодая барышня, объявив, что это ее собственная повесть. Разумеется, она выдавала ее за свою из опасения, что повесть человека, пребывающего в таком злачном месте, может быть не принята журналом. Барышня была, по-видимому, еврейка, а героем повести автор выставил молодого либерального священника; это обстоятельство вызвало некоторое недоразумение, тем более что барышня продолжала настаивать на своем авторстве. Одновременно с «Подрезанными крыльями» Петропавловский написал другой очерк, который был послан в «Отечественные записки». Там барышня произвела такое же странное впечатление на Щедрина. Тем не менее Каронин появился в печати, а недоразумение скоро рассеялось» (И. И. Ясинский. Литературные воспоминания. — «Исторический вестник», 1898, февраль, стр. 551).

В рассказе речь идет об уездных земских учреждениях. Губернские и уездные земские учреждения начали постепенно вводить с 1864 г. в ряде губерний европейской части России. Учреждение земств явилось дополнением к основной реформе 1861 г. и было продиктовано стремлением дать стране «кусочек конституции». «Но это, — писал В. И. Ленин, — именно такой кусочек, посредством которого русское «общество» *отманивали* от конституции» (В. И. Ленин. Сочинения, т. 5, стр. 59). Деятельность земств была весьма куцей: они должны были заботиться о местных дорогах, народном образовании, здравоохранении, заниматься продовольственными вопросами и т. п. Права земств с самого начала были весьма ограничены, а позже постоянно все более урезывались. «...земство с самого начала было осуждено на то, чтобы быть пятым колесом в телеге русского государственного управления, колесом, *допускаемым* бюрократией лишь постольку, поскольку ее всевластие не нарушалось, а роль депутатов от населения ограничивалась голой практикой, простым техническим исполнением круга задач, очерченных все тем же чиновничеством» (В. И. Ленин. Сочинения, т. 5, стр. 32).

Стр. 13. *Ревизские сказки* — списки лиц (главным образом крестьян), подлежавших обложению подушной податью (налогом) и отбыванию рекрутской повинности. Составлялись в России в XVIII—XIX вв.

УЧЕНЫЙ

Впервые опубликован в «Отечественных записках», 1880, № 1. В издание 1890—1891 гг. включен без существенных изменений.

Стр. 33. *Левиафан* (от древнееврейского Ливьятан) — по библейским преданиям, огромное морское чудовище.

Стр. 34. *Монстр* (франц. monstre, от лат. monstrum) — чудо, чудовище, урод.

ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ЗАМЫСЛЫ МИНАЯ

Впервые опубликован в «Отечественных записках», 1880, № 2. В издание 1890—1891 гг. включен без изменений.

СОЮЗ

Впервые опубликован в «Отечественных записках», 1880, № 3. При жизни писателя не перепечатывался. Впервые включен в цикл в издании: С. Каронин (Н. Е. Петропавловский). Избранные произведения, Саратов, 1936.

Стр. 73—74. *...умершего в княжестве Монако.* — Княжество Монако — небольшое государство на побережье Средиземного моря. Известно своими морскими курортами, а прежде всего игорным домом, открытым в городе Монте-Карло в 1863 г.

Стр. 90. *Оффенбах* Жак (Якоб) (1819—1880) — французский композитор, один из основоположников классической оперетты.

ВОЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Впервые опубликован в «Отечественных записках», 1880, № 5.

При подготовке произведения для издания 1890—1891 гг. автор включил в него важное рассуждение о времени, в которое довелось жить Егору Панкратову. См. стр. 109 от слов: «Несчастье Егора заключалось в том...» и до «... падает месть уходящего прошлого».

ПОСЛЕДНИЙ ПРИХОД ДЁМЫ

Впервые опубликован в «Отечественных записках», 1880, № 6. В издание 1890—1891 гг. включен без изменений.

КАК И КУДА ОНИ ПЕРЕСЕЛИЛИСЬ

Впервые опубликован в «Отечественных записках», 1880, № 11. С незначительными исправлениями включен в издание 1890—1891 гг. В конце рассказа фраза: «Так кончили парашкинцы» (стр. 147) была продолжена: «вместе с ними кончился и героический период деревни, вступившей после того на путь мелочей и пустяков». Эта приписка связана с разделением С. Карониным крестьянских рассказов на два цикла в соответствии с его концепцией о двух периодах в жизни пореформенной деревни (см. вступительную статью).

Стр. 139. *Лайка* — кожа, обладающая большой тягучестью и эластичностью, выделывается из шкур ягнят, козлят и пр.

РАССКАЗЫ О ПУСТЯКАХ

Рассказы, которые С. Каронин объединил в этот цикл, печатались в журналах «Слово» и «Отечественные записки» в период с 1881 по 1883 г.

Весну и лето 1881 г., после освобождения из тюрьмы на поруки (8 декабря 1880 г.), Петропавловский провел с женой в деревне Канава Симбирского уезда. Впечатления от этой поездки дали ему материал для рассказов о русской деревне, составивших новый цикл.

Цикл «Рассказов о пустяках» был сформирован С. Карониным, по-видимому, уже во второй половине восьмидесятых годов, а возможно, при подготовке им собрания своих сочинений. Важно однако, что изменения, которые были при этом внесены писателем в некоторые произведения, не меняли ни его общей концепции, ни смысла этих произведений. Так выясняется устойчивость и неизменность взглядов С. Каронина, сложившихся уже в начале 80-х годов.

Творческая история данного цикла подтверждает также, что основная мысль, которая легла в его основу, возникла у С. Каронина задолго до появления знаменитой книги Щедрина «Мелочи жизни».

В 1887 г. С. Каронин вновь обратился к прерванной им в 1883 г. серии «Рассказов о пустяках». В этом году в № № 63, 66, 71, 72 «Казанского биржевого листка» публиковался рассказ «Пустой поселок», который, насколько можно судить по его опубликованной части, должен был, по аналогии с рассказом «Как и куда они переселились», завершить новый цикл. Рассказ закончен не был, в издание 1890—1891 гг. не вошел.

МЕШОК В ТРИ ПУДА

Впервые опубликован в журнале «Слово», 1881, № 4. Текст рассказа в издании 1890—1891 гг. отличается от журнального. Сделана большая вставка, в которой автор говорит о непомерном «подозрительном» долге Савоси, о том, как пустая жизнь опустошила самого Савосю, и дает описание поведения Савоси во время пахоты. См. эту вставку на стр. 155 от слов: «Положим, что Савося был измотавшийся...», включая слова: «Но, с другой стороны...» (стр. 157). Вся эта вставка целиком перенесена С. Карониным из рассказа «Две десятины» (см. примечание к этому рассказу).

В журнальном тексте было: «...грозил описанием имущества оптом, враз всем окрестным деревням, *которые имели с ним дело*, вследствие чего...» Выделенные курсивом слова в тексте издания 1890—1891 гг. опущены (см. стр. 163).

Изменен конец рассказа. В журнальном тексте после слов: «Савося был счастлив» следовало: «Вечером этого дня изба Савоси пахла «жилым запахом». Из ее трубы вылетал дым. Савося сидел на лавке и ожидал горячего хлеба. Он был доволен. Приходили к нему посланники от Тараканова и барабановского барина, стыдили его за обман и тащили на работу, требуя, чтобы он завтра чуть свет явился на своем месте. Но Савося уперся, не смущаясь бранью и угрозами. И не пошел. На все убеждения послов он отвечал просто:

— И мне тоже есть желательно!

Больше от него ничего не добились».

Сняв эти фразы, С. Каронин несомненно усилил концовку рассказа, ставшую более выразительной и емкой по своему смыслу.

Стр. 161. *Египетские работы* — тяжелые, изнурительные работы. По своему происхождению, это выражение библейское. В библии рассказывается о тяжелых работах, которые выполняли евреи, находясь в египетском плену.

ПРАЗДНИЧНЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

Впервые напечатан в «Отечественных записках», 1882, № 1, под заголовком «О чем он думал». При подготовке рассказа для издания 1890—1891 гг. автор внес в текст его небольшие изменения. В первой публикации после слов: «...отправился в путешествие к Шепикину перекладывать муку» и до слов: «Другой на его месте...» (стр. 178) было: «Никто по дороге с ним не встретился, чему он был рад. Он не любил людей; ему больше нравилась одинокая жизнь. Потребности развлечь себя разговором с себе подобными в нем не было, как не было вообще позыва развлечься». С. Каронин изменил эти слова, так как они несколько искажали образ Василия Чилигина.

Стр. 180. *«Раззудися плечо, размахнись рука»* — искаженные строки из стихотворения А. В. Кольцова «Косарь».

ДВЕ ДЕСЯТИНЫ

Впервые опубликован в «Отечественных записках», 1882, № 7. В издание 1890—1891 гг. вошел со значительными изменениями.

После слов: «...чтобы получить таким путем необходимые средства пахать землю» (стр. 193) в журнальном тексте было: «Вся семья Гаврилы не имела ни малейшего понятия о том, что можно работать что-нибудь кроме земли и добиваться средства для уплаты повинностей где-нибудь помимо земли. Никто из этой семьи не умел ничего, кроме как пахать, копать, садить, сеять и проч., не умея ничего, что выходило бы из круга земледельческих обязанностей».

После слов: «... Гаврило вместе с прочими» (стр. 194) в журнальном тексте было: «также пустился на всевозможные и невозможные предприятия. Большая семья его очутилась в таком положении, что он бросил дом и, гонимый страхом за существование близких, родных людей...»

После слов: «неразрывную часть его самого» (стр. 195) в журнальном тексте было: «Немало уже Гаврило жил на свете; за все время немало совершалось перемен; прожито время надежд; испытана пустяшная жизнь во всех ее дрязгах и со всеми звериными обычаями; он размотал почти всю свою когда-то большую семью, но остался верен своему делу. В каком смысле он изменился за эту долгую жизнь — об этом будет рассказано ниже, а пока можно ска-

зать, что верность его своему любимому делу была беспримерная. Он остался верен земле — своей кормилице, жил ей одной и в тяжелые минуты желал быть похороненным здесь же, на своей родине».

В журнальном тексте рассказа после слов: «... он напрасно обратился к Савосе, даром потратил время» (стр. 201) следовала обширная характеристика Савоси, которую С. Каронин целиком перенес в рассказ «Мешок в три пуда» (см. примечание к этому рассказу).

Заключительная фраза рассказа (стр. 214) была изменена автором. Вместо «В его незаметной жизни...» было: «Сказать по правде, не в этом только году он мучался над добыванием земли, а много лет, и устал, давно уже устал».

Приведенные разночтения показывают, что произведенные автором изменения не затронули ни основной идеи произведения, ни трактовки образов. Устраняя повторения, С. Каронин стремился сделать рассказ более лаконичным.

Стр. 200. *Авгиевы конюшни* — в греческой мифологии огромные, крайне загрязненные конюшни, принадлежавшие царю Авгию, очищенные в один день Гераклом (один из его подвигов). В переносном смысле — сильно загрязненное место.

НЕСКОЛЬКО КОЛЬЕВ

Впервые опубликован в «Отечественных записках», 1883, № 3. В издание 1890—1891 гг. включен без существенных изменений.

СОЛОМА

Впервые опубликован в «Отечественных записках», 1883, № 7, под названием «Счастье Ивана Чихаева». В издание 1890—1891 гг. включен с изменениями в конце рассказа.

После слов: «Им овладела какая-то горячка» (стр. 248) добавлено: «пустить по ветру все, что он взял от людей в годину их бедствия».

Вместо предпоследнего абзаца: «Он сделался...» и т. д. было: «Часто на последние заработанные деньги он покупал водки и с оборванцами шлялся по улице. Он впереди, оборванцы позади. Последние сияли, а он был доволен, счастливый, что окружен таким многочисленным обществом».

ПУСТЯКИ

Впервые опубликован в «Отечественных записках», 1882, № 8, под названием «Больной житель». В издание 1890—1891 гг. включен с изменениями.

После слов: «... хозяин... перестал расспрашивать Горелова, чувствуя к последнему непреодолимый страх» (стр. 254) в журнальном тексте было:

«Надо заметить, что этот крестьянин не обладал, строго говоря, никаким хозяйством; он не мог усидеть ни около своей земли, ни у другого какого дела. Каждогодно он принимался за занятия, не имеющие ничего общего между собой. То он возит в город на продажу дрова, покупая их у Шепикина, то служит в трактире половым, то звонит в колокола заместо сторожа. И всякий раз, по окончанию одного из своих занятий, которые были всегда новы и неожиданны, он приходил домой, чтобы поковырять землю. Но помаявшись некоторое время над своим делом, он летел на поиски... Тем не менее идея какого-то хозяйства была в нем еще так сильна и крепка, что он решительно не мог сжиться с мыслью, что хозяйства у него давно уже нет».

Изменен конец рассказа. Вместо слов: «Так он и ушел один...» и далее (стр. 278) в журнальном тексте было: «Последний, впрочем, приплелся к знакомой избе, когда уже хозяин ее вышел на улицу. Оба остановились. Всю свою новую одежду Портянка пропил, надев на себя какие-то лохмотья. Лицо его не выражало полного бесчувствия, но было дико, и он почти со злобой вперил глаза в Горелова. В руках он крепко держал бутылку, прижимая ее к груди, потому что боялся, что Горелов станет отнимать ее.

— Не замай меня... не отымай... — сказал он и судорожно прижал к груди бутылку.

Горелов равнодушным тоном объяснил ему, что он уходит вон и навсегда. Василий смотрел на него, и видно было, что он хотел понять слова Егора Федорыча, но он ничего не мог сообразить.

— Ну, прощай... а только не трошь меня... — сказал он бессвязно.

— Живи с богом, — возразил Горелов.

— Скажи, мол, жил-пил свинья Васька... и прости.

— Не увидимся! — возразил Горелов.

Василий, наконец, понял.

— Ну, прощай! Дай тебе бог... — сказал он и сел около избы. Он устал. Силы изменили ему, но лицо его было, по-видимому, смышлено. Он разумными взорами смотрел вслед за удаляющимся Гореловым и долго говорил с ним.

— Не замай... Скажи, мол, свинья Васька... и прощай! — говорил еще он, когда Горелова уже не видно было, когда он уже далеко за деревней шагал, провожаемый мелким дождем и попутным ветром, который дул ему в спину и как будто торопил скитальца вперед, в далекий бесцельный путь».

СНИЗУ ВВЕРХ

(История одного рабочего)

Рассказы, вошедшие в этот цикл, были опубликованы в 1883—1886 гг. В 1883 г. в «Отечественных записках», № 11, были помещены рассказы «Молодежь в яме», «Легкая нажива». В 1886 г. в «Северном вестнике», № 6 и 7, были напечатаны последующие рассказы под общим заголовком «Снизу вверх.

Повесть». Сюда вошли: «Раб», «Игрушка» («Северный вестник», № 6) и «Чего не ожидал» («Северный вестник», № 7). В издание 1890—1891 гг. все эти произведения были включены под общим названием «Снизу вверх» с новым подзаголовком «История одного рабочего». Названия глав остались без изменений.

МОЛОДЕЖЬ В ЯМЕ

Впервые опубликован в «Отечественных записках», 1883, № 11, в издание 1890—1891 гг. включен с небольшим изменением.

После слов: «...ловить случаи — это было не по его характеру» (стр. 295) в журнальном тексте следовало: «В другое время, более правильное, из Михайлы вышел бы дельный, довольный собой и своим хозяйством крестьянин, для которого достаточно хлеба и навозу, хорошего мерина и толстобревной избы, пары свиней и с десяток баранов, чтобы он считал себя счастливым».

ЛЕГКАЯ НАЖИВА

Впервые опубликован в «Отечественных записках», 1883, № 12. В издание 1890—1891 гг. вошел с незначительными изменениями.

После слов: «Он не из тех, кому дают по загорбку» (стр. 317) в журнальном тексте следовало: «...он гораздо больше сам может дать, кому ежели следует по шее».

Стр. 313. *Филоксера* — род насекомых, принадлежащих к семейству тлей или травяных вшей. Один из вредителей винограда.

Гессенская муха — вредитель злаковых культур, по внешнему виду напоминающий комара.

РАБ

Впервые опубликован в «Северном вестнике», 1886, № 6. В издание 1890—1891 гг. включен с небольшими изменениями.

После слов: «...так наголодались, что нет больше сил терпеть...» (стр. 327) в журнальном тексте было: «Мечтают они прежде всего о том, что как только придут в город, то сейчас же купят калач, величиной эдак приблизительно в полстола, и немного отдохнут, но для осуществления такой мечты опять нужны деньги...»

После слов: «Пришел он в город за деньгами» (стр. 328) в журнальном тексте было: «Долго колотился по ночлежным домам, съедаемый насекомыми. Не имел определенного занятия». В издании 1890—1891 гг. эти слова заменены фразой: «Но деньги зря не валяются».

После слов: «...оправдан и отпущен на волю...» (стр. 328) в издании

1890—1891 гг. вставлено: «Все это произошло с ним...» и далее до слов: «...перевернул все его мысли». Сделаны и другие, менее значительные исправления.

ИГРУШКА

Впервые опубликован в «Северном вестнике», 1886, № 6. В издание 1890—1891 гг. включен с незначительными стилистическими исправлениями.

ЧЕГО НЕ ОЖИДАЛ

Впервые опубликован в «Северном вестнике», 1886, № 7. В издание 1890—1891 гг. включен с рядом изменений в заключительной сцене.

Короткая реплика Михайлы: «Все. Я вот здесь на свободе лежу, а они там на дне, где темно и холодно» (стр. 391) продолжена и превращена в большой монолог. См. от слов «Боже мой!..», включая слова: «надо же в чем-нибудь утопить скуку!». Несколько переработан последующий диалог Лунина и Фомича, хотя смысл его остался без изменений.

ГРЯЗЕВ

(Очерки нравов)

Первая часть — «Голова» — впервые опубликована в «Отечественных записках», 1881, № 1, вторая часть — «Неутомимый деятель» — в «Отечественных записках», 1881, № 3. В издание 1890—1891 гг. включен не был.

«Грязев» — одно из тех произведений С. Каронина, в которых особенно отчетливо прослеживается связь его творчества с разночинно-демократической литературой шестидесятых — семидесятых годов, где грань между очерком и рассказом почти неуловима. Ближе всего примыкает к творчеству Щедрина, широко использовавшего именно очерки нравов для создания своих сатирических циклов. Близко Щедрину и по своей тематике — обличению полицейского произвола и сатирическому осмеянию жалкой «деятельности» либералов различного пошиба. Примечательна концовка «Неутомимого деятеля», где обличение либералов, которые «то замирают от страха, когда на них зыкают, то беспутно шумят, когда их устают колотить», ведется от лица молодого человека революционно-демократического склада.

СУДЬЯ ИЛЬЯ САВЕЛЬЕВ

Опубликован в «Отечественных записках», 1881, № 4. В собрание сочинений включается впервые. По своему содержанию примыкает к циклу «Рассказов о парашкинцах».

В 1864 г. Александром II был утвержден проект новых судебных уставов. Старые сословные суды заменялись новыми судебными учреждениями для лиц всех сословий. Однако судебная реформа была недостаточно после-

довательна и сохранила немало элементов крепостнических порядков. Сословные суды также были ликвидированы не полностью. В частности, был сохранен сословный крестьянский волостной суд, учрежденный общими «Положениями 19 февраля 1861 г.». Этот суд разбирал мелкие уголовные и гражданские дела, руководствуясь не общими законами, а местными крестьянскими обычаями. О трагикомической деятельности подобного суда и идет речь в рассказе.

БРАТЬЯ

Впервые опубликован в «Отечественных записках», 1881, № 7. В издание 1890—1891 гг. включен не был.

По своему содержанию примыкает к основным циклам крестьянских рассказов С. Каронина, развивая одну из важнейших тем этих произведений — разложение общины, классовое расслоение в деревне.

Стр. 463. *Острова Фиджи* — группа островов в южной части Тихого океана.

ДЕРЕВЕНСКИЕ НЕРВЫ

Впервые опубликован в «Отечественных записках», 1883, № 9. В издание 1890—1891 гг. включен не был. Является продолжением рассказа «Две десятины».

КАРЬЕРА СЕЛЬСКОГО АДМИНИСТРАТОРА

(Сибирские легенды)

Печаталось в «Казанском биржевом листке», 1886, №№ 42, 43, 44, 45, 63, 64, 77, 89, 90, 113, 114, 115. В собрание сочинений включается впервые.

Произведение было опубликовано за подписью «Н. Е. Сибиряк». Принадлежность его С. Каронину подтверждается совпадением отдельных мест в тексте двух произведений писателя. В разделе IV главы «В полиции» приводится разговор с «хозяйственным сибирским крестьянином», который предлагает рассказчику делать фальшивые деньги и утверждает, что сбывать их можно киргизам (стр. 557). Этот же разговор в несколько ином варианте приводится в другом произведении — «В лесу», опубликованном в 1887 г. за подписью Каронина (см. стр. 588).

Описание карьеры Николушки Розанова является для С. Каронина средством показать антинародную деятельность провинциальных административных, судебных и полицейских учреждений в пореформенный период. По своему содержанию примыкает к таким произведениям, как «Грязев».

Стр. 531. *Жюль Фавр* (1809—1880) — французский буржуазный политический деятель, один из душителей Парижской Коммуны, составивший себе большое состояние мошенническими комбинациями.

Стр. 538. *Кобылка Фемиды.* — Фемида в древнегреческой мифологии — богиня правосудия.

Стр. 564. *Кир* — древнеперсидский царь (ок. 558—529 до н. э.).

Стр. 565. *Пирр* (ок. 319—272 до н. э.) — царь Эпира, крупный полководец древности.

В ЛЕСУ

(Из записок лесничего)

Впервые опубликовано было в «Русских ведомостях», 1887, № № 114, 116, 140, 266. В издание 1890—1891 гг. включен не был.

По своему характеру это произведение полуочерковое. Примыкает к многочисленным очеркам С. Каронина из сибирской жизни, среди которых наиболее значительным является исследование «По Ишиму и Тоболу (Из путешествий и исследований крестьянского быта Западной Сибири)», написанное в 1886 г. по заданию Западносибирского отдела Русского Географического общества. К этому же циклу относится ряд других произведений писателя: «Схема истории Сибирской общины» (1886), «Торговля телом и душой (Сибирские нравы)» (1885), «Перелетные птицы Сибири» (1886), «Случай (Из рассказов знакомого лесничего)» (1890). С. Каронин обращает свое внимание в этих произведениях прежде всего на тот же процесс разложения натурального крестьянского хозяйства и вторжение в него новых капиталистических отношений, который занимал его и в крестьянских рассказах. В таких своих сочинениях, как «По Ишиму и Тоболу», он, главным образом, анализирует изменения, которые происходили в экономике, земельных отношениях исследуемых им сибирских районов. В других произведениях его интересует изменение нравов, вызванное воцаряющимися в Сибири капиталистическими отношениями. Этому вопросу посвящен его очерк «Торговля телом и душой», где речь идет о падении производительности труда, о растлевающем влиянии местных ярмарок, от которых жители ждут своего основного дохода. Об этом же тяготении к «легкой наживе», о господстве собственнических инстинктов в крестьянской среде говорится и в третьей главе публикуемого произведения.

Затронутый в записках вопрос о культурном уровне сибирского крестьянина также отражен в ряде других произведений С. Каронина, в частности — в книге «По Ишиму и Тоболу». С. Каронин, подвергая критике новую буржуазную цивилизацию, в то же самое время отнюдь не идеализирует и прошлого Сибири, которое, по его мнению, также характеризуется отсталым, примитивным ведением хозяйства и «нравственным мраком». С. Каронин считает все это результатом политики царского правительства, заботящегося лишь о том, чтобы брать с деревенского жителя «дани» да устраивать на него «засады». Весьма мрачными красками рисуя настоящее и прошлое Сибири, С. Каронин возлагает надежды на будущее, когда «нетронутые силы мужика сделаются неиссякаемым источником мысли и энергии».

Одним из признаков бедственного положения крестьян писатель считает хищническое истребление лесов. «Трудно, по-видимому, понять то обстоятельство, — пишет С. Каронин, — что в последние годы часто у крестьян оставался единственный источник жизни — продажа дров, но между тем

это засвидетельствовали сами крестьяне. Когда здесь было введено лесничество, потребовавшее от крестьян лесопорубочных билетов и преследовавшее за самовольные порубки, то по деревням начало распространяться страшное волнение. «Как же нам жить? — спрашивали горячо крестьяне. — У нас теперь дрова — одно спасение, что же мы без них будем делать? Надо купить хлеба, а дров нельзя продать... Не знаем, уж не знаем, что и будет дальше, и как мы станем жить? И величайшая тоска слышалась в этих словах» («По Ишиму и Тоболу»). Одновременно С. Каронин считал хищническое истребление лесов не только следствием бедности крестьян, но и одной из причин дальнейшего ухудшения их положения, так как связывал с этим значительное изменение климата, отрицательно сказавшееся на урожаях.

Первый очерк публикуемого произведения и посвящен указанной проблеме — важной роли лесов в экономике сибирского крестьянина.

Неоднократно обращался С. Каронин к вопросу о ссыльных и бродягах в Сибири. Вопрос о бродягах не новый для С. Каронина. Это часть проблемы «кочевых народов», которую, как мы помним, со всей серьезностью поставил писатель в крестьянских рассказах. Так же, как и Короленко в своих сибирских рассказах, С. Каронин видит в бродяжничестве своеобразное, вызванное определенными историческими условиями проявление свободолюбивого народного духа. Так, например, стремление к свободе, ненависть к «полоумным пустякам» выбили на «страннический путь, полный приключений», Егора Федоровича Горелова, которого всегда тянуло «от старых мест куда-нибудь в неведомую глушь. Приволье, — пишет С. Каронин, — глубоко волновало его. Его манил дремучий лес, непроходимые и нетоптанные человеческой ногой земли, широкие, бездонные реки» («Пустяки»). Бродить по Руси, чтобы «побывать везде, посмотреть на все», собирался Михайло Лунин («Снизу вверх»). В этом же плане осмысляет С. Каронин и сибирское бродяжничество. Как бы подводя итоги своему пониманию этой темы, он пишет: «Нельзя вытравить из человеческого сердца чувства свободы; униженное в одной форме, оно проявляется в другой, пробивая себе новые, неведомые пути. У русского человека подавленное чувство проявилось в форме неутомимой жажды передвигаться по бесконечным русским расстояниям; это можно наблюдать на переселенцах, отыскивающих приволье, но в особенности на бродягах, бесцельно двигающихся по дорогам без определенной цели...»

Вместе с тем, С. Каронин и в данном случае чужд романтики. И здесь он выступает прежде всего в роли художника-исследователя. Отсюда вторая сторона затронутой им проблемы — вопрос о вечной борьбе между коренными жителями Сибири и бродягами, который он также поднимает в ряде своих произведений. При этом С. Каронин особо выделяет вопрос об уголовных элементах, с тревогой пишет об их развращающем воздействии на население, предлагает оградить хотя бы важнейшие культурные центры Сибири от этого погубного влияния, исключив их из числа мест ссылки и поселений («Перелетные птицы Сибири», 1886).

ОГЛАВЛЕНИЕ

ГРЯЗЕВ

(Очерки нравов)

РАССКАЗЫ

С. КАРОНИН (ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ)

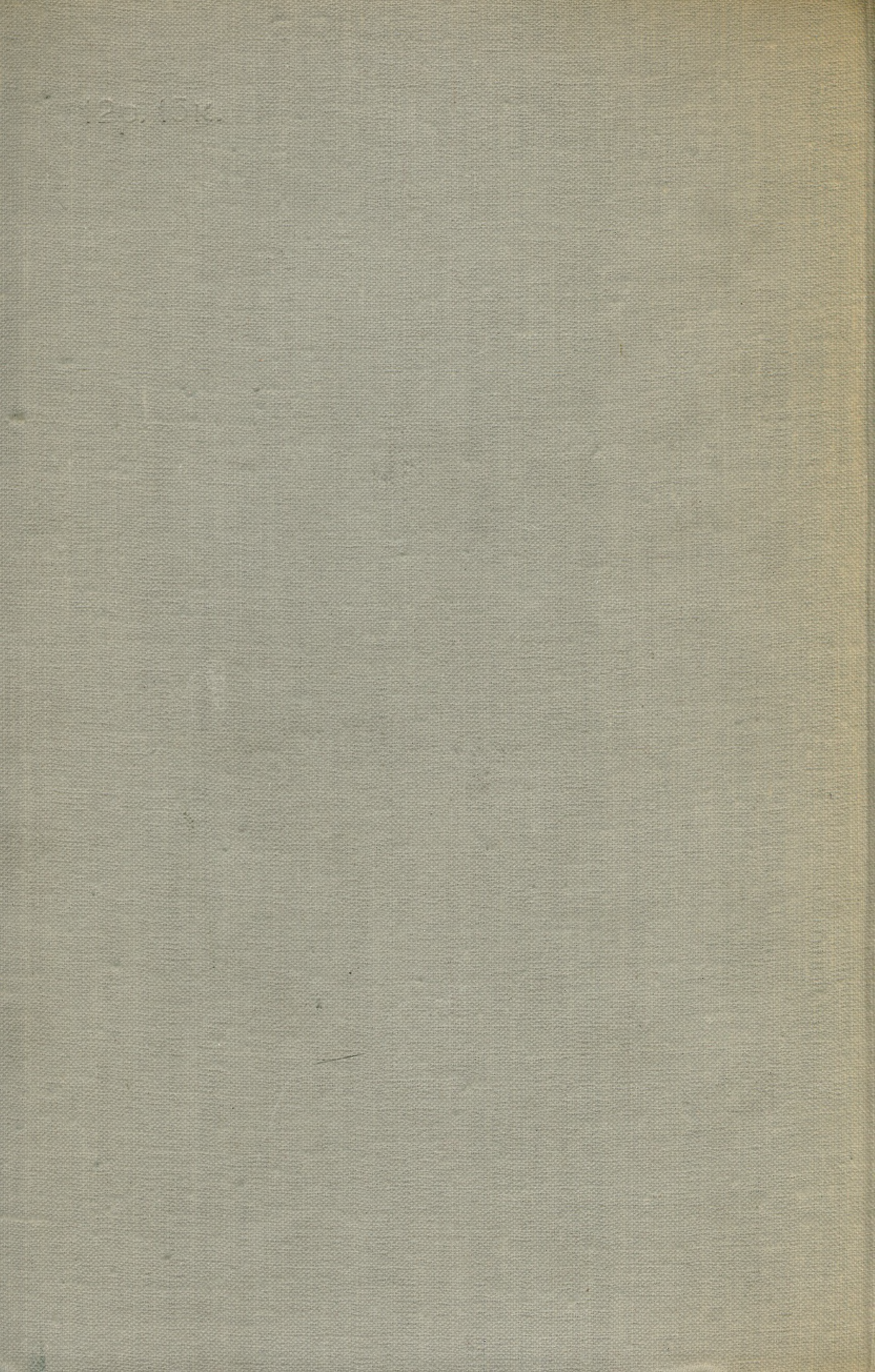
Сочинения в 2-х томах, т. 1

Редактор П. Кочурин. Художественный редактор Л. Чалова
Технический редактор Л. Крючкина. Корректор М. Рубинович

Подписано к печати 20/III 1958 г. Бумага 84 × 108 1/32 — 40,75 печ. л. = 40,75 усл. печ. л. Уч.-изд. л. 42,12 + 1 вкл. = 42,15 л. Тираж 75 000 экз. Заказ № 1043. Цена 12 р. 15 к.

Гослитиздат. Ленинградское отделение. Ленинград, Невский пр., 28.

Ленинградский Совет народного хозяйства. Управление полиграфической промышленности. Типография № 1 «Печатный Двор» имени А. М. Горького. Ленинград, Гатчинская, 26.


12 р. 15 к.